

ПОВЕСТИ
ПЕРЕСВЕТОВ
ПУТЬ

Повести небесных гор

Касымалы Баялинов, Аалы Токомбаев, Мукай Элебаев, Касымалы Джантошев, Чингиз Айтматов, Шукурбек Бейшеналиев, Виктор Асланович Мурадян, Касым Каимов, Оскен Даникеев, Толеген Касымбеков

Аннотация
Повести небесных гор
К. Баялинов. АЖАР
1
2
3
4
5
А. Токомбаев. РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
Вместо эпилога
М. Элебаев. ДОЛГИЙ ПУТЬ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
К. Джантошев. МОЯ СУДЬБА
Ч. Айтматов. ТОПОЛЕК МОЙ В КРАСНОЙ КОСЫНКЕ
Вместо пролога
Рассказ шофера
Рассказ дорожного мастера
Вместо эпилога
Ш. Бейшеналиев. СЫН САРБАЯ
Часть первая
Глава I
Глава III
Часть вторая
Глава V
Глава VI

Глава VII
Глава VIII
В. Мурадян. ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ
От автора
Боевое крещение
Закалка
Подвиг
Бессмертие
К. Каимов. МЛАДШАЯ ЖЕНА
О. Даникеев. ДЕВИЧИЙ СЕКРЕТ
1
2
3
Т. Касымбеков. ХОЧУ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
СЛОВАРЬ НЕПОНЯТНЫХ СЛОВ

Аннотация

Данный сборник, составленный с учетом запросов широкого круга читателей, содержит часть популярных повестей, в которых раскрывается богатый духовный мир киргизского народа, показывается его прошлое и настоящее, дружба с русским и другими народами нашей Родины, совместная борьба за лучшие идеалы человечества, национальный быт, своеобразие красоты природы родного края.

Повести небесных гор

ПОВЕСТИ НЕБЕСНЫХ ГОР



ИЗДАТЕЛЬСТВО „КЫРГЫЗСТАН"

ФРУНЗЕ

1 9 6 7

Кто видел Киргизию, тот не может не восхищаться ее неописуемой природой — высокими горами с белоснежными вершинами, раздольными полями с плантациями «белого золота» — хлопка, сахарной свеклы и других культур, богатыми пастбищами с тучными стадами, бурными реками и глубокими озерами.

В прошлом этот край был одной из самых отсталых окраин России. Киргизский народ, находясь под двойным гнетом царизма и местной феодальной знати, не имел возможности для развитая своих творческих способностей.

С победой Великого. Октября и приходом Советской власти произошли глубокие коренные перемены на киргизской земле. За короткий исторический срок киргизский народ под знаменем ленинизма, в тесном содружестве с другими братскими народами нашей страны добился невиданных успехов, изумляющих весь мир.

Расцвели литература и искусство Киргизстана. Большой популярностью пользуются среди читателей нашей страны и за рубежом произведения великого Токтогула, народного поэта и первого лауреата Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула Аалы Токомбаева, лауреатов Государственной премии Тугельбая

Сыдыкбекова и Ленинской премии Чингиза Айтматова, писателей К. Баялинова, К. Джантошева, Н. Байтемирова, Ш. Бейшеналиева и других.

Данный сборник, составленный с учетом запросов широкого круга читателей, содержит часть популярных повестей, в которых раскрывается богатый духовный мир киргизского народа, показывается его прошлое и настоящее, дружба с русским и другими народами нашей Родины, совместная борьба за лучшие идеалы человечества, национальный быт, своеобразие красоты природы родного края.

Киргиз

К. Баялинов
АЖАР



1

Ажар — единственная дочь Батымы и Аеткула. Правда, были у них и другие дети, но все они умерли, только появившись на свет. Потом долго детей не было. Батыма и Аеткул обращались к разным знахарям, муллам, издержали много денег, залезли в неоплатные долги, даже пригласили известного Хазрета, приехавшего из Кашгара. Хазрет прожил у Аеткула несколько дней. Он повесил на шею Батымы «тумар», написал чернилами на стекле молитву и, смыв ее, дал выпить Батыме «заколдованную» воду; до полуночи Хазрет шептал молитвы, произносил заклинания. Утром, уплетая вкусные угощения, он сообщил, что было ему откровение — рождению детей у Батымы препятствует пятнистый тигр с седой гривой, но он, Хазрет, победил его и разговаривал с сорока ангелами, которые охраняют святых людей. Хазрет уверил Аеткула, что не пройдет и двух месяцев, как Батыма зачнет сына, который родится живым и здоровым и проживет до глубокой старости. Но ангелы сказали, что для исполнения откровения нужно достойным образом отблагодарить мудрого Хазрета. Обрадо-

ванный Аеткул отдал знаменитому Хазрету свою единственную лошадь.

Батыма с нетерпением ждала исполнения пророчества. Только через три года родила она, но не сына, а дочь, которую они назвали Ажар.

Ажар росла баловнем семьи, не испытывая ни горя, ни нужды. Так продолжалось до тех пор, пока ее народ, преследуемый царем, не бежал в Китай. Царские отряды гнались за жителями побережья реки Чу, и им пришлось переселиться в Конгур-Олен и Алабаш. Манапы отдали приказ, чтобы для защиты от этих отрядов из каждой кибитки вышел один человек. В числе прочих должен был идти и Аеткул. Но как мог он покинуть свою семью? И Аеткул, взяв маленькую Ажар, пришел к манапу Сагыну.

— Герой, ты повелел мне вступить в войско, но я не могу исполнить твой приказ. На кого я оставлю жену и ребенка в такое смутное время, когда враг теснит нас? Я не могу идти. Оставь меня! Возьми того, у кого есть взрослые дети. Вон у богача Алымкула два взрослых сына. Будь справедлив, возьми их, оставь меня.

— Уйди, собака! Не смей сравнивать себя с Алымкулом. Кто ты такой? Завтра же садись на коня и отправляйся, — сказал Сагын и выгнал

Аеткула из кибитки.

Ранним утром посланник манапа Сагына разбудил Аеткула. Тот быстро вскочил с постели, оделся, заткнул за пояс ай-балта. Потом он поднял Ажар и крепко поцеловал ее.

— Атаке, куда ты едешь? — спросила Ажар.

— Дорогая, я еду недалеко, скоро вернусь!

Но надломленный голос Аеткула выдавал его волнение. Словно предчувствуя беду, он долго ласкал Ажар и Батыму. Направляясь к выходу, Аеткул сказал жене:

— Если народ перекочует, сложи все, что есть, на вола, посади дочку. Не отставай от народа! Ходят слухи, что в Кет-Малды пришли царские войска. Мы едем, чтобы драться с ними и не допустить их сюда, к нашим семьям. Прощай!

Батыма вышла из кибитки, помогла мужу сесть на коня.

Аеткул присоединился к большому отряду верховых с разноцветными знаменами; они двигались в сторону Иссык-Куля.

Прошло два дня. На третий день люди стали торопливо укладываться, собираясь перекочевывать в другое место. Они знали, что войска царя разбили отряды киргизов, и ужас охватил их. Вернулись все, кто уцелел в битве. Но Аеткула не

было среди них, и Батыма услышала страшную весть о его смерти. Горько зарыдала Батыма, пораженная неожиданным горем. Громко заплакала Ажар.

— Не плачьте! Он умер как герой. Да будет его место в раю, — утешали ее соседи.

Старики, женщины и дети обступили Кузубека, привезшего известие о смерти Аеткула. И он рассказал:

— Наш отряд в пятьсот человек подъехал к Иссык-Кулю. У нас было всего пять берданок, штук десять кремневых ружей, а остальное вооружение состояло из копий, сабель, ай-балта, дубинок, палиц. На берегу Иссык-Куля мы спешились, выставили караул и легли. Наутро пришло известие о приближении царских войск. Мы все вскочили на коней и двинулись им навстречу. Вскоре мы увидели цепь царских войск. Их было больше двухсот человек. Пораженные, мы остановились. Солдаты стали нас обстреливать. Двоих убили. Наши стрелки ответили им, но солдаты всё приближались, двигаясь по степи, как отара овец. Мы отступили к месту стоянки. Жакуб-хан приказал идти в наступление. От царских войск отделился небольшой отряд, который хотел преградить нам путь. Наши спешились, но снова раздался

голос хана: «Наступать!» Мы помчались. Солдаты не ожидали наступления и стали отходить. Ай, почему у нас не было такого порядка, как у них! Но не успели мы приблизиться к солдатам, как трое наших всадников, чего-то испугавшись, повернули коней и поскакали обратно. За ними последовали остальные, а царские отряды, видя наше бегство, открыли пальбу. Пули жужжали вокруг нас, как пчелы. Наши лошади испугались непривычного шума, взбесились. Они скидывали всадников, волочили мертвых по земле. Под вражьими пулями наши люди валились, как снопы. Так погибло сто лучших всадников. Мы хотели отступать дальше, но хан приказал остановиться. Он намеревался подпустить врага ближе и тогда напасть на него. Аеткул возразил хану:

— Ты, видно, принимаешь их за перепелок, которых можно перебить палками? Они — не мы. Они слушаются команды и вооружены отличными ружьями. Мы не можем тягаться с ними. Довольно с нас и этих жертв.

Но хан был обозлен неудачей и не хотел слушать ничьих советов. Размахнувшись, он два раза стегнул Аеткула плеткой. Аеткул не стерпел обиды и ответил хану ударом на удар. Плетка Аеткула рассекла щеку хана. Хан, вне себя от

злобы, закричал: «Меня ранили, стреляйте!» Грянул выстрел, Аеткул, как мешок, свалился с лошади. Войско окружило его труп. Я спешился, поднял голову Аеткула и заплакал. И пока мы стояли около убитого, царские отряды начали обстреливать нас. Убили еще двоих. Они упали рядом с Аеткулом. Мы в страхе бежали…

На другом конце аила кто-то громко зарыдал, — то старый Кубеген оплакивал смерть единственного сына Жапаркула, тоже погибшего в этом бою.

Народ уходил, Батыма сложила свои пожитки на вола, посадила на него Ажар и двинулась в путь, стараясь не отставать от других.

Манап Сагын покинул становище раньше всех. Он отыскал удобное место для новой стоянки, вбил в центре облюбованной ложбины высокий шест, на который привесил свое знамя. Народ собрался к этому знамени.

На пятый день вол Батымы споткнулся о камень, кладь съехала со спины, и Ажар упала. Батыма с криком подбежала к дочери, подняла ее с земли. Убедившись, что Ажар жива и невредима, Батыма снова принялась укладывать свои пожитки. Ее слабые руки не могли справиться с непосильной работой, и даже вол, будто по-

чувствовав бессилие Батымы, стал проявлять непослушание. Давно прошли жители родного аила. Теперь мимо Батымы шли чужие люди. Никто не остановился, чтобы помочь ей… Каждый был занят только собой, никому не было дела до бедной вдовы. В хвосте переселяющегося народа шел, опираясь на палку, старый сгорбившийся Кубеген со своей старухой, ведшей за повод хромую, изможденную лошадь. Кубеген знал Батыму и слышал о смерти Аеткула. Он остановился, помог ей уложить вещи, и они вместе двинулись дальше. Скоро их догнала группа вооруженных верховых. При виде их Кубеген встрепенулся, бросился к лошади одного из всадников и крикнул:

— Убей и меня! Убей! Ты лишил меня единственной надежды — сына. Пусть же бог покарает тебя! Да постигнет тебя такое же горе. Изведай ты при жизни мучения ада. Умри голодной смертью на безлюдном перевале!

Это был Жакуб-хан. Он хотел оттолкнуть старика, но Кубеген крепко вцепился в узду его лошади. Жакуб-хан обозлился, слез с лошади, приказал двум всадникам держать руки старика и стал стегать его камчой. Старуха кинулась к мужу. А хан все продолжал наносить удары Кубегену. Тогда старуха повернулась к хану и ударила его

клюкой.

— Она подняла руку на хана! — крикнула свита, набрасываясь на старуху.

Жакуб-хан и его джигиты до полусмерти избили старуху и Кубегена, скрутили им руки за спину и со смехом поскакали дальше.

Наступил вечер. Народ стал готовиться ко сну. Становище наполнилось ржанием лошадей, блеянием овец, шумом, криком. Одни искали затерявшихся в толпе родственников, другие — скот, попавший в чужой табун. Но никто не вспомнил Ажар и Батыму. Эту ночь они провели в степи, вдалеке от родного аила. Только к вечеру следующего дня нашли они своих.

Прошло шесть дней. Бедняки, испытавшие много горя от Сагына, уговорились покинуть своего манапа, чтобы попытать счастья у другого. Среди них были Кубеген, Батыма и Кузубек, родственник Аеткула. С вечера заговорщики отогнали свою скотину на гору и спрятались там. Только женщины и Кубеген остались среди народа.

Утром люди собрали шалаши, стали готовиться к дальнейшему переходу. Лишь Кубеген и Батыма не участвовали в общей суматохе.

Посланцу Сагына, привезшему приказ двигаться, они ответили:

— Прошлой ночью у нас заблудился скот. Искать его пошли два человека. Мы не тронемся с места до тех пор, пока они не вернутся.

Когда аил Сагына скрылся из виду, беглецы быстро навьючили волов и торопливо двинулись по пути, ведущему в другую волость. Но не успели они отъехать и двух километров, как Сагын с группой баев догнал их, приказал развьючить лошадей и волов, избил зачинщиков, а имущество раскидал по степи.

— Теперь идите, куда хотели!

Куда пойти беднякам, лишившимся всего? Они бросились перед Сагыном на колени, моля о прощении. Желая умилостивить манапа, они подвели к нему единственную гнедую лошадь Кузубека, просили принять ее в дар и сменить гнев на милость.

Это была отличная лошадь. Сагыну давно хотелось иметь ее в своем табуне, он даже предлагал Кузубеку продать ее. Но Кузубек ни за что не соглашался расстаться со своим конем. Теперь же счастье улыбнулось Сагыну — лошадь сама шла к нему в руки. Он принял подарок и милостиво разрешил всем вернуться в свой аил.

Прошло несколько дней. Народ подошел к китайской границе и двинулся по перевалам

Тянь-Шаньского хребта. Аил Батымы остановился около Акугизского перевала. Утро встало пасмурное, перевал окутался туманом, пошел снег, поднялся северный ветер, который усиливался с каждой минутой, заметая дорогу снегом. Люди и скот скользили по обледеневшей дороге, падали в пропасть. Среди голых камней не виднелось ни одной травинки. Голодные овцы и козы щипали свою собственную шерсть; лошади грызли стремена; верблюды опустились на колени и не могли больше подняться; быки сбрасывали навьюченную на них кладь; люди отморозили руки и ноги.

Перевал гудел от стонов людей, ржания и блеяния животных. А снег все шел. Скоро наступила ночь, но и она не принесла успокоения. Люди и животные сбились в одну кучу. Холод пробирал всех до костей. Когда робкий свет зимнего утра осветил перевал, он казался пустым. И люди и животные — все было засыпано снегом, все замерзло, и только по редкому трепыханию овец можно было понять, что под снегом лежали не камни, а живые существа. За ночь умерло множество людей.

Буран продолжался два дня. На третий выглянуло солнце. Туман медленно рассеялся. Резкий

северный ветер утих. Люди, оставшиеся в живых, с уцелевшим скотом перевалили через горный хребет. Среди них тащились Батыма и Ажар.

На середине перевала Батыма увидела два окоченевших трупа, лежащих рядом с замерзшей лошадью. Это были Кубеген и его старуха.

Народ стал рассеиваться по пограничным городам Китая. Батыма и Кузубек остались в Турпане. У них не было никакого имущества. Единственный бык Батымы пал на перевале, несколько овец и коз Кузубека потерялись в дороге. После долгих скитаний Кузубек нашел пустующую конюшню, хозяин которой, Сабит-ахун, разрешил занять ее под жилье. В конюшне не было ни окон, ни дверей, свет падал из небольшого отверстия на крыше. Пол был земляной. Здесь стоял спертый воздух, пропитанный конским потом и пометом. Кузубек прикрыл кошмой отверстие, служившее дверью, застелил пол сеном. Здесь и разместились Батыма, Ажар и Кузубек с женой и детьми.

Шли дни, недели, месяцы. Наступила зима. Она принесла новые заботы. Откуда достать топливо? У кого просить? У переселенцев ничего нет, а турпанцы даже щепки даром не дают. А откуда взять денег? Что продать? Чем прокормить семью?

2

Темная зимняя ночь сменилась белесоватой зарей. На востоке засияла Чолпон. Звезда будто улыбалась в небе, прощаясь с землей. Вот она исчезла. Медленно всплыло солнце, закутанное в пурпур.

Земля ожила. Люди принялись за привычную работу. От сильного мороза нельзя было выйти на улицу. Ажар вместе с детьми Кузубека, Талыбом и Кубатом, лежали на соломе. Кузубек ранним утром, заткнув за пояс маленький топор, отправился на поиски дров и еще не возвращался. Батыма и жена Кузубека, Айнагуль, дрожа от холода, сидели возле детей.

Только к вечеру открылась кошма, заменяющая дверь. В жилище ворвалась струя холодного воздуха. Вошел Кузубек с небольшой охапкой хвороста за спиной. Он был весь в снегу, усы и борода покрылись ледяной корой.

— Это все, что ты принес? — спросила Айнагуль.

— Что мне было делать? Мой топор отвязали турпанцы. Этот хворост я собирал голыми руками.

— Апа, я замерзаю, — заплакала Ажар.

— Потерпи немножко, — ответила Батыма и окоченевшими руками плотнее закутала Ажар в старенькую кошму.

Все принялись разжигать хворост, принесенный Кузубеком, но ветер, крутя снежинки, врывался через отверстие в крыше и гасил огонь. Дым ел глаза. Наконец затеплился маленький огонек. Постепенно жилище стало согреваться. Снег, покрывавший пол и стены, оттаял. Но пищи не было. Все легли голодные.

Наутро Кузубек снова отправился за хворостом. Батыма и Айнагуль тоже вышли из жилища и стали обходить турпанцев, надеясь раздобыть у них пищу. Вечером они принесли домой немного чечевицы и маленький хлебец. Кузубек еще не возвращался. Все с нетерпением ждали его, надеясь что он принесет хворосту. Занятые разговором, они не заметили, как вошел Кузубек. Вид его был страшен. Он весь посинел.

— Что случилось?

— Принес хворосту?

— Пропади он совсем, — с трудом проговорил Кузубек. — Все покрыто снегом, нет ничего заметного для глаза, доступного для рук.

Младший сын Айнагуль, Кубат, плаксиво за-

тянул:

— Апа…

— Айланайын, что тебе?

— Есть хочу!..

— И я хочу. Я озяб. Я голоден, — заплакал другой. Заплакала и Ажар.

Батыма, как только узнала, что Кузубек вернулся с пустыми руками, сейчас же куда-то ушла. Через, некоторое время она внесла вязанку камыша.

— Выпросила у хозяйки, обещала за это выстирать ей белье, — сказала она.

Половину камыша и хлеба оставили на завтра и принялись варить чечевицу. К вечеру маленький Кубат захворал. На следующий день ему стало совсем плохо. Айнагуль не знала, чем помочь сыну. Батыма, отрабатывая взятый камыш, целый день провела на холоде, полоща белье. Вечером слегла и она. Болезнь была тяжелой, Батыма не могла подняться с постели, всю ночь она бредила.

— Единственная… дочь моя… что с тобой будет? Подойди ко мне… Убит Аеткул… Ай! Где ты?.. Возьми Ажар, возьми… Озябла? Накормить тебя?.. — шептали ее посиневшие губы.

Ажар не отходила от матери. Сердце ее сжималось, предчувствуя беду.

— Апа, джаным, апа!.. Проснись… открой глаза, посмотри на меня. Скажи хоть одно слово.

Батыма открыла глаза, посмотрела на дочь. Она хотела что-то сказать, но язык не повиновался ей.

— Ажар! — с трудом произнесла она. Из ее груди вырвался последний вздох, и Батымы не стадо.

Батыму похоронили на краю кладбища.

Ажар осталась круглой сиротой. Теперь всякий мог распоряжаться ею, приказывать ей.

Наступил март. Люди и животные, отощавшие за долгую зиму, обрадовались теплу. Беженцы-киргизы в борьбе с голодом распродали остатки своего скудного имущества и последний скот. Теперь у них не осталось ничего. В поисках пропитания они стали рассеиваться по окрестным городам и селам. Их одежда, сшитая еще до бегства, превратилась в лохмотья и висела клочьями, как шерсть овец весной. На дорогах то и дело попадались трупы распухших от голода киргизов. Исхудавшие, изможденные женщины и дети двигались, как тени. Из рук в руки передавались киргизские девушки и дети, проданные родителями в приступе отчаяния. Цена им — мешок чечевицы.

Не выжил и Кубат. Турпанцы не разрешили

похоронить его около Батымы, а потребовали, чтобы родители купили для него могилу. Где же Кузубеку взять для этого денег? Они и сами были накануне голодной смерти. И вот ранним утром Кузубек отнес труп сына к стене, окаймлявшей поместье богатого турпанца, выковырял в ней отверстие и положил туда мальчика. Так похоронил он своего сына Кубата.

Часть беженцев отправилась в Какшаал, где жили китайские киргизы. Кузубек хотел пойти с ними, но Сабит-ахун не отпустил его. Он потребовал уплаты несуществующих долгов. За щепотку чаю, за кусок хлеба, данный зимой, он теперь требовал денег. Кузубек упал перед ним на колени, умоляя снять долги, но Сабит-ахун оставался неумолим.

— Эй, жена, — обратился Кузубек к Айнагуль.

— Чего тебе?

— Требование Сабит-ахуна страшнее голода. Как быть?

— Откуда мне знать?

— А если продать Ажар? Тогда Сабит-ахун отпустит нас.

— Что ты! Опомнись! — ахнула Айнагуль.

Она вспомнила, как Батыма перед смертью поручила ей Ажар, умоляя заботиться о ней.

Но выхода не было.

Сабит-ахун давно приметил красивое личико Ажар и решил во что бы то ни стало заполучить ее. И он достиг цели. Он дал за нее Кузубеку осла, три сээра денег, один пуд чечевичной муки и простил долги. Кузубек с семьей уехал в Какшаал, Ажар осталась среди чужих людей. Сначала она тосковала, плакала, но постепенно ознакомилась с жизнью в доме Сабит-ахуна и привыкла к ней.

Прошел год. Ажар исполнилось пятнадцать лет. За это время она очень похорошела. Был у Сабит-ахуна друг, старый дунганин Чер. Однажды он увидел Ажар, и красота девушки поразила его.

— Отдай мне Ажар. Проси за нее что хочешь — ничего не пожалею, — сказал Чер.

— Мне ничего не надо, — ответил довольный Сабит-ахун. — Верни издержки по ее содержанию, и я уступлю ее тебе.

Много насчитал Сабит-ахун. Припомнил все, что дал Кузубеку, а еще больше наговорил, чего никогда не было. Чер не возражал, молча отсчитал шестьдесят сээров и взял Ажар. Он твердо решил под старость жениться на молодой девушке, чтобы видеть подле себя цветущую юность и в ее объятиях забыть приближение смерти.

3

Солнце клонилось к западу. Вершину Ала-Тоо окутывали облака, окрашенные заходящим солнцем в розовые тона. Бездонное, безграничное небо обняло всю землю.

По тропинке, ведущей к кладбищу, идут три женщины. Одна из них одета в шелковый пестрый чапан, платок спущен на плечи, на ногах ичиги и кауши. У нее усталое лицо, под глазами большие черные круги. Она еле передвигает ноги. Это Ажар. А ее спутницы — местные женщины. Они остановились на краю кладбища, около одной из могил.

— Джаным, мама! — запричитала Ажар, падая на могилу. — Джаным, встань! Выслушай меня, пожалей! Твою дочь отдают сегодня чужому человеку. Спаси меня, возьми к себе. Мне смерть стала желанней жизни, но бог не хочет взять меня к себе. Как я буду жить с человеком, который старше моего покойного отца? Как мне избавиться от этого горя? У кого просить совета и помощи? Скажи, мама! Кроме тебя, мне не к кому идти…

А в доме Чера справляли свадьбу. Наступила ночь. Гости разошлись. Не обращая внимания

на слезы Ажар, женщины ввели ее в помещение, приготовленное для «молодых», насильно раздели и уложили в постель. Ажар зарылась а подушки и громко зарыдала.

— Творец, зачем ты создал меня рабою? Неужели ты отдашь меня этому старику?

Ажар погрузилась в глубокую думу. В памяти всплыл родной Ала-Тоо, прозрачный и сладкий, как мед, куда она ходила за водой со своей матерью, безграничная степь, где она скакала на лошади с соколом в руке.

Особенно ясно вспомнила она отца, который часто брал ее к себе на седло, и мать, так нежно любившую ее.

Что теперь сулит ей жизнь? Ажар не надеется на счастье. Ведь она знает судьбу младшей жены. Еще с детских лет помнит Ажар младшую жену богача Алымкула, красавицу Айганыш. Тяжелой была ее доля. Айганыш носила хворост, таскала воду, стирала белье, смотрела за ягнятами, доила овец и кобылиц. Нередко палка байбиче гуляла по ее спине.

А что знает Ажар о жизни чужого ей народа? Здешняя жизнь, язык, обычаи непонятны ей.

Скрипнула дверь, в комнату вошел низенький человек, широконосый, рябой, с маленькими

глазками, реденькой седой бородкой.

Ажар похолодела. Вот послышались приближающиеся шаги и сопение Чера. Руки, похожие на когти беркута, скользили по одеялу. Холодное, как змея, жилистое тело улеглось на постели. Ажар скорчилась, хотела бежать, кричать, но силы покинули ее, дыхание перехватило, сознание помутилось. Безжизненное тело попало в холодные объятия старика.

Прошло шесть месяцев. Ажар потеряла для Чера прелесть новизны. Он меньше обращал на нее внимания, заходил к ней только раз в неделю. Две старшие жены Чера стали обращаться с Ажар, как с рабыней, они заставляли ее исполнять всю грязную работу и награждали тумаками. Жизнь ее с каждым днем становилась все тяжелее.

4

Теплая майская ночь. Ясное звездное небо. Вся природа отдыхает, все спит спокойным сном. Легкий ветерок колышет молодые побеги. Только колотушка караульщика нарушает тишину.

Неслышными шагами вышла Ажар из ворот дома Чера. Испуганно оглянувшись по сторонам, она побежала.

Вот кладбище. Вот на краю покоится Батыма. Ажар в последний раз приникла к дорогой могиле. Потом встала и зашагала по степи.

Ажар пошла в сторону Какшаала. Она знала, что Какшаал находится на границе ее родины и там живут китайские киргизы. Там она надеялась найти приют и освободиться от ненавистного Чера.

На рассвете Ажар достигла купы деревьев, растущих на берегу Кум-арыка, и спряталась в их тени. Взошло солнце. Все живое, спавшее ночью, проснулось от его ласковых лучей. Ажар пробыла в своем убежище до вечера. Тело ее ныло, израненные ноги болели. Голод с каждой минутой делался все сильнее и сильнее. И все же вечером Ажар поднялась, чтобы продолжать путь.

Прошло много времени. Приближалось утро. Заалел восток. Ажар успела пройти область Турпана. Теперь она шла по пустыне, лежащей на границе Какшаала. Здесь не было тенистых убежищ, ни капли воды. Лишь кое-где росли кусты саксаула. Кругом пески. Тело Ажар отяжелело, ноги с трудом передвигались по глубокому песку. Долго шла Ажар, но силы покинули ее, и она упала на песчаный холм. Высоко поднялось солнце. Песок накалялся. С трудом доползла Ажар до куста саксаула. Но жаркие лучи солнца проникли через редкие ветви кустарника. Они жгли тело Ажар. Жажда мучила ее все сильнее и сильнее.

— Каплю воды! Один глоток, и смерть была бы для меня легкой! — простонала Ажар.

Но какая вода в песчаной пустыне? Чтобы добраться до источника, нужно идти целую ночь!

Полуденные лучи солнца вертикально падали на раскаленный песок. Зной усиливался с каждой минутой. С каждой минутой усиливались страдания Ажар. Несчастная сняла с себя чапан и набросила на ветви саксаула.

5

Подул холодный ветер. Белые облачка, как барашки, несутся в небе, Ветер гонит и кружит их вокруг вершин Тянь-Шаня. Иногда облако закрывает заходящее солнце, отбрасывает тень на безлюдную, безграничную пустыню Какшаала.

Пустыня охвачена тишиной… Тень облака падает на куст саксаула, под которым лежит Ажар. Ветер щекочет Ажар, играет с ней, будит ее.

Ажар поднимается и снова пускается в путь.

Сумерки сгущаются, приближается ночь. Давно скрылось солнце. Выплыла бледная луна, окутанная золотым сиянием. Ее серебряный свет разогнал глубокую темноту, осветил молчаливую пустыню. И пустыня, как дитя, улыбающееся сквозь слезы, обрадовалось сиянию луны. Она раскрыла свои объятия, дала дорогу Ажар.

Ажар все шла и шла… Вдруг она услышала за собой какое-то завывание. Вой приближался, делался все явственней. Ажар вздрогнула, сердце ее неспокойно забилось.

Стая голодных волков окружила Ажар. Они были настолько худы, что ребра их выделялись из-под всклокоченной шерсти.

Ажар охватил ужас… Она стала поднимать попадающиеся по пути камни и швырять их в волков. Страх придал Ажар силы. Она побежала, забыв про израненные ноги. Но разве отступит жестокий враг? Волки окружали Ажар со всех сторон… Но вот Ажар достигла куста саксаула. В ее голове мелькнула мысль, слышанная в детстве от матери: «Волки боятся огня». Она судорожно обыскала себя, нашла в кармане у себя наполненную коробку спичек…

Быстро зажгла Ажар спичку. Напуганные светом волки немного отступили. Спичка догорела. Волки снова стали приближаться. Обезумевшая от страха Ажар зажигала спичку всякий раз, как волки повторяли попытку приблизиться к ней. Вдруг коробка выскочила из дрожащих рук девушки, спички рассыпались… Ажар подняла коробку, в ней уцелела одна спичка.

Как молния, пронзила Ажар мысль поджечь саксаул. Она поднесла спичку к кусту, и он, высохший от зноя, вспыхнул, как порох. Языки пламени поднялись к небу.

Волки отступили. Ажар вздохнула свободнее. Вся ее надежда, ее спасение заключалось в этом огне. Ее жизнь зависела от него. Потухни огонь — потухнет жизнь Ажар…

А пламя между тем стало утихать. Снова с воем стали приближаться волки. Они окружили Ажар плотным кольцом.

Последняя надежда покинула девушку. Земля, ветер, трава, горы камни — все показалось ей враждебным. Ажар не желала сдаваться без борьбы. Голыми руками стала она разбрасывать тлеющие головешки, но волки осмелели и с визгом бросились на девушку…

Предсмертный стон Ажар, полный безысходного страдания, огласил пустыню.

Перевод Г. Шариповой.

А. Токомбаев
РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ



1

Хмурая степь. Ни волнующегося хлебного поля, ни зеленого луга. Лишь редкие кусты полыни подрагивают от ветра, напоминая продрогших овец, да вдруг пробежит полевая мышь, задрав свой тоненький хвостик.

И небо здесь тусклое, серое. Горы затянуло мглой. Над их вершинами, спеша на восток, обгоняя друг друга, плывут темные тучи.

Ветер поднимает в воздух пыль. Уныло гудят телеграфные провода, протянувшиеся вдоль дороги. Пусто, безлюдно. Да и кому захочется жить в таких неприглядных местах…

Среди заброшенных могил — единственных обиталищ этих пустынных степей — как призрак, мелькнуло и тут же исчезло какое-то существо. Спустя некоторое время призрак появился вновь. Теперь он был не один. Рядом с высокой, точно вытянутой вверх, фигурой появилась низкая, приплюснутая. Промелькнув среди могильных холмов, призраки исчезли, будто спустились в могилу.

— Видно, такие же, как мы, обреченные на голод несчастные, — сказал белобородый Бектур-

ган, усаживаясь на землю.

То ли Бектурган впал в горькие раздумья, то ли его львиное сердце было надорвано мучительным голодом, но только из глаз его текли слезы и крупными прозрачными каплями падали с кончика бороды.

Маленький смуглый мальчик примялся готовить чаныт — жидкую похлебку из толокна, разбавленного водой. Вдруг он увидел, как по морщинистым щекам отца покатились слезы. Мальчик тоже заплакал. Старик вздрогнул. Он никогда раньше не плакал — и поразился своей слабости. Бектурган поспешил смахнуть слезы обтрепанными полами халата.

— Не плачь, сынок, это я так… — слабым голосом успокаивал он малыша.

Сын впервые почувствовал в голосе отца усталость, а его неожиданные слезы произвели на мальчика тяжелое впечатление.

— Ты вспомнил маму, атаке? — посмотрел мальчик на отца печальными глазами. — А солнце уже всходит. Нам пора уходить.

Мальчик впервые заговорил с отцом так рассудительно, по-взрослому. Для Бектургана это было ново — ведь он считал сына несмышленышем, малым ребенком. Слезы опять затуманили стари-

ку глаза. Он поднялся на ноги, притянул сухими, жилистыми руками сына к груди и поцеловал в обе щеки.

— Да, милый, пора. Солнце уже поднимается. Будем продолжать путь…

Малыш протянул отцу коночок с чанытом.

— Атаке, где вы похоронили маму? — спросил он. — Почему не показали мне? Я на ее могиле, когда вырасту, большой кунбез поставлю.

Бектурган не ответил. Он долго сидел в глубоком раздумье, а мальчик, печально опустив голову, стоял перед ним и ждал ответа.

Перед глазами Бектургана встали картины пережитой недавно трагедии. Перевал Ак-Огуз. Здесь погибла его бедная жена. Бектургану кажется: она провалилась в глубокую трещину ледника и пытается выбраться из нее, напрягая последние силы, цепляясь пальцами за гладкие скользкие ледяные стены…

«…Где ты, бесстрашный Бектурган с львиным сердцем? Как ты мог покинуть меня в этих страшных льдах! Где твоя сила, где твоя храбрость, муж мой! Дай мне взглянуть на моего Омурбека! Омурбек, сын, где твой отец, жив ли он?!»

Бектурган явственно слышал душераздирающие крики несчастной, молившей о спасении.

Свет помутился перед его глазами, он забыл, где находится, что с ним, сознание чуть не покинуло старика. Коночок выпал из его рук и покатился. Старик испугался, подхватил кожаный сосуд, из которого выливался чаныт. А Омурбек припал к земле и с жадностью принялся пить смешавшуюся с пылью похлебку.

Острая жалость кольнула старика. Он поднял мальчика с земли:

— Дорогой мой, звезда моя!.. На, допей вот это, — подал он сыну коночок. — Скоро мы придем в аил. Там найдем талкан… — Помолчав, Бектурган спросил: — А ты… песенку свою не забыл?

— Нет, атаке, не забыл. Я еще одну песенку знаю. Помнишь, ее пел тот мальчик?

— Скоро ты станешь джигитом, — ласково гладил Бектурган черноволосую голову сына, — а у твоего отца борода станет белая-пребелая. Ты будешь седлать мне коня, будешь крошить мне мясо… Вырастешь ли ты щедрым, сын мой, или будешь скупым?

— Я буду щедрым, атаке, — твердо сказал Омурбек, допив оставшийся в коночоке чаныт. — Для таких голодных странников, как мы, я не пожалею ни лепешек, ни талкана.

Бектурган улыбнулся. Его морщинистое лицо

сморщилось еще больше и напоминало сушеное яблоко. Он опрокинул пустой коночок над ладонью и выцедил из него две капли сероватой жидкости. Слизнув капли, Бектурган внимательно осмотрел через широкое горлышко внутренность коночока, тяжело вздохнул и, поднявшись с земли, сказал:

— Ну, милый, вставай, пошли дальше.

Омурбек взял у отца коночок и на ходу, как котенок, облизывал горлышко. Бектурган шел, обхватив руками закинутый за спину и прижатый к пояснице посох. С наклоненной вперед головой, втянутым животом, он сбоку походил на обновленную луну. Бектурган молчал, только тяжелые вздохи нарушали безмолвие степи.

— Атаке! — окликнул его шагавший следом Омурбек. Бектурган, выпростав из-за спины посох и опершись на него, обернулся к сыну.

— Я отстаю, атаке!

— Шагай проворней, милый. До аила совсем близко. Я уже слышу запах топленого сала. Вон в том овраге стоят юрты, идем быстрее…

Мальчик ясно представил себе хлеб, масло, талкан в кислом молоке. Он стал проворнее перебирать своими тонкими ножонками. А вкусный запах поджаренного сала все сильнее щекотал

ноздри и заставлял глотать слюну.

Бектурган не ошибся. Когда они подошли к оврагу, то увидели четыре юрты. Та, что стояла повыше, была покрыта белой кошмой и походила на скорлупу куриного яйца. Три других — серые. По сизому дымку, струившемуся над белой юртой, не трудно было догадаться, что там, в, очаге, горел курай, и приятный запах сала, в котором, по-видимому, жарились боорсоки, шел именно отсюда. Путники направились прямо к белой юрте.

— Салам алейкум! — со словами приветствия вошел Бектурган в юрту.

Человек с круглой черной бородой, одетый в теплый бешмет, не удостоил вошедших взглядом. Он продолжал возлежать, опершись на локоть. Мальчик устремил голодный взор на медную чашу, доверху наполненную боорсоками. Хозяйка юрты — молодая, красивая женщина с румяными щеками — метнула злобный взгляд на Бектургана. Она молча отодвинула медную чашу и сняла с очага котел. Худенький мальчуган, сидевший у очага и подкладывавший в огонь курай, поднял два боорсока, выпавшие из шумовки, один тут же отправил себе в рот, а второй отдал Омурбеку. Тот схватил его с ловкостью ястреба, настигшего

добычу.

Бектурган, не получивший ответа на приветствие, был обижен. «Будь я сыт и к тому же молод, разве не повалял бы этого мерзавца в золе?» — подумал он.

— Господин! — обратился он вторично к хозяину юрты. — Богатый может сказать все, что ему взбредет в голову, а бедный — съест все, что попадет под руку... Несчастье свалилось на нашу голову, и мы вынуждены ходить и просить милостыню. Подобные нам турпанчи, видно, одолевают вас. Но голод заставляет забыть про стыд и совесть.

Человек с черной бородой и на эти слова Бектургана не обратил никакого внимания. Он покосился на старика и еще удобнее устроился на подушках. Тогда Бектурган обратился к хозяйке:

— Сноха! Дайте хоть моему мальчику поесть что-нибудь.

Женщина будто и не слышала слов Бектургана. Она торопливо поднялась с места, на ходу вытащила из кармана чолпу, закинула назад и, позвякивая серебряными монетами, вышла из юрты.

Переносить унижение для мужчины хуже смерти! Поведение хозяев юрты окончательно

вывело из себя Бектургана. «Самое большее, что они сделают, — это ничего не подадут и выгонят из юрты», — решил старик.

— О создатель! Это не юрта, а могила! Обитатели ее не живые люди, а покойники! Да и покойники не остались бы равнодушными и помогли голодным! Здесь логово злых духов, шайтанов! — в сердцах сказал Бектурган.

Хозяин, не ожидавший от нищего подобной дерзости, почувствовал себя так, будто на него выплеснули ведро холодной воды.

— Кто ты такой? — крикнул он, вскочив на ноги.

— Я тот, кто переломил хребет самому Казбаю, считавшему себя богом Семиречья! Тот, кто растоптал его, смешав с грязью! Я тот самый Бектурган, которого знают все киргизы и казахи! «Боевой конь — к случаю», — говорит пословица. Вот теперь я стою перед тобой, жалкое ничтожество, и выпрашиваю кусок хлеба! Но придет еще другая жизнь, и затянутся на моем сердце раны. Тогда ты первый будешь приветствовать меня!

2

Прошел день. К той же юрте приковыляла нищенка с ребенком на руках. Только она хотела переступить через порог, как огромный черный пес подскочил сзади и впился зубами в ее ногу.

— Помогите! — жалобно застонала бедная женщина, падая на порог. Черный пес помотал головой, выбросил изо рта клочки изодранного чулка и с злобным рычанием забегал вокруг юрты.

Из раненой ноги струилась кровь. Женщина, прижимая к груди своего младенца, вползла в юрту.

— Милая, добрая сноха. Возьми себе на воспитание моего несчастного ребенка, — стала она умолять молодую хозяйку. — Ни на этом, ни на том свете я никогда не буду требовать его себе. Бедненький! Сколько страданий он перенес с нами. Отец его умер от голода. И у самой у меня душа подступила к горлу.

Несчастная женщина протягивала хозяйке завернутого в лохмотья ребенка. Но никто нн слова не проронил в ответ.

— Мусульмане! Возьмите его. Если он умрет

— похороните, а вырастет — будет вам опорой... Не дайте же ему умереть, пусть всю жизнь он будет вашим преданным рабом.

Молодая краснощекая женщина, оплетавшая цветными нитками чий, поднялась и уставилась дикими глазами на сидевшего тут же и латавшего чокои бледного мальчугана:

— Ой, чтобы ты подох! Выпроводи скорей эту тварь! Что это за существо — албарсты или жолмогуз? Гони ее, а то, не дай бог, еще приснится! Ну, что ты сидишь, как истукан! — продолжала она кричать на мальчугана, замахиваясь связкой чия. Мальчуган шмыгнул носом, глазами полными скорби посмотрел на женщину с ребенком и молча направился к двери.

— Айланайын келин! Я вижу, ты добрая, ты не обидишь человека. Сам бог отплатит тебе за твою доброту. Возьми ребенка, айланайын! — умоляла женщина красавицу и, не обращая внимания на ее ругань, с мольбой смотрела на нее.

— Чем твой ребенок лучше других? Такие дети теперь валяются под каждым кустом. Их раздирают собаки и хищные птицы. Пусть они подохнут, если бог не дал их мне самой! Уходи! Уходи и не надоедай! — с яростью кричала хозяйка, пиная женщину ногой.

— Дочь моя! Зачем ты обзываешь меня нехорошими словами? Не подашь — не надо, силой я не отниму у тебя ничего. Но не надо пинать — я ведь тоже человек… Если одна половина луны светлая, то другая темная. Если на чалого коня надеты железные путы, то найдется чем их перепилить! — сказала бедная женщина и залилась слезами. Но хозяйка не унималась:

— О несчастье! И днем они перед глазами, и во сне нет от них покоя. Вчера этот вор, Бектурган, надоедал… Не знаю, в чем душа у него держится, а все норовит песни петь. Умели бы хоть милостыню просить, как следует. Так еще детей своих суют… Когда вас только смерть заберет! Уходи, чтобы я не видела тебя больше! — неистовствовала хозяйка. Вытащив из очага горящую хворостину, она замахнулась на нищенку. Голодный ребенок жалобно заплакал… Несчастная женщина, припадая на покусанную собакой ногу, покинула аил.

Поднявшись из оврага, нищенка увидела Бектургана и его сына. Они искали среди едва пробивающейся зеленой травки текей и тюльпаны и, откопав корешки, поедали их.

Нищая положила ребенка у самой воды, присела на одно колено и обратилась к Бектургану:

— Аке, айланайын аке! Не найдется ли у вас чего-нибудь поесть?

— Есть, есть, дочь моя. Подойди поближе, — ответил он и, развязав один из двух узелков в старом бязевом кушаке, где у него было припрятано с десяток боорсоков, отсчитал половину и отдал женщине. Она тут же отправила их в рот, разжевала и стала жеваным хлебом кормить ребенка.

— Откуда ты, дочь моя?

— Из рода Бугу, аке. Спасибо вам, — ответила женщина голосом человека, перенесшего тяжелую болезнь.

— А я из рода Сарыбагыш, дочь моя, — отрекомендовался старик. — Больше ничем не смогу тебе помочь. Давай наберем текей, поедим и тронемся дальше. Эти боорсоки я выпросил вчера у Бобончу.

— Я сегодня была у него. Их собака укусила меня за ногу. А его жена пинками выставила меня из юрты. Оказывается, бог создал некоторых людей только для того, чтобы другие издевались над ними, аке…

Она потрогала рукой искусанную ногу и заплакала.

— Аке, — вздохнув, сказала она, — сегодня,

видимо, я не смогу тронуться с этого места. Вы меня не ждите.

Бектурган промолчал. Он побродил по полю, насобирал горсть текея и вернулся к женщине.

— На, дочка, поешь пока это. А мы отправимся потихоньку, — сказал он, подавая ей текей. Затем развязал второй узелок и высыпал ей на ладонь половину талкана. Потрескавшиеся губы нищенки дрогнули, но она не издала ни единого звука. Когда она пересыпала талкан на кончик грязного одеяла и стала завязывать узелок, по ее щекам вновь потекли слезы.

— Омурбек! Иди, милый, сюда! — крикнул Бектурган сына, все еще занятого сбором текея у родника.

Глотнув воды из коночока, Бектурган тяжело вздохнул.

— Прощай, келин. Наберешься сил — двигайся дальше. Живы будем, встретимся. — Нагнувшись над ребенком, он нежно потрогал его пальцами за носик.

Женщина, видимо, хорошо понимала всю безвыходность положения, в котором она очутилась. Она тихо плакала. Ей очень не хотелось расставаться с этим добрым, отзывчивым человеком, но идти с ним у нее не было сил, а задерживать

его она не могла.

— Спасибо вам, аке, — поблагодарила она Бектургана. — Спасибо за вашу доброту. Меня… меня зовут Айша. Я знаю, жить мне осталось не долго. Если мы больше не встретимся, прочтите молитву из корана за упокой моей души. Самое дорогое для меня — мой несчастный ребенок. Что с ним станет? Кому он будет нужен?

Бектурган не нашелся, что сказать ей в утешение.

— Прощай, дочь моя. Не отчаивайся, все может измениться к лучшему, — пробормотал он и отправился в путь. Омурбек положил в рот оставшийся в руке текей и поспешил за отцом.

Старик шел и все оглядывался назад. Он не мог забыть несчастную женщину, провожавшую его со слезами на глазах.

Бектурган надеялся к вечеру дойти до Караконуза. Но он так ослабел, что надежда его не сбылась.

Когда багровое, будто охваченное пожарищем, солнце пряталось за горизонт, путники брели среди могил.

«Не здесь ли в тот раз промелькнули силуэты? Что с ними стало?» — подумал Бектурган.

— Гав-гав! — раздался вдруг из-за могильно-

го холма собачий лай, заставивший путников вздрогнуть от неожиданности. Мальчик в страхе закричал. Они отскочили в сторону. Откуда-то выбежал огромный черный пес и лег у провалившейся могилы. Бектурган догадался, что собака охраняет своего хозяина.

— Эй, кто тут есть?! Выходи! — крикнул Бектурган. Но никто не отозвался. Тогда он присел у края могилы и стал прислушиваться — не отзовется ли кто. Прошло несколько минут. Никто не отозвался и не появился. Маленьким Омурбеком овладел страх. Ему почудилось, что из могилы слышится чей-то голос, а их окружают мертвецы в белых саванах. Вцепившись в отцовскую руку и испуганно озираясь, он прошептал:

— Атаке! Мне страшно!

— Не бойся. Кого ты испугался? У этой собаки здесь, наверно, хозяин. Собак не надо бояться!

— Я не собаки боюсь, а мертвеца, про которого рассказывала бабка-колдунья. Как бы нас мертвецы не окружили!

— Бабка-колдунья врет. Я пойду, разбужу хозяина этого пса, наверно, он спит, — сказал Бектурган.

Отогнав собаку камнями, он спустился в могилу. Собака, отбежав в сторонку, легла, не своди

глаз с обвалившейся могилы. Скоро Бектурган вылез.

— Тут, оказывается, турпачи с семьей поселился. Вот смотри, что он мне дал! — показал Бектурган сыну горсть ячменя и нож.

Он солгал: все это он нашел около двух умерших с голоду людей.

— Пойдем, поджарим и покушаем, — сказал он сыну, будто радуясь удаче. — Пошли!

Едва они сделали несколько шагов, как собака вскочила, принюхиваясь, обежала вокруг могилы, села и, задрав морду, жалобно завыла.

Бектурган изредка оглядывался назад, быстро удаляясь от могильника. Вот уже не слышно воя собаки, а вот уже и собака исчезла из виду…

3

Маленький Омурбек то выбежит с плачем из одинокого шалаша, то снова скроется в нем.

— Атаке! — зовет он отца.

Приподняв ногу, он трогает подошву, пораненную об острый пенек камыша, и снова заливается слезами:

— Ата! Атаке!

Но отец не слышит сына. Он ушел. Омурбек смотрел туда, где скрылся отец. Перед ним расстилалась широкая равнина, за которой вздымались к небу высоченные горы. Вдруг ему вспомнился могильник. И снова померещились вставшие из могил скелеты покойников. Накрытые белыми покрывалами, они подходили к нему все ближе и ближе. Омурбек съежился, вполз в шалаш и забился в угол, с ужасом глядя на толпившиеся снаружи скелеты. Ему показалось, что они даже зубами стучат, разговаривая между собой. Наконец, он в изнеможении уснул. Но и во сне мертвецы не давали ему покоя: они гонялись за ним и чуть было не поймали, но на выручку подоспел отец…

А в это время к холму, что высится по ту сторону

Токмака, подходил нищий. Это был Бектурган. Он ни на минуту не переставал думать о своем Омурбеке: «Небось, съел уже горсть талкана и теперь лежит на солнцепеке».

На холме, к которому подходил Бектурган, — много людей.

— Увидите, я заставлю вас убить друг друга!.. — раздался из толпы чей-то властный голос.

Бектурган ничего не понял. Что тут происходит? Он протиснулся сквозь толпу.

— Салам алейкум! — поклонился он, приложив руку к груди.

Небольшого роста человек, с круглым брюшком и козлиной бородкой, поправил на голове огромную чалму, отхаркавшись, сплюнул на кучу свежей, только что вынутой из ямы земли.

— Ой, вор Бектурган, это ты? Откуда тебя принесло? Вот они — твои ученики, — сказал он злобно, показывая пальцем на молодого джигита со связанными за спиной руками.

Джигит сидел на раскаленной солнцем земле, он не поднял головы и молчал. Бектурган все еще не понимал, что здесь происходит.

— Какой мой ученик? — сказал он в ответ на слова человека в чалме.

— Это такой же вор, как и ты! Хулиган! Он об-

воровывает нас, как будто мы виноваты в том, что он убегал в Китай. Так чьи же они ученики, как не твои? Ну!

Бектурган не переносил грубости. Глаза его налились кровью.

— Супа, я не понял твоих слов. В чем ты меня обвиняешь?.. Ты сам, насколько мне помнится, гриф, питающийся падалью! — ответил ему Бектурган.

Люди слушали молча. Все смотрели на Бектургана. Кто-то осторожно дернул его за рукав, как бы предупреждая, чтобы он вел себя сдержаннее.

— Замолчи! Я быстро отправлю тебя на виселицу! Эй, где вы там?! — крикнул молдо своим джигитам.

— Если ты меня сегодня повесишь, завтра найдутся люди, перед которыми тебе придется держать ответ. Я не ягненок, которого взял да прирезал — и дело с концом. Я — Бектурган! Попробуй меня взять! За меня есть кому постоять!

Молдо, видимо, одумался и остановил своих джигитов.

— Как ни говори, а Бектурган все же герой, — с восхищением заметил один из присутствующих своему соседу. Он знал старика: — Это старый волк! Он и жизни своей не пощадит!

Джигит со связанными руками поднял голову и обратился к Бектургану:

— Старик! Эта могила роется для меня! — Запнувшись на миг, он продолжал: — Эта могила моя! Ее роют для меня два моих близких друга. Их заставил молдо Супа. Я несу наказание за горсть талкана.

Охваченный яростью, джигит стал швырять ногой выбрасываемую из ямы землю. Его глаза горели, как у разъяренного в схватке беркута.

Никто не хотел верить, что его закопают в эту яму.

«Все это делается для острастки, — думали про себя собравшиеся. — Если бы решили казнить, то давно бы повесили вон на той виселице».

— Эй, вороны! Отойдите и станьте вон там, подальше. Сейчас тройка будет выносить свой приговор!

Толпа подалась назад. Около молдо Супа остались двое: русский и киргиз. Арестованный джигит так и сидел на куче вынутой из ямы земли. Неподалеку от него совещались судьи.

— Что это за люди? — спросил Бектурган стоявшего рядом с ним человека.

— Это так называемая тройка. Один русский И два киргиза. Что они решат — то и закон. Не-

счастных, страдающих от голода беженцев они обвиняют в воровстве, и те должны гибнуть от рук этой тройки. Вы сами видите, что они делают! Тот джигит со связанными руками был домашним работником у молдо… Он без разрешения взял у своего хозяина горстку талкана и съел. Да и нищим подал, видимо. Вот за это над ним и собираются теперь учинить расправу.

Бектурган сдвинул брови, но не проронил ни слова. В его голову запали мрачные мысли… Глаза, устремленные на связанного джигита, еще больше налились кровью.

— Эй! Теперь можете подойти поближе! — объявил толстопузый Митрий, хлопая огромными ладонями. Протяжно свистнув, он поднялся на ноги.

— Вот что, миряне, — начал молдо Супа, — оглашаю решение тройки. Как вы видите, один из могильщиков — Эшим. Есть подозрение, что он является сообщником вора Исана. Тройка решила: если он хочет снять с себя подозрение, пусть кетменем отрубит голову Исану. Если откажется выполнить это решение, тогда сам вместе с Исаном ляжет в могилу! Таков наш приговор. Вы будете свидетелями приведения его в исполнение. Ну, Эшим! Тебе самому предоставляется

право избрать то или другое — решай. Это — требование шариата, — закончил Супа.

По толпе прошел ропот негодования. Всех возмутил жестокий, несправедливый приговор тройки. Многие не смогли удержать подступивших слез, послышались всхлипывания. Более смелые вслух высказывали свое негодование.

— Я не согласен ни с тем, ни с другим, молдоке, потому что ваше решение неправильно, — ответил Эшим.

На его спину опустилась плеть молдо.

— Это произвол! Вы же сами говорили, что Керенский освободил народ от царского гнета! Где же справедливость?! — крикнул кто-то в толпе.

— Замолчи! — раздался гневный голос молдо, подобно острию кинжала вонзившийся в сердце каждого. Толпа притихла.

Погруженный в мрачные думы, Бектурган стоял молча, опершись на посох и низко опустив голову. Он даже не услышал грозного окрика молдо.

— Я не хочу брать греха на свою душу. Убей меня, если хочешь! Чем моя жизнь дороже жизни Исы? — хриплым, дрожащим голосом сказал Эшим и швырнул кетмень в сторону.

Бывают же такие сильные духом люди! Ни один

мускул не дрогнул на лице Исана. Расстаться с жизнью ему, казалось, так же легко, как перейти из одной юрты в другую. Он окинул взором собравшихся и обратился к ним со следующими словами:

— Граждане, народ! Я не прожил и двадцати лет. Совесть моя чиста, как материнское молоко. За что же я должен умереть?.. Я обессилел от голода и не мог работать. Но вором я никогда не был! Раз ты решил меня убить, так убивай сам! Пусть никто не мучается из-за меня! Пусть тебя утешит моя кровь. Придет время, и сам бог накажет тебя за твои злодеяния!

— Замолчи, собака! В куски изрублю!

— Кровопийца! Свари меня, ешь! Скорей! Смерть от смерти ничем не отличается. Даже злейший враг не позволит себе издеваться над побежденным! Да проклянут тебя духи твоих предков!

Раздался пронзительный, душераздирающий крик женщины:

— Айланайын молдоке! За что ты хочешь убить Ису? В чем он провинился? Разве он не может отработать за чашку талкана? Не убивай его, молдоке!

Женщина протиснулась сквозь толпу и со сле-

зами бросилась в ноги молдо.

Невозможно передать, каким жалобным голосом умоляла бедная женщина, чтобы тройка смилостивилась над Исаном. Она валялась в ногах поочередно у каждого члена тройки. Но молдо был неумолим.

— Уберите эту женщину! — крикнул он.

— Единственная моя надежда! Как я буду жить без тебя! — заголосила женщина, вырываясь из цепких рук джигитов молдо. Изодранное платье обнажило ее исхудалое тело.

Слезы близкого человека растрогали мужественного Исана:

— О народ! Дайте мне взглянуть на свою сестру, обнять ее в последний раз…

Толпа молчала. Никто не осмелился поднять головы.

— Ты будешь убивать или нет?! Закапывайте тогда обоих! — послышался возглас.

— Нет, не буду! Я не хочу его убивать!

— Эшим! Айланайын, друг мой, не умирай! Ведь не ты меня убиваешь! Прошу, не мучай меня. Покончи со мной одним ударом, — просил Иса. Он сел у самого края страшной ямы.

— Нет, — ответил Эшим, — моя жизнь не дороже твоей! Чем принимать грех на свою душу,

лучше я умру вместе с тобой. Мы вместе провели детство, вместе и костьми ляжем! Пусть наши сердца вместе перестанут биться!

— Если ты умрешь, я и на том свете с тобой не помирюсь! Слышишь? Если ты мне верный друг, — не мучай! Руби скорей! Только убей с одного раза! И не забывай обо мне. Расскажи правду всем, кто меня вспомнит. Закажи коран за упокой моей души…

— Сын мой!.. Айланайын!.. Никто тебя не забудет! — крикнул Бектурган и, подняв свою палку, гневно потряс ею. — Я останусь верным рабом творца, создавшего твое сердце! Проклятие тем, кто отнимает у тебя жизнь!

У Эшима голова шла кругом, он растерялся, почувствовал вдруг, как теряет рассудок. Ему хотелось настоять на своем, а это значило — умереть самому. С другой стороны, мозг сверлили слова друга: «Я и на том свете с тобой не помирюсь! Слышишь!..»

— Не мучай ни себя, ни меня! Быстрей, друг мой, ну! — настойчиво упрашивал Исан.

Эшим схватил кетмень.

— Эх, жизнь проклятая! — крикнул он и, не помня себя, занес кетмень над головой друга. Огонек безумия сверкнул в дико раскрытых глазах

Эшима. Он окончательно потерял отчет в своих действиях. Предсмертный крик и глухой удар кетменя заставили толпу охнуть и зажмурить глаза.

Плечи обезглавленного Исы вздрагивали, точно крылья подбитой куропатки…

4

Хлеборобы, исполосовав плугами покрытое бархатной зеленью поле, распрягли волов и расположились отдохнуть в тени деревьев. Подошел Бектурган и сел неподалеку от них. Рядом на лужайке паслись домашние гуси. Пощипывая молодую травку, они переваливаясь, шагали друг за другом длинной цепочкой, точно караван верблюдов. В арыке плавали утки. Вытянув длинные шеи, они опрокидывались вниз головой, доставая со дна какой-то корм. Вдруг они принимались гоняться, отнимая друг у друга добычу. Убегая от преследователей, утка старалась быстрее проглотить застрявший в горле кусок. Если это ей не удавалось, то погоня продолжалась до тех пор, пока сильная не отнимала добычу у слабой. Сидевший на берегу арыка Бектурган с интересом следил за хлопотливой возней птиц. Вот она — борьба за жизнь! Забыв про усталость, он углубился в думы. Вспомнились некоторые шалости, которые он позволял себе в юности. Бектурган не забыл еще вкуса утиного и гусиного мяса! От далеких воспоминаний у него даже слюнки потекли. Стайка уток подплыла к самому

берегу. Бектурган взмахнул палкой. Испуганные птицы, крякая, взмахивая крыльями, разлетелись в стороны.

«Сотворил бы бог человека наподобие утки, — думал Бектурган. — Тогда люди нашли бы себе пищу в любой лужице, не было бы голодных. И питались бы мы с Омурбеком одними цветочками… Не знали бы никаких забот. Так бы и жили, пока не отрезали бы нам головы и не бросили в котел… Да, сильные проглатывают слабых, как змеи. Почему так устроен божий свет? Нет, не должно быть так. Человек родится для счастья! Но лучше смерть, чем жизнь без радости и счастья!..»

Посидев и поразмыслив, Бектурган, наконец, поднялся и отправился дальше. Он шел, стараясь не обращать внимания на трупы умерших от голода, которые иногда попадались вдоль дороги. «В один из дней и меня постигнет та же участь», — думал он. Бектурган вспомнил своего маленького Омурбека, и ему стало больно от мысли, что после его смерти сын останется сиротой. Вспомнился и старший сын Исман, работавший батраком у бая Чыргы. «Дожить бы мне до того счастливого дня, когда оба сына будут вместе. Тогда и умереть не страшно».

Где-то в стороне громко крикнула ворона. Бектурган от неожиданности вздрогнул. Ворона, взмахивая крыльями, испуганно косилась на труп женщины, распростертый недалеко от дороги. Бектурган присмотрелся и понял, что напугало мрачную птицу: умершую мать тормошил за грудь ребенок. Бектурган подошел, посмотрел в лицо, тронул окоченевшую руку и невольно отшатнулся — он узнал женщину, с которой встречался у ручья неподалеку от юрты бессердечного бая. Нагнувшись, Бектурган поднял ребенка. Голодный мальчик прильнул к старику, открыл ротик, пытаясь найти материнскую грудь.

— Эх, жизнь! Несчастная, она не ошиблась! — со вздохом сказал Бектурган. Он вспомнил последние слова нищей: «Зовут меня Айша. Если больше не встретите меня, то прочтите молитву за упокой моей души». Присев, Бектурган пожевал молотое толокно и стал с языка кормить ребенка. Пососав немного, ребенок стал засыпать. Тогда Бектурган положил его на землю и подкопал палкой промоину высокого берега реки, затем собрал и перетащил к промоине кучу камней. Закончив приготовления, он сел около умершей и пошевелил губами.

Бектурган — человек неграмотный. Откуда ему было знать слова молитвы, которую читают на похоронах! Поэтому он тут же сочинил молитву сам:

— О всемогущий! Устрой душу странницы Айши в раю! О мать земля сырая! Избавь несчастную женщину от мучений, облегчи ее участь в могиле… — Пошептав эти слова, он опустил тело покойницы в промоину.

«Однодневному знакомому продолжай кланяться тысячу дней». Этот обычай предков Бектурган выполнил. Оставив свой посох у свежей могилы, от отсчитал сорок шагов и вернулся назад. Затем сгреб руками оставшуюся вокруг могилы землю, вновь отсчитал сорок шагов и трижды прочитал давно заученную короткую молитву «Кулкувалло». Воздев руки к небу, он провел ладонями по лицу и бороде:

— Оумин.

Исполнив свой долг, Бектурган бросил прощальный взгляд на свежую могилу, возникшую на этом пустынном, неприветливом месте, и отправился своей дорогой…

Подойдя к речке, он подоткнул за пояс полы халата и, готовясь перейти на другой берег, постоял, выбирая удобное для переправы место. Через

некоторое время он уже шел по воде, одной рукой опираясь на палку, а другой придерживая оттопырившийся у груди халат. Наступив на острый камень, он поранил палец на ноге и от сильной боли невольно остановился. Боль утихла, и он снова зашагал…

— Эй, стой! Стой! — закричал кто-то сзади, едва он ступил на берег. Бектурган остановился. Оглянувшись назад, он увидел, что его догоняет верхом на неоседланной гнедой кобыле старший сын Митрия. Бектурган испугался. Он с тревогой ждал приближения верхового, о чем только не передумав за эти секунды. «Немало несчастных перебил этот байский сын! Видно, очередь за мной! — решил Бектурган и тут же подумал: — Нет, пусть только тронет, я ему не спущу!»

Байский сынок гнал свою кобылу во всю прыть, не боясь, что та может споткнуться о камни и, упав, придавить седока. Не переставая хлестать кобылу камчой, он подскакал к Бектургану и начал напирать на него грудью разгоряченной лошади.

— Ой-бой! Что тебе надо? Не трогай бедного старика! Ведь я тебя знаю, ты сын бая Митрия! — обратился Бектурган к седоку, как старый знакомый.

— Вор! Ты вор! — кричал сын Митрия и, взмахнув длинной плетью, обвил ее концом ногу старика. Он потянул плеть, и Бектурган запрыгал, как спутанный конь. От удара у старика заныли кости, но вдруг он почувствовал прилив сил.

«Смерть? Нет, я сам его убью!» — Бектурган поднял палку, крепко сжал ее в руке, принял оборонительную позу…

Парень не унимался. Горяча коня, размахивая плетью, он наскакивал на старика, пытаясь ударить его снова. Но опытный в таких делах старый беркут опередил: взмахнув палкой, он с силой опустил ее на своего противника. Тот с криком «мама!» свалился с лошади. Разъяренный Бектурган кинулся на недобитого врага, но его левая рука точно приросла к оттопырившемуся чапану. Это сковывало движения. Воспользовавшись замешательством противника, парень вскочил и с ревом побежал прочь. Протяжный свист, раздавшийся позади Бектургана, заставил его опомниться. Ему показалось, что кто-то ухватился за его палку. Повернув голову, Бектурган увидел таратайку. Мужчина лет тридцати, приветливый с виду, передав вожжи сидевшей рядом с ним женщине, спрыгнул с таратайки. Это были русские.

Бектурган встретился глазами с женщиной и опустил голову. Мысль о том, что он мог совершить убийство, привела его в замешательство. Перепуганный сын Митрия стоял невдалеке, еле переводя дух от пережитого страха. Мужчина подошел к нему, спросил, что тут происходит и, осуждающе посмотрев на Бектургана, укоризненно покачал головой.

— Ой-бой! В чем моя вина? За что он стал избивать старика? — спросил Бектурган.

— Ты, старый человек, зачем украл у него гуся?

— Нет, бай, я ничего не украл. Я нищий, — ответил Бектурган, бросив на незнакомца жалобный взгляд. Сын Митрия сказал незнакомцу что-то на русском языке и, подойдя к Бектургану, показал пальцем на его оттопыренную пазуху.

— Эй, старик, — обратился к нему незнакомец, — почему ты спрятал чужого гуся к себе за пазуху?! Лучше бы попросил, чем воровать…

Бектурган ничего не ответил. Он бросил палку и распахнул ветхий чапан. За пазухой у него лежал исхудавший ребенок, еле шевеливший своими тоненькими ручонками.

— Вот он, гусь! Но я его не украл! Он лежал, прильнув к груди умершей матери. Я его подобрал. Хочешь — бери, уступлю тебе, — сказал

Бектурган. Вид ребенка был до того жалок, что незнакомец невольно отшатнулся. Сидевшая в таратайке женщина сердито сказала что-то на русском языке и подбежала к Бектургану. Старик не понял ее слов. Но для него было ясно: она не хочет ему зла. Она взяла ребенка на руки и опустилась с ним на землю. Сын Митрия, молча наблюдавший за этой сценой, вдруг вскочил на свою кобылу и умчался прочь.

Тем временем женщина, пошарив в своих вещах, достала кусок какой-то ткани, положила на нее ребенка, затем перевернула его несколько раз с боку на бок, заглянула в ротик и, тщательно запеленав, вернула малыша Бектургану.

— Оказывается, ты хороший человек, — сказала она. — Он не умрет, будет твоим сыном. — Женщина вернулась к таратайке и достала буханку хлеба: — Возьми.

Незнакомец, молча стоявший возле них, достал из кармана пачку денег и протянул Бектургану. Растерявшийся старик смотрел на своих благодетелей, ничего не понимая. Улыбнувшись ему на прощание, незнакомцы взобрались на таратайку и покатили дальше.

— Они, видимо, Кыдыры! Настоящие Кыдыры! — прошептал он, провожая взглядом

удалявшуюся таратайку. — Мы будем жить! Будем жить! — повторил старик, целуя ребенка. Он все еще не верил неожиданно привалившему счастью. Повертел в руке пачку денег, сунул ее за пазуху.

— Не ты ли принес счастье? — спрашивал он ребенка.

5

Бектурган проснулся рано, чуть занимался рассвет. Он вышел из шалаша, уселся на огромный камень, похожий на опрокинутый котел, и ждал восхода солнца. Серые тучи, застывшие над его головой, все больше светлели и вдруг засветились золотом утренней зари. В небе будто загорелся огонь и заклубился дым, оно раскалялось все больше и больше и, казалось, вот-вот превратится в сплошную огненную массу… Но когда солнечные лучи озарили седые вершины гор, как бы отчеканив их золотом, тучи стали грязно-серыми, а затем приобрели цвет пепла. Эта серая пепельная масса, от которой теперь повеяло холодом, исчезла за хребтами.

Одинокая фигура Бектургана, сидевшего на камне с задумчиво опущенной головой, напоминала беркута, который только что вытащил голову из-под крыла. Подобно высматривающей добычу ловчей птице, он выпрямил голову, осмотрелся по сторонам и, поднявшись с камня, отряхнулся. Теперь он своим видом напоминал проснувшегося после крепкого сна и хорошо отдохнувшего баарчина.

— Атаке! Вы живы, здоровы? — услышал он голос Исмана, своего старшего сына. Старик несказанно обрадовался.

— Дорогой мой! Где ты задержался? Эти десять дней показались мне десятью годами. В голову полезли мрачные мысли: не убили ли его, думаю, какие-нибудь подлецы… Да, суйунчу! Поздравляю тебя еще с одним маленьким братом. Да и деньжонки у нас завелись, — сообщил Бектурган приятные новости.

— Что, что?.. Какой брат?.. Откуда деньги?.. С вас тоже причитается суйунчу! В Пишпек приехал человек по имени Болчайбек. Он собирает около себя всех бедных, обездоленных и оказывает им помощь. Я там встретил Акыша. Очень интересно, атаке. Теперь мы с голоду не умрем. Ну, идемте же, покажите вашего сына.

Сердце Бектургана наполнилось радостью: будто вновь ожил и загорелся совсем было потухший светильник, озарявший его жизнь.

— Кто же этот человек по имени Болчайбек, русский или киргиз? И видел ли ты его сам?

— Видел, ата, своими глазами. Очень ласковый, приветливый человек. Голова не бритая. Но русский он или киргиз, никто не знает. Слышал, как он говорил по-киргизски: «Не ходите,

не ходите...»

— А куда он не велит идти?

Исман почувствовал, что знает больше отца, хотя и сам плохо понимал, что творится вокруг.

— Очень интересно, ата, — продолжал Исман, не найдя ответа на вопрос отца. — Там их двое: одного зовут Эсер, а другого — Болчайбек. Один из них, говорят, приехал не то от царя, не то от Керенского, и каждый клонит народ на свою сторону. Когда к народу вышел Болчайбек, все закричали: «Ура-а!». А это, оказывается, значит: «Мы идем за тобой». Я стоял рядом с Акышем и тоже кричал: «Ура-а! Ура-а!..»

Разговаривая таким образом, они уже подходили к шалашу.

— Табыш, Табыш! Ну, улыбнись, что ли! — послышался из шалаша голос Омурбека.

— Оказывается, у вас и в самом деле есть еще один сын! Пусть тогда фрукты, которые я несу от дунганина, будут жентеком, — сказал Исман, принимаясь развязывать узелок. Омурбек, услышав голос старшего брата, с криком «Байке, байке!» выбежал из шалаша с ребенком на руках. Исман с отцом подходили уже к порогу.

— Вот он, — сказал Бектурган. Исман обнял Омурбека, расцеловал сначала его, потом и ново-

рожденного брата.

— Значит, дела наши поправляются? Как его зовут?

— Зовут его Табылды... Отец назвал его Табылды-батыр, — ответил Омурбек.

Исман, все еще не выпуская своих меньших братьев из объятий, взглянул на отца.

— Атаке, почему у вас слезы на глазах? Чем вы расстроены?

— Вот уже несколько дней, как у меня ноет все тело, а голова будто налита свинцом, — ответил Бектурган. Давно он почувствовал недомогание, но все крепился.

— Вы теперь не болейте, атаке. Я ухожу от хозяина и иду к Болчайбеку. Верю, он и нам поможет, — сказал Исман. Взглянув на ребенка, он улыбнулся: — Табыш, Табыш! Ие, ие!.. Смотрите, он смеется! Ата, чей это ребенок?

Бектурган провел рукой по бороде и посмотрел в сторону Токмака:

— Я его нашел. У него нет другого отца, кроме меня, и нет братьев, кроме вас. Он мой самый младший сын. Этот мальчик принес в наш дом счастье. Да пошлет ему господь долгих лет жизни. Он всегда будет со мной. Теперь войди в шалаш и полюбуйся, сколько у нас денег.

Бектурган достал спрятанный в изголовье детской колыбели сверток и протянул его Исману.

Развязывая сверток, Исман с улыбкой взглянул на отца:

— Вспомнили привычку прошлых лет?.. У кого стянули?

— Нет, сынок… Ты слышал когда-нибудь, чтобы я говорил неправду? Нет? Так знай: я уже давно перестал прыгать через пеструю нитку[1]. Да, в юности меня знали как грабителя. Тогда я, будучи лихим наездником, действительно совершал ночные набеги, показывая при этом свое молодечество. Эта пора давно отошла. Воровство нынче считается самым постыдным делом, и я никогда больше не вернусь к старому. Нет, сынок… Каких только ошибок мы не делаем в юности! — закончил старик и рассказал о приключении, в результате которого у него в руках оказалась пачка денег.

— Да, разные люди живут на свете, — задумчиво сказал Исман. — Одни готовы нищего убить, другие, наоборот, жалеют, помогают, дают деньги… Оказывается, и среди русских есть много хороших, даже, можно сказать, святых людей.

---

[1] Примечания: 1

Это выражение связано с древним обычаем и означает: я уже давно не совершаю нечестных поступков.

На эти деньги можно купить целый пуд муки. Давайте отправимся в Пишпек. Пуда хлеба нам хватит на полгода. А прожить нынче полгода — это не шутка.

Бектурган чувствовал себя очень плохо и слушал Исмана рассеянно. Его мутило, от сильного головокружения он едва держался на ногах. Нащупав свой пульс, старик покачал головой: болезнь скрутила его так сильно, что он не мог уже скрывать ее от сыновей.

— Сын мой, сбрей-ка мне волосы. Похоже, я не скоро оправлюсь от этой болезни. Должно быть, у меня тиф. Эта болезнь прилипчивая, будьте осторожны. Станете ухаживать за мной да еще заразитесь!.. Нет, подождем пока с бритьем. Что-то я совсем плохо себя чувствую, — пожаловался Бектурган.

Исман собрал всю одежду и тряпье, устроил постель и уложил отца.

— Атаке, не от упадка ли сил вы заболели? — заметил Исман.

— Нет, сынок, у меня сильный жар. Когда покидают силы, их не легко восстановить — нужно питаться маслом, мясом. А от жара у нас есть другое средство… Если бы ты смог доставить меня к батракам в Шор-Добо… Туго придется нашим

ребятишкам, если дунганин не отпустит тебя и они останутся одни. Дай попить…

6

С тех пор прошло много дней... В безлюдной степи стоял одинокий, ветхий, облезлый шалаш, напоминавший коптильню. Одни лишь галки летали вокруг, оглашая воздух звонким криком.

К прозрачному ручейку, журчавшему неподалеку от шалаша, на четвереньках полз человек. Не достигнув ручейка, человек припал к земле и замер.

В этот момент на вершине холма, возвышавшегося вблизи шалаша, показался молодой джигит. Он шел, перекинув чапан через руку, тяжело ступая натруженными ногами.

— Ох, жизнь! Неужели я не застал его в живых! — с горечью воскликнул он, заметив лежавшего на земле человека. Подбежав к нему, он швырнул в сторону чапан, нагнулся и повернул голову человека, с волнением вглядываясь в безжизненное лицо, седую всклокоченную бороду. — Что я вижу!.. Кто это?.. — крикнул он громко. Темная кровь сочилась изо рта старика и, стекая по бороде, капала на землю. «Кто этот мертвый старик?» — вспоминал Исман. Но так и не мог припомнить. Опустив голову умершего на

землю, он поспешил в шалаш.

— Исман, это ты? — послышался слабый голос, едва он просунул голову в дверь. Исман бросился к лежавшему в постели отцу, обнял его и расплакался.

— Сынок, а куда ушли дети?.. Мне очень хочется есть, нет ли у тебя чего-нибудь? — бессвязно говорил Бектурган.

«Отец, по-видимому, бредит», — решил Исман. Он не знал, что больной после перенесенного кризиса только что пришел в себя и впервые за много дней открыл глаза.

— Атаке, лежите, пожалуйста, спокойно. Скажите, кто за вами ухаживал? Где батраки? Их прогнал дунганин? Или они перекочевали?.. Кто этот аксакал, который был здесь?

Бектурган еще не совсем пришел в себя и не мог уследить за нитью вопросов.

— Сынок, ты меня, что ли, спрашиваешь? Укочевали они или нет?.. Я ничего не знаю. А сам-то ты где с утра пропадал?..

— Атаке, полежите спокойно. Вы, верно, бредите. Тринадцать дней я не был дома. Я устроил ребят в Пишпеке. Там они очень... — Исман, решив не беспокоить больного отца, внезапно умолк.

Бектурган пристально смотрел на сына, силясь что-то припомнить, и снова заговорил:

— Тринадцать... Ты говоришь, тринадцать дней?.. Ты устроил ребят? Неужели я так долго болел? А не утром ты ушел из дому, Исман?

— Нет, ата, я оставил вас утром тринадцать дней тому назад и только сейчас вернулся.

— Ой-ой, вот это да! То, что, казалось, было утром, оказывается, произошло тринадцать дней тому назад! Я все время думаю, что ты ушел сегодня утром. Выходит, я только сейчас пришел в себя. Тринадцать дней!.. Кто же за мной ухаживал эти тринадцать дней?.. Да, да!.. Хороший старик. Ведь за мной ухаживал мой бедный Джолдубай-аке. О, куда легче выздоравливать, чем болеть этим проклятым тифом! Как только болезнь тебя покидает, тут же приходишь в себя, глаза широко открываются. А вот как ты переносил болезнь — ничего не остается в памяти. Наконец-то я пришел в себя, сынок! Скажи, куда ушел мой Джолдубай-аке?

О том, что Джолдубай скончался, Исман решил не говорить отцу. Налив из ведерка джармы, он подал ему чашку и сказал:

— Аксакала Джолдубая я никогда в жизни не встречал. Кто он такой? Когда он сюда приехал?

Бектурган выпил джармы и, отставив чашку, начал:

— Сынок, эту джарму варил тот добрый старик, о котором мы сейчас говорим. Я его только сегодня видел здесь и успел обмолвиться с ним двумя-тремя словами. У него воспаление легких, что ли, он еле ходит. Позови его, пусть попьет джармы, пока она не остыла. Таких людей, как Джоке, теперь редко встретишь. Словно мед капает с его языка, когда он говорит. Щедрый, как Атантай, он ничего не пожалеет, чтобы выручить человека из беды. Джолдубай старше меня лет на двадцать — двадцать пять, но все еще крепкий, как кованое железо… У прежних людей кости, видимо, сварены из стали. До последней минуты своей жизни эти люди сохраняют силу и энергию. А смерть приходит к ним так неожиданно, что они и не замечают ее. Позови его сюда, сынок!

Исман стоял, опустив голову, молча уставившись невидящими глазами в землю.

— Почему ты молчишь? Отчего насупился? У каждого есть своя доля в жизненных благах. Пусть и он ее получит. Когда эта доля исчерпается, человек умирает… Зови!

— Атаке, — едва слышно ответил Исман, — у Джолдубая-аке эта доля уже исчерпана. Его душа

находится в руках бога.

— Как?.. Как в руках бога?.. Его доля уже исчерпана?.. Ведь он только что вышел из шалаша!.. Помоги мне, пожалуйста, выйти наружу. Где он, мой верный друг?

Взяв отца под руку, Исман вывел его из шалаша и усадил рядом с безжизненным телом Джолдубая. Глубоко опечаленный Бектурган долго сидел, не сводя глаз с умершего друга.

— Джоке, дорогой Джоке! Твое бесстрашное сердце, не боявшееся даже огня, покорилось смерти. О немилостивый бог! За что подвергаешь нас мукам? — Бектурган дрожащими руками обнял голову Джолдубая. Скупые старческие слезы скатились по исхудалым щекам убитого горем старика.

7

Время перевалило за полночь. В камышовых зарослях на краю болота полыхали огненные языки костра. Из небольшого закопченного ведерка, висевшего над огнем, поднимался легкий пар — в нем булькала похлебка из толченого ячменя.

Бектурган лежал у костра, опершись на руку. Он не сводил глаз с ведерка. Когда похлебка сварилась, старик с трудом поднялся и крикнул:

— Исман! Эй, Исман! Похлебка готова, не надо больше собирать курай!

К костру подошел Исман, снял ведерко, разлив похлебку в две чашки, сказал:

— В город мы придем еще до рассвета. Как вы себя чувствуете? Вид у вас неважный.

— Нет, дорогой, я себя чувствую хорошо, а тебя вот замучил. Нелегко нести на себе живые кости. Ты отдохни, поспи малость. Сон — это здоровье человека.

— Нет, отец, я не усну, пока мы не доберемся до города. Меня торопит предчувствие чего-то хорошего, что ждет нас впереди... А вы не тяжелый — не больше двух пудов. И несу я вас всего два дня. Вы же носили меня не меньше двух

лет. Верно? Своим трудом я еще не отплатил за материнское молоко. Только теперь мне предоставлена эта возможность. Нести вас осталось не больше одного дня. А уж дальше заботу о нас возьмет на себя Болчайбек.

Костер угасал. Поднявшийся предутренний ветер раздувал серую золу. Исман привязал к поясу кружки, опустившись на корточки, подставил спину отцу:

— Садитесь, ата!

— Сынок, ты лучше поддерживай меня, я попробую идти сам. А то, как навьюченный мешок с солью, я надавил твои плечи. Если бы не эта тяжелая обуза, ты бы давно был у цели, — говорил Бектурган, делая усилие, чтобы подняться на ноги. Но его ноги, еще не окрепшие после перенесенной болезни, не подчинялись ему.

— Эта слабость после тифа приносит гораздо больше неприятностей, чем сама болезнь. Так болит тело, будто с меня сдирают кожу, — жаловался Бектурган, опираясь рукой о плечо сына.

— Атаке, вы все равно не сможете идти. Садитесь-ка лучше на вороного кунана, — пошутил Исман, сажая его себе на спину. — Смотрите, вы же совсем легкий, не тяжелее моего халата. Понукайте лучше вороного кунана в бока, если

он начнет идти лениво, — продолжал шутить Исман и, расхохотавшись, быстро зашагал.

Бектурган молчал. Он приник к спине сына, положив голову ему на затылок.

Закаленный в физическом труде, Исман был крепок. Его коренастое тело состояло как будто из одних костей и сухожилий. Бектурган действительно весил едва ли больше двух пудов. И все же человек — не из железа, всякая ноша утомляет его. Но Исман скрывал от отца усталость. Когда он останавливался, чтобы перевести дух, то говорил:

— Не очень измучились, атаке? Отдохните немного. — И, бережно опустив отца на землю, нарочно напевал себе под нос, тайком смахивая с лица пот.

— Если отдохнули, атаке, поедем дальше, — говорил Исман.

Бектурган чувствовал, что сыну приходится напрягать последние силы. Но старался делать вид, будто не замечает этого. Чтобы Исман почаще отдыхал, говорил:

— Сынок, ты почаще останавливайся. Хотя я еду верхом на человеке, как китайский богдыхан, ты все же не забывай, что я еще очень слаб.

Просьбу отца Исман не забывал. Ничего, кроме

радости, не было на его сердце. Перед ним стоял образ Болчайбека. Он думал о том, как бы скорее добраться до города и встретиться с этим человеком. «Будет возможность — может, поступлю к нему в джигиты». Эти мечты подбадривали его.

— Если будем здоровы, сегодня обязательно доберемся до наших ребят. Отдохните хорошенько, — сказал Исман, опуская отца на землю. «Утомился мой сын», — решил Бектурган и пожалел его:

— Измучил ты из-за меня свою молодую душу, сынок. У нас осталось целое ведерко толокна. Давай не будем так спешить. Этот джигит по имени Болчайбек… он ведь тебя еще не знает. Думаешь, так и выделит тебе что-нибудь?.. Сказать правду, из всего, что ты рассказывал о нем, я до сих пор ничего не понял.

Исман громко расхохотался.

— Положитесь на меня, атаке, и не ломайте себе голову. Я тоже сперва ничего не понимал, все приставал к Акышу, чтобы он мне растолковал. Теперь-то я — как слепой, которому дали палку в руки. Вот увидите своими глазами, что он сделал для таких, как мы, — все поймете… — Исман насторожился: — Слышите? Позади нас стучат колеса! Если бы то были добрые люди…

Бектурган не надеялся, что его подвезут, но не хотел сомнениями огорчать сына.

— Да, неплохо было бы… — согласился он.

Скрипя давно не смазанными колесами, их нагнала телега.

— Эй, ты кто будешь? — спросил Исмана по-киргизски возчик первой повозки.

— Мы — турпанчи, дорогие мои! Старик-отец только что поднялся после болезни, я его на себе несу. Не поможете ли нам?

Телеги остановились, послышался русский говор. Кто-то чиркнул спичкой и, увидев исхудавшего, едва стоявшего на ногах Бектургана, предложил:

— Идите, садитесь на телегу. Наверно, за помощью идете?

Исман посадил отца, влез на телегу сам и ответил:

— Да, дядя, к Болчайбеку идем. Не знаете, он не уехал?

Человек, зажигавший спичку, прыснул:

— Нет, этот человек никуда не собирается уезжать. А от кого ты узнал его имя?

— Я этого человека сам видел несколько дней назад. В Пишпеке живет наш знакомый Акыш. Он и назвал мне его имя.

Незнакомый джигит еще раз засмеялся и заговорил на языке Исмана:

— Болчайбек — это не его имя. Его имя — Власов. А Болчайбек — это название партии. Этот человек прислан сюда из Москвы для выполнения заданий партии. А нам этот человек поручил привести хлеб для голодного населения, — объяснил Исману незнакомец и, обратившись к кучеру, сказал:

— Давай, погоняй быстрее!

Видимо, ему хотелось показать, что он тут самый старший.

Бектурган не знал, что обозначает слово «партия». Ему очень хотелось спросить, но он так и не решился. «Ладно, приедем в город — там все узнаем», — утешил он себя. Исман же с видом сведущего в таких делах человека старался поддержать беседу с незнакомцем.

— Кем вам доводится Акыш? — спросил тот.

— Он тоже турпанчи, наш родственник.

— Хороший джигит. Он мой подчиненный. Я послал его в Кара-Балты за хлебом. Четыре дня прошло, как он уехал. Сегодня должен вернуться домой.

— А как вас зовут, дядя?

— Абдраим. Я — уполномоченный по заготовке

хлеба для голодающего населения. Каждый день отчитываюсь перед Власовым о своей работе, — объяснил он. — Очень хорошо, браток, Теперь голод вам не страшен. Вас только двое?

— Нет, дядя, у меня еще есть два маленьких брата. Они живут в Пишпеке, в доме, где много таких же бесприютных детей…

— Не зря говорится, что к выздоравливающему больному лекарь приходит сам. Мы едем прямо в тот двор, где находятся ваши ребятишки. Их там хорошо воспитывают… Новые времена пришли — мы теперь хозяева. Да… Тебе в Красную Гвардию надо записаться. А потом станешь коммунистом.

Слова «Красная Гвардия», «коммунист» Исману были непонятны. Но все же он поддакнул:

— Да, да, дядя. Я давно думаю об этом.

Бектургана удивила осведомленность Исмана, и он даже почувствовал гордость за сына.

8

…Быстро летели годы.

— Товарищ командир, вам письмо! — доложил красноармеец, подавая пакет.

— Интересно, от кого бы это? За пять лет первое письмо получаю. — Командир торопливо вскрыл конверт. Его окружили друзья.

— И что вас может интересовать в чужом письме? — заметил широколицый брюнет.

— Ничего, пусть. Я прочту всем, тут нет никаких тайн… Самое обыкновенное письмо, — возразил командир и начал читать вслух:

> «Уважаемый, самый дорогой моему сердцу брат мой! От тебя я получил уже три письма. И на все три ответил. Но ты в своих письмах ни словом не обмолвился о моих ответных посланиях. Если получишь это письмо, то обязательно сообщи, получил ли посланные мною ответы. Старик, которого ты проводил в Каракол, до сих пор живет там, у зятя. Младшие братья твои находятся в интернате и уже стали большими. Беженцы почти все

вернулись в родные места. Государство снабдило их скотом и сельскохозяйственным инвентарем, обеспечило жильем. Они теперь живут зажиточно. Не получая от тебя писем в течение двух лет, мы сильно беспокоились. Наконец дождались их, и были им так рады, будто встретили тебя самого. Пиши чаще. Все, что стало известно о тебе, я сейчас же сообщу твоему отцу. До свидания. С пожеланиями тебе доброго здоровья остаюсь твой ага Акыш, сын Алгазы. 1923 год, город Пишпек».

Прочитав письмо, Исман тут же сел писать ответ.

«Уважаемый Акыш! Письмо твое получил. Я в курсе всех семейных дел. Что касается меня самого, то я жив и здоров. Вот уже год, как служу здесь командиром. Мы ведем борьбу с басмачами, которые лишают покоя здешнее мирное население, и успешно их ликвидируем. За усердную службу я награжден правительственными грамотами и подарками. Писем твоих я не получал. Это, очевидно, потому, что мы часто переезжаем с одного места на

другое. После ликвидации белогвардейцев Анненкова я участвовал в бухарской кампании. Здесь я нахожусь всего четыре месяца. Эх, Акыш!.. Я теперь только узнал, что такое жизнь… За четыре года службы среди русских товарищей я стал в совершенстве владеть русским языком. Много в моей жизни интересного, но нет времени, чтобы описать все подробно. Сейчас выступаем против басмачей. Посылаю на память свою фотокарточку. Покажи ее и моим братишкам. Напиши моему отцу. Кланяйся жене. Пришли мне фотокарточки Омурбека и Табылды. Я очень соскучился о вас. Если буду жив-здоров, то через два месяца возьму отпуск и приеду к вам…»

Вложив письмо в конверт и опустив его в почтовый ящик, Исман отправился в штаб. Вскоре он вернулся оттуда.

— По коням! — скомандовал он своему подразделению.

Под вечер они въехали в тесное глубокое ущелье. Исман остановил отряд, подозвал к себе пятерых бойцов:

— Незаметно поднимитесь вверх на самую вершину горы. Оттуда будете наблюдать. Басмачи должны появиться из ущелья, но они могли изменить план наступления. Осмотрите все окружающие горы. Увидите что-нибудь подозрительное, немедленно посылайте связного. Лошадей оставить здесь.

Едва разведчики скрылись в кустах, как застрекотали винтовочные выстрелы, засвистели пули. С гор покатились камни — их сбрасывали засевшие в скалах басмачи. Выстрелы, свист пуль, грохот падающих камней — все смешалось в сплошной гул. Испуганные Кони заметались по ущелью.

Исман не терял присутствия духа.

— Не тратить зря ни одного патрона! Мирраxим, Болотбек! Быстро отвести коней вниз, за скалу. Остальным спешиться и замаскироваться. Дорогу держать под прицелом. У басмачей нет другого пути — а тут мы их не пропустим.

Услышав конский топот и увидев удаляющихся лошадей, басмачи решили, что отряд отступил.

— Удирают! — кричали басмачи. Их голоса становились громче, явственнее. Скрытые за скалистым гребнем, они подходили к засаде. Исман вскарабкался на утес и осторожно выглянул из-за

куста. Разглядев перебегавших между камней басмачей, он быстро оценил, что силы противника значительно превосходят его отряд. Басмачей было не меньше четырехсот. Донесение Файзулы, уверявшего, что в стане врага не больше шестидесяти человек, оказалось ложным, предательским. Отступать было поздно. Исман принял решение: истребить врага до захода солнца, пока еще светло и можно вести прицельный огонь. Узкий проход, к которому шли басмачи, благоприятствовал осуществлению задуманного плана. Здесь никто не мог пройти, минуя обстрела. Хотя в отряде Исмана было всего девятнадцать бойцов, он верил в успех смело задуманной операции.

— Головной отряд врага подпустить к скале, — отдавал он последние распоряжения. — Без моей команды огонь не открывать!

Басмачи шли смело, не подозревая о засаде. Когда они приблизились к скале, за которой залегли красноармейцы, Исман дал первый выстрел. И тотчас раздался залп. Ущелье огласилось воплями раненых. Басмачи в панике заметались, бросились на противоположный открытый склон. Их настигали пули.

— Умрите, но не сдавайтесь! Если попадете к большевикам, они вас не пощадят! — кричал

курбаши.

Басмачи, отстреливаясь, пытались отступить, повернуть обратно. Но отряд Исмана быстро перебрался на каменную гряду, с которой открывалось идущее вверх ущелье и продолжал обстрел метавшегося в панике врага. Склоны гор были усеяны трупами.

Часть разгромленной банды, прячась за обломками скал, подбиралась к каменному хребту, надеясь пробраться через него в соседнее ущелье. Исман распорядился прекратить огонь. Он собрал бойцов. Их осталось семеро.

— Быстро, — командовал Исман, — выйти на самый хребет, под которым прячутся басмачи. Рассеиваться подальше друг от друга. Засевших под скалами басмачей уничтожить гранатами!

Сам командир занял место убитого пулеметчика и, направив ствол пулемета вдоль ущелья, стал ждать дальнейшего развития событий.

Через некоторое время взрывы ручных гранат сотрясли горы. Исман выскочил из засады.

— Сдавайтесь! Иначе все будете уничтожены! Вы попали в окружение!

В ответ кто-то выстрелил в него, но промахнулся. Исман вмиг очутился у своего пулемета и крикнул:

— Огонь!!

Застрочил пулемет. В басмачей вновь полетели гранаты. Бандиты окончательно растерялись — им показалось, что они действительно окружены.

Сраженный вражеской пулей красноармеец, падая со скалы, успел крикнуть: «Товарищи! Стреляйте!» К упавшему бросилась группа басмачей. Раненый привстал, подался вперед и упал грудью на камни. И в тот же миг раздался взрыв — он подорвал на себе последние гранаты. Басмачи в паническом ужасе побежали вниз по склону, бросая оружие.

— Сдавайтесь! Будете разбегаться — всех перебьем! — еще раз крикнул Исман.

Огонь прекратился. Один за другим басмачи выходили из укрытий, поднимали руки.

— Сдаемся! Не стреляйте больше! Сдаемся! — крикнул курбаши.

— Кто хочет жить — не сходите с места! — ответил на это Исман.

— Четверым собрать оружие! Батальону оставаться на месте! — отдал Исман команду. Спрыгнув вниз, он смахнул со лба пот.

— Вы ни в чем неповинны, дехкане. Вас ввели в заблуждение. Кто сдал оружие — выходи

сюда! — Исман не спеша свернул папиросу. Его спокойные действия лишний раз убеждали врага в несомненном превосходстве сил его отряда.

— Сколько вас всего? Кто курбаши? Эх, вы! С кем вздумали связываться, а!.. Кто вас этому учил? С огнем не шутят! — закончил он строго.

— Склоненною голову меч не сечет… Сдаюсь, чтобы спасти свою жизнь. Пощади. Я — курбаши. Нас осталось около трехсот человек, а было… больше пятисот… Разрешите пожевать табаку? — Курбаши тяжело дышал.

— Файзула, значит, вас обманул, — заметил Исман. — Что же, если есть у тебя табак — жуй сколько хочешь. Пулемет будет молчать, не бойся.

— Обманул… Обманул Файзула. Он сообщил, что вас не больше сорока человек, — с горечью признался курбаши, посматривая на алеющий закат.

9

Стояла осень 1927 года. Золотились поля Чуйской долины… Уборка урожая в разгаре. Бахчи полны арбузами и дынями. Издали казалось, что это лежат, отдыхают овцы. Воздух наполнен стрекотом кузнечиков. Стайки розовых скворцов проносятся над головой. Небо чистое, синее, только над горами клубятся кучевые облака. Белые, пушистые, они похожи на комья ваты…

Спокойны, величавы зеленые горы со снежными вершинами. Они чем-то напоминают женщину в белом элечеке. Среди этой живописной природы ехал всадник. Карий конь лениво перебирал ногами. Всадник то ли разомлел от летнего зноя, то ли был утомлен дальней дорогой — он дремал в седле, склонив голову на грудь.

Конь, опустив косматые уши, будто пересчитывал шаги всех своих четырех ног. Вдруг сзади послышался бойкий топот копыт. Карий конь встрепенулся, навострил уши, закусил удила и ускорил шаг.

Едва задремавший в седле старик подобрал поводья, как послышались голоса догнавших его путников.

— Салам алейкум! — приветствовали они.

— Алейкум салам! Далеко ли путь держите, дети мои? — повернув голову, обратился старик к поравнявшимся с ним трем верховым. По морщинистым щекам старика текли слезы.

— Старик, что с вами? — участливо спросил его один из путников — смуглый джигит с длинными усами. — Чем вы опечалены?

Старик по-детски простодушно улыбнулся и, не утирая слез, ответил:

— Эх, дети мои! Радость и печаль всегда делят наши слезы поровну между собой. Я плачу от радости… Много раз за свою жизнь проходил я по этой дороге, много я пролил на нее горьких слез. Мне кажется, что корни этих трав, что растут по сторонам, орошены моими слезами.

— Кто вы такой? И куда направляетесь, ата? — полюбопытствовал один из джигитов.

— Меня зовут Бектурган. В молодости же меня называли Бектурган-вор, Бектурган-батыр. Я еду в Пишпек, к своим сыновьям. Десять лет я их не видел, — ответил старик и почему-то осмотрел тороки с той и другой стороны седла.

— Мой первый сын в Джалал-Абаде. Он работает в исполкоме начальником. У него имеется красный орден. До этого он служил командиром.

А орден ему вручил в Москве друг самого Ленина. Этот орден он носит на груди. Такой небольшой орден, красного цвета… Когда я увидел своего сына, то сразу и не узнал… К тому же он стал прихрамывать на одну ногу. Говорит, два раза был ранен в боях. Двух младших сыновей, как я уже вам сказал, не видал давно. Они в Пишпеке, в интернате. Самому меньшему тогда не было и года. А теперь, смотрите, какой стал. — Бектурган вынул из-за пазухи старую картонную обложку. Потом, накинув повод на луку, развернул тщательно завернутую фотографию и, указывая на нее пальцем, пояснил:

— Вот этот — мой старший сын. Это его орден. Это — средний, а это — самый младший. Смотрите! Оба они одинаково одеты. Как вспомнишь печальное прошлое да сравнишь его с новой жизнью, так невозможно удержать слезы, ребята. Теперь вот не знаю, как мне разыскать их?

— Найдем, аксакал. Ехать остается совсем немного. Не пройдет время, нужное для того, чтобы вскипятить чай, и мы приедем в Пишпек, — заверил один из джигитов.

И действительно, не успели они закончить начатый разговор, как въехали в город.

— Вот здесь, мне помнится, помещался ин-

тернат. Едемте сюда, — сказал усатый джигит, сворачивая за угол. — Ну да, я же сказал, что здесь. Вот и интернат!

Бектурган увидел белолицего парня пятнадцати-шестнадцати лет от роду. Парень сидел у арыка и чистил свои ботинки. Видимо, он куда-то спешил и потому не обратил внимания на подъехавших всадников. Бектурган остановил коня и обратился к парню:

— Дорогой мой, скажи, не здесь ли находятся сыновья Бектургана — Омурбек и Табылды? Парень вздрогнул, вскинул голову и сверкнул удивленными глазами. Он поглядывал то на одного, то на другого всадника, и язык его словно окаменел. Вдруг его красивые губы расплылись в улыбку. Парень радостно похлопал себя по колену и, наконец, ответил:

— Здесь, слезайте! Разве вы не узнали меня?

Бектурган от радостного волнения весь затрясся, по его телу побежали мурашки.

— Сынок, позови кого-нибудь из них. Пусть мои дорогие придут сюда.

Парень, радостно улыбаясь, взял коня под уздцы:

— Слезайте, атаке. Вы не узнаете своего сына?

— Ну как же, милый, не узнать своих детей! Хо-

тя и прошло десять лет, я сразу узнаю. У старшего сына под ухом есть родимое пятнышко. О, что-то я начинаю чувствовать слабость во всём теле. Позови их, милый, поскорее! — терял терпение Бектурган.

Отвыкший от родительской ласки парень улыбнулся еще приветливее и, взяв Бектургана за руку, спросил:

— А какое у вашего сына было пятно под ухом? Не такое? — Он повернул голову. Бектурган свалился с коня. Он прижал сына к груди, обливаясь слезами, целовал его в голову и щеки.

— Теперь приведи ко мне Табылды!

Растерявшийся парень стал объяснять отцу:

— Атаке, вот уже пять дней, как наш Табылды уехал в Ташкент учиться. И я сейчас уезжаю туда… Как поживает моя новая мама?

— Какой же ваш сын молодец, аксакал! Оказывается, вы счастливый отец. Пусть хорошо учатся ваши дети. Теперь такое время — время учебы, — сказали на прощанье спутники Бектургана.

— Эй, Омурбек, где ты? Беги скорей, сейчас уезжаем, — кричали со двора интерната ребята. Они уже сидели на телеге и прощались с учителями и воспитателями.

Омурбек крепко пожал руку отцу.

— До свидания, атаке! Исман оставил ваш адрес. Я буду присылать письма.

С этими словами он вскарабкался на выехавшую из ворот телегу и, прощаясь с интернатом, вместе с друзьями замахал рукой.

Бектурган стоял ошеломленный — у него вырвали из рук самое дорогое. Не во сне ли все это происходит? Когда телега с ребятами стала удаляться, он вскочил на коня и догнал ее. Понукая карего, Бектурган долго ехал рядом с телегой, не отрывая взгляда от Омурбека.

— Омурбек, дорогой! Хорошенько смотри за Табылды. Смотри, чтобы его не обижали. Не отпускай его от себя! Поцелуй за меня!

Сбоку болтался белый мешочек, притороченный к седлу. Остановить телегу, чтобы передать сыну гостинец, старик не догадался. Перегнав телегу и оставив ее далеко позади, он отвязал мешочек и вынул из него два бурдюка со сливочным маслом.

— Милый сынок! На, возьми, один тебе, а другой для Табылды. Это ваша новая мать прислала, — передал он гостинец…

10

— Папа, папа! — залепетала Джылдыз, услышав кашель отца. Она выбежала на крыльцо. Положив сверток на ступеньку приступки, Исман поднял свою дочь на руки.

— Ну, зазвени же, мой бубенчик! — говорил он ей, целуя пухлые розовые щеки. Опустив Джылдыз на землю, он развернул сверток, выложил новые игрушки.

У Джылдыз от радости округлились глаза. Как маленький котенок, она принялась возиться с мячиком, игрушечной деревянной посудой… Вдруг Джылдыз бросила все, вбежала в дом и тут же вернулась обратно, ведя за руку мать.

Мама Зоя вышла на крыльцо, хмурая, молчаливая. Перемена в настроении жены не ускользнула от внимания Исмана, но он был целиком поглощен своей дочуркой.

— Погляди, она нашла своих друзей! — сказал он, громко смеясь. — Зоечка, иди к нам, поиграем вместе. Смотри, как наша Джылдыз развеселилась! — продолжал он, обнимая Зою и усаживая ее рядом с дочкой. Приподнявшись и выпрямив голову, он стукнулся обо что-то твердое, но легкое.

Исман почесал темя, посмотрел вверх — перед самым его носом висело сочное яблоко. Почему-то вид яблока, спелого, с красными боками, развеселил его еще больше. Он сорвал антоновку, подал ее Зое. На хмурое лицо жены набежала улыбка, но и сквозь нее Исман различил встревоженность.

— Зоечка, — в радостном порыве воскликнул Исман, пригибая к земле ветку, усыпанную плодами, — как хорошо жить без войны! Помнишь, что ты мне рассказывала, когда я раненый лежал в лазарете?

— Помню!

— А что?

— Ты разве забыл?

— Нет, не забыл. Я хочу, чтобы ты рассказала еще раз.

— Те дни я крепко храню в своем сердце. Они, как тавро на камне, не забудутся всю жизнь.

— Ну, расскажи же?

— О чем рассказывать… То, о чем я мечтала тогда, уже осуществилось. Как у этой яблони, и у нас есть плод… наш милый ребенок. Но человек никогда не довольствуется достигнутым счастьем. Ему надо больше… Ты впервые видишь меня хмурой и поэтому удивлен? Но я беспокоюсь не за себя.

— Что случилось? — Исман почувствовал тревогу в словах жены. Зоя молча подала конверт. Исман торопливо вынул исписанный лист и начал читать:

> «…Байке! Наш Табылды куда-то исчез… Я теперь только и занят тем, что плачу о нем. Тот, кто их сопровождал, уже уехал обратно. Что случилось с Табылды, не знают даже его друзья…»

Исман задумался: «Так вот отчего расстроилась Зоя!.. Это тревожное письмо…» Тяжелое чувство легло на сердце Исмана, но он постарался скрыть его.

— Ну что особенного могло с ним приключиться?.. Надо запросить телеграммой, — сказал он как можно спокойнее, направляясь к себе в комнату. Зоя взяла дочку на руки и пошла следом. Перед ее глазами встали печальные события из ее прошлой жизни. Она вспомнила, как в 1918 году пропали два ее младших брата. Как она целыми днями разыскивала их и все безуспешно. Вспомнила о том, как приходила плакать на могилу матери…

— Бедная мама! Мало того, что рано овдовела — и сыновей лишилась… Вот и осталась я од-

на… — Но тут же, спохватившись, она горячо зашептала: — Нет! Я не одна. Со мной мой Исман. Мы испытали с ним все тяготы фронтовой жизни. А моя дочурка Джылдыз? А потом… — Ее лицо посветлело, мрачные воспоминания о прошлом рассеялись, перед ней как бы поднялся занавес, за которым открывалась большая, светлая, радостная жизнь.

Зоя подошла к Исману, обняла его за плечи, прижалась грудью к широкой спине:

— Дорогой ты мой! — Она нежно поцеловала мужа в лоб.

11

Девяносто раз поднимались гири стенных часов. За это время Исман получил от Омурбека пятнадцать писем. Во всех был один и тот же ответ: «Табылды не разыскан». Наконец, Исман решил поехать в Ташкент, чтобы самому навести справки. Он поместил объявления о розыске в газетах «Правда Востока», «Кизил Узбекистон». Но никаких сведений так и не получил.

От тоски по своему младшему брату Омурбек даже похудел. Если на голову обрушится беда, кого только она не согнет! Омурбек потерял всякую надежду на возвращение Табылды. Сообщив отцу печальную весть, Исман попрощался с Омурбеком и вернулся в Джалал-Абад.

Шли дни. Омурбек продолжал учебу на горном факультете Среднеазиатского университета. Учеба ему давалась. Отметки он получал хорошие. Студенты любили его за веселый нрав, чуткое отношение к товарищам. Он подружил с девушкой Гулай. Прошло немного времени, и их дружба, подобно сосульке, которая незаметно вырастает из мелких капель, превратилась в любовь.

Гулай была гораздо смелее и решительнее

Омурбека. Но раскрыть перед ним все, что таилось у нее на сердце, она все же не решалась. Омурбек же полагал, что тайны его сердца Гулай может прочесть по его глазам. При встрече друг с другом их словно пронизывало электрическим током, бросало в жар, и они тотчас стыдливо опускали глаза. Если же случалось, что они день — два не видели друг друга, то оба не находили себе места. Ими овладевало такое чувство, будто они потеряли что-то самое дорогое, самое близкое. И тогда каждый решал про себя: «При первой же встрече я скажу вот так. А в ответ услышу вот что». Они готовились выложить друг перед другом все, что накопилось на сердце. Но стоило им встретиться, как оба забывали о том, что собирались сказать, будто чья-то неведомая рука тут же похищала приготовленные слова. Они принимались говорить о чем-нибудь отвлеченном, и могли говорить без конца, с упоением слушая друг друга.

Иногда Гулай прикидывалась обиженной на Омурбека. Но достаточно было ему приветливо, ласково улыбнуться, как нахмуренное лицо Гулай вновь сияло подобно солнцу в летний день.

— Даже самый твердый камень, даже железо Омурбек способен расплавить своей ласковой

улыбкой и пламенной речью, — думала Гулай.

— Какое бы тяжелое горе, какая бы глубокая печаль ни терзали душу, взгляд ее глаз, словно магнит, способен вытянуть из души занозу печали, — думал Омурбек.

При выходе из университета после занятий они как бы невзначай тут же сталкивались друг с другом.

— Ну как, не трудные занятия были сегодня? Покажи, какие у тебя отметки? — начинали они беседу.

Однажды по окончании занятий они, как обычно, шли рядом, просматривая друг у друга тетради.

— Давай вечером вместе готовить уроки, — предложила Гулай.

— Хорошо. Только не заставляй себя ждать. Приходи ровно к пяти часам вечера. Если опоздаешь хоть на пять минут, ждать больше не буду, — согласился Омурбек.

— Нет, будешь ждать. Я знаю, будешь, — улыбаясь, сказала Гулай.

— А вот посмотрим…

Взглянув друг другу в глаза, они улыбнулись и разошлись. Одну из тетрадей Омурбека Гулай унесла с собой. Не известно, нарочно ли он оста-

вил ее в руках Гулай, или она незаметно взяла ее сама. Но только вернувшись домой, Гулай с любопытством начала ее перелистывать. На одной из начальных страниц она обратила внимание на заглавную букву «Г». Под ней были стихи:

Язык любви не знает слов.
А сердце шепчет: тайну разгадай…
В нем сила — в сердце. Слаб язык.
Что в сердце у тебя, Гулай?..

«Что в сердце у тебя?..» Ты слышишь, как оно бьется?.. Гулай несколько раз перечитала четверостишие. Не побежать ли за ним, не окликнуть ли его? Но почему-то не решилась. Она подошла к зеркалу. Ее бледное лицо покрылось румянцем, карие глаза лучились. Увидев в зеркале свое отражение, она улыбнулась, сверкнув белоснежными зубами. На нее смотрела девушка, похожая на волшебную красавицу Пери. Ей захотелось обнять ее и расцеловать…

Смуглянка Сагыйда, жившая с Гулай в одной комнате, без стука открыла дверь. Гулай от неожиданности вздрогнула, быстро обернулась:

— Ой, как я испугалась! Это ты, оказывается.

— Ты что это, воровством занималась?

— Да, — ответила Гулай и, подбежав к подруге,

обняла и поцеловала ее.

— Что ты?.. Что с тобой?..

Гулай тут же сообразила, что поступила необдуманно, и, чтобы вывернуться, сказала с притворной обидой:

— Что, тебя уже и поцеловать нельзя?

— Нет, почему? Мы всегда целуемся с тобой, но этот поцелуй необычный. — И, расхохотавшись, подруги пошли умываться. Вернувшись в комнату, Гулай попросила:

— Сагыйда, захвати мне, пожалуйста, ужин из столовой. Нездоровится что-то, голова болит.

Проводив подругу, она раскрыла тетрадь и начала читать короткие записи, над которыми крупными буквами было старательно выведено: «Памятные случаи».

> «…Когда мой маленький Табылды заболел, я не отходил от него ни на шаг, как клушка от своего цыпленка. Теперь его нет. Я один. Мне все еще кажется, что он стоит со мной рядом, смотрит на меня своими черными глазами. Я помню его совсем маленьким, он ползал тогда на четвереньках. И вижу, как он подползает ко мне и ласкается.

Но его нет. Он не слышит меня, и я не слышу его голоса. Его образ, который встает в моем воображении, вызывает у меня одни лишь слезы…

Сентябрь, 1927 год».

«…Получил письмо отца… Оно так на меня подействовало, что я чувствую себя больным и разбитым. «Последний мой сын, ключ нашего счастья», — пишет отец. Сколько нежного чувства сохранило стариковское сердце к моему бедному брату. Табылды! Табылды!.. Неужели ты ушел безвозвратно? Неужели ни отец, ни братья никогда больше тебя не увидят?..

Декабрь, 1927 год».

«… Теперь я уверен: Табыша нет с нами, он погиб. Видно, он нашел себе могилу в глубокой реке Салар. Его нет, нет… Но отец никогда, до самой смерти, не забудет о нем. Вместо любимого сына Табылды у него остались одни лишь слова сожаления: «Так я и не увидел его»…

Январь, 1928 год».

«…Когда я вижу Г., мое сердце начинает прыгать, как молодой кулун. Ее образ не покидает меня ни на минуту. Для нее я подбираю в уме самые сильные слова, чтобы при встрече сказать ей о своей любви.

Но, к сожалению, я сразу забываю все, как только увижу ее… Что она думает обо мне? Как бы я хотел услышать об этом от нее, хотя могу догадаться и так, без слов…

Март, 1928 год».

Из всего, что прочла Гулай, больше всего ей понравились те места, которые касались ее. Она решила переписать в свою тетрадку стихи. Дела-

ла она это украдкой, прикрывая тетрадь рукой, вздрагивая при каждом шорохе — будто совершала что-то преступное. В комнату тихо вошла Сагыйда. Раскрасневшаяся, смущенная Гулай посмотрела на подругу: нет, кажется, та ничего не заметила.

— Вот тебе ужин, моя Гуль! — сказала Сагыйда, ставя на стол тарелку. — Ведь до сих пор тебя только один человек звал этим именем, Гуль?.. А теперь и я так буду звать, Ладно? — Сагыйда громко засмеялась.

Гулай поняла, что ее отношения с Омурбеком не представляют больше для Сагыйды никакой тайны. Но это не огорчило Гулай, наоборот, ей хотелось, чтобы Сагыйда продолжала говорить.

— Кто же этот человек? — спросила Гулай.

— А джигит, которого ты любишь.

— Какой джигит?

— Будто не знаешь! Да тот самый джигит!.. — лукаво поглядывая на подругу, сказала Сагыйда. — Счастливая ты, Гулай! Но до чего же хитрая! Зря таишься, я ведь все знаю…

— Ну, раз тебе все известно, что же, мне нечего говорить! — пошутила Гулай и поспешила замять разговор: — Ну, я пошла в читальный зал. Ты не идешь?

— Нет, не пойду. Я на тебя обиделась, — ответила Сагыйда, отворачиваясь от нее.

— Что же, обижайся, а я схожу. — Гулай подошла к подруге, потеребила ее за волосы и, прихватив книги, направилась к выходу. Сагыйда вскочила с кровати:

— Я же шучу! Я же люблю тебя, Гуль! — Сагыйда догнала подругу и заключила ее в объятия. — Иди, иди, милая, а я приду потом…

Гулай бодро шагала по улице. Настроение было у нее приподнятое. Ей хотелось поскорее увидеть Омурбека. В условленном месте его не оказалось. Гулай прошла дальше, но все оглядывалась назад: «Неужели не заметила?»

— Гуль! Никогда не ищи меня позади, я всегда бываю только впереди! — сказал Омурбек, неожиданно появляясь из-за толстого ствола чинары.

— Ах, разве?..

— Да, совершенно точно! — подтвердил Омурбек, беря ее под руку. Гулай склонила голову ему на плечо.

— Долго я тебя заставила ждать?

— Чуть меньше академического часа.

— Прошу извинить.

— Ни за что не извиню!

— Ну, я прошу, — сказала она умоляюще. —

Ведь и я тебя… буду ждать! — добавила она. От этих слов сердце Омурбека застучало сильнее.

— Нет, прощения не будет! — продолжал он упрямо. — Никто еще не заставлял меня так долго ждать. Я очень зол на тебя…

Омурбек сам испугался своих слов — он понимал: это было жестоко. Его широкий лоб даже вспотел.

— Скажи, Омурбек, что мне сделать, чтобы ты простил меня? Ну!.. Ведь ты все равно простишь… — Гулай еще плотнее прижалась к нему.

— Если сделаешь вот так, тогда прощу, — ответил Омурбек и неожиданно поцеловал ее в щеку. Гулай испуганно отстранилась, осуждающе посмотрела в лицо Омурбека широко раскрытыми глазами.

— Как тебе не стыдно? Я не пойду с тобой! — сказала она, отходя в сторону. — Что ты делаешь? Так нельзя! — Но вдруг подошла к Омурбеку вплотную и с нежностью заглянула ему в глаза.

— Ах, нельзя! — с притворной досадой повторил Омурбек. — Тогда верни его обратно, — приблизил он свои губы для поцелуя. Гулай застенчиво улыбнулась. А Омурбек смотрел на нее ждущим, нетерпеливым взглядом.

Гулай опустила длинные, тонкие, как усики у

колоса, ресницы, как бы выражая этим полную покорность воле любимого.

12

Черный «ЗИС» мчался по бухарским дорогам. Мелькали серые домики кыштаков, зеленые сады, виноградники. Работник областного отдела народного образования Омурбек две ночи кряду провел почти без сна — работал в особой комиссии — и теперь чувствовал утомление. Стояла нестерпимая жара. Она окончательно его разморила. Глубокую тишину нарушал лишь мерный, приглушенный гул мотора. Машина плавно катилась по ровной дороге, укачивала. Омурбек задремал.

— Омуш! — послышался ему сквозь сон голос Гулай. — Звездочка моя, солнышко мое… Ведь я… всего лишь букетик цветов в твоих руках. На всю жизнь я — твоя. Не удивляйся моему приезду: я не могу жить без тебя ни одной минуты… — Омурбек ощутил, как горячие губы коснулись его лба.

Он открыл глаза, улыбнулся, но тут же нахмурился недовольный тем, что ему помешали спать. Склонив голову на грудь, Омурбек тотчас задремал. А Гулай продолжала говорить:

— Есть ли у кого-нибудь еще такой несносный характер, как у тебя! То ты ласков и добр,

то хмуришься, как грозовая туча, и к тебе боязно приблизиться... Ты не маленький, Омуш, собираешься стать мужем и отцом, пора бы тебе одуматься, бросить эти скверные привычки. Или ты хочешь, чтобы я возилась с тобой, как с капризным ребенком?..

Омурбек громко расхохотался — так все это было похоже на правду. Смех окончательно разбудил его. Он взглянул на шофера — как тот воспринял беспричинный хохот, не догадался ли о его сновидениях?.. Шофер, занятый своими думами, внимательно смотрел на уходящую под колеса машины дорогу.

Какое-то необъяснимое чувство досады испытывал Омурбек от этого странного сновидения. Чем оно вызвано? Обидой Гулай?.. Но ведь она его любит! Эта мысль вернула ему спокойствие. В мечтах о их совместной жизни он незаметно доехал до дома.

Войдя в комнату, он подошел к своему рабочему столу и увидел голубой конверт, на котором рукой Гулай был написан его адрес. Омурбек схватил письмо, вскрыл конверт, вынул исписанный листок бумаги и прочитал следующую неожиданную для него весть:

«Омурбек!.. Мои глаза застилают слезы… Это горе, которое сочится из моей души. Для тебя я теперь — увядший цветок. Ты же для меня — далекое призрачное видение. Словно льющийся на снег дождь, капают на белую бумагу мои горькие слезы… Они оплакивают потерянную любовь… Будь счастлив и не обижайся на меня. Если когда-нибудь вспомнишь Гуль, не думай о ней плохо… И не пиши мне больше. Ладно? Бывшая твоя Гуль».

Омурбек не верил глазам. Он перечитал письмо несколько раз, но ничего нового в нем не обнаружил.

Глаза Омурбека наполнились слезами. Невидящим взором он уставился в клочок бумаги, принесший ему столько горя. Перед ним вставали картины его последних встреч с Гулай, оживали незабываемые минуты счастья и радости. От этого было еще больнее.

Заводской гудок заставил Омурбека вздрогнуть, вернув его из оцепенения.

Доброта и отзывчивость уживались в Омурбеке с настойчивостью и упрямством. Слова Гулай «Будь счастлив и не обижайся на меня»

вонзились в его сердце, как тупой нож. Все лучшие воспоминания, связанные с Гулай, вдруг потускнели, казалось, их бесследно смывали эти жестокие слова. Что они означают?..

Не к лицу джигиту горевать по девушке, образ которой развеялся подобно дыму, гонимому ветром. «Пусть будет счастлива и пусть на меня тоже не обижается», — решил Омурбек и написал телеграмму:

«Письмо получил, твоим решением согласен, живи счастливо. Омурбек».

Раньше он всегда ставил в конце письма: «родной твоему сердцу», «твой жених», «твой соловей», «твой Омурбек». Телеграмму он подписал холодно, как посторонний ей человек. Былые теплота, нежность куда-то улетучились, пришло холодное равнодушие, отчуждение. Но он не мог побороть в себе чувство ревности. Оно жгло его, как огонь.

Он ходил из угла в угол по своей маленькой комнате, вдруг показавшейся ему пустынной и неприветливой. Открыв ящик стола, Омурбек извлек пачку писем. Это были ее письма. С ожесточением он начал рвать их в мелкие клочья и расшвыривать по полу. Под руку подвернулся

листок со стихами «Когда сердце плачет». Эти стихи он послал ей в последнем письме.

Пусть глаза мои в слезах —
Слезы с сердца боль смывают,
Будто струйки родника,
Пламя сердца заливают.
Сердце, сердце отчего
Не даешь душе покоя?..
...Я могу слезу стереть
Голубым платком с каймою...
Сердце ж спрятано в груди,
Плачет скрытно, боль тая.
Я унять его не в силах —
От того печаль моя...

Когда тоскует сердце —
И тигра страдать заставит...
Скрытные слезы сердца
Душу, иссушая, старят...

Прочитав стихи, Омурбек стиснул зубы, разорвал их и швырнул к двери. Он нервно зашагал из угла в угол, разговаривая сам с собой. Если бы кто-нибудь увидел его в этот момент, то непре-

менно счел бы за пьяного или ненормального.

«Да, я действительно страдал все это время. А из-за кого? Из-за тебя, Гулай… Только из-за тебя! Ты обманула меня. Ты никогда меня не любила, ты любила его, его, его!..

Я поверил твоим словам, как жаворонок змеиным взглядом, был загипнотизирован тобою и… обманут. Ах, что ты со мной сделала!.. Ты отбила у меня всякое желание продолжать заниматься литературной работой. Оказывается, за внешней красотой невинного цветка в тебе скрывалась жгучая крапива! Минутное увлечение тебе дороже вечной дружбы, любви… Двуглавая змея, бесстыдница! Ты потеряла честь и совесть! Ладно, будем живы — встретимся. Обманом счастья не найдешь!..»

Омурбек, охваченный отчаянием, сел к столу, опустил голову на руки.

— О Гуль! Чтобы я никогда больше не видел твоего красивого лица!.. — воскликнул он со стоном.

Резко зазвонил телефон. Омурбек нехотя поднял трубку.

— Алло! Да, Бектурганов слушает… Не узнаете голоса? С дороги, устал… Кто говорит? Исман?! Здравствуй! Ты из Сталинабада?.. Мои стихи?.. Ну?.. В газете?.. Пусть хвалят… Выходит из печа-

ти моя книга?.. Кто же ее издает?.. Ну, что же... пусть... К весне думаю освободиться. Пишу все время. Да, и я соскучился о старике... Как освобожусь, сообщу о выезде... До свидания, брат, будь здоров...»

Пока Омурбек разговаривал по телефону, его лицо все больше светлело, на него набежала улыбка и теперь уже не сходила. Впервые он узнал, что удача в творческих делах может на время заглушить тоску раненого сердца, вытеснить из него любимую. Неужели твоя первая книга так же дорога тебе, как и первая любовь?.. Сердце Омурбека счастливо и радостно колотилось, сразу же излечившись от тяжелой раны. Его мысли были заняты теперь его первой книгой. Ему так захотелось взять ее в руки, развернуть и почитать!

— Итак, мои стихи одобрены! — радовался вслух Омурбек. — Теперь все знают, что моя книга находится в печати... Все ее будут читать... Что может доставить большую радость! О, радость уже взяла верх над печалью!.. — Омурбеку захотелось поделиться своей радостью с кем-нибудь близким. Перебрав в памяти товарищей, он почему-то остановился на Гулай. И снова его охватило чувство ревности. Нет, он никому не хотел ее

уступать!

— Но, — сказал он себе твердо и решительно, — навязываться той, которой ты опостылел, не пристало джигиту. И все-таки я должен написать ей…

Охваченный горем и радостью одновременно, он тут же настрочил письмо.

«Гуль! Какая колючка выросла между двумя цветками?.. Разве не были мы парой лучистых глаз, созданных для украшения одной головы?.. Каждый ищет свое счастье, каждый находит себе друга… Я любил тебя всей душой. Дни, проведенные в разлуке с тобой, казались мне окутанными мглой. И вот моя любовь развеяна ветром. Никогда я не думал, что ты так бесчестно поступишь со мной. Мне остается пожелать тебе… счастья с тем, кого ты избрала!

Вот уже шесть месяцев, как я приехал в Бухару. Эти шесть месяцев показались мне дольше шести лет. Если бы ты была со мною, разве бы не пролетело это время, как шесть часов? Я не прошу, чтобы ты вернула мне свою любовь. У каждого

из нас только одно сердце, и любить оно может только одного. Я не намерен идти наперекор своей совести и не собираюсь разлучать тебя с новым другом. Живите счастливо!..

Сегодня я понял, что значит истинная любовь... Кто знает, был бы я сейчас в живых, если бы не открыл для себя этой тайны любви...

Тебя я любил всем сердцем. Ты же любила меня только на словах. Язык обманывает себя, а сердце крепко хранит свою тайну. Теперь моя любовь, которую ты отвергла так жестоко, отдана моим стройным, подобно собранному в ожерелье жемчугу, стихам.

Сегодня я разговаривал с братом по телефону. Узнал от него, что мой первый сборник стихов сдан в печать, а мои стихи, появившиеся в газете, с восторгом приняты читателями. Если мои стихи нравятся, значит — меня полюбит народ, читатели! О другой любви я не могу и мечтать! Чтобы заслужить еще большую любовь народа, я отдам моим стихам все, что у меня есть, — и душу и сердце. Я

буду баловать своих читателей больше, чем можно баловать любимую девушку. Знаю, они никогда меня не обманут.

Твои ласки вспоминаются мне, как приятные сновидения, но они завершились кошмаром… Моим стихам я отдам свое сердце, и они никогда не оставят меня. Мне очень жаль и тебя и себя… Но ты забудь про все и живи счастливо со своим новым другом.

Сбившейся с пути красавице от обманутого Омурбека».

13

Подобно бисеру нанизывались дни на длинные нитки лет.

У старого Бектургана борода стала совсем седой. Но старость пришла к нему добрая: старик был спокоен и весел, с характером мягким, уживчивым.

— Дедушка, скажите, сколько вам лет? — спросят его, бывало.

— Двадцать два исполнилось, сынок, — ответит он и рассмеется. А то снимет тюбетейку и, поглаживая ладонями стриженную голову, скажет:

— Не удивляйтесь, что голова моя сверкает серебром. Это потому, что мне когда-то исполнилось шестьдесят три года… Да, а потом я стал жить по-человечески и живу всего лишь двадцать два года. Некоторые считают, что мне уже восемьдесят пять лет. А зачем мне спешить!..

Вряд ли он завидовал тем, кто молод. Ведь говорили о нем:

— Поразительно! Посмотрите на эту сухую арчу — она ровесница Бектургану, а уже давным-давно высохла! А он все еще полон здоровья и сил!..

И чего ради Бектургану стареть! У него за сто-

лом такая еда, какую не знал и хан. Одевается он так, как в жизни не одевался. Вырастил двух здоровенных, как тигры, сыновей. Один пишет книги, другой — начальник... Дом у него не хуже дворца. Он благодушествует себе за чаем и, включив радиоприемник, говорит: «Послушаю-ка я песни моего Омурбека». И сидит, слушает, довольный, поглаживая седую бороду. Разве от такой жизни будет человек стареть?.. И все же появились приметы старости — бессонница. Летом он встает раньше ворона и гонит на лужайку скотину. А зимой чуть свет возится на скотном дворе: кормит жеребят, убирает навоз...

— Дед, и чего ты все канителишься? Сидел бы себе спокойно, — скажут иные.

— Эх, дети мои! Из грошей складывается рубль, — отвечает он. — Всякое большое дело начинается с самой ничтожной работы. Пусть моя работа в сравнении с вашей — муравьиные хлопоты. И все-таки я ее не оставлю. Эх, старость! Будь я таким молодым, как вы, горы свернул бы...

Иногда Бектурган вел себя, как ребенок. То он с усердием молится богу. То, забыв помолиться, чуть свет бегает от дома к дому и кричит: «Эй, вставайте! Пора на работу, сколько можно

спать?!» А то взберется на холмик и сидит, встречая восход солнца или любуясь его заходом.

— Дедушка, что вы все смотрите то на восток, то на запад? — спросит его любопытный.

— Эх, дети мои! Или вы ничего не понимаете в красотах природы, или не замечаете их, — отвечает Бектурган. — Обратите внимание! И всходит и заходит солнце всегда одинаково тихо и приветливо, без всяких тревог. Человек — такое же божье творение, но при рождении он радуется, а смерти пугается. Почему он не создан таким же, как солнце, — спокойным и беззаботным?

Некоторые думали, что старик выжил из ума, иные говорили:

— Бектурган рассуждает, как мудрец. Он говорит о таких вещах, которые простому смертному и в голову не приходят…

Вот как выглядел Бектурган на восемьдесят пятом году своей жизни.

Когда Исмана назначили директором одной из МТС Чуйской долины, Бектурган и вовсе воспрянул духом. «Соберитесь все поближе к дому. Тогда хоть в два месяца раз будете показываться мне на глаза», — писал он своим сыновьям.

Омурбеку за все эти годы удалось навестить отца всего лишь три раза.

— Э, айланайын! Почему не привез с собой молодую жену? Она у тебя врач? Скажи ей, пусть вышлет мне очки, — попросил Бектурган в один из приездов Омурбека.

— Дорогой сынок! Приехал бы как-нибудь со снохой и внуком. Пусть они отдохнут на зеленом джайлоо. И чего тебе дался этот город, что никак не можешь с ним расстаться! Посмотри на сыновей Исмана — сами с воробья, а как на лошади ездят! Твои дети, наверно, побоятся и подойти к лошади, — говорил он ему в следующий его приезд.

Когда Омурбек приехал в третий раз, Бектурган попросил:

— О сын мой! Я становлюсь совсем стар. Привези ты мне кого-нибудь из своих детей! Я сам буду нянчиться. Пусть внук бегает за мной, как цыпленок. Мы с ним сходим в горы по ягоды… О, мои сыновья стали совсем чужими. Разве для того я вас растил?! А твои дети, я слышал, разговаривают только по-русски. Как же мы будем понимать друг друга?.. Они меня и дедушкой звать не будут.

— Не обижайтесь, атаке! Вот приеду в июне и оставлю вам всех внучат. Жена тоже меня ругает: что же, говорит, я увижу атаке, когда буду совсем

старухой?..

Яблоня, посаженная Бектурганом в честь первого внука, раскинула ветви, отцвела и уже дала завязи. Остальные яблони, которыми отмечался год рождения каждого из младших внучат, были моложе, но уже зазеленели и шелестели на ветру тонкими верхушками.

Ходит старик среди яблонь, и кажется ему, что внучата тут же, рядом, бегают за ним. И лицо Бектургана светится счастливой улыбкой. Привычным движением рук снимает он паутинки с веток и, оглядевшись вокруг, шепчет: «Хоть бы скорее приехали мои птенчики».

Однажды, сидя в тени яблонь, он поворожил на камешках и позвал свою старуху:

— Смотри, как легли камешки! В этом году дети не приедут к нам… На днях мне приснился сон: будто Омурбек покупает мануфактуру, много мануфактуры… А это разгадывается, как дальняя дорога. Похоже, опять в свою Москву ехать собирается. Мой сон и камни говорят одно и то же, — поднял он один камешек. — Если бы камешки легли вот так — к порогу, наши дети обязательно приехали бы… Ну, ладно, пусть едут, куда хотят, были бы здоровы, — миролюбиво закончил он.

— Если нынче не приедут, то сама съезжу к ним, — сказала старуха.

— Ну, что ж, поезжай, — поддержал ее Бектурган. — Они теперь большие, знатные люди, и к ним приходят такие же… Да… Сядут они вокруг стола, а ты притулишься где-нибудь на полу. Ведь неудобно сажать тебя за один стол с большими людьми! Если доведется тебе поехать, помни об этом. Не распускай при гостях язык, много не разговаривай! Приглядывайся к ним, ешь с вилки, а не хватай руками. Да и спишь ты как-то нехорошо. Ты ложись спать, когда все улягутся, а вставай раньше всех! — наставлял он старуху.

Собрав свои камешки, Бектурган поднес их к губам, потом ко лбу.

Старухе не понравились наставления мужа. Выслушав их, она грустно вздохнула и сказала:

— Сами они, наверно, приедут…

14

В тот день, когда старик со старухой сидели в тени под яблоней, опечаленные неудачным гаданьем на камешках, Омурбек собирался в поездку к отцу. Гостивший у него Исман, узнав о намерении брата, посоветовал:

— Отложи-ка поездку дня на три. Ведь я не знал, что ты собираешься к нам. Надо подготовиться к встрече.

— К чему эти приготовления? — возразил Омурбек. — Нет, поедем вместе, а вещи уложим на твою машину.

— Нет, вы должны задержаться с выездом на три дня… Как только ты приедешь, все районные работники один за другим повалят к нам. Ведь это твои старые друзья! Надо же что-то такое организовать, чтобы было чем встретить гостей. А вещи свои давайте мне, увезу на своей машине, — настаивал Исман.

— Ну, хорошо, — вмешалась жена Омурбека. — Кстати, тебя сегодня приглашал школьный товарищ. Не пойти — неудобно, — напомнила она Омурбеку.

— Какой товарищ? Кто такой? — полюбопыт-

ствовал Исман.

— Ладно, уговорили, — согласился Омурбек. — Ты езжай, а мы скоро нагрянем… А этот товарищ… летчик. Мы с ним учились в интернате. Прилепился, как клей: «Обязательно должен быть сегодня у меня». А обижать его не хочется.

В тот же день Исман сел в старенький «Газик» и поспешил к себе в аил, чтобы подготовиться к встрече гостей… А Омурбек отправился к своему товарищу, Михайлову.

Здесь его уже ждали. За столом, кроме хозяина, сидело четверо летчиков. Они говорили о последних событиях в жизни авиаторов. В то время весь мир восхищался первым перелетом советского воздушного корабля через Северный полюс в Америку. Имя командира корабля Валерия Чкалова повторялось множеством людей.

— Этот тост я провозглашаю за учеников великого Чкалова, за крылатых соколов нашей великой Родины, товарищи! — поднял бокал Михайлов, и друзья чокнулись.

Прозрачное, как янтарь, шампанское вновь полилось в бокалы.

— Я предлагаю поднять бокалы за успехи молодых киргизских соколов, впервые взлетающих над горами Киргизии, — предложил начальник

аэроклуба.

Бокалы со звонам соединились над столом.

— Но почему впервые?.. Над киргизской землей давно уже парят соколы, — заметил Омурбек.

— К нам прибыло пополнение — шесть новичков. Среди них — первые летчики-киргизы. Они еще не летали над своей родной землей, — пояснил начальник аэроклуба.

Видимо, Омурбеку захотелось написать что-нибудь о молодых летчиках-земляках. Он спросил:

— А можно узнать их имена и фамилии?

Михайлов помнил всех, он назвал имена и фамилии молодых летчиков. Никто не заметил, как побледнели щеки Омурбека. Некоторое время он не мог вымолвить слова. Потом, точно спохватившись, быстро проговорил:

— У этих молодых соколов, как часто бывает, и жизнь должна быть интересной. Нельзя ли узнать о них что-нибудь?

— Эти писатели любопытны, как дети! — со смехом заметил Михайлов. — Пристанут — не отвяжешься. На ваше счастье, у меня случайно задержались их личные дела. Могу познакомить. — Он достал из несгораемого шкафа папку с документами, подал Омурбеку.

Что так заинтересовало Омурбека, что его

взволновало? Об этом никто не спросил: очевидно, каждый видел в действиях Омурбека профессиональную писательскую любознательность — и только.

Просматривая автобиографии летчиков, Омурбек наткнулся на строки, которые перечитал несколько раз:

> «…Помню, я был еще совсем маленьким. По пути в Ташкент на станции Арысь я заблудился и отстал от поезда. Сел без билета в первый попавшийся поезд. Вместо Ташкента меня привезли в Оренбург. Кондукторы сняли меня с поезда и сдали уполномоченному железнодорожного отделения ГПУ. Адреса своего я не знал. Меня направили в трудовую коммуну. А потом я попал в авиационную школу… Таким образом я потерял отца и обоих братьев. Живы ли они, я не знаю. В настоящее время я совершенно одинок…»

Глаза Омурбека, которые он никак не мог оторвать от этих строк, наполнились слезами, горло сдавили спазмы.

— Товарищ Михайлов, где остановились эти молодые летчики? — спросил он дрогнувшим

голосом.

— Они приехали только вчера и остановились в гостинице. В День авиации они полетят в колхозы, будут проводить там собрания, выступать с докладами. Если хочешь, могу познакомить с ними.

— Пожалуйста, я буду вам очень благодарен, — ответил Омурбек и добавил: — А теперь разрешите мне уйти, я собираюсь ехать в аил к отцу, надо собраться в дорогу. А вечером прошу вас быть у меня.

Простившись со всеми, Омурбек поспешил в гостиницу.

Всю дорогу он с волнением думал:

«Что это?.. Спьяна мне померещилось? Или какое-то случайное совпадение? Или действительно это он? Узнаю ли я его? Конечно, узнаю! Как он, должно быть, вырос, изменился. Каким стал джигитом!..»

Человек, которым интересовался Омурбек, как сказала дежурная по гостинице, остановился в восемнадцатом номере. Омурбек быстро взбежал по лестнице на второй этаж и постучал в дверь. «Войдите, войдите», — послышалось ему. Но дверь была заперта. Он постучал второй и третий раз — никто не отозвался. «Померещилось», — ре-

шил Омурбек и, тяжело дыша, побежал обратно.

Он походил на человека, охваченного паникой, — точно кто-то тяжело заболел, и он мечется в поисках неотложной помощи, или его преследует враг…

«Что случилось?» — невольно думал каждый, кто встречал его в эти минуты. Бледное лицо Омурбека блестело от выступившего пота.

Он ничего не видел перед собой и потому неудивительно, что толкнул плечом шедшего навстречу рослого белолицего джигита. Омурбек извинился.

— Ничего, — ответил джигит по-русски. — Не случилось ли с вами чего-нибудь? Вы так взволнованы.

— Нет, все нормально, — остановился Омурбек. — Вы, кажется, летчик. Вы остановились здесь, в гостинице?

— Да, здесь.

— А не знаете ли вы Бектурганова?

— Не этого ли человека вы разыскиваете? — показал джигит на портрет, изображенный на обложке книги, которую он держал в руке. — Разве автор этой книги тоже живет в гостинице?

Омурбек узнал свою книгу, но почему-то не решился сказать, что он и есть ее автор.

— Знаю, автор этой книги живет здесь, в городе, хотя и не в гостинице. Я разыскиваю его брата, летчика. Может быть, вы его товарищ?

Джигит еще раз взглянул на портрет в книге, как бы припоминая что-то.

— Братом ли автора этой книги является тот летчик, я не знаю. А я не товарищ летчика, а тот самый человек, которого вы разыскиваете, — сказал джигит.

Омурбек присмотрелся к лицу собеседника и увидел приметную родинку на его левой щеке. Схватив за руку джигита, он радостно воскликнул:

— Табылды!.. Я — Омурбек! — И братья заключили друг друга в крепкие объятия…

Прошел день.

Рано утром, едва пылающий диск солнца бросил на землю свои первые лучи, Омурбек усадил детей в машину и, прощаясь с братом, сказал:

— Значит, договорились, Табыш… Через пять дней.

— Буду восемнадцатого в десять ноль-ноль, — ответил Табылды, помогая сесть в машину жене Омурбека. — Небось, аэродром у вас оборудован отлично?

— Да, аэродром построен недавно, его очень

хвалят. До твоего приезда я ничего не скажу отцу. Мы устроим ему приятный сюрприз. До скорого свидания!

Озорники Омурбека, подражая отцу, помахали ручонками провожающим, и «ЗИС», посигналив мелодичным гудком, помчался на восток…

А через пять дней, восемнадцатого августа, над облаками летела стальная птица. Молодой летчик вел ее в родной кыштак своего отца…

15

Никогда Бектурган не чувствовал себя таким счастливым: два сына с женами и детьми сидят у него в гостях. Да еще почти к самому дому сегодня прилетел самолет, как будто на крышу его дома опустился сам Кут — дух счастья. И оба летчика, прилетевшие на нем, удостоили старика высокой чести — пришли к нему в гости. Утомленный волнениями, старик не выдержал и уснул, и гости тихо шепчутся, боясь нарушить его сон.

...Стол перед Бектурганом ломился от обилия самых разнообразных яств. Многое из того, что на столе, старик видит впервые в жизни. Бутылки шампанского, придающие столу особую торжественность, кажутся старику какими-то сказочными.

Гости внимательно слушали рассказы старика о прошлой его жизни. Они то смеялись, то в глубоком молчании печально опускали глаза. Белолицый джигит, сидевший рядом с Бектурганом, был особенно возбужден. Он никак не мог усидеть на месте, то и дело выбегал из комнаты. Улыбка не сходила с его лица.

Старик, кроме кумыса, ничего не пил, но был

опьянен избытком счастья.

Присутствовавший среди гостей секретарь райкома, верно оценивший состояние Бектургана, спросил:

— Дедушка, вы прожили много и пережили немало. Все ли ваши мечты сбылись? Не осталось ли в вашей душе горечи неисполненного желания?

— Да, да, это очень интересно, — вставил кто-то.

— Эх, сынок! Трудный вопрос ты мне задал, — ответил старик, поглаживая бороду. — Мое сердце изранено. Чего я только не перенес в своей жизни! И какую бы жизнь ни знал человек, у него всегда рождаются новые желания. Когда я был голодным — мечтал только об одном: «Чем бы мне насытить желудок?» И ничего большего в те дни я не желал. Но когда это желание исполнилось, и я уже не думал о еде, появилось другое желание: «Как бы мне не ходить в рваной одежде?» Когда я стал сыт, одет, обут и обзавелся собственным углом, меня стала терзать мысль: «Черт возьми, как бы отомстить тем злодеям, которые угнетали меня всю жизнь?» Исполнилось и это желание. Но пришло новое: «Как бы дети мои вышли в люди, обзавелись семьями. Дожить бы мне до

такого счастливого времени — тогда и умереть можно спокойно». Все мои желания сбылись. Но умирать не хочется. Да и жизнь, кажется, все еще в долгу передо мной. Собрать бы, думаю, вокруг себя всех сыновей — тогда никаких претензий не было бы у меня к жизни. Сегодня и это желание удовлетворено. Мои сыновья, внуки — в тесном семейном кругу, словно фрукты на ветке, и я испытываю верх блаженства. Кажется, я могу спокойно умереть. И все-таки умирать рано. Осталось еще одно желание… — Бектурган тяжело вздохнул.

— Ну, чего бы вы еще хотели, дорогой дедушка? — спросил кто-то из гостей.

— Эх, сын мой! Мечта человека резвее всякого скакуна. В своем беге она не довольствуется тем, что достигнуто, и стремится к тому, чего нет и никогда не будет… — Бектурган с минуту сидел молча, потом продолжал: — Сказать по правде, человек никогда не довольствуется достигнутым счастьем и умирает, так и не исполнив всех своих желаний. С давних пор мою голову сверлит горькая дума. Может, вам это не совсем понятно… Вы люди молодые, ученые и все воспринимаете по-своему. Но я до сих пор переживаю очень тяжело…

— Что вас мучает, дедушка? Скажите — мы все готовы помочь вам.

— Нет, дети мои! Тут человек бессилен. Один только бог может помочь... Моего самого младшего сына... самого младшего... того, которого я выходил в мучительно тяжелые годы... его нет с нами. Он пропал без вести... Я не слышал его детского лепета, не видел его детских игр. Он умер, не успев увидеть ничего на свете... В больших мучениях он пришел в этот мир и в мучениях ушел из него. Если бы он был жив, ему шел бы уже двадцать третий год. И сидел бы он сегодня рядом со мной. Вот мое последнее желание, которое никогда не сбудется.

Рассказывая о сыне, Бектурган ни словом не обмолвился о том, как он его нашел.

— Мой милый мальчик! Хорошо, если он ушел от нас без обиды на меня. Иногда он, как живой, стоит перед моими глазами. Иногда мне кажется, что он только что умер, и от этого сердце сжимает тоска, — закончил старик свой печальный рассказ и тихонько смахнул набежавшие слезы.

Табылды с волнением слушал рассказ отца, шагая по комнате. Увидев слезы на глазах старика, он не выдержал:

— Атаке! Вы не узнали меня? Ваш Табылды

— это я!

Потрясенный Бектурган вскочил на ноги с проворностью барса и на секунду замер, всматриваясь в черты лица рослого белолицего джигита. Потом он медленно подошел к сыну и притянул его к себе.

— Наконец-то!.. Наконец-то на моем сердце зажила последняя рана!.. Живите счастливо, дети мои. Пусть исполнятся все ваши желания. Табылды! Дорогой мой! Дай мне еще раз обнять тебя!..

Бектурган не сказал больше ни слова. Крупные слезы катились по его щекам. С виноватой улыбкой он покачивал седой головой, беззвучно шевеля губами. Казалось, он навсегда лишился спутника своей жизни — языка.

Вместо эпилога

Недавно я встретил в поезде Омурбека. Мне захотелось узнать, какова дальнейшая история его отношений с Гулай. Дождавшись удобного момента, я спросил его:

— На ком же ты теперь женат, на Гулай или на другой?

Омурбек грустно улыбнулся и, тяжело вздохнув, сказал:

— На другой. Хотя дерево поднимается от одного корня, потом оно раскидывает свои ветви в разные стороны. Так получилось и с нами. Хотя мы оба стремились к одной цели, хотели навсегда остаться вместе, судьба нас разлучила.

Омурбек стряхнул пепел с папироски и стал пристально смотреть на колечки дыма.

— Может быть, расскажешь подробнее, как сложились ваши судьбы, если тебе это не очень тяжело?

— Наша любовь кончилась печально. Но все же я расскажу о ней.

Со мной учился один плутоватый парень, по имени Тарпанбай. Черной колючкой, выросшей между мной и Гулай, оказался именно он. Этот

плут перехватывал мои письма к Гулай и вместо них посылал от моего имени другие, которые сочинял сам.

«Не жди меня. Живи с тем, кто тебе больше приглянется. Я не хочу стоять преградой на пути к твоему счастью. Забудь меня!» — так он писал в своем первом письме. В следующий раз он стал уже наглее: «Я хочу, чтобы ты нашла свое счастье. Если хочешь послушаться меня, выходи за Тарпанбая». В третий раз он уже пишет: «Я здесь, в Бухаре, женился. Если тебе не будет неприятно, полюбуйся на нас на этой фотокарточке». Он берет мою фотографию, случайно оказавшуюся у него, достает фотографию смазливой женщины и делает подлог — переснимает с помощью какого-то фотографа оба снимка на одну фотокарточку. Получается счастливая пара — молодожены. Эту подделку прохвост вкладывает в конверт и посылает Гулай. Не выдержав такого издевательства, Гулай чуть не кончает жизнь самоубийством. Но человеку трудно расстаться с жизнью. Оставив эту мысль, она берет у Тарпанбая мой адрес и пишет мне небольшое письмо, о котором ты уже знаешь. После моего ответа на это письмо у нее никаких надежд уже не остается.

Человеку, переживающему тяжелое горе, до-

рого каждое слово утешения, от кого бы оно ни исходило. Тарпанбай, конечно, тут как тут. Он принимает самое близкое участие в ее переживаниях и окончательно завоевывает ее расположение. Вскоре она выходит за него замуж. Когда Тарпанбай достиг своей цели, он открыто стал хвастаться своими гнусными проделками.

Узнав, что она стала жертвой грязных интриг, Гулай всеми способами старается избавиться от проходимца. Но Тарпанбай никак не желает расставаться со своим счастьем, добытым таким трудом. За ее любовь ко мне он стал ее жестоко истязать…

И вот его отдают под суд. За истязание жены и другие преступления Тарпанбай попадает в тюрьму. Через два года Гулай выходит замуж за другого…

Все эти годы я ни разу не виделся с Гулай. И только в тридцать четвертом году мы случайно встретились в одном доме, в гостях. Увидев меня, она чуть не потеряла сознание, но все же нашла в себе силы поздороваться со мной. В гостях она не осталась.

Когда я встретился с ней второй раз, она чистосердечно рассказала все подробности этой печальной истории. О, как она проклинала тех,

кто своими подлостями отравляет жизнь людям! Как она жаловалась на свою судьбу!

С этого времени мы стали часто встречаться. Она живет и работает в нашем городе. Теперь у каждого из нас своя семья. Но любовь наша, кажется, так же свежа, как и тогда, хотя и таится где-то в глубине сердец. Меня все время влечет к ней. Как-то уж очень легко и приятно становится на душе всякий раз, как поговоришь с ней…

Кто знает, что у нее в душе? Но только лицо ее всегда такое печальное. А может быть, мне так кажется? Не знаю. Вот вкратце печальная история нашей любви.

Ну, а теперь рассказывай о себе, — сказал в заключение Омурбек.

— Кто из нас не пережил в молодости этих чувств! — ответил я Омурбеку. — Кому из нас не устраивали разных пакостей. Из своей жизни я мог бы рассказать тебе историю куда интереснее. Приходи ко мне как-нибудь в выходной день. Посидим, потолкуем. Думаю, мой рассказ не покажется тебе скучным. Заранее скажу — и посмеешься вдоволь, и поплачешь…

Перевод М. Аксакова.

М. Элебаев
ДОЛГИЙ ПУТЬ



1

Наша юрта стояла на краю аила, у старой глинобитной ограды.

Однажды мы только что начали подниматься с постели, как вдруг Алмакан, вскрикнув, бросилась к маме.

Прошло уже много времени, как мама слегла. Но сегодня она выглядела не как всегда: глаза вышли из орбит, сделались страшными, в груди что-то хрипело. Я впервые видел, как умирает человек. Мне было одиннадцать лет.

Мы сбились в кучу вокруг мамы. Сестра, как сумасшедшая, закричав во весь голос, выбежала во двор; вскоре она вернулась и опять бросилась к постели мамы. Хотя наша юрта стояла в стороне, но на громкие крики сестры быстро сошлись люди. Меня кто-то выманил во двор. В юрте раздались громкие рыдания, они все больше нарастали и, казалось, вот-вот поднимут нашу плохонькую юрту.

Вот так мы — шесть малышей — остались сиротами. Самая старшая из нас — Алмакан, затем — я, после меня — Беккул, Эшбай, Ашимкан, Бекдайыр. Всего у матери было десять детей: четыре

сына и шесть дочерей. Трех старших дочерей она выдала замуж, самая младшая умерла.

После смерти мамы за нами стала присматривать Бурмаке — жена старшего брата моего отца, дяди Элебеса — маленькая, сутулая старушка лет шестидесяти. Кроме нес, помочь нам было некому. Дядя отроду жил в бедности. Года три тому назад он уехал в Кызыл-Кия[2]. Говорили, что бедняку прокормить себя там было немного легче. Дядя Элебес устроился на почтовой дороге и больше в аил не показывался.

Как назло, весна в этом году выдалась трудная. Несмотря на то, что настала пора, травы еще не поднялись, почти непрерывно дули пыльные ветры. В прошлом году был неурожай. Да к тому же большинство наших жителей хлеба сеяли очень мало — редко кто более двух теше. Наступил голод. И люди по одному, по два, приторочив мешки к седлу, потянулись в русские поселки.

Последнюю горсть пшеницы мы съели еще вчера и сегодня с рассвета ничего не брали в рот. Бурмаке послала меня в нижний конец аила попросить в одной юрте пшеницы на джарму.

Вошел. Рослая чернолицая старуха, с большим

[2] Примечания: 2

Кызыл-Кия — здесь и дальше имеется в виду местность в северо-западной части Прииссыккулья.

носом, сидит у очага, где горят кизяки, греется. Под ее рукой прячется маленькая девочка, как жеребенок, нашедший убежище от дождя.

— Тетушка Бурмаке просила у вас чашку пшеницы, — сказал я, не глядя на старуху. Не заставляя себя долго ждать, она буркнула:

— Нет!

Я вернулся. Бурмаке научила меня, как надо просить:

— Скажи, что, если будем живы, в долгу не останемся.

Пошел я снова, но старуха ничего не дала, и я опять вернулся с пустыми руками. Тогда Бурмаке сказала:

— Не вырыть же нам из земли то, чего нет! Испытаете, что на роду написано, несчастные мои!

Она вздохнула, горестно хмуря брови, словно наши дни были сочтены.

После этого не прошло и десяти дней, как все мы, кроме тети, заболели тифом.

В юрте то там то здесь стонут малыши. Бурмаке, сгорбившись, обходит каждого и дрожащими старческими руками подает пить. Как-то приходил один знахарь и советовал десять — пятнадцать дней не есть, принимать только воду. А у нас и так, кроме нее, ничего нет…

Вот лежит с всклокоченными, как шерсть, волосами, в полусознании, старшая сестра. Ближе к очагу стонет Беккул. Его руки до того исхудали, что видны все жилы, и, кажется, стоит только дотронуться до костей — они поломаются.

— Беккул, скажи, миленький, что у тебя болит, а? — спрашивает Бурмаке. Но он не слышит. Едва дышит.

Отец в надежде что-либо разыскать, приторочив мешок, давно уже куда-то уехал. Ждем каждый день, но его все нет. За целой семьей, свалившейся от болезни, ухаживает одна Бурмаке. По ночам она почти не спит. До рассвета томится, только иногда чуть-чуть задремлет, но, вздрогнув, снова открывает глаза. И потом уже долго, долго прислушивается к окружающему, как человек попавший в страшный дремучий лес. В эту ночь, когда Беккул никак не мог успокоиться, она ни разу не сомкнула глаз. Помню время к полуночи, а она все сидит у очага, временами разгребая еле мерцающий жар. Порой ее голова, как у безжизненной, падает на грудь. В юрте темно, тихо. Только изредка слышится слабый стон Беккула.

Я, помнится, поднялся с постели через месяц. Волосы мои вылезли, как у плешивого. Через

несколько дней вслед за мной поднялся и Беккул. Волосы у него тоже выпали. Когда мы могли кое-как стоять на ногах, Бурмаке дала нам палки.

— Если будете больше ходить, скорее наберетесь сил. Пройдитесь вокруг юрты, — посоветовала она. Мы с большим трудом, делая передышки, обошли юрту. Меня тошнило, в глазах рябило. Земля, казалось, переворачивалась…

Как холм, одиноко стояла наша юрта! С тех пор, как мы слегли, к нам ни одна душа не заглядывала. Вот что я мог видеть, выходя во двор: вокруг — разваленная глинобитная ограда, в одном месте — кормушка для коня, а возле — сухие объедки. Дальше — ямки, где мы с Беккулом играли. На куче навоза, свернувшись калачиком, еще со вчерашнего дня лежит собака с пятнистой шеей. Увидев меня, она помахивает хвостом и смотрит такими глазами, словно просит: «Нет ли, дорогой, у тебя чего-либо поесть?»

Шел день за днем, но из-за недостатка пищи силы к нам возвращались медленно.

— Ах! Если бы была еда, вы скоро окрепли бы. Что же мне теперь делать? — сокрушалась Бурмаке. Но что она могла сделать? У нас в запасе одна чашка талкана — добрые люди дали. Тетушка изредка готовит из нее жиденькую джарму и, как

лекарство, делит между больными. Но два — три глотка нисколько не утоляют голода.

2

Прошло около месяца, как я поднялся с постели. Тут приехала другая бабушка — из Кен-Суу — и увезла меня к себе. Алмакан еще не выздоровела. Когда я пошел за бабушкой к ее лошади, сестра, откидывая волосы, падавшие ей на глаза, глянула на меня: «Ты уезжаешь, да? Ну, что ж, прощай», — говорило ее лицо и глаза, полные жалости и тоски.

Хотя в семье оставалось еще пять сирот, мой уход, однако, немного облегчил их жизнь.

Дед мой по матери жил в сорока верстах, в Кен-Суу. Он — крупный бай, у него шесть сыновей и все шестеро быстро богатели.

Бабушка привезла меня к вечеру на своей гнедой, грузной кобыле. Стояла пора окота. Женщины, закончив дойку овец, отпускали их с привязи. Был мягкий весенний вечер. Блеяли овцы, ревели коровы, ища телят, перекликались женщины… Все это наполняло окрестность разноголосым шумом. Мне, привыкшему жить в уединении, показалось, что я попал в какой-то иной мир…

Прошло несколько дней. Я окреп, стал ходить в

соседние аилы, сдружился с ребятами.

Однажды утром бабушка велела снохе налить мне в коночок айрану.

— Пойди, милок, попаси ягнят. Только не давай им бегать домой, — сказала она.

Тетя Айымджан помогла мне выгнать ягнят из загона. Я погнал их дальше, в горы. В руках у меня был длинный прут. Им я подстегивал отстающих, и они подпрыгивали, как ужаленные.

Отойдя от аила подальше, я загнал отару в балку, а сам остался на скате. Ягнята скрылись в кустарнике, успокоились, я скинул чокои, положил сушиться, затем подстелил под себя шубу, улегся. Вокруг почти никого не видно, только сын бая Сарыбая недалеко от меня забавлялся ручным соколом.

Возле высокой скалы он запустил сокола на сороку, а сам скрылся где-то внизу, только слышалось звяканье сбруи коня, покрытой чистым серебром. Пастух на далеком холме уверенно выводил песню.

Любуясь окружающим, я не заметил, как около сотни ягнят с шумом понеслись вниз по склону. Второпях я бросил все имущество и помчался за ними. Разогнавшиеся ягнята остановились лишь у самого загона. Я повернул с полдороги назад;

тут увидел и остальных, которые неслись вслед за первыми. Я не стал их останавливать: «Теперь все!» — подумал я и пустил их своей дорогой.

На другой день я опять выгнал ягнят. Небо было безоблачным. Ко мне на гору поднялся какой-то мальчик, ростом выше меня, хорошо одетый, в вельветовых брюках. У него такой же коночок, как и у меня. Мы слили ягнят в одно стадо и пустили пастись по широкому склону, покрытому таволгой. Вскоре они скрылись в кустах, а мы принялись бросать с горы камни. Я дважды метнул дальше его.

— Ты кидай, не сходя с места, — зашумел он.

— Ты тоже не сходи!

Солнце начало припекать. Мы бросили игру и пошли пить айран. Мальчик опустился на колени, стал пить айран через трубку.

— Ты тоже пей так, так лучше, — посоветовал он.

— Нет, я буду пить просто, — ответил я и поднял коночок.

В эту минуту группа ягнят, отделившись от стада, побежала вниз.

— Заверни их, — приказал мальчик, продолжая стоять на коленях.

— Нет, я не побегу, ягнята твои! — ответил я.

Мальчик вскочил на ноги и, приблизившись, выпучил глаза:

— Что ты сказал, бродяга?

— Ты знай, что говоришь, я не бродяга, — ощетинился я.

— Ах ты, негодный раб, ты знаешь, у кого ты находишься? А чьих ягнят пасешь? Где твой род? — закричал он и схватил меня за воротник. Мы сцепились и упали, больно ударившись о камни. Поднялись, немного растерянные. Мальчик отошел в сторону, разыскал какого-то длинного червяка, поднес ко мне.

— Сейчас брошу тебе на шею.

Я приготовился к защите:

— Не подходи близко! — закричал я. И стал отмахиваться длинной хворостиной. Немного спустя мы помирились.

Время подошло к полудню. Я пригнал ягнят домой. Пока девушки и ребята привязывали их, появились и овцы.

Вокруг загона стоят пять юрт. Из каждой по одной, по две лениво вышли молодухи с посудой — доить овец.

— Ну, давай, живее подводи, — обратилась ко мне тетя Айымджан.

Я помог выдоить трех — четырех овец, потом

с большим трудом приволок за шею двухгодовалую овцу, которая упиралась, как ишак, боящийся взойти на узкий мост. И надо же случиться несчастью: не успела доярка коснуться вымени овцы, как она рванулась и потащила меня за собой. На бегу овца острым копытом наступила мне на ногу, я вскрикнул: «Ой!» и присел. На ноге выступила кровь. Женщина, доившая вблизи, заохала:

— Раздавили бедняжке ногу!

Бабушка, строгим хозяйским глазом наблюдавшая за всем загоном, увидев меня, сказала:

— Сыну голодранца и скотина попадается под стать.

Она подошла поближе и, важно опираясь на свой сучковатый посох, оглядела меня:

— Несчастный, где ты изодрал шубу? — строго спросила она.

— Это порвал сын Сасбака, — ответил я, не поднимая глаз.

— На что тебе игры, несчастный! Кто же тебе ее починит?

— Я не играл. Он сам бросился на меня за то, что я ему не помог завернуть ягнят.

— Несчастный! Обездоленные все таковы!

Мне казалось, было бы легче, если бы она оставила меня голым, чем угощать такими обидными

словами, проникающими до костей. Когда бабушка сердилась, то на каждые ее два слова третьим было — «несчастный». Но это слово чаще всего применялось ко мне. Сколько бы она ни гневалась на моего двоюродного брата — Курманбая, никогда не говорила ему «несчастный». Поэтому я решил: «Наверное, это слово придумали специально для бедных».

О нашей драке с тем мальчиком, который изорвал мне шубу, очевидно, донес бабушке Курманбай: больше было некому. Мы с первого же дня невзлюбили друг друга. Когда меня не было, он ябедничал бабушке на меня. Однажды я своими ушами слышал, как Курманбай жаловался ей, будто я пинаю скот. А бабушка как раз и не любила таких людей.

Раз, близко к вечеру, мне сказали:

— Тебя зовет байбиче Сарыбая.

Богач Сарыбай жил в центре Кен-Суу в двух белых юртах, которые бросались в глаза еще издали. Вокруг них всегда стояли еще четыре или пять юрт, обычных, но аккуратных, новеньких, как с иголочки. Его сыновья Исмаил, Карыбай тоже имели по юрте.

И вдруг байбиче Сарыбая удостоила меня чести пригласить к себе. Я удивился. Сарыбая я знал

понаслышке, но у него не бывал. Меня ввели в белую юрту. В первой ее половине, где я остановился, на шелковых и плюшевых подушках, накинув на себя бархатный чапан, важно восседала плотная женщина, в большом шелковом элечеке. Я догадался, что это байбиче. Возраст ее был преклонный, не меньше пятидесяти лет, но выглядела она моложе своих лет, видимо, благодаря сытой и беззаботной жизни.

Когда я вошел, она молча подала мне знак сесть поближе и сунула лепешку. Я сел и стал ждать, как пленный раб, что она скажет. Я думал: «Может быть, она пригласила меня из жалости как сироту и хочет чем-нибудь облагодетельствовать...»

Вдруг байбиче протянула левую руку. На ладони я увидел медные монеты: две и пять копеек. Вначале во мне возникло недовольство: «Неужели Сарыбай, у которого тысячи лошадей, не может дать мне больше семи копеек?» Но потом я понял, в чем дело. Это была милостыня.

Сарыбай был болен. С тех пор, как я вошел в юрту, люди шли беспрерывным потоком, одни заходили, другие выходили. Все высказывали баю свое сочувствие. Поэтому же пригласили и меня.

Видимо, чтобы отдать садака, они искали круг-

лого сироту и во всем Кен-Суу нашли только меня. Съев лепешку и получив семь копеек, я понял, что мне здесь больше нечего делать. Я чувствовал себя униженным и оскорбленным, мне было не по себе. А дома меня никто и не спросил, с чем я пришел от Сарыбая, будто все заранее знали, зачем меня туда пригласили.

Через три месяца приехал дядя Элебес и увез меня с собой. Бабушка не стала особенно возражать.

— Езжай. Мы не успели приготовить тебе хоть какую-нибудь обновку. Не жалуйся на нас… — сказала она с притворным сочувствием и подала мне свою старую безрукавку.

Вот и все, что я нажил за целое лето.

Дед мой, а также все его сыновья считались очень богатыми. Но они были настолько жадны, что могли удавиться из-за подохшего шелудивого ягненка. Первый сын деда — Саадамбай, имевший девятьсот овец, не носил других брюк, кроме как из овчины. Помню до сих пор, как он из-за издохшей овцы лил слезы и до утра колотил своего пастуха.

3

От деда мы поехали прямо в Кызыл-Кия. Элебес по дороге объяснил:

— Когда ты уехал к деду, мы вашу семью перевезли к нам, в Кызыл-Кия. Сейчас все находимся под одной крышей. Надо же нам как-нибудь жить…

Кызыл-Кия. Так именовали большой перевал в пятидесяти верстах от знаменитой ярмарки Каркара, которая являлась узлом, где сходились пути из Каракола, Джаркента, Кульджи, Нарынкола.

У подошвы Кызыл-Кия зимой и летом безвыездно жили семь — восемь семейств. Их называли «дорожниками». Они набирались в обязательном порядке из разных волостей Пржевальского уезда. Срок службы дорожника самое малое — четыре года. Но среди них были и такие, которые проработали и по десяти лет. Местность эта похожа на джайлоо. Зимой снега выпадали до того глубокие, что путник мог присесть на верхушку телеграфного столба перекурить. Стоило сойти с дороги, как человек или лошадь моментально тонули в снегу. Здесь жили две семьи русских. Они не были дорожниками. Один из них круп-

ный богач Башарин. Прошло много лет с тех пор, как он поселился в Кызыл-Кия. О нем киргизы говорили: «Когда он приехал, имел только телегу да лошадь, но разбогател на выжигании извести». Каждый год у него телилось 70–80 коров.

По низинам Кызыл-Кийской долины, занимаясь полеводством и скотоводством, жили и другие русские. В Кутурган-Булаке жил богатый купец Дмитрий, или, как звали его, «почтальон Метрей». Кроме усадьбы в Кутурган-Булаке, он имел дома и в других местах: в Караколе, в Тюпе. Его коней дорожники узнавали издали по масти и резвости.

Обязанности дорожников состояли в том, что они убирали камни на дорогах, засыпали выбоины, ремонтировали мосты, держали наготове лошадей. Особенно тяжело было зимой. Трудно сосчитать, сколько раз им приходилось вскакивать с теплой постели и выходить с сонными глазами в темную ночь, в снежный буран, чтобы запрячь в сани клячу и отправиться на перевал. Если дорожник запаздывал или на перевале не тянули лошади, то он получал крепкие пинки и затрещины чиновников, едущих с почтой.

Поэтому бедняги спали в постоянном страхе, а в темные буранные ночи держали ухо настороже

и, заслышав звон далекого колокольчика, загодя вскакивали с постели.

Приехав в Кызыл-Кия, я застал отца умирающим. Мне стало понятно, почему меня забрали от деда. Отец несколько мгновений смотрел на меня потускневшими, ввалившимися глазами, не узнавая.

— А, это ты… — наконец сказал он.

Наверное, и здесь хорошего ничего не видать. Голодный Эшбай просит есть, плачет навзрыд, Ашимкан старательно вылизывает остатки джармы со дна чашки. Съестного в доме нет ничего, словно семья откуда-то приехала и только что сгрузилась. Кроме отца, нас шесть человек и все малыши. Да еще дети Бейшемби.

Бейшемби — единственный сын дяди Элебеса. Ему свыше тридцати лет, у него трое детей. Значит, только малышей набралось около десятка. Короче говоря, в одной семье нас четырнадцать едоков. А как всех прокормить?!

Была мягкая, спокойная ночь. Мы только что улеглись спать, как вдруг резкий голос Бурмаке заставил нас открыть глаза.

— О несчастные, вставайте! — закричала она.

Протирая глаза, поднялись все.

Умер отец.

Юрта наполнилась плачем. Не знаю, откуда взялась какая-то женщина. Мне и Беккулу, еще сонным, она подала по палке и вывела во двор.

— Нате вот, возьмите это, опирайтесь и плачьте до кровавых слез, несчастные! — сказала она и поставила нас рядом с Бейшемби, который стоял возле юрты и голосил, упираясь руками в бока.

Беккул не выше своей палки. Но и он покорился. Голос, однако, у него слабый. А вопить надо, это я знал. Прежде всего я послушал других. Бейшемби причитал: «Мой ты родимый!» Я же начал: «Родной ты мой отец!» За мной заголосил и Беккул. Тогда я, стыдясь того, что мы оба произносим одни и те же слова, обернулся к брату и сказал:

— Ты не повторяй за мной, а находи свои слова сам.

Наступило утро. Показалась группа людей, которые заголосили еще издали. Мы тоже начали плакать. Когда я прислушался к Беккулу, он продолжал причитать моими словами: «Родимый ты мой отец!» Я, обернувшись к нему, опять приказал:

— Я же тебе говорил, находи слова сам.

Он притих, я снова заголосил.

4

Наш аил расположен в «Козлином загоне». Так называется место, обнесенное каменной стеной. Видимо, стена стоит уже давно: местами она обвалилась, кое-где на ней растет трава. До сих пор не знаю, кто и когда ее построил. Но старики в то время рассказывали: «Давным-давно здесь жили калмыки. У них имелось несколько тысяч коз. Загон был выстроен для них. А рвы вокруг, вероятно, вырыты в годы междоусобиц».

«Козлиный загон» стоял на берегу реки Тюп, около дороги. Проезжие часто останавливались здесь, чтобы перекусить, ставили самовар. Зимовье дорожников находилось на виду, на расстоянии пробега жеребенка.

Однажды вечером Джанымджан рубила на дворе дрова.

— Ой, гляди, мама, Урманбет едет! — зашумела она.

— Что ты сказала? Кто едет? — спросила Бурмаке, сидевшая в юрте.

— Да Урманбет, вот уже подъезжает.

Урманбет приходится мне двоюродным братом. Отец его умер, и он не захотел жить с родом,

ушел из аила.

Мы долгое время не знали, где он находится. Кто говорил, что он в Караколе, другие утверждали, что отправился в Андижан, нанявшись к торговцам погонщиком скота. А еще от кого-то слышали: «Урманбет в Каркаре служил работником у одного узбека, а когда тот ему не заплатил, он похитил его лошадь и бежал, но был пойман».

Он с детства был озорным, никогда не сидел на месте. Если приходилось постоять хотя бы минутку спокойно, казалось, его вот-вот разорвет нетерпенье. Какой бы ни был аил, он не успокоится до тех пор, пока не обойдет его весь, не заглянет в каждый уголок.

Урманбет сбежал из аила, когда ему было лет четырнадцать. И с тех пор сколько бы раз ни приводили его назад, он, не переночевав и пяти ночей, скрывался вновь. Некоторые пробовали уговорить его: «Нехорошо отказываться от родичей, на чужбине добра не наживешь». Но он был упрям и стоял на своем. Близкие родственники долго возились с ним, стараясь повлиять на него и советами и уговорами, а он выслушивал их молча и делал по-своему. Выглядел Урманбет молодцом: плотный, плечи шириной в аршин, высокий лоб, в глазах красных, словно налитых

кровью, горит отвага…

…Вот, наконец, он входит в юрту. На нем изорванная серая шляпа, поношенный, из черной шерсти, длинный халат, на ногах — кашгарские сапоги. Значит, служил у кашгарца.

Урманбет имел привычку садиться у двери, будто это место для него было предназначено отроду. И теперь опустился там же. Опираясь на седло, сидит безмолвный, мрачный, как будто обдумывает что-то, только глаза из-под надвинутой на лоб шляпы смотрят зорко. О чем же он думает?

Бейшемби по привычке начинает вразумлять его.

— Много лет ты бродил в чужих краях, а что хорошего нажил? Давай жить вместе, будем сирот кормить.

Присоединяется и Бурмаке:

— Соглашайся, дорогой! Как-никак, поди набрался уже ума-разума! Не пропускай мимо ушей советов Бейшемби!

Урманбет, уставившись на черный кумган с поломанным горлышком, сидит молча.

Бейшемби упрашивал его долго и горячо. «Ну, теперь ты размяк, останешься», — подумал и я. Но Урманбет вдруг неожиданно коротко ответил

всем:

— Нет, уйду!

Больше он не проронил ни слова.

В тот вечер у нас остановились молодые татары — возчики. После чаепития они закурили папиросы, заиграли на гармонике, запели. Урманбет вдруг оставил нас и присоединился к ним. Рыжий приземистый джигит, откинувшись на сложенные постели, высоко пускал клубы папиросного дыма. Урманбет попросил его довезти до Каракола.

— Сколько дашь? — неохотно спросил рыжий, искоса взглянув на Урманбета.

— Пятьдесят копеек…

— Нет, так не пойдет.

Торговались долго.

— Дорогие, у меня даже рубля нет, — признался Урманбет, затем добавил умоляюще: — Возьмите восемьдесят копеек, заодно буду извозчиком.

Рыжий парень немного помолчал, а потом лениво протянул руку:

— Давай деньги!

Урманбет вытащил из-за пазухи грязный платок, развязал на его конце узелок, величиной с пуговицу, медленно отсчитал монеты. Мне стало жаль его. «Эх, жизнь! Неужели эти возчики что-

нибудь потеряют, если подвезут беднягу! Почему они не жалеют бедных, почему их не трогает чужое горе?!» — думал я.

Нет ничего страшнее на свете, чем быть обездоленным!

Урманбет как вышел из юрты, так и не заходил больше. Когда мы укладывались спать, он, кажется, отправился с возчиками. Мне стало обидно, что он, за пять лет показавшись один раз, ушел, не пробыв даже ночи. Я долго не спал, думая о судьбе Урманбета.

Вскоре, той же весной, мы увидели его снова. На этот раз он ехал из Каракола в Каркара. Работал у одного андижанского бая. Вид у него был веселый, не такой как прежде. Он хвалил свою лошадь и рассказывал, как она, по дороге из Каракола, много раз уносила его от полицейских.

5

На следующий год Элебес отдал меня в работники русскому по имени Василий, который жил по ту сторону Тюпа. Я должен был пасти коров.

Когда мы собрались уезжать, подошла Бурмаке.

— Ну, будь здоров, — пожелала она, — как-нибудь нам надо жить. Ты же сам видишь, какая у нас семья?

— Поеду, мне там будет лучше, — ответил я.

Подсаживая меня на лошадь, она спросила у Элебеса:

— Что же ему будут платить?

— Два рубля в месяц.

— И то ладно, два рубля — это деньги, задаром их никто не даст.

Когда мы сели на лошадь, небо стало хмурым, над головой поплыла черная туча. Я обрадовался — хотя бы пошел дождь, ведь с весны на землю не упало ни капли. Элебес тоже глянул на тучу. Он звучно ударил гнедую кобылицу пятками по ребрам и с огорчением пробормотал себе под нос:

— Что за погода, хотя бы капля упала.

Я промолчал. Снова ударив кобылицу, Элебес

вздохнул.

— Господи, зачем ты только создал нас несчастными…

Дома привыкли и не обращают внимания на его роптания.

Выражение его лица постоянно такое, будто он проглотил горькое лекарство. Элебес — человек уже старый, с бородой, тронутой сединой. Я часто думал: «Почему он такой?» и старался постичь причину его жалоб. Когда он начинал огорчаться из-за пустяка, Бурмаке говорила: «Ну вот, опять началось… Да придет ли такой день, когда ты хоть раз будешь веселым?»

К Василию мы приехали на закате. Василий — пузатый, среднего роста, в ситцевой рубашке — ходил по двору. Увидев нас, он сказал, чуть улыбнувшись в усы:

— А, приехали?

Мы соскочили с лошади и вошли в дом. В углу висели большие иконы. Они для меня не представляли особого интереса — такие я видел и у Башарина. Но меня захватила другая картина, прибитая над кроватью, — бесчисленные войска, битва… На переднем плане кто-то рубил саблей убегающего противника…

Жена Василия — высокого роста, голубогла-

зая, с большим носом, покрикивая «кши! кши!», отогнала передником забежавших в комнату желтеньких цыплят, вытащила из печки чугун и налила нам супу. Положила несколько вареных яиц, нарезала хлеба.

За едой Элебес о чем-то переговаривался с хозяевами по-русски. Василий по-киргизски объяснялся кое-как. В доме была еще красивая дочь Василия. Она говорила по-нашему совершенно чисто.

После еды Элебес не стал задерживаться, сел на лошадь и уехал. Я же остался у чужих людей, как человек, попавший в плен, одинокий и беззащитный. Когда пришло время спать, жена Василия принесла какую-то мешковину и, держась подальше, повела меня, как слепого, за руку к двери.

— Ложись здесь, — указала она на угол.

Я расстелил мешковину и улегся, накрывшись своей шубой. Наступила тишина. Напротив меня в плетенке сидит курица. А у печки, кажется, вытянув длинную шею, лег гусь. Где-то близко в темноте, мяукая, бродит кошка.

Через некоторое время поднялась луна. Ее лучи упали в окна и осветили комнату. На дворе ни звука. Возле дома, давно погрузившись в покой,

лежат коровы.

Рано утром Василий разбудил меня и сонного куда-то повел. «Куда же он идет?» — думал я, шагая за ним. Наконец, он подвел меня к арыку за домом, показал рукой на воду и пошел обратно. Я его понял. Мне следовало умыться. Ополоснув лицо и руки холодноватой утренней водой, кое-как утерся полой грязной рубашки и направился к дому. Жена Василия, подоив коров, несла молоко, но, увидев меня, остановилась и на ломаном киргизском языке сказала!

— Давай, иди кушать.

После еды я направился во двор. Но Василий остановил меня и через свою дочь объяснил, куда нужно выгонять коров. Я кивнул головой — знаю.

Небо чистое. Как радостно сегодня светит солнце! Около тридцати коров я погнал вдоль берега Тюпа. Один. Скучно. Гляжу по сторонам. Вдали два пастушонка взапуски катаются на бычках. Ближе, загнав коров в овраг, над кручей сидят двое. «Какие счастливые!» — подумал я. Но пойти к ним невозможно: они — на той стороне разлившейся реки.

Прошло несколько часов. Коровы не стоят на месте: оводы не дают им покоя. И чем жарче, тем

больше беспокоятся коровы. Я загнал их в глубокую лощину. Но — чтоб она подохла! — какая-то красная корова отбежала от стада, остановилась, постояла, постояла и, задрав хвост, бросилась со всех ног. Все стадо переполошилось, за красной припустились еще несколько. Я стоял и не знал, что делать.

Утром, когда выгоняли стадо, хозяин погрозил пальцем:

— Смотри, не допускай к ульям, а если прозеваешь...

Как нарочно проклятая красная корова опять побежала прямо к склону, у которого находились ульи. Бросив остальных коров, я погнался за ней.

Корова пробежала лужок и помчалась к пасеке. Разгоряченный бегом, я не заметил, как очутился у самых ульев. Вдруг обожгло левый глаз. Хотя я отчаянно отбивался — пчелы жалили меня беспрестанно.

Глаз заплыл, лицо распухло и горело. Я еле догнал корову. На счастье, ульи остались целыми.

Когда я гнал беглянку назад, по ее следам, пыхтя, неслось еще несколько коров. Я завернул их и погнал всех вместе. Остальных собрал с большим трудом.

...Уже около двух месяцев, как я живу у Васи-

лия. Покоя нет даже вечером. Когда прихожу домой, хозяйка заставляет бегать то за тем, то за другим. Одежда превратилась в лохмотья. Отроду не стиранные, разодранные в клочья, грубые брюки со слоями затвердевшей грязи нестерпимо трут тело. Рубаха из маты расползлась, и мне приходится связывать ее узлами. Я рассказал об этом сыну Василия наедине, надеясь, что он перескажет все отцу.

— Как же я смогу так жить? Если не дадите одеться во что-нибудь, хотя бы старенькое, я уйду.

Ответ получил однажды за едой. Василий, погладив усы, обратился ко мне:

— Хочешь, на твою получку куплю одежду?

Немного подумав, я ответил:

— Нет, так не пойдет.

— Почему? — спросил он, перестав жевать. Жена тоже насторожилась.

— Тогда мне будет плохо, — ответил я, отложив свою ложку.

Хозяева забормотали между собой по-русски. «Наверное, обо мне толкуют», — подумал я.

Через некоторое время Василий снова обратился ко мне:

— А почему тебе Элебес не купил одежду? Мы

насчет этого не договаривались. Если согласен, куплю одежду, но за твои деньги.

— У Элебеса нет денег, — сказал я и, немного подумав, добавил: — Ведь был же уговор, что вы мне будете давать обноски.

Разговор на этом закончился. Они занялись едой. Не знаю отчего, но дочь Василия села подле и положила предо мной два куска мяса. Мне приходилось слышать, что мясо, резанное русскими, нельзя есть, потому что оно поганое… Но я так давно не видел мяса, что, не задумываясь, проглотил оба куска.

Однажды, выгоняя коров со двора, я попал в неожиданную беду. Хозяева сидели дома за едой. Откуда ни возьмись, с неба упал коршун и пока я, крича, добежал, он схватил из стада гусенка и взвился в небо… Я заплакал. Сердитая жена Василия подбежала ко мне.

— Ты что же не смотришь? — закричала она, выпучив глаза.

— Не успел!

— Ах ты, дьявол! — она, схватив мое ухо, начала закручивать его. Я рванулся. Ее десятилетний сынишка Петька, жалея меня, попросил:

— Мама, не бей!

С криком подбежала и маленькая дочурка

хозяйки с русой, торчащей косичкой, кто-то выглянул в окно. Хозяйка выпустила меня. Всхлипывая и ругаясь про себя, я погнал коров. Угнал их дальше обычного. Жду только вечера. Но сегодня день кажется длинным.

Тучи все ползут и ползут, на небе не осталось ни одного просвета. Я озяб. Съежившись в комочек, сел под большой черной скалой, где несколько дней назад прятался от дождя. Тяну подол рубахи, чтобы прикрыть голые ноги, по она коротка.

Огромная черная туча, сгустившись, опустилась, и небо разразилось громом, полил дождь. Вмиг обмылись и заблестели травы.

К вечеру я собрал коров и направил их домой, а сам повернул обратно, чтобы бежать. Хотя я об этом думал давно, но все медлил, а сегодня решил твердо — убегу.

Наши находятся не очень далеко, отсюда даже видна юрта. Меня беспокоит только река. Лишь бы перейти ее, а дальше и ночи не побоюсь. Вода, кажется, спала. Закатал штаны повыше, пошел вброд. Вначале у меня захватило дух, но я пересилил страх и скоро перебрался на тот берег. Ноги промерзли до костей. Не откатав штанов, пошел по мокрой траве.

Аил стоял на том же месте, где остановился ле-

том. В знакомую черную юрту, из которой валил густой кизячный дым, я вошел в ту пору, когда люди садятся за вечернюю еду. Взоры сидевших вокруг очага обратились ко мне. Не успел я присесть, как Элебес нахмурил брови так, что на лице собрались морщины:

— О черный день, зачем же ты пришел?

— Дитя, оно дитя и есть. Неужели не мог потерпеть до конца месяца? — упрекнула Бурмаке.

Элебес по своей привычке бранился долго. Я виноват! Сижу, как немой, покорно слушаю ругань.

— Ладно уж, дай бедняжке хоть передохнуть, старый медведь! — сжалилась Бурмаке. Это меня подбодрило.

Вскоре, как и всем, мне подали чашку джармы.

6

Несколько дней спустя из уезда пришло указание: «От каждой волости набирать солдат. Каждому солдату выдать по четыреста рублей». Вскоре после этого мы услышали, что Урманбет собирается уходить в солдаты. Бейшемби поехал узнать, правда ли это.

Когда он вернулся, мы копнили сено. Не успел Бейшемби спешиться и привязать коня, как Элебес спросил:

— Правда, что Урманбет идет в солдаты?

— Правда…

Элебес воткнул вилы в копну, подошел к Бейшемби, нагнулся, вытащил из-за голенища чакчу и, отмерив закладку насвая, бросил ее в рот.

— Ну, говори!

— Наш Эркесары должен был выделить в солдаты одного человека. Так вот и записали Урманбета.

— Видно, аксакалы сообразили. Как же он очутился здесь?

— Соскучился по родным местам, взбрело на ум наведаться. Ну и попал…

— А где он жил до этого?

Бейшемби взглянул на свою лошадь, привязанную к юрте, хрустнул пальцами.

— Говорит, что работал у дунган. В солдаты он, кажется, решил уйти с шумом, опозорив свое имя. Мне говорили, что он отобрал коня у болуша, кричал на аксакалов… правда или нет, а будто аксакалы не дали ему четырехсот рублей, взяли себе двести пятьдесят…

Все это оказалось правдой.

А случилось это так. Однажды в Джалуу-Булаке у знати происходил совет. В то время с Арала нагрянул Урманбет и вздумал взять у Ыбыке коня. Кое-кто пытался урезонить его: «Отстань, неприлично, мы найдем тебе другого коня, еще лучше». Но сколько его ни уговаривали, он стоял на своем: «Другого мне не нужно». Некоторые даже хотели избить его. Но Ыбыке, видя ожесточение Урманбета, из осторожности приказал:

— Не трогайте, оставьте его в покое.

Урманбет, как ни в чем не бывало, сел на гнедого жеребца Ыбыке и ускакал.

В тот же день по всему Эркесары разлетелся слух, что Урманбет записался в солдаты, а потом пришел и отобрал коня у болуша. «Отольются Урманбету слезы болуша», — предсказывали некоторые. А в аиле пошли разговоры и пересуды:

«Видано ли такое! Не у кого-нибудь, а у болуша отобрали коня, вот что поразительно. Сколько живем, не то, что отобрать коня у болуша, не видали даже, чтобы какая-нибудь душа посмела перейти ему дорогу. Ох, дорого обойдется это Урманбету».

Но Ыбыке, кажется, перетрусил.

— Не стоит с ним связываться, лучше его как-нибудь поскорее удалите, — сказал он.

Перед отъездом Урманбет наведался в Кызыл-Кия. Вечерело. Мы играли перед аилом на берегу реки. Вдруг невдалеке мимо нас проскакал какой-то бравый солдат и вошел в нашу юрту. Я сразу узнал.

— И-и, Урманбет приехал! — воскликнул я.

Мы с Беккулом пустились бежать. За нами заковылял и Элакун.

Когда мы вошли, Урманбет уже сидел. Он не был похож на прежнего Урманбета: на нем — серая распахнутая шинель, суконная рубашка с нагрудными карманами, на ногах — новые желтые сапоги со скрипом… Вся одежда впору; бравый, стройный солдат да и только! Ничуть не отличается от тех, которых отправляли на фронт против Германии. Только на голове киргизская шапка, а не военная фуражка. Я любуюсь

одеждой Урманбета. Настроение у него, видимо, приподнятое. Он не мрачный и подавленный, как прежде, а оживленно разговаривает со всеми, даже посмеивается…

Никто не обратил внимания на меня, когда я вошел. Только Урманбет большой, тяжелой рукой погладил меня.

— Милый ты мой, будешь жив — и ты когда-нибудь станешь человеком! — сказал он.

Я не понял, к чему эти слова, но от его ласки на душе стало теплее.

Бурмаке отклонила голову от кизячного дыма и перевела взгляд на Урманбета:

— Милый ты мой, зачем ты отобрал коня у болуша? Как бы тебя не погубило чье-нибудь проклятье. Ведь не зря же говорится: «Врагов больше, чем друзей». Будь осторожней! — сказала она мягко.

Урманбет живо возразил:

— Если бы смог, я бы им еще не то показал!

Элебес, до сих пор молчавший, вмешался в разговор:

— Неужели из всех коней тебе понадобился конь Ыбыке? Только и слышишь, как все говорят: «Мы такого не видели!» Разве это приведет тебя к хорошему?

Но Урманбет и слышать ничего не хотел:

— Мне нужен был не кто-нибудь, а именно Ыбыке. В могилу его! За всю жизнь хоть раз отомстил. Пусть люди меня не жалеют. Мне здесь ходить недолго.

Бурмаке через некоторое время снова вступила в разговор:

— Гляди, милый, не буянь, осмотрительнее будь, проклятие людей дело худое. Уезжаешь-то далеко?

Урманбет в Кызыл-Кия пробыл всего одну ночь. С утра повеял холод, возвещая приближение осени, с тополей посыпались листья, земля побелела.

Урманбет сел на коня. Когда мы вышли во двор, подошел наш сосед Байболот.

— Ну, прощай! — сказал он, смахивая с глаз слезу и протягивая руки. — Когда уезжаете?

— Как только прибудем в Каракол, так и отправят.

— Прощай, милый, счастливого тебе пути, — напутствовала Бурмаке, и по морщинам ее щек потекли горькие слезы.

Урманбет резко стегнул коня плеткой и выехал на дорогу. Завернул за холм и, кажется, скрылся на всю жизнь. Я стоял и долго глядел ему вслед.

К полудню мы с Бейшемби сели на бурого быка и поехали в горы за сухими ветками арчи. По дороге Бейшемби высоким голосом затянул песню. У него была одна песня, которую он повторял без конца, как только мы отъезжали от аила. Она запала мне в голову:

Красавицу красавицей называют,
Да пропади она пропадом:
Привлекая, мучит душу.
Знатного знатным называют.
Да пропади он пропадом:
Угнетая, мучит душу.

Каждый раз, когда Бейшемби запевал, я думал: «Что же значат слова: «Угнетая, мучит душу?»

7

Зима. Стоит крепкий мороз. Наши еще не спят, хотя уже давно стемнело. Вся многочисленная семья плотным кольцом теснится вокруг очага. Башарин курил папиросы обычно у нас, тайком от жены. Вот и сейчас, возвышаясь над всеми, понурый, он сидит между нами.

— У киргизов в юрте греется только перед, а зад мерзнет, — бормочет он.

Бедный Бекдайыр просит есть, плачет. Ему и дела нет до того, что отец и мать давно умерли. Он у нас самый младший. Остальные уже кое-что соображают.

Наша тетя Джанымджан — жена Бейшемби, — кажется, от роду была сварливой.

— Не плачь, чтобы твои глаза вытекли! Что тебе здесь — полным-полно всего? — кричит она и, схватив горячие щипцы, тычет ими в ногу Бекдайыра. Он отдергивает ногу, и вопит, что есть силы.

— О черный день! Каныша, ты, оказывается оставила меня на живую муку, — причитает Бурмаке и с укором глядит на Джанымджан.

— А вы не суйтесь, куда не следует! Что я, отца

и мать за свои долги отдала разве? — свирепо набрасывается Джанымджан.

И без того нетерпеливый, раздраженный Элебес будто только и ждал этой ссоры.

— О черный день! О несчастный день! — подхватил он и понес и понес...

Видя, как Бекдайыр прикрывает дыры и, съежившись, плачет, Башарин сочувственно качает головой.

— Ой, бедный, — говорит он едва слышно.

Башарин как будто понимает наше трудное положение. Но это, кажется, сочувствие лишь на словах. А то почему бы ему не помочь нам, когда у него столько богатства? Круглый год мы работаем на Башарина задаром. Весной, когда пашем, летом, когда косим сено, зимой, когда со двора вычищаем снег, — погонщиком лошадей всегда приходится быть мне. Всю весну пасу его телят. Хотя я и работаю столько, он мне ни разу не дал даже каких-нибудь обносков. Лишь в этом году выклянчил у его сынка старый кожаный пояс. Да и то он отдал его только после того, как посоветовался с отцом.

Джанымджан круглый год уходит на рассвете доить его коров. Разве легко подоить целое стадо? А Джанымджан справлялась. Никто не мог

с ней сравниться. А платил ей Башарин ведром жидкого синеватого обрата. Вот из-за этого ведра обрата, боясь провиниться, мы исполняем все, что Башарин нам прикажет. Иначе нет выхода. Целую ораву спасает от голодной смерти этот обрат, к которому мы добавляем еще ведро молока от своей единственной коровы. Получается два ведра айрана. Вот и все наше питание!

В этом году Башарины, довольные службой Джанымджан, дали ее сыну Джумабеку старый бешмет. Но недавно сноха Башарина из-за чего-то поссорилась с Джанымджан, поймала в поле Джумабека и содрала с него бешмет…

Пришла пора спать. Мы, шесть сирот, ложимся вместе. Приготовление постели никого особенно не утруждает. Нам бросают старую черную кошму, поверх — рваное одеяло. Вот и все. Под голову же иногда достается потник, а то и того нет.

Улеглись. На дворе бешеный ветер мечет снег. Когда буран ударяет в юрту, деревянные части ее трещат так, что становится страшно, через прорехи в циновках, которыми прикрыты дымовое отверстие и дверь, влетают клубы снега.

Однако заснуть не удалось: сквозь ночную метель послышался заливистый звук колокольчика.

Элебес, оказывается, лежал настороже.

— Ой, уже подъезжают! — вскочил он.

— Эй, Чодон! Эй, Элебес! — окликнул кто-то дорожников, а сам, не останавливаясь, промчался дальше.

Мы сели на лошадей, которые стояли наготове, оседланными, в темной мазанке, и, не задерживаясь, тоже выехали.

Догнали почту у подошвы перевала. Опоздай немного — и нам бы несдобровать! Снега навалило в высоту копья. В таких случаях почтовых лошадей ставят цугом. Как всегда мы быстро припрягли своих кляч, поехали.

Нас вызвали просто так, на всякий случай, а больше — со зла. Почтовые лошади и сами смогли бы легко вытянуть возок на перевал. Посмотри, как резво идет передняя лошадь! Но что поделаешь? «Дело господина — дело божье», раз приказал господин, куда денешься?

Когда достигли середины перевала, лошадь Элебеса остановилась, как вкопанная, тяжело поводя боками. Ее сегодня замучил Бейшемби — возил Башарину бревна с гор. Увидев это, чиновник, ехавший с почтой, вылез из саней и позвал Элебеса. Пока тот, спотыкаясь в снегу, выпрягал лошадь, он стоял, разминая руку.

Только Элебес подъехал, как чиновник молча, одним ударом сбил его с лошади и начал пинать в глубоком только что выпавшем снегу. Так уж повелось — если дорожники запаздывали или на перевале не тянули лошади, то они от чиновников получали такое вот угощение. Вчера безносый Назыр поехал на своей плохонькой лошади, которая и себя-то еле таскала, и вернулся в крови…

Мы помогли переправить почту через перевал и возвратились только к рассвету.

А днем случилось несчастье похуже. Солнце приближалось к полудню. Вдруг наш сосед Байболот вошел к нам растерянный:

— Вот тебе на, Бейшемби, ведь вашу корову и нашу корову угнали…

Дело было так. Несколько дней назад в низине Джылуубулак компания шалопаев пила бузу. Начался скандал. Сын бая Карымбая стукнул дубиной по затылку какого-то проезжавшего верхового. Он в тот же день слег, а когда в небе высыпали звезды, отдал богу душу. Карымбай был из нашего рода, а убитый — из рода Шапак. Сразу после смерти парня его родичи сели на коней и всю ночь совершали налеты на табуны наших родственников, чтобы получить кун.

Аксакалы обязались за убитого выплатить от каждого двора по одной голове скота. Скандал на том и закончился. Вот почему и угнали нашу единственную корову.

Когда Байболот сообщил это, Элебес, мявший насвай, так и застыл на месте, широко раскрыв глаза.

— Что ты говоришь? О черный день!

Тут и Бурмаке, наконец, понявшая беду, принялась проклинать виновников на чем свет стоит:

— Чтобы вам не видеть жизни своих детей! Чтобы вам горе сирот не дало покоя, нечистые!

Как говорится: «Кто выпил айран — убежал, а облизавший горшок — попался». Пьяные бездельники ни за что ни про что наделали зла бедным сиротам, хотя мы и на ниточку не были виноваты.

— Сидите теперь, несчастные! — обругала нас Джанымджан.

— О черный день! Вот напасть! Что же вы не присматривали за коровой? — бранился Элебес.

Байболот стоял у порога, глядя в землю, и о чем-то думал. Наконец он встрепенулся:

— В могилу его отца! Чем терпеть такое, лучше пойду к ним и погибну от их руки! — сказал он и выскочил из юрты. Через некоторое время Элебес,

глядя на Бейшемби, сказал:

— Чем гибнуть лежа, лучше воевать с неправдой. Поди и ты, Бейшемби!

— Пойду. Как же не пойти, что я тогда буду делать с вами, с этими вот сиротами? Да лучше я…

Бейшемби тотчас же уехал на поиски коровы. Не прошло и двух — трех дней, как пополз слух: «Бейшемби потребовал у аксакалов корову». «Ты откуда взялся, дурень?» — спросили они и натравили своих джигитов, а те его избили». Вскоре он вернулся с каким-то человеком. Оказывается, это был старшина Карабай. «Еще какую беду он привез?» — волновались те, кто был догадлив и опытен.

Бейшемби рассказал, что произошло с ним, и обратился к Элебесу:

— На нас наложили 15 рублей налога. Как нам теперь быть?

— Что за налог? Вчера мы расплатились. Какую еще напасть придумали?

Бурмаке, не глядя ни на кого, пробормотала себе под нос:

— Видимо, аксакалы, чтобы они пропали, не дадут очнуться от налогов. Мало того, что угнали корову, которая кормила сирот, так еще отберут за долги единственную клячу.

Старшина, сидевший на старом шиирдаке, напротив входа, изломал прутик, что вертел в руках, бросил в огонь и наставительно проговорил:

— Э-э, байбиче, чему суждено быть, то надо переносить со всеми вместе. Стоит ли себя отделять от всех и выходить из общего согласия?

Но на Бурмаке наставления старшины не подействовали.

— Из-за этого «согласия» остаемся голыми, — зачастила она. — Если господа облагают раз, то местные обиралы дерут вдвойне, скоро обчистят всех. Где нам теперь преклонить голову? Куда податься?

Чтобы уплатить налог, Бейшемби спозаранок уехал к Василию — может удастся наняться косить сено. Старшина последовал за ним.

Наступила пора, когда скот стал наедаться травами досыта. Четыре — пять семейств дорожников перебрались на летние стойбища. Кроме Карпыка, все находились вместе.

Карпык неприятный, мрачный человек лет сорока, с маленькой, в проседи, бородкой. Из глубины глаз его словно проглядывает коварство.

Карпык — житель Кызыл-Кия, разбогател здесь. Летом он всегда селится где-нибудь в стороне, подальше от людей. О нем так и говорили: «Жад-

ный Карпык, скупится давать людям кумыс, так ставит юрту в стороне». Отчасти люди были правы. Держал он на привязи кобыл и каждый день отвозил на ярмарку в Каркара по два бурдюка кумыса.

Жены дорожников, иногда заходившие к Карпыку попить кумыса, говорили:

— Вот нечестивая эта надутая старуха — всегда наливает кумыс в крохотную пиалку.

Но к Карпыку редко кто заходил. Только бии, болуши, чиновники, полицейские лакомились угощениями Карпыка. А если заходил к нему я, сирота, то возвращался, ничего не взяв в рот.

Однажды утром к нам кто-то подъехал, подал голос:

— Элебес, ты дома?

— Дома.

— Тогда выдели одного человека!

— Зачем!

— Чонкол приезжает. Говорят, будет собирать на дорожные работы. В нижних аилах поднял всех на ноги.

— Почему?

— Из Каракола в сторону Каркара проезжает важное лицо. Давай побыстрее! — сообщил верховой и поскакал дальше.

Когда Элебес услышал «Чонкол», ему показалось, что кто-то ткнул шилом в сердце. Хотя он старался скрыть испуг, — это было видно по лицу — он побледнел, покрылся потом. «Чонкол» — прозвище, придуманное киргизами. Вначале его звали «стражник Чонкол», а потом стали звать просто «Чонкол». Его знал весь уезд от старого до малого.

Он действительно был чонколом: громадный русский дядя, руки, как дубины, затылок, как у борова — в складках, усы торчком, глаза горят.

Солнце поднялось высоко. В юрту вбежала испуганная Бурмаке. В руках у нее была чашка, из которой на кошму текло тесто, но она ничего не замечала.

— Ой, Элебес, Чонкол заявился!

Мы выглянули. Действительно, видно, как люди собираются у юрты Карпыка. Среди них разъезжает Чонкол, группа стражников, пятидесятник, старшина и другие чины. Чонкол явно злится и в гневе ругает народ.

Вот он наехал на какого-то человека.

— Где твои люди? — заорал Чонкол.

Это старшина аила Тогузбай.

Он размахивал руками и что-то отвечал. Но Чонкол не слушает, приподнимается в седле,

расправляет плечи и несколько раз бьет старшину плетью, затем подъезжает к следующему. Остановить его некому. Те, кто от него получают побои, только ищут, где бы спрятаться, точно перепелки от ястреба.

Элебес не показывается из юрты, смотрит в дырку, потом приказывает мне:

— Иди ты!

Страшно, но ничего не поделаешь — кому-то надо идти. Иду.

Чонкол погнал собравшихся, как овец, на дорогу. Лопатами, кетменями стали засыпать ямы; других заставили таскать камни. К дороге со всех сторон стали стекаться люди… Ай-ай-яй, кажется, во всем уезде не осталось ни души, все здесь.

Сначала двигались быстро, но потом у холмов задержались — весенние воды промыли глубокие ямы. Работаем, без передышки — за нами наблюдает Чонкол. Стоит только поднять голову — он набрасывается, как бешеный волк. Торгойакун и я бегом носим в подолах землю. Некоторые переговариваются: «Не поднимай голову, Чонкол глядит».

Вот Чонкол стегнул свою лошадь и понесся на кого-то. Люди расступились. Он подлетел к розовощекому, худощавому парню в бешмете и

несколько раз вытянул его толстой, как палка, плеткой. Парень выгнулся, как ломающийся прут, подался в сторону. Люди, видя это, заработали проворнее.

Когда наказание немного забылось, парень, что насыпал нам в полы землю, искоса глянул на соседа.

— Может быть, чуток пропустим джармы?

— И не думай! Получить порку от Чонкола за чашку джармы я не хочу.

Чонкол выехал на возвышенность, откуда можно было видеть всех. Кому-то дал подержать коня и сел перекусить. Двое бегают перед ним, едва касаясь земли. К пище киргизов Чонкол привычен. Перед ним появилось мясо молодого барашка, кумыс, боорсоки. Он сидит и ест, озираясь, одинокий, как гриф, усевшийся на трупе. Я таскаю землю и иногда поглядываю на него уголком глаза. При виде яств, разложенных перед Чонколом, у меня текут слюни и сжимается желудок.

Другого склона мы достигли далеко за полдень. Оврагов и вымоин тут было меньше. Поэтому продвигаемся быстро, убирая лишь камни. Но я и Торгойакун были босыми, и ноги у нас болели так, что нельзя было ступить. Решили сбежать. Прикинув так и этак, я сказал:

— Побежим, когда дойдем до той ложбины.

— Ладно, — согласился Торгойакун. Народ повалил на подъем, а мы, будто собирая камни, постепенно отстали. Когда люди перевалили возвышенность, мы по ложбине ушли вниз. Шли, шли и, обогнув гору, выбрались на дорогу далеко внизу. Со скрипом тянутся арбы возчиков. Под крики «цоб-цоб» еле ползут на гору волы.

В этот день мы так и не дошли домой — очень уж болели ноги и спина. Пришлось ночевать у подошвы горы.

На другой день по пути я завернул к одному русскому и получил работу. Старуха вычищала хлев. Такие случаи попадаются не часто. Я обрадовался и смело вошел во двор. Слабая дряхлая старуха, как будто угадав мое намерение, протянула мне лопату. Она не знала по-киргизски, а я — по-русски, но мы друг друга поняли. Я вычистил скопившийся, самое малое за неделю, навоз, а она дала мне еды вволю. В хорошем настроении, сытый, после полудня я отправился домой.

8

Кызыл-Кия — узел девяти дорог. С востока дороги идут из Каркары, Джаркента, Нарынкола, с запада — из Каракола и с Иссык-Куля. Поэтому всякие чины, вроде Чонкола, приставы, писари, бии, болуши, ищущие себе корма, любили сюда наезжать, кормились и отдыхали здесь. Кроме них, тут постоянно находились стражники, патрулирующие на дорогах. Это были не обычные подручные болуша, а настоящие — с погонами и саблями через плечо, в красных шапках. Народ называл их «есаульными канцелярии», «есаульными белых дверей» или «красными огнями» — из-за их шапок. Присланы они были из Каракола, чтобы патрулировать на дорогах, охранять почту, бороться с «нарушителями общественного спокойствия».

Да, порядок они наводили! Они грабили прохожих и проезжих, среди бела дня совершали набеги, отнимали деньги у бедняков, возивших на продажу съестные припасы. У кого не было денег, отнимали лошадь, брали хорошие вещи. «Устав» от таких трудов, они днями и ночами пьянствовали, играли. Не было, пожалуй, в уезде

людей, которые жили бы привольнее.

Особенно славились стражники Балакурман и Чонкурман.

Балакурман — приземистый, плечистый джигит с лицом отменного пройдохи. Многие звали его «Курман-дурак», конечно, за глаза. У него был свой способ отнимать лошадь: он хватал за поводья и не кричал: «Сходи с коня!», как другие стражники. Нет, он на полном скаку еще издали приказывал впереди едущему: «Коли хочешь остаться живым, сваливайся на сторону, сваливайся!» Догадливый хозяин на скаку прыгал с лошади. Если попадался упрямый, через минуту-другую он знакомился с плеткой стражника. Балакурман до тех пор не возвращал лошади, пока не получал солидной взятки. Он бесстыдно хвастался: «В прошлом году по дороге из Арала я за один день пятнадцать раз менял под собой лошадь!»

Однажды Балакурман с кем-то прискакал в наш аил. Запыхавшихся коней остановили у нашей юрты, не сходя с седла, кликнули Бейшемби и приказали:

— Сегодня свою юрту перевези в Ийри-Су!

— Это еще зачем? — недовольно отозвался Элебес.

— В Каркара нужно поставить шестьдесят юрт, — пришел из уезда приказ.

— Сами знаете, дорогие, что мне не на чем перевозить юрту, разве на одной кляче перевезешь? — заговорил Бейшемби, умоляюще поглядывая то на Балакурмана, то на его спутника.

— До того нам дела нет! Сказано переезжать, значит, надо переезжать.

— Ну, все-таки зачем?

— Будут ночевать солдаты, которых отправляют на фронт. Из Каракола приезжают господа…

Опасаясь, как бы на этом не закончили разговор, Бурмаке попробовала упросить их:

— Миленькие, а куда же мы денем полную юрту бедных сирот?

— О боже мой, да какое дело господам до сирот! Ну, живей, — прикрикнул Балакурман и повернул лошадь к юрте Байболота.

Когда они отъехали, Бурмаке заговорила сама с собой:

— Нечестивые, чем тащить нашу старую юрту, взяли бы у Карпыка. И семьи такой, как у нас, у него нет, и юрта новенькая.

— И скажешь же такое… Как они возьмут у Карпыка, если у него в руках все, кроме бога, —

отозвался Элебес.

Что здесь пройдут солдаты, это было верно. Четыре или пять дней назад дорожники откуда-то узнали, что из Каракола в Джаркент пойдут солдаты, и начали в смятении прятать скот, а лошадей отвели в лес. «Что же теперь будет?» — тревожились все. «Ничего они не тронут?» — спрашивали люди у разъезжающих взад-вперед «красных огней».

Вечером на зеленой лужайке у юрты Карпыка собралось человек тридцать. Был весенний тихий вечер. На ближние горы опустилась темная туча.

Среди собравшихся, выставив жирное брюхо, ходит болуш рода Шапаков — Байзак и наш Ыбыке. Байзак занимает пост болуша уже шесть лет бессменно. Это — плотный, здоровый мужчина с аккуратно расправленной черной бородой. А вот, сверкая погонами, с шапкой набекрень, покручивая торчащие, как свиная щетина, усы, прохаживается сердитый пристав. Вид у него грозный, страшно подойти.

Здесь же стражники в красных шапках во главе с Балакурманом. Но как они угодливо сгибаются перед приставом, как, прихватив саблю, бросаются со всех ног по первому его слову! Прямо другие люди!

Сюда подошел и путник, остановившийся у нас в поисках стражника, который отобрал у него лошадь. Был он в чапане с истрепанными полами, в старенькой, плоской, как лепешка, шапке. Невзрачный, бедный на слова, безобидный, тихий человек. Вслед за мной он встал у одного края сборища.

— Что это, дядя? Зачем люди сошлись? — обратился я к чернобородому, стоявшему возле меня. Помедлив, он буркнул:

— А зачем тебе знать?

Я больше не стал у него спрашивать — было и так все видно. «Красные огни», избив кого-то до полусмерти, подняли его на ноги и потащили. Болуш Байзак, заложив руки за спину, стоял впереди, словно наслаждался зрелищем. Пристав, покручивая усы, ходил взад-вперед, то и дело указывая стражникам на очередного несчастного и орал: «Бей!» Стражники навалились на одного человека, били его пинками, кулаками, плетками…

Путник, который ночевал у нас, спросил:

— Это что?

— Собрали тех, кто не уплатил налоги, отказался поставить юрту, и других таких же бедняг.

Вот и этого, кажется, избили до полусмерти. Маленький человек, с жиденькой бородкой,

скуластый, плечи покатые, с бельмом на глазу, худой, бедно одетый. За что его изувечили? Окровавленный, с посиневшими губами, он не может встать. Кто-то подносит ему воды, он еле глотает…

Теперь понятно, почему пригнали и Байболота из нашего аила. Пришла и его очередь. Старшины, стражники взяли его в оборот. Крошечный, он исчез в свалке. Торгойакун с криком бросился к отцу, но его кто-то задержал. А подручные пристава так усердствовали, будто надеялись за это получить приз. Но вот они, видно, устали. Шатаясь, Байболот пошел. Однако Балакурман догнал старика и ударил его еще несколько раз.

Покончив с Байболотом, пристав покрутил усы, походил немного и вдруг указал на человека, который ночевал у нас.

А стражникам все равно: набросились и на незнакомого.

— На этого указали ошибочно, — шепнул кто-то.

— Да, попал, несчастный, ни за что! — подтвердил стоявший возле.

После трепки, путник кое-как поднялся, провел рукой по лицу, покрытому синяками и кровью, собрал свои пожитки: шапку, тюбетейку, плетку.

Не знаю, видно, дьявол шепнул нашему старшине:

— Иди, приведи Бейшемби, — приказал он кому-то.

Я решился опередить, кинулся к старшине.

— Бейшемби нет дома, он повез в Каркару юрту.

— Еще не приехал?

— Нет.

— Ну, подожди ты у меня! — и он зашагал дальше.

Я радовался тому, что Бейшемби сегодня не оказалось дома.

С наступлением темноты толпа разошлась.

После того, как увезли нашу юрту, мы построили себе шалаш. Собрались возле очага ужинать, стали разливать джарму, подошла моя очередь, как вдруг Бурмаке сказала:

— Ему налейте немного, пусть у Карпыка поест мяса. Сегодня старшины, есаульные ночуют у него.

Моя порция досталась остальным. Делать нечего — иду к юрте Карпыка. Через щелку заглядываю внутрь. И правда: забили барана, обдирают шкуру. На стенах висят сабли «красных огней». Напротив входа кто-то важно лежит на

боку, вытянув ноги в лакированных сапогах. Ближе к стене, блестя погоном, храпит Балакурман.

Скаредная, мрачная сноха Карпыка, с узенькими змеиными глазами будто меня и ждала. Не успел войти, как она сунула мне в руки ведро.

— На, сбегай за водой.

Эта женщина всегда, как только приду к ним, не дает мне присесть: посылает то за тем, то за другим. Из-за этого я иногда и не заходил к ним даже тогда, когда они резали барана.

Принес воды, хотел присесть — снова нашла дело:

— Пойди, наруби дров!

Я пошел во двор. В темноте отыскал топорик, нарубил, принес охапку.

— Теперь помоги там, — указала она на тушу барана, которую разделывали у порога. Джигит с засученными рукавами взял требуху за край, отрезал, подал мне.

— Иди, опорожни.

Сделав все, что мне поручали, вернулся. На мою долю оставили одну почку, одну голень. Все это бегом снес домой и пришел опять.

В котле варилось мясо. Гости беседовали между собой. Заговорили о скачках, хвалили аргамака бая Сарыбая.

В это время, словно боясь что-нибудь опрокинуть, осторожно вошел тот человек, которого сегодня ни за что избили. Надвинув на глаза шапку, с видом провинившегося, он опустился у порога, поближе к джигиту, разделывавшему барана. Джигит поправил в очаге огонь, взглянул на путника:

— Откуда, батыр? — спросил он тихо, чтобы не расслышали другие.

Путник робко шепнул:

— Стражник отобрал лошадь, хожу за ним.

— Когда отобрал?

— Давно, уже сегодня восемнадцать дней.

— Тогда он, наверное, хочет от тебя что-нибудь получить, — догадался джигит.

— Это я сам чувствую. Да нет в кармане ни копейки. С седлом за плечами остался. Жена болеет, пятнадцать дней как не вижу ее, что там с ней, не знаю. И хозяйство оставил без присмотра. Один я.

— А где живешь?

— В Кен-Суу. Оттуда ехал на пастбище, по пути отобрали лошадь. Одна лошадь, нажил ее с трудом. Жалел ее, много не ездил, и вот такое несчастье…

Балакурман, повернувшись на бок, широко

зевнул, потянулся и, продолжая лежать, покрасневшими глазами грозно глянул на путника:

— Что он здесь делает?

Джигит ответил, несколько повысив голос:

— За своей лошадью пришел.

Балакурман молча, не спеша поднялся, зашел за спину человеку, который, втянув голову, сидел у входа. Глядя на его макушку, он ехидно протянул:

— Лошадь нужна?

— Если дозволите… — едва слышно произнес путник.

Балакурман дважды ударил ногой по шее, и тот повалился навзничь.

— Вот тебе лошадь! На-на! — приговаривал Балакурман, продолжая пинать человека. Тот попытался руками защитить голову.

— Не надо, ты лежишь удобно! — насмешливо сказал стражник и ударил его сапогом в живот.

Кто-то лениво пробормотал:

— Довольно, оставь.

Но где там! Балакурман оставил несчастного только тогда, когда устал. Полежав несколько минут, человек со стоном поднялся, взял шапку и тюбетейку и вышел, скрипя зубами — не то от боли, не то от злости. Когда он выходил, кто-то из

стражников со смехом крикнул:

— Подожди, поешь мяса!

Мясо сварилось. Когда собрались вытаскивать, Карпык мне велел:

— Встань, полей гостям на руки.

Стражники зашевелились, усаживаясь поудобнее, некоторые скинули чапаны. После того, как гостям раздали мясо, мне достался кусочек требухи, кусок кишки, шейный позвонок. Требуху я незаметно сунул в рукав, потому что, когда я ухожу к кому-нибудь, кто режет барана, младшие всегда ждут от меня гостинцев.

Остальное я быстро съел и от нечего делать стал глазеть. Может быть, кто-нибудь протянет мне кость с мясом? Но, кажется, я ошибся. Джигит, который вытаскивал мясо, сидел возле котла. Он раз взглянул на меня и, больше не обращая внимания, продолжает есть. Человек с чалой бородой, сидящий невдалеке от меня, жует так, что по углам рта течет жир. Все-таки он заметил меня и протянул мосол с волоконцами мяса.

Стыдно сидеть с пустыми руками. Взял мосол, гложу. Наконец, съели все мясо. «Что же теперь делать?» — подумал я и убрался.

На дворе было темно. Наши, кажется, давно легли спать. Когда я подошел к шалашу, серый

кобель, лежавший у очага, подбежал ко мне, стал ласкаться. Ему и дела нет до того, что я сам бедняга: чует требуху в моем рукаве, забегает то с одной, то с другой стороны, словно просит: «Оторви кусочек!» Нет, ничего ты не получишь!

В шалаше спят взрослые, дети улеглись во дворе. Я отыскал свободное место на постели, незаметно лег…

9

Сегодня все сидят дома. Время около полудня.

— Если в день хоть раз не возьму в рот горячего, все тело ломит, — говорит Элебес и сидит, пьет чай, вскипяченный для него в черном кумгане. Мы посматриваем на блаженствующего Элебеса, будто он собирается резать барана… Перед Элебесом — чашка талкана, замешанного на молоке, и это к ней обращены и наши глаза, и наши мысли.

Самой желанной, самой вкусной едой для нас тогда был талкан — о мясе мы и не мечтали! Каждый раз, когда Элебес пил чай, мы сидели и ждали. Элебес в конце концов давал каждому по ложке талкана. Ссыпешь талкан на ладонь, а сам еще долго, долго скребешь ложку.

Вот и сегодня, наконец, каждый из нас получил свою долю. Но разве ложкой талкана насытишься? Однако делать нечего — расходимся кто куда.

Беккул, проглотив талкан, подсел к Джанымджан. Она мелет жареную пшеницу. Видя голодные глаза малыша, Бейшемби приказывает:

— Дай ему горсть.

Джанымджан не отвечает — то ли намерен-

но, то ли не услышав приказания из-за шума камней.

— Я тебе сказал, дай горсть пшеницы, — повышает голос Бейшемби. Джанымджан даже и не глядит на него. Бейшемби вспыхивает.

— Будь проклят твой отец, да я тебя!..

И, когда он потянулся за плеткой, висевшей на стене, она с чашкой пшеницы выскочила из юрты и пустилась бежать. Бейшемби погнался за ней. Наконец, догнал и ударил ее по шее. Чашка вылетела из рук. Подбежали ребята, принялись подбирать пшеницу с земли, сыпать вместе с мусором в рот… Ох, проклятая бедность! Был бы достаток, разве пожалела бы Джанымджан горсти пшеницы!

Однажды Бейшемби приехал с какой-то работы. Немного отдохнул, выпил чашку джармы, попросил у Элебеса чаю, заложил насвай. Тут вбежал старший его сын — Джумабек.

— Отец, какой-то дядя отвязывает лошадь.

— О черный день! Что там еще приключилось?

Все бросились во двор, смотрим — стоит парень лет под тридцать. Одет по-русски, за плечами — кожаная сумка. Значит, какой-то начальник.

Парень, отвязав нашу лошадь, привязал к колу свою. Подошел Бейшемби.

— Откуда путь держишь, батыр? — спросил он не спеша, вежливо. Парень, не отвечая, повелительно указал на нашу лошадь.

— Сними с коня седло!

Бейшемби, не трогаясь с места, спокойно объяснил:

— Вчера только на ней возил в Каркара юрту. Как хочешь, батыр, думай, но Бейшемби никогда не врал.

Я чуть рот не раскрыл от удивления: Бейшемби соврал и не моргнул.

— Да пусть не раз, а пять раз ездил, мне-то что? — заорал парень и сбросил с нашей лошади седло, чтобы положить свое.

Поведение парня взбесило Бейшемби. Он хотел кинуться на него, но Элебес и Бурмаке удержали.

— Брось, сынок, не стоит с ним связываться. Еще беду на свою голову наживем.

— Ведь до Каркара тебя легко довезла бы и твоя лошадь! — пытался Элебес усовестить парня.

— А это не твое дело! — отрубил тот.

Бурмаке тоже попробовала разжалобить его:

— Мы, сынок, бедные дорожники! Пожалей нас! Одна у нас лошадь, кормимся ею. Парень ты молодой, дай тебе бог много лет жизни, больших чинов, — взмолилась она, — не разоряй нас, не

подводи под беду!

Но парень даже не слушал ее. Он оседлал нашу лошадь, сел, выехал на большую дорогу и вмиг скрылся из глаз, будто за кем-то гнался.

С болью смотрели мы ему вслед. Каждый удар, который он опускал на бока лошади, отзывался в наших душах.

Опасаясь таких вот молодцов, дорожники прятали своих лошадей в лесу, уводили в лощины и надевали железные путы. Но сегодня нас застали врасплох...

— Эх, бедность! Имей мы хоть рубль — два, и лошадь была бы цела! — Элебес по привычке запричитал: — О черный день, и надо же тебе было явиться как раз к его приезду. Как ты не мог привязать подальше, скрытнее!

— Откуда я знал, что явится этот дьявол? — начал оправдываться Бейшемби.

— Теперь горюйте не горюйте — все равно. Кто откликнется на плач бедных? Что же, видно, так было суждено случиться с нашей лошадью. Что было, то прошло... — успокаивала их Бурмаке.

Пока они препирались и горевали, я взял веревку и пошел за топливом. Выйдя из круга семейных печалей, почувствовал себя на свободе. Вижу: невдалеке от меня едет Балакурман и в

такт мерным шагам своей лошади поет:

Вершины Аксу приятны,
Белая кобылица пасется на прохладе.
Как могу я молчать,
Не говоря о своей печали — любви.

По дороге мне встретились Беккул и Эшбай. Они шли радостно, словно только что завладели хорошей добычей. Еще не дойдя до меня, Беккул ликующе сообщил:

— Мы у бабая ели лепешки!

— Что же вы ему носили?

— Землянику и смородину…

— Сколько же он вам дал лепешек? — поинтересовался я.

Пока Беккул собирался ответить, Эшбай опередил его.

— Беккулу вот столько, а мне вот такую, — показал он размер лепешек.

Напротив усадьбы Башариных жил один русский старик. Мы звали его бабаем. Было у него два сына, две дочери — все взрослые. Жил он небогато. Старику было лет семьдесят, но держался он еще бодро. По-киргизски, кроме слов «плохо», «хорошо», «деньги», ничего не знал.

Иногда, чтобы покушать лепешек, мы прино-

сили ему землянику, смородину. К вечеру, не дожидаясь просьбы, сами пригоняли с поля его коров. Старик радовался этому, угощал хлебом. Мы ели хлеб и чувствовали себя так, словно касались неба.

Если мы попадали под хорошее настроение хозяев, нас угощали хлебом запросто, без обмена. Бабай и его семья для нас были ближе, чем Башарины. Если к Башариным зайдешь, то о лепешке и не думай! Озорной их сын, видя нас, всегда приходил в ярость — побьет, потом только отпустит.

Вот так мы и жили…

Однажды вечером все сидели дома. Вдруг послышались крики, гам, словно кого-то били целой оравой.

— Держите борова, заколите его! — кричал Ыбыке, которого мы узнали по голосу.

— Ой, убивают! Чтобы вы подохли, перебить хотите всех! — донесся вопль женщины.

Выкрики неслись со стороны юрты Байболота. Мы побежали туда. В толпе находились Ыбыке, старшина Карабай и другие аксакалы нашего рода. Ыбыке, натравливая своих джигитов, сам на коне держался в стороне, опершись черенком плетки о луку седла. Дрались четыре — пять человек. На нашей стороне, кажется, был один

Байболот.

— Держите, свяжите руки борову! — кричал кто-то.

Десятилетняя дочь Байболота то с криком бежит к отцу, то возвращается к матери.

— Ой, эти свиньи и детей перепугают, — причитала жена Байболота.

В это время Байболот как-то вырвался из свалки, подлетел к Карабаю, вытянул его несколько раз плеткой.

— Ах ты, мерзкий раб! Смотрите, у него есть еще сила! Бейте его, эй, вы! — завизжал Карабай.

Байболот держался отважно, отвечал ударом на удар. Но разве уйдешь из толпы преследователей: его схватили, прижали к земле.

А началось все это вот с чего. У Байболота была дочь — красавица, ушедшая от мужа. Несколько аксакалов во главе с Ыбыке поехали в Каркара и там просватали ее за какого-то казаха, не предупредив никого из семьи Байболота. За невесту назначили калым. Решили выдать ее, не мешкая. Поэтому из Каркара выехали прямо со сватами. Впереди гнали пятьдесят овец, десятка два лошадей и коров, полученных за калым.

Вот несколько десятков «гостей» и нагрянули к Байболоту. Приехать-то приехали, да дочери не

оказалось: она днем раньше сбежала с любимым человеком. Где она — не ведали ни Байболот, ни его жена. Гости узнали эту новость, лишь приехав на место.

Ыбыке пришлось туго. Во-первых, нужно было возвращать скот, во-вторых, опозорился перед сватами.

Вот так и загорелась драка.

Запыхавшийся Карабай повернулся, потряс плеткой:

— Подожди, если я тебя с Бейшемби первыми не отдам в солдаты!

Бейшемби вздрогнул и растерянно глянул на старосту.

— Карабай, почему так несправедливо придираешься?

— За тобой всяких проделок много, стервец. Подожди, не спеши…

— Вот божье наказание, что же я хозяин человеку из чужой семьи?

— Молчи, свинья! — прикрикнул Карабай, размахивая плеткой.

Бейшемби хотел что-то сказать, но тут Ыбыке повернул лошадь к Карабаю.

— Ну, поехали, мы с ним разделаемся позже! — пригрозил он, уводя за собой своих джигитов.

Как только они убрались, Байболот с женой решили в эту же ночь перебраться в Каракол. Жена на седло взяла люльку. Кто-то начал уговаривать Байболота напрасно не мучить себя и семью, но он заупрямился.

— Ладно, все равно помирать нам, — сказал он. — А может, найду справедливого начальника, он рассудит нас по совести…

На другой день в юрте только и было разговоров о случившемся. Бейшемби вспомнил угрозы Карабая:

— В могилу его отца! Если отдаст в солдаты, прикончу одного из них и лишь потом уйду, — сказал он.

— Брось, сынок, не ребячься, и так еле-еле живем, а ты новую беду хочешь накликать! — остановила его Бурмаке.

В это время кто-то подъехал, подал Бейшемби бумагу. Она была заклеена. Он открыл, подал мне — читай! Письмо оказалось от Урманбета. Когда-то я жил у муллы Турата и немного научился грамоте, стал кое-как читать. Я не мог соединить слова и лишь смутно догадывался о смысле фраз. В одном месте, как я понял, было написано: «Мы проехали такие земли, которые называются Асхабад, Украина. Где остановимся, неизвестно», а

в конце песня:

Когда я оборачиваюсь назад, —
Народ мой далеко,
Держу путь в безвозвратное место,
Еду в Германию,
Бедные многочисленные сироты,
Для вас сейчас безвестен я.
Приходится поневоле
Нести службу царю.
О тленный мир,
У меня печали много,
Не отомстил врагам я,
Меня угнали.
Провожу я дни,
Находясь вдали,
Если не помру,
Вернусь из Германии.

10

С некоторых пор в народе пошли разговоры: «Царь из киргизов набирает солдат». Слухи все ширились и ширились. «Нет, не в солдаты берут, а на черную работу — рыть окопы», — утверждали другие. На джайлоо ли, в предгорьях ли — всюду стар и млад только тем и были заняты, что с утра до вечера, собравшись где-нибудь на холмике или у очага, говорили об этом, пересказывали новые слухи, гадали о будущем.

— В могилу его отца! Чем идти солдатом неправедного царя, лучше умереть здесь, на родной земле! — говорили молодые.

— Коли до нас дело дойдет, — спокойно рассуждали баи, — на первый случай откупим своих детей.

— Не всегда же так будет, может быть, жизнь изменится.

— Жди! Баи откупятся, а нам, бедным, что делать?

— Э-э! Не все ли равно! Куда ни пойди, всюду одна смерть. Возьмут — пожалуйста, о чем жалеть, нам о богатстве не думать. Бедному всюду одинаково. Но кто нас выдаст, с тем мы посчитаемся!

— Что за времена наступают… Конец света…

— Тяжкие дни приходят для молодцов.

— Хотя и будут набирать в солдаты, баи ничего не потеряют, вся тяжесть ляжет на горемычных бедняков.

— Кто же добровольно пойдет на мученье, народ еще подумает…

Люди не знали, на чем остановиться, судили так и этак.

Но вот, наконец, объявили указ царя о наборе на тыловые работы. Крупные манапы рода Бугу — Кыдыр, Батыркан, Ырыскельды, Соодонбек и другие съехались на совет. Долго они спорили и гадали — что же делать? Одни выступали за то, чтобы отдавать киргизских сыновей в солдаты, другие — нет. Не отдавать в солдаты не хватало смелости: царь покарает, богатства заберет. Сказать «дадим» тоже побаивались. Того и гляди вся чернь поднимется, поплюет на руки да и начнет… «Если отдадите в солдаты, мы сначала уложим вас, а потом уйдем», — такие разговоры часто слышались в народе, особенно среди молодежи. А тут еще прошел слух, что казахских манапов — Албана, Абубакира, Узака, Джимаке — за отказ выставить солдат, арестовали в Каркара и повезли в Каракол. Баи и манапы терзались, не зная,

на какую дорожку ступить…

Подошло время подрезки опийного мака. Прежде его сеяли только китайцы и дунгане, заехавшие из Урумчи, Кашгара, Уч-Турфана, Кульджи, а потом научились и киргизы.

Однажды в аил приехал дальний наш родственник и решил взять Беккула и меня на подрезку мака. Жил он в Сарытолгое — маленьком кыштаке из плохоньких мазанок.

Солто (так звали родственника) нанял еще и сына одноногого Ырая — моего приятеля — Кыдыра.

Через несколько дней мы простились с Кызыл-Кией.

11

Вот мы и в Сарытолгое!

Подрезка коробочек в разгаре. Поле так густо усыпано яркими цветами, что глазам смотреть больно. Воздух пропитан дурманящим запахом опиума. Напротив нас в густых зарослях мака ходят три дунганина; один из них негромко тянет печальный, за душу хватающий напев, словно вспоминает родной Бейджин, который покинул сорок лет назад. Его скорбная песня легко плывет в знойном воздухе и волнует мое сердце. Мне кажется, что лишь я один понимаю его песню, хотя не знаю ни одного дунганского слова.

Уже несколько дней ходим на плантацию. Вначале мы только портили растения: или совсем прорезали коробочки, или делали надрез не там, где следует. Млечный сок не выходил, образовывалась лишь черная полоска. Если прорежешь стенку насквозь — второй раз сок уже не выйдет, а то мак и совсем погибнет. Хозяева ругали нас и все же научили кое-чему. Правда, Кыдырма, Беккул и я не достаем до высоких головок, подрезаем, пригибая их к земле. Стебель ломается, мак гибнет, хозяева бранят нас, но что же мы можем

поделать? Нанимали бы высоких…

…Солнце перевалило за полдень. Беккул вдруг побледнел, отошел в сторону и съежился под большим кустом полыни. Через несколько минут младший брат Солто — рыжий Кочкун — широко открыл глаза и завопил:

— Где Беккул?

Мы показали ему на куст полыни. Словно беркут на куропатку, ринулся туда Кочкун.

— Ты почему лежишь? — заорал он грубо, подражая брату.

Беккул застонал и тихо ответил:

— Голова кружится…

— Вставай, негодяй! — Кочкун схватил его за ворот и приволок к нам. — Ишь как хитрит, голодранец! Что же — мы сюда вас привезли откармливать? Режь мак!

Он еще долго сердито бранился. Джигит по имени Тилеке, стоявший в стороне, укоризненно заметил:

— Брось ты, Кочкун, ну зачем ты мучаешь мальчика, пусть полежит.

— Опиум — ядовит. Если хорошо не питаться, то у человека от слабости кружится голова, и он падает, — вступился еще кто-то.

Но Кочкун продолжал ворчать. Когда солнце

склонилось к закату, нам сказали:

— Остальное подрежете сами.

Все ушли, оставив нас троих: Кыдыра, Беккула и меня. Другой брат Солто — Айылчи, уходя, пригрозил:

— Хорошо подрезайте. Если завтра увижу, что работали плохо — не обижайтесь...

Вставил словечко и Кочкун:

— Пусть только испортят мак, я им тогда глаза выколю!

Вот так каждый день. Оставят нам участок такой, чтобы мы еле смогли закончить до темноты, и скажут: «Подрезайте!», а сами уходят. Иногда оставят кого-нибудь надсмотрщиком.

Закончив подрезку, уже в сумерках отправились домой. Возле юрты Солто стражник свирепо пробирал какого-то бедного дунганина. Этот стражник известен всей округе. Светло-серую лошадь под ним киргизы узнают издали.

Дунганин сидел, опустив голову.

— Куда ты девал опий, что собрал за три дня? Найди, сволочь! — заорал стражник, размахивая плеткой.

— Обыщи, нет ничего, — морщась, ответил сборщик.

Но видно стражнику: ищи не ищи — с дунга-

нина ничего не получишь, хоть кинься на него с ножом. Он еще раз выругал, схватил кокозу и, развернувшись, ударил ею об землю. Из кокозы мягко потянулся еще не загустевший опиум.

Я знаю, дунганин — бедняга из бедняг. Пришел он сюда из Урумчи вместе с баем, у которого работал. Хозяин поселился в Караколе, посеял мак, собрал урожай и ушел обратно, а батрака бросил. У бедняги не осталось ни денег, ни одежды, ни еды. В этом году он кое-как засеял маком четверть десятины, надеялся выручить на дорогу. Если с ним кто заговаривал, то с первых же слов он начинал рассказывать о жене и детях: «Моя пятнадцать лет не видал жена, дети».

Мне жаль его. Если бы мог, я бы сделал все, лишь бы вырвать беднягу из рук жестокого и алчного человека. Как не заболит душа, если дунганин все лето мучился на клочке земли, проливал пот, а тут пришел какой-то грабитель и хочет обобрать его?

Недалеко от нас стоит Ыбыке. Выставив брюшко, заложив руки назад, прохлаждается. Дунганин иногда умоляюще поглядывает на него: не поможет ли? Но Ыбыке равнодушно посматривает на небо. Кажется, один я страдаю из-за горестной участи дунганина.

Стражник, видимо, окончательно убедившись, что здесь ему ничего не добиться, приказывает дунганину идти впереди и гонит его, то и дело наезжая конем.

А разве наша участь лучше? Мы устали так, что нельзя разогнуть спину, а жена хозяина, как всегда, приказывает Кыдырме, Беккулу и мне отправляться за топливом. Идем, что же делать!

Лес недалеко, каждый день туда ходим за топливом. Неприятно только два раза переходить реку: вода холодная, по дну катятся камни и больно бьют по босым ногам…

Вернулись с топливом, не успели присесть, как подскочил Кочкун, будто нас и ждал.

— Идемте! — приказал он. Кыдыр, устало хмурясь, спросил:

— Куда?

— Иди, иди, раб!

Отказаться нельзя. Вслед за Кочкуном подошли к пустующей мазанке. Стоят три полных мешка, возле какая-то молодуха толчет в ступе просо.

— Ну-ка, возьмите по одной! — указывает Кочкун на валяющиеся ступы. — Толчите. Не живые, что ли? Жрать умеешь, так и работать надо! — ткнул он пальцем в глаза Беккулу. Это ему понравилось, стал забавляться — то ткнет в

лицо, то по голове — против волос. Беккул бросил пест и, ревя, хотел убежать.

— К какому же отцу ты пойдешь жаловаться? — насмешливо протянул Кочкун, дернул его за руку и толкнул к ступе.

12

Однажды, близко к полудню, я пришел с макового поля, сел над арыком, начал мыть руки и увидел Байболота. Под ним все тот же жеребец с пятном на лбу. Его пригнал стражник. Оба слезли с лошади и вошли в белую юрту Ыбыке. Здесь с некоторых пор жил пристав, тот самый, которого я видел у юрты Карпыка.

Пока Байболот слезал с лошади, я глядел, разинув рот, и, лишь когда он скрылся в юрте, побежал за ним. С порога увидел пристава с лихо закрученными усами. Он сидел напротив входа и мрачно глядел в бумагу, лежавшую перед ним. Рядом с приставом сидели старшины и пятидесятники. Тут же находился и Карабай.

— Уходи отсюда! — погнал меня кто-то. Я попятился и спрятался за дверью. Направо от пристава, за столом, важно восседал Ыбыке. Когда вошел Байболот, Ыбыке, улыбнувшись в усы, обратился к приставу:

— Таксыр, это тот самый буян.

Таксыр глянул на Байболота, что-то записал, потом, наливаясь кровью, завопил:

— Ты, собачий сын, зачем среди людей заво-

дишь смуту? Ну-ка, отвечай! — уставился на Байболота выпученными глазами. Тот, держа в руке свернутую плохонькую плетку, не спеша ответил:

— Сначала разберитесь, кто виноват!

Пристав хотел что-то сказать, но его опередил Ыбыке:

— А где ты скроешь свои делишки: как ты избивал старшин, как отбирал списки, как…

Байболот не дал ему закончить:

— Что отбирал, то правда. Зато вы, кроме нас, бедняков, никого не трогаете. Есть в тех списках кто-нибудь из байских сынов, из сынов знати? Нет! Мало того, самовольно составляете приговор, будто мы согласны со всем. Да еще и врете: кому 17 лет — пишете 19, кому 40 — пишете 30. Бай выкупит своих сынов, а мы, бедные, без копейки за душой, должны вместо них идти в солдаты. Так где же ваша совесть? — Байболот закончил и перевел взгляд с Ыбыке на пристава. Тот застучал кулаком по столу:

— Собака, свинья! Я покажу тебе!.. — пугал он. — Как ты смеешь выступать против справедливой воли царя, собака! Да ты знаешь, что я с тобой сделаю?!

Байболот, однако, не испугался. Ругань словно

придала ему смелости. Он в упор поглядел на беснующегося пристава, а потом, видимо, решив: «Молчи, не молчи, теперь все равно», бесстрашно продолжал:

— Говоришь, царь справедлив? Скоро будет пятьдесят лет, как он нами правит. А что мы получили? Царь вместе с такими, как Ыбыке, отобрал у нас земли и воды. Покорились, освободили свои места, а сами отошли в сторону. Потом у нас отобрали и те клочки земли, что имелись в предгорьях, и загнали в ущелья. Лишили всего. Мы не можем получить и одной десятины, а русские богачи и киргизские манапы имеют десятки десятин. Один раз полить землю и то нечем. Для нас жалеют места даже у вечных снегов, говоря, что оно собственность казны, и берут плату за выпас. Негде пасти даже одну-две головы скота. Бессчетными налогами довели нас до нищенства. Почему налог не берут так: у кого больше богатства — с того больше, кто беднее — с того меньше? Богачи, у которых вся земля, и мы, бедняки, с одной коровой, платим одинаковый налог… Налог за всяких господ, судей, болушей тоже платим мы. Если не рассчитаемся в срок, — бьют, сажают в тюрьму. Мало того, еще и солдат захотели брать от нас. Где же справедливость царя? За что он с

нами так поступает? Мало невзгод от царского правительства, так еще нас окружают баи, болуши, судьи, как волки в безлюдном месте, рвут наше тело. Сколько еще нам терпеть? Как жить?

Байболот, конечно, знал, что словами не одолеет пристава и Ыбыке, но он не сдавался, держался смело. Пристав не выдержал, ударил по столу кулаком.

— Молчать!

Затем повернулся к джигиту с погонами, приказал:

— Забери собаку!

Потом подошел к Байболоту.

— Я тебя проучу! Помнишь, как ты подбивал людей: «Говорите: не пойдем в солдаты». Знаешь, что за это будет?

— Народ сам все знает. И без моих слов многие не согласны идти в солдаты. Говорили и будем говорить. Сказанных слов назад не возьмем. Теперь мы… — Не закончил Байболот от волнения.

— Ведите собаку!

Когда его повели, пристав еще раз погрозил вслед.

Прошло дней десять, и мне принесли почитать письмо от Байболота. На мое счастье, написано оно было хотя плохим почерком, но крупными

буквами и простыми словами, без украшений, как у многих грамотеев.

Вот что там было:

«Я сижу в тюрьме. Жаловаться некому. Киргиза здесь за человека не считают. Полицейские в золотых погонах нас близко не подпускают к канцеляриям, не дают прохода к начальству. А киргизским чинушам некогда разбираться, они заняты борьбой за теплые местечки, берут взятки, подкапываются друг под друга. У нас тот молодец, кто дерет, выжимает из людей взятки. Его и считают человеком, а кто не хочет этого делать, тот, оказывается, бестолковый, ни к чему неспособный человек! Вот какие это «молодцы!» Земля из года в год уходит из наших рук. Это их ничуть не тревожит. Заботиться о земле, о бедных людях, знать их горести, беспокоиться о судьбе — такого у них и в мыслях нет. Вся их цель: набрать побольше сторонников и бороться на выборах, добиваться возвышения, обирать народ, мошенничать: если у бедняка двадцать овец, — записать тысячу, а тысячу овец

бая снизить до двухсот. Натравливать стражников на неугодных, устрашать их избиениями и издеваться над бессильными; угождать судьям, большим господам; жиреть, набивать свою утробу — вот их единственная забота. Теперь возьмем ростовщиков, торговцев. Это они обирают бедняка и ведут его к нужде. Дадут весной рубль, а осенью берут барана, дадут кожи на одни ичиги, потом требуют корову. Манапы без денег ничего не сделают. Чтобы обратиться к судье, бедняк продает единственную корову...»

Когда я читал письмо, у всех сидевших бежали слезы...

13

Стояла пора жатвы. Старики говорили: «Не было еще таких хлебов, как в этом году». Однако многие, как будто что-то предчувствуя, уделяли больше внимания опийным полям. Куда ни пойди, везде опиум — деньги. Люди это знают хорошо. Вместо того, чтобы заниматься и другими работами, большинство, словно собираясь выступать на врага, готовило коней, седла, заказывало кузнецам секиры, копья. Их день и ночь ковали повсюду.

На днях я слышал, как взрослые говорили:

— Нужно быть готовым. Время тревожное…

Кыдыр, Беккул и я спали во дворе. Сегодня кто-то раньше обычного сорвал с нас попону:

— Вставайте!

С трудом открыли глаза. Чуть начинала сереть земля. Пока мы, дрожа, оделись, привязали к поясам кокозы, другие сборщики уже ушли на поле. Когда мы добрели до крайней черной юрты, навстречу нам показался Кочкун:

— А ну, быстрей! — Плететесь, черти! — прикрикнул он.

Среди нас лучшие сборщики — Айылчи и Туле-

бай. Когда сок выступает обильно, каждый из них собирает по два цзиня. Айылчи — нечестный: припрятывает опиум. Делает он это так: заворачивает опиум в листок и бросает между рядков мака в приметном месте, вечером поднимает.

Но мы с Кыдыром не занимались этим.

Опиум собирали до полудня. В полдень пришли домой. Солто со старшим братом Абийиром весь сбор паковали по два, по три цзиня и прятали. Опиума у них набралось много! Я знаю — они недавно ночью вырыли в зимовье яму и закопали около трех пудов опиума.

Вечером мы втроем сидели у очага, положив в горячую золу картошку. У всех рубашки в желтых пятнах опиума, неприятно пахнут. Говорить не хочется — устали, да и головы болят. Недалеко от нас две женщины латают снятую с юрты кошму. К ним подошла женщина с веретеном. Поглядев на землемеров, которые за зимовьем мерили землю, сказала:

— Как они сюда явились, с каждым годом становится теснее.

— Говорят, что нас опять куда-то будут переселять! — отозвалась сидевшая на земле.

— Да ну, что ты! Третий раз уже переселяют…

— Кто его знает! Я слыхала, как на днях один из

них говорил: «Здесь поселится купец».

Женщины понизили голоса, зашептались.

Кыдыр с тоской поглядел на высокие горы, покрытые елями.

— Давай сегодня сбежим, — предложил он.

Это была наша давняя тайная мечта. Сбежать-то можно, но разве будет слаще? Явишься, а дома скажут: «Вот он, прибежал, стервец». Я подумал, подумал, отказался: Кыдыр еще более опечалился, но заявил:

— Я один сбегу.

— Тебе-то ничего, а мы придем — наши не обрадуются.

— А здесь что, теплее тебе? Ни ногам нет покоя, ни сна не видим. Посмотри на себя, так будем жить — умрем.

Действительно, терпеть больше нет сил. Может, и правда сбежать? В Джиргалане один киргиз ходит у русских пастухом. Я в прошлом году три месяца помогал ему пасти скот. Если сбегу, может, меня отдадут туда — хуже не будет. Буду хоть чистым воздухом дышать.

Но в этот вечер мы так ничего и не решили.

Утром я поднялся, смотрю — Кыдыра уже нет. Значит, сдержал свое слово. Постель была еще теплой. Видимо, сбежал перед рассветом. Конеч-

но, ему, бедняге, не удалось уйти далеко. Когда солнце встало над головой, его пригнали на поле, где мы собирали опиум. Кыдыр плакал, размазывая по щекам слезы и грязь. Сзади ехал Солто и, свесившись с коня, тыкал его в спину сложенной плеткой, приговаривая:

— Твой отец не Ырай, а я! Иди быстрее! И не думайте уйти! Вы мои рабы. Хозяин над вами я!

Через месяц приехал Элебес, посадил меня и Беккула позади себя на лошадь и увез. Сбор опия заканчивался, и в нас теперь особенно не нуждались. Люди выходили на работу неохотно.

Пошли слухи: «Если не дадим солдат, царь начнет войну против нас, приведет войска в аилы, уничтожит людей…» Поэтому во многих местах уже готовились к выступлению, посылали из рода в род гонцов, вооружались.

Когда солнце ушло за полдень, мы остановились в чьей-то юрте, среди соснового леса. Хозяина не было, хозяйка, хотя Элебес и был с ней знаком, встретила нас угрюмо, неохотно поставила на огонь чай. Мы сидели молча. Вдруг послышались крики множества людей. Хозяйка и Элебес побледнели, прислушались. Мы выбежали из юрты. Невдалеке, по тропинке, уходившей в лес, кто-то мчался, крича, махая шапкой и нахле-

стывая лошадь. По опушке леса, подгоняя стадо скота, проехала еще группа верховых…

Элебес вышел на поляну между соснами и крикнул во весь голос:

— Эй, что случилось?

Видимо, люди торопились, никто не отозвался. Толпа проехала. Но вот показался одинокий всадник. Он похож на волка, который гонится за овцой и в то же время оглядывается на пастуха. Элебес и у него спросил: «В чем дело?»

— Киргизы начали войну против царя! — ответил он на скаку.

Значит, жизнь, несколько минут назад находившаяся в покое, нарушилась. Мы не стали дожидаться чая, поехали. На закате увидели Кызыл-Кия. Тут встретился Бейшемби на уставшей лошади. Ничего не говоря, он повел нас в лес, затем куда-то в ущелье. Наступила ночь, ехали молча, в темноте осторожно пробираясь между деревьями. Вот блеснул огонек. Мы повернули туда. Подъехали — а там вся наша семья!

Бейшемби объяснил Элебесу:

— В Кызыл-Кия из дорожников никто не остался. Башарин сбежал, бросил свое хозяйство…

Я соскучился по Кызыл-Кия и пожалел, что не смог побывать в родных местах.

Там, на западной стороне холма, в ложбине, бьет маленький родник. Порою, когда меня дома бранили и на душе становилось тяжело, я приходил к родничку. Если смотреть с этого холма, видно далеко вокруг: дорогу, уводящую в Каркара, вдали мост через Тюп, блестящие под солнцем многочисленные стойки его перил, идущие через мост караваны, брички, запряженные волами. Ближе виднеется светлый дом Василия, поляны, где я пас коров, пасека Башарина, низина, на которой я копнил сено, Козлиный загон, большой склон, куда мы с Кыдыром ходили собирать ревень. Когда я все это увижу?

14

Через два дня мы переехали в Сарытолгой, к своим. Все поселились у подножия гор.

Ударная сила восставших — бедняки, середняки. Вожаки восстания тоже из них. А бии, болуши, манапы не знали, с кем идти, колебались; наконец, уверившись в силе бедноты, подчинились ей. Воевать они шли без охоты, только чтобы не упустить власти, не утратить влияния на народ[3].

Наступили беспокойные дни. Каждый день перебирались с одного места на другое. По ночам все мужчины, вооружившись секирами, копьями, куда-то уезжали.

---

[3] Примечания: 3

От издательства. По этому поводу в «Истории Киргизии» сказано:

> «Основной движущей силой восстания были бедняцко-середняцкие слои киргизского дехканства... Большинство киргизских баев, манапов и купцов было настроено против восставшего народа.
> В Северной Киргизии часть манапов в ходе событий была вовлечена в восстание. Некоторые из них, используя темноту и отсталость восставших кочевников, сумели взять в свои руки руководство повстанцами... и направить их борьбу по реакционному националистическому пути».
>
> ***(«История Киргизии», т. I, стр. 393).***

Однажды Бейшембби сказал:

— Были такие, что угоняли у русских скот. Я же ничего не тронул.

— И хорошо, что не берешь, милый! Говорят: «Не бери и ниточку у того, кто терпит несчастье», — похвалила его Бурмаке. — Время-то вон какое, бог знает, может, и свое потеряешь, не то, что чужое брать.

Каждый день, каждый час приходили новости одна другой неожиданнее:

— Говорят, взяли Байсоорун.

— Поднялись Саяки, кочуют сюда.

— Род Арыков набрал пятьсот рук и вступил в Каракол.

— Говорят, род Сарыбагышей набирает войско. Аксакалы следят, чтобы народ не разбегался, призывают выступить на войну.

— Произошли стычки в Саруу, Джелдене, Кызыл-Суу.

— Время сулит худое. Наверное, народ побежит.

— Киргизов разбили.

— Нет, киргизы побеждают. Между Пишпеком и Караколом сожгли мосты, свалили телеграфные столбы.

Народ все слушает и не знает, чему и кому

верить. Кое-кто начал укладывать вещи. Иные, пожаднее, кому не хотелось расстаться с нажитым добром, зарывали его в землю.

— Кому теперь все это достанется?! Эх, жизнь!

— Воля злого царя!

Народ волновался, волновался, да в один день и поднялся. Ехали так, будто навсегда вырвали корни из родной земли — ничего не жалея, по полям, по неубранному хлебу. Не дай бог такого живому человеку!

Люди перемешались, как муравьи, — сын не находил отца, отец — сына.

Тронулись и мы. Остались позади горящие нивы, стога, белые постройки Башарина. Я на лошадке бая Джолбуна помогал гнать его скот. Бурмаке ехала на чьей-то навьюченной кобыле, усадив сзади себя двух малышей. Остальные шли, уцепившись за навьюченных животных... Богачи, у которых были десятки, а то и сотни лошадей, не пожалели нас, не сказали: «У вас семья большая, возьмите в табуне лошадь». Куда там! Баи от жадности не оставили даже хромого козленка — все везут.

Через два дня остановились на окраине Каркара. Казахи, жившие здесь, давно убрались. В спешке бросили юрты, котлы, чашки... Бродили

отставшие от хозяев бездомные собаки. Но никто не смотрел на весь этот скарб, народ день и ночь тёк рекой на восток.

…Проехали мы Каркара, Туз, Уч-Капак, Нарынкол и достигли границ Китая. А позади наседали карательные отряды. Пришла ужасающая весть: «Губернатор Туркестана выслал пятьсот солдат с приказом уничтожить всех киргизов, начиная с малых детей». Рассказывали, что за родом Кокурек двигались саяки, а когда они дошли до Корумду и Чонташа, войска загнали их в ущелье и перебили, как куропаток.

Словно предчувствуя беду, люди сегодня спозаранок принялись вьючить верблюдов и лошадей. Утро было мрачное, туманное, тянуло холодом. В бескрайней степи у китайской границы столпился прикочевавший народ.

Неожиданно позади грохнули один за другим два пушечных выстрела. Люди хлынули вперед, но тут китайские пограничники открыли огонь и заставили огромное море народа отступить. Овцы, испуганные выстрелами, побежали. Люди сгрудились между двух огней. Постояли они, постояли, затем опять двинулись к границе. Китайцы ответили выстрелами. Люди снова отступили. Рыдания, вопли висели над толпой.

— Ой, дяденька! Наверное, здесь нам погибать!

— Догоняют уже!

Пушка грохнула еще раз, другой — теперь поближе. Народ решился: «Погибать, так погибать!» и пошел прямо на огонь пограничников.

…Несмотря ни на что, народ бежал и бежал вперед. Вот дорогу преградили бурные воды Музарта. Что тут делалось, сколько народу погибло! В одном месте плывет женщина, придерживая колыбель, в другом лошадь тонет вместе с вьюками, в третьем — мертвого вынесло на берег, в четвертом — старик с криком бросается к тонущему ребенку, в пятом — кто-то рыдает над погибшим… Разве перескажешь все!

Я ехал позади, помогал гнать овец Джолбуна. Когда все переправились на тот берег Музарта, наступила ночь. Грабители не давали покоя: всю ночь угоняли табуны лошадей. Все лощины забиты украденным скотом.

Многие злорадствовали:

— Ненасытные баи не разрешали бедняку пользоваться лошаденкой из своих табунов; как они переживут сегодняшний день?

После Музарта люди остановились в широкой степи. Беженцы сгружали вьюки, ломали деревянные части юрт, ставили котлы и наскоро

разводили огонь. За два-три дня сегодня впервые варили мясо! Люди тянулись без конца. Понемногу шум стал утихать. Вдруг в полночь раздались выстрелы. Людей снова охватил страх. Неизвестно, кто стреляет: китайские пограничники или, может быть, подошли войска царя. Все переполошились, начали торопливо грузиться, собирать только что развязанные вьюки. Горящие костры остались непотушенными, котлы не снятыми…

Выстрелы участились. Кругом крики, плач, будто становище окружили кровожадные враги. Оказалось, что на табуны опять напали грабители.

15

Наступила зима. Жилось всем тяжело. Почти весь скот пропал: часть потеряли на месте, часть — на границе. Много скота погибло на высоких снежных перевалах, в темных ущельях. Люди голодали, за чашку зерна отдавали детей. Вспыхнул тиф и пошел косить без разбора.

Люди рассыпались по китайской земле. Те, что пришли первыми, двинулись в Урумчи, Джылдыз, Кучорго, пришедшие позднее остались в Чолаке, Тереке, Актереке, Коктереке, Текстереке.

Вот и мы, как ягнята, отбившиеся от стада, плетемся в Коктерек, через горы, по льдам, сквозь туман. У Бурмаке нет сил, она едва переставляет ноги. Иногда остановится, вытрет слезы, вздохнет:

— О господи! В какую ты могилу нас гонишь в такой холод с малышами?..

Вокруг никого не видно. Только далеко на западе, между гор, чернеет что-то, похожее на юрты. Но налетает ветер, поднимает мелкий снег, и видение исчезает.

Элебес, держа лошадь под уздцы, испуганно шепчет:

— Как бы не было бурана!

— Господи, не доведи нас до беды! — молится Бурмаке.

Нам повезло: бурана не было, и через три дня мы добрались до Коктерека. Холодным вечером остановились в небольшом — семь-восемь дворов — аиле кызаев. Выбежавшие детишки глазеют на нас с удивлением. Мы торопимся — из нескольких палок и войлоков, прихваченных с собой, строим шалаш. Как говорится — «В поле и жук мясо», — семье в тринадцать человек пришлось помещаться в маленьком шалаше. Что только ни перенесет человек, когда нужда заставит! Так мы в этом шалаше, теснясь и толкаясь, прожили зиму.

Скоро мы свыклись с здешними жителями. Раньше услышим слово «кызай» и гадаем: «Что это за народ такой?» А тут увидели: обычаями, языком, ничем они не отличаются от казахов.

Однажды среди зимы Бейшемби куда-то съездил и привез бумагу. Он объяснил Элебесу:

— Прошение. Завтра отправим в Кульджу.

Потом дали мне прочитать.

Письмо на трех листах. На последней странице — одни оттиски пальцев — самое малое двести человек приложили. Только в конце несколько

неразборчивых подписей.

Я с трудом, запинаясь, начал читать. Кое-какие слова не мог разобрать. Тогда Бейшемби заставлял повторять всю фразу.

Вот что было в письме:

«Консулу России в Кульдже.

От киргизов Пржевальского уезда прошение.

Мы, киргизы волостей Пржевальского уезда: Курткамерген, Кунгей, Ак-Суу, Тюп, Курманту, Кен-Суу, Тургон, Бирназар, Сюгутту, всего 4595 дворов, прибыли на китайскую землю. Большинство из нас бедняки, сироты и вдовы. Просим о нижеследующем: царское правительство лишило нас земли и воды, прогнало в горы. Однако и горы нам не достались, перешли в собственность казны. Места для юрты, пастбища для скота стали платными. Таким образом, мы потеряли возможность жить. Даже с топливом стало трудно. Стоимость одной ели подорожала вдесятеро. Беднякам это непосильно. За одно срубленное дерево составляли протокол на десять. Население каждой

волости за год платило несколько тысяч рублей штрафу. Бедняки, не имеющие денег на штрафы, попадали в тюрьмы. На повеление помочь фронту мы пять раз отдавали все, начиная с веревок. Кроме двухразового налога, каждый двор облагали еще по нескольку раз. По повелению губернатора нас принуждали выращивать мак и платили за один фунт опиума двенадцать рублей. От этого мы, кроме убытков, ничего не имели. Наконец, забыв свое обещание, царь дал повеление: мужчин от 19 до 31 года отправлять на войну рыть окопы. Народ это понял как набор в солдаты. И эта беда легла на нашу шею. Правители киргизов своих сыновей и родственников не включали в списки. Баи же своих сыновей выкупали. Мы выразили недовольство, нас стали сажать в тюрьмы. Многих из тех, кто попадал в тюрьму, расстреливали, вешали. Такие ужасные вести повергли нас в страх и вынудили бежать в Китай. Нас преследовали войска и уничтожали, как овец. Много людей и много скота погибло в водах Музарта, в низине Текеса. На границе

китайские солдаты разграбили у нас последнее. Теперь у нас нет не только крова и пищи, но и щепотки соли. Наступила зима. Мы голодные, раздетые. Трудно нам. Поэтому просим вас проникнуться сочувствием, отозваться на нашу мольбу и прислать ответ нашему главному. Не будет ли от вас помощи обездоленным? Подписываемся и прикладываем печать».

Вот слова письма. Результаты мы услышали через месяц: консул обещал помочь. Его доброта удивила всех. Никто не понимал, в чем тут дело.

16

Не было юрты кызаев, где бы я не бывал. Еды у нас почти не было, поэтому, как только наступала ночь, я ходил из одной юрты в другую. Нужно было безошибочно знать, в какой юрте и когда сварится пища, чтобы успеть побывать у всех. Но иногда ошибался, терпел неудачу. Одно у них плохо: положат в огонь две головешки, лишь бы кипело в котле, и сидят, ждут до полуночи. У тех, кому возил сено или делал другую работу, я располагался как хозяин, выжидая часами. Иначе останешься голодным.

Иногда меня гонят. Однажды заглянул в юрту некоего Бызабака.

— Эй, ты что здесь делаешь? — заорали на меня. Я растерялся. «Изобьют еще, приняв за вора», — мелькнуло у меня в голове.

— Ничего… — ответил тихонько и вышел. Так в этот день я и не ел.

На следующий день принес топливо. Слышу, как Бурмаке сердито бурчит:

— «Кошке игра, а мышке смерть!» Что же, мы не люди? Кто смеется над нами, пусть над тем бог посмеется!

Оказывается, Нуртак — сын кызая Доолатбая — нашего соседа — швырнул камень и попал в лицо Ашимкан.

Была у него такая забава — взберется на холм и швыряет камни в наш шалаш. А попробуй, пойди, пожалуйся! Враз из аула выгонят…

Со всех сторон раздуваем огонь, сырой хворост не горит. Едкий дым спирает дыхание, не идет вверх, стелется по земле. Элебес рассердился, кричит:

— Не мог найти получше топлива?

Неожиданно появился сын Карпыка — Исраил. Мы долго не видели никого из киргизов, и он показался нам бесконечно родным.

— Неужели это ты, Бейшемби? — улыбнулся и Исраил. — Как все-таки скучаешь по своим людям!

С Бейшемби они когда-то были друзьями. Сначала мы подумали, что он за тем и пришел, чтобы проведать нас. Но скоро выяснилось, что цель у него другая. Оказывается, Ыбыке обложил налогом род Эркесары, разместившийся в долине Коктерека. Поэтому и явился Исраил. Однако он не сразу объявил о налоге, а начал разговор, что вот, мол, мы в согласии, дружбе решили…

Все поняли, к чему клонит сынок Карпыка.

— Если бы мы умирали, никто, поди, не пришел бы в такую даль проведать? — насмешливо спросил Бейшемби.

— Почему? Кто же бросает ближних?

— Если близкие так поступают, я их знать не хочу! Умрем, и без них найдутся люди зарыть нас. — Махнул Бейшемби рукой и сел.

— Что же, они захотели из больного сделать мертвого? Видать, от правителей не избавимся, пока не уйдем в могилу, — вмешалась Бурмаке.

В конце концов Бейшемби решительно сказал:

— Хватит и того, что раньше терпели. Обчистили все, теперь нам осталось только постели продать. Пусть будут довольны тем, что я кормлю кучу сирот. Так и передай. Пусть с нас не дерут шкуру. Не всегда ходить нам на поводу Ыбыке, прошло его время.

— Не перечь! Разве можно идти против, когда согласились все! Ты теряешь помощь рода… Не годится это… — уговаривал Исраил.

— Кто хочет, пусть соглашается. А я давно бросил и род и дружбу — все равно пользы нет.

Бейшемби говорил со злостью, размахивая руками. Таким я его еще ни разу не видел.

Так Исраил и уехал ни с чем.

И правда, нам не только платить налог Ыбыке,

а есть нечего; Да еще к тому же стали доходить слухи, что китайские власти погонят беженцев назад. Взрослые то и дело судили, как тогда быть с целой кучей детей — ведь стоят морозы, а мы все ходим полуголые.

А тут еще нежданно убежала от мужа моя сестра Чукей.

Была полночь. Я проснулся от голоса Бурмаке:

— Вставай, сгоришь.

Чтобы было теплее, я на ночь подгребал под голову кучку теплой золы из очага. Может, правда загорелись волосы? Вскочил. Нет, волосы целы.

Гляжу — сидит Чукей, плачет. Освободил для нее место у огня.

Теперь нас в семье четырнадцать человек. И чего она явилась, может, думает, что нам здесь сладко? Потом она рассказала: загрызла свекровь, житья не дает. Куда деваться бедной, если ее истерзали до костей? Что мне, пусть остается. Нашу жизнь она хуже не сделает.

…Наступила весна. Мы решили покинуть аил и вернуться на родину. Взрослые надумали идти не прежним путем, а через Кульджу. Сложили вещи на худую клячу и пошли.

Скоро нас настигло несчастье — встретили в безлюдной степи калмыка с ружьем. Остановил

он нас, показывает на лошадь. Хотя не знаем его языка, но сразу поняли, чего он хочет. Все принялись умолять его, чтобы оставил лошаденку. Куда мы без нее денемся? Элебес показывает побитую спину клячи, худые ребра. Бурмаке причитает, мы ревем. А калмык только головой мотает, да за повод тянет. Совсем мы замучились. Тогда Бейшемби вытащил запрятанные в лохмотья несколько рублей. Калмык схватил их, закинул ружье за плечи, гикнул и поскакал.

Когда избавились от напасти и немного отъехали, Элебес с раздражением спросил:

— Что же ты ему деньги отдал?

Забыв о лошади, он теперь сожалел о деньгах.

— Не дай, так остались бы в беде, — ответил Бейшемби. — Разве мы в силах выбраться отсюда без лошади?

А через несколько дней наша лошадь вдруг свалилась. Пока с нее снимали груз, она раза два дрыгнула ногами и испустила дух. Вот горе! Видно, судьба бедняков такова, что на них то и дело обрушивается беда.

Груз мы поделили — мне досталась половина джаргалчака — и побрели дальше. К вечеру остановились в безлюдном сае. Ночью выпал снег, пришлось ставить шалаш. Джанымджан приго-

товила жиденькую джарму. На четырнадцать человек у нас всего три чашки. Ждем очереди. От голода в животе бурчит.

Бурмаке успокаивает нас:

— Что же поделаешь, когда еды много и кушают помногу, а когда мало — помалу. Как-нибудь доберемся до Кульджи и ладно…

— Обижайтесь на жизнь, мы здесь ни при чем! — неожиданно говорит Элебес, насупившись. Видно, и его сердце терзает вид голодных детей.

От голода и мучений мы все озлоблены. Один другому кажется лишним. Ни на волос ни у кого не стало терпения. То и дело вспыхивают ссоры, драки. Даже маленький Бекдайыр сидит мрачный, будто с рождения ни разу не улыбнулся, на глазах слезы, вот-вот заорет. Видя, как он, обидевшись на то, что ему налили неполную чашку, не берет еды, Бурмаке просит:

— Налей немного этому нечестивцу.

Джанымджан, скривившись, черпает синеватую водицу с отстоявшейся джармы и льет в чашку Бекдайыру, крича со злобой:

— Что б ты провалился, на! Что б вы подохли: живучие, как собаки! И бог их не видит, не берет!

Испуганные ее проклятиями, мы затихаем, но разве заглушишь голод руганью?

Через два дня добрались до Кара-Ункур — огромной пещеры на перевале, в которой могло поместиться самое малое отара овец. Видно, здесь с давних пор останавливаются караванщики — пещера закопчена. Здесь же расположились кашгарцы, приехавшие раньше нас на 10–15 ишаках. Мы заняли свободный угол. Пока мы устраивались, к пещере на лоснящихся лошадях подъехали три знатных китайца. Удивительно — в такой нестерпимый мороз у них на головах одни шелковые шапочки.

Всей семьей мы потеснились к выходу, освободили для них места поудобнее, заварили чай в котле. Судя по богатой одежде, старший из них — тот, что с приплюснутым носом, узкоскулый, смуглый.

Так это и есть. Ложась спать, узкоскулый что-то сказал переводчику уйгуру. Тот глянул на Бейшемби.

— Господин говорит: «Если лошади пропадут, ответишь ты».

— Не пропадут, — спокойно сказал Бейшемби. Однако он не спал до утра, охраняя чужих лошадей.

Утром, когда мы собирались отправиться дальше, переводчик опять обратился к Бейшемби.

— Господин говорит, что ты должен провести нас до Чолоктерека.

Бейшемби взмолился, начал объяснять, что у него нет лошади, что мы идем с кучей детей, обессиленные, голодные.

Уйгур сказал несколько слов по-китайски, затем, выслушав своего господина, ответил:

— Ничего мы не знаем! Как хочешь, а проводить должен!

Бейшемби чуть не плакал.

— Взгляните, господин, разве есть у меня силы вести вас? А эти несчастные дети! Пожалейте, господин, не губите детей, не губите беднягу!

Купцы еще долго кричали и ругались, грозили, но видно, поняли, что им от нас ничего не добиться, сели на коней и уехали. Бурмаке глубоко вздохнула, словно освободили ее туго стянутую шею.

— О господи милостивый, у сирот, оказывается, есть еще счастье!

Мы продолжали свой путь…

У перевала Суу-Ашуу мою сестру Чукей продали пожилому кызаю. За нее взяли одну корову. Делать было нечего — все стояли на краю смерти.

Значит, на китайской земле за полгода остались две мои сестры — ведь старшая — Батыйма отбилась от мужа, ее схватил дунганин и куда-то увез. Где она, никто не знает. Доходил слух, что дунганин увез ее в Карашаар. Еще слышали, что она умерла. Как бы то ни было, а старшие сестры для меня погибли.

17

Перевалили, наконец, Суу-Ашуу и попали словно в другой мир. По выходе из Коктерека мы почти не встречали ни казахских, ни киргизских юрт, ни поселков уйгуров. А эта сторона не такая. Всюду виднеются пашни, сады, поселения. Когда взошли на какой-то выступ, Элебес указал на темнеющую вдали полосу:

— Это Кульджа.

Но мы не попали в Кульджу. Город остался в стороне. Однажды на ночлег мы остановились на окраине уйгурского кишлака. Еще не успели разгрузиться, а я уже взял Беккула, Эшбая и направился к домам. На краю кишлака посоветовались, поделили улицы. Я начал с длинной улицы. Направился к большому двору.

Вышла большеглазая чернолицая женщина и остановилась у порога.

— Что нужно? — спросила она, хотя, конечно, понимала, зачем я стою у дверей. С самым жалким видом я протянул?

— Нет у меня матери и отца, сирота я! Прошу милостыню.

Она ушла и тотчас же вынесла кусок лепешки.

Протянула его издали, точно боясь прикоснуться ко мне. Взяв милостыню, отправился дальше. Женщина смотрела вслед испуганными глазами…

Из второго дома вышел ни с чем. Захлопнули калитку перед самым носом да еще обругали:

— Ты вор!

«Наверно, какой-нибудь бедняга, вроде меня, украл у них что-то и отбил охоту подавать», — подумал я. А тут еще откуда-то выскочила собака и залилась лаем. За ней прибежала другая, третья, четвертая — целая стая. Еле отбился.

Здесь, кажется, до нас бродило много нищих, так что подавали не очень охотно. Однако, когда вечером мы сошлись у костра, оказалось, что все трое принесли по нескольку кусков. Дома не ложились, ждали нас.

— Вот тебе и хлеб-соль, — обрадовалась Бурмаке, когда мы вошли. Увидя нашу добычу, она точно выросла до небес.

Собранным хлебом поужинала вся семья да еще отложили на завтра.

После того, как откочевали с этого места, прошли города Дардаматы, Асанакун, Джалгызсай и к вечеру достигли Кетмена.

Уже стояли теплые дни, поднимались травы.

Усталые, перекусили на скорую руку и легли спать. Ночь короткая. Сквозь сон я услышал чьи-то разговоры, плач. Проснулся. Кроме меня, все были на ногах. Младшие обсели очаг и ревели так, будто у них умер кормилец.

— О черный день! Если тебе так хотелось спать, что же ты не разбудила нас? — без конца спрашивал Элебес у Джанымджан.

— Хоть бы поближе к людям остановились! Как же теперь нам быть? Помрем в степи! — всхлипывала Бурмаке.

Вся брань, упреки падали на Джанымджан. Обычно она не выносила упреков, огрызалась, сама начинала ругаться. На этот раз покорно молчала. «Я виновата, убейте меня, вот я!» — говорил весь ее вид.

— Вставай, чего валяешься! — только всего и сказала она, когда увидела, что я еще лежу.

Оказывается, воры украли корову. Стерегла Джанымджан. Перед рассветом она зашла в шалаш дать ребенку грудь, прислонилась к колыбели и уснула. Мы остановились над впадиной куда мог свободно скрыться верблюд. Сделал шаг — и тебя уже не видно. Похоже, что воры притаились тут, как только Джанымджан вошла в шалаш, отвязали и увели корову.

Бейшемби ходил искать корову до Кетмена — почти, за тридцать верст, но так ни с чем и вернулся.

Вчера по дороге мы случайно встретили одного дальнего родственника. Хотели вместе идти до самого Иссык-Куля. Но Бейшемби вернулся ни с чем, и они не стали дожидаться, ушли. Остались мы одинокие, беспомощные…

Через два дня в Кетмене мы продали остатки имущества и тоже подались к родным местам…

…Однажды остановились в маленьком дунганском кыштаке. Стояла пора прополки опийного мака. Здесь мы несколько дней отдыхали, нашли работу. Но беда и тут нас подстерегала.

Около полудня вернулись с работы, сидели дома. Вдруг мой младший брат Бекдайыр, как сидел с чашкой в руках, так и свалился замертво, хотя ничем не болел.

— Ой, держите его! — закричал перепуганный Бейшемби.

Поздно! Бурмаке подозрительно глянула на Джанымджан. Я тоже ее заподозрил. Она была недовольна большой семьей, и от нее можно было всего ожидать…

Бекдайыра мы похоронили на окраине кыштака. Душа у всех очерствела, и никто даже не

пролил и слезинки!

18

Жарко! Идем к виднеющимся вдали, у черных гор, насаждениям. Это — Аксуу. Дорога поднимается в гору. Кругом камень, сушь. Еле волочим порезанные, избитые, в мозолях ноги. Бурмаке бредет с посохом в руке, сгорбившись, и, по обыкновению, бормочет:

— Неужели забудутся эти дни? Едва ли забудутся…

Пройдя немного, добавляет:

— А может быть… Человек ведь такой — сыт и все забыл в один день.

Всю дорогу не видим ни капли воды. В горле пересохло, кажется, вот-вот упадем. Наконец, достигли окраины какого-то поселения. Навстречу с ведром воды вышел джигит уйгур, словно он с самого утра следил за нами. Принес он и ковшик. Мы набросились на ведро.

— Много не пейте, заболеете, — предостерег нас джигит.

Но где там! Мы глотали воду до темноты в глазах, до одышки.

Напившись досыта, Бурмаке стала благодарить:

— Пусть тебя господь всю жизнь хранит от зла, сынок! Да поможет тебе благодарность бедных…

К закату солнца добрались до Аксуу.

Хотя мы и шли целый день по жаре и устали, пришлось мне с Беккулом идти просить милостыню. В городе мы разошлись. Я насобирал хлеба, заторопился к своим — ведь они сидели голодные. На условленном месте увидел Беккула. Он устроился над арыком и ел хлеб, макая в воду. Я разозлился:

— Сам ешь, а что принесешь домой?

— Да, вот немножко только откусил, — показал он ломоть смоченного хлеба и всхлипнул. Я замолчал, взял его за руку и повел к стоянке.

Продолжать путь не было сил, поэтому старшие, посоветовавшись, решили остановиться на несколько дней раздобыть на дорогу еды. На второй день Эшбай, побиравшийся в городе, прибежал веселый и выпалил:

— В одном доме на краю города мне сказали: «Если есть у тебя отец, брат, скажи, пусть придут. У нас найдется работа».

Так и оказалось, как он сказал: Бейшемби сходил, разведал и мы перекочевали на двор к дамбылде города Мамырмазину. Дом его с большими воротами стоял над кручей, на окраине

города. Возле дома — сад с десятину.

Нас поселили в версте от дома Мамырмазина, на огороде. Там стояла заброшенная мазанка. Вход без дверей. С солнечной стороны — маленькое, подслеповатое оконце. На полу валяются лепешки давно высохшего коровьего помета. Вокруг избушки — клевер.

Однажды утром Мамырмазин, возвращаясь из мечети, завернул к нам. Брови у него — ежиком, глаза сидят глубоко, борода клинышком, маленький темнокожий человек, лет под пятьдесят. Его черные, лукавые глаза беспокойны, как у пугливого коня. Вошел, оглядел ребятишек, которые копошились на полу, как ожившие после дождя муравьи.

— Мы слышали, что киргизов, возвращающихся на свою землю, русские убивают, — сказал он по-уйгурски. Видя, что никто его не понимает, добавил на ломаном казахском языке:

— Сейчас вам идти туда, детям будет плохо.

— Сейчас мы и сами не пойдем. Давно уже ходим, отощали. Поживем здесь и с помощью таких добрых людей, как вы, наберемся сил, потом уж пойдем. А пока не думаем уходить. Сначала нам надо разузнать, что делается на нашей земле, — ответил Бейшемби.

Мамырмазин оглядел меня с головы до ног, словно облюбовывал скотину на базаре, пощупал плечи, руки, сказал:

— Еще не дорос работать кетменем.

У Мамырмазина было три сына. Двое женаты, давно отделились. Младший сын Мукбул — еще холостой, жил с отцом. Средний — Бакырдин — полный, шея короткая, массивный, коренастый джигит. Когда ему нужно оглянуться, поворачивается всем телом, будто волк. Занимается он торговлей, много сеет опийного мака.

Вскоре Беккула, Эшбая и меня разлучили, как скот, при дележе. Беккула взял Мамырмазин, Эшбай достался его старшему сыну Шерпедену, я — Бакырдину.

Бакырдин повел меня на другую окраину города, которую называют Остен. Здесь человек десять дружно пололи мак. Хозяин подошел к рыжему джигиту, у которого не было помощника, подтолкнул меня и сказал:

— Вот тебе напарник.

Джигит осмотрел меня и, наконец, насмешливо произнес:

— Хорош, пойдем! Сам обучу. Подходи, — указал он чанджой на полосу.

Конечно, я скоро отстал от парня. Еще бы он

сытый, а я и не помню, когда по-человечески ел.

— Двигайся! — покрикивает он время от времени на меня, — хлеб будешь кушать!

Солнце ушло за полдень. Собрались обедать. Еда простая — испеченные в тандыре тоненькие лепешки. Все, кроме меня, получили по лепешке. Когда каждый съел свою долю, рыжий джигит доломал остальные лепешки и на самый верх положил большой кусок:

— Берите! — попросил он меня, как уважаемого гостя.

Взял. Не успел я раза два откусить, как зубы заскрипели — это была земля от тандыра. Не стоит обращать внимания — лепешка-то вкусная.

…На прополке мака я работал дней десять. К вечеру все собираются группами и шумно, с песнями, уходят в город. В шалаше остаемся вдвоем с малаем-уйгуром. На нашем попечении — три лошадки. Стережем их, пасем, вовремя поим.

Однажды после обеда все отдыхали. Я устроился позади шалаша, снял надетый на голое тело бешмет, развесил его на солнце. Кто-то мне крикнул:

— Эй, тебя зовет дядя.

Я вскочил, оделся, разыскал Бакырдина.

— Сходи, да побыстрее! — разрешил он.

Наши жили на том же огороде. Пришел я в

мазанку и неожиданно застал мертвую Бурмаке. Бейшемби взглянул на меня, словно говоря: «Видишь? Для этого мы тебя и позвали».

Я узнал — болела тетя около недели и вот сегодня лежит с лицом, покрытым белым. Бейшемби и Элебес сидят притихшие, мрачные. Тяжело вздыхает Джанымджан, в руках держат незаконченную пряжу Бурмаке. Рядом нахохлились Ашимкан, Джумабек. Беккула и Бечела почему-то нет. Вот и весь народ, собравшийся по случаю смерти. Нет никого, кто бы голосил и оплакивал покойницу. Тихо так, что чувствуешь себя словно в могиле. Нет родных, нет близких, знакомых. Во дворе у очага лежит охапка сухих ветвей из сада. Лежит и джаргалчак, что надоел мне до смерти, когда его нес из Коктерека. В яме у стенки валяется чья-то вконец изорванная галоша. В комнате под потолком прилепилось гнездо ласточки. В нем пищат оперившиеся птенцы. В отверстие, заменяющее дверь, залетает и вылетает мать, носит птенцам корм. Когда мы только что поселились тут, кто-то из ребят хотел разорить гнездо, но Бурмаке не дала:

— Не нужно, грех будет. Это тоже божья тварь, ей тоже хочется жить.

Я помог зарыть труп тети и опять ушел в Остен.

По дороге вспомнил, как Бурмаке говорила: «Ах, если бы нам дойти хотя бы до Куля, помереть там, ни о чем бы не жалела».

Но беда де ходит в одиночку — через два месяца от тифа умерли Токмолдо и Элебес. А потом пошло и пошло…

19

Приближается конец жатвы. Однажды Бакырдин мне заявил:

— Работы больше нет, можешь уходить.

Вышел я оттуда на закате, а когда в небе засветились звезды, добрался до дома Мамырмазина. Он собирался ужинать. Когда я вошел и немного посидел, жена его сказала:

— Иди к Бейшемби, они здесь.

Я сразу вышел. «Почему она меня так быстро отослала домой? Даже не покормила…» — мелькнуло в моей голове.

Оказывается, наши жили теперь возле конюшни, в телятнике. Сложили из камней очаг, с южной стороны пробили крохотное оконце, вот и жилье.

Я вошел. Бейшемби, прикрытый латаным, красным халатом, лежал в постели. Рядом сидели, всхлипывая, тетя и Джумабек. В доме только трое! Куда делась большая шумная семья, которая не помещалась и в громадной юрте? Вымерли по одному, по два, и вот остались эти трое. Кажется, что мы бродим по свету уже целую вечность. А когда наши мучения окончатся?

Раньше, когда я после долгой разлуки приходил домой, Бейшемби весело спрашивал: «Ну, как?» и вступал со мной в разговор, как со взрослым. На этот раз он не проронил ни слова. Спустя несколько минут он повернулся к нам с таким видом, словно хотел что-то сказать, но потом раздумал. Он глядел в темный угол, что-то время от времени бормотал, видимо, бредил.

— Что, дядя болен? — тихо спросил я у тети.

Тетя, ковыряя хворостиной землю, сидела понурая, будто и ей остались последние часы жизни, беззвучно лила слезы. Она скупо ответила:

— Да!

— С каких пор?

— Уже давно.

И, вздохнув, хрипло прошептала:

— Ох, ты доля!.. Неужели нам помирать здесь?!

Шел осенний дождь. Я нашел пустой сарайчик, улегся на полу. На рассвете донеслось одинокое печальное рыдание тети. Значит, умер и Бейшемби…

Я больше никогда не встречу их, но если не расскажу той правды, которую тогда видел, то буду считать себя в долгу перед ними…

Перенося многие лишения, нас сюда привел Бейшемби. «Чем ни за что погибать с кучей сирот,

лучше распродадим их по одному», — сколько раз твердил Элебес. Но Бейшемби не покинул нас, не сдался.

Мужество, которое проявляют в хорошие времена, — еще не мужество. Настоящую цену оно имеет только в минуту испытаний. Истинная отзывчивость познается только в черные дни.

…После смерти Бейшемби мы разбрелись кто куда. Родня тетки находилась в казахском роде Конурбарк. Она разыскала их и ушла к ним с сыном. Эшбай остался у Шерпедена. Беккул, Ашимкан и я — у Мамырмазина. Бечел скрылся, как только умер Элебес.

Однажды Мамырмазин подозвал меня, сказал!

— Ты завтра или послезавтра отправишься в Тогузбулак. Овцы в этом году будут зимовать там. Хорошо ухаживай за ними.

— А что это за место? — спросил я.

— Тогузбулак… удобное для скота место. Там находятся мой зять Армолдо, дочь моя. Ты будешь пасти наших овец вместе с овцами Армолдо. Голодать не будешь. Я ему передам. Слышишь?

На другой день был курман-айт, и меня на один день оставили. По закону уйгуров сегодня муллы будут обходить все дома, читать коран. Мамырмазин намотал на голову большую чалму, велел

мне взять куржун, и мы вышли из дома. Начали с конца улицы, вошли в первый дом. Когда оказались во дворе, женщина средних лет вскочила, поклонилась и учтиво сказала:

— А, моллаке, проходите!

Вошли в дом. Хозяин опустился на колени, зажмурил, как дремлющий кот, глаза и, поводя бровями, стал читать коран. Пока он читал, я украдкой поглядывал на сдобные лепешки на столе.

Закончив чтение, Мамырмазин протянул: «Биссмилла» и кончиками пальцев отщипнул кусочек лепешки. Я сделал то же самое.

— Омин аллоакбор! — поднес хозяин к лицу открытые ладони и сделал бата. Когда он начал вставать, женщина сунула в мой куржун две лепешки. Зашли во второй дом, в третий, четвертый — везде повторялось одно и то же: из каждого выносили не менее пары лепешек. Не успели обойти одну улицу, а куржун мой до отказа был набит лепешками.

— Отнеси домой, — приказал Мамырмазин.

Когда я отошел саженей на пять, добавил:

— Возвращайся быстрее.

«Были бы все такими щедрыми, когда я побирался, пожалуй, никто бы у нас не умер», —

подумал я по дороге. Отнес лепешки, вернулся. Мамырмазин ждал меня на том же месте, не зашел ни в один дом.

— В этот день нельзя пропустить ни одного дома. Это богом дано, — наставительно пояснил он.

Мы ходили с кораном без отдыха с утра до заката. Я отнес домой четыре полных куржуна.

Рано утром следующего дня меня поднял сам хозяин.

— Отправляйся! Овец Армолдо уже погнали.

— Он же голодный, — вступилась его жена.

— Ладно, дай кусок хлеба, съест по дороге.

Я вышел на улицу, догнал овец Армолдо около сая. Пастух мне знаком, зовут его Джаматом. Рыжий джигит, с губ вечно не сходят болячки, шея тоненькая. Ему около 20 лет. Я слил свою отару с его овцами, направился к нему.

— Пришел? — улыбнулся он.

Мне радостно, неизвестно от чего.

— Когда дойдем до Тогузбулака?

— Если не будем останавливаться, к закату дойдем.

Через некоторое время он добавил:

— Теперь нам дружить всю зиму.

20

Уже около месяца, как мы в Тогузбулаке. Несмотря на зимние холода, скот держится в теле. Корма есть. Кусты чия — толщиной в обхват, а вершиной — вровень с всадником. Иней, нависший на стеблях тростника, осыпается на спины овец. Зайцев здесь тьма. В первые дни овцы пугались их, теперь привыкли. Выскочит заяц — овца вздрогнет и опять продолжает пастись.

Товарищ, мой, как всегда, старается подбить выбежавшего зайца.

— Айт! — бросает он палку, но тут же добавляет: «Ах!» — Значит промахнулся.

Есть у нас и собака, однако непутевая. Погонится за зайцем, потеряет, бросится за вторым, но и этого упустит, кинется за третьим. Так и бегает без толку.

Однажды мы решили поохотиться всерьез. Зайцы обычно бегают по протоптанным тропам. Джамат выбрал такую дорогу и притаился за кустом чия, а меня послал пугать зайцев. Я отошел и не успел крикнуть: — Айт, айт! — как побежали четыре зайца. Джамат поднялся им навстречу и кинул палку. Один перевернулся, но быстро

оправился от удара и ускакал. В другой раз побежали мимо семь-восемь зайцев. Один свалился, как подкошенный. Видать, палка угодила метко.

— Сбил! — закричал Джамат.

Мы освежевали зайца, подожгли большой куст чия, зажарили тушку и досыта наелись.

Армолдо жил поодаль, в мазанке. Возле стояла юрта. Здесь хранилось мясо, заготовленное на зиму. Тут же спали и мы. Армолдо, забив жирную кобылу, давно уехал в Кульджу. Дома осталась жена с грудным ребенком. Ей самое большее — 25 лет. Она полная, низкого роста, глаза черные-пречерные, лицо смуглое. На слова скупая, лишнего не скажет. На дворе не показывается, с утра до вечера сидит у люльки. Хотя она целый день дома, очаг растапливаем и чай кипятим мы. Приходим вечером промерзшие, голодные, но хозяйка сначала сама спокойно, не торопясь поест, а потом уже зовет нас. А что дает нам? Сварит мясо — оставит пустой отвар. Это бы еще ничего, можно терпеть, хуже другое. Черный, из несеянной муки хлеб — нашу основную еду — она ленилась печь. Напечет побольше и держит недели две — хлеб покрывается плесенью. Делать нечего, приходится есть и заплесневелый хлеб. Джамат однажды, выходя из избушки, пробурчал

себе под нос:

— «Сытый голодного не разумеет», — помучилась бы один день, как мы, что бы тогда запела? Чтоб тебя бог наказал!

Как-то раз утром подала обычный наш завтрак — краюшку хлеба. Смотрим — снаружи он весь в зеленых хлопьях, а в середине тянется что-то мягкое, вроде белых ниток. Невозможно есть. Мы накрошили полные чашки, залили чаем и дали собаке. Она понюхала и пошла прочь. Джамат рассвирепел, открыл дверь землянки и кинул чашку хозяйке. Так, голодные, мы и ушли.

Эта дочь Мамырмазина из скряг скряга. О ней и мать ее говорила: «Эта дочь у меня скупая».

Близко к полудню я подогнал овец, подошел к Джамату.

— Что ты сделал утром! — укорил я его.

Он облизнул губы в болячках.

— Пусть она подохнет! Ей что собака, что мы.

— Разве она поймет нас? Чем бросать чашку, лучше сказать ей в глаза, что она делает!

— Поймет!

Мы уселись. Я завел рассказ о том, что ходил в малаях у одного русского и питался вдоволь. Рассказал о разных кушаньях, которые готовили у хозяина. Джамат слушал меня внимательно,

изредка сплевывал набегавшие слюни. Больше всего ему, кажется, понравились сдобные лепешки, испеченные на масле, с медом.

— Подожди-ка! — вдруг толкнул он меня, — волк воет.

Прислушались. В безлюдной степи печально выла стая волков. Быстро, с двух сторон, обошли стадо. Ничего не видно.

Скучно в степи. Степь широкая, без конца. Каждый день видишь одно и то же: кусты чия, полыни, овец, облака. Тягостно на душе, словно в тюрьме томишься. Тихо, как будто запечатали уши. Гляжу на далекие холмы в вечерних лучах, думаю. Может быть, если уйду, встречу что-то новое? Так хочется, чтобы однообразная тишина рухнула, так хочется встретиться с новым миром! Иногда мечтаю: вот кто-то вырывает меня из этой серой, скучной жизни, из пучины страданий, приносит свободу. Когда встречаюсь с Джаматом, без конца повторяю одно и то же:

— Хотя бы эти дни прошли быстрее! Скоро ли мы увидим весну!

Но Джамат меня не понимает. Однажды я заговорил снова о том же.

— Ну и дурак же ты, — сказал Джамат, — хочешь, чтобы жизнь прошла быстрее!

— Конечно, пусть идет быстрее! А что интересного в такой жизни?!

Джамат ничего не ответил.

Очень мучает голод: пища плохая, дают мало. Однажды мы решились: начали в юрте жарить хозяйское мясо. Три шеста стояли рядом, увешанные мясом. Вяленые казы, карта застыли, как лед. Джамат вытащил из-за голенища нож и, постукивая концом по мясу, посмотрел на меня.

— Ах, собака паршивая, за всю зиму хотя бы кусочек дала.

Дым от сгоревшего жира наполнил юрту. Джамат, поджаривая мясо, злобно ворчал:

— Жадная тварь! Не даешь, так мы сами возьмем. Даже с отвара сливаешь жир. А мы по морозу ходим за тысячами овец. Ты же лежишь в тепле и довольстве…

Мы начали без стеснения жарить мясо каждую ночь. Но хозяйка, видимо, учуяла запах жира. В темноте она подобралась к юрте и увидела в щелку, чем мы занимаемся.

— Что же вы делаете? — зашумела она.

Мы промолчали, только переглянулись. Хозяйка вошла, поглядела на мясо на шестах, на огонь, приказала больше так не делать и вышла. Но жарить мясо мы продолжали, только потихоньку,

не такими кусками.

Невдалеке жила семья казахов — вдовая женщина с сыном двенадцати лет. На двоих у них: бычок, три овцы. Мы с Джаматом в свободное время по вечерам заходили к ним. Женщина она приветливая, добрая. Встречала нас как родных. У нас тоже теплело на душе. Иногда за разговором даже не замечали, как проходит ночь. От нее мы возвращались как с праздника, повеселевшие, будто скинули с себя тяжелую ношу.

Однажды мы засиделись до полуночи. Зашел еще пастух какого-то бая. Всего собралось нас человек шесть. Я сижу, опершись на мешок кизяков у входа. Огонь в очаге затух, жар постепенно покрывается пеплом. Беседа то вспыхивает, то, подобно огню в очаге, опадает. Заговорили о нашей хозяйке.

— Боже мой, как же она переваривает пищу! Сидит без движения! — удивляется вдова, поглядывая то на меня, то на Джамата.

— Да, она не вылазит из дома.

— Людей чуждается, глядит на всех искоса. Вот уже шестой месяц живем соседями, а еще не заходили друг к другу. Что она за человек? Наверное, вам и есть-то толком не дает?

Я промолчал, только махнул рукой. Разговор о

хозяйке затих. Перешли к песням. Решили петь поочередно. Первым начал сынишка вдовы. Песню его мы уже слышали не раз.

Очередь дошла до меня.

— Я не знаю песен, — начал отговариваться я.

— Знаешь, пой! — пристали все.

Вместе с ними упрашивает и Джамат:

— Валяй по-киргизски, не бойся!

Прижали, куда денешься? Запел.

Глаза мои помутились,
Придет ли день, когда настанет счастье?
Кому скажу, кто будет слушать
Мою печаль?
Остались мы по саям,
Разбрелись по свету.
Когда нам некуда деваться,
От кого же будет помощь?!

— Да, из тебя толк будет! — сказал кто-то, когда я кончил петь.

О песнях забыли, начали обсуждать мое положение.

— А кто у тебя тут есть? — поинтересовалась вдова.

Рассказал о себе. Слушали внимательно.

— А родина твоя где?

— От Каркара на запад день пути, Иссык-Куль называется…

— Сколько же дней отсюда? — спросил байский пастух.

— Не знаю.

— Отсюда до Каркара три дня пути, выходит, всего четыре дня, — подсчитал Джамат.

— Значит, нет у тебя здесь родственников? Да, теперь тебе, бедному, не попасть на родную землю!

— Посмотрим…

— Лишь бы был жив-здоров! А там подрастешь, бросишь хозяина и подашься домой, — утешает меня вдова.

Если послушать, то нет здесь человека несчастнее меня. Будто все они счастливцы, богачи, только я один бедняга…

Наконец, все поднялись, вышли… Глянули на звезды: уже далеко за полночь…

Весной хозяин велел отделить своих овец и идти в горы. Перед тем, как уходить с отарой, я до утра не сомкнул глаз, ворочался с баку на бок. Спать не давало радостное волнение. Мне казалось — придет утро и принесет что-то хоро-

шее, необычное… С сожалением поглядывал на Джамата, который лежал рядом. Он, укрывшись шубенкой, спал беззаботно. Мне он показался несчастным, остающимся в плену. «Эх, бедный!» — подумал я о нем…

Под утро я заснул. Проснулся, огляделся — все то же: степь, овцы, драная юрта…

— Ну, прощай! Всю зиму ели из одной чашки, — сказал Джамат. Жаль было расставаться, мы долго грустно глядели друг на друга…

21

На следующий год Мамырмазин оставил овец зимовать у себя. Я должен каждый день выгонять их в горы.

И опять судьба принесла мне горе. Дело в том, что у Мамырмазина коз больше, чем овец. И вот осенью на них напала какая-то болезнь — стали дохнуть одна за другой. И как будто нарочно — все в моем стаде. Я и хозяина опасаюсь, да и животных жалко. Увижу, что коза перестала пастись, стоит, понурив голову, — сердце так и обрывается. Хозяева смотрят на меня недобро, словно это я принес несчастье. Мамырмазин каждый день в своем саду срезает мне новую палку, чтобы отвести беду. Всякий раз, когда рано поутру выгоняю коз, он провожает меня угрюмым, подозрительным взглядом. Пока не скроюсь за воротами, пять саженей до которых кажутся верстами, чувствую себя словно на горящих углях.

Однажды в поле заболела любимая коза хозяина. Утром заметил — стоит в стороне, не пасется, глаза помутнели. Сердце у меня сжалось — попадет мне за нее. Из всех коз хозяин больше всего любил эту — с белой звездочкой на лбу.

— Большинство коз от нее, удачливая она у нас, — часто говорила хозяйка.

И вот тебе на! Что делать? Чтобы она ела, перегоняю ее с одного места на другое. Не помогает! Опустит к траве голову, неохотно понюхает и опять стоит неподвижно, словно дремлет.

Когда вечером пригнал стадо, Мамырмазин стоял во дворе. Он пропустил мимо себя коз и тревожно спросил:

— Сегодня все целы?

Я не сразу ответил, прошелся, затем резким ударом палки сбил снег с обуви.

— Захворала коза со звездочкой, — ответил я виновато.

Мамырмазин ушел в дом и заговорил с женой.

Хозяйке около сорока лет. Лоб, кожа вокруг глаз, щеки — в густых морщинах. На язык она злая. Вот и сейчас послышался ее высокий голос:

— Этот нечестивец оказался неудачливым!

— Ладно, позови, пусть пожрет.

— Кого?

— Мукана.

Они всем нам дали свои клички. Эшбая назвали Эшан, Беккула — Беки, меня — Мукан, Ашымкана — Ашы.

Вошел, сел у порога возле желтого таза. Это мое

постоянное место. Мамырмазин, жена его, две дочери, сын сидели вокруг низенького столика, высотою в четверть аршина, Беккула и Ашымкана не видно. От того, что вошел с холода и взял в руки чашку с горячей лапшой, по телу приятно полилось тепло. Когда лапшу ополовинил, по щекам побежал пот. То и дело утираюсь полой шубы. Продолжая кушать, Мамырмазин с женой исподлобья глядит на меня. Сижу перед ними, точно привязанная овца перед волком.

— Что же это такое, каждый день одна приходит, хворая?

— Откуда мне знать? Напасть какая-то…

— Скоро передохнет все стадо. Что в тебе такое недоброе? — выпытывает хозяйка.

— Ничего во мне нет.

О чем-то пошептались между собой.

— Ты с кем-нибудь пас вместе? Скажи! — опять обращается ко мне Мамырмазин.

В это время в загоне закричала коза. Я бросил чашку, выбежал во двор. Так и есть — коза со звездочкой на лбу. Когда я подбежал, она еще раз закричала и раза два дрыгнула ногами. За мной явился Мамырмазин.

— Что случилось? — выпучил он глаза. Вместо ответа я указал на издохшую козу.

В дом я не вернулся. Управился с козой и пошел в избушку, где умер Бейшемби, в темноте завалился спать.

На другой день Мамырмазин повел меня в сад и вырезал абрикосовую палку. Палка сучковатая, точно посох нищего.

— Вот, на тебе, стервец, возьми, скажи «бысмылла!» Кроме этой, не бери другой палки.

Я взял палку, сказал «бысмылла» и погнал овец.

Когда я перевалил хребет, невдалеке кто-то громким голосом затянул песню, да так, что по саю покатилось эхо. А, конечно, это Джоломан — пастух бая Элакуна, казах. Он и старше и здоровее меня, видал виды. Но он не считает меня за мальца, держится со мной как с ровесником. Встретимся — разговариваем, как старые знакомые, ничего не таим друг от друга. Иногда то он, то я рассказываем сказки. Его историям нет конца, как нет конца в источнике. А главное — голос. Скажу правду, с тех пор второго такого голоса не слышал. Он не любил петь, как другие, о несбывшемся, горестно, тоскливо. Напротив — бодрил, рассеивал унынье, пел вольно, широко. Его песню узнаешь издалека. Пустит своих овец по склону в кустарники, взберется куда-нибудь

повыше, упрется грудью о посох и как затянет приятным баритоном, кажется, что все вокруг радуется, слушая его. На душе становится легко, словно кончились горе, тоска… Я волновался, мечтал. О чем? И сам не знаю.

Однажды наши овцы смешались. Я забежал вперед, хотел их разделить.

— Пусть идут, вечером разберемся, — сказал он.

Овец пустили в гору, а сами остались внизу. Опираясь на палки, заговорили.

— Как живется у хозяина? Кормит хорошо? — спросил Джоломан.

— Неважно. Сыт или голоден — одна чашка лапши. А с тех пор, как начали дохнуть козы, совсем худо. А твой?

— Кормят сытно. Еды хватает.

— Тогда хорошо.

— Ты говорил, что у Мамырмазина живут и твои братья? Как они?

— Вижу их редко. Вечером прихожу, ложусь спать. Утром ухожу чуть свет.

Джоломан несколько мгновений стоял задумавшись.

— Да, тебе приходится и за них страдать.

— Конечно, маленьким труднее.

— Ничего не поделаешь, надо терпеть. Говорят, что скоро будет лучше.

Невдалеке от нас пас овец еще один пастух — Акмет — рыжеватый, низкорослый дяденька лет под сорок, с жиденькой бородкой, глаза у него всегда весело моргают, словно он только что нашел ценную вещь и радуется. В Аксуу почти нет уйгуров, у которых он не батрачил бы. Мы относились к нему как к много видевшему старику. В каких местах овцы пасутся спокойно, когда прояснится погода, когда будет буран, в какое время линяет волк — все он знал. Руки у него ловкие на всякую работу. В кармане черной безрукавки у него нитки. Снимет кементай и показывает:

— Вот, сам залатал. Что поделаешь, если нет близких.

Починял он не хуже женщины, аккуратно.

Однажды я стоял с Джоломаном. Как всегда, улыбаясь, подошел Акмет. Он прищурил глаза, взглянул на восток.

— Неужели сегодня будет бурая, а?

Мы уселись возле большого камня. Начал подувать ветерок, пронизывая нашу худую одежонку. Я поежился.

— Если поедим хлеба, может быть, согреемся, — сказал Акмет.

Расстелили полотенце Акмета, вытащили из-за пояса свои лепешки, поломали на куски… Лепешки наши ненамного разнятся. Лепешка Акмета потоньше, у Джоломана — потолще. Но чтобы там ни было, все пошло в круг, по-братски.

К вечеру метель разгулялась. Мы с Джоломаном разделили овец и погнали вниз. Акмет пошел в свою сторону.

Закутав лица, начали пробиваться сквозь буран.

Случайно я оглянулся. Вижу — на хребет выскочили три волка и бросились к отаре Джоломана. Я закричал своим пискливым, слабым голосом, один зверь повернул назад. Джоломан не видел: закутал все лицо, шапку надвинул на глаза. Идет и смотрит в землю.

Тем временем два оставшихся волка отбили от стада по овце и погнали в сай. Только теперь увидел их Джоломан и с криком бросился за ними. Но волки бежали, не торопясь, хватая овец за курдюки. Видно, пастух не очень их пугает. Только когда Джоломан сбежал в сай и приблизился к ним, волки подались на другой склон, не спеша, оглядываясь. Джоломан подошел к овцам. У одной от курдюка осталось меньше половины, другая тоже искусана.

Утром Джоломан был мрачен, не пел, как всегда, и не разговаривал. Видно, вчера хозяин его побил: лицо в синяках, шея в одном месте ободрана.

Заговорил со мной лишь к вечеру:

— Почему не закричал, когда увидел волков?

— Кричал. Ты же надвинул шапку и не слышал. Волков было сначала три, а когда я закричал, один повернул назад.

В тот же день в моем стаде оказалась посторонняя овца. Овца не Джоломана, метка не та.

— Иди, приведи, бог простит, — сказал Мамырмазин, точа большой нож. Я пошел за овцой. Вот тебе и святой человек, вот тебе и мулла!

22

Пришла весна. Меня определили работать в поле, а овец отдали Ыйманкулу — казаху, такому же горемыке, как и я.

Пора пахоты. У здешних людей — даже у баев — редко встретишь плуг, больше — сохи. Выйдешь в поле — то там, то здесь бредут пары быков или лошадей.

Вот такую упряжку и я вожу. Соху держит сын Мамырмазина — Мукбул, а я веду лошадей. Пашем уже долго, начинаем на рассвете и ходим до звезд, но вспахиваем чуть-чуть. Проклятая соха берет землю на палец, не больше, кажется, с утра до вечера вертишься на одном месте. Лошадь, повод которой держу в руке, дергает головой, я падаю от неожиданности.

— Тяни! — раздается злой окрик.

Даже ночью, во сне, мне кажется, что кто-то кричит «тяни» и без конца ругает. Вот Мукбул бросает большой кусок дерна. Я падаю… Мукбул ругает меня на чем свет стоит, таращит глаза и, сжав кулаки, идет ко мне. В испуге просыпаюсь — нет ничего… Снова засыпаю. И опять снятся окрик «тяни», злая брань Мукбула, его бешеный

гнев.

К концу дня не могу поднять руки, шевельнуть плечами. К тому же простудился, нос заложило, голова болит, в глазах мутно, тянет прилечь. Где уж там лечь! Нос утереть некогда: с утра до вечера руки заняты поводьями двух лошадей.

Мукбул сегодня вечером уехал за семенами. В безлюдной степи остались я да лошади. Наступила ночь, замигали звезды. Я бросил лошадям сена и съежился возле сохи, накрывшись мешком, в котором лошадям даем зерно. Вдали светятся огоньки городка. Где-то далеко квакают лягушки. Мне не спится. В темноте мерещится, будто воют волки и не видимые для глаз черные люди вокруг о чем-то тайно шепчутся. Ночь тихая, словно она к чему-то прислушивается… Стало так тоскливо, одиноко… Я заплакал…

Пахали, кажется, больше месяца. Потом наступила пора чистить арыки, поливать. Земля здесь глинистая, и люди поливают посевы не меньше трех раз.

Попадал я домой редко.

Всякий раз, как прихожу с поля, вижу одно и то же: сестренка Ашимкан сиротливо сидит во дворе, из ее черненьких, как смородина, глаз, льются слезы. Не слыша ни от кого доброго слова,

она ждет меня, как ягненок-сирота, жалуется на свои обиды. Бедненькая, что же она льет передо мной слезы, чем я могу ей помочь?

Однажды хозяин зачем-то послал меня домой. Пришел, вижу — Ашимкан сидит на кирпичах у дверей грустная, глядит на горы, тихо плачет.

Я подошел к ней, спросил:

— Что с тобой?

Она нагнулась и худенькими, трясущимися ручонками утерла слезы, сказала:

— Равкан побил.

— А за что он тебя бьет?

— Так, ни за что…

— Часто бьет?

Она снова утерла слезы.

— Каждый день бьет. Мать, Равкан — все бьют. И кушать не дают. — Затряслась она всем телом. У меня закипело сердце, сам был готов заплакать, но сдержался. Чтобы отвлечь сестренку, спросил:

— А где Беккул?

— Пасет коров.

Я утер ей слезы, погладил по головке.

— Не надо больше так, не плачь, маленькая, — сказал я и, отвернувшись, пошел прочь. Что я мог сделать…

Когда я ночевал дома, мы ложились вдвоем с

Ыйманкулом возле овечьего загона. Несмотря на то, что приходили усталые — он с пастбища, а я с поля, мы обычно долго разговаривали перед сном. Иногда даже не замечали, как проходила короткая летняя ночь. Мы поверяли друг другу все, чего не решались сказать другим, ничего не таили. Но и это нам запрещали.

— Не бубните всю ночь, это нехорошая привычка! — рассердилась однажды хозяйка.

На другую ночь, когда мы опять увлеклись разговорами, хозяйка, набросив на себя чапан, вышла из дому, подошла к нам. Она остановилась у нашего изголовья.

— О чем это вы все толкуете? Скажите!

— Мы лежим, спим… — ответил я.

— Лежите и не разговаривайте! — прикрикнула она.

Узнав, что мы не унимаемся, хозяйка приказала:

— Пусть один ложится во дворе!

Раньше она на нас не обращала внимания… Но в последнее время все они, начиная с Мамырмазина, потеряли покой, будто чего-то опасаются.

Несколько дней назад пополз слух, что скоро явятся какие-то большевики.

Новости мы узнавали от Мамырмазина да от

ишанов, мулл, суфиев, которые заходили к нам. О чем же они говорили?

— Говорят, что большевики придут. Они люди плохие, нечестивцы, безжалостные, на пути расстреливают, вешают всех встречных.

— Кто попадается в руки русских казаков, тех будто отпускают, а кто попадается в руки большевиков, тех мучают, режут на куски.

— Говорят, что есть меньшевики. Победят они — тогда-то установится справедливость. Но, видно, нечестивцам-большевикам нету числа!

Однажды за обедом в кругу семьи Мамырмазин говорил так:

— Похоже на то, что большевики уже подошли близко. Идет молва о том, что они грабят встречные города, уничтожают малых и взрослых. Говорят, что они в одном городе перебили всех русских казаков. Вероятно, их много. Завтра — послезавтра они вступают и в Джаркент. Если они туда придут, то и до нас недалеко — за одну ночь будут здесь. Люди уходят в Китай. Мукбул, как нам быть?

— Я-а-а алла! Вот какие они мерзавцы, скажи! А эти пакостники не натворят нам беды? — поглядела хозяйка на меня.

Часть баев решила бежать в Кульджу с домаш-

ним скарбом, со скотом. Некоторые сманивали с собой бедняков. Но наш Мамырмазин почему-то не двигался. Видно, не особенно верил в рассказы о зверствах большевиков, хотя и сам их распространял.

Мы с Ыйманкулом договорились бежать от Мамырмазина. Этот план придумал я. Ыйманкул не стал упираться, согласился. Только лишь сказал:

— Уйти-то мы уйдем, но как бы нам вдруг не остаться без крова.

— Не останемся, найдем работу. Будем всюду вместе. Ты же сам видишь, ну, как можно терпеть такую жизнь? Неужели нам тут и помирать?

— А как с братишками? — спросил Ыйманкул.

— Не могу же я их взять, прежде чем сам где-нибудь не устроюсь? Пока живу у Мамырмазина, кто же согласится их принять?

— Верно, с нами им идти нельзя.

…Было около полуночи. Я разбудил Ыйманкула, шепнул ему на ухо:

— Вставай, уже рассвело!

Он закряхтел, повернулся в мою сторону с таким видом, словно хотел сказать: «Как бы не напросили на свою голову беды».

— Вставай, ты же знаешь, если останемся до завтра, погибнем. Надо уйти сегодня, — упраши-

вал я товарища.

Мы бесшумно поднялись, стали одеваться. В загоне тихо дремали овцы, будто погруженные в тяжелую думу, Когда мы вышли, черный кобель хотел залаять, но опустил голову: «А, это вы? А я думал, кто-нибудь чужой».

Вышли за город, направились прямо на запад по бездорожной степи. Кое-где попадались крестьяне, поливающие посевы. Над землей стояла темнота, в небе мигали звезды, словно говорили: «А мы вас видим...»

23

Шли всю ночь, лишь когда высоко поднялось солнце, добрались до Киргизсая — поселения русских казаков.

В Киргизсае — дворов пятьсот. Киргизы здесь никогда не жили, и не понятно, почему его назвали Киргизсаем? Станица расположена у подножия гор. На западной стороне поблескивают кресты церквей. На окраинах, словно змеи, извиваются две речки. Живут, видно, здесь богато, можно будет прокормиться. Но мы не решились войти в станицу сразу. Сели на ближнюю горку и долго размышляли, глядя на раскинувшуюся перед нами жизнь. Идти к русским было боязно. «Только недавно поссорились с ними так, чтобы больше не встречаться, — думал я. — С каким лицом сегодня пойдем к ним искать кусок хлеба? Явимся, а какой-нибудь верзила-казак вспомнит старое, возьмет да и прикончит нас, скажет: «Киргизы». Хорошо, если просто убьет, а то начнет, как говорили, мучать, резать на куски… Убьет да и оттащит в какую-нибудь яму. Выклюют нам глаза вороны, сгнием за один день. А может быть, так не поступят? Что мы такого

сделали, чтобы над нами так издевались? Мы тогда были маленькими. От нас ничего не зависело. Если что и сделали, так это взрослые. Но и они-то выступали не против всех русских, а против царя, против купцов. Что же нам делать? Идти дальше — близко другого поселения нет, придется помирать. Нет, войдем! Погибнем, так вместе! Если и умрем, белый свет не померкнет. Ведь погибали же люди в шестнадцатом году. Что мы, лучше их? Посмотрим, что будет…»

Посидели мы, подумали так и пошли вниз. Вечерело. Сначала шли бодро, быстро, но, когда очутились на улице станицы, почувствовали себя неважно. Все кажутся грозными. По улицам проходят усатые русские казаки. Брюки по швам обшиты голубым сукном. Пройдет мимо человек и будто огнем тебя обожжет. Кажется, сейчас набросится на нас и полоснет саблей, потом на его зов сбегутся другие и с криком начнут бить камнями. Мерещилось нам такое на каждом шагу, но проходила минута за минутой, а нас никто не трогал. Прошли одну большую улицу до конца, ни к кому не заворачивая. Лишь на второй улице вошли в чей-то двор. Появился хозяин с непокрытой головой и, не подпуская нас к дверям, хмуро сказал:

— Нет хлеба, айда!

У него тоже брюки по швам голубые. Большая борода, приземистый, толстый, значит — казак. Когда мы собрались уходить, я сказал:

— Просим работы.

— Работы! Какую вам работу? — усмехаясь, спросил казак. — Что вы можете делать?

— Что можем?.. — смутились мы, не находя слов.

Казак сплюнул и махнул рукой:

— Айда, нет работы!

Наступил вечер. Мы вышли на окраину и заночевали в поле. Другой день опять не принес нам удачи, лишь немного перекусили у одного бедняка. Потеряв надежду на работу, пошли побираться. В этом деле я опытнее Ыйманкула, но и у меня ничего не выходило. Когда выпросишь кусок, а когда и нет. Так прошло три-четыре дня. Встретили мы одного джигита-казаха. Он эти места знал лучше нас. Мы рассказали о себе и попросили у него совета, как прокормиться.

— Если с гор принесете русским ревень, то они дадут хлеба, — сказал он.

— А где находится ревень?

Парень указал палкой на горы, покрытые елями.

— Вон, на той высотке растет.

— Долго туда идти?

— Если сейчас пойдете, к вечеру будете там.

Мы с Ыйманкулом, голодные до того, что болел живот, тронулись к высоким горам.

Но мы не дошли до нужной горы, наступила ночь. Ревень решили собирать на другой день. Нарвали купыря, набили животы, легли спать.

Ночь темная. Холодок, который идет от бурной горной реки, заставляет нас дрожать. Подобрав колени, стараемся прижаться друг к другу поплотнее. Кругом тишина. На западе мерцает огонек, время от времени лает собака, должно быть, чабаны ночуют. Из далекого чернеющего леса доносится крик какой-то птицы. Река в сае шумит, поет о чьей-то тоске, плачет…

Я долго не мог заснуть, все думал о своем будущем.

Ыйманкул давно уже храпел.

На рассвете я разбудил его.

Отошли немного от места ночлега и напали на густой ревень. Солнце всходило из-за гор. Роса еще не высохла, и мы вымокли. Но это неважно — главное, ревеня много и, значит, мы будем с хлебом.

К полудню с охапками ревеня спустились с гор.

В Киргизсае пошли по улицам. Казачки из наших несчастных рук берут ревень сколько надо, на выбор. Собранного не хватило и до конца одной улицы. Остались только два пучка поломанных корней. За пазухами у нас куски хлеба, лепешки — на сегодня хватит. Солнце перевалило за полдень, мы вышли к церкви, уселись под арыком, принялись есть, размачивая в воде хлеб…

Прошло несколько дней, и нашлась работа у одного кашгарца. За городом он имел маковое поле. Шла вторая прополка. Каждый день мы уходили рано и приходили в сумерки. Но были рады, что не без дела бродим, что нас кормят.

Только счастье скоро кончилось: дня через три-четыре весь мак пропололи, и мы остались на улице. Принялись за прежнее ремесло.

Однажды мы с Ыйманкулом разошлись и встретились на другой день. Видно, Ыйманкул в это время ничего не ел: щеки и глаза ввалились, губы потрескались, как у пастуха, который ходил по ветру целый день. Подошли к мосту, перевесились через перила, загляделись на воду.

— Что теперь делать? — вдруг захныкал Ыйманкул.

— Что с тобой?

— И работы нет у нас, и ночевать негде, — про-

тянул он плаксиво и утер рукавом слезы.

— Работа найдется. Среди людей не помрем. Успокойся, не плачь. Вот чудак! Надо кое-что и пережить, без этого человеком не будешь. А как же мы терпели у Мамырмазина? — сказал я, как взрослый, успокаивающий ребенка.

— Там хоть было где переночевать…

Ыйманкул опять начал заскорузлыми руками растирать по щекам слезы.

— Успокойся! Перестань плакать. Нужно иметь мужество, — прикрикнул я.

Вскоре я нашел киргиза, который пас скот. Родом саяк. Имя Шадыкан. В год побега дошел до Кульджи и вернулся обратно. Я не думал, что здесь найдется киргиз. Само слово «киргиз» стал уже забывать.

О нем я услышал от одного джигита, казаха. Он мне встретился на улице и сказал:

— Тут один пастух спрашивал о тебе: «Я слышал, что по городу бродит мальчик, киргиз. Если увидите, передайте ему обо мне».

— А где он живет? — спросил я обрадованно.

— Выйдешь на край, там будут две юрты. Одна его.

На другой день я разыскал киргиза.

Шадыкан — низенький, худощавый, рыжий

человек. Борода у него что на щеках, что на подбородке одинаковой длины. Ему не больше сорока лет. На нем красный чапан с протертыми локтями. Говорит вдумчиво, не спеша. В юрте еще сидела смуглая круглолицая женщина, зашивала тряпочкой порванное сито. Пучеглазая, брови черные, густые. Видно — жена Шадыкана. Кроме нее, тут же еще одна женщина помоложе. Длинная, как червяк, смуглая, еле разговаривает, вяло двигается, тщедушная. Оказалась женой брата Шадыкана.

Всего в семье четыре души. Обе пары — бездетные. Младший брат Шадыкана пас коров. Увидел я его вечером. Белолицый, большеглазый джигит. Звали его Джапаркулом. Вошел в юрту, глянул на меня недружелюбно, спросил:

— А это кто такой?

— В поле нашли, — пошутила жена Шадыкана. — Киргиз.

— Киргиз, говорите? Чудно, киргиз стал казаться странным, — глянул он на меня подозрительно.

Перед тем, как садиться за еду, Шадыкан рассказал о моих будущих обязанностях.

— Мы пасем коров этой станицы. Телята тоже нам поручены. Осенью за каждую голову кое-что

получаем. Хорошо, что ты подвернулся. Мы и сами подыскивали такого паренька, как ты. А эти тетеньки не могут пасти, запускают на посевы. Ты теперь паси хорошенько. А они пусть занимаются домашними делами. В той юрте тоже есть паренек. Будете пасти вдвоем, понял?

24

— Вставай, милок, иди за телятами, — разбудила меня осторожными толчками жена Шадыкана. Солнце только что показалось из-за гор. Я поднялся, вышел из юрты. Все окружающее еще дремало. На небе ни облачка. Воздух чистый. Хочется лежать и лежать, подставив лицо свежему ветру. Но нет, надо зарабатывать хлеб.

Познакомился со своим будущим товарищем. Он — сухопарый мальчик с черными глазами и прямым носом. Ростом пониже меня. Одет в старую шубу, на ногах — чокои.

— Как тебя зовут? — спросил я…

— Ыракымбай.

Хоть и он — сынок бедняка, но, видно, мало бывал в тисках жизни, еще не окреп. У него есть и отец, и мать, и старший брат, и сестра. Конечно, в такой семье жить легче, не то, что мне — сироте.

Стадо собирали на краю города, у моста. Нас, пастухов, четверо: двое пасут коров, двое — телят. Женщины в пестрых одеждах по двое, по трое гонят скот, сдают нам. Вот подошел бурый бык с мускулистой, крутой шеей, глухо замычал, взрывая землю.

Солнце уже поднялось. Джапаркул махнул рукой, скомандовал:

— Ну, погнали!

Телят мы придержали, пока взрослые угнали коров. Молодняка набралось много — самое малое голов пятьсот. Погнали их в гору, мимо сада. Его все называли «Сад Ивана». Каких только там не было деревьев и кустов! Я таких ягод и плодов не только никогда не видел, — даже не слышал о них.

Сад миновали, степь закончилась, и вошли в широкую лощину. Телята скрылись в зарослях. Мы расположились под большой вербой, преградив телятам выход из лощины. Солнце стало припекать. Ыракымбай предупредил меня:

— Телята шальные. Убегают.

Вскоре я убедился в этом. Мы скинули чокои, развесили чулки, чтобы быть налегке. Прошло немного времени, как вдруг Ыракымбай завопил:

— Ушли! Ушли!

Я вскочил. Два теленка, задрав хвосты, бежали вниз. Я кинулся им наперерез. Увидев меня, они прибавили ходу. Я тоже собрал все силы. До сада Ивана не добежали, настиг их, завернул.

Когда я вернулся, Ыракымбай покрикивал на

телят, которые вышли из лесу.

— Догнал? — улыбнулся он, словно довольный тем, что я быстро бегаю.

Вскоре побежало еще несколько телят. Ушли далеко, троих не догнал. Но большинство своих телят я в этот день не упустил. А Ыракымбай редко какого догонял, больше уходили у него. Или он знает, что ему не догнать, или научился хитрить. Немного побежит, а потом встанет и стоит, разинув рот.

— Какая досада! — Уже упустил нескольких, — пожалел я.

— О-о сегодня хорошо, — успокоил меня Ыракымбай.

— Почему?

— Прежде, не дай бог, по двадцать, тридцать сбегали.

— Не следили за ними, что ли?

— Жена этого Джапаркула растяпистая, бегать не может. Всех телят заворачивал я. Иногда телята как поднимутся все, так и не знаешь, за каким гнаться. А она раскроет рот и стоит. Раз сбежали десятка два телят, зашли в посевы, и русский поднял скандал, чтобы уплатили за потраву. Еле избавились…

Незаметно прошел день, солнце уже опусти-

лось низко.

— Пора гнать, — сказал Ыракымбай.

— А не рано?

— Когда пригоним, как раз будет.

Пошли собирать телят, которые разбрелись, улеглись по два, по три в тени деревьев.

На другой день погода хмурилась с утра. В полдень загрохотало и полило, как из ведра. Я устроился под большим деревом. Дождь отбивал дробь на листьях. Не заметил, как погрузился в размышления. Многое пробежало в мыслях, вспомнил и Ыйманкула. Прошло много дней, как мы с ним расстались. Когда я нашел приют у Шадыкана, он пошел в работники к одному казаку. С тех пор мы и не виделись. Даже не знаю, в каком доме и на какой улице он живет…

Так прошло с месяц. Я привык к новой жизни. Каждый дань, когда спускались с гор, Ыракымбай уходил домой, и я гнал телят в город. Тяжело, конечно, но есть и кое-какая выгода: если теленка пригонял во двор, мне давали хлеба. Правда, не все. Чаще уходил с пустыми руками, особенно от богатых. Я уже привык, не удивляюсь этому. Когда скитались по аилам, от роскошных, белых юрт уходили с пустыми руками, но находили подаяние у бедных. Так же, видно, живут и рус-

ские казаки — и у них чем ни богаче человек, тем жаднее.

На восточной окраине станицы стоял низенький, небогатый домик. Хозяева имели двух телят: один — темно-красный, другой — бурый. Знал я их хорошо. Вечером подгоню телят — хозяева не отпускают с пустыми руками. Хозяйка — женщина лет около сорока, высокая ростом, белокурая. Ее улыбающиеся синие глаза, казалось, видели меня насквозь. Однажды пришел к ним вечером, она дала мне круглый калач и погладила по голове. Затем с трудом спросила по-казахски:

— Не ты ли приходил просить милостыню?

Я смутился. Действительно, был в этом доме, просил кусок.

— Тогда у меня не было работы, — ответил я, не глядя ей в лицо.

Понемногу в станице ко мне привыкли. Сначала меня окликали: «казах», потом стали звать «телятником». Прозвище «телятник» мне казалось почетным.

Однажды вечером, отогнав телят, я шел по улице и встретил Джийдекан. Она отнесла кому-то сделанную работу и возвращалась домой. Солнце уже зашло. Проходили мимо того места, куда каждое утро сгоняют телят. У моста какой-то

русский джигит поил коня.

— Эй, телятник! Зачем пускаешь в посевы, черт! — крикнул он нам.

— А ты видел?

— Еще раз пустишь, башку сломаю! — погрозил он кулаком.

— Черта два сломаешь! — ответил я.

Не знаю, услышал он или не услышал меня. Джийдекан толкнула меня в бок:

— Не говори так больше, что ты за мальчик! А если он побьет тебя, тогда что будешь делать?

Пришли домой. Джапаркул ссыпал в чашку крошки от булки, которую он принес за пазухой. Ссыпал осторожно, так, чтобы ни одной не уронить на землю. Заработанный хлеб выложила и Джийдекан.

У нас такой закон — все добытое складываем вечером в одну кучу.

Женщины зарабатывают тем, что прядут нитки, починяют обноски или еще что-нибудь делают. Мне подают те, кому пригоняю телят. Джапаркул получает за то, что с поля отвозит новорожденных телят.

У меня есть еще один источник заработка. В горах растут крупные ягоды, вроде земляники. Я собираю их и отдаю русским ребятишкам, а они

мне приносят ломти хлеба, вареную картошку.

Но добытого за день хватает нам на один раз. Иногда мой заработок Джийдекан кажется малым.

— Ты что, съел по дороге? — глядит она на меня с сомнением.

— Не ел, это все, что дали, — уверяю я.

…Вскоре в Киргизсае начались большие перемены. Причиной явилось все то же слово: «большевик», которое я слышал в Аксуу. В Киргизсае большевиков рисовали народу так же, как это делали ишаны и баи в Аксуу.

«Большевик — это бунтовщик, рожденный на несчастье народа. Большевики — звери. Малых детей рубят саблями, колют копьями. Цель у них одна — расстреливать встречных, проливать кровь, уничтожать скот и имущество, разрушать хозяйство. Вот для чего созданы большевики. У них нет иных помыслов. Кто попадется им в руки, тот простится с жизнью», — так говорила верхушка Киргизсая.

Но эти россказни не пугали бедняков. Видно, они думали: «Что им у нас грабить? За какую вину убивать нас?». Поэтому особенно и не тревожились. Я, например, желал их прихода: может быть, придут большевики, перевернут всю

жизнь, и я выйду на дорогу счастья.

Вначале о приходе большевиков ходили только смутные слухи. Потом люди заговорили увереннее: «Они уже находятся близко. Не сегодня — завтра придут. Прошли Джаркент. Большевиков, говорят, тьма-тьмущая».

Вскоре среди казахов и киргизов пошли новые слухи: «Русские казаки боятся большевиков. Во главе с атаманом готовятся к бегству в Китай».

Словом, Киргизсай потерял прежний покой и довольство. Притихли, затаились дома, где еще недавно по праздникам устраивались шумные гулянки. Девушки и юноши уже не выходили на улицу разодетыми, не собирались петь под гармонь.

Однажды я поздно возвращался домой. Погода стояла ясная. В небе мигали звезды. Мне захотелось посидеть над водой. Вытянув ноги и дыша полной грудью чистым воздухом, сел на берегу, глядя в раздумье на воду, которая, сверкая под луной, тихо журчала на камнях. Слышалось как где-то далеко квакает лягушка. Вдруг со стороны станицы донесся тревожный звон колоколов. Значит, что-то случилось…

25

...Третий день, как русские казаки поспешно покидают Киргизсай. С утра до вечера по саям тарахтят телеги. Богачи, забрав остатки имущества, уже скрылись. Сегодня ожидают большевиков... В станице, кроме полунищих бедняков да немощных стариков и старух, почти никого не осталось. Киргизсай притих, только в оставшихся без хозяев домах слышались кудахтанье брошенных кур, крики гусей да уток. Второй день не звонят в церкви.

Утром я по обычаю вышел собирать телят. Думал, что никто не пригонит, но нет, — откуда-то появились хозяйки, сдали мне телят. Правда, стадо стало в несколько раз меньше. Ладно, мое дело пасти. Солнце зашло за полдень. Я перегнал телят в горы. Ыракымбай ушел домой.

Вдруг я увидел, как со стороны Чарына на равнине показалось множество людей. Ехали они стройными рядами, прямо на Киргизсай, оставляя за собой густые тучи пыли. Когда я увидел войско с оголенными саблями, с выставленными наперевес пиками, тревога, возникшая вначале, сменилась чувством радости. Мне захотелось

влиться в их ряды, высказать все свои заветные думы, вместе с ними вступить в кровавый бой и обрадовать родную землю, освободив ее от извечной неволи. Меня охватило волнение, по телу пробежали мурашки, сердце забилось…

Я не могу полностью передать свои чувства, точно рассказать о том, что я тогда испытал. Помню только одно — я не боялся солдат. Мне захотелось посмотреть на них ближе. Я прошел сад Ивана и спустился в низину. В это время раздались ружейные выстрелы. Глянул вокруг — нет ни души. Только иногда кое-где взовьется дымок от выстрела. Я остался посреди дороги. Выстрелы невидимых людей стали приближаться. Тогда я побежал, опасаясь, как бы меня не задела случайная пуля — выскочил на хребет и вдруг вместе с выстрелами услыхал резкие голоса. Ничего не поймешь… Я сбежал в ложбину. Из крапивы высунулось страшно перепуганное лицо.

— Эй, сумасшедший! Ложись! — махнул мне человек. Тут я узнал его. Это был казах, который направил нас с Ыйманкулом за ревенем.

Телята разбежались по посевам. Я спрятался в крапиве. Тут, задыхаясь, прибежал еще один человек.

— Ой-ой-ой, что же теперь нам делать! — за-

причитал он, прячась возле нас. Полежали мы, полежали, потом, крадучись, подались в гору. У меня горели лицо и руки. На вершине прилегли. До нас ясно доносились топот коней и звуки выстрелов.

Минут через пятнадцать напротив нас, на хребте, показался молодцеватый всадник, вооруженный саблей и ружьем. Он заметил нас и подскакал поближе.

— Эй, идемте! Спокойно живите на своих местах, — крикнул всадник и махнул рукой в сторону города. Мы поднялись из крапивы и направились домой. Всадник ускакал.

Войска спокойно проезжали по дороге мимо наших юрт. У дверей толпились женщины, дети. Они шептались:

— О святой дух!

— Дай бог помощи бедным и сирым.

— Сохрани господь!

— Да будет счастье! — говорили они.

Будто чувствуя их пожелания, некоторые солдаты на скаку махали шапками и кричали:

— Не бойтесь, не бойтесь!

Вот двое повернули запыхавшихся коней в нашу сторону. Подъехали, и мы рассмотрели их: молодые джигиты, один русский, другой — та-

тарин.

— Куда ушли русские казаки? — спросил татарин.

Запинаясь, Шадыкан ответил:

— Последние уехали сегодня. Все туда, в ущелье двигались. Скот их здесь…

Татарин перевел русскому. Тот натянул поводья коня и что-то сказал.

— Вы не бойтесь. Вас никто не тронет, — обратился к нам татарин. Они уехали.

Когда солнце поднялось высоко, большевики пригнали с гор русских казаков. Их как выбрали — одни тузы Киргизсая. Согнали их на самый край города, на большую улицу. Мы уже никого не боялись, привыкли, ходили вместе с солдатами. Подошли к пленным и мы.

Они стояли молча, угрюмые, как осужденные преступники. Молодой русский джигит на вороном коне долго ругал их. Потом человек десять отпустили, а остальных погнали дальше.

К вечеру в конце Киргизсая долго не умолкали выстрелы, частые, как звуки трещотки. Такой стрельбы мы никогда не слышали.

— Стреляют из пулемета! — пояснил кто-то.

Когда пулемет утих, в сторону гор начали палить пушки. Звуки пушек я запомнил еще тогда,

у реки Музарт. Снаряды летели с шипением и взрывались в горах, выворачивая, дробя деревья.

Вечером Джапаркула и старшего брата Ыракымбая большевики позвали забить скот. Я тоже пошел за ними. Когда я пришел, они снимали с коровы шкуру.

Заметив меня, Джапаркул крикнул:

— Уходи!

Я собрался повернуть назад, но тут солдат в серой шинели, который прохаживался невдалеке, что-то сказал Джапаркулу и махнул мне рукой, указывая на тушу. Я стал помогать разделывать корову, потом дополна налил воды в котлы и развел под ними огонь.

Закончил я все эти мелкие работы и собрался уходить.

— Эй, баранчук! — крикнул мне один солдат. Я подошел. Он подал мне большой ломоть белого хлеба и поношенную рубашку.

Не могу рассказать, как я тогда обрадовался. Раскрыл рот и все улыбался. Ведь я ни от кого не получал такого подарка. В то время я носил рубашку, через дыру в которой виднелся живот.

Взяв подарок, я пошел обратно, но тут меня подозвал Джапаркул. Завернул мне требуху, кишки и еще кое-что.

— Подожди, как бы те чего не сказали, — забеспокоился брат Ыракымбая и, подняв голову, посмотрел на солдата, который мне дал рубашку. Тот улыбнулся и рукой указал на ворота.

Взвалив на себя всю эту добычу, я отправился домой. Вслед за мной и Джапаркул пришел с большим куском мяса.

Вечером большевики собрали всех бедняков Киргизсая: казахов, киргизов и начали выступать перед ними с речами.

— «Большевик — смутьян! Большевик расстреливает, вешает, уничтожает кого попало», — такие слухи распускали враги. Большевик не стреляет в кого попало. Он знает своих врагов и борется только с ними. Большевики — это люди из таких же бедных, как вы. Большевик заботится о счастье человека. Он не пожалеет для вас и своей крови. Мы будем бороться с угнетателями, баями, помещиками до конца и для трудящихся построим счастливую жизнь. Мы поведем вас к жизни, о которой вы мечтали веками. Не бойтесь! Боритесь решительно с теми, кто вас всю жизнь держал в рабстве, стройте свою жизнь. Не отдавайте вратам той доли, которую для вас завоевали большевики! — говорили они.

— Спасибо, сынки, слава вашей храбрости! Нет

теперь у нас горя! — раздавались голоса собравшихся.

Утром глядим — по всем улицам висят красные флаги. И на том мосту, около которого мы собираем стадо, тоже висит красный флаг.

Когда солнце поднялось высоко, большевики двинулись в Аксуу.

В Киргизсае жил татарин, некий Алимджан. Дом его находился на крайней улице с западной стороны. У него я иногда пилил дрова, вместе с его сыном возил с гор топливо, молол зерно на мельнице, носил воду и убирал двор. Кое-когда после работы оставался на ночь и утром шел пасти телят. Когда Алимджан бывал дома, я заводил разговор о моих братьях, оставшихся в Аксуу, и просил смилостивиться и принять их к себе.

Первая жена у Алимджана умерла, вторую он взял из беженок-киргизок. Жила она с ним уже около года. Звали ее Буралкан, родственники ее — саяки, ближайшие родичи известного манапа Талканбая. Я ее величал «эже» и старался относиться к ней почтительно. Но где там! Язык у нее злой. Как только прихожу к ним, она, как сноха Карпыка, не дает и присесть — сделай то, пойди туда!..

Однажды я выполнил все, что она приказала, и

завел разговор о моих братишках. «Ладно, скажу мужу», — согласилась она. Вскоре, на мое счастье, у Алимджана в Аксуу нашлись дела. Узнав об этом, я пристал к нему, стал умолять, упрашивать взять меня с собой. Он согласился. Я выпросил у одного уйгура ишака, пообещав после отработать за это день.

Однако Алимджан вместе со мной не поехал.

— Ты поезжай, а я тебя догоню, — сказал он и отправил меня вперед. Солнце поднялось высоко, когда я выехал на большую дорогу к Аксуу. Еду один, свесив черные, как копченая кожа, ноги по бокам своего ишака, поглядываю назад — не едет ли Алимджан? Нет, не видно!

В Аксуу приехал близко к вечеру. Алимджана все еще нет. Утром он мне наказал:

— Если приедешь раньше меня, будь у болуша. Встретимся там.

Теперь болушем был зять Мамырмазина — Элахун. Жил он в центре города в большом белом доме. Неприятной была для моих ушей такая новость. Захожу — по двору ходит его жена — Райхан. Раньше она красивая была — щеки, как спелое яблоко, веселая. Теперь она глянула на меня неприветливо, холодно спросила:

— Ты зачем здесь ходишь?

Я вздрогнул, но ответил спокойно:

— За братишками приехал.

Райхан покраснела, заорала:

— Кто тебе позволит их взять? Волоска на них не тронешь! Зря явился!

— Видно будет… Найдутся люди, которые рассудят нас справедливо.

— Справедливо? Да кто же даст тебе справедливость? За справедливостью явился, голодранец! Ничего не получишь! — выкрикнула она и, не дожидаясь ответа, ушла. «Муж болуш, так нос задрала», — подумал я. Может быть, она так разговаривает с горя! Большевики здесь расстреляли человек пятьдесят во главе с ее отцом Мамырмазином и его сватом Юсупом.

Наступила ночь. Райхан даже не пригласила меня к чаю. Я привязал ишака у объедков, а сам, съежившись, как под дождем, лег возле яслей. У изголовья лошадь звучно жует сено. Во дворе, кроме нас четырех (двух лошадей, сивого ишака и меня), нет ни души. Лежу в темноте и вижу через окно, как в просторной, ярко освещенной комнате люди едят, сидя за низеньким столиком…

На другой день приехал Алимджан. Он спешился, подал мне поводья, велел подождать, а сам куда-то ушел и долго не возвращался. Наконец,

он вернулся, сел на коня.

— Поехали! Где они находятся? — спросил он.

— Вон там! — махнул я рукой на восток.

Когда мы приехали во двор дома Мамырмазина, нас встретила его старшая дочь. Попросили ее, чтобы она позвала мать, сами спешились и остановились у дверей. Минут через десять вышла жена Мамырмазина и присела напротив нас, у стены. Подошел также и Мукбул. Я все время украдкой поглядывал по сторонам — не покажется ли Беккул и Ашимкан.

Разговор начал Алимджан. Говорил он гладко, свободно. Но хозяйка быстро оборвала его:

— Не отдам я… Как же их отдам, если не получу долга? Я их кормила!

— Женщина вы умная… Ну, что вам даст такой бродяга, сирота?

— Пусть придет тогда, когда сможет уплатить долг.

— Ну, если так, то и за вами есть долг.

— Какой, откуда?

— Ребята долго работали у вас, вы им должны заплатить.

— За что это я должна платить? Один его брат живет у моего сына. Хочет о нем говорить, пусть идет к брату. А те, что у меня находятся… Разве

это работники? Сопливая его сестрица, кроме как освобождать чашку, ни к чему не пригодна… А от этих какой толк?..

Спорили с полчаса. Я сидел, как на иголках. Хотя бы Алимджан держался настойчивее, увереннее! Но он скоро сдался, заговорил лениво, словно тяжелую работу исполнял. Видя это, женщина разошлась еще пуще:

— При жизни Бейшемби мы взяли их к себе с головой, — наседала она на Алимджана. — Ты теперь к ним не имеешь никакого отношения. Не то, что забрать, а волоска на них не сможешь тронуть! Уплати мне за то, что я их кормила, тогда отдам! Чем ты рассчитаешься? Иди. Это все, что я сказала.

Эти слова проняли меня до костей.

— Говоришь, кормила нас? Кто же тогда пас твою скотину? Людей, что ли, нанимала? Пусть кормилась одна Ашимкан. Неужели двое не заработали ей на лепешку?

— Людям вреда мы не делаем. Чужого не берем, — сказала старуха.

В сердцах я чуть не ляпнул: «Если вы людям вреда не делали, то почему же расстреляли мужа?..» Но сдержался.

Хозяйка, словно догадалась о моих мыслях,

набросилась на меня:

— Не успел прийти, давай ему братишек! А вот сначала сказать свое соболезнование, что, мол, молдоке наш простился с миром — ох, воля божья! — да прочитать коран ты забыл.

— Я не умею читать коран. Я не мулла.

— Дурак ты неверный!

— Может быть, вдвоем с богом проглотите меня? Так я без того... — я оборвал богохульную речь.

— Вы с ним не спорьте. Он по молодости плетет. Лучше скажите, отдадите вы ему братишек? — вступился Алимджан.

Старуха на него даже не взглянула.

— Негодяй, у нас несчастье, так он, видишь, что говорит! Да поразит тебя хлеб! — завопила она еще громче. — Чего же ты не разжился, уйдя от нас? На тебе все та же одежда, которую я тебе дала, а новой не вижу! Будешь со мной так разговаривать, сдеру и это!

— Если это для тебя богатство, бери, я в твоих руках. Тебе это привычно. Думаешь, если бы нам у тебя жилось хорошо, мы бы ушли? Не помню я, когда ты нас кормила медом и гладила по головке?

Алимджан молча сел на коня и, не дожидаясь

меня, встал.

— Идем! Не хочет, так что же мы поделаем! Поехали!

От этих слов я почувствовал боль, как от укола копьем.

— Поедем?.. — глянул я на него растерянно.

Алимджан молча сел на коня и, не дожидаясь меня, уехал. Одному мне ничего уже не добиться.

— Что же, видно, судьба такая. Но помни: если не умру, так еще встречусь с тобой! — сказал я и подался в путь.

Хныкать не стал. Слаб только тот, кто изнежен и не видал в жизни испытаний. Кто перетерпел многое и каждый день воюет с тысячами трудностей, тот не может быть слабым.

«Коль уходить, так уходить не напрасно», — подумал я, выехав за город. Где-то здесь Беккул должен пасти овец. Оглядывался я по сторонам недолго: в одной из лощин заметил стадо, подъехал. Так и есть — Беккул! Я стал уговаривать бежать вместе. Без меры и без конца хвалил Иссык-Куль, расписывал, как богато живут люди, вернувшиеся на Озеро. Хвалил так, будто сам там уже побывал и все видел своими глазами. Уговаривал его столько времени, что за это время

свободно вскипел бы чай. Беккул молчал.

Наконец, потеряв терпение, я начал его упрекать:

— Неужели тебе хочется всю жизнь быть рабом? Посмотри, на кого ты похож! Иди же туда, где сможешь хорошо жить! Говорят, что в Каракол пришли большевики и помогают таким бедным, как мы. Скажи, пойдешь со мной, или я уйду один?!

Кажется, мои слова проняли его — он кивнул. Не теряя времени, я подошел к пастушонку-казаху, чья отара паслась невдалеке.

— Погляди немного за его отарой. У нас овца затерялась, поедем поищем. За труд возьми это, — подал я свой кожаный пояс.

Парнишка согласился. Я усадил Беккула на ишака, взялся за хвост и, погоняя ишака, двинулся в путь, время от времени поглядывая назад. Хотя бы на наше счастье никто не встретился!

Не успел я так подумать, как нам попался парень. Увидев нас, он остановился. Сердце мое забилось. Здоровый, если схватит, одолеет.

— Куда вы едете? — спросил парень.

Я, стараясь говорить спокойно, как ни в чем не бывало, ответил:

— Затерялась овца, едем искать.

Парень уставился на нас, оглядел ишака, на мгновение задумался, потом протянул:

— Сомнительно… Похоже на то, что сбежали?

— Куда же нам бежать?

На наше счастье, парень, видно, торопился.

— Хы! — ударил он ишака по шее и поехал.

Мы почувствовали себя так, словно спаслись от смертельной беды и вознеслись в рай. Я дернул ишака за хвост да еще ударил по боку палкой. Вскоре я вспотел, скинул чапан, положил на ишака впереди Беккула и перевел дух. Оглянулся назад — Аксуу чуть виднеется. Значит, никто за нами не гонится.

К вечеру мы вошли в Киргизсай.

26

Шадыкан давно поговаривал: «Доживем до осени, уедем на Озеро». Я радовался и ждал этой осени. Наконец, вот она пришла. Но… Шадыкан раздумал. Погасли наши мечты, словно на огонь опрокинули котел воды!

— Слышал, что там сейчас плохо, — оправдывался Шадыкан. — Киргизы, которые приходят на Озеро, будто мрут от голода. Будем живы-здоровы, настанут лучшие дни, тогда и поедем.

Не знаю, почему, но мне не верилось, что в наших родных местах так страшно.

Потеряв надежду на Шадыкана, я обдумал все в один день, когда в степи пас телят. Вечером дома я заявил:

— Мы уходим на Иссык-Куль.

Шадыкан, вероятно, не ждал от меня такого. Он исподлобья взглянул, поставил чашку.

— Что ты сказал? — спросил он, будто не расслышав моих слов.

— Уходим на Озеро, говорю, — повторил я, перекладывая кизяк у очага.

— С кем уходите?

— Сами, одни…

— Одни! Да вас же в дороге кто-нибудь прибьет!

— Ну что ж, прибьет, так прибьет, хуже не будет.

— Ты не ребячься! Сейчас время не для шуток. Вы еще ребятишки, дорог не знаете. Выйдите отсюда, кто-нибудь вас прикончит, кто отыщет ваш труп? Подумай…

Шадыкан уговаривал меня долго, однако его слова падали мимо моих ушей. Я упрямо стоял на своем. Но для меня самого вся затея представлялась смутным делом: уйти-то уйдем, а что будет с нами, отыщем ли дорогу, сколько нам придется идти, встретится ли в пути население, чем будем питаться? И спросить было не у кого…

К счастью, не прошло и десяти дней, как нам попался один русский, который приехал из Каракола. О нем мне сказал паренек казах Сапарбек. Мы с ним были знакомы раньше, и он знал, что я собираюсь уходить.

— Один русский в Каракол гонит овец. Отправляйся вместе с ним, — посоветовал он мне однажды, встретившись.

— Правду говоришь? — обрадовался я.

— Правду! Он купил здесь сотни три овец. Я тоже нанимаюсь к нему погонщиком. Еще одного

джигита взял. Завтра отправляемся в дорогу. Хочешь уходить, поговори с ним.

Медлить я не стал и упросил Сапаркула проводить меня к купцу из Каракола. Мы вошли в ворота голубого дома. Во дворе мужчина, сняв с плуга колесо, мастерил тележку.

— Он самый! — шепнул Сапаркул.

Торговец показался мне похожим на Дмитрия, который возил почту в Кутурган-Булаке. Глаза цвета голубого камня, нос вздернутый, сам приземистый, тучный. На голове черная фуражка с задранным козырьком, на ногах поношенные лакированные сапоги. Видно, что пройдоха и плут, чующий издали, где пахнет жиром.

Но делать нечего — и он для меня спасение, выбирать не из чего. Я почтительно согнулся перед ним.

— Хозяин, можно будет нам вдвоем с братишкой помочь гнать ваших овец до Каракола и дойти с вами вместе? Еда у нас своя.

Купец, до сих пор прилежно ладивший тележку, искоса глянул на меня.

— Ладно, — буркнул он и снова занялся своим делом.

Все дорого в свое время! От одного этого слова — «ладно» у меня чуть не выпрыгнуло сердце.

Значит, мы спасены! Я тут же задал другой вопрос:

— Сколько дней пути до Каракола?

Хозяин ответил не сразу. Он опять поднял голову, внимательно оглядел меня.

— Через неделю дойдем!

Я поспешно отправился домой, рассказал о своей удаче. Семья Шадыкана была уверена, что мы оставили мысль об уходе. Теперь они, кажется, поверили и чувствовали себя удрученными.

Шадыкан снова начал отговаривать. Ругал жизнь на Озере, рассказывал об опасностях пути, пугал болезнью в безлюдной степи. Словом, девяносто девять причин, только чтобы не уходили. В конце концов он ухватился за другое.

— Иди сам, а Беккула оставь. Сгубишь его ни за что.

— Уходить, так вместе. Один я не пойду!

Наконец, наступило утро. Я побежал к торговцу. О том, что может случиться с нами в пути, я не думал. Мне казалось, вся моя дальнейшая жизнь зависела от этой минуты.

Во дворе стояли сотни три овец и тележка на колесах от плуга. Два казаха носили буханки хлеба и укладывали в мешки.

— Скоро отправимся, — сказал Сапарбек, про-

ходя мимо меня с хлебом.

Времени было в обрез, я хотел побежать за Беккулом. Но хозяин послал носить хлеб.

— Ладно, сходишь после! — ответил он на мою просьбу сбегать за братом. «А до Беккула тебе и дела нет!» — подумал я, таская буханки. — «Как бы не опоздать! Возьмут да и уедут! Не будет же он ждать, когда я приведу брата?». Как только уложили на тележку весь хлеб, я, не мешкая, помчался за Беккулом. Он на окраине города пас телят. Утром, уходя из дома, я велел ему далеко не уходить. Вот он! Сидит, улыбаясь, телят распустил по стерне. Еще издали я закричал:

— Скорей, уходим!

Юрта наша находилась невдалеке. Кроме Джапаркула, все были дома.

Еще не войдя в юрту, я выпалил, задыхаясь от бега:

— Они уезжают. Мы пойдем!

Вот теперь-то они, кажется, окончательно поверили, что мы уходим. Шадыкан опять принялся за свое:

— Все-таки не послушались! Случится в дороге какое-нибудь несчастье, попомните мое слово. В кармане у вас нет ни копейки. Ну, ладно, если идете, возьмите хоть чашку жареной пшеницы.

Как-нибудь перебьетесь. Больше дать нечего, сами знаете…

Джийдекан поднялась, взяла маленький засохший бурдюк, остановила Шадыкана.

— Если им не терпится, зачем ты их уговариваешь? Пусть идут, пенять будут на себя.

Она налила в бурдючок из ведра джармы и подала мне.

Шадыкан приказал:

— Намешай им талкана. Пусть наедятся на дорогу как следует. В дороге кто им поможет?

Поев джармы, мы собрались уходить.

— И на ноги ничего не надели! Ну, идите, бедные, идите! Доброго пути вам! — пожелал Шадыкан, оглядев нас с ног до головы.

— Ничего! Как-нибудь дойдем. Прощайте! — ответил я и навсегда покинул их.

Торговец уже отправился. Над двором и воротами поднялась пыль. Мы присоединились к погонщикам и вчетвером погнали овец. Хозяин на маленькой тележке поехал впереди.

За городом началась ровная степь. Запад тонул в зареве, как от пожара. Вдали, прямо над нами, на вершинах гор столпились белые облака. Легкий ветерок ласкал тело. Я чувствовал себя как узник, только что вырвавшийся из неволи. Я

запел во все горло, будто впереди меня ожидали только радости…

Шли всю ночь и к утру добрались до места, называвшегося Чочоной. Хозяин приехал сюда раньше и стоял, ожидая нас. Мы быстро согнали овец в кучу. Они улеглись. Хозяин с работниками пошел к телеге. Вскоре погонщики вернулись, у каждого в руке был кусок хлеба.

Сели кучкой. Как всегда бывает перед рассветом, тьма сгустилась. Вокруг тихо. Слышно только сонное дыхание овец, да кажется, что вблизи от нас журчит вода.

Чуя раздражающий запах свежего хлеба, я развязал бурдюк, подал Беккулу горсть пшеницы, сам тоже сунул щепоть в рот и начал жевать.

Джигит, сидевший рядом с Сапаркулом, виновато объяснил:

— Сами видите, ребятки, если поделиться с вами, останемся голодными. Вот сколько хозяин дал нам, — протянул он ко мне руку. В темноте я даже не различил куска. — Твой киргиз разве ничего не дал?

— Где ему взять? Сами сидят голодные. Поджарили вот чашку пшеницы.

Он молча зажевал хлеб. Минут через пять спросил:

— А если на вашей земле еще убивают киргизов, тогда что будете делать?

— За что же нас будут убивать?

— Все-таки зря пошли, ничего не узнав.

— Ладно, увидим на месте!

Тут мы услышали голос хозяина. Он на кого-то громко кричал, бранился, звал нас. Оказывается, лошадь у него отвязалась. Гонялись долго, еле поймали.

Все четверо опять собрались в кучку, задремали.

Я погрузился в размышления. «Что ждет меня через несколько дней? Нет, хуже прошедшего не будет. Не так давно в семье нас было четырнадцать человек, не помещались в огромной юрте. Где они теперь? Когда мы, истощенные, изнуренные, стояли на краю могилы, проданная за одну корову, в руки какого-то кызая перешла моя старшая сестра. Где-то осталась одинокая маленькая могила Бекдайыра. Умерли Элебес, Бейшемби, Токмолдо, Бурмаке. С ребенком на руках ушла к родственникам Джанымджан. Неизвестно куда исчез Бечел. Пленниками у чужих, бессердечных людей остались Ашимкан и Эшбай. Из такой большой семьи в родные места сегодня возвращаемся лишь я да Беккул. Бедные

киргизы, чего вы только ни видели! Трупы ваши остались незарытыми, на пир зверям и птицам! О жестокий мир! Не будь тирана-царя, разве мы переживали бы такое?..» Я сидел долго, понурив голову. Товарищи мои уснули. Незаметно сон и усталость одолели меня.

— Вставайте, отправляемся, — послышался голос хозяина. Открыл глаза — рассвет еле брезжит, холодно! Хозяин уже запряг коня. Я торопливо потряс Беккула. Он свернулся возле меня в клубок, как попавший в снежный буран, засунул руки в рукава до самых локтей. Видно, дрожал всю ночь...

27

Сегодня третий день, как мы вышли из Киргизсая. Сумбе, Тегирменти, Ачдалаа — давно остались позади. Спускаемся с перевала. Оттого ли, что шли всю ночь, или от голода, тянет ко сну, хочется лечь. Пшеница у нас кончилась. Голодный Беккул еле идет, все время отстает от стада.

Сапарбек иногда, нарушая степную тишину, заводит песню. Он старше меня года на два. Полный смуглый юноша. Бедняга, который повидал многое, закалился в невзгодах — голяк, несгибаемый храбрец. Какие только места ни исходил он! Некогда заехав в Каракол, жил и среди киргизов. Заговорит по-киргизски, не подумаешь, что казах. На песню тоже мастер. На дороге, по которой мы шли, он знал каждую ямку.

Что ни говори, а нам с Беккулом трудно было: и голодно, и сил не хватало, и тревожили мысли о будущем. Но как только Сапарбек замечал, что мы устали, он заводил песню, рассказывал сказки. Голос, у него был чудесный. Только одну неделю довелось нам провести вместе, но его образ и сегодня стоит перед моими глазами.

Второй джигит не такой. Из нас четырех он

самый старший. Ростом высокий, глаза слезятся, тщедушный, рыжий. Изредка спросишь его о чем-нибудь — ответит и снова молчит. Если бы не Сапарбек, не знаю — дошли бы мы или нет до родной земли!

…В этот вечер я чуть не потерял братишку. Начало рассветать. Беккул сонный, измученный, по обыкновению плелся позади отары. Я долго шел, задумавшись, потом оглянулся — не отстал ли братишка, не свалился ли. И вдруг вижу — прямо на него из сая поднимается матерый тощий волк. Не знаю, следил он за ним или это вышло случайно, но волк оказался в нескольких шагах от Беккула. Я закричал во весь голос. Беккул оглянулся и — откуда силы взялись! — помчался к нам. Я тоже бежал ему навстречу, размахивая руками. Погонщики засвистели, заулюлюкали. Волк остановился, поглядел на нас, не торопясь, трусцой, перебежал дорогу…

В полдень мы остановились в сае, немного отдохнули и снова в путь до заката. Переходили из сая в сай, с перевала на перевал, через речки и ручьи…

Близко к вечеру выбрались еще на один перевал. Сапарбек, как обычно распевавший, остановился и указал вниз:

— Во-он, видишь — блестит? Это река Кеген.

На душе сразу повеселело, словно мы вырвались из многолетней неволи и увидели свет. Вокруг раскинулась бескрайняя степь, хоть скачи месяц. Разрезая ее, медленно несет свои воды большая река. Это уже знакомые места. Когда мы спустились на равнину, Сапарбек снова показал мне вдаль:

— Видишь дом? Сегодня, наверное, там заночуем. Русский, поди, уже подъезжает к реке.

Вдали показался мост. У ближнего конца стоит одинокий домик. Все ускорили шаги. Даже овцы, кажется, чувствуя близкий отдых, заторопились. Сапарбек запел:

О-о-ой,
Пусть в шубе овчинной
Джигит потеет, пусть не умрет.
Для чего так создал бог,
Что одни другого гнетет?
Есть белая в ложбине полынь,
Есть белая в стаде овца,
Я счастья не жду впереди,
Горю бедняги нет конца.

Так под песню Сапарбека и добрались до доми-

ка. Возле него оказались еще две юрты. Хозяин наш давно приехал и расположился на отдых. Он вышел, указал нам на ворота вагона.

Мы помогли загнать овец. Хозяин позвал своих работников в дом — наверное, выдать хлеба, а мы с Беккулом остались на улице. Кушать нечего. От пшеницы, что нам дали в Киргизсае, не осталось ни зернышка. Вчера мы попросили у хозяина хлеба — не дал.

Делать нечего — надо где-то искать ночлег. Направились к юрте, стоявшей невдалеке. Вошли. У кухонного скарба сидит женщина со слезящимися глазами, видно — хозяйка. Напротив входа — двое мужчин. По обстановке, по одежде видно, что хозяин — бедняк. Начали расспрашивать нас. Я назвался казахом. По-казахски и по-уйгурски я говорил хорошо; никто не мог сказать, что я киргиз.

— Из какого вы рода, милые? — спросила женщина, с жалостью посматривая то на Беккула, то на меня.

— Из рода Конурбарк, — ответил я без запинки, вспомнив род Джанымджан. Сказать-то сказал, а потом испугался: как бы не стали выспрашивать подробности. Но, на мое счастье, все обошлось благополучно. Спросили только, когда мы оста-

лись сиротами, в чьих руках находились, в каких местах скитались, откуда идем. Ну, тут меня трудно было сбить с седла: рассказывать я был мастер, а тем более то, что сам пережил.

Слушатели притихли, глаза их заблестели от слез. При последних словах моего рассказа хозяйка, сидевшая у очага, приподняла голову и вскрикнула:

— Эх! Да пропади она, такая жизнь!

Вздохнул и один из мужчин.

— Накорми их, бедных, когда-нибудь добром заплатят, — сказал он женщине. Она с готовностью налила нам по полной чашке джармы. Вот мы в юрте бедняка и оказались сытыми.

Хозяйка начала стелить постель, но потом, как бы что-то вспомнив, обратилась ко мне:

— Милые, здесь, видно, вам не достанется места. Зайдите в ту юрту, у них там никого нет.

Мы это и сами видели. Юрта тесная, людей много. Ничего не поделаешь, поблагодарили хозяев за еду и направились в другую юрту.

Только вышли на улицу, встретили Сапарбека. Ночевать ему тоже негде, а из одежды — одна коротенькая куртка. Он присоединился к нам.

В соседней юрте уже задернули тюндук и легли спать. Мы вошли и стали у порога.

— Кто такие? — спросил нас женский голос из темноты.

Мы рассказали о своем положении: негде переночевать, а на дворе холодно, и у нас нет верхней одежды. Женщина начала ворчать, что не знает нас, боится пустить…

— Тетя, вы нас не бойтесь. Мы у вас ничего не возьмем. Только переночуем! — стал я умолять ее.

Женщина умолкла. Мы решили, что она согласилась, и начали искать вокруг очага место, чтобы прилечь. Мне попалась кожаная галоша со стоптанным задником. Сунул ее под голову и тотчас же заснул.

— Эй, вставайте! — начал кто-то нас тормошить.

Это — товарищ Сапарбека. Хозяин прислал его за нами. Вышли. Чуть брезжит рассвет, однако видно, что вся земля покрыта инеем. Дрожим, стучим зубами от холода. Беккул хнычет, просит есть. А что я могу сделать и чем могу помочь?..

Идем по широкой равнине между Кегеном и Каркара. Изредка встречаются путники. Большинство — дунгане и китайцы.

Вот кто-то спешит, неуклюже навьючив куржун. Возможно, он с такой же жаждой стремится

в Урумчи или в Кульджу, как мы к Озеру.

Близко к полудню показалась Каркара — та самая знаменитая ярмарка, где некогда пировали казахские, киргизские баи, русские, узбекские и ногайские торговцы! Но сейчас не видно ее высоко реющих флагов, не слышно ее шума и гомона. Осталось пустое место, кругом тихо. Но мне не жалко былой Каркары. Разгромили бы ее сто раз, не заплакал бы! Здесь баи, торговцы загребали богатства, пахнущие кровью и трудовым потом, обжирались, а такая голь, как мы, приарканив единственную козу, перебивалась одним разбавленным досиня молоком. Так стоит ли жалеть те времена? Пусть они будут побиты и сто раз! Я жалел простых людей, которые погибли на дорогах в чужой земле. Их мне было действительно жалко!

Подошли к реке Каркара. Овцы заупрямились. Сапарбек схватил козла-вожака, толкнул.

— Вперед!

Козел повернул назад. Тогда мы с Сапарбеком схватили и бросили его в воду. Козел поплыл. Тут и овцы ринулись друг за другом. Хозяин переехал речку на своей повозке. Мы, засучив штаны, перебрались вброд. Ледяная осенняя вода, как огнем, обожгла ноги, и только на ходу мы немного

согрелись.

К ночи достигли Кутурган-Булака и остановились в степи. Из ближайших стогов натаскали сена и до самого утра, не сомкнув глаза, жгли костры. Но разве в нашей одежонке согреешься даже у костра? Дрожим, жмемся друг к другу. Мерзнут спина, голые ноги, шея…

Пережили и эту ночь. На следующий день шли не спеша и к полудню достигли реки Тюп. Вот и Кызыл-Кия! А вот развилка дорог: одна идет в Каракол, другая — вдоль Тюпа в Сарытолгой, Кен-Суу, Чонташ.

Хозяин свернул к Караколу.

Беккул, я и Сапарбек остановились.

— Прощай! — сказал я.

Видно, жаль было ему расставаться с нами. Он опустил голову, подал руку:

— Идите! Желаю вам счастья…

Мы пошли своей дорогой. Вот они, родные места! Все знакомо и в то же время ново. Сгоревшие в год побега дома Башарина отстроены. Но юрты не видно ни одной! Глядим и глазам не верим, будто прошедшие годы — только сон.

Прошли еще немного. Недалеко от дома Василия наконец-то показалась юрта. Решили зайти. Голодные, нет сил двигаться дальше.

Около юрты никого нет. Входим. Сидят две женщины. Одна лет около сорока, с длинным лицом, покрытым густыми морщинами, смуглая. Вторая — помоложе, пучеглазая. Ходит еще девчонка лет одиннадцати — двенадцати. Когда мы вошли, они словно онемели. Старшая, как сидела с поднятой иглой, собираясь что-то латать, так и застыла. Мы сели. Наконец женщины заговорили, словно пришли в себя после обморока, стали расспрашивать нас.

Не успел я закончить свой рассказ, как женщины принялись всхлипывать. Старая утерла слезы рукавом, сказала:

— Был бы он у меня живой, тоже однажды пришел бы вот так же, как они!

Видно, что у нее кто-то умер на китайской земле! Продолжая всхлипывать, она спросила:

— Милые, а как же вы нашли дорогу?

Девочка сидела, тоже пригорюнившись, словно разделяя с нами печаль.

Пока мы толковали о пережитом, прошло порядочно времени, и женщины, наконец, вспомнили о наших желудках. Нам подали по чашке айрану. Мы ожили. Я начал расспрашивать о здешней жизни. Они рассказали немало страшного. Оказывается, вернувшиеся из Китая год тому назад

изнуренные беженцы попали здесь в еще худшую нужду и погибли от голода. Умершим нет числа. Однако женщины нас успокоили:

— Теперь вы идите смело. Сейчас люди живут гораздо лучше. Половина нашего рода находится в Сарытолгое, а остальные — в Чонташе, Джылу-Булаке. Сегодня дойдете до своих.

Мы встали, поблагодарили. Двинулись по тропке вдоль Тюпа. С одной стороны высятся горы, покрытые елями, с другой — густой кустарник. Не это ли место, где киргизы проходили лавиной, спасаясь от карателей? А сейчас даже вороны не слышно, не видно…

К вечеру прошли Орто-Токой. Беккул заглядывает мне в лицо:

— Застигнет нас ночь?

Видно, страшно ему снова провести ночь без пищи, на ветру и холоде.

— Сегодня дойдем! — уверяю я его, стараясь не показать, что и я шагаю из последних сил.

Солнце уже закатывалось, когда мы вышли на хребет Сарытолгой. Спустились в долину, и вот он! — с левой стороны показался дымок. Прибавили шаг. Скорей, скорей! Я схватил Беккула за руку, помогая ему идти. Но что это? Вместо юрты показалось чье-то гумно. Мы остановились. Мо-

жет быть, тут русские?

— Милые, да вы смотрите, кто идет! — раздался чей-то голос. Я оглянулся. Невдалеке, опираясь на лопату, стоял наш родственник Сарыбагыш, тоже из рода Эркесары.

Тут я в стороне заметил юрты. Сарыбагыш повел нас туда. Собрались женщины, заплакали навзрыд. Они, оказывается, давно нас считали умершими.

В юрту вошел русский с большой бородой, видно — хозяин гумна. Он уставился на плачущих женщин. Сарыбагыш объяснил:

— Наши родственники. Они пришли из Китая пешком.

Русский сожалеючи покачал головой и вышел.

На другой день, накормленные и обогретые, мы направились в Чонташ к родственникам.

Так закончился наш долгий и скорбный путь.

Перевод В. Горячих.

К. Джантошев
МОЯ СУДЬБА



«Милая доченька! Нет у тебя ни братьев, ни

сестренок, одна ты у нас. Ты — наш солнечный свет. На склоне лет для нас ты лучшее лекарство от всех недугов. Ты — замена сына, помогающая нести тяжкий груз лет. Ведь недаром считают, что если дитя хорошее, то и для родителей нет разницы между сыном и дочкой. «Плохая дочь все же поможет перейти хребет, а плохой сын — распутье», — говорит народ. Ты живешь среди людей, они не дадут погибнуть тебе. Но не думай, что наше замечательное счастливое время все даст тебе готовеньким. Получи знания, дочка! «Сильный кулаком побеждает одного человека, а знающий — тысячу», — это говорили еще наши предки. Не прислушивайся к соблазнительным, сладким словам, учись, старайся стать хорошим человеком. «Друг говорит резко, а враг сладко». Старайся различать недругов от друзей. Куда бы ты ни поехала учиться, твои родители всегда постараются помочь. Получи специальность, потом уж, семь раз отмерив, устраивай свою жизнь…»

Так поучали меня родители, когда я пошла в первый класс. Не удивляйтесь, что они говорили со мной, как со взрослой: мне уже было девять лет. В тот год, когда надо было начинать учиться, я заболела и пролежала до весны. Пошла со следующей осени. А девятилетняя девочка у нас

считается почти уже взрослой.

Как бы то ни было, а, послушав советы и наставления родителей и родичей, я училась прилежно! Седьмой класс закончила на отлично. На выпускном вечере мне аплодировали и преподаватели, и родители.

Итак, я окончила семь классов и, гордо держа нос кверху, начала наряжаться в узбекские шелковые платья. Ведь мне было уже полных шестнадцать лет!

Вот тут-то и начали цепляться ко мне всякие беды.

Начиналось все со сладких речей:

— Аали, Назгуль! «Соль отдай тому, кто понимает ее вкус, а девушку тому, кто ее ищет», — говорят в народе. Мы знаем, что наш сын будет неплохим джигитом. Верим и в то, что ваша Гульзат станет неплохим человеком. Пусть вы — коммунисты, но есть законы наших предков. И никто их не отменял. Пусть мы не можем, как в давние времена баи и манапы, обмениваться при сватовстве отарами овец, десятками верблюдов, стадами коров и косяками лошадей. Но все же древние обычаи и привычки стариков не были такими уж плохими. Так давайте же помолимся за совместную счастливую жизнь наших детей… Давайте

скажем: «Через наших детей будем дружными, не жалея жизни, породнимся».

О, сколько подобных красноречивых и, казалось, душевных разговоров велось в нашем доме! И откуда только брались эти бесчисленные сваты и свахи!

Но и почтенные люди не обходили наш двор.

— Дорогой Аали! Отдай мне Гульзат в дочери. Пусть вместе с сыном станет она моим дитятею. Не одену я рваного на Гульзат, не заставлю делать тяжелую работу. А если не сдержу своего слова, быть мне в сырой земле! Если сын сердито посмотрит на нее, а не то, что руку поднимет, — не сын он тогда мне, — точил мед председатель колхоза Арзыбай, кланяясь моему отцу чуть не до земли.

Отец отмалчивался, не говорил ни да, ни нет.

А многие молодки не давали мне прохода, все уговаривали выйти замуж, сладкими словами расписывали радости замужней жизни. Я со смехом отнекивалась — мне хотелось учиться дальше.

Но ни родителей, ни меня не оставляли в покое. Мы не знали, что и придумать, как спастись.

В нашем аиле были свои законы. Стоило пойти разговору: «Дочь такого-то — красавица, уже

подросла», как сразу решали: «Нельзя упускать ее!» И не только аильные джигиты, но и люди постарше не спускали с нее глаз, присматривали днем и ночью, будто она могла незаметно убежать в другой аил. Если молодые мечтали о красивой жене, то старики — о красивой снохе. И все засылали сватов.

В конце концов, родители, уставшие от бесконечных разговоров и намеков, решили отправить меня подальше. Я согласилась с большой радостью.

В один прекрасный день (будь он проклят!) собралась я в Ош. Там жил мой дядя по материнской линии, который обещал помочь устроиться в школу-интернат. В этот же день собрался в город на отцовской «Волге» и Капар, сын председателя. Не подозревавшая ничего плохого, я поехала с ним.

Несколько дней назад Капар прислал целую тетрадь стихов, обращенных ко мне. Я ничего не ответила.

Только машина миновала последний дувал аила, как Капар пересел ко мне на заднее сиденье. Он был серьезен и важен. Словно окаменевший, сидел он рядом и без единого слова таращил на меня глаза. Только порою так тяжело вздыхал,

что, казалось, вот-вот из него хлынет огненная лава. Сейчас мне смешно, а тогда он вдруг показался мне несчастным и жалким… Неожиданно Капар, не глядя на меня, запел:

Э-эй, на сердце моем написано
Имя ваше — Гульзат.
Не могли мне ответить
На листочке бумаги?
Ну и не надо ответа,
Лишь бы здравствовали вы.
Кто бы ни увидел вас, будет счастлив.
Пусть счастье сопутствует вам!

Так он славословил меня до самого Оша. И откуда что бралось!

И опять мне сейчас смешно, а тогда… Может, оттого, что я никогда не ездила на «Волге», да еще бок о бок с джигитом, или от льстивых песен Капара, но только голова у меня начала кружиться. Удивляться нечему — мне было всего-навсего шестнадцать лет.

Как бы то ни было, а стала я покорнее ягненка. Раньше бывало — ни одна из дженге не могла увести меня в сторону, а с Капаром я пошла даже в столовую. Затем мы поехали к дяде. Его не

оказалось дома — был в командировке. В облоно пошли втроем: я, Капар и жена дяди. Но и тут не повезло, заведующий был в отъезде. Сказали, что прилетит на другой день.

Вернулись домой. За пловом и чаем тетя, не умолкая, все расспрашивала, как я живу, да хвалила мою красоту. А я нахваливала Капара. Тетя заставила его петь. Ушел он поздно. Тетя даже хотела оставить Капара ночевать, но, наверное, побоялась дяди, ничего не сказала…

Капар и его песни, видимо, понравились тете, и она в тот вечер долго еще говорила о нем, повторяла слова из его песен, разъясняла мне их скрытый смысл. В общем, старалась просветить меня…

Когда мы, потушив свет, легли спать, вдруг послышалось пение Капара. Мы встали, тихонько открыли окно и выглянули. Капар сидел на спиленном старом тополе около окна и распевал свои песенки. Кажется, он заметил, что мы подслушиваем, и залился пуще прежнего…

Тетя послушала, послушала и вздохнула:

— Эх, Гульзат, Гульзат! Дитя ты еще… истинное дитя… Если б на твоем месте была я, то ради такого джигита принесла бы в жертву себя, — сказала она и направилась к кровати. И я легла. Но за-

снуть не могла.

Если мочки ее ушей
Принадлежали бы не серьгам, а мне…
Если бы, сказав: «Не тоскуй, юноша»,
Пришла бы ты ко мне… —

разливался под окном Капар. Хотя бы замолчал или ушел! Нет же, сидит и сидит, как приклеенный.

Раз пять подходила я к окну и подолгу смотрела на Капара. Перед рассветом тетя поднялась, посмотрела в окно, а потом вернулась, легла и неожиданно ущипнула меня. Она, наверное, подумала, что я бесчувственная, сплю. А у меня ни одна ресничка не спала!

Будто соловей, пропевший всю ночь, Капар перед рассветом притих. Я тихонько выглянула в окно. Он сидел на том же месте. Лицо усталое, бледное — это, видно, от бессонницы. С жалостью я смотрела на несчастного.

Утром он пришел к нам. Я сделала вид, что ничего не знаю о ночном пении. Тетя встретила его очень приветливо. Капар сразу преобразился, так что нельзя было и подумать, будто он провел ночь без сна. Тетя хотела сходить в магазин, но он взял у нее сумку и побежал сам. Вернулся с целой

кучей покупок и подарков.

Наверно, Капар очень уж понравился тете. Она просто крутилась вокруг него, оказывала всяческие знаки внимания. Порой мне казалось, что вот она бросит дядю и сбежит с ним! Я даже начала ревновать, несколько раз порывалась одернуть тетю, напомнить ей о ее годах.

— Где же ты ночевал? — сладким голоском спросила тетя, поправляя падавшие на лоб волосы Капара. Мое сердце словно ножом резанули.

— Кто же мог меня приютить, милая тетушка, когда девушка не пригласила даже в дом… Всю ночь с соловьями пропел песни, — ответил Капар.

Тетя вдруг так смутилась, что сбежала на кухню. А я опустила голову и принялась рассматривать пальцы.

— Милая Гульзат! — произнес Капар и, схватив мои руки, притянул к себе. В ушах у меня загудело, в глазах померк свет.

— Вот что значит настоящая любовь! — пропела тетя у меня под ухом.

И когда только она вернулась из кухни?! Капар вдруг обнял меня и поцеловал. Мне показалось, что земля поплыла под ногами…

А тетка все говорила и говорила, не уставая,

нахваливала Капара. Я и не заметила, как выговорила: «Согласна».

Все! Ловушка захлопнулась!

Как все это случилось, я так и не могла понять. Ведь совсем недавно, когда Капар подсылал людей, я только задирала нос. А тут вдруг превратилась в ястреба, который послушно сел на руку охотника. Но долго я голову не ломала, отнесла на счет «веления судьбы». Что, мол, я могу делать против судьбы…

Так и пропала Гульзат… Не только ученье, но и стареньких родителей, которые взлелеяли меня, забыла…

Любимым Гульзат оказался лучший из аильных джигитов Капар… Свекор — председатель колхоза Арзыбай… Вошла в большой белый дом… Я могла похвастаться перед гордыми девушками и джигитами своим мужем, своим счастьем.

Я размечталась…

Свадьба наша будет на удивление всем колхозникам.

Затем… затем учиться. Но только учиться я буду не одна, а вместе с Капаром. «Если гора, на которой стоишь, высока, то и камень, кинутый тобой, полетит далеко».

Неужели нам будет трудно учиться? Мы с Ка-

паром закончим учебу, играючи. Ведь это так легко!..

— И ты будешь учиться, и я с тобой! — заверил Капар мимоходом. Он купил мне белое шелковое платье, бешмет из черного бархата, лакированные сапожки и, вынаряженная, вернулась я в аил на блестящей «Волге». Свекор Арзыбай с двумя аксакалами пошел в дом моего отца с повинной. На шее у него висел пояс. Он пригнал двух овец и кобылу. Отец, увидев все это, еле произнес: «Так вот как ты закончила учебу, доченька!» — и заплакал.

— Дорогие гости, дайте нам неделю, соберемся с силами, дочери приданое приготовим! — взмолилась мать.

— Э-э, милая сватья Назгуль со сватом Аали, будьте нашими почетными гостями. Как коммунист, я вам не дам ни копейки калыма, а в приданое не возьму даже нитку. Отдайте мне в дочери милую Гульзат и больше мне ничего не надо. И если я не закачу свадьбу всем на удивление, то плюньте мне в лицо, — разглагольствовал будущий свекор, а два почтенных аксакала так умело взялись за дело, что мои старики и оглянуться не успели, как со всем согласились…

О будущем свекре мне приходилось изредка

слышать такие разговоры: «Наш Арзымат — молодец, хоть и необразованный! Умеет улаживать дела новой жизни, но и старым, дедовским не брезгует. И старое и новое носит в одном кармане. Словом, мастер и по-новому петь и по-старому блаженствовать».

В смысл подобных разговоров я не особенно вникала. Считала башкарму замечательным человеком. Дважды видела, как он давал приказания: раз — сидя на коне, уперев в бедро камчу, другой — через окошечко машины.

Ловкие и умелые джигиты принялись резать скот, рыть в земле очаги. Продавец магазина, который был готов при малейшем движении бровей башкармы расшибиться в лепешку, перетаскал из лавки все съедобное — от конфет до консервов. Даже посуду принес со склада.

«За здоровье Гульзат и Капара! За их счастье! Пусть оба выучатся и честно служат народу!» — восклицали гости под звон стаканов.

Прошла свадьба, наступил и новый день, за ним другой, третий… Мне казалось, что нет счастливее нас с Капаром!

Но чем дальше, тем больше менялся мой любимый муж. Вначале я ощущала лишь слабые порывы леденящего ветра. «Женщина должна

держать себя так, а к мужу относиться вот так… Смотри, веди себя достойно, а то засмеет народ. Запомни все это!» — поучал он меня с утра до вечера. Сначала мне было смешно, а потом…

Однажды один из товарищей Капара пригласил нас в гости. «Без Гульзат не приходи», — заявил он, и Капар взял меня. Впервые я шла с мужем в гости. При выходе из дома он заторопился. Я ничего не поняла, догнала его, пошла рядом. Он буркнул сквозь зубы: «Отстань, нельзя жене ходить рядом с мужем, люди засмеют. Иди следом». Мне показалось, что ледяной промозглый ветер из ущелья обдал меня с ног до головы. Думала тут же повернуться да уйти, но не позволила гордость и не хотелось огорчать гостеприимных хозяев. Что поделаешь?.. Словно охотничья собака, поплелась я в десяти шагах позади Капара. Так же и вернулась. А дома…

На пороге комнаты Капар огромным кулачищем так дал в бок, что я свалилась бездыханная. Очнулась через несколько минут.

— Ну… Очухалась? А теперь пошире раскрой глаза и посмотри, кто стоит перед тобой. Я выколю глаза, которыми ты смотришь на мужчин, разорву до ушей рот, искромсаю твое лицо! — кричал он, наклонившись и несколько раз ткнул

растопыренными пальцами в глаза. Оказалось, моя вина была в том, что я в гостях улыбнулась на чью-то шутку!

Я решила отомстить Капару и пожаловалась свекрови. Та недобро усмехнулась.

— «Женщина, имеющая овец, ест курдюк, имеющая мужа, терпит побои». Не умрешь! Ты не соловьиное яичко, чтоб могла треснуть от слабенького удара. Когда мне шел пятнадцатый год, я вышла замуж за твоего свекра. С тех пор он не раз бивал меня. Трижды бил так, что лица не было видно, да ничего, выжила. Или ты думаешь, что смерть пришла в мир только по твою голову? Ничего с тобой не случится, бог сохранит!

С тех пор она резко переменилась. Исчезли медовые улыбки, сахарные слова. Свекровь обзывала меня бессовестной, лежебокой, неряхой, неумехой…

Однажды к нам зашел один из учителей нашей школы и пригласил нас в гости. Я уже боялась идти к людям, не предупредив свекровку, и попросила Капара поговорить с матерью.

— О-о, будь проклят, да разве, ты сын отца! Какой мужчина служит на побегушках у жены? Не пойдет она! Только попробуй еще раз пойти с Гульзат куда-нибудь! — накричала она на сына, а

затем взялась за меня.

— Если не пойдешь в гости, бесплодной не останешься. В ваши годы мы не расхаживали с мужьями по гостям. А посмотрите на этих! Можешь не только мужа, а свекра взять под руку, да не только в гости, а даже в Москву съездить!

Свекровка не жалела всяких бранных слов, которые и на базаре не услышишь! Зажав уши, я убежала в комнату. С тех пор я перестала ходить в гости.

Как-то неожиданно приехали к нам председатель соседнего колхоза и два его товарища с женами.

— Арзыбай-аке, здравствуй сто лет! А, Назила-дженге, поздравляю со сношкой! Из-за неотложных дел не смог приехать на свадьбу. Вот, еле вырвались. А ну, где сноха, познакомьте нас и получите подарки, — шумел веселый председатель.

— Пригласите невестку, покажите ее! — затараторили гостьи.

Капар вбежал в нашу комнату и, сжав кулаки, прошипел:

— Не показывайся, иначе глаза выколю!

Затем, приоткрыв дверь так, чтобы его слова долетели до гостей, ласково сказал:

— Иди, милая, познакомься с гостями! Ну, иди же, не стесняйся. Ах, ты глупенькая! Мама, посмотри на свою сноху: гости зовут, а она не идет.

Свекровка не проговорила — пропела:

— Выйди, миленькая, познакомься с высокочтимыми дядюшками и тетушками. — Обернувшись к гостям, она развела руками, словно прося прощения. — Молодая, стесняется…

Дверь плотно прикрылась.

Мне хотелось кинуться к гостям, сказать, что это ложь, обман, притворство, но я уже знала, чем все кончится, когда гости уедут. До меня глухо доносился разговор…

— Арзыбай-аке, что хотите, то и думайте обо мне, но это — не хорошо… Похоже на феодальное отношение… Тем хуже, когда такое делается в доме коммуниста, председателя колхоза. Предположим, она стесняется мужчин или боится ревности мужа, но почему избегает наших жен? Быть может, она уродина? Или ее родители такие рьяные поборники старой жизни?

— Может, ты угадал, — ответил свекор и расхохотался.

Прислушиваясь к разговору, я не заметила, как в другую дверь вошла свекровь:

— Подслушиваешь? Ах, чтоб уши твои отвали-

лись! — зашипела она и дала мне по шее. Рука у нее — твердая, мужская.

Я выскочила во двор и, прислонившись к урючине, вволю наплакалась.

Наконец, гости, наевшись, разошлись! Я вернулась в дом, за мной вошел Капар. Я принялась стелить постель. Муж стоял у двери, со свистом высасывая застрявшие меж зубов волокна мяса.

— Значит, вот этими бессовестными ушами подслушивала? Да? — неожиданно сказал он и с размаху ударил в ухо. Потом схватил уши пальцами и начал крутить их. Не выдержав боли, я закричала. Мне еще казалось, что свекор и свекровка, услышав мои вопли, прибегут на помощь, но в доме было тихо, ни одна дверь не скрипнула.

Только когда я охрипла от крика и стонов, донесся голос свекрови: «О, горе, да тише ты, люди услышат!» И опять все смолкло.

Мой любимый или устал или испугался, только оставил меня в покое. Я высказала все, что наболело в душе, припомнила все его ласковые слова и щедрые обещания. Он даже не обернулся в мою сторону, разделся и завалился спать.

На другой день я не смогла подняться с постели. Услышав, что я заболела, прибежала мамочка.

Кажется, она сразу догадалась, что на одно ухо я слышу плохо, знала, видно, и о поступках Капара и моей свекровки, но ничего не спросила. И я промолчала… Не хотелось огорчать стариков.

Да и кого винить: я же ослушалась их, даже не посоветовалась. Тайком сбежала с милым, любимым, с которым собиралась беззаботно прожить жизнь, кататься как сыр в масле! А сколько джигитов ходили за мной, писали письма, засылали сватов! Я отказывала всем, мечтала об учебе. И вдруг учение и мечту, надежды родителей променяла на Капара. Сама натворила, сама расхлебывай!

Оставалось только бежать. Но куда деваться? Вернуться к родителям? На пятом месяце беременности? Нет! Никогда!

Решила терпеть. Может, Капар, узнав о ребенке, одумается. А если нет? Тогда исчезну бесследно…

Однажды зашел секретарь парторганизации Эргеш-аке. Вскоре через стенку до меня донесся разговор.

— Ложь!.. Сплетни!.. — гремел свекор. — Кто мог тебе сказать, что такое возможно в моем доме? Давай очную ставку. Я потребую наказания клеветникам.

— Но неужто мы пойдем на это! — со слезой в

голосе поддержала его свекровка.

Я ничего не понимала… Вдруг в комнату вбежал рассвирепевший, бледный Капар:

— А-а-а, бесстыжая… Жалуешься на меня и моих родителей?! Кому жаловалась?.. Иди скажи своему секретарю, но если очернишь нас, не думай, что останешься в живых… Пусть потом хоть расстреляют меня. — Он с яростью шептал ругательства. Одним ударом сбил меня с ног, затем приподнял за ворот, еще несколько раз ударил и за руку потащил в комнату, где сидел Эргеш-ака. Свекор притворно сердито прикрикнул:

— Эй, дурень, разве так обращаются с молодой женой! Садись, детка. — Он показал на место около свекровки.

— Стесняется. Говорит — не могу идти, там Эргеш-аке, — сказал, улыбаясь, Капар.

— Чтобы я больше не видела такого, грубиян, — вмешалась свекровка, поправляя на моей голове платок. — Не стесняйся, дитя мое. Вот Эргеш-аке, наслышавшись разных сплетен, пришел проверить. Не стесняйся, расскажи ему правду, — и, приподняв за подбородок, чмокнула меня в щеку.

Я не верила своим ушам, не верила и глазам.

Значит, в аиле узнали, что нет прежней Гуль-

зат и сообщили в парторганизацию. Но что мне делать? Позади у меня высокие, до небес горы, по бокам неприступные скалы, впереди пропасть. Иначе и не представишь мое положение.

А свекор и свекровка были так веселы, словно явились на нашу свадьбу. И Капара не узнать. Он такой милый, будто клянется передо мной и тетей до женитьбы. На лице играет простодушная улыбка, да и само лицо симпатичное. Глядя на него, можно подумать, что он только что нашел меня, свою любимую, с которой когда-то его разлучили...

И у меня закружилась голова. Может, вот эти, сидящие рядом свекор, свекровка и муж, радующиеся встрече — это настоящие, а те, что жили со мной, были только их злыми подобиями?

Эргеш-аке настойчиво расспрашивал меня, а домашние хором предлагали отвечать ему. И я... солгала:

— Все это сплетни, Эргеш-аке. Муж не бил, а родители не обижали. А похудела — от работы, ведь не была привычна, да и в положении я...

Эта ложь особенно понравилась домашним. Особенно был радостен оглушающий смех свекра. В нем слышались и облегчение и издевка над Эргеш-аке.

А я горько плакала… Спросите — почему? Да потому, что опозорила себя… потому, что потеряла к себе уважение. Вспомнились слова отца. «Доченька, вот как ты окончила учебу!» и его слезы. Только теперь я поняла смысл его горестного восклицания. Ах, если б я тогда не возгордилась своими «пятерками» и своей красотой, если б подумала о будущем!

Нет, я просто ничего не понимала… Да и не старалась понять. Свекор — коммунист, председатель колхоза, и все верили, что при нем, в его доме, невозможно ничто подобное. А на самом деле! На людях он старается показать себя передовым человеком, а дома — настоящий феодал.

А я подвела хорошего человека Эргеш-аке. Теперь над ним смеются этот двуличный ловкач, ведьма свекровка и выпестованный ими гаденыш… Да, я подвела Эргеш-аке, человека, который хотел восстановить в этом доме справедливость, опозорила его, помогла торжествовать людям с черной душой.

Что слезы! Я готова была провалиться сквозь землю, умереть от стыда и тоски. И в то же время все настойчивее пробивалась мысль: «Гульзат, не торопись умирать. Тысячу раз обдумай, а потом реши!»

…Не помню, сколько я плакала, проклиная себя за то, что подвела замечательного человека, но за это время был съеден плов, выпит зеленый чай. Много говорили обо мне и колхозных делах. Вдруг я услышала голос Эргеш-аке. Он, видимо, уже уходил.

— Вот какие дела в нашем колхозе, Арзыбай-аке… Где бы вы ни выступали, всюду хвалитесь, а о недостатках — молчок. В отчетах указываете ложные цифры. Не считаетесь с мнением парторганизации. Вспомните, мы с вами уже говорили об этом. Чувствую, стал я для вас неприятным человеком. Но молчать не могу. В следующую субботу будет партийное собрание. Прошу отчитаться перед коммунистами. Я здесь новый человек. Всем нам нужно хорошо знать, как идут дела в колхозе…

Свекор рассердился, бросал гневные слова, казалось, что вот-вот полезет в драку. Я знала: человек, указавший свекру на недостатки, казался ему лютым врагом. Но стоило какому-нибудь подлизе сказать несколько глупых, но сладких слов: «Травы поднялись хорошо. Замечательно идут в колхозе дела под вашим руководством», — как он спесиво задирал голову. Стоило самому последнему лодырю произнести: «Слава богу,

Арзыбай-аке! Вы есть, — значит, нечего нам беспокоиться, все будет в порядке», — и лодырь становился его любимцем, на него сыпались все блага — и деньги из кассы, и продукты со складов, и овцы из отар.

А свекровь была просто-напросто его портретом. Но для нее колхозные дела не стоили и обыкновенной пиалы. Если же в доме терялась пиала, для нее это было равносильно разрушению колхоза. Это я знаю по себе: недавно случайно разбила пиалку и целый день слушала брань, словно от хулигана. Мало того, свекровка нажаловалась сыночку, и он раза три стукнул меня.

Если хотите что-либо взять у моей свекровки, не стесняйтесь похвалы: назовите ее старую кошму ковром, тряпье шелком... Свекровка откроет свой девичий сундук и начнет показывать, расхваливая свое приданое. А вы продолжайте хвалить и все больше удивляйтесь, поражайтесь ее вещами. Хотя ее элечек уже сгнил, она вытащит и его... Да, забыла предупредить: ни в коем случае не называйте ее по имени и не спрашивайте, откуда в их доме ковры и другие дорогие вещи. Сразу заподозрит в плохих намерениях. Просто без меры всему удивляйтесь и без меры хвалите. Не забудьте восхититься ее девичьим седлом

с попоной, что висит на алабакане, и старым медным кумганом и тазиком, которые настолько прозеленели, что к ним боязно притронуться. А под конец похвалите владелицу вещей примерно так: «О, какая вы замечательная хозяйка, дженге, так умеете хранить вещи!» Она тогда захмелеет от похвалы, будет стараться показать свою щедрость, отдаст вещь, которую попросите, может пожертвовать даже платье, что носит на себе. Но боже вас упаси испытать это средство второй раз. Выцарапает глаза и ославит на всю деревню!

Вот какие мои новые родители, свекор и свекровка!

А злюка Капар их смешанный портрет. Он скуп, как мать, жесток, как отец. Белое шелковое платье, бешмет, лакированные сапожки, что купил в Оше, я надевала только на свадьбе, потом он не разрешил больше носить, приказал спрятать в сундук. Его мать к свадьбе сшила мне два шелковых платья. Я надевала одно из них только когда ездила в Джалал-Абад. «Хватит, покрасовалась», — сказал он и также велел уложить в сундук. Десятилетку Капар закончил в прошлом году, да и то только благодаря отцу. О том, что Капар не хочет учиться дальше, что обманул меня своими обещаниями, я узнала всего пять

дней назад.

— Откуда у Капара стихи, посвященные Гульзат? Это я исписал целых две тетради! Капар подарил мне за это корову, — похвастался как-то Мамансунул, парень из нашего колхоза. Об этом вскоре узнала и я. Спросила Капара: правду ли говорят? Он с усмешкой все подтвердил.

Вот среди каких людей я живу.

Вскоре вернулся свекор, провожавший Эргеша, и прямо с порога начал злобно выговаривать своей жене:

— Эй, старуха! Что за срам? За что же страдать моей несчастной голове: за колхозные дела или за домашние? Всякие Эргеши запросто приходят ко мне в дом и вмешиваются в семейные дела. Объясни своей сношке-комсомолке, что все это — позор для меня. Без ветра и трава не колышется. Может, она кому-нибудь жаловалась? Иначе, как сплетня могла дойти до Эргеша? Говорит, если свекровь учит сноху, то она бывает послушна? Где же в моем доме такие свекровки и снохи? Кто посмел нарушить оставшийся от предков порядок и покой, кто открыл дорогу таким, как Эргеш? Возьмись за сноху, иначе обеих сдуну, как пепел с ладони. — Он все больше накалялся и под конец уже кричал и так пнул свекровку, что ее

режущий уши вопль заполнил весь дом.

А сыночек разве мог остаться спокойным? Он так же с бранью набросился на меня, начал бить…

Очнулась я перед рассветом. Открыла глаза — моего злодея в комнате нет. Наверно, пошел к безмужней молодке Айнакыз, больше никуда. Мать Айнакыз и моя свекровка — родные сестры. Родители решили было поженить Капара и Айнакыз, но отцы случайно поссорились, и ее выдали замуж за другого. Но месяца два назад, разойдясь с мужем, она вернулась под родительскую крышу, Капар стал похаживать к Айнакыз…

Несколько раз я пыталась встать, но не смогла. Ужасно болело все тело. Помню, что старалась прикрыть живот, и Капар, видимо, бил по бокам, по спине. Я не могла разогнуть спину.

Когда вчера меня бил Капар, свекор и свекровка злорадствовали, но сегодня перепугались. Сам свекор несколько раз заходил ко мне, ругал Капара, и — о, чудо! — даже прослезился. А свекровь возмущалась:

— Ах, разжиревший, злой! Ведь мне вчера от отца тоже досталось. Я и не заметила, что он тебя так избил. А если бы знала, размозжила ему голову!

Долго я пролежала в постели. Они боялись показать меня не только врачу, но и кому-нибудь из местных лекарей. Входят ко мне, когда нет посторонних. Окна завесили наглухо, двери комнаты закрыли на замок, чтобы кто-нибудь чужой не мог проникнуть. Только через пятнадцать дней, когда багровые синяки покрылись желтизной, я поднялась с постели. Но спина — я посмотрела на нее в зеркало — была еще в кровоподтеках.

Свекор и свекровка все лебезили передо мной. Капар несколько раз просил прощения. Вчера пришел пьяный и опять извинялся, плакал. Чтобы он отвязался, я сказала, что все забыла. Но разве можно простить такое! Какой бы дурой я ни была, пусть пошла бы по миру — все равно не простила бы! Никогда! Я возненавидела свекра, свекровку, Капара и решила отомстить им всем… Как? А вот стану самостоятельным человеком, забуду все сделанные глупости, начну жить сначала.

Да… можете поверить этому!

Сегодня мой злодей и свекор поехали в Ош. А злая ведьма ушла навестить новорожденного у наших родственников.

Долго я не выходила на улицу. Кое-где земля еще была покрыта снегом. Вокруг все серо, словно

шкура только что вылинявшего снежного барса. И все же мне кажется — земля ласкова ко мне. Голуби, мирно летающие в небе, будто зовут с собой.

Вдруг я увидела Айсылкан-эдже, проходившую мимо нашего дома. Я решилась и вполголоса, боясь, что кто-нибудь услышит, позвала ее. Айсылкан-эдже, женщина лет сорока, была еще стройной и красивой. Отца и мать ее убили басмачи. Маленькой она попала в Узгенский детдом. Во Фрунзе окончила медицинский институт и вот уже два года, как работает в нашем аиле. Народ очень любит ее. Муж у нее механик, с моим свекром у них плохие отношения.

Я ввела Айсылкан-эдже в дом и, повернувшись спиной, подняла платье.

— Гульзат! — невольно вскрикнула она и невольно попятилась.

Я заплакала. Увидев мои слезы и синяки, она тоже не удержалась. Айсылкан-эдже начала подробно расспрашивать меня и записывать. Она посоветовала подать жалобу районному прокурору. Я согласилась, но просила пока никому не говорить об этом.

— Хорошо, Гукеш! Пусть будет так, как ты хочешь. А остальное сделаю я. И не думай, что

подобное дело я оставлю так.

Айсылкан-эдже, поцеловав меня, ушла. Я почувствовала себя совершенно иной, будто все побои и страдания, пережитые мной, она сняла легкой рукой. Мне уже померещилось, что свекор и свекровка, мой злодей Капар, встав на колени, проливая горькие слезы, просят у меня прощения.

— Кто приходил, кого видела? Меня кто-нибудь спрашивал? Может, кто приходил к отцу? — засыпала вопросами вернувшаяся ведьма-свекровка. Когда я сказала, что никого не было, она облегченно вздохнула, словно сбросила тяжелый груз.

Свекровь, как обычно, начала притворно стонать, тяжело вздыхать. Попыталась сказать мне несколько ласковых слов и дала из принесенных гостинцев немного лепешек, масла… Но что-то она скрывала от меня, чуяло мое сердце, заговаривала часто о возвращении мужа и сына, поругивала Эргеша. Стоило мне спросить — в чем дело, она по-старому ответила: «Тебя это не касается!»

Свекор и муж приехали под вечер. Ведьма-свекровка чуть не силой заставила меня лечь отдохнуть, даже сама принесла чаю и лепешку. После того, как я простила мужа и обещала нико-

му не говорить о побоях, он стал было чаевничать со мной, но сегодня даже не заглянул. Втроем они зашли во внутреннюю комнату и закрылись. Это я поняла по лязгу крючка. Говорили они шепотом, потому что не было слышно ни обычно хвастaвшегося или громко ругающегося свекра, ни визгливой речи свекрови, ни наглого баска моего злодея. Значит, произошло нечто важное. Разошлись они только в полночь.

Свекор притворно весело справился о моем здоровье. Мой муженек был хмур, как осенняя туча. На мой вопрос он буркнул: «Ничего страшного, просто с отцом говорили о колхозных делах». Но он курил папиросу за папиросой и, тяжело вздыхая, ходил по комнате.

— Что-то случилось, ты просто скрываешь. Может, будешь молчать до моих родов или до моей могилы?

— Ну, если родишь сына…

— А если девочку?

— Хватит! Поговорим потом.

— Нет, сейчас, — сказала я настойчиво.

Капар долго с удивлением смотрел на меня, наконец, махнул рукой, отвернулся и опять буркнул:

— Отец велел сходить к одному человеку, пе-

реговорить.

— Постой! К кому послал? Может, к твоей любимой Айнакыз?

Капар рассвирепев, двинулся было ко мне, но руки не поднял. Я, храбрясь, стараясь успокоить бьющееся в страхе сердце, смело посмотрела ему в глаза:

— Я тоже человек, поэтому не гляди таким зверем, разожми кулаки и ответь на мой вопрос.

Прежней Гульзат, забитой, испуганной, валяющейся у ног, не было, и он, удивленно расширив глаза, некоторое время смотрел на меня, затем отступил и бросился вон из комнаты. Я несколько раз окликнула его. Ответа не было.

Шли дни, синяки на теле рассосались, и опять возвращалось старое. Но с каждым днем в доме начали прибавляться беды. Свекра сняли с работы за то, что не был выполнен план по хлопку, за самоуправство, стяжательство. А потом некогда всемогущего башкарму исключили из партии, и дело передали в суд.

В свое время по воле отца Капар был назначен завскладом. Теперь к нему приехала ревизия. Злая ведьма рекой лила горькие слезы. Он проклинала Эргеш-аке и принесшую в их дом несчастье, то есть меня.

Я лежу обессиленная. Вчера утром родила девочку. Но моим домашним нет дела до нас. Даже не пригласили Айсылкан-эдже. Никто не справился о моем здоровье, никто не поцеловал новорожденную. Когда раздался первый крик ребенка, свекровь сидела в соседней комнате, но сделала вид, что ничего не слышит… Что поделаешь? Пришлось самой перерезать пуповину и завернуть крошку в пеленки.

А мой злодей изрек: «Родила девочку и думаешь горы своротила?!» — и, метнув свирепый взгляд, исчез, как в воду канул. Я поняла: рождение девочки в этом доме было хуже появления кутенка.

Я попросила проходившую женщину сказать моей матери о рождении ребенка. Со слезами на глазах среди ночи прибежала она. Сразу же выкупала ребенка, закутала в разорванное платье и начала стирать мою одежду. Слезы текли из ее глаз не переставая, сердце, любящее сердце матери, видимо, разрывалось на части.

И вдруг до нас донеслись брань и проклятия. Это свекровь, сидя у себя, поносила и моего ребенка, и меня, и мою мать!

Закусив губы и заставив молчать мать, я решила терпеть. Сразу, как хотели мои родители,

уйти из этого дома я не могла. Конечно, уйти-то уйду, но сначала отомщу… Да, так я и решила. Ради этого стоило и потерпеть. Ведь не каждым ударом выбивают глаз.

Муж совсем переменился. Иногда заходит к родителям, а ко мне ни разу не заглянул. И не подумайте, что из-за девочки, нет, их души гложет другое: по их мнению, на свекра и мужа донесла я.

Так текли тяжелые дни. Видимо, счастье еще не совсем покинуло меня, вскоре начала поправляться. И дочка росла хорошо, спокойно.

Однажды свекор вернулся до предела разгневанный. «В проклятый дом приходит проклятый человек, это он все испортил!» — громко сказал он и прошел к себе, заговорил с женой.

И тут я узнала: сегодня арестовали Капара. Оказалось, что он взял у заведующего фермой двух бычков, чтобы покрыть растрату на складе, но его поймали. И еще — на него подали в суд за то, что он меня избивал. Значит, Айсылкан-эдже выполнила свое обещание!

На другой день из района приехали люди и описали восьмикомнатный дом со всем содержимым. И стала я вольной птахой — лети на все четыре стороны. Ну и пусть! По крайней мере, ни-

кто не обвинит меня в краже Капаровых вещей!

Зашла Айсылкан-эдже, и я ей рассказала обо всем пережитом в этом доме. Она кое-что записала, сказала, что передаст Эргеш-аке. Но о своих планах я не стала ей ничего говорить. Даже родителям не хотела сообщать…

Отправила мать домой. Я знала, что расстаюсь с ней надолго и прощалась со слезами. Мать почувствовала что-то неладное, она медлила уходить, нехотя собиралась и тоже плакала.

Когда мать ушла, свекор и свекровка пожелали войти ко мне, но я, закрыв двери, не впустила их.

«Милый отец! Милая мама! На коленях и со склоненной годовой прощу — простите меня. Вечно вам благодарна. Вы ни в чем не виноваты, вся вина ложится только на меня. Эту маленькую девочку возьмите и удочерите. У нее нет еще имени. Если согласны, пусть она носит имя Гульзат! А меня забудьте совсем, Не ищите меня. Никогда и нигде меня никто не найдет. Я ухожу, чтобы не видеть свекра и свекровку, сердце к Капару оледенело. Прощайте! Гульзат».

Записку я спрятала на груди дочурки и, закутав ее в маленькое одеяльце, подошла к окошку… Может, оттого, что этот дом мне казался змеиной норой, или оттого, что хозяева опостылели мне, но расставалась я со всем без сожаления.

Осторожно открыла окно, с еще большей осторожностью спустилась… Огляделась, прислушалась… Вокруг все спало. Шла, то останавливаясь, то убыстряя шаг. Через час подошла к родительскому дому, милому сердцу крову, где родилась и выросла.

«Где ты была? Как здоровье? Я соскучился по тебе», — как будто говорил наш дворняга Аламойнок. Он сразу узнал меня и прыгал вокруг, требуя ласки.

В открытых окнах было темно, только слышался забористый храп отца. Наверно, только что заснули. Ни будить родителей, ни входить в дом я не собиралась. Положила спавшую дочь головой к открытому окошечку, чтобы старики услышали ее первый плач. Теперь можно было исчезнуть. Но я не смогла сразу уйти. Казалось, кто-то приковал меня к родному месту. Все предметы, что лежали во дворе, похрапывающий в доме отец и вот это беспечно сопящее существо будто отняли силы.

Вдруг мать сквозь сон что-то пробормотала. И снова тихо. Сдерживая рыдания, я шагнула из родительского двора… За мной увязался Аламойнок.

Вышла на шоссе. На прощанье бросила верному псу кусок лепешки и перед рассветом села на попутную машину. Аламойнок бежал вслед, а я с полными слез глазами прощалась с ним.

Добралась до Джалал-Абада. Но в школу механизации меня не приняли. Просила, молила — ничего не помогло. Ведь у меня не было не то что направления от колхоза, но даже никакого документа, удостоверяющего личность. Вот беда! Как говорится, «от ям, рытвин побежала, на кочки наткнулась». Пошла искать секретаря комитета комсомола, не нашла. Набралась храбрости и постучала к секретарю парткома Шехову.

Секретарь, слушая меня, только качал головой. В конце я попросила, чтобы никто не знал о моей истории. В кабинет вошел человек средних лет и сказал:

— Секретарь, нам пора в горком.

Как я узнала позже, это был Ланин, директор школы. Секретарь заговорил с директором. Ланин с удивлением и сочувствием посмотрел на меня.

— Мы подумаем, приходите завтра, — сказал

он.

— Александр Илларионович, но у нее здесь нет ни близких, ни знакомых, к тому же ни копейки в кармане.

— Тогда сейчас… Сейчас, давайте выйдем.

Мы вышли.

— Товарищ Темиралиев, — позвал директор человека, стоявшего в стороне. Тот быстро подошел. На вид ему за тридцать, лицо чисто выбрито, одет скромно.

— Вы не видели Розу Алексеевну? — спросил директор.

— Только сейчас уехала.

— А где Султан?

— Ушел в горисполком.

— Тогда, дорогой, сами сделайте. Возьмите на полное иждивение до девяти утра вот эту девушку. Об оплате договоримся позже.

— Плата? Что вы, Александр Илларионович, — обиделся Темиралиев.

— Ну, тогда заранее спасибо! До свидания, девушка! — директор с секретарем направились к стоявшему невдалеке «Москвичу».

— Познакомимся, сестричка. Я преподаватель школы Акбаралы Темиралиев.

— Акмарал Бугубаева, приехала учиться.

Не удивляйтесь: я заранее придумала себе новое имя и новую фамилию!

— Очень хорошо! Двери нашей школы открыты. А некоторые наши классы выглядят вот так, — сказал Темиралиев, показывая на ряд машин, стоявших на северной стороне большого двора, и улыбнулся.

Он привел меня в свой дом. Куча маленьких детей с визгом встретила его. Как просто он был одет сам, так были одеты дети и такой же скромной выглядела обстановка квартиры. Акбаралы начал знакомить меня с детьми, в это время с базара вернулась жена. У нее сразу изменилось лицо. Видно, не разобравшись, хмурить брови — это свойственно и и женщинам и мужчинам наших мест!

Акбаралы объяснил, что привел меня по просьбе директора, и познакомил меня. Жена немного отошла, но, пожав мою руку, молча принялась готовить ужин, искоса кидая на меня изучающие взгляды.

Пятеро детей Акбаралы напоминали мне оставленную крошку, и на глаза невольно навернулись слезы. Акбаралы ушел на кухню, помогал жене. Или он боялся жены, или у него такой характер, словом, он не говорил со мной, ни о чем не рас-

спрашивал.

Я занялась детишками. Мы быстро сошлись и начали играть. Из-за игрушек возникали ссоры, но тут же раздавался смех, затевались новые игры, словом, шла обычная ребячья жизнь.

— Кончайте, будем ужинать, — сказал Акбаралы.

— Ну, гостья, занимай место, — пригласила жена Акбаралы, подавая плов.

Я вымыла руки и присела.

— Муж у тебя есть? — как бы между прочим поинтересовалась хозяйка.

— Нет, — солгала я.

— Ну, что ты пристала со своими расспросами к незнакомому человеку! — заметил Акбаралы.

— Э-э, ты чудак… Гость сидит с нами за едой, когда же расспросить, как не сейчас?

Узнав, что я не замужем, хозяйка немного успокоилась и даже повеселела. Но если б она знала правду, я уверена — приревновала бы к Акбаралы, не поглядела бы на разницу в летах.

— А где твои родители? — продолжала расспросы хозяйка.

— Отца недавно перевели работать на север, а я осталась здесь.

— Да ну? Как мать могла оставить тебя? И зачем

ты осталась? Неужели там негде учиться?

— Мой любимый служит в армии, должен вернуться на следующий год. Он здешний, его хорошо знают мои родители…

Не зная, что говорить дальше, я замолкла.

— Бери, бери плов, — еще радушнее стала угощать хозяйка. — Ты очень хорошенькая, дай бог счастья. Значит, до приезда жениха ты решила стать хозяйкой машины? Пусть сбудется твоя мечта! Если твой жених мастер на все руки, то и ты должна владеть хотя бы одним ремеслом. А я вот вышла за него, нарожала пятерых и теперь сижу. Что будет, если вдруг случится что-нибудь? Просто не знаю. И теперь все время молю о его здоровье, — сказала дженге и, засмеявшись, толкнула в бок Акбаралы.

…На другое утро мы с Акбаралы-агой пошли в школу.

— А-а, вот и ты! — радостно встретил меня секретарь — Иван Николаевич. По его выражению я поняла, что вопрос обо мне уже решен. Мы зашли к директору, а Ланин, показывая взглядом на только что вошедшую высокую симпатичную женщину, сказал:

— Дочка, познакомься, это наш мастер по производственному обучению, преподаватель Роза

Алексеевна.

— Бугубаева Акмарал.

— Дочка, о тебе мы говорили и решили принять с месячным испытательным сроком. Плату за содержание я взял на себя, как-нибудь перебьемся. Хочу сказать об одном: если в течение месяца будешь учиться на «отлично»... — подняв на меня глаза, он запнулся. Оказывается, от радости по моим щекам ручьем текли слезы.

— Ничего, ничего, успокойся. Если говорить короче: свою судьбу решите вы сами. Насколько хорошо будете учиться, настолько и добьетесь успеха. Мы вам верим... Если будете хорошо учиться, может, сосватаем за какого-нибудь богатого председателя, — пошутил он. Все рассмеялись.

«Сосватаем за богатого председателя!» — слова эти словно ножом резанули по сердцу. Но, как позже объяснила Роза Алексеевна, это имело совсем другой смысл, чем я подумала.

С этого дня и началась моя новая жизнь. Директор определил меня в женское общежитие, но Роза Алексеевна, жившая одна, взяла меня к себе. Ее внимание глубоко тронуло меня. Она подарила два своих немного поношенных платья. «Свое спрячь, на занятия будешь надевать вот

эти. Приходится возиться с маслом, железом», — пояснила она. Роза Алексеевна познакомила с преподавателями, велела списать расписание.

После уроков я все время пропадала у хлопкоуборочных машин. Если бы это помогло, я бы, кажется, чтобы узнать их секреты, готова была их проглотить. К несчастью, надо было тратить несколько часов на сон. Зато все остальное время суток я занималась.

За прилежание первое теплое слово я услышала от нашего механика Темиралиева. Он похвалил меня перед всеми девушками и молодками нашей группы, даже поставил в пример.

Вторую благодарность я получила от Розы Алексеевны, третью — от мастера по слесарному делу. Я не возгордилась, продолжала учиться с еще большим упорством. Но однажды Роза Алексеевна посоветовала поберечь себя.

Как-то в воскресенье мы встали очень поздно… Возвращаясь из столовой, она сказала:

— Акмарал, твоих сил, твоего ума хватит не только на одну хлопкоуборочную машину. Может, возьмешься за изучение другой? Например, трактор «Беларусь». Его легче изучить, чем хлопкоуборочную. Вот закончится сбор хлопка, что ты делать будешь? Ждать следующего урожая?

А если освоишь «Беларусь», можешь работать круглый год. Дело найдется: зимой — возить грузы, весной — пахать, после сева — культивировать хлопчатник или кукурузу. Подумай. Если согласишься, то я поговорю с преподавателем тракторного дела, он поможет и в неурочное время. У него есть очень способный ученик, Алтынбек. Вот это парень! Умница, душа-человек. Я познакомлю тебя с ним, он тебе поможет. Не бойся, он не станет время убивать на болтовню с тобой… Акмарал, Акмарал… Если б у тебя не было жениха… — понизив голос, закончила Роза Алексеевна.

Я ничего не ответила, задумалась. Конечно, думала не об Алтынбеке, а о ее предложении. Она была права, но справлюсь ли я?

На другой день пошла к Ивану Николаевичу посоветоваться. У него сидел молодой парень. Видимо, они говорили о чем-то приятном — вид у них был веселый.

— Заходи, заходи, Акмарал, не стесняйся, — сказал секретарь, поднимаясь со стула и подавая руку. Парень тоже встал. Я и раньше встречала его то в столовой, то на тракторном полигоне, но имени не знала.

— Да, познакомьтесь: это вот Назарбеков Ал-

тынбек. А это — Акмарал Бугубаева! Она изучает хлопкоуборочную машину.

Когда поняла, что передо мною человек, которого так расхваливала Роза Алексеевна, я смущенно подала руку. «Обжегшись на молоке, дует на воду». Я боялась этих джигитов, да и многие девчонки нашептывали: «Не верь им, держись подальше».

— Вот Алтынбек говорит, что трактор уже водит одним мизинцем и потому хочет изучить хлопкоуборочную машину. А с чем пришли вы?

— У меня обратная просьба.

Секретарь усмехнулся.

— Ну, что же, дело хорошее. Но помните — убить одной пулей двух зайцев трудно. Не подведите меня и преподавателей.

С того дня я перестала ходить на прогулки, в кино, не помнила — когда будний день, а когда воскресный. Когда-то дома я не переносила запаха керосина, меня мутило при одном виде чумазых шоферов или трактористов, а теперь сама могла даже обедать, не снимая спецовки, кое-как сполоснув руки в керосине. И Алтынбек выглядел не лучше.

Мне было очень трудно. Иногда казалось, больше не выдержу, сил не хватит… Хотелось все

бросить, как следует вымыться, поспать вволю. Но мои наставники и Алтынбек умели вовремя подбодрить, помочь.

Роза Алексеевна не ошиблась. Алтынбек действительно оказался умным, душевным парнем. Он охотно отвечал на мои вопросы, а если что сам не знал, не стесняясь, обращался ко мне… Иногда Роза Алексеевна приводила его домой, чтобы мы вместе занимались. Мы ее считали больше товарищем, нежели преподавателем.

Шел четвертый месяц моей учебы. Я уже водила «Беларусь» так же привычно и ловко, как женщина поправляет платок на голове. Мы с Алтынбеком даже стали ездить на пришкольный хлопковый участок. Но у нас была общая беда: остановится машина, и мы теряемся, не знаем, с какой стороны к ней подойти. Говорят, что хороший тракторист причину перебоев в моторе может узнать по звуку, но я от этого была еще ой как далека. Видимо, это приходит не сразу.

А хлопкоуборочную машину я уверенно вожу во дворе школы. Езжу неплохо. Но как все это будет выглядеть в поле? Ну, хотя бы денек попрактиковаться! Беда — негде! И вот день и ночь мучает одна мысль: как пойдут дела в колхозе, смогу ли хорошо работать? Не будет ли ругать

бригадир? Оправдаю ли я затраты на мое обучение?

Последний вопрос — не из простых. Теперь меня содержит колхоз имени Ленина. Помните? Директор сказал: «Будете хорошо учиться, сосватаем за богатого председателя».

Это «сватовство» произошло в один прекрасный день. Во дворе стояли выстроенные в ряд хлопкоуборочные машины. Десятка два девушек и молодок облепили их, словно воробьи дерево. Одни на бункерах, другие копаются в моторах, третьи сидят за рулем… Перед каждой — тетради, учебники, инструменты.

Все чумазые, потные, растрепанные.

Справа от меня стояла худощавая, высокая Багдад-дженге. Ей было около сорока, в школу она попала по настоянию мужа. Слева — Каснет. У нее судьба сложилась иначе: чтобы пойти учиться, ей пришлось разойтись с мужем. За нею Турун, Турдукан, Мейримкан, Азизахан. Еще у одной машины — Бурмахан, Сонаяным… Стоял обычный жаркий день…

— Девушки, здравствуйте! — послышался неожиданно голос директора.

— Здравствуйте! Успешного дела! — повторил за ним незнакомый человек.

От смущения некоторые девчата даже попрятались. Еще бы... У незнакомца был такой щегольский вид: стального цвета макинтош, такая же шляпа, блестящие остроносые туфли. К тому же пышные усы, горящие глаза и белозубая улыбка. А мы-то такие грязнули!

Александр Илларионович подошел ко мне и зашептал:

— Сосватаю я тебя за этого председателя, он самый богатый во всей области. Он из колхоза имени Ленина. Дела там пойдут хорошо, об остальном договоримся. Помни — своих воспитанниц мы не даем в обиду и плохого им не желаем. Согласна?

В свой колхоз я не поеду — это я решила твердо. Я знала: директор по-отечески желает мне добра. Без слов посмотрела ему в глаза и, улыбнувшись, кивнула.

С этого дня я стала членом колхоза имени Ленина, хотя я не знала, где этот колхоз, не знала ни его людей, ни даже фамилии председателя. Они платили за мое обучение в школе, значит, я должна буду честно отработать.

Но смогу ли? И скажет ли спасибо за мою работу щегольски одетый председатель? Смогу ли я завоевать любовь почтенных людей, чтоб они

отнеслись ко мне, как родители?

До сих пор я ничего не знаю о своих, ничего не знаю о безымянной дочурке. Как они там поживают? Какие страдания переносят из-за меня? Что говорят обо мне односельчане? Какова судьба бывшего свекра, бывшей свекровки, бывшего мужа?

Уходя из аила, я поклялась никогда не возвращаться. Но сейчас колебалась. Так хочется обнять родителей, прижать к груди маленькую, хочется вернуться, заботиться о них. Встретить подруг и, как в детстве, весело пошушукаться, похохотать с ними. Но как все это сделать? Неужели обману председателя колхоза, директора школы, секретаря парткома?

Нет! Так я никогда не сделаю. Я должна поехать в колхоз Ленина и честно трудиться. И я учусь, учусь, не зная ни минуты покоя. Если бы только не боязнь, что дело у меня не пойдет. Я так и представляю, как безжалостные языки насмехаются: «Э-э, несчастная, оказывается, опять стоит». «Не умеющая ходить по ровной земле, решила подняться на гору». «Наверно, преподавателям понравились ее глаза, вот и окончила школу». «Ничего она не знает, иначе не стояла бы в такую горячую пору».

Ух! Как представлю себе все эти разговоры, так все валится из рук, перестаю что-нибудь понимать.

А тут еще обносилась совсем. В школу, ссылаясь на жаркую погоду, бегаю босиком. А вдруг пойдет дождь? Опозорюсь тогда перед всеми. Знает об этом только Роза Алексеевна и помогает, как может. Вот, уезжая во Фрунзе, оставила десять рублей: «на мелкие расходы».

Сегодня у нас кино. Я, конечно, не пошла, закрыла дверь и стала готовиться к занятиям. Кончив заниматься, хотела уже было лечь спать, как раздался тихий стук. Осторожно открыла — стоит Алтынбек. Он, видимо, сразу заметил мое беспокойство и сказал:

— Не бойся, Акмарал. Я не войду в дом. Вот это я принес тебе.

— Мне ничего не надо, оставьте!

— Акмарал, не думай плохо! Это моя товарищеская помощь. Когда заработаешь, вышлешь по почте, — сказал он и, схватив меня за правую руку, сунул бумажный сверток и тут же убежал.

Я не успела ничего сказать. Но услужливая память напомнила капаровские покупки в Оше, и я бросила сверток. «Прежде чем раскрыть — подумай. Как бы капаровский дьявол опять не

посетил тебя. Как бы это не было капканом, из которого ты больше не вылезешь».

Долго я раздумывала и плакала, обиженная на свою судьбу, но в конце концов осмелилась… Сверху лежал лист бумаги:

> «Акмарал, видя твое затруднение, решил помочь. «Можешь не верить зверю, но в человека верь», — говорит народ. Сегодня ты в беде, но верю — все хорошее впереди. Когда заработаешь, вернешь долг».

Не знаю почему, но я залилась слезами. Передо мной лежали: шелковое узбекское платье, лаковые туфли на низком каблуке, тапочки, чулки капроновые и простые, десять рублей денег, а на них позолоченные сережки.

И вдруг мне стало страшно: а если кто-нибудь увидит и слезы и вещи. Я потушила свет.

На другой день на занятия я опять пошла босиком. Мне казалось — надену чулки и тапочки, и сразу все обратят внимание, начнут надо мной смеяться.

Алтынбек пришел раньше и возился с хлопкоуборочной машиной.

— Здравствуйте! — приветствовал он.

— Здравствуйте! — ответила я тихо. Я никак не могла посмотреть ему в глаза.

— Мою помощь, значит, отвергла?

— Нет, постеснялась товарищей.

— Э-э, товарищи не стесняются того, что не могут помочь, а вы их стесняетесь? Эти ваши товарищи сплетничают про нас, — сердито буркнул Алтынбек и отвернулся.

Он был прав, и я не могла ничего ему возразить. На вечер было назначено собрание. Я нарядилась во все подарки и даже нацепила серьги. Увидев меня, Алтынбек счастливо улыбнулся.

«Ой, где ты взяла деньги? Сколько стоит? В каком магазине купила, есть ли еще такие платья?» — посыпались вопросы подружек. Пришлось солгать — деньги прислал отец, а покупки сделала в магазине около вокзала…

А джигиты шептались: «Вот это да! Акмарал — настоящая красавица! Кажется, ее любимый в Армии. Скорее закройте двери, чтобы он не вошел!»

Я же молча улыбалась.

Алтынбек не любил похвал, а я, привыкшая к ним с детства, получила горький жизненный урок. Многому научила и школа. Теперь стоит меня похвалить, как я опускаю голову.

На другой день опять начались занятия. На нашем участке при училище уже стали раскрываться коробочки хлопчатника. Но разве на всех хватит двадцати гектаров? Не успели мы оглянуться, как подошли экзамены. Одни волновались, другие — те, кто чувствовал свою слабость, — не на шутку собирались бежать. А неисправимые хвастуны заявляли: «Проучились шесть месяцев, денег на нас истратили уйму. Так неужто без документов отправят? Как-нибудь вытянем на «тройки». А в колхозе возьмем в руки председателя, и все будет в порядке».

Я верила, что сдам экзамены. Конечно, круглая «пятерка», может, и не будет, но «хорошо» — обеспечено. Меня больше пугали колхозные поля, на которых надо было сдавать не школьный, а настоящий экзамен. Вдруг машина остановится, а я не смогу сдвинуть ее с места? Тогда грош цена всем моим оценкам!

Роза Алексеевна, видно, поняла мое состояние, взялась консультировать…

Наконец, первый экзамен…

Не помню, как я отвечала, что говорила, только вдруг слышу аплодисменты. Я очнулась.

— Спасибо, дочка, долгих лет жизни тебе! — сказал Александр Илларионович.

Когда я вышла, Алтынбек бросился ко мне:

— Молодец, Акмарал, я слышал твой ответ.

Поздравляли и другие товарищи. Как же — шесть месяцев проучились вместе и сейчас радости и горечи делили вместе.

Экзамены продолжались…

В параллельной группе учился парень по имени Асылбек. Он всегда приставал ко мне:

— Сестрица, постойте, давайте поговорим. Может быть, сестрица, прогуляемся? Вы из какого района, может, познакомимся? Хоть скажите слово, я приму его за пение соловья.

А потом не раз слышала колкости:

— О-о, далеко нам до таких сестриц, недоступны они. Ей ровня Алтынбек. А его она добыла по специальному заказу…

Я не обращала внимания на его остроты. Это его еще больше злило. А как он наряжался! Пройдет мимо, от него так пахнет тройным одеколоном, будто он только что в нем выкупался. С ребятами разговаривал заносчиво, над девушками зло и двусмысленно подшучивал.

И вот этот хвастливый гордец провалился по двум предметам. Как рукой сняло с него заносчивость, болтливый язык словно присох. Теперь девушки, которых он доводил до слез, не давали

ему спуску.

Мы пошли обедать. За одним из столов сидел Асылбек. Я, Каснет, Азизахан и Багдад-дженге заняли соседний стол.

— А, Асылбек-джан, как идут экзамены? — с самым невинным видом спросила Азизахан.

— Ну, такие джигиты, как Асылбек, сдают, конечно, только на «отлично», — пустила первую стрелу Каснет.

— А-а, так вот почему с начала экзаменов он ходит один. Возгордился, значит! — подбавила молодка, сидевшая за другим столом.

— Так у него же не только прическа блестит, но и ум, разве не видите?

— Ну, если джигит золотой, то хоть дважды вываляйте его в грязи, все равно будет блестеть, — подсолила я.

— Хватит! — вскричал Асылбек, весь дрожа, и, стукнув кулаком по столу, встал.

— Эй-эй, джигит, спокойней, ведь это казенный стол, а не наши бока! Платить придется, — вмешалась Багдад-дженге.

— Ну, ему бояться нечего — вот сдаст экзамены и заработает в первый же день несколько сот рублей…

Асылбек, дрожа от злости, бросился вон из сто-

ловой. Вслед ему раздался громкий хохот.

Вечером я было собралась в кино, как вдруг вошла Багдад-дженге и сказала:

— Не выходи. Асылбек приехал на такси и спрятался вон там, за деревьями. Он ищет тебя, как бы чего не случилось.

На другое утро об этом уже знали директор школы и секретарь парткома. Кто-то сообщил. Но Асылбек сбежал, другого выхода у него не оставалось. А мысль у него была такая: заманить меня в машину и увезти в жены. Хотела я этого или нет — это его не беспокоило.

На другой день я успешно сдала экзамен по хлопкоуборочной машине! Вот это праздник был! Когда я получила удостоверение на право вождения хлопкоуборочной машины и трактора «Беларусь», слезы брызнули из глаз…

— Что с тобой, дочка? Если ты будешь плакать и в радости и в горе, то скоро станешь старухой… Ну, успокойся, ведь все обошлось, теперь перед тобой ровный путь, — по-отечески успокаивал директор.

Я вытерла слезы, улыбнулась.

— Александр Илларионович, напишите мне адрес колхоза.

— Э-эх, дочка! — расхохотался он. — Неужели

до сих пор не знаешь, где колхоз имени Ленина? Шесть месяцев училась вместе, ездила на одном тракторе с Алтынбеком, и неужели он ничего тебе не сказал?

— Ой, разве он из того колхоза, куда я должна ехать?

Директор снова усмехнулся и кивнул. Я почувствовала, что краснею…

Когда я вышла из кабинета, Алтынбек торопливо прощался с товарищами, собираясь уезжать…

— Акмарал, получила документы? Прекрасно! Шесть месяцев учились вместе, теперь пора прощаться и ехать по своим колхозам. Где бы ты ни была, пусть сбудутся твои мечты и всегда сопутствует тебе радость! Хочу что-то дать тебе почитать… Не обидишься? И напиши, прошу, здесь есть мой адрес! — Он смущенно сунул мне довольно плотный конверт.

Зажав письмо в руке, я рассмеялась.

— Ах, Алтыке, не знала, что ты такой притворщик!

— Что?

Оказывается, Алтынбек ничего не знал о разговоре председателя с директором, был в полном неведении о моем назначении. А я тоже хороша — даже не поинтересовалась узнать о колхозе,

куда должна была ехать, о колхозе, где родился и вырос Алтынбек. Мне было все равно; «Куда бы ни послали, должна отблагодарить работой председателя, колхоз, который взял на себя расходы», — думала я.

Алтынбек недоверчиво спросил:

— Неужели в наш колхоз?

— Да.

— Акиш, тогда готовься. За нами придет машина! — почти крикнул Алтынбек и со всех ног побежал в общежитие.

А какие у меня сборы? Все, что было, надела на себя, несколько книг завернула в газету и положила в сетку, расцеловалась с Розой Алексеевной — вот и все сборы. По дороге к конторе встретила Ивана Николаевича.

— Итак, товарищ Бугубаева, едешь в свой колхоз? Смотри, не подведи нас, работай так же, как училась. А то есть такие глупцы, что, поучившись у нас, в колхозе бахвалятся, задирают нос. Вот в прошлом выпуске был такой парень — Алымбай. Приехал в колхоз и начал хвастаться, не слушал бригадира и председателя, пил, прогуливал. Конечно, пить ты не начнешь, но все же…

— Понимаю, Иван Николаевич!

— Раз понимаешь, то хорошо. Дорожи рабочей

честью.

— Спасибо, Иван Николаевич. Я никогда не забуду вашей помощи!

— Спасибо, девочка! Хочется, чтобы народ тебя похвалил. Тогда и мы будем тобой гордиться. Ну, прощай, доченька!

Я обошла наши классы, кабинеты, площадки для машин, мастерские, попрощалась с подругами. Грузовика из колхоза все не было. И тут я вспомнила о письме, которое мне сунул Алтынбек. Нетерпеливо разорвала старательно заклеенный конверт. Несколько листов, исписанных карандашом.

«Луноликая Акмарал! У каждого человека есть мечта, светящая ему словно далекий маяк. Когда я окончил десять классов, хотел поступить в институт. Видел себя зоотехником, ветврачом, агрономом, даже председателем колхоза. Видел себя и известным ученым. Но мечта не сбылась. Не повезло мне. Только я собрался поступить в сельхозинститут — тяжело заболел отец. Три года пролежал он и выздоровел лишь прошлой осенью. Думал в этом году поехать учиться, но

неожиданно умерла сестренка. Я не мог надолго оставить родителей и решил поступить в нашу школу. Вот я и стал водителем двух машин, больше ничего я не умею делать. Но я не в обиде на жизнь. Я благодарен ей. Потому, что встретил Акмарал! Ее ум, человечность нравятся мне, она незаметно, словно магнит, притягивает к себе.

Акмарал, я не верю ни в твоего любимого, ни в родителей, живущих где-то в Прииссыккулье. Что за глупый джигит, который в течение шести месяцев не прислал ни одного письма? И что за жестокие родители, которые не написали дочери ни одного письма? О том, что ты в школе совсем не получала писем, мне сказала секретарь нашего директора. Ведь вся почта идет через нее.

Когда Нармамат и Джапар подсунули тебе письма с объяснениями в любви, ты показала их мне и разорвала, сказав, что хорошо знаешь таких парней… И еще одно мое невольное наблюдение. Когда твои подруги в группе заговаривали о родителях, о плохом муже, о ребенке, на

твоих глазах, Акмарал, набегали слезы. Это я замечал несколько раз…

Акмарал, извините за то, что не умею писать стихи или говорить красивой прозой, за то, что не смог наряжаться, чтобы понравиться вам. Я не сторонник скороспелых объяснений в любви и свадеб, за которыми следуют размолвки, ссоры, чего я и вам не желаю. А может быть, просто-напросто боялся быть отвергнутым…

Но вот, кажется, кое-как объяснился. Надеюсь, что напишешь ответ, пусть просто, как товарищу. Но если мне найдется место в уголке твоего сердца, я буду счастлив! Я жду и верю. Мои родители очень хорошие люди, они тебя не обидят, примут, как родную дочь… А лучше увидеть их своими глазами…

Прости за длинное письмо… До свидания, Акиш! Будь счастлива!»

Я читала и не знала, что делать — бежать, скрываться? А тут еще, наконец, пришла из колхоза машина: председатель прислал свою «Волгу»… Я забилась в уголок, вся сжалась, опустила голову… Алтынбек сел рядом с шофером и лишь изредка

заговаривал с ним о хлопке.

Часа через полтора шофер, сворачивая с шоссе на проселочную, дорогу, посмотрел на меня и, ухмыльнувшись, сказал:

— Сестрица, теперь мы уже на своих землях. Вон то большое село — наше. В нем две бригады. Западнее — третья бригада, а восточнее — четвертая. Пятая еще дальше…

Я ничего не ответила. В голове было пусто, а в ушах стоял сплошной гул.

Вскоре мы подъехали к конторе правления. На крылечко вышел председатель колхоза и несколько незнакомых людей. Мы поздоровались.

— Если не ошибаюсь, ваша фамилия Бугубаева, зовут Акмарал? — спросил председатель.

— Да.

— Товарищи, познакомьтесь. Сестрица Акмарал — мастер-водитель хлопкоуборочной машины да к тому же и трактора. Алтынбека вы знаете. Они закончили курсы на «отлично», вот я и послал за ними машину. А если б учились плохо, пришлось бы добираться пешком. — Председатель рассмеялся. — Товарищи мастера, вот что я хотел бы сказать вам: мы сейчас, только что провели заседание правления. Уточнили свои

планы уборки хлопка. Сбор начнем через два дня. Думаю, хватит вам двух дней на подготовку ваших тулпаров?

— Хватит, — нерешительно ответил Алтынбек.

— А может, сестрица не управится? Все же она… — протянул один из стоявших позади башкармы. (Потом я узнала — это был бригадир третьей бригады).

— Если таким сильным джигитам, как Алтынбек, хватит двух дней, то такой слабой женщине, как я, хватит и одного дня, — сказала я как можно спокойнее.

Председатель усмехнулся и обернулся к членам правления:

— Товарищи! Надо пересмотреть решение одного вопроса. Алтынбека мы хотели было оставить в первой бригаде, а Бугубаеву назначили в третью. Давайте сделаем перестановку. Не возражаете?

Все согласились.

— Ну, а теперь к Назарбек-аксакалу, он уже давно ждет сына и нас. Пойдемте, дорогая Акмарал! — председатель спустился со ступенек и взял из моих рук сетку, но ее тут же кто-то перехватил.

— Теперь мне придется понравиться тебе, — сказал бригадир третьей бригады Алтынбеку и

поднял его чемодан. — Ай, ай, Алтыке, в твоем чемодане не сидит ли девушка из Джалал-Абада?

Они шли сзади и громко смеялись. Бригадиром первой бригады оказался Бакир-ака, человек лет за сорок. Я обратилась к нему:

— Машина, на которой я должна…

— Машина в нашем сарае, — не дал он мне договорить, — совершенно новая. Недавно вызывал механика, он проверил и даже поездил немного. Но парень он не особенно надежный, лучше погляди сама, доченька. Утром зайду за тобой.

— А сегодня нельзя?

— Сегодня ты, дочка, лучше отдохни.

Мы шли, разговаривая только про свои дела, пока не увидели выбежавших из калитки родителей Алтынбека.

— Родненький мой сыночек! — запричитала мать сквозь слезы. Она обняла Алтынбека, расцеловала, потом покружила над его головой пиалу с водой, велела трижды плюнуть в нее, выплеснула воду и только тогда уступила место отцу.

— Успокойтесь, Акпары-дженге. Познакомьтесь и с гостьей, — разглаживая усы, сказал председатель.

Мать Алтынбека обвела всех встревоженным взглядом. Увидев меня, она удивленно расшири-

ла глаза, отступила и вдруг залилась слезами.

— Миленькая, как ты похожа на мою Гульзаду, — запричитала она. — Да стать мне жертвой за тебя!

Отец Алтынбека, рыжеватый, среднего роста, с густой бородкой, кивком поздоровался со мной.

— Здравствуй, дочка.

Мы вошли в дом, расселись на одеялах. Комната была чистой, аккуратной. На стене я увидела большую, увеличенную фотографию. Словно кто в сердце кольнул — настолько девушка была похожа на меня. Я даже подумала, что вижу свой портрет. Потом опомнилась. Это была, конечно, Гульзада.

Назарбек-аксакал возился около котла. Акпары-апа раздувала самовар, Алтынбек куда-то пошел.

А наша компания, что шумно шла по улице, теперь сидела тихо, будто каждый набрал воды в рот. Я сразу догадалась — почему. Причиной, конечно, была я. В наших местах женщины не сидят с мужчинами, а если случается такое, то мужчины словно лишаются языка, глядят на нас тоскливо. Я старалась придумать какую-нибудь причину, чтобы выйти к Акпары-апа и вдруг на счастье услышала ее голос:

— Мои дорогие гости, кто из вас самый млад-

ший, помогите внести самовар.

Я сразу же вскочила.

— Ой, ой, сидите… Вы же гостья… Здесь есть кому принести самовар, — заметил председатель.

— Но приглашают же самого младшего, — ответила я и вышла. Когда внесла самовар с улицы в первую комнату, опять послышался голос Акпары-апа:

— Эй, ребята, как не стыдно вам, заставили работать гостью!

Но пока разговаривающие шевельнулись, я уже поставила самовар на низенький столик.

— Я буду наливать, а ты подавай гостям, — сказала Акпары-апа бригадиру четвертой бригады.

Я быстро подсела к самовару и, разлив в пиалы чай, выстроила их в ряд на поднос.

— Будь счастлива, дорогая! Будет правдой, если скажу, что ты — копия моей Гульзады. Если не приглядываться, то можно вас было бы спутать, — сказала она, вытирая кончиком платка навернувшиеся слезы. — Да стать мне жертвой, — прошептала она.

Я налила на двоих чаю и уже хотела начать чаепитие. Как вошел улыбающийся Алтынбек. Увидев меня в передней, нахмурился.

— Ох, мама, когда вы бросите старую привычку

сидеть отдельно от мужчин!

В это время из комнаты гостей раздался оглушительный хохот мужчин. Алтынбек заглянул в открытую дверь и насмешливо протянул:

— О-о, а я-то гадаю — чего это развеселился Кенеш. Оказывается, выгнав гостью, он расхвастался своими феодальными замашками…

Смех в комнате сразу прекратился. В двери остановился председатель.

— Акмарал, идите сюда! — позвал он.

— Нет, я лучше посижу с апой!

— Алтынбек дал пощечину словом «феодал». Боюсь, как бы еще чем-нибудь не треснул.

— Иди, Гукентай… ах, я… вспомнила Гульзаду. Иди, милая Акмарал! И какое красивое у тебя имя! — ласково подтолкнула меня Акпары-апа.

Со двора вошел Назарбек, держа блюдо с вареной печенью.

— Доченька, я даже имени вашего не знаю…

— Акмарал, — быстро ответила за меня Акпары-апа.

— Зайди в ту комнату и посиди с гостями, милая Акмарал. Гость должен сидеть там, где ему положено. Ты, кажется, с Иссык-Куля? Я слышал, что иссык-кульские девушки наравне с джигитами участвуют в козлодрании. А наши девушки

на такое не способны, не привычны. Если и примут участие, то раскиснут, словно мыло под дождем, — засмеялся Назарбек-ака. — Возьми, детка, вот эту печень и отнеси гостям.

Председателю, который все еще стоял в дверях, я сказала:

— Вы идите, я сейчас…

Быстро порезала горячую печень и понесла гостям. Алтынбек уже разливал выпивку — кому водку, кому вино.

— А почему себе не наливаешь? — спросил Кенеш, бригадир третьей бригады.

— Разве я когда пил?

— А сестричке?

— Спасибо, ака! Я даже не знаю вкуса вина.

— Так попробуйте!

— Хватит, Кенеш, хватит! Нельзя неволить человека. Ну, давайте выпьем за Алтынбека, освоившего две машины, также за Акмарал, тоже освоившую две машины и ставшую членом нашей семьи, и за их трудовые успехи! — поднял тост председатель.

Посыпались шутки, смех…

Обед закончился, гости начали расходиться. Алтынбек попрощался с родителями, сказав, что утром ему заступать на работу, и ушел с Кене-

шем. По настоянию стариков я осталась ночевать у них.

Вечером долго сидели за чаем. Назарбек-ака все расспрашивал о моей жизни. Я была вынуждена лгать ему, как лгала все шесть месяцев в школе. А Акпары-апа то всхлипывала, вспомнив свою покойную дочь, то успокаивалась и нежно глядела на меня.

Я старалась угадать — знают ли они о намерениях сына, но так ничего и не заметила.

— Ой, старина, кончай разговор, — спохватилась Акпары-апа. — Уже петухи поют. Пусть наша гостья хоть немного отдохнет. Посмотри коня, а я постелю.

Она обернулась ко мне:

— Тебе, может, постелить в комнате Гульзады? Не боишься?

— А где ее комната?

— Вон та, влево.

— Мешать вам буду.

— Тогда ложись в комнате Алтынбека.

Но уснуть я почему-то не смогла. Закрывала глаза, считала про себя — ничего не получалось. Вскоре в окнах появился свет. Сейчас должен придти Бакир-ака, с ним пойдем к машине. Смажу, залью водой и горючим и прямо при нем

заведу…

Я быстро оделась и осторожно вышла во двор. Умылась, поставила самовар. Не успела повернуться — над дувалом показалась шляпа Бакир-ака.

— Здравствуй, дочка! Как спалось, милая? И они тебя подняли так рано, заставили ставить самовар? Тьфу, они всегда были такие бессовестные! Когда Назарбек ходил председателем, он все нас заставлял…

Тут на пороге кухни появилась Акпары-апа.

— Эй, что ты болтаешь? Ах, будь я проклята, вчера ведь поздно легла и так крепко заснула. Ах, Акмарал, доченька, и самовар поставила, кипит уж, милая?

— Когда лежишь рядом с ханом, что остается делать рабыне, как не ставить самовар? — сказал Бакир-ака и рассмеялся.

— Апа, а заварка есть?

— Иди, милая Акмарал, сама все сделаю. А то такие, как Бакир и ему подобные, сразу заговорят: смотрите, мол, в первый же день гостью заставила работать, наплетут бог весть чего!

— Никто ничего не скажет, старуха. Как увидел Акмарал, сразу почудилось, что воскресла покойная дочка. И Акмарал, чья бы она ни была

дочь, раз живет в моем доме — мое дитя. Спасибо, милая Акмарал, приятно, что не возгордилась, встала рано и поставила самовар, — вмешался Назарбек-ака, вышедший из дома.

После чая я сказала, что на обед не приду, завернула в газетку лепешку, налила бутылку чаю…

— Акмарал, нельзя так, вон там стоит молоко и мясо есть вареное в кастрюле…

Я только махнула рукой. Надо же и совесть иметь.

Пошли на работу. По дороге Бакир-ага говорил, не уставая:

— Назарбек-ака — чистой души человек. Дважды по нескольку лет работал он нашим председателем и к колхозной соломинке не протянул руки. А какой он отзывчивый и добрый! В свое время был замечательным председателем, да вот не хватает образования… А об Акпары-апа нечего и говорить — вся перед тобой. Никого не обругает, овцу не обидит, всегда ласкает всех.

А какая трудолюбивая! А какая искусница! Из старья сделает такую вещь, что заглядишься. Видела туш-кийизы в комнатах Гульзады и Алтынбека? Это ее работа! Если она рождена для счастья, может, Алтынбек приведет в дом хорошую невесту… Пай, пай, пай!.. Как будет

счастлива девушка, попавшая в руки Акпары-апы!

И так всю дорогу расхваливал Бакир-ака семью Алтынбека.

Наскоро показав машину, Бакир-ака побыл около меня с час и ушел по своим делам. С машиной я провозилась до позднего вечера. Правду сказал Бакир-ака: «Механик наш с ленцой». Смазка загустела, ремней нет…

Есть у нас еще такие люди — ничего не умеет, а зазнайства, спеси на верблюда не погрузишь. Но попробуй сделать ему замечание! Примется исподтишка мстить да с такой расторопностью, что только диву даешься! Начнет вдруг копаться в совершенно исправной машине день за днем, а потом заявит: «Это не в моих силах, надо пригласить инженера». Вот и будешь сидеть без дела…

«Попался бы хороший механик! А главное, надо освоить машину так, чтобы знать не хуже механика», — думала я, возвращаясь домой.

Мысли мои прервал голос Акпары-апы:

— Э, милая Акмарал, ушла с рассветом и ни слуху, ни духу. И лица на тебе нет. Зачем так мучаешь себя? И завтра будет день, еще наработаешься, — запричитала она, заглядывая в лицо на ходу. — Машина такая огромная, будто

навьюченный верблюд… Если б я на нее влезла, наверно, потом с трудом передвигала бы ноги… И завтра пойдешь так же рано?

— Нет, апа, завтра пойду попозже.

— Это хорошо! Сейчас ты умойся. Плотно покушай, отдохни и ложись спать пораньше. Кто возится с машиной, тот должен есть как следует.

Она накормила меня вкусными манты, напоила чаем. Старики, не заводя разговора, пожелали спокойной ночи. Видимо, сказались экзамены, дорога и первый трудовой день: я сразу крепко заснула. Проснулась, когда солнце стояло высоко. Назарбек-ака ушел на работу, а Акпары-апа, не решаясь будить, сидела и ждала с завтраком. Только мы принялись за еду, как появился Бакир-ака.

— А-а, дочка, ну как спалось? Пришел утром, хозяйка выгнала, говорит: спит. Ну, как твоя машина?

— Сейчас пойдем, посмотрим.

— Хорошо!

— Ой, Бакир, пожалуйста, помолчи, пока Акмарал попьет чаю. А лучше и ты садись, выпей…

Я показала Бакир-ака машину. Она была в отличном состоянии. Договорились, когда выезжать в поле, и я вернулась домой.

Но почему же не идет домой Алтынбек? Я часто

возвращалась к этой мысли. Желание видеть его сменялось тоской по дочке. Недаром говорят: «Много еды и прихотей много». Живу отлично, вот и захотела повидать родителей, дочку. Хотя бы краткую весточку получить от них! Может быть, взять да и поехать в родной аил, или написать письмо? Прямо родителям? А не лучше ли послать письмо Айсалкан-эдже, дорогому врачу?..

В раздумьях я незаметно заснула, да так крепко, что только сильный звон будильника разбудил меня. Я потихоньку встала, кое-как ополоснула лицо и быстро пошла в поле. Бакир-ака еще вчера показал мне участок, на котором нужно было начинать уборку. Завела машину. Когда подъехала к участку, там уже ждали Бакир-ака, председатель и агроном.

Передо мной бескрайние хлопковые поля… Всюду бело, даже глаза режет. Председатель и агроном дали последние советы, Бакир-ака шепнул:

— Желаю успеха, дочка!

Машина приблизилась к ровным рядкам. Сердце мое забилось… «Когда собираешь хлопок, надо сосредоточить внимание только на нем, чуть скосишь машину — раздавишь колесами

растения в соседних рядках», — вспомнила я наставления преподавателя Акбаралы. К тому же за мной наблюдали, это волновало и смущало меня. «Может, смотрят на меня с недоверием, смеются над моим неумением?» — думала я. Немного проехав, остановила машину, чтобы посмотреть, что наделала, но встретилась с Бакир-ака, идущим следом за машиной.

— Что остановилась, дочка? Хотела узнать, чисто ли собирает машина? Не беспокойся — работает лучше человека. Если и дальше будет так, считай, что принесла бригаде знамя!

Его слова немного успокоили меня.

К нам заторопился председатель:

— Эй, что там случилось?

Бакир-ака вместо ответа поднял большой палец и похлопал в ладоши.

Коробочки раскрылись хорошо, уже после первого захода бункер заполнился доверху. На краю поля стояла машина. На случай, если бункер наполнится посредине поля, были приготовлены брезенты. Словом, я должна была останавливаться только для разгрузки бункера или для заправки машины.

И все же за моей машиной шли три женщины, чтобы собирать оставшиеся коробочки и подни-

мать упавший хлопок. Но дела для них почти не было, и они шагали рядом, с интересом наблюдая, как работает машина.

— Ой, милая сестрица! — обратилась ко мне хорошенькая молодка, показывая на фартук, на дне которого было немного хлопка. — Как бы Бакир-ака не прогнал меня домой. Ты хоть иногда высыпай немного из бункера, чтобы мы могли похвастаться сбором!

Итак, сбывалась моя мечта — я собирала хлопок! Усталая, запыленная, возвращалась я вечером домой. Не за квартал, как вчера, а на краю аила встретила меня Акпаралы-апа. Вскоре нас нагнал и Назарбек-ака.

— Ну, дочка, как дела?

— Неважно, — ответила я тихо.

— Не шуми на улице, поговорим дома, — прошептала Акпары-апа, оглядываясь. В молчанье мы пришли домой и также молча поели. Первым не выдержал Назарбек-ака.

— Почему неважные дела?

— Не выполнила норму.

— Испортилась машина?

— Нет.

— Кто-то помешал?

— Нет.

— Плохой хлопок, наверно? — догадалась Акпары-апа.

— В этом году лучше прошлогоднего, — ответил за меня Назарбек-ака.

— Тогда почему же?

От их участия и заботы я совсем раскисла и заплакала.

— Ай, ай, дочка! Прекрати... И без твоих слез хватает в этом доме страданий. Разве ты забыла, что Гульзада оставила нам море слез? — отвернувшись, произнес Назарбек-ака, а Акпары-апа молча плакала и смотрела на меня.

Мне стало еще тяжелей от того, что разбередила старую рану этих добрых людей.

— Машина работала хорошо. До обеда собрала две тонны, а после обеда даже тонны не набрала, — сказала я и опять всплакнула. — Почему? Не знаю. Очень руки болят, тяжелые, словно окаменели.

— Эх, старушка!.. — сказал Назарбек-ака и ударил себя по коленям. — Оба забыли! Чем болтать вчера, лучше бы предупредили ее. Заработала себе болезни и испугала нас, — расхохотался он. — Поняла теперь, старушка? Это твоя дочь заболела прошлогодней болезнью, Баштайым. Вставай скорей, начинай лечить, как учила тебя

Наташа. А посуду я уберу.

— О, если только эта болезнь… — как молодая вскочила Акпары-апа.

Я кое-как приподнялась и через силу помогла убрать дасторкон. Мышцы рук и ног болели невыносимо. Акпары-апа достала спирт из аптечки, что стояла в комнате Алтын-бека, затем взяла стакан, положила граммов пятьдесят топленого масла, добавила спирта и, перемешав все это, приказала:

— Раздевайся и ложись в постель.

Из первой комнаты послышался голос Назарбек-ака:

— Э-э, байбиче, не забудь дать вот этого зелья, я приготовил.

Акпары-апа вышла и принесла в пиале какую-то красную жидкость.

— Выпей не нюхая. Скорей, не то лекарство улетучится.

Выпила… Ужас — во рту горело, словно выпила яду… А Акпары-апа своей смесью уже натирала все тело. Потом начала разминать мышцы — чем дальше, тем сильнее. От боли я чуть не закричала. Но через несколько минут стало легче, а руки ласковой Акпары-апы казались мне нежными руками моей милой матери. Я и не заметила,

как заснула. Проснулась от громкого голоса Бакир-ака.

— Салам алейкум, Назике! Как спалось? Здравствуйте, Акпары-дженге! Вот так и надо, а то гостью заставляете ставить самовар.

— Эй, глупец, Бакир. Уж седина пробилась в бороде, а до сих пор ничего не замечаешь. Ведь молодая еще, непривычная к работе…

— А что случилось?

— Заболела она прошлогодней болезнью Баштайым.

— Что? Ах, беда… Да ваша дочь на машине сидела прекрасно. А после обеда часто останавливалась, подумал: просто устала.

— Устала… А не мог сказать, чтобы она не напрягалась, предупредить, что руки и ноги заболят? Или своего языка жалко было?

Я вышла из своей комнаты.

— Что с тобой? — обратился ко мне Бакир-ака.

— Все прекрасно, Бакир-ака! Мою болезнь забрали лекарства… — я не договорила и, обняв Акпары-апа, расцеловала ее, затем поцеловала Назарбек-ака… — и эти два чудесных лекаря.

Минутой позже мне стало стыдно, я покраснела. Конечно, поцеловала Назарбек-ака с дочерней признательностью, но в наших краях даже это

считается непозволительным. Что он подумает обо мне? А что подумает Акпары-апа? Вдруг закричит: «Ах, бессовестная, ты что целуешь моего старика?» Может, мне лучше уйти в другую бригаду? Расстроенная, я выскочила из дома, не перекусив, и побежала в поле. Когда сделала один заход и ссыпала хлопок из бункера, рядом послышался голос Акпары-апа:

— Удачного тебе сбора!

Лицо у нее было сияющее, в левой руке она держала маленькую кастрюлю, в правой — узелок.

— Апа, это вы мне принесли обед? — высунулся из кабины шофер.

— Под тобой четыре колеса, можешь скакать домой. Это я своей дочери принесла.

— И на том спасибо, мать, — сказал шофер и уехал.

— Акинтай, иди покушай, — ласково окликнула старушка, расстилая маленькую скатерку и наливая в пиалу молоко.

Мне было стыдно смотреть ей в глаза. Торопливо взяла лепешку, откусила, запила молоком.

— Не спеши, милая! Утром обязательно надо поесть. Хорошо, что торопишься на работу, но голодной уходить нельзя. Еще молода, поэтому ничего не чувствуется, а потом-то скажется. — За-

тем она посмотрела по сторонам и, придвинувшись, зашептала: — Вот убежала ты, а старик со слезами на глазах долго смотрел тебе вслед.

— Он огорчился?

— Нет, милая. Он рад, потому что ты назвала его «отцом» и поцеловала.

— Ой!

— Кому же радоваться, как не ему? Потерял дитя, которое с малых лет называло отцом, и вдруг Акмарал, всегда почтительно величавшая его — Назарбек-ака, именует отцом… Хорошо, что сердце на радостях не лопнуло! — закончила она и тихо засмеялась.

— Спасибо, мамочка, я так вам благодарна! — расцеловала ее в щеки, глаза…

Завела машину, сделала еще один заход… Она продолжала сидеть все там же. Второй, третий заход… Она сидит… Ушла старушка только после полудня.

На семь процентов перевыполнила я в тот день норму. Акпары-апа встретила за три квартала и, услышав о моем успехе, расцеловала. И Назарбек-ака был счастлив. Он суетливо требовал скорее подать плов, все время ухаживал за мной…

Мои дела пошли чем дальше, тем лучше… Хотя я и уставала так, что к вечеру с трудом могла

разогнуть спину, каждый день приносил мне радость. Машина работала исправно, хлопчатник раскрылся ровно… А сегодня особенно радостный день: собрала две нормы, и председатель за хорошую работу премировал овцой и мешком муки. Все это принесла в мой новый дом. Появилась газета с моей фотографией и со статьей. Корреспондент, побывавший в колхозе несколько дней назад, расхваливал меня. В этой же газете хвалили и Алтынбека… Радость родителей, конечно, трудно описать. Меня особенно тронуло, что радуются они равно и за сына и за меня.

Ох, как я счастлива! Овца и мешок муки не бог весть какое богатство. Но для меня это сказочные сокровища! Почему? Потому, что это мой первый заработок! Мне кажется, что ничто в жизни не может сравниться по ценности с первым заработком. Я чувствовала себя так, словно в руки мне дали меч, острие которого я могла направить в грудь Капара и его милых родителей!

Однажды под вечер пошел дождь, пришлось возвращаться домой раньше обычного. Поужинали. Апа принялась стирать. Я отобрала у нее белье. Старик сидел на маленькой табуретке и о чем-то думал, глядя на меня. Вдруг у дувала послышался гул трактора.

— Ой, кто это? — встрепенулась Акпары-апа.

Хозяин открыл дверь. Моросил дождь…

Машина въехала в открытые ворота… И мои глаза встретились с глазами Алтынбека!

— Алтыке! — воскликнула я, не думая о приличиях, ни о чем не думая!

Алтынбек соскочил с трактора, обнял меня и только потом поздоровался с родителями.

— Салам алейкум, Назике! Здравствуйте, Акпары-апа! — пробормотал бригадир Кенеш несколько растерянно…

Мы ввели их в дом, сняли плащи. Отец расспрашивал Кенеша о семье.

— Ах, негодник, даже про дом не вспоминает! — пожурила мать Алтынбека.

— Апа, апа, не обижайтесь на Алтынбека, это я надел на него путы. Вы же понимаете — уборка, план горит! — вступился бригадир.

— Не заступайся! Сын у нас негодник — шесть месяцев проучился, а вернувшись, даже не переночевал дома.

— Вот хочу откупиться… — Алтынбек не договорил и взялся за чемодан.

Родителям он подарил по костюму, а Мне дал узелок.

— Это подарок старшего брата сестренке!

— Пойдем, милая, пойдем, — старушка увела меня в другую комнату, где быстро надела свой костюм.

— Ну, как, идет?

— Словно по заказу… И цвет замечательный.

— А ну, развяжи, что там у тебя?

В узелке было платье из узбекского шелка, косынка — голубая, с цветами.

— Надень, милая, — сказала мать, и, не дав опомниться, стянула с меня платье.

Я отвернулась, чтобы она не увидела мою грудь, и быстро надела подарок, накинула косынку.

— Бах, бах, как тебе идет, миленькая! — сказала старушка и, поцеловав, потащила к мужчинам. — А ну посмотрите на нас.

— Молодец, байбиче!.. Очень идет! Желаю тебе видеть счастье своих детей! — Назарбек-ата похлопал старуху по плечу, затем пристально посмотрел на меня и, ничего не сказав, трижды поцеловал в лоб.

Я взялась за стирку. Кенеш и Назарбек-ата резали в сарае барана. Алтынбек стоял у двери, прислонившись к косяку.

— Ты не поверила моему письму? Неужели думаешь, что…

Я не дала ему закончить.

— Алтыке, не говори так. Я совсем не та, за кого ты меня принимаешь. Я обманщица. Я обманула не только тебя, но и многих других. Если можешь, выслушай.

Алтынбек побледнел, но кивнул…

Я рассказала ему все, все. Когда дошла до того, как после побоев Капара пролежала пятнадцать дней в постели, как оставила дочь, он отер слезы.

— Акинтай, помоги мне, — послышался голос Акпары-апа.

Алтынбек взял меня за руки и долго смотрел в глаза, словно видел впервые, потом прижал к груди, сказал:

— А теперь иди к своей маме.

Дождь прекратился, но небо было покрыто тучами, темнело. Я затопила очаг, залив огромный котел водой. Старик принес разделанное мясо.

— Отец, гостей двое, а вы принесли столько мяса, — сказала я, увидев гору мяса на плоском блюде.

— Должны прийти председатель, Бакир, да еще будут люди.

— Иди, дочка, в дом. Если нужно, подмети, словом, приготовься к приему гостей.

Я сделала все, как велела Акпары-апа, и, когда

вышла в переднюю, туда заглянул Кенеш.

— «Несведущий может выпить и яд», — говорит народ. Сестрица Акмарал, в тот раз, когда тебя прикрепили к моей бригаде, я запротестовал, потребовал Алтынбека. Оказывается, я ошибся. Прошу извинить меня, Акмарал!

— За прошлое прощаю. Но все же почему, совсем меня не зная, так обидели?

— Если говорить честно, во мне, оказывается, везде, — он показал на голову, на грудь, — гнездятся пережитки.

— Нижайший поклон за честность.

— Если вы искренне прощаете, то с сегодняшнего дня я буду совсем по-другому относиться к женщинам.

— Прощаю, агай.

— Благодарю за щедрость души, — он потер руки, — Акмарал, в жизни еще встречаются такие ревнивые люди, как я.

— А разве вы ревнивый?

— Даже страшно, до чего ревнивый. Из-за этого и перед Алтынбеком попал в неловкое положение.

— Каким образом?

Он заговорил серьезно, задумчиво:

— Когда я впервые увидел вас, то сразу поду-

мал: зачем этой красивой девушке возиться с тракторами?! Джигиты в ее аиле перевелись или ослепли? На такой надо было жениться и посадить ее дома. А потом — вы уж простите — даже подумал, что вы испорченная.

— Неужели?

— Да, Акмарал. Люди, не порвавшие цепей прошлого, всех меряют своей меркой… Вот видите, какой феодал гнездится во мне! — опять перешел он на шутливый тон.

— Истинную правду сказали.

— Ох, будь проклята эта правда!

— Акиш, гости идут, как ты, убралась? — торопливо спросил Алтынбек, заглянув в комнату, и, не дождавшись ответа, бросил: — Спасибо, Акиш, спасибо!

Пришли гости. Подали чай. Председатель и Бакир-ака заявили: «Никакой выпивки!» Но разговор от этого не потускнел… Кенеш даже обещал вообще бросить пить. С шутками, прибаутками поговорили и о деле. Это ведь всегда так: успешно идут дела — и настроение у всех отличное.

Жена Бакир-ака весело нахваливала своих сборщиц. Не забыла похвалить и меня…

Подали мясо… Когда справились с ним, Кенеш и Алтынбек, торопливо попрощавшись, уехали.

Опять я не смогла поговорить с ним!

Вскоре ушли и остальные гости. Я посмотрела на небо. Было чисто, ясно. Но хлопок промок, собирать можно будет только с обеда.

Я опять не спала. Ох, сколько мыслей лезло в голову! Думала о родителях, маленькой дочке. Так хотелось увидеть их, прижать к истосковавшейся груди… А может быть, открыться этим добрым людям? «Палец, отрезанный по совету, не болит», — гласит пословица. Решила рассказать им все и просить совета. Так будет лучше. Они честные и справедливые люди. Я уже собралась с духом, чтобы начать разговор, как вдруг нас посетила неожиданная беда — исчез Назарбекката! Ушел провожать гостей и как в воду канул. Я кинулась в сарай. Конь был на месте.

— Ничего, не пугайся, дочка, приедет, — спокойно, как будто ничего не случилось, ответила мне Акпары-апа.

Глядя на нее, успокоилась и я.

…Утро было солнечное. Я надела комбинезон и пошла на работу. Вслед за мной вышли Жайдары-дженге с подружками… Завела машину и выехала в поле. Прошла ряд, оглянулась. После машины оставалось много хлопка. Виноват был вчерашний дождь…

— Ничего, дочка, продолжай… Высохнет через час или полтора, а там пойдет все по-прежнему, — успокоил меня Бакир-ака. — Эй, Майраш, — окликнул он шофера, — высыпь хлопок на краю хирмана, пусть разровняют хорошенько.

И действительно, через час-два все наладилось. Если так дело пойдет, то скоро закончу первый сбор… Меня давно уже мучила одна несправедливость. В газетах вчера расхвалили Жайдары-дженге, когда настоящей похвалы заслуживали Гульсана, Саадат, Пари, Айша.

Когда закончила очередной заход, пришла Акпары-апа.

— Акинтай, принесла немного плова и лепешку, покушай.

— Здравствуйте, Акпары-дженге, — приветствовал ее Бакир-ака. — Это хорошо, что ухаживаете за хорошо работающей дочкой, справедливо.

Подошел председатель. Старушка развязала узелок и пригласила их закусить. Я решила не откладывать мучившего меня дела.

— В справедливости своих новых родителей я не сомневаюсь, но вот насчет вашей…

— Объясни, дочка, — сказал Бакир-ака, уже поднесший пиалу ко рту.

— Я уже знакома почти со всеми женщинами,

собирающими хлопок вручную.

— Очень хорошо, — сказал председатель.

В конце дня ко мне подбегает учетчик и говорит: «Вы собрали столько-то тонн». Подходят женщины и говорят о своих сборах. Жайдары-дженге собирает по сто — сто десять килограммов в день, а Гульсана, Айша, Саадат, Пари — по сто двадцать, сто пятьдесят. А вчера в газете расхвалили Жайдары-дженге, но если быть справедливым, то заслуживают внимания, думаю, ее подруги.

— Но ведь Жайдары собирает от ста пятидесяти до двухсот килограммов? — сказал председатель.

— Это неправда. Все знают, что каждый день после занятий ей помогают пятеро детей, а учетчик записывает весь собранный хлопок Жайдары-дженге. Корреспондент беседовал с вами, председатель-агай… Прочтут остальные женщины написанное в газете, что они подумают?.. Извините, я тороплюсь, у меня стоит машина…

Председатель и Бакир-ака молчали…

В этот день работу я закончила раньше обычного, к вечеру влажность хлопка увеличилась…

Назарбек-ата еще не вернулся. Теперь и Акпары-апа забеспокоилась. Друга отца — Колдыбая-ака мы послали к Алтынбеку. Он вернулся к

полночи. «Пусть мать и Акмарал не беспокоятся. Отца я послал по одному делу. В вашу бригаду председатель направил двух водителей с хлопкоуборочными машинами. Один из них — я. Буду к утру» — передал Алтынбек.

Эта весть успокоила и обрадовала нас. Укладываясь спать, Акпары-апа, как бы мимоходом, спросила:

— Да, дочка, ты пишешь своему парню, что служит в армии?

Ох, снова надо было лгать!

— Не писала с тех пор, как приехала к вам…

— Если хороший парень, нужно писать. У него есть родители?

— Нет.

— Тогда пусть сюда и приезжает. Раз ты его любишь, что я могу поделать? Справлю свадьбу, как справила бы своей Гульзаде. Ты знаешь мое материнское сердце, не лишай меня призрака дочери, — она заплакала.

Я поняла, что она плачет из-за того, что не стану женой ее Алтынбека, а выйду за кого-то другого. У меня чуть не вырвалось: «Не плачьте, мамочка! У меня нет никакого жениха. Я люблю вашего Алтынбека и останусь с вами навсегда». Но все же я сумела сдержать рвущиеся с языка слова…

Утром, как всегда, поднялась на рассвете. Идти в поле было еще рано — хлопок сырой. Не торопясь, поставила самовар, бросила коню сена, подоила корову.

И вдруг во двор вошел Назарбек-ата — веселый, оживленный.

— Здравствуй, дочка, как спала? — приветствовал он меня громко и сердечно.

— Отец! Мама, вернулся отец! — вскрикнула я и бросилась навстречу.

— О, чтоб стать мне жертвой ради слова «отец»! — сказал Назарбек-ака и, прижав к груди, поцеловал меня в лоб. На порог вышла мать.

— Здравствуй, как же так? Хоть бы сказал, куда едешь, а то мы тут чуть с ума не сошли.

— Извини, извини, байбиче, так дела сложились.

— Что это за дела, из-за которых надо тайком уезжать?

— Сейчас, сейчас все будет ясно, — ответил он жене и, садясь за круглый столик, обратился ко мне. — Акинтай, есть у тебя кислое молоко? Поем, а потом начну доклад.

Выпив молока, он утер усы, лукаво посмотрел на меня и начал:

— Когда вышли из дома, председатель на сво-

ей машине довез до большой дороги... Вскоре подошел попутный грузовик. Хороший шофер попался, посадил меня в кабину.

— А куда это ты направился?

— Туда, куда нужно было.

— О чем ты говоришь?

— Ну, вот, доехал я до дома моего друга...

— Какого друга?

— Э, да тот председатель, Арзыбай.

— Ты в своем уме, когда у тебя был такой друг? У меня сердце похолодело.

— Подожди, дай кончить. Словом, пришел к Арзыке. Удивительная штука... За то, что обворовали колхоз, посадили и его сынка Капара. А сноха Гульзат семь месяцев назад ушла с маленькой девочкой и словно в воду канула. Люди утверждают, что ее и девочку убил Арзыбай... А ведьма Пазила ютится у родичей. Затем пошел к твоему племяннику Эргешу и тетке Айсылкан...

— Что за племянник и тетка? Откуда они взялись? Ты в своем уме?

— Втроем пошли к свату Аали и свахе Назгуль...

— О милая Акиш, да твой отец не в своем уме... Ой, что за сват и сваха?

— Они сначала не поверили мне, но я все-таки

убедил их. И как они обрадовались! Плакали от счастья… Я тоже не выдержал… А маленькая Гульзат так замечательно смеется!

— Радость моя, Акмарал, что же это с нашим отцом?

— Готовься, старуха, они сегодня приедут.

Назарбек-ата смеялся, глядя на окончательно растерявшуюся старуху.

Я поняла — Алтынбек рассказал ему все, и он поехал к моим родителям…

Слезы полились из моих глаз. Акпары-апа забеспокоилась.

— О милая, а ты что плачешь?

— Милая мама, простите за то, что обманывала. Теперь навеки я буду вашей дочерью.

— Что ты говоришь? — вскрикнула она. — Эй, старик, или я ослышалась?

Я бросилась со двора, пошла, не зная куда. Шла и плакала… Оттого, что соскучилась по милым родителям и моей маленькой Гульзат! Плакала от радости, что живут хорошие люди, коммунисты Айсылкан-эдже, Эргеш-аке и много-много других. Это они помогли мне стать человеком. Но из моих глаз текли не горькие слезы, а живая вода!

Перевод В. Горячих.

Ч. Айтматов
ТОПОЛЕК МОЙ В КРАСНОЙ КОСЫНКЕ



Вместо пролога

По роду своей журналистской работы мне часто приходилось бывать на Тянь-Шане. Однажды весной, когда я находился в областном центре Нарына, меня срочно вызвали в редакцию. Случилось так, что автобус ушел за несколько минут до того, как я прибыл на автостанцию. Следующего автобуса надо было ждать часов пять. Ничего не оставалось делать, как попытаться сесть на попутную машину. Я отправился к шоссе на окраине городка.

На повороте дороги у колонки стоял грузовик. Шофер только что заправился, завинчивал крышку бензобака. Я обрадовался. На стекле кабины был знак международных рейсов «SU» — Советский Союз. Значит, машина шла из Китая в Рыбачье, на автобазу Внештранса, откуда всегда можно добраться до Фрунзе.

— Вы сейчас отправляетесь? Подвезите, пожалуйста, в Рыбачье! — попросил я шофера.

Он повернул голову, искоса посмотрел через плечо и, выпрямившись, спокойно сказал:

— Нет, агай, не могу.

— Очень вас прошу! У меня срочное дело, вы-

зывают во Фрунзе.

Шофер снова хмуро взглянул на меня.

— Понимаю, но не обижайтесь, агай. Никого не беру.

Я был удивлен. Кабина свободна, что стоило ему взять человека?

— Я журналист. Очень спешу. Заплачу сколько угодно…

— Дело не в деньгах, агай! — резко оборвал меня шофер и сердито толкнул ногой колесо. — В другой раз бесплатно довезу. А сейчас… Не могу. Не обижайтесь. Скоро еще будут наши машины, уедете на любой, а я не могу…

Наверно, он должен по дороге взять кого-нибудь, решил я.

— Ну, а в кузове?

— Все равно… Я очень извиняюсь, агай.

Шофер посмотрел на часы и заторопился.

Крайне озадаченный, я пожал плечами и недоуменно взглянул на заправщицу, пожилую русскую женщину, которая все это время молча наблюдала за нами из окошечка. Она покачала головой: «не надо, мол, оставьте его в покое». Странно.

Шофер полез в кабину, сунул в рот незажженную папиросу и завел мотор. Он был еще молод,

лет тридцати, сутуловатый, высокий. Запомнились мне его цепкие, крупные руки на баранке и глаза с устало опущенными веками. Прежде чем тронуть машину с места, он провел ладонью по лицу и как-то странно, с тяжелым вздохом, встревоженно посмотрел вперед, на дорогу в горах.

Машина уехала.

Заправщица вышла из будки. Она, видимо, хотела успокоить меня:

— Не расстраивайтесь, сейчас и вы уедете.

Я молчал.

— Переживает парень... История длинная... Когда-то он жил здесь у нас, на перевалочной базе...

Дослушать заправщицу мне не удалось. Подошла попутная «победа».

Грузовик догнали мы не скоро — почти у самого Долонского перевала. Он шел с огромной скоростью, пожалуй, непозволительной даже для видавших виды тянь-шаньских шоферов. Не сбавляя скорости на поворотах, с гудящим ревом неслась машина под нависшими скалами, стремительно вылетала на подъемы и сразу точно бы проваливалась, ныряя в перепады дороги, затем снова появлялась впереди, с развевающимися, хлопающими по бортам концами брезента.

«Победа» все-таки брала свое. Мы стали обгонять. Я обернулся: что за отчаянный человек, куда он так несется сломя голову? В это время хлынул дождь с градом, как это нередко бывает на перевале. В косых, секущих струях дождя и града промелькнуло за стеклом бледное, напряженное лицо со стиснутой в зубах папиросой. Круто поворачивая руль, его руки широко и быстро скользили по баранке. Ни в кабине, ни в кузове никого не было.

Вскоре после возвращения из Нарына меня командировали на юг Киргизии, в Ошскую область. Как всегда, времени у нашего брата журналиста в обрез. Я примчался на вокзал перед самым отходом поезда и, влетев в купе, не сразу обратил внимание на пассажира, который сидел, повернувшись лицом к окну. Он не обернулся и тогда, когда поезд уже набрал скорость.

По радио передавали музыку: исполнялась на комузе знакомая мелодия. Это был киргизский напев, который всегда представлялся мне песней одинокого всадника, едущего по предвечерней степи. Путь далек, степь широка, можно думать и петь негромко. Петь о том, что на душе. Разве мало дум бывает у человека, когда он остается наедине с собой, когда тихо кругом и слышен

лишь цокот копыт. Струны звенели вполголоса, как вода на укатанных, светлых камнях в арыке. Комуз пел о том, что скоро солнце скроется за холмами, синяя прохлада бесшумно побежит по земле, тихо закачаются, осыпая пыльцу, сизая полынь и желтый ковыль у бурой дороги. Степь будет слушать всадника и думать и напевать вместе с ним…

Может быть, когда-то всадник ехал здесь, по этим местам… Вот так же, наверно, догорал закат на далеком краю степи, становясь постепенно палевым, а снег на горах, так же, наверно, как сейчас, принимая последние отсветы солнца, розовел и быстро меркнул…

За окном проносились сады, виноградники, темно-зеленые закустившиеся кукурузные поля. Пароконная бричка со свеженакошенной люцерной бежала к переезду. Она остановилась у шлагбаума. Загорелый мальчишка в драной вылинявшей майке и закатанных выше колен штанах привстал в бричке, глядя на поезд, заулыбался, помахал кому-то рукой.

Мелодия удивительно мягко вливалась в ритм идущего поезда. Вместо цокота копыт стучали на стыках рельс колеса. Мой сосед сидел у столика, заслонившись рукой. Мне казалось, что он тоже

безмолвно напевал песню одинокого всадника. Грустил он или мечтал, только было в его облике что-то печальное, какое-то неутихшее горе. Он настолько ушел в себя, что не замечал моего присутствия. Я старался разглядеть его лицо. Где же я встречал этого человека? Даже руки знакомые, смуглые, с длинными твердыми пальцами.

И тут я вспомнил: это был тот самый шофер, который не взял меня в машину. На том я и успокоился. Достал книгу. Стоило ли напоминать о себе? Он, наверно, давно уже забыл меня. Мало ли случайных встреч у шоферов на дорогах?

Так мы ехали еще некоторое время, каждый сам по себе. За окном начало темнеть. Попутчик мой решил закурить. Он достал папиросы, шумно вздохнул перед тем, как чиркнуть спичкой. Затем поднял голову, с удивлением глянул на меня и сразу покраснел. Узнал.

— Здравствуйте, агай! — сказал он, виновато улыбаясь.

Я подал ему руку:

— Далеко едете?

— Да… далеко! — Он медленно выдохнул дым и, помолчав, добавил: — На Памир.

— На Памир? Значит, по пути. Я в Ош… В отпуск? Или переводитесь на работу?

— Да вроде бы так… Закурите?

Мы вместе дымили и молчали. Говорить, казалось, больше было не о чем. Мой сосед опять задумался. Он сидел, уронив голову, покачиваясь в такт движению поезда. Показалось мне, он очень изменился с тех пор, как я его видел. Похудел, лицо осунулось, три резкие тяжелые складки на лбу. На лице хмурая тень от сведенных к переносице бровей. Неожиданно мой спутник невесело усмехнулся и спросил:

— Вы, наверно, на меня в тот раз крепко обиделись, агай?

— Когда, что-то не припомню? — Не хотелось, чтобы человеку было неловко передо мной. Но он смотрел с таким раскаянием, что мне пришлось признаться. — А-а… тогда-то… Пустяки. Я и забыл. Всякое бывает в пути. А вы все еще помните об этом?

— В другое время, может, и забыл бы, но в тот день…

— А что случилось? Не авария ли?

— Да как сказать, аварии-то не было, тут другое… — проговорил он, подыскивая слова, но потом рассмеялся, заставил себя рассмеяться. — Сейчас я бы вас повез на машине куда угодно, да только теперь я сам вот пассажир…

— Ничего, конь по одному следу тысячу раз ступает, может, еще когда-нибудь встретимся…

— Конечно, если встретимся, сам затащу в кабину! — тряхнул он головой.

— Значит, договорились? — пошутил я.

— Обещаю, агай! — ответил он, повеселев.

— А все-таки, почему вы тогда не взяли меня?

— Почему? — отозвался он и сразу помрачнел. Замолчал, опустив глаза, пригнулся над папиросой, ожесточенно затягиваясь дымом. Я понял, что не надо было задавать этого вопроса, и растерялся, не зная, как исправить ошибку. Он погасил окурок в пепельнице и с трудом выдавил из себя:

— Не мог… Сына катал… Он меня ждал тогда…

— Сына? — удивился я.

— Дело такое… Понимаете… Как бы вам объяснить… — Он вновь закурил, подавляя волнение, и вдруг твердо, серьезно глянув мне в лицо, стал говорить о себе.

Так мне довелось услышать рассказ шофера.

Времени впереди было много — поезд идет до Оша почти двое суток. Я не торопил, не перебивал его вопросами: это хорошо, когда человек сам все рассказывает, заново переживая, раздумывая, порой умолкая на полуслове. Но мне

стоило больших усилий, чтобы не вмешаться в его повествование, потому что по воле случая и благодаря своей непоседливой профессии газетчика я уже знал кое-что о нем лично и о людях, с которыми судьба столкнула этого шофера. Я мог бы дополнить его рассказ и многое объяснить, но решил сделать это, выслушав все до конца. А потом вообще раздумал. И считаю, что поступил правильно. Послушайте рассказы самих героев этой повести.

Рассказ шофера

...Началось все это совсем неожиданно. В ту пору я только что вернулся из армии. Служил в моторизованной части, а до этого окончил десятилетку и тоже работал шофером. Сам я детдомовский. Друг мой Алибек Джантурин демобилизовался годом раньше. Работал на Рыбаченской автобазе. Ну, я к нему и приехал. Мы с Алибеком всегда мечтали попасть на Тянь-Шань или на Памир. Приняли меня хорошо. Устроили в общежитии. И даже ЗИЛ дали почти новый, ни единой вмятины... Надо сказать, машину свою я полюбил, как человека. Берег ее. Удачный выпуск. Мотор был мощный. Правда, не всегда приходилось брать полную нагрузку. Дорога сами знаете какая — Тянь-Шань, одна из самых высокогорных автотрасс мира: ущелья, хребты да перевалы. В горах воды сколько угодно, а все равно постоянно возишь ее с собой. Вы, может, замечали, к кузову, в переднем углу, прибита деревянная крестовина, а на ней камера с водой болтается. Потому что мотор на серпантинах перегревается страшно. А груза везешь не так уж много. Я тоже поначалу прикидывал, голову

ломал, что бы такое придумать, чтобы побольше груза брать. Но изменить вроде ничего было нельзя. Горы есть горы.

Работой я был доволен. И места нравились мне. Автобаза у самого берега Иссык-Куля. Когда приезжали иностранные туристы и часами простаивали как обалдевшие на берегу озера, я про себя гордился: «Вот, мол, какой у нас Иссык-Куль! Попробуй найди еще такую красоту…»

В первые дни одно лишь обижало меня. Время было горячее — весна, колхозы после сентябрьского Пленума набирали силы. Крепко взялись они за дело, а техники было мало. Часть наших автобазовских машин посылали в помощь колхозам. Особенно новичков вечно гоняли по колхозам. Ну и меня тоже. Только налажусь в рейсы по трассе, как снова снимают, айда по аилам. Я понимал, что дело это важное, нужное, но я ведь все-таки шофер, машину жалко было, переживал за нее, точно это не ей, а мне самому приходилось по ухабам трястись и месить грязь на проселках. Дорог таких и во сне не увидишь…

Так вот, еду я как-то в колхоз — шифер вез для нового коровника. Аил этот в предгорье, и дорога идет через степь. Все шло ничего, путь просыхал уже, до аила рукой подать осталось, и

вдруг засел я на переезде через какой-то арык. Дорогу здесь с весны так избили, искромсали колесами, верблюд потонет — не найдешь. Я туда, сюда, по-всякому приноравливался — и ничего не получается. Присосала земля машину, и ни в какую, держит, как клещами. К тому же крутанул я с досады руль так, что заклинило где-то тягу, пришлось лезть под машину… Лежу там весь в грязи, в поту, кляну дорогу на все лады. Слышу, кто-то идет. Снизу мне видны только резиновые сапоги. Сапоги подошли, остановились напротив и стоят. Зло взяло меня — кого это принесло и чего глазеть, цирк тут, что ли.

— Проходи, не стой над душой! — крикнул я из-под машины. Краем глаза заметил подол платья, старенькое такое, в навозе перепачкано. Видно, старуха какая-то, ждет, чтобы подбросил до аила.

— Проходи, бабушка! — попросил я. — Мне еще долго тут загорать, не дождешься…

Она мне в ответ:

— А я не бабушка.

Сказала как-то смущенно, со смешком вроде.

— А кто же? — удивился я.

— Девушка.

— Девушка? — Покосился я на сапоги, спросил ради озорства: — А красивая?

Сапоги переступили на месте, шагнули в сторону, собираясь уходить. Тогда я быстро выбрался из-под машины. Смотрю, в самом деле, стоит тоненькая девушка со строгими нахмуренными бровями, в красной косынке и большом, отцовском, видно, пиджаке, накинутом на плечи. Молча глядит на меня. Я и забыл, что сижу на земле, что сам весь в грязи и глине.

— Ничего! Красивая, — усмехнулся я. Она и вправду была красивая. — Туфельки бы только! — пошутил я, поднимаясь с земли.

Девушка вдруг круто повернулась и, не оглядываясь, быстро пошла по дороге.

Что это она? Обиделась? Мне стало не по себе. Спохватился, кинулся было догонять ее, потом вернулся, быстро собрал инструмент и вскочил в кабину. Рывками, то взад, то вперед, стал раскачивать машину. Догнать ее — больше я ни о чем не думал. Мотор ревел, машину трясло и водило по сторонам, но вперед я не продвинулся ни на шаг. А она уходила все дальше и дальше. Я закричал, сам не зная кому, под буксующие колеса:

— Отпусти! Отпусти, говорю. Слышишь?

Изо всех сил выжал акселератор, машина поползла-поползла, со стоном и просто чудом каким-то вырвалась из трясины. Как я обрадовался!

Припустил по дороге, стер платком грязь с лица, пригладил волосы. Поравнявшись с девушкой, затормозил, и черт знает, откуда это у меня взялось, с этаким шиком, почти лежа на сиденье, распахнул дверцу:

— Прошу! — и руку вытянул, приглашая в кабину.

Девушка, не останавливаясь, идет себе дальше. Вот те на! От лихости моей и следа не осталось. Я снова догнал ее, на этот раз извинился, попросил:

— Ну, не сердитесь! Я ведь так просто… Садитесь!

Но девушка ничего не ответила.

Тогда я обогнал ее, поставил машину поперек дороги. Выскочил из кабины, забежал с правой стороны, отворил дверцу и стоял так, не убирая руку. Она подошла, опасливо глядя на меня, вот, мол, привязался. Я ничего не говорил, ждал. То ли она пожалела меня, то ли еще почему — покачала головой и молча села в кабину.

Мы тронулись.

Я не знал, как начать с ней разговор. Знакомиться и говорить с девушками мне не впервой, а тут почему-то оробел. С чего бы, спрашивается? Кручу баранку, поглядываю украдкой. На шее

у нее легкие, нежные завитки черных волос. Пиджак сполз с плеча, она его придерживает локтем, сама отодвинулась подальше, боится задеть меня. Глаза смотрят строго, а по всему видать, что ласковая. Лицо открытое, лоб хочет нахмурить, а он не хмурится. Наконец она тоже глянула осторожно в мою сторону. Мы встретились глазами. Улыбнулась. Тогда я решился заговорить:

— А вы зачем остановились там, у машины?

— Хотела помочь вам, — ответила девушка.

— Помочь? — засмеялся я. — А ведь и вправду помогли! Если бы не вы, сидеть мне там до вечера… А вы всегда ходите по этой дороге?

— Да. Я на ферме работаю.

— Это хорошо! — обрадовался я, но тут же поправился. — Дорога хорошая! — И как раз в эту минуту машину так тряхнуло в колдобине, что мы столкнулись плечами. Я крякнул, покраснел, не зная куда глаза девать. А она рассмеялась. Тогда и я не выдержал, захохотал.

— А ведь мне не хотелось ехать в колхоз! — признался я сквозь смех. — Знал бы, что по дороге помощница такая есть, не ругался бы с диспетчером… Ай, Ильяс, Ильяс! — укорил я себя. — Это меня так зовут, — пояснил ей.

— А меня зовут Асель…

Мы подъезжали к аилу. Дорога пошла ровнее. Ветер бился в окна, срывая косынку с головы Асель, трепал ее волосы. Мы молчали. Нам было хорошо. Бывает, оказывается, легко и радостно на душе, если рядом, почти касаясь локтем, сидит человек, о котором час назад ты еще ничего не знал, а теперь почему-то хочется только о нем и думать… Не знаю, что было на душе у Асель, но глаза ее улыбались. Ехать бы нам долго-долго, чтобы никогда не расставаться… Но машина шла уже по улице аила. Вдруг Асель испуганно спохватилась:

— Остановите, я сойду!

Я затормозил.

— Вы тут живете?

— Нет, — она почему-то заволновалась, забеспокоилась. — Но я лучше здесь сойду.

— Зачем же? Я вас прямо к дому подвезу! — Я не дал ей возразить, поехал дальше.

— Вот здесь, — взмолилась Асель. — Спасибо!

— Пожалуйста! — пробормотал я и не столько в шутку, а скорее всерьез добавил: — А если я завтра там снова застряну, поможете?

Она не успела ответить. Калитка отворилась, и на улицу выбежала чем-то встревоженная пожилая женщина.

— Асель! — крикнула она. — Где же ты пропадаешь, накажи тебя бог! Иди, переодевайся быстрей, сваты приехали! — добавила она шепотом, прикрыв рот рукой.

Асель смутилась, уронила пиджак с плеча, потом подхватила его и покорно пошла за матерью. У калитки она обернулась, глянула, но калитка тут же захлопнулась. Я лишь теперь заметил на улице у коновязи оседланных потных лошадей, пришедших, видно, издалека. Приподнялся за рулем, заглянул через дувал. Во дворе у очага сновали женщины. Дымил большой медный самовар. Два человека свежевали под навесом баранью тушу. Да, сватов принимали здесь по всем правилам. Мне ничего не оставалось делать. Надо было ехать разгружаться.

К концу дня вернулся на автобазу. Вымыл машину, загнал ее в гараж. Долго возился, все находил какое-нибудь дело. Не понимал я, почему так близко к сердцу принял сегодняшний случай. Всю дорогу ругал себя: «Ну, что тебе надо? Что ты за дурак? Кто она тебе в конце концов! Невеста? Сестра? Подумаешь, встретились случайно на дороге, подвез к дому и уже переживаешь, будто в любви объяснились. А может, она и думать-то о тебе не хочет. Нужен ты ей больно! Жених у

нее законный, а ты никто! Шофер с дороги, сотни таких, не назнакомишься… Да и какое ты имеешь право на что-то рассчитывать: люди сватаются, свадьба будет у них, а ты при чем? Плюнь на все. Крути себе баранку, и порядок!..»

Но беда была в том, что как я ни уговаривал себя, а позабыть Асель не мог.

Делать возле машины было уже нечего. Пойти бы мне в общежитие, оно у нас веселое, шумное, красный уголок есть, а я — нет. Одному хочется побыть. Прилег на крыло машины, руки заложил за голову. Неподалеку копался под машиной Джантай. Был у нас шофер такой. Высунулся из ямы, хмыкнул:

— О чем мечтаешь, джигит?

— О деньгах! — ответил я со злостью.

Не любил его. Жмот первосортный. Хитрый и завистливый. Он и в общежитии не жил, как другие, у хозяйки какой-то, на квартире. Поговаривали, жениться обещал на ней, как-никак — свой дом будет.

Я отвернулся. На дворе, возле мойки, устроили возню наши ребята. Кто-то взобрался на кабину и из брандспойта поливал шоферов, ждущих очереди. Хохот стоял на всю автобазу. Струя мощная, как стукнет — закачаешься. Парня хо-

тели стащить с кабины, а он себе приплясывает, хлещет по спинам, как из автомата, кепки сбивает. Вдруг струя метнулась вверх, изогнулась в лучах солнца, будто радуга. Смотрю, там, где струя поднимается ввысь, стоит Кадича, наш диспетчер. Эта не побежит. Держаться она умела с достоинством, к ней так просто не подступишься. И сейчас она стояла безбоязненно, спокойно. Не тронешь, мол, слабо! Отставила этак ногу в сапожке, а сама волосы прикалывает, шпильки в зубах держит, посмеивается. Мелкие, серебристые брызги падают ей на голову. Ребята хохочут, подзадоривают паренька на кабине:

— Дай ей по кузову!

— Шардарахни!

— Берегись, Кадича!

Но паренек не осмеливался ее облить, только играл струей вокруг Кадичи. Я бы на его месте окатил ее с головы до ног, и, пожалуй, Кадича не сказала бы мне ни слова, посмеялась бы да и все. Я всегда замечал, что ко мне она относилась не так, как к остальным, становилась податливой, немного капризной. Любила, когда я, заигрывая, гладил ее по голове. Мне нравилось, что она всегда спорила, ругалась со мной, но быстро сдавалась, даже если я был не прав. Иногда водил

ее в кино, провожал: мне было по пути в общежитие. В диспетчерскую к ней заходил запросто в комнату, а другим она разрешала обращаться только в окошечко.

Но сейчас мне было не до нее. Пусть себе балуются.

Кадича заколола последнюю шпильку.

— Ну, хватит, поиграли! — приказала она.

— Слушаюсь, товарищ диспетчер! — Паренек на кабине козырнул. Его с хохотом стащили оттуда.

А она направилась к нам в гараж. Остановилась у машины Джантая, кажется, искала кого-то. Меня она не сразу заметила из-за сетки, разделяющей гараж на отсеки. Джантай выглянул из ямы, проговорил заискивающе:

— Здравствуй, красавица!

— А, Джантай…

Он жадно смотрел на ее ноги. Она недовольно повела плечами.

— Ну, чего уставился? — и легонько ткнула его носком сапожка в подбородок.

Другой бы, наверно, обиделся, а этот нет. Просиял, будто его поцеловали, и нырнул в яму. Кадича увидела меня:

— Хорошо отдыхается, Ильяс?

— Как на перине!

Она прижалась лицом к сетке, пристально посмотрела и тихо сказала:

— Зайди в диспетчерскую.

— Ладно.

Кадича ушла. Я поднялся и уже собрался идти, Джантай снова высунулся из ямы.

— Хороша баба! — подмигнул он.

— Да не про тебя! — отрезал я.

Я думал, что он обозлится и полезет драться. Я не любитель драк, но с Джантаем схватился бы: так тяжело было на душе, что просто не знал, куда девать себя.

Однако Джантай даже не обиделся.

— Ничего! — пробурчал он. — Поживем — увидим…

В диспетчерской никого не было. Что за черт? Куда она делась? Я обернулся и прямо грудью столкнулся с Кадичей. Она стояла, прислонившись спиной к двери, откинув голову. Глаза ее блестели из-под ресниц. Горячее дыхание обожгло мне лицо. Я не совладал с собой, потянулся к ней, но тут же отступил назад. Как ни странно, мне показалось в тот миг, что я изменяю Асели.

— Зачем звала? — спросил я недовольно.

Кадича все так же молча смотрела на меня.

— Ну?.. — повторил я, теряя терпение.

— Что-то ты не слишком приветлив, — сказала она о обидой в голосе. — Или приглянулась какая-нибудь?..

Я растерялся. Почему она упрекает меня? И откуда узнала?

В это время окошечко распахнулось. Появилась голова Джантая. Ухмылка блуждала по его лицу.

— Прошу, товарищ диспетчер! — с ехидцей протянул он, подавая Кадиче какую-то бумагу.

Она зло глянула на него. С досадой бросила мне в лицо:

— А путевку за тебя кто будет получать? Особого приглашения ждешь?

Отстранив меня рукой, Кадича быстро прошла к столу.

— На! — протянула она путевой лист.

Я взял. Путевка была в тот же колхоз. Сердце похолодело: ехать туда, зная, что Асель… Да и вообще, почему именно меня больше всех гоняют по колхозам?

Я взорвался.

— Опять в колхоз? Опять навоз да кирпичи возить? Не поеду! — швырнул я путевку на стон. — Довольно, полазил по грязи, пусть другие помотаются!..

— Не кричи! Наряд у тебя на неделю! А надо будет, еще прибавят, — рассердилась Кадича.

Тогда я спокойно сказал:

— Не поеду!

И, как всегда, Кадича неожиданно сдалась:

— Ну, хорошо. Я поговорю с начальством.

Она взяла со стола путевку.

«Значит, не поеду, — подумал я, — и никогда не увижусь с Асель». Мне стало еще хуже. Я отчетливо понял, что буду каяться всю жизнь. Будь что будет — поеду!..

— Ладно, давай сюда! — выхватил я путевку.

Джантай прыснул в окошке:

— Передай привет моей бабушке!

Я ничего не сказал. По морде бы ему съездить!.. Хлопнул дверью, пошел в общежитие.

*

На другой день я глаза проглядел на дороге. Где она? Покажется ли ее тоненькая, как тополек, фигурка? Тополек мой в красной косынке! Тополек степной! Пусть в резиновых сапогах, в пиджаке отцовском. Ерунда. Я же видел, какая она!

Тронула Асель мое сердце, взбудоражила всю душу!

Еду, смотрю по сторонам, нет, не видно нигде.

Доехал до аила, вот и ее двор, притормозил машину. Может быть, дома? Но как я ее вызову, что скажу? Эх, не судьба, мне, наверно, свидеться с ней. Газанул на разгрузку. Разгружаюсь, а в душе все теплится надежда: а вдруг да и встречу на обратном пути. И на обратном пути не встретил. Тогда я завернул на ферму. Ферма у них на отшибе, далеко от аила. Спрашиваю у девушки одной. Нет ее, говорит, не выходила на работу. «Значит, нарочно не вышла, чтобы не встретиться по дороге со мной», — подумал я и очень расстроился. Унылый, вернулся на автобазу.

На второй день снова в дорогу. Еду и уже не мечтаю увидеть. В самом деле, зачем я ей, зачем беспокоить девушку, если она просватана? Однако не верится мне, что все так у нас и кончится, ведь в аилах и до сих пор еще сватают девушек и выдают замуж без их согласия. Сколько раз я читал об этом в газетах. А что толку? После драки саблей не машут, выдадут замуж, — назад не воротишься, жизнь поломана… Вот какие мысли бродили у меня в голове…

Весна в ту пору была в полном цвету. Земля в предгорье полыхала тюльпанами. С детства я люблю эти цветы. Нарвать бы охапку и принести ей! Поди найди ее…

И вдруг смотрю, глазам не верю — Асель! Сидит в сторонке на валуне, на том самом месте, где прошлый раз застряла моя машина. Будто поджидает кого-то! Я к ней! Она испуганно встала с камня, растерялась, косынку сдернула с головы, зажала в руке. Асель была на этот раз в хорошем платье, в туфельках. Даль такая, а она на каблучках. Затормозил я поскорее, а у самого сердце под горло подпирает.

— Здравствуйте, Асель!

— Здравствуйте! — ответила она негромко.

Я хотел помочь ей сесть в кабину, а она повернулась и медленно пошла вдоль дороги. Значит, не хочет садиться. Я тронул машину, открыл дверцу и так же медленно покатил рядом с ней. Так мы и двигались. Она по обочине, а я за рулем. Молчали. О чем говорить? Потом она спросила:

— Вы вчера приезжали на ферму?

— Да, а что?

— Так просто. Не надо приезжать туда.

— Я хотел вас видеть.

Она ничего не сказала.

А у меня на уме это проклятое сватовство. Узнать хочу, как и что. Спросить — язык не поворачивается. Боюсь. Ответа ее боюсь.

Асель глянула на меня.

— Это правда?

Она кивнула головой. У меня руль запрыгал в руках.

— Когда свадьба? — спросил я.

— Скоро, — ответила она тихо.

Я чуть было не рванул на машине куда глаза глядят. Да вместо скорости сцепление выключил. Мотор как взревет на холостых оборотах, Асель в сторону отпрянула. Я и не извинился даже. Не до этого.

— Значит, мы больше не увидимся? — говорю.

— Не знаю. Лучше не видеться.

— А я, я все равно… как хотите, буду вас искать!

И опять мы замолчали. Может быть, думали об одном и том же, а между нами будто стена стояла, которая не позволяла мне подойти к ней, а ей сесть в мою кабину.

— Асель! — сказал я. — Не избегайте меня. Я ничем не помешаю. Буду смотреть на вас издали. Обещаете?

— Не знаю, может быть…

— Садитесь, Асель.

— Нет. Уезжайте. Аил уже близко.

После этого мы еще встречались на дороге, каждый раз словно невзначай. И снова: она идет

по обочине, а я сижу в кабине. Обидно, но что поделаешь.

О женихе я не спрашивал. Неудобно, да и не хотелось. Но по ее словам понял, что она его мало знала. Он доводился каким-то родственником матери, жил в дальнем лесхозе, в горах. Их семьи издавна вели, если можно так сказать, обмен девушками, поддерживали родство между собой из поколения в поколение. Родители Асель не допускали мысли отдать ее куда-нибудь на сторону. Обо мне же и речи не могло быть. Кто я? Какой-то пришлый, безродный шоферюга. Да и я сам не посмел бы заикнуться.

Асель в те дни была неразговорчивой. Все думала о чем-то. Но я ни на что не надеялся. Судьба ее решилась, встречаться было бесполезно. Однако мы, как дети, старались не говорить об этом и встречались потому, что не могли не встречаться. Нам обоим казалось, что мы друг без друга не можем жить.

Так прошло дней пять. В то утро я был на автобазе, готовился в рейс. И вдруг вызывают в диспетчерскую.

— Можешь радоваться! — весело встретила меня Кадича. — Тебя переводят на трассу Синьцзян.

Я остолбенел. Последние дни я жил так, будто

вечно буду ездить в колхоз. Рейсы в Китай многодневные, кто знает, когда смогу вырваться к Асель? Исчезнуть внезапно, даже не предупредив ее?

— Да ты, кажется, не рад? — заметила Кадича.

— А как же колхоз? — заволновался я. — Работа там еще не окончена.

Кадича удивленно пожала плечами:

— Ты же раньше сам не хотел.

Я обозлился:

— Мало ли что было раньше.

Сел на стул, сижу, не знаю, что делать.

Прибежал Джантай. Оказывается, вместо меня его направили в колхоз. Я насторожился. Джантай, наверно, откажется, ведь выработка на проселочных дорогах меньше. Но он взял путевку да еще сказал:

— Куда пошлешь, Кадича, хоть на край света! В аиле как раз баранчики поспевают, может, прихватить?

А потом увидел меня:

— Извиняюсь, я, кажется, помешал!

— Иди отсюда!.. — прошипел я, не поднимая головы.

— Ну что же ты сидишь, Ильяс? — тронула меня за плечо Кадича.

— Я должен поехать в колхоз, пошли меня, Кадича! — попросил я.

— Да ты в своем уме? Не могу я, наряда нет! — сказала она и беспокойно глянула мне в лицо. — Что это ты так разохотился туда ездить?

Я ничего не ответил. Молча вышел, отправился в гараж. Джантай проскочил мимо меня на своей машине, хитро подмигнул, чуть не задев крылом.

Я долго копался, медлил, но выхода не было. Поехал на погрузочную станцию. Там очередь небольшая.

Товарищи меня покурить звали, но я даже из кабины не вылез. Закрою глаза и представляю, как ждет понапрасну Асель на дороге. День будет ждать, два, три… Что же она подумает обо мне?

А очередь приближалась. Уже начали нагружать впереди меня машину. Через минуту и мне становиться под кран. «Прости меня, Асель! — подумал я. — Прости, тополек мой степной! — И тут вдруг мелькнула мысль: — Да я успел бы сказать ей и вернуться. Велика беда — выйду в рейс на несколько часов позже. Объясню потом начальнику автобазы, поймет, быть может, а нет — поругает. Ну, выговор объявит… Не могу я! Поеду!»

Я завел мотор, чтобы податься назад, но машины сзади стояли вплотную. Тем временем груженая машина отошла, очередь была за мной.

— Становись! Эй, Ильяс! — крикнул крановщик.

Кран занес надо мной стрелу. Все кончено! С экспортным грузом никуда не денешься. Как же я раньше не хватился? Подошел отправитель с документами. Я глянул в заднее окошко: в кузов, покачиваясь, опускался контейнер. Он все приближался и приближался. И тут я крикнул:

— Берегись!

С места рванул из-под контейнера машину, мотор был у меня не выключен. Сзади раздались крики, свист, ругань…

А я гнал машину мимо складов, штабелей досок и угольных куч. Я будто прирос к баранке. Земля заметалась, и машину и меня било из стороны в сторону. Да нам не привыкать…

Вскоре я догнал Джантая. Он выглянул из кабины и ошалело вытаращил глаза: узнал меня. И ведь видит, что спешу, значит, надо уступить дорогу, так нет, не дает проехать. Вырулил я на обочину, пошел в обгон прямо полем. Джантай тоже припустил, не дает выбраться на дорогу. Так

мы и мчались: он по дороге, я полем. Пригнулись к баранкам, косимся, как звери, ругаемся.

— Куда ты? Зачем? — кричит он мне.

Я ему кулаком погрозил. Все же машина у меня была порожняя. Обогнал, ушел.

Асель я не встретил. Приехал в аил, запыхался, будто пешком прибежал, еле дух перевел. Ни во дворе у них, ни на улице никого не видно. Только лошадь оседланная стоит у коновязи. Что делать? Решил ждать, думаю, увидит машину, выйдет на улицу. Полез я в мотор, будто чиню что-то, а сам все время поглядываю на калитку. Долго ждать не пришлось; открывается калитка, и выходит ее мать и старик, чернобородый, грузный такой, два ватных халата на нем: нижний плюшевый, верхний вельветовый. В руке камча хорошая. Распарился, красный, видно, только что чай пил. Подошли они к коновязи. Мать Асель почтительно придержала стремя, помогла старику взгромоздиться в седло.

— Мы вами довольны, сват! — сказала она. — Но и за нас не беспокойтесь. Для своей дочери ничего не пожалеем. Слава богу, руки наши не пусты.

— Э-э, байбиче, в обиде не будем, — ответил он, поудобней устраиваясь в седле. — Дай бог

здоровья молодым. А что касается добра: не для чужих — для своих же детей. И родниться нам не впервые… Ну, будь здорова, байбиче, значит, так и порешили: в пятницу!

— Да, да, в пятницу. Святой день. Счастливого пути. Привет передайте сватье.

«Что это они о пятнице говорят? — думаю я. — Какой день сегодня? Среда… Неужели в пятницу увезут? Эх, до каких же пор старые обычаи будут нам, молодым, жизнь ломать!..»

Старик затрусил на лошади в сторону гор. Мать Асель подождала, пока он удалится, потом повернулась ко мне, недружелюбно окинула взглядом.

— Ты что повадился сюда, парень? — сказала она. — Здесь тебе не караван-сарай! Нечего стоять! Уезжай, слышишь? Тебе говорю.

Значит, приметила уже.

— Поломка у меня! — упрямо буркнул я и уже вовсе по пояс полез под капот. Нет, думаю, никуда я не уйду, пока не увижу ее.

Мамаша еще что-то проворчала, ушла.

Я выбрался, присел на подножку, закурил. Откуда-то прибежала маленькая девочка. Скачет на одной ножке вокруг машины. На Асель немного похожа. Уж не сестренка ли?

— Асель ушла! — говорит она, а сама прыгает.

— Куда? — поймал я ее. — Куда ушла?

— А я почем знаю! Пусти! — вырвалась и на прощание язык показала.

Захлопнул я капот, сел за руль. Куда ехать, где ее искать? И возвращаться уже пора. Ползу по дороге, в степь выехал. Остановился у переезда через арык. Что делать, ума не приложу. Выбрался из кабины, повалился на землю. Тошно. И Асель не нашел, и рейс сорвал… Задумался, не вижу и не слышу ничего на свете. Сколько я так пролежал, не знаю, но только поднял голову, смотрю, по ту сторону машины стоят девичьи ноги в туфельках. Она! Сразу узнал. Я так обрадовался, что даже сердце заколотилось. Встал на колени, а подняться не могу. И опять это произошло на том самом месте, где мы впервые встретились.

— Проходи, проходи, бабушка! — сказал я туфелькам.

— А я не бабушка! — подхватила Асель игру.

— А кто же ты?

— Девушка.

— Девушка? Красивая?

— А ты посмотри!

Мы разом рассмеялись. Я вскочил, бросился к ней. Она — навстречу. Остановились друг перед другом.

— Самая красивая! — говорю я. А она, как тополек молоденький на ветру, гибкая, в платье с коротенькими рукавчиками, под рукой две книжки держит. — Откуда ты узнала, что я здесь?

— А я из библиотеки шла, смотрю, на дороге следы твоей машины!

— Да ну?! — Для меня это значило больше, чем само слово «люблю». Стало быть, думала обо мне и я ей дорог, если искала след моей машины.

— Я и побежала сюда, почему-то решила, что ты ждешь!..

Я взял ее за руку:

— Садись, Асель, прокатимся.

Она охотно согласилась. Я не узнавал ее. И себя не узнавал. Все тревоги, горести как рукой сняло. Были только мы, было наше счастье, небо и дорога. Я открыл кабину, посадил ее, сам сел за руль.

И мы поехали. Просто так, по дороге. Неизвестно куда и зачем. Но для нас это было неважно. Достаточно сидеть рядом, встречаться взглядами, прикасаться рукой к руке. Асель поправила мою солдатскую фуражку (я ее года два носил).

— Так красивей! — сказала она и ласково прижалась к плечу…

Машина птицей неслась по степи. Весь мир пришел в движение, все побежало навстречу:

горы, поля деревья… Ветер бил нам в лицо — ведь мы мчались вперед, солнце сияло в небе, мы смеялись, воздух нес запах полыни и тюльпанов, мы дышали полной грудью.

Коршун-степняк, что сидел на развалинах старого кунбеза, снялся, замахал крыльями и низко поплыл вдоль дороги, как будто наперегонки с нами.

Два всадника испуганно шарахнулись в сторону. А потом с диким криком приударили вслед.

— Э-эй, стой! Остановись! — хлестали они припавших к земле коней. Кто они были, не знаю. Может, их знала Асель. Скоро они скрылись в клубах пыли.

Впереди бричка какая-то свернула с дороги. Парень и девушка привстали, увидев нас, обнялись за плечи, приветливо помахали.

— Спасибо! — крикнул я им из кабины.

Кончилась степь, вышли на шоссе, асфальт загудел под колесами.

Недалеко должно было быть озеро. Я круто свернул с дороги и прямо по целине, через кусты и травы направил машину к берегу. Остановились на взгорье, над самой водой.

Сине-белые волны, словно взявшись за руки, вереницей взбегали на желтый берег. Солнце

закатывалось за горы, и дальние воды казались розовыми. Где-то на другой стороне, вдали, проступала сиреневая гряда снежных гор. Серые тучи собирались над ними.

— Смотри, Асель! Лебеди!

Лебеди бывают на Иссык-Куле только осенью и зимой. Весной они залетают очень редко. Говорят, это южные лебеди, летящие на север. Говорят, это к счастью…

Стая белых лебедей носилась над вечерним озером.

Птицы то поднимались вверх, то падали вниз, распластав крылья. Садились на воду, шумно плескались, далеко разгоняя кипучие круги пены, и снова взлетали.

Потом они вытянулись в цепочку и полетели, разом взмахивая крыльями, к песчаному откосу залива, на ночевку.

Мы сидели в кабине, молча смотрели. А потом я сказал так, будто мы уже все решили:

— Во-он там, видишь, крыши на берегу, это наша автобаза. А это, — я обвел рукой кабину, — это наш дом! — И рассмеялся. Везти-то ее было некуда.

Асель глянула мне в глаза, прижалась к груди, обнимает, а сама плачет и смеется:

— Родной мой, любимый! Не надо мне никакого дома. Только бы отец с матерью, ну хотя бы потом, когда-нибудь, поняли меня. Обидятся они, на всю жизнь, я знаю… Но разве я виновата…

Стало быстро темнеть. Тучи застлали небо, низко опустились к воде. Озеро замерло, почернело. В горах будто электросварщик засел. То вспыхнет там — ослепит, то погаснет. Гроза надвигалась. Недаром лебеди завернули сюда по пути. Они предчувствовали: непогода могла застигнуть их над горами.

Грянул гром. Полил дождь, шумный, мятущийся. Забормотало, закипело озеро и пошло раскачиваться, биться о берега. Это была первая весенняя гроза. И это была наша первая ночь. По кабине, по стеклам ручьями стекала вода. В черное развернутое озеро падали белые полыхающие молнии. А мы прижались друг к другу, разговариваем шепотом. Чувствую, Асель дрожит: не то напугана, не то замерзла. Я укрыл ее своим пиджаком, обнял покрепче, и от этого показался себе сильным, большим. Никогда не думал, что во мне было столько нежности; не знал, что так это хорошо — оберегать кого-то, о ком-то заботиться. Шепнул ей на ухо: «Никому, никогда не дам тебя в обиду, тополек мой в крас-

ной косынке!..»

Гроза кончилась так же быстро, как и началась. Но по растревоженному озеру продолжали ходить буруны и накрапывал дождь.

Я достал маленький дорожный радиоприемник, единственное мое ценное имущество в ту пору. Настроил, поймал волну. Как сейчас помню, из городского театра транслировали балет «Чолпон». Из-за гор, из-за хребтов полилась в кабину музыка, нежная и могучая, как сама любовь, о которой говорилось в этом балете. Зал гремел, аплодировал, люди выкрикивали имена исполнителей, быть может, бросали цветы к ногам балерин, но никто из сидящих в театре не испытывал, я думаю, столько восторга и волнения, как мы в кабине, на берегу сердитого Иссык-Куля. Это о нас рассказывалось в этом балете, о нашей любви. Мы горячо принимали к сердцу судьбу девушки Чолпон, ушедшей искать свое счастье. Моя Чолпон, моя утренняя звезда была со мной. В полночь она уснула у меня на плече, а я долго не мог успокоиться. Тихо гладил ее по лицу и слушал, как вздыхает в глубинах Иссык-Куль…

Утром мы прибыли на автобазу. Нагоняй мне был хороший. Но когда узнали, почему я так поступил, то по случаю такого события простили.

Потом еще долго смеялись, вспоминая, как я удрал из-под погрузочного крана.

Мне предстояло идти в рейс в Китай. Асель я взял с собой. Рассчитывал оставить ее по пути у своего друга — Алибека Джантурина. Он жил с семьей на перевалочной базе, вблизи Нарына. Это не так далеко от границы. Я всегда заезжал к ним проездом. Жена Алибека славная женщина, я уважал ее.

Мы выехали. Первым делом купили в придорожном магазине кое-что из одежды для Асель. Ведь она была в одном только платьице. Кроме всего прочего, купили большую, яркую, цветастую шаль. Это было очень кстати. По дороге нам встретился пожилой шофер, наш аксакал Урмат-аке. Еще издали он подал мне знак остановиться. Я затормозил. Мы вышли из кабин, поздоровались:

— Ассалоум-алейкум, Урмат-аке!

— Алейкум-ассалам, Ильяс. Пусть будет прочен поводок сокола, который сел на твою руку! — поздравил он меня согласно обычаю. — Дай бог вам счастья и детей!

— Спасибо! Откуда вы узнали, Урмат-аке? — удивился я.

— Э-э, сын мой, хорошая весть на земле не ле-

жит, По всей трассе из уст в уста идет…

— Вон как! — еще больше удивился я.

Стоим на дороге, разговариваем, а Урмат-аке даже и не подходит к машине, не глядит на Асель. Хорошо, что Асель догадалась, в чем дело, накинула платок на голову, прикрыла лицо. Тогда Урмат-аке довольно улыбнулся.

— Вот теперь порядок! — сказал он. — Спасибо, доченька, за уважение. Ты отныне наша невестка, всем аксакалам автобазы невестка. Держи, Ильяс, за смотрины, — подал он мне деньги. Я не мог отказаться, обидел бы.

Мы расстались. Асель не снимала платка с головы. Как будто в заправдашнем киргизском доме, она, сидя в кабине, застенчиво прикрывала лицо при встречах со знакомыми шоферами. А оставшись одни, мы смеялись.

В платке Асель показалась мне еще красивей.

— Невестушка моя, подними глаза, поцелуй! — говорю я ей.

— Нельзя, аксакалы увидят! — отвечает она и тут же со смехом, будто бы украдкой, целует в щеку.

Все автобазовские шоферы останавливали нас при встрече, поздравляли, желали счастья, многие из них успели припасти не только цве-

ты, собранные по пути, но и подарки. Не знаю, кому пришла в голову такая мысль. Наверно, это придумали наши русские ребята. У них в селах на свадьбе обычно разукрашивают машину. Вот и на нашей запестрели красные, голубые, зеленые ленты, шелковые косынки, букеты цветов. Заиграла машина, и видно ее было, наверно, за десятки километров. Мы были счастливы с Асель, а я гордился своими друзьями. Говорят, что друзья познаются в несчастье, а по-моему, и в счастье они тоже познаются.

Встретился нам по пути и Алибек Джантурин, самый близкий мой друг. Он старше меня года на два. Такой коренастый, большеголовый. Малый он рассудительный, серьезный и шофер отличный. На базе его очень уважали. В профком выбрали. Ну, думаю, а что он скажет?

Алибек молча посмотрел на нашу машину, покачал головой. Подошел к Асель, поздоровался с ней за руку, поздравил.

— А ну, дай сюда путевой лист! — потребовал он. Недоумевая, я молча подал ему лист. Алибек достал авторучку и крупным почерком написал поперек всей путевки: «Свадебный рейс, № 167!» Сто шестьдесят семь — номер путевки.

— Ты что делаешь? — растерялся я. — Это же

документ!

— Сохранится для истории! — усмехнулся он. — Думаешь, в бухгалтерии не люди сидят, что ли? А теперь давай руку! — крепко обнял меня, поцеловал. Мы расхохотались Потом пошли было по машинам, но Алибек остановил меня:

— А жить-то где будете?

Я развел руками.

— Вот наш дом! — показал на машину.

— В кабине? И детей растить там будете?.. Вот что, поселяйтесь в нашей квартирке на перевалочной, я поговорю на базе с начальством, а мы переедем в свой дом.

— Так он же у тебя недостроен? — Дом Алибек ставил в Рыбачьем, неподалеку от автобазы. В свободное время я ходил помогать.

— Ничего. Там осталось самую малость доделать. А на большее не рассчитывай, сам знаешь, с жильем пока туго.

— Ну, спасибо. Нам большего и не надо. Ведь я хотел только на время оставить у вас Асель, а ты всю квартиру нам отдаешь…

— В общем, останавливайтесь у нас. На обратном пути подожди меня. Тогда все и решим, с женами! — подмигнул он в сторону Асель.

— Да, теперь — с женами.

— Счастливого свадебного путешествия! — крикнул нам вдогонку Алибек.

Черт возьми! Это действительно было наше свадебное путешествие! Да еще какое!

Мы были рады, что все устраивается хорошо, и только лишь одна встреча немного подпортила мне настроение.

На одном из поворотов выскочила на шоссе машина Джантая. Он был не один, в кабине сидела Кадича. Джантай помахал мне рукой. Я резко затормозил. Машины остановились почти борт о борт. Джантай высунулся в окошко:

— Ты что так разукрасился, как на свадьбе?

— Так оно и есть! — ответил я.

— Да ну? — недоверчиво протянул он и оглянулся на Кадичу. — А мы-то тебя ищем! — сорвалось у него с языка.

Кадича как сидела, так и застыла, бледная, растерянная.

— Здравствуй, Кадича! — сказал я приветливо. Она молча кивнула головой.

— Так это, значит, невеста с тобой? — только теперь догадался Джантай.

— Нет, жена, — возразил я и обнял Асель за плечи.

— Вот как? — Джантай еще больше вытаращил

глаза, не зная, то ли радоваться, то ли нет. — Ну, поздравляю, от души поздравляю…

— Спасибо!

Джантай ухмыльнулся:

— Ловкач ты! Без калыма отхватил?

— Дурак! — обозвал я его. — Трогай машину.

Бывают же такие люди! Я хотел еще обругать его как следует. Выглянул из кабины, смотрю, Джантай стоит у машины, щеку потирает и кричит что-то, грозит кулаком Кадиче. А она бежит куда-то прочь от дороги, в поле. Бежала, бежала и с размаху упала на землю, закрыла голову руками. Не знаю, что произошло там у них, но только мне стало жаль ее, такое чувство было, будто виноват в чем-то. Асель я ничего не сказал.

Через неделю поселились мы в домике на перевалочной базе. Домишко был небольшой, сенцы и две комнатки. Таких домиков там несколько, в них живут шоферы с семьями да рабочие с заправочного пункта. Но место хорошее, у дороги, и Нарын недалеко. Все-таки областной центр. В кино, в магазин можно сходить, и больница есть. Нам еще нравилось, что перевалочная база на середине пути. Рейсы у нас в основном были между Рыбачьим и Синьцзяном. Можно было по дороге отдохнуть дома, переночевать. Я почти каждый

день виделся с Асель. Если даже задержусь в дороге, все равно, хоть в полночь, но доберусь домой. Асель всегда ждала, беспокоилась, не ложилась Спать, пока не приеду. Мы уже стали обзаводиться кое-каким домашним скарбом. Одним словом, жизнь налаживалась понемногу. Решили, что и Асель начнет работать, она сама настаивала: в аиле выросла, работящая, но тут, к нашей неожиданной радости, оказалось, что она скоро станет матерью.

...В тот день, когда Асель родила, я шел обратным рейсом из Китая. Спешу, волнуюсь. Асель лежала в родильном доме в Нарыне. Приезжаю — сын! К ней меня, конечно, не пустили. Сел я в машину и гоню по горам. Зимой это было. Снег да скалы кругом. В глазах так и рябит черное и белое, черное, белое... Вылетел я на гребень Долонского перевала, высота огромная, облака по земле ползут, а горы внизу, как карлики; выпрыгнул из кабины, набрал полные легкие воздуха и крикнул на весь свет:

— Э-эй, горы! У меня родился сын!

Мне показалось, что горы дрогнули. Они повторили мои слова, и эхо долго не смолкало, перекатываясь от ущелья к ущелью.

Сынишку мы назвали Саматом. Это я ему дал

такое имя. Все разговоры наши вертелись вокруг него: Самат, наш Самат, Самат улыбнулся, у Самата прорезались зубки. В общем, как полагается у молодых родителей.

Жили мы дружно, любили друг друга, а потом случилась у меня беда…

*

Трудно теперь разобраться, откуда пришло несчастье. Все перепуталось, переплелось… Правда, сам-то я теперь многое понял, да что толку.

С человеком этим мы встретились случайно в пути и расстались, не подозревая, что это наша не последняя встреча.

Поздней осенью я шел в рейс. Погода стояла нудная. С неба сыпал не то дождь, не то снег, что-то мокрое, мелкое, не поймешь. По склонам гор туман, как кисель, тянется. Почти всю дорогу шел с включенными «дворниками»: стекла запотевали. Я был уже глубоко в горах, где-то на подходе к Долонскому перевалу. Эх, Долон, Долон, тянь-шаньская махина! Сколько у меня с ним связано! Самый трудный, опасный участок трассы. Дорога идет серпантином, петля на петле, и все вверх, по откосам, лезешь в небо, облака давишь колесами, то прижимает тебя к сиденью,

не откинешься, то круто падаешь вниз, на руках выжимаешься, чтобы оторваться от баранки. И погода там, на перевале, как дурной верблюд: лето ли, зима, Долону нипочем — вмиг сыпанет градом, дождем или заваруху снежную закрутит такую, что не видать ни зги. Вот какой он, наш Долон!.. Но мы, тяньшаньцы, привыкли к нему, даже по ночам нередко ходим. Это я сейчас всякие трудности и опасности вспоминаю, а когда работаешь там изо дня в день, раздумывать особенно не приходится.

В одном из ущелий близ Долона догоняю грузовую машину. Точно помню — ГАЗ-51. Вернее, не догоняю, она там уже стояла. Два человека возились у мотора. Один из них, не торопясь, вышел на середину дороги, поднял руку. Я затормозил. Подходит ко мне человек в намокшем брезентовом плаще с накинутым капюшоном. Лет ему так под сорок, усы бурые, солдатские, подстриженные щеточкой, хмуроватое лицо, а глаза смотрят спокойно.

— Подбрось, джигит, к Долонскому дорожному участку, — говорит он мне, — трактор пригнать, мотор отказал.

— Садитесь, подвезу. А может, сами придумаем что-нибудь? — предложил я и вышел из кабины.

— Да что тут придумаешь, не фырчит, — прихлопнув открытый капот, уныло отозвался шофер. Посинел он весь, бедняга, озяб, скрючился. Видно, не нашенский, столичный какой-то, растерянно озирается вокруг. Везли они что-то на дорожный участок из Фрунзе. Что же, думаю, делать? Появилась у меня шальная мысль. Но прежде на перевал глянул. Небо мутное, сумрачное, тучи бегут низко. Однако решился. Идея не ахти какая, но для меня это тогда было как в атаку рискованную броситься.

— Тормоза у тебя в порядке? — спрашиваю шофера.

— Вот-те на... без тормозов, что ли, езжу! Говорят тебе, мотор ни в какую.

— А трос есть?

— Ну есть!

— Тащи сюда, цепляйся.

Уставились на меня недоверчиво, с места не трогаются.

— Ты что, рехнулся? — тихо проговорил шофер.

А у меня характер такой. Не знаю, хорошо это или плохо, но если взбредет что в голову, умру, а добьюсь своего.

— Слушай, друг, цепляйся! Честное слово, дотя-

ну! — пристал я к шоферу.

Но шофер только отмахнулся.

— Отстань! Ты что не знаешь, что здесь с буксиром не ездят? Даже и не подумаю.

Обида взяла такая, будто отказал он мне в самой большой просьбе.

— Эх ты, ишак, — говорю, — трусливый!

Позвал дорожного мастера. Он, оказывается, был дорожным мастером, это я потом узнал. А дорожный мастер посмотрел на меня и сказал шоферу:

— Доставай трос. Тот опешил:

— Вы будете отвечать, Байтемир-аке.

— Все будем отвечать! — ответил он коротко.

Мне это понравилось. Такого человека сразу начинаешь уважать.

И мы пошли, две машины, сцепленные тросом. Сперва ничего, нормально. Но по Долону дорога идет все время в гору, на подъем, по откосам да по крутым спускам. Застонал мотор, завыл, только гул стоит в ушах. Нет, думаю, врешь, выжму из тебя все до капельки. Я еще раньше замечал, что как ни тяжела дорога на Долоне, а все же оставался какой-то запас мощности на тягу. Грузили нас всегда с оглядкой, не больше семидесяти процентов нормы. Конечно, в тот час я не думал об этом.

Бушевала во мне дикая сила вроде спортивного азарта: добиться своего и все тут — помочь людям дотащить машину до места. Но сделать это оказалось не так-то просто. Дрожит, надрывается машина, какая-то мокрятина липнет на стекла, щетки едва успевают разметать. Откуда-то тучи поналезли, ложатся прямо под колеса, переползают дорогу. Повороты пошли крутые, отвесные. Втайне, грешным делом, я уже поругиваю себя: зачем связался, как бы не угробить людей. Не столько машина, сколько сам измучился. Скинул с себя все — шапку, фуфайку, пиджак, свитер. Сижу в одной рубашке, а пар с меня валит, как в бане. Шуточное ли дело: машина на буксире сама сколько весит да еще груз. Хорошо еще, Байтемир стоял на подножке, согласовывал наши движения, мне голосом, а тому — на буксире — рукой знаки подавал. Когда пошли по серпантинам карабкаться, думаю, не выдержит, спрыгнет где-нибудь от беды подальше. Но он не шелохнулся. Подобрался, как беркут на взлете, и стоит, вцепился в кабину. Глянул на его лицо, спокойное, будто из камня высеченное, капли воды сбегают по щекам, по усам, и на душе легче.

Нам оставался еще один большой подъем, и тогда все, победа за нами. В этот момент Байтемир

пригнулся в окошко:

— Осторожней, машина впереди! Бери правей.

Я взял вправо. С горы спускалась грузовая машина — джантаевская! Ну, думаю, будет мне от инженера по безопасности: проболтается Джантай как пить дать. Он все ближе и ближе. Уперся руками в баранку, катит вниз, смотрит исподлобья. Мы пошли впритирку, рукой достать. Когда сравнялись, Джантай отпрянул от окошка и осуждающе покачал головой в рыжем лисьем малахае. «Черт с тобой, — подумал я, — трепи языком, если охота».

Вышли на подъем, внизу крутой спуск, потом пологая дорога и поворот к усадьбе дорожного участка. Туда я и свернул. Притащил все-таки! Выключил мотор, и ничего не слышу. Кажется мне, что не я оглох, а природа онемела. Ни единого звука. Выполз я из кабины, присел на подножку. Задыхаюсь, вымотался, да и воздух разреженный на перевале. Байтемир подбежал, накинул на меня фуфайку, шапку нахлобучил на голову. Спотыкаясь, прибрел шофер с той машины, бледный, молчаливый. Сел передо мной на корточки, протянул пачку сигарет. Я взял сигарету, а рука дрожит. Мы все закурили, пришли в себя. Во мне опять заиграла эта проклятая дикая сила.

— Ха! — гаркнул я. — Видал! — и как хлопнул шофера по плечу, он так и сел. Потом мы все трое вскочили на ноги и давай колотить друг друга по спинам, по плечам, а сами гогочем, выкрикиваем что-то нелепое, радостное…

Наконец успокоились, закурили по второй. Я оделся, глянул на часы, спохватился:

— Ну, мне пора!

Байтемир нахмурился:

— Нет, заходи в дом, гостем будешь!

А у меня времени ни минутки.

— Спасибо! — поблагодарил я. — Не могу. Домой хочу заскочить, жена ждет.

— А может, останешься? Разопьем бутылочку! — начал упрашивать мой новый друг-шофер.

— Оставь! — перебил его Байтемир. — Жена ждет. Как тебя звать-то?

— Ильяс.

— Езжай, Ильяс. Спасибо тебе, выручил.

Байтемир проводил меня на подножке до самой дороги, молча пожал руку, спрыгнул.

Въезжая на гору, я выглянул из кабины. Байтемир все еще стоял на дороге. Шапку он скомкал в руке и думал о чем-то, понурив голову.

Вот и все.

Асель я подробностей не рассказывал. Объяс-

нил только, что помогал людям на дороге, потому задержался. Я ничего не скрывал от жены, но такое рассказывать не решился. Она и без того всегда беспокоилась за меня. А потом я вовсе не собирался повторять такие штуки. Случилось раз в жизни, потягался силами с Долоном, и хватит. Да я забыл бы об этом на второй же день, если бы не занемог на обратном пути, простыл я тогда, оказывается. Едва добрался до дома — и сразу свалился. Не помню, что со мной было, все мерещилось, будто тяну на буксире машину по Долону. Метель горячая обжигает лицо, и так мне тяжело, дышать нечем, баранка точно из ваты, крутану, а она мнется в руках. Впереди перевал — конца-края не видать, машина задралась радиатором в небо, карабкается вверх, ревет, срывается с крутизны… Видимо, это был «перевал» болезни. Одолел я его на третий день, на поправку пошел. Пролежал еще дня два, чувствую себя хорошо, хотел встать, но Асель ни в какую, заставила меня поваляться в постели. Присмотрелся я к ней и думаю: я болел или она болела? Не узнаю, так измучилась, под глазами синие круги, исхудала, ветер дунет — с ног сшибет. Да еще ребенок на руках. Нет, решил я, так не пойдет. Не имею права дурака валять. Надо ей отдохнуть. Поднялся я с

постели, принялся одеваться.

— Асель! — негромко позвал я: сынишка спал. — Договаривайся с соседями за Саматом присмотреть, мы в кино пойдем.

Она подбежала к кровати, повалила меня на подушку, смотрит, будто впервые видит, старается сдержать слезы, но они блестят на ресницах, и губы прыгают. Асель уткнулась лицом мне в грудь, заплакала.

— Что с тобой, Асель? Что ты? — растерялся я.

— Да так, рада, что ты выздоровел.

— И я рад, но зачем так волноваться? Ну, приболел немного, зато дома с тобой побыл, с Саматом вволю наигрался. — А сын уже ползал, ходить собирался, самый забавный возраст. — Хочешь знать, я не прочь еще так поболеть! — пошутил я.

— Да ну тебя! Не хочу! — прикрикнула Асель.

Тут сынишка проснулся. Она принесла его со сна тепленького. И забарахтались мы втроем, лежим на кровати, дурачимся, а Самат, как медвежонок, ползает туда-сюда, топчет нас.

— Вот видишь, как хорошо! — говорю я. — А ты?! Вот поедем скоро к твоим старикам в аил. Пусть попробуют не простить. Увидят, какой у нас Самат, залюбуются, все позабудут.

Да, было у нас намерение поехать в аил с повинной, как полагается в таких случаях. Понятно, родители ее были крепко обижены на нас. Даже передали через, одного односельчанина, приезжавшего в Нарын, что никогда не простят дочери ее поступка. Сказали, что знать ничего не хотят о нашей жизни. Но мы-то надеялись, что все уладится, когда приедем к старикам и попросим прощения.

Однако требовалось сначала отпуск взять, подготовиться к поездке: подарков накупить обязательно всем родственникам. Ехать с пустыми руками я не хотел.

Тем временем зима наступила. Зима тяньшаньская суровая, с метелями, со снегопадами, обвалами в горах. Нам, шоферам, прибавляется забот, а дорожникам еще больше. В эти дни они несут противолавинную службу. В опасных местах, где может произойти снежный обвал, заранее взрывают лавину и расчищают дорогу. Правда, в ту зиму было сравнительно спокойно, а может, я просто ничего не замечал, у шофера всегда работы хватает. А тут еще неожиданно автобазе дали дополнительное задание. Вернее, мы, шоферы, сами взялись выполнить его, и первым я вызвался. Я и сейчас не раскаиваюсь,

но отсюда, пожалуй, и пошли все мои невзгоды. Дело было так.

Возвращался я как-то вечером на автобазу. Асель дала небольшой сверток для жены Алибека Джантурина. Завернул я к ихнему дому, посигналил, вышла жена Алибека. От нее я и узнал, что рабочие из Китая телеграмму прислали на автобазу, просят скорее перебросить заводское оборудование.

— А где же Алибек? — поинтересовался я.

— Как где? На разгрузочной станции, весь народ там. Эшелоны, говорят, уже прибыли.

Я туда. Думаю, надо разузнать все толком. Приезжаю. Разгрузочная наша находится в ущелье, на выходе к озеру. Это конечная станция железной дороги. Неспокойная, зыбкая полутьма стоит вокруг. Ветер из ущелья налетает порывами, раскачивает на столбах фонари, гонит по шпалам поземку. Снуют паровозы, сортируя вагоны. На крайнем пути кран мотает стрелой, сгружает с платформ ящики, окованные жестью и проволокой, — транзитный груз в Синьцзян, на машиностроительный завод. Строительство там шло крупное, мы уже возили туда кое-что из оборудования.

Машин скопилось много, но никто не грузился.

Будто ждали чего-то. Сидят в кабинах, на подножках, иные прислонились к ящикам, укрываясь от ветра. На приветствие мое толком никто не ответил. Молчат, попыхивают папиросами. В стороне Алибек стоял. Я к нему.

— Что у вас тут? Телеграмму получили?

— Да. Хотят досрочно пустить завод.

— Ну и что?

— За нами дело… Ты смотри, сколько навалили груза вдоль путей, и еще будет. Когда управимся? А люди ждут, надеются на нас!.. Им каждый день дорог!..

— А ты что на меня-то! Я тут при чем?

— Что значит, при чем! Ты что, из другого государства, что ли? Или не понимаешь, какое дело в наших руках?

— Сдурел ты, ей-богу! — сказал я удивленно и отошел в сторону.

В это время подошел Аманжолов, начальник автобазы, молча прикурил у одного из шоферов, прикрывшись полой. Оглядел всех нас.

— Вот так, товарищи, — проговорил он, — созвонюсь я с министерством, может быть, подбросят подмогу. Но рассчитывать на это не надо. Как быть, пока сам не знаю…

— Да, тут непросто сообразить, товарищ Аман-

жолов! — отозвался чей-то голос. — Груз габаритный. Больше двух-трех мест в кузов не полезет. Если даже организовать круглосуточную перевозку, хватит, дай боже, до весны.

— В том-то и дело, — ответил Аманжолов. — А сделать надо. Ну, пока, по домам, думать всем!

Он сел в газик, уехал. Наши никто не тронулись с мест. В углу, в темноте, кто-то пробасил, ни к кому не обращаясь:

— Черта с два! Из одной овчины двух шуб не скроишь! Раньше надо было думать! — встал, пригасил окурок и пошел к машине.

Его поддержал другой. У нас, говорит, всегда так: как подопрет под самую завязку, так и айда — выручайте, братцы шоферы!

На него накинулись:

— Это братское дело, а ты, Исмаил, болтаешь, как баба на базаре!

Я не вмешивался в спор. Но вдруг вспомнил, как буксировал машину на перевале, и загорелся, как всегда.

— Да что думать-то! — выскочил я на середину. — Прицепы надо брать к машинам!

Никто не шевельнулся. Иные даже не глянули на меня. Такое мог ляпнуть только безнадежный дурак. Джантай тихо присвистнул:

— Видали? — Я его по голосу узнал.

Стою, озираясь по сторонам, хочу рассказать, какой случай у меня был. Но какой-то здоровенный детина слез с ящика, передал рукавицы соседу и, подойдя ко мне, притянул за шиворот, нос к носу:

— А ну, дыхни!

— Ха-а! — дыхнул я ему в лицо.

— Трезвый! — удивился верзила, отпуская ворот.

— Значит, дурак! — подсказал его дружок, и оба пошли к своим машинам, уехали. Остальные тоже молча поднялись, собираясь уходить. Таким посмешищем я никогда не был! Шапка покраснела на мне от позора.

— Стойте, куда вы! — заметался я между шоферами. — Я ведь серьезно говорю. Прицепы можно брать…

Один из старых шоферов, аксакалов, подошел ко мне расстроенный:

— Когда я начал здесь шоферить, ты еще без штанов ходил, малый. Тянь-Шань — не танцплощадка. Жаль мне тебя, не смеши народ…

Люди, посмеиваясь, стали расходиться по машинам. Тогда я крикнул на всю станцию:

— Бабье вы, а не шоферы!

Зря я сделал это, на свою голову.

Все приостановились, потом разом ринулись на меня.

— Ты что! Чужими жизнями поиграть захотел?

— Новатор! Премию зарабатывает! — подхватил Джантай.

Голоса смешались, меня прижали к ящикам. Думал, измолотят кулаками, подхватил с земли доску.

— А ну, расступись! — свистнул кто-то и растолкал всех. Это был Алибек.

— Тише! — гаркнул он. — А ты, Ильяс, говори толком! Быстрей говори!

— Да что говорить! — ответил я, переводя дыхание. — Пуговицы все пообрывали. На перевале я тащил машину к дорожному участку. На буксире, с грузом. Вот и все.

Ребята недоверчиво примолкли.

— Ну, и вытянул? — с сомнением спросил кто-то.

— Да. Через весь Долон, до усадьбы.

— Ничего себе! — подивился чей-то голос.

— Брешет! — возразил второй.

— Брешут собаки. Джантай сам видел. Эй, Джантай, где ты? Скажи! Помнишь, как встретились…

Но Джантай не отзывался. Как сквозь землю

провалился. Однако тогда не до него было. Начался спор, некоторые уже встали на мою сторону. Но какой-то маловер разубедил их сразу.

— Что трепаться зря! — мрачно проговорил он. — Кто-то что-то сделал один раз, мало ли случаев бывает. Мы не дети. На нашей трассе вождение прицепов запрещено. И никто этого не разрешит, Попробуй, скажи инженеру по безопасности, он тебе такую дулю сунет, что не укусишь. Под суд не пойдет из-за вас… Вот и весь разговор.

— Да брось ты! — вступился было другой. — Что значит — не разрешит! Вот Иван Степанович в тридцатом на полуторке первый открыл перевал. А никто ему не разрешал. Сам пошел. Вот он, живой еще…

— Да, было, — подтвердил Иван Степанович. — Но, — говорит, — сомневаюсь: тут и летом-то никто не ходил с прицепами, а сейчас зима…

Алибек все время молчал, а тут заговорил:.

— Довольно спорить. Дело хоть и не бывалое, а подумать надо. Только не так, как ты, Ильяс: тяпляп, давай прицепы — и пошел. Подготовиться надо, продумать все как следует, посоветоваться, провести испытание. Одними словами ничего не докажешь.

— Докажу! — ответил я. — Пока вы будете ду-

мать-гадать, Я докажу! Тогда убедитесь!

У каждого человека свой характер. Надо им, конечно, управлять, но не всегда это удается. Я сидел за рулем и не ощущал ни машины, ни дороги. Во мне кипели боль, обида, горечь и раздражение. Чем дальше, тем больше распалялось задетое самолюбие. Нет, я вам докажу! Докажу, как не верить человеку, докажу, как смеяться над ним, докажу, как осторожничать, оглядываться!.. Алибек тоже хорош: подумать надо, подготовиться, испытать! Он умный, осмотрительный! А я плевал на это. Запросто сделаю и утру всем носы!

Поставив машину в гараж, я долго еще возился возле нее. В душе у меня все было натянуто до предела. Я думал только об одном: двинуться с прицепом на перевал. Я должен был это сделать во что бы то ни стало. Но, кто мне даст прицеп?

С такими мыслями я брел по двору. Было уже поздно. Только в диспетчерской светилось окно. Я остановился: диспетчер! Диспетчер может все устроить! Сегодня дежурила, кажется, Кадича. Тем лучше. Она не откажет, не должна отказать. Да если на то пошло, не преступление же я собираюсь совершить, наоборот, она лишь поможет мне сделать полезное, нужное для всех.

Подойдя к диспетчерской, я поймал себя на

мысли, что давно уже не входил в эту дверь, как бывало, а обращался через окошечко. Я замялся. Дверь открылась. Кадича стояла на пороге.

— Я к тебе, Кадича! Хорошо, что застал.

— А я уже ухожу.

— Ну, пойдем, провожу до дома.

Кадича удивленно подняла брови, недоверчиво посмотрела на меня, потом улыбнулась:

— Пошли.

Мы вышли из проходной. На улице было темно. С озера доносились шумные всплески, дул холодный ветер. Кадича взяла меня под руку, прижалась, укрываясь от ветра.

— Холодно? — спросил я.

— С тобой не замерзну! — отшутилась она.

Еще минуту назад я отчаянно волновался, а сейчас почему-то успокоился.

— Завтра ты когда дежуришь, Кадича?

— Во вторую смену. А что?

— Дело у меня есть, очень важное. От тебя все зависит…

Сначала она и слушать не хотела, но я продолжал убеждать. Остановились у фонаря на углу.

— Ох, Ильяс! — проговорила Кадича, с тревогой заглядывая мне в глаза. — Зря ты это затеваешь!

Но я же понял, что она сделает, как прошу. Я

взял ее за руку:

— Ты верь мне! Все будет в порядке. Ну, договорились?

Она вздохнула:

— Ну что с тобой поделаешь! — и кивнула головой.

Я невольно обнял ее за плечи.

— Тебе бы джигитом родиться, Кадича! Ну, до завтра! — крепко пожал ей руку. — К вечеру приготовь все бумаги, поняла?

— Не спеши! — проговорила она, не выпуская мою руку. Потом неожиданно повернулась. — Ну, иди… Ты сегодня в общежитие?

— Да, Кадича!

— Спокойной ночи!

На другой день у нас был техосмотр. Люди на автобазе нервничали: вечно эти инспектора заявляются некстати, вечно придираются ко всему и составляют акты. Сколько с ними возни, сколько хлопот. Но те были невозмутимы.

За свою машину я был спокоен, однако держался подальше, делал вид, что занят ремонтом. Надо было оттянуть время до вступления на дежурство Кадичи. Никто не заговаривал со мной, не напоминал о вчерашнем. Я знал, что людям не до меня: все спешили быстрей пройти техосмотр

и отправиться в рейс, нагнать упущенное время. И все же обида в душе не проходила.

Техосмотр я прошел во второй половине дня. Инспектора ушли. Стало тихо и пусто. В глубине двора под открытым небом стояли прицепы. Их использовали иногда по равнинным дорогам для внутренних перевозок. Я облюбовал себе один — обыкновенная тележка, кузов на четырех колесах. Вот и вся премудрость. А сколько пришлось переволноваться… Тогда я еще не знал, что меня ожидает, спокойно пошел в общежитие, надо было поплотней пообедать и вздремнуть часок, дорога предстояла трудная. Но я так и не смог заснуть, ворочался с боку на бок. А когда начало смеркаться, вернулся на автобазу.

Кадича была уже здесь. Все готово. Я взял путевку и поспешил в гараж. «Теперь держитесь!» Развернул машину, подвел к прицепу, перевел мотор на малые обороты, вышел, осмотрелся вокруг. Никого нет. Слышен только стук станков в ремонтной мастерской да шум прибоя на озере. Небо будто бы чистое, но звезд еще не видно. Рядом тихо постукивает мотор, и сердце мое постукивает. Хотел закурить, да тут же отбросил папиросу в сторону: потом.

У ворот меня остановил вахтер:

— Стой, куда?

— На погрузку, аксакал, — сказал я, стараясь быть равнодушным. — Вот пропуск на выезд.

Старик уткнулся в бумажку, никак не разберет при свете фонаря.

— Не задерживай, аксакал! — не утерпел я. — Работа не ждет.

Погрузка прошла нормально. С полной выкладкой: два места в кузове, два — в прицепе. Никто слова не сказал — я даже удивился. Вышел на трассу и только тогда закурил. Уселся поудобнее, включил фары и дал полный газ. Закачалась, замельтешила тьма на дороге. Путь был свободен, и ничто не мешало мне увеличивать скорость до предела. Машина неслась легко, почти не ощущался погромыхивающий сзади прицеп. Правда, на поворотах нас немного заносило в сторону, и выруливать было труднее, но это с непривычки, приноровлюсь, думал я. «Даешь Долон! Даешь Синьцзян!» — крикнул я себе и пригнулся к баранке, как всадник к холке коня. Пока дорога ровная, надо было нажимать. К полночи я рассчитывал выйти на штурм Долона.

Некоторое время я даже перекрывал свои расчеты, но когда начались горы, идти пришлось осторожней. Не потому, что мотор не справлялся

с нагрузкой, сдерживали меня не столько подъемы, сколько спуски. Прицеп вихлял на уклонах, гремел, подталкивал машину, мешал спокойно спускаться. Поминутно приходилось переключать скорости, тормозить, выруливать. Сначала я крепился, старался не замечать. Но дальше — больше, это стало беспокоить меня, раздражать. Сколько их на пути — подъемов да спусков, приходило ли кому в голову подсчитать! И все же я не падал духом. Мне ничего не грозило, только силы выматывались. «Ничего! — успокаивал я себя. — Сделаю передышку перед перевалом. Пробьюсь!» Я не понимал, почему сейчас мне было гораздо труднее, чем тогда осенью, когда я вел на буксире машину.

Долой приближался. Лучи фар заскользили по темным, каменным громадам ущелья, скалы с нахлобученными снежными шапками нависали над дорогой. Замелькали крупные хлопья снега. «Должно быть, ветер сдул сверху», — подумал я. Но хлопья стали налипать на стекла и оползать вниз, значит, шел снег. Он был не очень густ, но мокрый. «Этого еще не хватало!..» — выругался Я сквозь зубы. Включил щетки.

Начались первые крутизны перевала. Мотор завел знакомую песню. Монотонный, надсадный

гул пополз во тьме по дороге. Наконец подъем взят. Теперь впереди долгий путь под уклон. Мотор заурчал, машина пошла вниз. Сразу замотало из стороны в сторону. Я чувствую спиной, как дурит прицеп, как он наезжает и тычется в машину, слышу, как гремит, скрежещет металл на стыке сцепа. Этот скрежет сводит мне спину до ломоты, отзывается тупой; болью в предплечьях. Колеса не подчиняются тормозам, скользят по мокрому снежному покрову. Машина пошла юзом, затряслась всем корпусом, вырывая баранку из рук, и заскользила наискось по дороге. Я вывернул руль, остановился. Дальше не могу, сил нет. Выключил фары, заглушил мотор. Руки одеревенели, стали словно протезы. Я откинулся на спинку сиденья и услышал свое хриплое дыхание. Просидел так несколько минут, отдышался, закурил. А вокруг — тьма, дикая тишина. Только ветер посвистывает в щелях кабины. Боюсь представить, что будет впереди. Отсюда идут вверх по откосам серпантины. Мучение для мотора и для рук это бесконечное карабкание по склону горы зигзагами. Однако раздумывать не приходится, снег валит.

Я завел мотор. Машина с тяжелым ревом двинулась в гору. Стиснув зубы, без передышки брал

серпантины петлю за петлей, одну за другой. Кончились серпантины. Теперь крутой спуск, ровная, пологая дорога до поворота к дорожному участку и дальше последний приступ перевала. С трудом съехал вниз. По прямой дороге, которая тянется километра четыре, разогнал машину и с ходу припустил на подъем. Пошел, пошел вверх, еще… Разгона хватило ненадолго. Машина стала угрожающе замедлять ход, переключил скорость на вторую, затем да первую. Откинулся на спину, вцепился в баранку. В просвете туч брызнули звезды в глаза — ни с места, дальше не берет. Колеса, забуксовали; повели в сторону, я придавил акселератор до самого дна.

— Ну, еще! Ну, еще немного! Держись! — закричал я не своим голосом.

Мотор с протяжного стона перешел на звенящую дрожь и сорвался, дал перебой, заглох. Машина медленно поползла вниз. И тормоза не помогали. Она скатывалась с горы под тяжестью прицепа и наконец резко остановилась, ударившись о скалу. Все стихло. Я толкнул дверцу, выглянул из кабины. Так и есть! Проклятье! Прицеп завалился в кювет. Теперь никакими силами его не вытащишь. В беспамятстве я снова завел мотор, рванул вперед. Бешено закрутились

колеса, машина поднатужилась, напряглась всем корпусом, но даже не сдвинулась с места. Я выпрыгнул на дорогу, подбежал к прицепу. Его колеса глубоко увязли в кювете. Что делать? Ничего не соображая, в дикой, исступленной злобе кинулся я к прицепу, стал руками и всем телом толкать колеса. Потом подлез под кузов плечом, зарычал, как зверь, напрягся до сверлящей боли в голове, пытаясь сдвинуть прицеп на дорогу, но — куда там. Обессилев, упал лицом на дорогу и, подгребая под себя грязь со снегом, заплакал от досады. Потом встал, пошатываясь, подошел к машине и сел на подножку.

Издали донесся гул мотора. Два огонька опускались под уклон к пологой дороге. Не знаю, кто он был, этот шофер, куда и зачем гнала судьба его средь ночи, но я испугался» будто огни эти должны были настичь и поймать, меня. Как вор, метнулся я к сцепу, скинул на землю соединительную серьгу, прыгнул в кабину и помчался вверх по по дороге, бросив в кювете прицеп.

Непонятный, жуткий страх преследовал меня. Все время казалось, что прицеп гонится за мной по пятам, вот-вот настигнет. Я несся с небывалой скоростью, не расшибся, пожалуй, лишь потому, что наизусть знал дорогу.

К рассвету прибыл на перевалочную базу. Не отдавая себе никакого отчета, как сумасшедший заколотил кулаками в дверь. Дверь распахнулась, не глядя на Асель, прошел в дом, как был весь в грязи с головы до ног. Тяжело дыша, сел на что-то влажное. Это был ворох выстиранного белья на табурете. Полез в карман за папиросами. Под руку попались ключи от зажигания. С силой швырнул их в сторону, уронил голову и застыл, разбитый, грязный, оцепеневший. Босые ноги Асель переминались возле стола. Но что я мог сказать ей? Асель подняла с пола ключи, положила на стол.

— Умоешься? Я воды согрела с вечера, — негромко сказала она.

Я медленно поднял голову. Озябшая Асель стояла передо мной в одной рубашке, прижав к груди тонкие руки. Ее испуганные глаза смотрели на меня с тревогой и сочувствием.

— Прицеп завалил на перевале, — произнес я чужим, бесцветным голосом.

— Какой прицеп? — не поняла она.

— Железный, зеленый, 02–38! Не все ли равно какой! — раздраженно выкрикнул я. — Украл я его, понимаешь! Украл!

Асель тихо ахнула, присела на кровать:

— А зачем?

— Что зачем? — меня злило ее непонимание. — С прицепом хотел пробиться через перевал? Ясно? Доказать задумал свое… Вот и погорел!..

Я снова уткнулся в ладони. Некоторое время мы оба молчали. Асель вдруг решительно встала, начала одеваться.

— Что же ты сидишь? — строго сказала она.

— А что делать? — пробормотал я.

— Возвращайся на автобазу.

— Как! Без прицепа?

— Там все объяснишь.

— Да ты что! — взорвался я и забегал по комнате. — С какими глазами я приволоку туда прицеп? Извините, мол, простите, ошибся! На пузе ползать, умолять? Не буду! Пусть что хотят делают. Плевать!

От моих криков в кроватке проснулся сынишка. Он заплакал. Асель взяла его на руки, он заревел еще больше.

— Трус ты! — вдруг тихо, но твердо сказала Асель.

— Что-о? — не помня себя, я бросился к ней с кулаками, замахнулся, но не посмел ударить. Меня остановили ее ошеломленные, широко раскрытые глаза. Я увидел в ее зрачках свое страшное, искаженное лицо.

Грубо отпихнул ее в сторону, шагнул к порогу и вышел, с треском хлопнув дверью.

На дворе уже было светло. При свете дня все вчерашнее представилось мне еще более черным, неприглядным, непоправимым. Пока что выход видел один: отвезти на место хотя бы тот груз, который был на машине. А дальше не знаю…

На обратном пути домой не заезжал. Не потому, что поссорился с Асель. Никому не хотел показываться на глаза, никого не хотел видеть. Не знаю, как другим, но мне в таких случаях лучше побыть в одиночестве, не люблю показывать людям свое горе. Кому оно нужно? Перетерпи, если можешь, пока не сгорит все…

Переночевал по дороге в доме для приезжих. Снилось мне, будто ищу прицеп на перевале. Не сон, а кошмар один. Следы вижу, а прицепа нет. Мечусь, спрашиваю, куда девался прицеп, кто его угнал?..

А его и на самом деле не было на том злосчастном месте, когда я возвращался. Потом уж узнал: оказывается, Алибек притащил прицеп на автобазу.

Вслед за прицепом вернулся утром и я. Почернел за эти дни, гляну в зеркальце над кабиной и не узнаю себя.

На автобазе, как всегда, шла обычная жизнь, и только я, будто не здешний, неуверенно подкатил к воротам, тихо проехал во двор, остановился подальше от гаража, в дальнем углу. Из кабины вышел не сразу. Повел глазами по сторонам. Люди побросали работу, смотрят на меня. Эх, развернуться бы сейчас да укатить куда глаза глядят. Но деваться было некуда, пришлось выйти из кабины. Собрал в себе все силы и пошел через двор к диспетчерской. Старался казаться спокойным, но на самом деле иду, как провинившийся перед строем, знаю, что все провожают меня хмурыми взглядами. Никто не окликнул, никто не поздоровался. Да и я на их месте поступил бы, наверно, так же.

Споткнулся на пороге. И сердце мое будто споткнулось: про Кадичу-то забыл, подвел ее!

В коридоре прямо в лицо мне смотрел со стены плакат «Молния». «Позор» написано крупными буквами, а под этой надписью изобразили прицеп, брошенный в горах…

Я отвернулся. Лицо горело, как от пощечины. Вошел в диспетчерскую. Кадича говорила по телефону. Увидев меня, повесила трубку.

— На! — бросил я на стол злополучную путевку.

Кадича с жалостью глянула на меня. Только бы, думаю, не раскричалась, не заплакала. «Потом где-нибудь, не сейчас!» — прошу ее мысленно. И она поняла, ничего не сказала.

— Шум был? — тихо спросил я.

Кадича кивнула головой.

— Ничего! — процедил я сквозь зубы, стараясь ободрить ее.

— Сняли тебя с трассы, — сказала она.

— Сняли? Совсем? — я криво усмехнулся.

— Хотели совсем — на ремонт… да ребята вступились… Перевели пока на внутренние рейсы. Зайди к начальнику, вызывал.

— Не пойду! Пусть сами решают, без меня. Жалеть не буду…

Я вышел. Понуро поплелся по коридору. Кто-то шел навстречу. Я хотел пройти боком, но Алибек загородил путь.

— Нет, ты постой! — оттеснил он меня в угол. В упор глядя, проговорил злым, свистящим шепотом: — Ну, что, герой, доказал? Доказал, что ты сукин сын!

— Хотел как лучше, — буркнул я.

— Врешь! Один хотел отличиться. На себя работал. А стоящее дело загубил. Пойди теперь попробуй докажи после этого, что можно ходить

с прицепом! Балда! Выскочка!

Может быть, кого-нибудь другого эти слова заставили бы одуматься, но мне теперь было все равно; ничего не понял я, только видел одну обиду свою. Я выскочка, стремлюсь отличиться, заработать славу? Это же неправда!

— Отойди! — отстранил я Алибека. — Без тебя тошно.

Вышел на крыльцо. Холодный, пронизывающий ветер мел по двору снежную пыль. Люди проходили мимо, молчаливо косясь на меня. Что было делать? Сунул в карманы кулаки и зашагал к выходу. Лед, намерзший в лужах, с хрустом втаптывался в землю. Под ноги попала банка из-под тавота. Изо всей силы пнул ее через ворота на улицу и сам двинулся следом.

Весь день бесцельно бродил я по улицам городка, слонялся по пустой пристани. На Иссык-Куле штормило, баржи качались у причалов.

Потом я очутился в чайной. На столе передо мной стояла початая поллитровка да какая-то закуска в тарелке. Оглушенный первым же стаканом, я тупо глядел себе под ноги.

— Что приуныл, джигит? — раздался вдруг возле меня чей-то приветливый, слегка насмешливый голос. С трудом поднял голову. Кадича.

— Что, не пьется одному? — улыбнулась она, присела рядом за столик. — Ну, давай выпьем вместе!

Кадича разлила водку по стаканам, пододвинула ко мне.

— Держи! — сказала она и задорно подмигнула, будто мы пришли сюда просто посидеть да выпить.

— Ты что радуешься? — спросил я недовольно.

— А что горевать? С тобой мне все нипочем, Ильяс! А я думала, ты крепче. Ну, где наша не пропадала! — негромко засмеялась она, придвинулась ближе, чокнулась, глядя на меня темными ласкающими глазами.

Мы выпили. Я закурил. Вроде бы немного полегчало, я улыбнулся первый раз в этот день!

— Молодец ты, Кадича! — сказал я и сжал ее руку.

Потом мы вышли на улицу. Было уже темно. Шальной ветер с озера раскачивал деревья и фонари. Земля качалась под ногами. Кадича вела меня, поддерживая под руку, заботливо приподняла мой воротник.

— Виноват я перед тобой, Кадича! — проговорил я, испытывая чувство вины и благодарности. — Но знай, в обиду тебя не дам… Сам буду

отвечать…

— Позабудь об этом, родной мой! — ответила она. — Беспокойный ты. Все рвешься куда-то, а мне больно за тебя. Я и сама такая была. За жизнью не угонишься, бери, что берется… Зачем дразнить судьбу…

— Ну, это смотря как понимать! — возразил я, а потом подумал и сказал: — А может, ты и права…

Мы остановились у дома, где жила Кадича. Она давно жила одна. С мужем они почему-то разошлись.

— Ну, я пришла, — сказала Кадича.

Я медлил, не уходил. Было уже что-то такое, что связывало нас. Да и не хотелось сейчас идти в общежитие. Правда хороша, но иной раз она слишком горька, и невольно стараешься избежать ее.

— Что задумался, милый? — спросила Кадича. — Устал? Идти далеко?

— Ничего, доберусь как-нибудь. До свидания.

Она взяла мою руку.

— У-у, замерз-то! Постой я согрею! — проговорила Кадича, запрятала мою руку к себе под пальто, порывисто прижала к груди. Я не посмел отдернуть, не посмел воспротивиться этой горячей

ласке. Под рукой моей билось ее сердце, стучало, как бы требуя своего, долгожданного. Я был пьян, но не в такой степени, чтобы ничего не понимать. Я осторожно убрал руку.

— Ты пошел? — сказала Кадича.

— Да.

— Ну, прощай! — Кадича вздохнула, быстро пошла прочь. В темноте хлопнула калитка. Я было тоже тронулся в путь, но через несколько шагов остановился. Сам не знаю, как это произошло, только я был снова возле калитки. Кадича ждала меня. Она бросилась на шею, крепко обняла, целуя в губы.

— Вернулся! — прошептала она, затем взяла меня за руку, повела к себе.

Ночью я проснулся и долго не мог понять, где нахожусь. Голова болела. Мы лежали рядом. Теплая, полуголая Кадича, прильнув, ровно дышала мне в лицо. Я решил встать, немедленно уйти. Пошевелился. Кадича, не открывая глаз, обняла.

— Не уходи! — тихо попросила она. Потом подняла голову, заглянула в темноте в глаза и заговорила прерывающимся шепотом: — Я теперь не могу без тебя... Ты мой! Ты всегда был моим!.. И больше я ничего не хочу знать. Лишь бы ты любил меня, Ильяс! Другого я ничего не

требую... Но и не отступлюсь, понимаешь, не отступлюсь!.. — Кадича заплакала, ее слезы потекли по моему лицу.

Я не ушел. Уснули на рассвете. Когда проснулись, на дворе было уже утро. Я быстро оделся, неприятный, тревожный холодок сжимал сердце. Натягивая на ходу полушубок, торопливо вышел во двор, юркнул за калитку. Прямо на меня шел человек в рыжем, разлапистом лисьем малахае. Ух, были бы в глазах моих пули! Джантай шел на работу, он жил здесь неподалеку. Мы оба на мгновение замерли. Я сделал вид, что не заметил его. Круто повернулся и быстро зашагал к автобазе. Джантай многозначительно кашлянул вслед. Шаги его скрипели ни снегу, не приближаясь и не удаляясь. Так один за другим мы шли до самой автобазы.

Не сворачивая в гараж, я пошел прямо в контору. В кабинете главного инженера, где обычно проходили утренние пятиминутки, приглушенно гудели голоса. Как мне хотелось войти сейчас туда, сесть где-нибудь на подоконнике, положить ногу на ногу, закурить, послушать, как беззлобно переругиваются и спорят шоферы. Никогда не представлял, что это может быть так желанно человеку. Но я не решался войти. Я не трусил, нет,

пожалуй. Во мне была все та же озлобленность, вызывающее, отчаянное, бессильное упрямство. И ко всему этому смятение после ночи, проведенной с Кадичей… Да и люди, оказывается, совсем не собирались забывать о моей неудаче. За дверьми речь шла как раз обо мне. Кто-то закричал:

— Безобразие! Под суд его надо, а вы цацкаетесь! Еще хватает нахальства говорить, что он задумал правильно! А прицеп-то бросил на перевале!..

Его перебил другой голос:

— Верно! Видали мы таких. Умный очень. Премиальные захотел под шумок, выручаю, мол, автобазу… Да только боком все вышло!

Люди заспорили, загалдели. Я пошел прочь: не подслушивать же возле дверей.

Услышав за спиной голоса, я ускорил шаги. Ребята все еще гомонили. Алибек кому-то горячо доказывал на ходу:

— А тормоза на прицепы мы сделаем у себя на базе, не такое уж трудное дело перебросить шланг с компрессора, вложить колодки!.. Это Ильяс, что ли? Ильяс, постой! — окликнул он меня.

Я, не останавливаясь, шел к гаражу. Алибек догнал, дернул за плечо.

— Фу, черт! Понимаешь, убедил-таки. Готовься, Ильяс! Пойдешь в напарники? В испытательный

рейс! С прицепом!

Зло меня взяло: выручать задумал, на буксир брать друга-неудачника. В напарники! Я сбросил его руку с плеча:

— Катись ты со своими прицепами…

— Да ты что лютуешь? Сам же виноват… Да, я и забыл. Володька Ширяев тебе ничего не говорил?

— Нет, не видел я его. А что?

— Как что? Где ты пропадаешь? Асель ждет на дороге, спрашивает у наших, переживает! А ты!..

У меня ноги подкосились. И так тяжело, так невыносимо противно стало на душе, что рад был бы умереть на месте. А Алибек дергает меня за рукав и все объясняет про какие-то приспособления к прицепам… Джантай стоит в сторонке, прислушивается.

— Отойди! — вырвал я руку. — Какого черта вы ко мне пристаете? Хватит! Никаких прицепов мне не надо. И ни в каких напарниках я ходить не буду… Ясно тебе?

Алибек нахмурился, заиграл желваками:

— Сам начал, наломал дров — и первый в кусты? Так, что ли?

— Как хочешь, так и понимай.

Подошел к машине, руки трясутся, ничего не

соображаю. Прыгнул зачем-то в яму под машину, привалился к кирпичной кладке голову охладить.

— Слушай, Ильяс! — раздался над ухом шепот.

Я поднял голову: кого еще принесло? Джантай в малахае присел над ямой, как гриб, смотрит на меня хитрыми щелочками глаз.

— Ты ему правильно выдал, Ильяс!

— Кому?

— Алибеку, активисту! Как камень на зуб попал!.. Примолк сразу, новатор.

— А тебе какое дело?

— А такое, ты и сам небось понял, нам, шоферам, прицепы ни к чему. Знаем, как это делается: увеличил норму выработки, сократил пробег, давай все подтягивайся, а расценочку за грузо-километр срежут, какого же черта бить по своему карману. Славы на день, а потом что? Мы на тебя не в обиде, так и держись…

— Это кто мы? — спросил я как можно спокойнее. — Мы — это ты?

— Да не я один, — заморгал глазами Джантай.

— Врешь, гнида паршивая! Назло тебе буду ходить с прицепом… Душу положу — добьюсь. А сейчас — вон отсюда! Я еще доберусь до тебя!

— Ну-ну, ты не больно! — огрызнулся Джан-

тай. — Знаю тебя, чистенького… подумаешь. А что касается того, гуляй пока гуляется…

— Ах ты!.. — вскрикнул я вне себя и двинул его со всей силы под челюсть.

Он как сидел на краю ямы, так и опрокинулся. Малахай покатился по земле. Я выскочил из ямы, бросился к чему. Но Джантай успел встать на ноги, отпрыгнул в сторону, завопил на весь двор:

— Хулиган! Бандит! Драться? Найдется на тебя управа! Распоясался, зло срываешь!..

Со всех сторон сбежались люди. Прибежал и Алибек.

— В чем дело? За что ты его?

— За правду! — закатывался Джантай. — За то, что правду сказал в глаза!.. Сам прицеп выкрал, завалил его на перевале, нагадил, а когда другие честно берутся исправить ошибку, Драться лезет! Теперь ему невыгодно, славу упустил!..

Алибек ко мне. Побелел, заикается от гнева.

— Подлец! — толкнул он меня в грудь. — Зарвался, мстишь за перевал! Ничего, без тебя обойдемся. Без героев!..

Я молчал. Я не в силах был что-либо сказать. Я был так потрясен наглой ложью Джантая, что не мог вымолвить ни слова. Товарищи хмуро смотрели на меня.

Бежать, бежать отсюда… Я подскочил к машине и погнал ее вон из автобазы.

По дороге я напился. Забежал в придорожный магазинчик — не помогло, остановился еще раз, выпил полный стакан. А потом понесло — только мелькают мосты, придорожные знаки да встречные машины. Повеселел вроде. «Эх! — думаю, — пропади все пропадом. Чего тебе не хватает, крутишь баранку, ну и крути. А Кадича… Чем она хуже других? Молодая, красивая. Любит тебя, души не чает. На все готова ради тебя… Дурак неблагодарный!».

Приехал домой уже вечером, стою в дверях, шатаюсь. Полушубок свисает сзади на одном плече. Я иногда освобождаю правую руку, чтобы удобней было за рулем. Привычка такая с детства, когда камни пулял мальчишкой.

Асель кинулась ко мне.

— Ильяс, что с тобой? — Потом, кажется, сообразила, в чем дело. — Ну, что же ты стоишь? Устал, замерз? Раздевайся!

Хотела помочь, Но я молча оттолкнул ее. Стыд приходилось прикрывать грубостью. Спотыкаясь, пошел по комнате, с грохотом опрокинул что-то, тяжело опустился на стул.

— Что-нибудь случилось, Ильяс? — Асель бес-

покойна заглядывала в мои пьяные глаза.

— А ты что, не знаешь, что ли? — Я опустил голову: лучше не смотреть. Я сидел, ожидал, что Асель начнет упрекать меня, жаловаться на судьбу, проклинать. Я готов был выслушать все и не оправдываться. Но она молчала, как будто не было ее в комнате. Я осторожно поднял глаза. Асель стояла у окна, спиной ко мне. И хотя я не видел ее лица, Знал, что она плачет. Острая жалость стиснула мое сердце.

— Знаешь, я хочу сказать тебе, Асель, — нерешительно начал я. — Хочу сказать... — и умолк. Не хватило духу признаться. Нет, не мог я нанести ей такой удар. Пожалел, а не надо было... — Мы, пожалуй, не сможем скоро поехать к твоим в аил, — повернул я разговор в другую сторону. — Попозже как-нибудь. Сейчас не до этого...

— Отложим, не к спеху... — отозвалась Асель. Вытерла глаза, подошла ко мне. — Ты сейчас не думай об этом, Ильяс. Все будет хорошо. О себе лучше подумай. Странный ты какой-то стал. Не узнаю я тебя, Ильяс...

— Ну, ладно! — перебил я ее, раздраженный тем, что смалодушничал. — Устал, спать хочу.

Через день на обратном пути я встретил Алибека по ту сторону перевала. Он шел с прицепом.

Долон был взят.

Увидев меня, Алибек выскочил на ходу из кабины, замахал рукой. Я сбавил скорость. Алибек стоял на дороге радостный, торжествующий.

— Привет, Ильяс! Выходи, покурим, — крикнул он.

Я притормозил. В кабине Алибека за рулем сидел молоденький паренек, второй шофер. На колеса машины были намотаны жгутами цепи. Прицеп был на пневматических тормозах. Это я сразу заметил. Но не остановился, нет. Удалось тебе — хорошо! А меня не трогай.

— Стой, стой? — побежал за мной Алибек. — Дело есть, остановись, Ильяс! Ах ты, шайтан, что же ты?.. Ну ладно же…

Я разгонял машину. Кричи не кричи. Никаких у нас с тобой дел нет. Мое дело давно погорело. Нехорошо я поступил, я потерял в Алибеке лучшего друга. Ведь он был прав, прав во всем, теперь-то я понимаю. Но тогда не мог простить, что он до обидного просто и быстро добился того, что стоило мне стольких нервов, такого напряжения и труда.

Алибек всегда был вдумчивым, серьезным парнем. Он никогда не пошел бы на перевал партизаном, как я. И правильно сделал, что вел

машину с напарником. Они могли меняться в пути за рулем и брать перевал со свежими силами. На перевале решают мотор, воля и руки человека. К тому же у Алибека с напарником почти вдвое сокращалось время пробега. Все это он учел, пристроил действующие тормоза к прицепу от компрессора машины. Не забыл самые обыкновенные цепи, обмотав ими ведущие колеса. В общем, он повел бой с перевалом во всеоружии, а не брал на ура.

Вслед за Алибеком стали водить машины с прицепом и другие. Ведь в любом деле главное начать. Тем временем машин прибавилось, помощь прислали из соседней автобазы. Полторы недели днем и ночью гудел Тянь-Шаньский тракт под колесами. Словом, как ни трудно было, а просьбу китайских рабочих наши выполнили в срок, не подвели. Я тоже работал…

Это я теперь спокойно рассказываю, когда прошло уже столько лет и все улеглось, а в те горячие дни не удержался я в седле. Не так повернул коня жизни…

Но продолжу все по порядку.

Я приехал на автобазу после встречи с Алибеком уже затемно. Пошел в общежитие, но по пути опять свернул в чайную. Все эти дни у

меня было неодолимое, нечеловеческое желание напиться до беспамятства, чтобы позабыть все начисто, уснуть мертвецким сном. Я выпил много, но водка почти не действовала на меня. Вышел я из чайной еще более раздраженный и расстроенный. Побрел среди ночи по городу и, уже не задумываясь, свернул на Береговую улицу к Кадиче.

Так и пошло. Заметался я между двух огней. Днем на работе, за рулем, а вечерами сразу шел к Кадиче. С ней было удобней, спокойней, я как бы прятался от себя, от людей, от правды. Мне казалось, что только Кадича понимает меня и любит. Из дома я старался быстрей уехать. Асель, родная моя Асель! Если бы она знала, что своей доверчивостью, чистотой душевной она гнала меня из дома. Я не мог обманывать, знать, что недостоин ее, не заслуживаю всего того, что она для меня делала. Несколько раз приезжал домой нетрезвый. И она даже не упрекнула. До сих пор не могу понять, что это было: жалость, безволие или, наоборот, выдержка, вера в человека? Да, конечно, она ждала, она верила, что я возьму себя в руки, сам осилю себя и стану таким, каким был прежде. Но лучше бы она ругала, принудила выложить честно всю правду. Может быть, Асель

и потребовала бы от меня ответа, если бы знала, что меня терзали не только неприятности по работе. Она не представляла, что творилось со мной в эти дни. А я жалел ее, все откладывал разговор на завтра, на следующий раз, да так и не успел сделать того, что обязан был выполнить ради нее, ради нашей любви, ради нашей семьи…

В последний раз Асель встретила меня радостная, оживленная. Она разрумянилась, глаза ее блестели. Она потащила меня, как был в полушубке и сапогах, прямо в комнату.

— Смотри, Ильяс! Самат уже стоит на ногах!

— Да ну! Где он?

— А вон — под столом!

— Так он же ползает по полу.

— Сейчас увидишь! А ну, сынок, покажи папе, как ты стоишь! Ну иди, иди, Самат!

Самат каким-то образом понял, чего от него хотят. Он весело заковылял на четвереньках, выбрался из-под стола и, держась за кровать, с трудом выпрямился. Он постоял, мужественно улыбаясь, покачиваясь на мягких ножонках, и с той же мужественной улыбкой шмякнулся об пол. Я подскочил, сгреб его в охапку и прижал к себе, вдыхая нежный, молочный запах ребенка. Какой он был родной, этот запах, такой же род-

ной, как Асель.

— Ты его задушишь, Ильяс, осторожней! — Асель взяла сына. — Ну, что скажешь? Раздевайся. Скоро он станет совсем большой, тогда и мама начнет работать. Все уладится, все будет хорошо, так ведь, сынок, да? А ты!.. — Асель глянула на меня улыбчивым и грустным взглядом. Я сел на стул. Я понял, что в это короткое слово она вложила все, что хотела сказать, все то, что накопилось у нее на душе за эти дни. Это были и просьба, и упрек, и надежда. Я должен был сейчас же рассказать ей все или немедленно уехать. Лучше уж уехать. Она очень счастлива и ничего не подозревает. Я встал со стула.

— Я поеду.

— Куда ты? — встрепенулась Асель. — Ты и сегодня не останешься? Чаю хоть выпей.

— Не могу. Надо мне, — пробормотал я. — Сама знаешь, работа сейчас такая…

Нет, не работа гнала меня из дома. Я должен был лишь утром выехать в рейс.

В кабине я тяжело плюхнулся на сиденье и застонал от горя, долго копался, не попадая ключом в зажигание. Потом вырулил на дорогу и ехал, пока не скрылись позади огни в окнах. В ущелье, сразу же за мостом, свернул на обочину,

загнал машину в кусты, погасил фары. Здесь я решил переночевать. Достал папиросы. В коробке оказалась единственная спичка. Она коротко вспыхнула и погасла. Я швырнул коробок вместе с папиросами за окошко, натянул на голову полушубок и, поджав ноги, скрючился на сиденье.

Луна хмурилась над холодными, темными горами. Ветер в ущелье тоскливо посвистывал, раскачивал приоткрытую дверь кабины. Она тихо поскрипывала. Никогда я так остро не ощущал полного одиночества, оторванности от людей, от семьи, от товарищей по автобазе. Жить так дальше было нельзя. Я дал слово, как только вернусь на автобазу, сразу же объяснюсь с Кадичей, попрошу ее простить меня и забыть все, что было между нами. Так будет честно и правильно.

Но жизнь решила по-иному. Не ожидал я, не думал, что произойдет такое. Через день, утром, вернулся на перевалочную базу. Дома никого не оказалось, дверь была открыта. Сначала я предположил, что Асель просто куда-то вышла, за водой или за дровами. Огляделся по сторонам. В комнате беспорядок. Нежилым, холодным духом пахнуло на меня из нетопленной, черной плиты. Я шагнул к кроватке Самата — пусто.

— Асель! — прошептал я со страхом. «Асель!»

— шепотом ответили стены.

Я опрометью кинулся к двери.

— Асель!

Никто не отозвался. Побежал к соседям, к бензоколонке, толком никто ничего не знал. Говорили, что вчера она уезжала куда-то на весь день, оставив ребенка у знакомых, а к ночи вернулась. «Ушла, узнала!» — содрогнулся я от страшной догадки.

Вряд ли когда-нибудь мне приходилось гнать так машину по Тянь-Шаньским горам, как в тот несчастный для меня день. Мне все время казалось, что я догоню ее за тем вон поворотом, или вон в том ущелье, или еще где-нибудь по дороге. Как беркут, настигал я идущие впереди машины, тормозил, шел бок о бок, окидывая взглядом кабины, кузова, и вырывался вперед, в обгон под брань шоферов. Так я мчался три часа без передышки, пока не закипела вода в радиаторе. Выскочил из кабины, забросал радиатор снегом, принес воды. От радиатора шел пар, машина дышала, как загнанная лошадь. Только собрался садиться за руль, как увидел идущий навстречу автосцеп Алибека. Я обрадовался. Хоть мы с ним не разговаривали и не здоровались, но если Асель у них, то он скажет. Я выбежал на дорогу,

поднял руку:

— Стой, стой, Алибек! Остановись!

Сменщик, сидевший за рулем, вопросительно глянул на Алибека. Тот хмуро отвернулся. Машина пронеслась мимо. Я стоял на дороге весь в снежной пыли и долго еще держал поднятую руку. Потом вытер лицо. Что ж, долг платежом красен. Но мне было не до обиды. Значит, Асель не приезжала к ним. Это было хуже. Выходит, она поехала к себе в аил, больше ей некуда деваться. Как она переступила порог родительского дома, что сказала? И как посмотрели там на ее позорное возвращение? Одна, с ребенком на руках!

Надо было немедленно ехать в аил.

Скорее разгрузился и, оставив машину на улице, побежал в диспетчерскую сдать документы. В проходной я столкнулся с Джантаем — ох уж эта его наглая, ненавистная усмешка!

Кадича странно взглянула на меня, когда я просунулся в окошко диспетчерской и бросил на стол путевку.

Что-то встревоженное, виноватое мелькнуло в ее глазах.

— Принимай быстрей! — сказал я.

— Что-нибудь случилось?

— Нет ее дома. Ушла Асель!

— Да что ты? — бледнея, привстала из-за стола Кадича и, кусая губы, проговорила: — Прости меня, прости меня, Ильяс! Это я, я…

— Что я? Говори толком, рассказывай все! — бросился я к двери.

— Я и сама не знаю, как все получилось. Честно говорю тебе, Ильяс. Вчера постучался в окошко вахтер из проходной, говорит, какая-то девушка хочет тебя видеть. Я сразу узнала Асель. Она молча посмотрела на меня и спросила: «Это правда?» А я, я вдруг сказала, не помня себя: «Да, правда. Все правда. Со мной он!» Она отпрянула от окошка. А я упала на стол и зарыдала, повторяя, как дура: «Мой он! Мой!» Больше я ее не видела… Прости меня!

— Постой, откуда же она узнала?

— Это Джантай. Это он, он и мне угрожал. Разве ты не знаешь этого подлеца! Ты езжай, Ильяс, к ней, найди ее. Я больше не буду вам мешать, уеду куда-нибудь…

Машина несла меня по зимней степи. Сизая, смерзшаяся земля. Ветер завивал гривы сугробов, выносил из арыков бездомное перекати-поле и гнал его прочь. Вдали темнели обветренные дувалы и голые сады аила.

К вечеру приехал в аил. Остановился возле

знакомого двора, быстро закурил, чтобы унять тревогу, пригасил окурок, посигналил. Но вместо Асель вышла ее мать, накинув на плечи шубу. Я стал на подножку и негромко сказал:

— Здравствуйте, апа!

— А-а, так это ты явился? — грозно ответила она. — И после всего этого ты смеешь называть меня апой? Прочь отсюда, вон с моих глаз! Бродяга, проходимец! Сманил мое родное дитя, а теперь прикатил! Бесстыжие твои глаза! Испоганил нам всю жизнь…

Старуха не давала мне и рта раскрыть. Она продолжала бранить и поносить меня самыми обидными словами. На ее голос стали сбегаться люди, мальчишки из соседних дворов.

— Убирайся отсюда, пока не созвала народ! Будь ты проклят! Чтобы и не видеть тебя никогда! — подступала ко мне разгневанная женщина, сбросив на землю шубу.

Мне ничего не оставалось, как сесть за руль. Надо было уезжать, раз Асель даже не желала меня видеть. В машину полетели камни и палки. Это мальчишки выпроваживали меня из аила…

В ту ночь я долго бродил по берегу Иссык-Куля. Озеро металось, освещенное луной. О Иссык-Куль — вечно горячее озеро! Ты было холодным в ту

ночь, студеным и неприветливым. Я сидел на днище опрокинутой лодки. Волны набегали на отмель злыми валами, бились о голенища сапог и уходили с тяжелым вздохом…

…Кто-то подошел ко мне, осторожно положил руку на плечо: Кадича.

*

Через несколько дней мы уехали во Фрунзе, устроились там в изыскательскую экспедицию по освоению пастбищ Анархайской степи. Я шофером, Кадича — рабочим. Вот так началась она, новая жизнь.

Далеко в глубину Анархая укатили мы с экспедицией, к самому Прибалхашью. Раз уж рвать с прошлым, то рвать навсегда.

Первое время заглушал тоску работой. А дел там было немало. За три с лишним года исколесили просторы Анархая вдоль и поперек, набурили колодцев, проложили дороги, построили перевалочные базы. Одним словом, теперь это уже не прежний дикий Анархай, где среди белого дня можно заблудиться и целый месяц скитаться по холмистой, полынной степи. Сейчас это край животноводов с культурными центрами, благоустроенными домами… Хлеб сеют и даже сено

заготавливают. Работы на Анархае и поныне непочатый край, тем более для нашего брата шофера. Но я вернулся обратно. Не потому, что слишком трудно было в необжитых местах, это дело временное. Мы с Кадичей трудностей не боялись и, надо сказать, жили неплохо, с уважением друг к другу. Но одно дело уважение, а другое любовь. Если даже один любит, а другой нет, это, по-моему, ненастоящая жизнь. Или человек так устроен, или я по натуре своей таков, но мне постоянно чего-то не хватало. И не возместишь этого ни работой, ни дружбой, ни добротой и вниманием любящей женщины. Я давно уже втайне каялся, что так опрометчиво уехал, не попытавшись еще раз вернуть Асель. А за последние полгода не на шутку затосковал по ней и сыну. Ночами не спал. Чудился мне Самат — улыбается, неуверенно держится на слабых ножонках. Его нежный, детский запах я будто вдохнул в себя на всю жизнь. Потянуло меня к родным Тянь-Шаньским горам, к моему синему Иссык-Кулю, к предгорной степи, где я встретил свою первую и последнюю любовь. Кадича знала об этом, но ни в чем не винила меня. Мы поняли наконец, что не можем жить вместе.

Весна как раз выдалась на Анархае очень

ранняя. Быстро осел снег, холмы обнажились, зазеленели. Оживала степь, вбирала в себя тепло и влагу. По ночам воздух стал прозрачным, небо звездным.

Мы лежали в палатке у буровой вышки. Не спалось. Вдруг донесся в степной тиши невесть откуда далекий, едва слышный гудок паровоза. Каким образом долетел он к нам, трудно сказать. До железной дороги было от нас полдня езды по степи. Или мне померещилось, не знаю. Но только встрепенулось сердце, позвало в путь. И я сказал:

— Уеду я, Кадича.

— Да, Ильяс. Надо нам расстаться, — ответила она.

И мы расстались. Кадича уехала в Северный Казахстан, на целину.

Очень мне хочется, чтобы она была счастливей. Я хочу верить, что найдет она все-таки того человека, который, быть может, сам того не зная, ищет ее. Не повезло ей с первым мужем, не получилась у нее жизнь и со мной. Возможно, я остался бы с ней, если бы не знал, что значит настоящая любовь, как это любить самому и быть любимым. Ведь это дело такое, что и объяснить трудно.

Я отвез Кадичу на полустанок, посадил в по-

езд. Бежал рядом с вагоном, пока не отстал. «Счастливого пути, Кадича, не поминай лихом!..» — прошептал я последний раз.

Журавли над Анархаем летели на юг, а я уезжал на север, уезжал на Тянь-Шань...

*

Приехал и, нигде не останавливаясь, сразу же отправился в аил. Я сидел в кузове попутной машины, старался ни о чем не думать — страшно и радостно мне было. Мы ехали по предгорной степи, по той самой дороге, на которой встречались с Асель. Но это был уже не проселок, а усыпанный гравием путь с бетонными мостами и дорожными знаками. Мне даже жаль стало прежнюю степную дорогу. Не узнал я переезда через арык, где когда-то застряла моя машина, не нашел того валуна, на котором сидела Асель.

Не доезжая до окраины аила, я застучал по кабине.

— В чем дело? — высунулся шофер. — Остановi, сойду.

— В поле? Сейчас доедем.

— Спасибо! Тут недалеко, — спрыгнул я на землю. — Пешком пройдусь, — сказал я, протягивая деньги.

— Оставь! — говорит. — У своих не берем.

— Держи, на лбу не написано.

— По повадке вижу.

— Ну ладно, коли так. Будь здоров!

Машина ушла. А я все стоял на дороге, не мог собраться с духом. Закурил, отвернувшись от ветра. Пальцы дрожали, когда подносил к губам сигарету. Затянулся несколько раз, затоптал окурок и пошел. «Вот и прибыл!» — пробормотал я. Сердце стучало так, что в ушах звенело, по голове будто молотом били.

Аил заметно изменился, разросся, появилось много новых домов с шиферными крышами. Провода протянулись вдоль улиц, радио говорило на столбе, у правления колхоза. Детвора бежала в школу. Подростки, что постарше, шли гурьбой с молодым учителем, разговаривали о чем-то. Может быть, среди них были и те, что бросали в меня камнями да палками… Идет время, идет, не останавливается.

Я заторопился. Вот и двор с вербами и глиняным дувалом. Остановился, переводя дыхание. Холодея от страха и тревоги, неуверенно направился к калитке. Постучал Выбежала девочка с портфелем в руках. Та самая, что язык мне показывала, она теперь ходит в школу. Девочка

спешила на занятия. Она недоуменно посмотрела на меня и сказала:

— А дома никого нет!

— Никого нет?

— Да. Апа уехала в гости, в лесхоз. А отец на водовозке у тракторов.

— А Асель где? — робко спросил я, чувствуя, как сразу пересохло во рту.

— Асель? — удивилась девочка. — Асель давно уехала…

— И никогда не приезжала?

— Каждый год приезжает вместе с джезде. Апа говорит, что он очень хороший человек!..

Больше я не стал ни о чем расспрашивать. Девочка побежала в школу, а я повернул назад.

Эта новость так меня огорошила, что стало вдруг все равно, за кого, когда и куда она вышла замуж. Зачем знать? Почему-то мне никогда не приходило в голову, что Асель может найти другого. А ведь это должно было случиться. Не сидеть же ей все эти годы и ждать, пока я заявлюсь.

Я пошел по дороге, не дожидаясь попутной машины.

Да, изменилась дорога, которой я шел, — утрамбованная, посыпанная жестким гравием. Только степь оставалась прежней, с темной зябью и

светлой, вылинявшей стерней. Широкими, пологими увалами убегала она от гор к горизонту, обрываясь светлой кромкой на далеких берегах Иссык-Куля. Земля лежала обнаженная, влажная после снега. Где-то уже рокотали тракторы на весновспашке.

Ночью я добрался до райцентра. А утром решил: поеду на автобазу. Все было конечно, потеряно. Но надо жить и работать, а дальше — кто его знает…

Тянь-Шаньский тракт, как всегда, гудел. Машины шли вереницами, но я высматривал свою, автобазовскую. Наконец я поднял руку.

Машина с разгона проскочила мимо, потом резко затормозила. Я подхватил чемодан, шофер вышел из кабины. Смотрю, однополчанин Эрмек, стажировку проходил у меня в армии. Тогда он был юнцом. Эрмек молча стоял, как-то неуверенно улыбаясь.

— Не узнаешь?

— Сержант… Ильяс! Ильяс Алыбаев! — наконец припомнил он.

— Тот самый! — усмехнулся я, а самому горько стало, значит, крепко изменился, если люди с трудом узнают.

Поехали, разговаривали о том, о сем, вспоми-

нали службу. Я все время боялся: только бы не начал он расспрашивать о моей жизни. Но Эрмек, видимо, ничего не знал. Я успокоился.

— Когда вернулся домой?

— Да вот уже два года как работаю.

— А где Алибек Джантурин?

— Не знаю. Я его не застал. Говорят, он теперь главным механиком автобазы где-то на Памире…

«Молодец Алибек! Молодец, друг мой! Крепкий ты джигит!» — порадовался я в душе. Стало быть, добился все-таки своего, он еще в армии заочно учился в автодорожном техникуме и институт собирался заочно кончить.

— Начальником Аманжолов?

— Нет, новый. Аманжолов на повышение пошел в министерство.

— Как думаешь, возьмут меня на работу?

— Почему же нет, возьмут, конечно. Первоклассный шофер, ты ведь и в армии был на хорошем счету.

— Был когда-то! — пробормотал я. — А Джантая знаешь?

— Нет у нас такого. Никогда и не слышал.

«Да, немало изменений произошло на автобазе…» — подумал я, а потом спросил:

— А как с прицепами, ходите через перевал?

— Обыкновенно, — просто ответил Эрмек. — Смотря какой груз. Надо, так оборудуют — и тянешь. Машины сейчас мощные.

Не знал он, чего стоили мне эти прицепы.

В общем, вернулся я на свою родную автобазу. Эрмек пригласил к себе домой, угостил, выпить предложил по случаю встречи. Но я отказался, давно уже не пил.

На автобазе тоже неплохо встретили. Товарищам, знавшим меня, я был очень благодарен за то, что не докучали расспросами. Видят, человек помотался на стороне, вернулся, работает добросовестно, ну и хорошо. Зачем тревожить былое? Я сам старался забыть все, забыть раз и навсегда. Мимо перевалочной базы, где жил когда-то с семьей, я проносился, не глядя по сторонам и даже не заправляясь у бензоколонки. И однако, ничто меня не спасло, не сумел я обмануть себя.

Я уже работал порядочное время, пообвык, машину прощупал, мотор испробовал на всех скоростях и подъемах. Короче говоря, знал свое дело…

В тот день я шел обратным рейсом из Китая. Ехал спокойно, ни о чем не думал, крутил себе баранку, смотрел по сторонам. Весна, хорошо было

вокруг. Кое-где поодаль ставили юрты: скотоводы выходили на весенние пастбища. Потянулись над юртами сизые дымки. Ветер доносил беспокойное ржанье лошадей. Отары бродили близ дороги. Вспомнилось раннее детство, взгрустнулось… И вдруг на выезде к озеру вздрогнул — лебеди!

Второй раз в жизни довелось мне увидеть весенних лебедей на Иссык-Куле. Над синим-синим Иссык-Кулем кружили белые птицы. Сам не знаю почему, я круто свернул с дороги и, как в тот раз, прямо по целине повел машину к озеру.

Иссык-Куль, Иссык-Куль — песня моя недопетая!.. Зачем я вспомнил тот день, когда на этом же взгорье, над самой водой, мы остановились вместе с Асель? Да, все было так же: сине-белые волны, словно взявшись за руки, вереницей взбегали на желтый берег. Солнце закатывалось за горы, и дальние воды казались розовыми. Лебеди носились с ликующими тревожными криками. Взмывали вверх, падали на распластанных, будто гудящих крыльях, взбивая воду, разгоняя широкие, кипящие круги. Да, все было так же. Только не было со мной Асель. Где ты теперь, тополек мой в красной косынке?

Я долго стоял на берегу. Потом вернулся на автобазу и не удержался, сорвался… Опять пошел

в чайную заливать разберединившуюся боль в душе. Уходил поздно. Небо было темное, в тучах. Ветер дул из ущелья, как из трубы, свирепо гнул деревья, свистел в проводах, бил в лицо крупной галькой. Ухало, стонало озеро. Я с трудом добрался до общежития и, не раздеваясь, завалился спать.

Утром не мог поднять голову, ломило с похмелья. За окном моросил противный дождь вперемежку со снегом. Пролежал часа три, не хотелось выходить на работу. Первый раз случилось так — даже работа была не в радость. Но потом устыдился, выехал.

Машина шла вяло, вернее, я был вялым, и погода никудышная. На встречных машинах лежал снег; выходит, выпал на перевале. Ну и пусть, мне-то что, хоть буран разыграется, наплевать, бояться мне нечего, один конец…

Уж очень скверное было настроение. Гляну в зеркальце наверху, с души воротит: небритый, лицо отекшее, измятое, как после болезни. Мне бы перекусить что-нибудь по пути, с утра ничего не ел, но есть не хотелось, тянуло выпить. Известно, дашь себе один раз волю, потом трудно удержаться. Остановился у закусочной. После первого стакана я приободрился, пришел в себя. Машина пошла веселей. Потом еще где-то по

дороге забежал, выпил сто граммов, потом еще прибавил. Понеслась дорога, заходили щетки взад и вперед перед глазами. Пригнулся я, жую сигарету в зубах. Только вижу, как пролетают встречные машины, обдавая стекла брызгами из луж. Я тоже поднажал, поздно уже было. Ночь застала меня в горах, глухая, беспросветная. Вот тут-то сказалась водка. Разморило. Уставать стал. Перед глазами пошли черные пятна. В кабине было душно, мутить начало меня. Никогда еще я не был так сильно пьян. Пот заливал лицо. Чудилось мне, что еду не на машине, а качусь куда-то на двух бегущих впереди лучах, устремленных из фар. Вместе с лучами я то круто падал вниз, в глубокую освещенную падь, то выбирался вверх на дрожащих, скользящих по скалам огнях, то начинал петлять вслед за лучами по сторонам. Силы покидали меня с каждой минутой, но я не останавливался, знал, стоит только оторвать руки от баранки, и я не смогу вести машину. Где я ехал, точно не помню, где-то на перевале. Ох, Долон, Долон, тянь-шаньская махина! Ну и тяжел же ты! Особенно ночью, особенно для нетрезвого шофера!

Машина с натугой выбралась на какой-то подъем и покатила вниз, под гору. Закружилась,

опрокинулась ночь перед глазами. Руки уже не подчинялись мне. Все больше набирая скорость, полетела машина по дороге вниз. Потом раздался глухой удар, скрежет, фары вспыхнули, и темнота залила мне глаза. Где-то в глубине сознания кольнула мысль: «Авария!»

Сколько я пролежал так, не помню. Только услышал вдруг голос, словно бы издалека, как через вату в ушах: «Ну-ка, посвети!» Чьи-то руки ощупали мою голову, плечи, грудь. «Живой, пьяный только», — сказал голос. Другой ответил: «Надо дорогу освободить».

— Ну-ка, друг, попробуй немного подвинуться, отгоним машину, — руки легонько толкнули меня в плечо.

Я застонал, с трудом поднял голову. Со лба стекала по лицу кровь. В груди что-то мешало выпрямиться. Человек чиркнул спичкой. Глянул на меня. Потом еще раз чиркнул и снова глянул, будто глазам не верил…

— Ты что же это друг! Как же это, а? — с огорчением проговорил он в темноте.

— Машина… здорово побита? — спросил я, сплевывая кровь.

— Нет, не очень. Закинуло вот только поперек дороги.

— Ну, так я уеду сейчас, пустите! — непослушными, дрожащими руками я попытался включить зажигание и нажать стартер.

— Погоди! — крепко обхватил меня человек. — Хватит баловаться. Вылезай. Переспишь ночь, а утром видно будет…

Меня вытащили из кабины.

— Отгоняй машину на обочину, Кемель, там разберемся!

Он перекинул мою руку через плечо и потащил меня в темноте куда-то в сторону. Мы шли долго, пока добрались до какого-то двора. Человек помог мне войти в дом. В передней комнате горела керосиновая лампа. Человек посадил меня на табуретку, принялся стаскивать полушубок. И тогда я посмотрел на него. И вспомнил. Это был дорожный мастер Байтемир, тот самый, с которым мы буксировали когда-то машину на перевале. Стыдно стало, и все-таки я обрадовался, хотел было извиниться, поблагодарить его, но в это время грохот упавших на пол поленьев заставил меня обернуться. Я глянул и медленно, с усилием привстал с места, будто на плечи мне свалилось что-то непомерно тяжелое. В дверях возле рассыпанных дров стояла Асель. Она стояла неестественно прямая и как неживая смотрела

на меня.

— Что это? — тихо прошептала она.

Я чуть было не крикнул «Асель!», но ее отчужденный, неподпускающий взгляд не дал проронить ни слова. Сгорая от позора, я опустил голову. В комнате на мгновение стало до жути тихо. Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы не Байтемир. Он как ни в чем не бывало опять усадил меня на место.

— Ничего, Асель, — спокойно сказал он. — Разбился немного шофер, отлежится… Ты бы лучше йод нам дала.

— Йод? — Голос ее потеплел, встревожился. — Йод соседи брали… Я сейчас! — спохватилась она и выбежала из дверей.

Я сидел, не двигаясь, прикусив губу. Хмель точно вышибло из головы, протрезвел в мгновение ока. Только кровь с шумом колотилась в висках.

— Обмыть надо сначала, — сказал Байтемир, разглядывая ссадины на моем лбу. Он взял ведро и вышел. Из соседней комнаты выглянул босоногий мальчик лет пяти в одной рубашонке. Он смотрел на меня большими любопытными глазами. Я сразу узнал его. Не пойму как, но узнал, сердце мое узнало.

— Самат! — сдавленным голосом прошептал я и

потянулся к сыну. В это время Байтемир появился в дверях, и я почему-то испугался. Он, кажется, услышал, как я назвал сына по имени. Стало очень неловко, будто поймали меня, как вора. Чтобы загладить смущение, я вдруг спросил, прикрывая рукой ссадину над глазом:

— Это ваш сын? — Ну зачем мне надо было так спрашивать? До сих пор не могу простить себе.

— Мой! — по-хозяйски уверенно ответил Байтемир. Поставил ведро на пол, поднял Самата на руки. — Мой, конечно, собственный, так ведь, Самат? — приговаривал он, целуя мальчонку и щекоча его шею усами. В голосе и поведении Байтемира не было ни тени фальши. — Ты почему не спишь? Ух ты, мой жеребенок, все тебе надо знать, ну-ка, беги в постель!

— А мама где? — спросил Самат.

— Сейчас придет. Вот она. Ты иди, сынок.

Асель вбежала, молча окинула нас быстрым, настороженным взглядом, подала Байтемиру пузырек с йодом и увела сынишку спать.

Байтемир намочил полотенце, вытер кровь с моего лица.

— Терпи! — пошутил он, прижигая ссадины, и строго сказал: — Прижечь бы тебя за такое дело покрепче, да ладно, гость ты у нас… Ну вот и по-

рядок, заживет. Асель, нам бы чайку.

— Сейчас.

Байтемир постелил на кошму ватное одеяло, положил подушку.

— Пересаживайся сюда, отдохни немного, — сказал он.

— Ничего спасибо! — пробормотал я.

— Садись, садись, будь как у себя дома, — настаивал Байтемир.

Я делал все, как во сне. Сердце будто кто-то зажал в груди. Все во мне напряглось в тревоге и ожидании. Эх, зачем только родила меня мать на свет!

Асель вышла и, стараясь не смотреть на нас, взяла самовар, унесла во двор.

— Я сейчас помогу тебе, Асель, — сказал вслед Байтемир. Он пошел было за ней, но Самат снова прибежал. Он совсем не собирался спать.

— Ты что, Самат? — добродушно покачал головой Байтемир.

— Дядя, а ты прямо из кино вышел? — серьезно спросил меня сын, подбегая поближе.

Я смекнул, в чем дело, а Байтемир расхохотался.

— Ах ты, несмышленыш мой! — смеялся Байтемир, опустившись возле малыша на кор-

точки. — Уморил… Мы ездим на рудник кино смотреть, — обернулся он ко мне. — Ну и он с нами…

— Да, я из кино вышел! — поддержал я общее веселье.

Но Самат нахмурился.

— Неправда! — заявил он.

— Почему же неправда?

— А где сабля, которой ты сражался?

— Оставил дома…

— А ты мне покажешь? Завтра покажешь?

— Покажу. Ну-ка, иди сюда. Как тебя звать, Самат, да?

— Самат. А тебя как, дядя?

— Меня… — я умолк. — Меня дядя Ильяс, — с трудом выдавил я.

— Ты иди, Самат, ложись, поздно уже! — вмешался Байтемир.

— Папа, можно я немножко побуду! — попросил Самат.

— Ну, ладно! — согласился Байтемир. — А мы сейчас чай принесем.

Самат подошел ко мне. Я погладил его руку: он был похож на меня, очень похож. Даже руки были такие же, и смеялся он так же, как я.

— Ты кем будешь, когда вырастешь? — спросил

я, чтобы как-то завязать разговор с сыном.

— Шофером.

— Любишь ездить на машине?

— Очень-очень… Только меня никто не берет, когда я поднимаю руку…

— А я покатаю тебя завтра. Хочешь?

— Хочу. Я тебе альчики дам свои! — Он побежал с комнату за альчиками.

За окном выбивались из самоварной трубы языки пламени. Асель и Байтемир о чем-то разговаривали.

Самат принес альчики в мешочке из шкуры архара.

— Выбирай, дядя! — рассыпал он передо мною свое разноцветное, крашеное хозяйство.

Я хотел взять один альчик на память, но не посмел. Дверь распахнулась, и вошел Байтемир с кипящим самоваром в руках. Вслед за ним появилась Асель. Она принялась заваривать чай, а Байтемир поставил на кошму круглый столик на низеньких ножках, накрыл скатертью. Мы с Саматом собрали альчики, положили их обратно в мешочек.

— Богатство свое показывал, ох и хвастунишка ты! — ласково потрепал Байтемир за ухо Самата.

Через минуту мы все уже сидели за самоваром.

Я и Асель делали вид, будто никогда не знали друг друга. Мы старались быть спокойными и, наверно, поэтому больше молчали. Самат, примостившись на коленях Байтемира, льнул к нему, вертел головой:

— У-ух, всегда у тебя усы колются, папа! — и сам же лез, подставляя под усы щеки.

Нелегко мне было сидеть рядом с сыном, не смея его так назвать и слушая, как он называет отцом другого человека. Нелегко было знать, что Асель, моя любимая Асель, вот тут рядом, а я не имею права прямо взглянуть ей в глаза. Как она очутилась здесь? Полюбила и вышла замуж? Что я мог узнать, если она даже не подавала вида, будто знает меня, словно я был совершенно чужим, незнакомым человеком? Неужели она так возненавидела меня? А Байтемир? Разве он не догадывается, кто я на самом деле? Разве он не заметил нашего сходства с Саматом? Почему он даже не вспомнил о встрече на перевале, когда мы буксовали машину? Или вправду забыл?

Еще тяжелей стало, когда легли спать. Постелили мне тут же на кошме. Я лежал, отвернувшись к стеле, лампа была чуть пригашена, Асель убирала посуду.

— Асель! — тихо позвал ее Байтемир через рас-

крытую дверь смежной комнаты.

Асель подошла.

— Ты бы постирала.

Она взяла мою клетчатую рубашку, которая была вся в крови, и принялась стирать. Но тут же прекратила стирку. Слышу, прошла к Байтемиру.

— А воду из радиатора слили? — тихо спросила она. — Вдруг мороз прихватит…

— Слили, Кемель слил! — так же тихо ответил Байтемир. — Машина почти в целости… Утром поможем…

А я и забыл: не до радиаторов, не до моторов мне было. Асель достирала рубашку и, развешивая ее над плитой, тяжело вздохнула. Потушила лампу, ушла.

Стало темно. Я знаю, мы все не спали. Каждый из нас остался наедине со своими мыслями. Байтемир лежал с сыном на одной кровати. Он бормотал что-то ласковое, то и дело прикрывал Самата, когда тот беспокойно ворочался во сне. Асель изредка, сдержанно вздыхала. Мне казалось, я видел в темноте ее глаза, влажно поблескивающие. Они, наверно, были залиты слезами. О чем она думала, о ком она думала? Нас было теперь у нее трое… Может быть, и она пере-

бирала в памяти так же, как я, все то прекрасное и горестное, что связывало нас. Но теперь она была недоступна, недоступны были и ее мысли. Асель изменилась за эти годы, глаза ее изменились… Это были уже не те доверчивые, сияющие чистотой и простодушием глаза. Они стали строже. И все-таки Асель оставалась для меня все той же, тем же тополькомстепным в красной косынке. В каждой ее черте, в каждом движении я угадывал знакомое, родное. Тем горше, тем обидней и мучительней было у меня на душе. В отчаянии, прикусив зубами угол подушки, я лежал, не сомкнув глаз до утра.

За окном в набегающих тучах плыла, ныряла луна.

Ранним утром, когда Асель и Байтемир вышли по двор по хозяйству, я тоже встал. Надо было уезжать. Осторожно ступая, я подошел к Самату, поцеловал его и быстро вышел из комнаты.

Асель грела во дворе воду в большом котле, установленном на камнях. Байтемир колол дрова. Мы отправились с ним к машине. Шли молча, курили.

Машина, оказывается, натолкнулась вчера на придорожные надолбы. Две из них лежали сбитые вместе с бетонным основанием. У машины

была разбита фара, погнуто крыло и передок, заклинило колесо. Все это мы кое-как выправили с помощью лома и молотка. А потом началась долгая, мучительная работа. Промерз мотор, занемел. Разогревали картер горящей паклей, в две руки крутили заводную рукоятку. Наши плечи соприкасались, ладони горели на одной рукоятке, мы дышали в лицо друг другу, мы делали одно дело и, может быть, думали об одном и том же.

Мотор поддавался туго. Мы начали задыхаться. Тем временем Асель принесла два ведра горячей воды. Молча поставила передо мной, отошла в сторону. Я вылил воду в радиатор. Крутанули с Байтемиром раз, еще раз, наконец мотор заработал. Я сел в кабину. Мотор работал неровно, с перебоями. Байтемир полез с молотком под капот проверить свечи, В этот момент прибежал Самат, запыхавшийся, в пальтишке нараспашку. Он забегал вокруг машины, прокатиться хотелось ему. Асель поймала сына и, не выпуская, стала у кабины. Она посмотрела на меня с укором, с такой болью и жалостью, что я готов был в ту минуту сделать все что угодно, лишь бы искупить вину, вернуть их себе. Я пригнулся к ней из раскрытой дверцы:

— Асель! Бери сына, садись! Увезу, как тогда, на-

всегда! Садись! — взмолился я под шум мотора.

Асель ничего не сказала, тихо отвела в сторону затуманенные слезами глаза, отрицательно покачала головой.

— Поедем, мама! — потянул ее за руку Самат. — Покатаемся!

Она шла, не оглядываясь, низко опустив голову. А Самат порывался назад, не хотел уходить.

— Готово! — крикнул Байтемир, захлопнул капот, подал мне в кабину инструмент.

И я поехал. Снова баранка в руках, снова дорога и горы, — машина уносила меня, какое ей было дело…

Так я нашел Асель с сыном на перевале, так мы встретились и расстались. Всю дорогу к границе и обратно я думал и ничего не мог придумать. Устал от безысходных дум… Теперь уж надо было уезжать, уезжать куда глаза глядят, я не должен был здесь оставаться.

Это я решил твердо, с такими мыслями возвращался назад. Проезжая мимо дорожного участка, увидел Самата, он играл в стороне с мальчиком и девочкой чуть постарше себя в таш-каргон — строили из камней дворики, загоны для скота. Может быть, я и раньше замечал их у дороги… Выходит, почти каждый день проезжал непода-

леку от своего сына, даже не подозревая об этом. Я остановил машину.

— Самат! — крикнул я. Взглянуть захотел на него. Дети понеслись ко мне.

— Дядя, ты приехал покатать нас? — подбежал Самат.

— Да, чуть-чуть прокачу! — сказал я.

Ребята дружно полезли в кабину.

— Это наш знакомый дядя! — похвалился Самат перед друзьями.

Я провез их совсем немного, но сколько счастья и радости испытал при этом, пожалуй, больше, чем сами дети. А потом высадил их.

— Бегите теперь домой! — Ребята побежали. Я остановил сына.

— Постой, Самат, что-то скажу! — поднял его на руки, высоко вскинул над головой, долго смотрел сыну в лицо, потом прижал к груди, поцеловал и опустил на землю.

— А где сабля, ты привез, дядя? — вспомнил Самат.

— Ох, я и забыл, сынок, привезу в следующий раз! — пообещал я.

— Теперь не забудешь, да, дядя? Мы будем играть на том же месте.

— Хорошо, беги теперь быстрей!

На автобазе в плотницкой мастерской я выстругал три игрушечных сабли и захватил их с собой.

Дети действительно ждали меня. Я снова прокатил ребят в машине. Так началась дружба с сыном и его товарищами. Они быстро привыкли ко мне. Еще издали бежали к дороге наперегонки:

— Машина, наша машина идет!

Ожил я, человеком стал. Иду в рейс, и на душе светло: какое-то хорошее чувство везу с собой. Знаю, ждет меня сын у дороги. Хоть две минуты посижу рядом с ним в кабине. Теперь все мои заботы и помыслы были о том, как бы вовремя подоспеть к сыну. Я так рассчитывал время, чтобы проезжать перевал днем. Дни стояли теплые, весенние, дети постоянно играли на улице, так что я часто заставал их у дороги. Мне казалось, что ради этого только живу и работаю, до того я был счастлив. Но иногда сердце замирало от страха. Может быть, там, на дорожном участке, знали, что я катаю детей, может, нет, но сыну могли запретить встречаться со мной, не отпускать его к дороге. Я очень боялся, молил в душе Асель и Байтемира не делать этого, не отбирать у меня хотя бы этих коротеньких встреч. Но однажды так оно и случилось…

Приближалось Первое мая. Я решил сделать

сыну подарок к празднику. Купил заводную машину, грузовичок. В тот день я замешкался на автобазе, выехал позднее и очень спешил. Может быть, поэтому у меня было какое-то нехорошее предчувствие, волновался, тревожился без всякого повода. Подъезжая к дорожному участку, я достал сверток, положил рядом с собой, представляя, как обрадуется Самат. Игрушки у него были и получше, но это особый подарок — от знакомого шофера с дороги мальчугану, мечтающему стать шофером. Однако Самата в этот раз на дороге не оказалось. Ребята подбежали без него. Я вышел из кабины.

— А где Самат?

— Дома, заболел он, — ответил мальчик.

— Заболел?

— Нет, он не заболел! — со знающим видом пояснила девочка. — Мама не пускает его сюда!

— Почему?

— Не знаю. Говорит, нельзя.

Я помрачнел: вот и конец всему.

— На, отнеси, — подал я было мальчику сверток, но тут же раздумал. — Или нет, не надо. — Взял назад, понуро пошел к машине.

— А почему дядя не катает нас? — спросил мальчик у сестры.

— Он болен, — хмуро ответила она.

Да, угадала девочка. Хуже всякой болезни скрутило меня. Всю дорогу раздумывал я, как могло получиться, что Асель до того ожесточилась на меня. Неужели в ней не осталось ни капли хотя бы жалости, какой бы я ни был плохой. Нет, не верилось мне… Не походило это на Асель, тут что-то другое. А что? Откуда мне знать… Я старался уверить себя, что сын и правда приболел немного. Почему я не должен верить мальчику? Я так убедил себя в этом, что стало мерещиться, как мечется сын в жару и бреду… А вдруг надо помочь чем-нибудь, лекарство какое достать или повезти в больницу? Люди-то живут на перевале, а не на проспекте городском! Просто измучился, извелся. Спешил назад, не представлял, что могу сделать, как поступить, знал лишь одно: скорее видеть сына, скорее. Я верил, что встречу его, сердце мне подсказывало. И как назло, кончилось горючее в баке, пришлось остановиться у бензоколонки на перевалочной базе…

*

Мой попутчик Ильяс замолчал. Потирая ладонью разгоряченное лицо, тяжело вздохнул, поднял до отказа окно и снова, в который раз,

закурил.

Время было уже далеко за полночь. Кроме нас, в поезде, наверно, все спали. Колеса выстукивали на рельсах свою бесконечную дорожную песню. За окнами бежала светлеющая летняя ночь, мелькали огоньки полустанков. Паровоз зычно гудел на бегу.

— Вот тут вы подошли ко мне, агай, и я отказал вам. Теперь понятно, почему? — задумчиво усмехнулся мой сосед. — Вы остались у бензоколонки, потом обогнали меня на «победе». Это я заметил… Да, ехал, волновался страшно. Предчувствие не обмануло меня, Самат ждал у дороги. Завидев машину, побежал наперерез:

— Дядя! Дядя шофер!..

Здоров мой мальчик! Ох, как я обрадовался, в охапку не вместить было моего счастья!

Я остановился, выскочил из кабины, побежал навстречу сыну.

— Ты что, болел?

— Нет, мама не пускала. Она говорит, чтобы я не катался на твоей машине. А я плакал, — пожаловался Самат.

— Ну, а как же ты пришел сейчас?

— А папа сказал, что если хочется человеку катать детей, то пусть катает.

— Вот как?

— А я сказал, что буду шофером…

— Да ты и будешь, еще каким! А знаешь, что я привез тебе? — Я достал игрушечную машину. — Смотри, заводной грузовик, самое что ни на есть подходящее для маленьких шоферов!

Мальчик заулыбался, засиял.

— Я всегда-всегда буду ездить с тобой, да, дядя? — глянул он на меня просительными глазами.

— Конечно, всегда! — заверил я его. — А хочешь, поедем со мной на Первое мая в город, мы машину флажками украсим, а потом я тебя привезу.

Трудно сейчас объяснить, почему я так сказал, какое имел право и, главное, почему я сам вдруг поверил в это. Мало того, я пошел дальше.

— А если понравится, останешься у меня насовсем! — предложил я сыну самым серьезным образом. — Мы будем жить в кабине, я тебя везде буду возить с собой и никуда не отпущу, не расстанусь. Хочешь?

— Хочу! — сразу согласился Самат. — Мы будем жить в машине! Поедем, дядя, поедем сейчас!..

Бывает, что и взрослый вроде ребенка становится. Мы сели в кабину. Я неуверенно включил зажигание, нажал на стартер. А Самат рад, тере-

бит меня, ласкается, подпрыгивает на сиденье. Машина пошла. Самат обрадовался еще больше, смеется, говорит мне что-то, показывает на руль, на кнопки приборной доски. И я вместе с ним развеселился. Но опомнился, в жар кинуло. Что я делаю?! Притормозил, однако Самат не дал мне остановиться.

— Быстрей, дядя, быстрей поехали! — просил он. Как мне было отказать детским счастливым глазам? Я прибавил газу. Только разогнались, как впереди показался грейдер, подновляющий шоссе. Грейдер развернулся, пошел навстречу, а за ним в конце загона стоял Байтемир. Он перелопачивал грабаркой гудрон на развороте. Я растерялся. Хотел остановиться, но было уже поздно: далеко увез мальчишку. Я пригнулся пониже и отчаянно газанул. Байтемир ничего не заметил. Он работал, не поднимая головы: мало ли машин проходит каждую минуту. Но Самат увидел его:

— А вон папа! Дядя, давай возьмем и папу, а? Останови, я позову папу!

Я молчал. Остановиться теперь было невозможно, что я скажу? Самат вдруг оглянулся назад, перепугался, закричал, заплакал:

— Я хочу к папе! Останови, я хочу к папе! Оста-

нови, не хочу! Ма-ма!..

Я затормозил, заводя машину за скалу на повороте. Бросился успокаивать сына:

— Не плачь, Самат, ну, не надо! Я сейчас отвезу тебя обратно. Только не плачь!

Но перепуганный мальчик ничего не хотел знать.

— Нет, не хочу! Я к папе! Открой! — заколотил он в дверцу. — Открой, я побегу к папе! Открой!

Вот ведь какая оказия приключилась.

— Да ты не плачь! — умолял я. — Сейчас открою, только успокойся! Я сам отведу тебя к папе. Ну, выходи, пойдем!

Самат спрыгнул на землю и с плачем побежал назад. Я задержал его:

— Постой! Вытри слезы. Не надо плакать. Я прошу тебя, сынок мой родимый, не плачь! А машину свою, что же ты, а? Смотри! — Я схватил игрушку, дрожащими руками закрутил завод. — Смотри, как она побежит к тебе, лови! — Машина покатилась по дороге, наткнулась на камень, опрокинулась и кувырком полетела в кювет.

— Не хочу! — пуще прежнего залился Самат и побежал от меня без оглядки.

Горячий ком подкатил к горлу. Я пустился догонять сына:

— Постой, да ты не плачь, Самат! Постой, я твой… я твой… Ты знаешь!.. — но язык не повернулся сказать.

Самат убегал не оглядываясь, скрылся за поворотом. Я добежал до скалы, остановился, глядя вслед сыну.

Я видел, как Самат подбежал к работающему на дороге Байтемиру и бросился к нему. Байтемир присел, обнял его, прижал к себе. Мальчик тоже обнял его за шею, пугливо поглядывая в мою сторону.

Потом Байтемир взял его за руку, перебросил грабарку через плечо, и они пошли по дороге — большой и маленький человек.

Я долго стоял, притулившись к скале, затем повернул назад. Остановился возле игрушечной машинки. Она лежала в кювете колесами вверх. Слезы потекли по моему лицу, «Ну, вот и все!» — сказал я своей большой машине, поглаживая ее по капоту. Меня обдало тепло мотора. Что-то родное было теперь даже в машине, свидетельнице моего Последнего свидания с сыном…

*

Ильяс поднялся, направился в коридор.

— Подышу свежим воздухом, — сказал он в

дверях.

Я остался в купе. Предрассветное небо белеющей полосой качалось за окном. Смутно мелькали телеграфные столбы. Можно было погасить свет.

Я лежал на полке и думал, рассказать ли Ильясу то, что мне было уже известно и чего он не знал? Но он не появлялся. Так я ему ничего и не рассказал.

*

С дорожным мастером Байтемиром мне довелось познакомиться в то время, когда Ильяс уже знал, что Асель и его сын живут на перевале.

На Памир ждали делегацию дорожных работников Киргизии. В связи с этим таджикская республиканская газета поручила мне написать очерк о киргизских горных дорожниках.

В числе делегатов был Байтемир Кулов, один из лучших дорожных мастеров.

Я приехал на Долон, чтобы познакомиться с Байтемиром.

Встретились мы неожиданно и поначалу очень удачно для меня. Где-то на самом перевале наш автобус остановил рабочий с красным флажком в руке. Оказывается, только что произошел обвал, и теперь ремонтники расчищали дорогу. Я вышел

из автобуса, направился к месту обвала. Участок уже был взят в прочные опалубки. Бульдозер сбрасывал землю под откос. Там, где он не мог развернуться, орудовали рабочие с трамбовками и лопатами в руках. Человек в брезентовом плаще и кирзовых сапогах шагал вместе с бульдозером и подавал команду трактористу:

— Возьми левей! Зайди еще разок! Пройдись над опалубком! Так! Стоп! Назад!..

Дорога была почти восстановлена, проезд расчищен. Шоферы с двух сторон отчаянно сигналили, ругались, требуя открыть путь, а человек в плаще, не обращая внимания, спокойно распоряжался. Он снова и снова заставлял бульдозер прохаживаться по дороге, принимать грунт в опалубке. «Это, наверно, и есть Байтемир. Хозяин своего дела!» — решил я. И не ошибся, это оказался Байтемир Кулов. Наконец путь был открыт, машины разъехались.

— А вы что же, автобус-то ушел? — сказал мне Байтемир.

— А я к вам!

Байтемир не показал своего удивления. Просто и с достоинством пожал мне руку:

— Рад буду гостю.

— У меня к вам дело, Баке, — обратился я, назы-

вая его уменьшительным именем. — Вы знаете, что наши дорожники должны поехать в Таджикистан?

— Слышал.

— Так вот, перед вашим отъездом на Памир я хотел поговорить.

По мере того как я объяснял цель своего приезда, Байтемир все больше хмурился, задумчиво поглаживал жесткие бурые усы.

— Что вы приехали, это хорошо, — сказал он, — но на Памир я не поеду, и писать обо мне не стоит.

— А почему? Дела? Или дома что?

— Дела какие — дорога. Сами видите. А дома? — он примолк, доставая папиросы. — Дома… тоже, конечно, дела, как у всех, семья… Однако на Памир я не поеду.

Я принялся убеждать его, разъяснять, как важно, чтобы в составе делегаций был такой дорожный мастер, как он. Байтемир слушал больше из вежливости, уговорить его мне так и не удалось.

Я был очень раздосадован и прежде всего на себя. Изменило мне профессиональное чутье, не так я подошел к этому человеку. Мне предстояло уехать ни с чем, не выполнив задания редакции.

— Что ж, Баке, извините, я поеду. Подойдет сейчас какая-нибудь попутная машина…

Байтемир внимательно посмотрел на меня спокойными, умными глазами, улыбнулся в усы:

— Городские киргизы забывают обычай. У меня есть дом, семья, дасторкон и ночлег. Раз вы приехали ко мне, уедете завтра из дома, а не с дороги. Пойдемте, я отведу вас к жене и сыну. Не обижайтесь, мне еще обход надо сделать засветло. Я быстро вернусь. Работа такая…

— Погодите, Баке, — попросил я. — Пойду-ка и я вместе с вами в обход.

Байтемир лукаво прищурился, оглядывая мой городской костюм.

— Да вроде бы неудобно вам бродить со мной. Концы далекие, пути крутые.

— Ничего!

И мы пошли. Останавливались возле каждого моста, поворота, возле обрывов и нависающих скал. Естественно, мы разговорились. До сего времени для меня загадка, с чего, с какого слова началось, каким образом я завоевал доверие и симпатию Байтемира. Он рассказал мне всю свою историю и историю своей семьи.

Рассказ дорожного мастера

Вы спросили, почему я не желаю ехать на Памир. Я сам памирский киргиз, а очутился здесь, на Тянь-Шане. Чуть ли не мальчишкой попал я на строительство Памирского тракта. Пошел по комсомольскому призыву. Работали мы горячо, с охотой, особенно молодежь. Еще бы, дорога шла на недоступный Памир! Вышел я в ударники, получал премии, награды. Но это так, к слову.

Там, на стройке, встретил я одну девушку. Полюбил ее, крепко полюбил. Была она хороша и умна. Пришла из аила на стройку; в ту пору для киргизской девушки это была не простая задача. И сейчас не так легка девичья дорога, сами знаете, — обычаи еще сковывают. Прошло около года. Строительство тракта подходило к концу. Нужны были кадры для эксплуатации дороги. Построить — полдела, это можно одолеть общими силами, а вот потом следить надо за дорогой умеючи. Был у нас один молодой инженер — Хусаинов, он и сейчас по дорожной части, крупный работник. Дружили мы с ним. Хусаинов и надоумил меня поехать на курсы. Думал я, не дождется Гульбара, увезут ее в аил, но нет, дождалась. Мы пожени-

лись и остались там, на дорожном участке. Жили хорошо, дружно. Надо сказать, для дорожников, живущих в горах, на перевалах, крепкая семья, жена — особенно много значит. Позднее я испытал это на себе. И если я полюбил на всю жизнь свою работу, то немалая заслуга в этом была жены. Родилась у нас девочка, а потом вторая, и тут как раз грянула война.

Памирский тракт стал как река во время ливня. Хлынул народ вниз — уходил в армию.

Мне тоже пришел черед. Утром мы все вышли из дома к дороге. Маленькую дочурку я нес на руках, старшенькая шла рядом, уцепившись за меня. Гульбара моя, бедная Гульбара! Она крепилась, старалась быть спокойной, несла мой походный мешок, но я-то знал, каково ей оставаться в безлюдных горах, на дорожном участке с двумя малыми детьми. Я собирался отправить их в аил к своим родственникам, но Гульбара не захотела. Перебьемся, говорит, будем ждать тебя, да и дорогу нельзя оставить без присмотра… Последний раз мы стояли у обочины шоссе, я смотрел на жену, на детей, прощался. Совсем-совсем молодыми были мы тогда с Гульбарой, только начинали жить…

Попал я в саперный батальон. Сколько пона-

делали мы на военной земле дорог, переправ, мостов. Счету нет! Через Дон, через Вислу и Дунай шли. Стынешь, бывало, в ледяной воде, горишь в дыму и пламени, снаряды рвутся кругом, разносят переправу, люди гибнут, и уж сил нет никаких, убили бы, что ли, поскорей! Но как вспомнишь своих, что ждут в горах, и откуда только силы берутся. Нет, думаешь, не за тем я пришел с Памира, чтобы погибнуть здесь под мостом. Зубами крутил проволоку на разъезжающихся крепях, не сдавался… И не погиб, дошел почти до Берлина.

Жена мне писала часто, благо почта мимо по тракту шла. Писала все подробно, и о дороге тоже — она осталась мастером вместо меня. Знал, тяжело ей, дорога-то не где-нибудь, а на Памире.

Только весной сорок пятого перестал я вдруг получать вести. Ну, известно, на фронте все бывает, успокаивал себя. И вот однажды вызывают меня в штаб полка. Так и так, мол, старшина, повоевал, благодарность тебе, награды. Возвращайся домой, ты там сейчас нужнее. Я, конечно, обрадовался. Телеграмму даже послал. На радостях и не задумался над тем, почему меня отпустили домой раньше срока…

Прибыл я в свои места, в военкомат не стал заезжать, успеется, никуда не денусь. Домой!

Домой скорее! Встретилась попутная полуторка и двинул я вверх по Памирскому тракту.

Крылья бы мне, привык на фронтовых машинах разъезжать, кричу шоферу в кабину:

— Поднажми, браток, не жалей ты свою дребезжалку! Домой еду!

И вот уже близко. За поворотом мой участок. Не утерпел. Спрыгнул на ходу с машины, вещмешок за плечо и бегом. Бегу, бегу, миновал поворот и… не узнаю ничего. Все будто на месте: и горы стоят там же, и дорога та же, только нет жилья. Ни души кругом. Одни только камни лежат навалом. Двор наш был чуть на отшибе, под самой горой. Места там тесные. Как глянул я на гору — обомлел. Снежная лавина сорвалась с крутизны. Все снесла на своем пути подчистую, ничего не оставила, точно когтистой лапой сорвала землю со склона и далеко вниз по ложбине пропахала огромный овраг. Жена писала в последнем письме, что снегопады были глубокие и вдруг начались дожди. Надо было заранее взорвать лавину, спустить ее, да разве это женское дело…

Вот тебе и встретился со своей семьей! Тысячу раз смотрел смерти в глаза, живой вернулся из ада, а их здесь как не было… Стою и двинуться не могу. Хочу закричать, заорать так, чтобы горы

вздрогнули, — не могу. Закаменело во мне все, будто и не живой я уже. Слышу только вещмешок сползает с плеча и падает у ног. Так я бросил его там, подарки вез дочкам, жене, обменял на пути кое-что из барахла на леденцы… Долго стоял я, все будто ждал какого-то чуда. Потом повернулся и пошел назад. Остановился раз, глянул: горы раскачиваются из стороны в сторону, сдвигаются, наваливаются на меня. Закричал я и пустился бежать. Прочь! Прочь от проклятого места! Вот тогда я и заплакал…

Не помню, как и куда я шел, на третий день очутился на станции. Брожу среди народа как потерянный. Окликнул меня по имени какой-то офицер. Смотрю — Хусаинов, возвращается домой, демобилизовался. Я ему рассказал о своем несчастье. «Куда же, говорит, ты теперь?» А я и сам не знаю! Нет, говорит, не годится так, перетерпи. Не позволю тебе слоняться одному. Поедем-ка на Тянь-Шань строить дорогу, а там видно будет…

Так я и попал сюда. Первые годы мосты строил на трассе. Время шло, надо было определяться куда-нибудь на постоянное жилье. Хусаинов в то время работал уже в министерстве. Он часто заезжал ко мне, советовал пойти на прежнюю

работу дорожным мастером на участок. Я не решался. Страшно было. На стройке я не один, с народом, все легче. А там, кто его знает, пропаду с тоски. Я все не мог прийти в себя, прошлое не забывалось, будто кончилась на том жизнь и нет ничего впереди. О женитьбе и мыслей не было. Слишком любил я свою Гульбару и детишек. Казалось, что никогда и никто не заменит мне их. А жениться так, лишь бы жить — это не дело. Лучше оставаться одному.

Ну, надумал я все же пойти на участок мастером: попробую, не получится — уеду куда-нибудь. Дали мне участок здесь на самом перевале. И ничего, постепенно прижился, привык. Может, потому, что участок хлопотливый: перевал. А мне даже лучше. Со временем приутихла боль в душе, притупилась. Иногда только снилось: стою окаменевший перед тем местом, где был двор, и чувствую, как сползает вещмешок с плеча… В такие дни с утра уходил на дорогу и не возвращался домой до позднего вечера. Так я и оставался один. Кое-где, правда, шевельнется грустная мысль: «А может, еще будет мне счастье?»

И пришло оно, трудное, мучительное, когда меньше всего я этого ждал.

Как-то раз, года четыре назад у соседа мать

заболела. Самому ему трудно вырваться из дома: работа, семья, дети, а старушке день ото дня все хуже и хуже. Я и решил показать ее врачам. Пришла как раз на участок машина из дорожного управления, привезла что-то. На ней мы и поехали в город. Врачи хотели было устроить старушку в больницу, да куда там. Помирать, говорит, буду дома, не хочу оставаться. Увози меня, а то проклятую. Так и пришлось везти назад. Время было уже позднее. Миновали перевалочную базу. Вдруг шофер остановил машину. Слышу, спрашивает:

— Куда вам?

Женский голос ответил что-то, послышались шаги.

— Садитесь! — сказал шофер. — Что же вы? — И подогнал машину.

К борту подошла молоденькая женщина с ребенком на руках и с небольшим узелком. Я помог ей забраться в кузов, уступил место у кабины, чтоб ветер поменьше лютовал — сам пристроился в углу.

Мы поехали. Холодина стояла страшная. Ветер дул сырой, промозглый. Ребенок расплакался. Она его укачивала, нянчила, а тот и не думал успокаиваться. Вот беда! В кабину бы ее посадить, да там старуха едва живая. Тогда я притронулся

к ее плечу:

— А ну, дайте мне его, может, успокоится, а сами пригнитесь ниже, все ветра меньше.

Я запрятал малыша под полушубок, прижал к себе. Он утих, засопел носиком. Хорошенький такой, месяцев десяти примерно. Я держал его под левым боком. И вдруг ворохнулось мое сердце в груди, сам не знаю почему, забилось, как подбитая птица. Горестно и радостно стало мне. «Эх, неужели никогда не быть мне отцом?» — подумал я. А малыш приткнулся, и дела ему никакого.

— Мальчик? — спросил я.

Она кивнула головой. Вижу, замерзла бедняжка, пальто на ней тонкое. А я и зимой плащ ношу поверх полушубка, нельзя в нашей работе без него. Придерживая малыша, я протянул ей свободный рукав.

— Тяните с меня плащ. Так простыть можно.

— Нет, что вы, не беспокойтесь, — отказалась она.

— Тяните, тяните! — потребовал я. — Укрывайтесь от ветра.

Она укуталась в плащ, я подоткнул полы ей под ноги.

— Согрелись немного?

— Согрелась.

— А что же вы так поздно?

— Так уж пришлось, — тихо ответила она.

Тем временем мы пошли по ущелью. Здесь был рудничный поселок. Все уже спали, в окнах темно. Собаки с лаем бежали за машиной. И тут я спохватился, куда она едет? Я почему-то думал, что на рудник, дальше некуда: перевал, а там наш участок.

— Вы, наверно, приехали? — сказал я ей и постучал в кабину. — Осталось недалеко до перевала, а дальше машина не пойдет.

— А здесь что? — спросила она.

— Рудник. Вам разве не сюда?

— Я... я сюда ехала, — неуверенно сказала она. Но затем быстро встала, подала мне плащ, взяла на руки ребенка. Он сразу начал хныкать. Что-то тут было неладно, беда у нее. Оставить ее одну ночью в холод?

— Вам некуда ехать! — без обиняков сказал я. — Не подумайте плохое. Дайте сюда малыша! — Я почти силой взял его. — Не отказывайтесь. Переночуете у нас на участке, а там дело ваше. Все! Поехали! — крикнул я шоферу.

Машина тронулась. Она сидела молча, уткнув лицо в ладони. Не знаю, может быть, плакала.

— Не бойтесь! — успокоил я. — Я вам ничего ху-

дого не сделаю… Я дорожный мастер — Байтемир Кулов. Можете верить мне.

Устроил их у себя. Была у нас свободная комнатушка в пристройке во дворе, улегся я там на топчане. Долго не засыпал. Раздумывал. Неспокойно мне было. Расспрашивать неудобно, я сам не люблю этого, а все же пришлось кое-что спросить, вдруг человеку помощь нужна. Отвечала она скованно, неохотно. Однако я угадывал то, что она не договаривала. Когда человек в горе, за каждым словом его — десять невысказанных. Ушла она из дома, от мужа. Гордая, должно быть. Заметно, что страдает, убивается, но не сдается. Ну что ж, каждый волен поступать, как хочет. Ей виднее. И все же жалко мне было ее, совсем молодая женщина. На девушку похожа, стройная такая. Ласковая, наверно, душевная. Как мог человек допустить, чтобы она бросила все и ушла? Ну, да это их дело. Посажу завтра на какую-нибудь попутную машину и до свидания. Устал я в тот день, засыпаю, и кажется мне, что еду в машине, а под полушубком у меня малыш. Пригрелся, прижимается под сердцем.

Поднялся я на рассвете. Пошел в обход, да что-то быстро вернулся. Как там, думаю, мои гости? Осторожно, чтобы не разбудить, затопил печ-

ку, поставил самовар. А она, оказывается, уже встала и собиралась уезжать. Благодарит меня. Без чая я их не отпустил, заставил немного подождать. Мой ночной попутчик-малыш оказался забавным мальчуганом. Большой радостью было повозиться с ним… За чаем я спросил:

— Вам куда ехать?

Она подумала и сказала:

— В Рыбачье.

— Родные там?

— Нет. Родители мои в аиле, за Тосором.

— О, так это вам с пересадкой придется. Неудобно.

— А я и не еду туда. Нельзя нам в аил, — задумчиво сказала она сыну. — Мы сами виноваты.

Я предположил, что она, наверно, вышла замуж против воли родителей. Так оно потом и оказалось.

Собралась она идти на дорогу, но я уговорил повременить, посидеть пока дома, чтобы не стоять с ребенком на ветру. Машину мог и я остановить.

Я шел к дороге с тяжелой душой. Не знаю отчего, грустно и тоскливо становилось при мысли, что они сейчас уедут, а мне опять оставаться одному.

Сначала попутные машины не попадались. А потом я пропустил одну, не поднял руку. И сам пе-

репугался. Зачем я это делаю? Вот тут и начались мои мучения. Машины шли, а я все откладывал. Сейчас, думаю, следующую машину остановлю, и снова рука не поднималась. В жар бросило меня. Она ждет там, надеется. Противен стал сам себе, а поделать ничего с собой не могу. Шагаю по дороге взад-вперед. Какие-то оправдания, причины нахожу. То кабина холодная — стекла выбиты, то машина не та, то шофер не приглянулся — лихач, а может, подвыпивший. А когда машины шли с занятыми кабинами, радовался, как мальчишка. Только не сейчас, только бы еще немного, еще минут пять побыли бы дома. «А куда ей ехать? — подумал я. — В аил нельзя, сама сказала. В Рыбачье, где приткнется она там с ребенком? Погубит его зима. Так пусть лучше остается здесь. Поживет немного, поразмыслит, что к чему. Может, вернется назад к мужу. Или он ее разыщет...»

Эх, наказанье, лучше бы я сразу привел ее к дороге и отправил! Часа три я так шагал и топтался на месте. Возненавидел себя. Нет, думаю, приведу ее и при ней остановлю машину. Иначе ничего не получится. Пошел назад к дому. А она уже выходит из дверей, истомилась в ожидании. Мне стало стыдно, глянул на нее как провинившийся,

мальчишка.

— Заждались? — пробормотал я. — Машин нет попутных, не то что нет, неподходящие вроде. Вы извините… Не подумайте чего-нибудь… Ради бога, зайдите на минуту в дом. Очень прошу вас!

Она удивленно и грустно посмотрела на меня. Молча вернулась в дом.

— Вы жалеете меня? — спросила она.

— Нет, не потому. Понимаете… Боюсь за вас. Трудно придется. Как жить будете?

— Работать буду. Мне не привыкать.

— Где?

— Где-нибудь устроюсь. Но назад не вернусь и в аил не поеду. Буду работать и жить.

Я замолчал. Что я мог возразить? Она сейчас ни о чем не думала. В ней говорили обида и гордость. Эти чувства гнали ее неизвестно куда. Но ведь легко сказать — буду работать и жить. Не так-то сразу это получится. А неволить человека нельзя.

Мальчик потянулся ко мне. Я взял его на руки. Поцеловал, а сам думаю: «Эх, хорошенький ты мой, придется нам сейчас расстаться. Дорогим ты мне стал, как свой, родной…»

— Ну что ж, пойдемте, — тихо сказал я.

Мы встали. Я понес малыша, но в дверях оста-

новился.

— А работа и у нас найдется, — проговорил я. — Можете жить и работать. Квартирка есть небольшая. Правда, оставайтесь. Не спешите. Уехать всегда успеете. Подумайте…

Сначала она не соглашалась. Но в конце концов я убедил ее.

Так Асель с сынишкой Саматом остались у нас на дорожном участке.

Комнатушка, что пристроена во дворе, была холодной, и я настоял, чтобы Асель с сыном поселилась в моем доме, а сам перебрался в пристройку. Меня это вполне устраивало.

С той поры жизнь моя стала иной. Ничего будто не изменилось, я по-прежнему оставался один, но ожил во мне человек, отогрелась душа после долгого одиночества. Конечно, и раньше я был среди людей, но можно жить с ними бок о бок, работать, дружить, делать общее дело, помогать и принимать помощь, и все-таки есть такая сторона жизни, которую ничем не заменишь. Привязался я к малышу. В обход иду, укутаю его потеплей и беру с собой, ношу по дорогам. Все свободное время проводил с ним. Не представлял, как жил раньше. Соседи мои — люди хорошие, добры были и с Асель и с Саматом. Детей кто

не любит? А Асель душевная, открытая, быстро прижилась на участке. А я прикипел к малышу еще из-за нее, Асель. Что скрывать и от себя-то не скрыл, как ни пытался. Полюбил я ее. Полюбил сразу на всю жизнь, всей душой. Все прожитые в одиночестве годы, вся тоска и страдание, все, что было потеряно, все слилось в этой любви. Но сказать об этом я не имел права. Ждала она его. Долго ждала, хотя и не подавала вида. Часто замечал я, когда работали мы на дороге, как встречала и провожала она ожидающими глазами каждую проходящую машину. А иногда брала сына, шла к дороге и часами просиживала там. А он не появлялся. Не знаю, кто он был и какой из себя, этого я не спрашивал, и она никогда не рассказывала.

Время шло понемногу. Самат подрастал, Ох и шустрый, славный карапуз! Не знаю, научил его кто или сам он, только стал называть меня папой. Как увидит, бросается на шею: «Ата! Ата!» Асель задумчиво улыбалась, глядела на него. А мне и радостно и больно. Рад бы ему отцом быть, да что поделаешь…

В тот год летом как-то раз ремонтировали мы дорогу. Машины шли проездом. Асель вдруг крикнула одному шоферу:

— Эй, Джантай, остановись!

Машина проскочила с разгона и затормозила. Асель побежала к шоферу. О чем они там поговорили, не знаю, но услышал, как она вдруг крикнула:

— Врешь ты! Не верю! Уезжай отсюда! Уезжай сейчас же!

Машина пошла дальше, а Асель кинулась через дорогу и побежала домой. Кажется, плакала она.

Работа валилась из рук. Кто он? Что сказал ей? Всякие сомнения и догадки одолевали. Не утерпел я, пошел домой, а Асель не выходит. Вечером я все же зашел к ней.

— А где Самат? Соскучился я по нем!

— Вот он, здесь, — уныло ответила Асель.

— Ата! — потянулся ко мне Самат. Я поднял его на руки, забавляю, а она сидит печальная и молчит.

— Что случилось, Асель? — спросил я. Асель тяжело вздохнула.

— Уеду я, Баке, — ответила она. — Не потому, что мне здесь плохо. Я вам очень благодарна, очень. Но только уеду... Куда глаза глядят, сама не знаю куда...

Я вижу, действительно может уехать. Мне ничего не оставалось, как сказать правду:

— Что ж, Асель, задерживать не имею права. Но

и мне не жить здесь. Придется уйти. А я уже один раз покидал пустое место. Да что тут объяснять. Сама знаешь, Асель. Если ты уедешь, для меня это будет то же самое, как тогда на Памире. Подумай, Асель… А если вернется он и сердце позовет назад, то мешать не буду, ты всегда свободна, Асель.

С этими словами я взял Самата на руки и пошел по дороге. Долго ходили мы с ним. Ничего не понимал он, малыш мой.

Асель пока от нас не уезжала. Но о чем она думала, что решила? Высох я за эти дни, почернел лицом.

И вот как-то в полдень вхожу во двор, смотрю, Самат по-настоящему пытается ходить. Асель поддерживает его, боится — упадет. Я остановился.

— Баке, а сын твой уже ходит, смотри! — радостно улыбнулась она.

Как она сказала? Сын твой! Я бросил лопату, присел на корточки и поманил к себе малыша:

— Тай-тай-тай, верблюжонок мой! Ну, иди ко мне, топай ножками по земле, смелей топай!

Самат раскинул руки.

— Ата! — ковыляет ножками, бежит. Я подхватил его на лету, высоко вскинул над собой и крепко прижал к груди.

— Асель! — сказал я ей. — Давай устроим завтра Праздник «разрезания пут» для детворы. Ты приготовь веревочку из белой и черной шерсти.

— Хорошо, Баке! — засмеялась она.

— Да, да обязательно из белой и черной шерсти…

Я сел на лошадь, поскакал к друзьям-скотоводам, кумыс привез, свежего мяса, и на другой день мы пригласили соседей на наш маленький праздник «разрезания пут».

Я поставил Самата на землю, спутал ему ноги черно-белой веревочкой, как бы стреножил. А рядом с ним положил ножницы и скомандовал детям, что стояли на другом конце двора:

— Кто первый прибежит и разрежет путы, тому первый подарок, а остальным — по очереди. Пошли, ребята! — махнул я рукой.

Дети с гиканьем пустились бежать, как на скачках.

Когда путы были разрезаны, я сказал Самату:

— Ну, сын мой, беги теперь! Берите его, ребята, с собой!

Дети взяли Самата за руки, а я проговорил вслед, ни к кому не обращаясь:

— Люди! Мой жеребенок побежал по земле! Пусть он будет быстроногим скакуном!

Самат бежал за детьми, потом обернулся: «Ата!» — и упал. Мы с Асель разом бросились к нему. Когда я поднял с земли малыша, Асель первый раз сказала мне:

— Родной ты мой!

…Вот так мы стали мужем и женой.

Зимой вместе с сынишкой съездили к старикам в аил. Долго они были в обиде. Пришлось нам с Асель за все ответ держать. Я им всю правду рассказал, все, как было. И они простили Асель, ради внука простили, ради нашего будущего.

Время шло незаметно. Самату сейчас пятый год. Во всем у нас с Асель согласие, и только одного мы никогда не затрагиваем, только об одном не упоминаем. Между нами как бы молчаливый договор: тот человек для нас не существует…

Но в жизни не всегда бывает так, как ты хочешь! Он объявился здесь совсем недавно…

Случилась авария на дороге. В ночное время. Мы с соседом, помощником моим, побежали узнать, что произошло. Прибегаем. Грузовая машина врезалась в столбы. Шофер весь побит, почти без сознания и пьяный. Узнал я его, только имя не мог вспомнить. Вызволил он нас однажды из беды, потянул на буксире машину на перевал. А это не шуточное дело — по Долону. Раньше та-

кого здесь не бывало. А он оказался напористым, отчаянным парнем, притащил нас на усадьбу. Очень понравился он мне тогда, по душе пришелся. Вскоре после этого кто-то добрался до перевала с прицепом. Совсем немного оставалось ему, да, видно, что-то помешало. Завалил шофер прицеп в кювет, бросил и уехал. Я подумал еще тогда, не он ли, эта отчаянная голова. Пожалел, что не удалось смельчаку добиться своего. Но после машины стали с прицепами ходить через перевал. Приспособились ребята и правильно сделали.

Честно скажу, в первый момент я не знал, что это был он, человек, от которого ушла Асель. Но если бы знал, сделал бы то же самое. Притащил я его домой, и сразу все стало ясно. В этот момент Асель внесла дрова. Как увидела его, так и посыпались поленья на пол. Однако никто из них и виду не подал. Будто встретились впервые. Тем более я должен был держать себя в руках, чтобы каким-нибудь неосторожным словом или намеком не причинить им боли, не помешать заново понять друг друга. Я тут ничего не решал. Они решали: между ними было их прошлое, между ними был их сын, с которым я лежал на кровати, прижимал к себе и ласкал.

В эту ночь никто из нас не спал, каждый думал

о своем. И я о своем.

Асель может уйти с сыном. Это их право. Пусть они поступят так, как велит им сердце и разум. А я… да что говорить, не обо мне речь, не от меня зависит, я не должен мешать…

Он и сейчас здесь, ездит по нашей трассе. Где он был все эти годы, чем занимался? Но это неважно… Это их дело…

*

Мы возвращались с Байтемиром с обхода. Вечерело. Дымчатый весенний закат разливался в поднебесье над ледяными вершинами Тянь-Шаня. С ревом проносились машины по дороге.

— Вот как оно получается, — задумчиво проговорил Байтемир после некоторого молчания. — Не должен я сейчас уезжать из дома. Если Асель надумает уходить, пусть совесть ее будет чиста, пусть скажет мне об этом и получит последнее напутствие сыну. Ведь он мне роднее родного. А отнять его у них не могу… Потому и не еду никуда. Тем более на Памир. Не для газеты, конечно, я рассказываю. Просто, как человек человеку…

Вместо эпилога

С Ильясом мы расстались в Оше. Он поехал на Памир, а я по своим делам.

— Приеду, разыщу Алибека. Начну новую жизнь! — мечтал Ильяс. — Не думайте, я не пропащий человек. Пройдет время, женюсь, будет у меня дом, семья, дети — словом, все как у людей. И друзья и товарищи найдутся. И лишь одного у меня не будет, того, что потеряно безвозвратно, навсегда… До последних дней своих, до последнего вздоха буду помнить Асель и все прекрасное, что было между нами.

Ильяс задумался, опустив голову. Помолчав, добавил:

— В день отъезда я пошел к озеру, на то самое обрывистое взгорье. Я прощался с Тянь-Шаньскими горами, с Иссык-Кулем. Прощай, Иссык-Куль, песня моя недопетая! Унес бы я тебя с собой, с синевой твоей и берегами желтыми, да не дано, так же как не могу я унести с собой любовь любимого человека. Прощай, Асель! Прощай, тополек мой в красной косынке! Прощай, любимая. Будь счастлива!..

Перевод автора.

Ш. Бейшеналиев
СЫН САРБАЯ

Герою Социалистического Труда
Р. Сартбаеву посвящаю.



В СОКРАЩЕНИИ

Часть первая
Глава I

Не доверяя зоркости своих глаз, старый Сарбай приставил ко лбу заскорузлую, мозолистую руку и, выдвинув вперед седой щетинистый подбородок, стал вглядываться в толпу мальчишек.

На ярко-зеленом лужке шла борьба или просто возня. Ребята бросались друг на друга, визжали, катались по траве — буйное племя, радостное и веселое. Кое-как одетые, обутые кто в отцовские армейские сапоги, кто в рваные ботинки, а кто и в брезентовые опорки с деревянными подошвами, мальчишки не замечали ни холодного весеннего ветра, ни накрапывающего дождя. Им все было нипочем.

Сарбай смотрел, смотрел и нашел наконец в толпе того, кого искал. Крутолобый плечистый мальчуган прыгал то на одного, то на другого, падал и вскакивал, сбивал товарищей подножкой, садился на них верхом; его узловатые длинные руки мелькали то там, то здесь, его босые, омытые росой, красные от холода ноги так и выплясывали на мокрой траве. Сквозь прорехи

рубашки виднелось голое тело. Все мальчишки были плохо одеты, но тот, кого с таким пристальным вниманием искал Сарбай, выглядел просто оборвышем... и нисколько этим не смущался. Сильный, цепкий, бойкий, голосистый, он был центром и душой этого живого клубка. Его звонкий голос раздавался по всей округе и рождал горное эхо.

Узнав наконец в оборвыше своего сына, Сарбай криво улыбнулся и покачал головой. Он сел прямо на землю в тени ветхого коровника, сложил крест-накрест ноги и задумался.

Эх-хе-хе, неужто и правда прошло столько лет!

Тринадцать лет...

Да-а, уже тринадцать лет, как пришло к тебе то доброе счастье, которое ты так долго искал, которого так долго ждал.

Сарбаю уже тогда перевалило за сорок, седеть начал, при встрече демобилизованные красноармейцы величали его отцом, а жизнь, настоящая жизнь, у него еще и не начиналась. Был и тогда женат Сарбай, но не рождались у жены его дети. По совету заезжего муллы вымаливал себе прощения у создателя богобоязненный Сарбай. Он думал, он искал, чем грешен перед аллахом, за что аллах наказал бездетностью. Искал и найти

не мог. Вот разве пост не соблюдал и работал в праздники… С детских лет работал Сарбай, не считаясь ни с чем. Сперва на бая работал: пас его овец, лепил ему кизяки, кормил его охотничьих собак. Потом в колхоз вступил и в колхозе тоже безотказно делал все, что ему поручали. Никогда не воровал Сарбай, никого не обманывал, и с женой жили они душа в душу. За что же ему такая немилость? Богатых, говорит мулла, карает аллах за богатство; ленивых, говорит мулла, карает аллах за безделье. Никогда Сарбай не был богатым, никогда не позволял себе лениться… Так ходил в тоске Сарбай, покусывая свои седовато-рыжие усы и думая тяжелую думу, как вдруг, неведомо почему, свалилось на него счастье.

Тринадцать лет назад…

…Летнее пастбище в горах. Раннее утро. На зеленом холме ждет судьбы, запахнувшись в груботканый чепкень, надвинув на лоб потрепанный белый войлочный колпак, Сарбай. Он ссутулился, скривился, как верблюд, как одногорбый верблюд. Да, как одногорбый большой верблюд, опустившийся на колени, сжался Сарбай. Он один на холме, чутко прислушивается к тому, что делается внизу, в долине, где стоит его бедная юрта. Он на коленях ждет судьбы и

ждет, чтобы женские голоса принесли ему добрые вести. Совсем один на цветущем холме. Даже не молится — уже поздно молиться, ребенок рождается, его жена рожает, вокруг нее в юрте толпятся те, кому надлежит там быть. В странном напряжении ждет Сарбай крика младенца и весь дрожит от желания, чтобы крик был мужской. И верит Сарбай, что сумеет, сумеет узнать первый крик — мужской он или женский. Сына ждет, счастья ждет рыжеусый Сарбай. На цветущем холме среди гор, стоя на коленях, ждет сына Сарбай сорокалетний.

Мгновения обратились в часы, а часы — в годы.

И вот из долины, залитой свежими лучами нового солнца, послышался крик. Из белой юрты, где открыты, откинуты и верхняя и боковая кошмы, оповещая весь свет, раздался крик ребенка. Раньше серой была юрта, сейчас, с криком ребенка, белой стала, и свет стал белым, и по лицу Сарбая, теряясь в зарослях усов и в отращенной за девять месяцев редкой бороде, пробежала слеза. И вот он сам, Сарбай, став тяжелым и неуклюжим, топорщит полы грубого чепкеня и бежит, бежит с холма к юрте, к белой юрте, откуда слышен крик мужчины, первый крик сына, первый

крик человека.

Добежал Сарбай до юрты, чуть не упал от радости — он уже знал, что сын. Но в двери стояла разбитная говорливая женщина:

— С тебя — суюнчи — подарок за радостную весть. Сын у тебя, сын! Прокричи ему на ухо азан и дай ему имя! Ой-е! Что за отец у сына… Вот мальчик на руках, вот он лежит, кричи скорей имя… Имя надо прокричать, понимаешь, нет?

Издавна ведется, что, как явится на свет младенец, старейший аила, а если нет здесь старейшего, сам отец, обняв ладонью ушко отпрыска своего, прокричит мусульманский символ веры — азан. И вслед за тем наречет новорожденного именем. Вот что должен был совершить Сарбай. И понимал, что должен. Но, как только встретила его говорливая женщина в двери юрты и сказала, что сын… как она ему сказала, что родился у него сын, что случилось с Сарбаем? Испугался Сарбай? Ополоумел Сарбай? Куда делся Сарбай сорокалетний? Куда делся мудрый пастух, глава семьи, отец новорожденного сына Сарбай? Он, неловкий, неуклюжий, из железа кроенный, обратно побежал на травяной холм. Он туда побежал, где всю ночь привык стоять на коленях, смотреть вниз на юрту, ждать света солнца и крика младенца.

Он спотыкался, кожаные подошвы его чокой скользили по траве. Он, как гусь, переваливался с боку на бок — раздувшийся гусь, нелепая птица с оттопыренными крыльями, Так Сарбай добрался до вершины холма. Добрался и вдруг расправил плечи. Протянул руки в сторону Мекки и задрожал, и закричал от радости, и просветлел.

Что он кричал? Что такое, какие слова мог кричать бедолага, до сорока лет мучившийся без отпрыска? Он тряс редкой своей седеющей бородой и кричал в сторону Мекки… Одно только слово кричал:

— Ракмат!.. Ракмат, аллах мой, рак-мат!!!

Но женщины, что ждали его у входа в юрту, те, что толпились у входа в серо-белую юрту с младенцем на руках, ничего понять не могли. Они, оставив на ложе роженицу, требовали отца и слова его:

— Мужчина ты или нет?

— Ракмат! — кричал в сторону Мекки ошалевший от счастья Сарбай.

— Мужчина ты или нет? Неужели не можешь прокричать младенцу? Эй, стоящий на холме! Сыну своему не можешь прокричать азан? Мужчина ты или нет?!

А он ничего и никого не слышал и повторял

свой клич, обращенный к далекому горному снегу и за него, дальше, еще дальше, по синему небу, по солнечному лучу:

— Рак-мат, ракма-ат!

Казалось, горы подхватили его голос. И долина, и реки, и деревья, острые тянь-шаньские ели склоняли вершины, и камни катили это слово: «Ракмат, ракмат!» И громы дальних туч грохотали: «Р-р-р-акмат!» И в клекоте орлов оживало гортанное слово…

И тогда суетливая женщина, повивальная бабка, поняла наконец, что «ракмат» не только благодарность. Она подбежала к Сарбаю, ухватила его за полу чепкеня и силой заставила войти в юрту.

— Хорошее имя, хорошее имя!

И Сарбай понял, что и правда хорошее. Что всю жизнь сперва мальчик, потом юноша, а потом и зрелый муж пронесет с собой это доброе слово благодарности, слово, которое каждый произносит с поклоном и улыбкой.

И старая его мать Сакинэ, морщинистая, белоголовая, услышав, что внук ее понесет в мир людям это ласковое имя — благодарность, — просияла и помолодела.

— Кто тебя научил, а, Сарбай?

Да, кто его научил, кто шепнул ему, смиренному, богобоязненному? Он и сам не знал. Он сощурил смеющиеся глаза и глянул в синее небо, куда уже поднялось солнце. Он у солнца спросил — не оно ли ему подсказало такое простое и нежное имя.

Сарбай обратился к белобородому старцу Ала-Тоо, к тому, что подпирал плечом купол неба:

— Ой-е! Конечно, ты, аксакал, меня надоумил, подсказал гордое, возвышенное имя сыну пастуха, чтобы такой же он поднялся высокий и такой же сильный, как ты…

Это вслух сказал, удивляя женщин, Сарбай. Обрел дар речи. Кто помнит, чтобы раньше так много, так красиво говорил? Кто видел на лице его такую светлую улыбку?

Потом что делал Сарбай? Долго ему женщины не дали сидеть в юрте — не полагается слишком долго смотреть на маленького. Сарбай пошел, пошел. Он кругами ходил у юрты, как привязанный к колу. Подставил резвому ветру открытую волосатую грудь и сильно, глубоко вдыхал запах горных цветов и трав. Допьяна надышался Сарбай. И всё большие он делал круги, все шире. И так дошел до горного потока, что скачет с камня на камень, кидаясь брызгами и хохоча: «Ракмат!

Ракмат!»

Светлое, прохладное имя Ракмат.

А вы знаете, с той поры, как появился у Сарбая сын Ракмат, что бы ни приходилось переживать, сколько бы ни плакала и отчего бы ни кричала его жена, сам он не поддавался горю и не жаловался и не позволял себе падать духом.

Он не поддавался горю и не падал духом. Он войну пережил. Три года работал на Урале на танковом заводе. Он понимал все, что надо понимать, но он там немногое мог — метлой махал, тяжести носил, голодал, кашлял. Как и все кругом. И мерз.

Ужасно, как он мерз на Урале! Но вот уже два года, как война кончилась. Сарбай дома.

Глядя, как растут дети, понимаешь, как стареешь сам.

*

Из тени ветхого коровника Сарбай смотрел на сына, как тот наскакивает на одного товарища, на другого, сбивает их подножкой, садится верхом и лупит голыми красными пятками, подгоняя, будто лошадок:

— Эге-ге-гей!

И вдруг мальчик заметил взгляд отца. Всех бро-

сил и прибежал. Только глянул, слова не говоря, взялся за то, что делал Сарбай. Кирпич за кирпичом — стал закладывать дыру в прохудившейся стене коровника. Деловито сопел, разравнивая мастерком глину, старательно тянул ряд за рядом. Светились красные голые локти в дырах рукавов, сквозь протертые колени домотканых портов виднелась гусиная зябкая кожа. Парнишка даже и не понимал, как он выглядит. Только удивительным показалось, что отец смотрит на него непривычным наблюдающим взглядом.

А Сарбай все смотрел и смотрел и вдруг бормотать начал:

— Сын ты мой и есть мой сын: такой же, как и я. И будешь таким, и твой сын будет таким…

Мальчишка слышал ворчание отца и с еще большим прилежанием таскал тяжелые глинобитные кирпичи, клал их в раствор, шлепал в просветы мокрую глину, замазывал мастерком трещины. Он даже рот распахнул, язык высунул от старания, капли грязного пота ползли по смуглым его щекам. Он любил отца и помочь ему хотел и никак не мог понять, чем отец сегодня недоволен.

— Поди сюда, Ракмат! — позвал сына отец и похлопал ладонью по грубой желтоватой траве

рядом с собой. — Сядь!

Мальчишка шумно потянул носом и утерся рукавом. Он помотал головой и вдруг буркнул:

— Я не Ракмат.

— Как так не Ракмат? Я сам дал тебе это имя. Кто же ты теперь, а? — Сарбай хотел рассмеяться, но закашлялся и с удивлением посмотрел на сына. — Кто ты? Говори.

— Никто не хочет меня так называть. Ракмат с поклоном надо говорить. Ракмат чистенький, тихоня Ракмат. Меня Дардаке зовут. Мне больше нравится.

Сарбай потянул сына за руку, усадил.

— Глупый ты, глупый! Дардаке — значит озорной, шумный, шаловливый. Тебя мать на коленях удержать не могла, ты прыгал, скакал. Разве Дардаке имя? Так, прозвище, кличка…

Сын упрямо покачал головой:

— Ракмат не могу слышать, папа. В школе учительница вызывает: «Спасибо, иди к доске». «Спасибо, ты сделал ошибку». «Спасибо, не шуми в классе». Не-ет, я Дардаке, папа. Так зови меня, пожалуйста.

Мальчик требовательно смотрел. И в том, как упорно настаивал он на своем, был виден характер: твердость, решительность, упрямство.

Сарбай, тяжелый, медлительный, не сразу ответил. Он прикрыл глаза и думал, думал. Потом махнул рукой, и не то чтобы он ответил сыну, — сам на свои мысли откликнулся:

— Э-эх, ты! Ракмат или Дардаке — не все ли равно? Ты мой сын, вот оно что. Мой сын — потомок униженных… У меня отец был такой, я такой, и сын мой такой, и сын моего сына будет такой…

Мальчик потянул к себе глыбу сухой глины и сел повыше, чтобы лицо его было вровень с отцовским. Смысл отцовских слов не доходил до него. Он хотел понять.

— Папа, папочка, что говоришь ты? Что значат слова твои?

Он пытливо заглядывал под кустистые брови отца, а Сарбай отводил глаза. Ну как объяснишь мальчику, что слова мало значат, что не все можно передать словами? Он обнял сына, прижал к себе.

— Ладно, ладно, буду тебя звать Дардаке. Озорником, баловником, бедовым малым буду тебя звать. Хочешь так? Хочешь, мальчик мой? — со слезами в голосе спрашивал старик. — Ракмат не надо? Спасибо никому говорить не надо за то, что ты есть у меня? За то, что вырос? Ни ветру, ни солнцу, ни самому аллаху?

— Что ты шепчешь? Что бормочешь, папа? — с тревогой спрашивал мальчик и прижимался все тесней, водя гладкой детской щекой по бородатому лицу старика. — Что с тобой? Что говоришь? О чем плачешь?

Положив шершавую ладонь на голову сына, с горькой досадой сказал Сарбай:

— Разве плачу, сынок? Просто так говорю и говорю. Не обращай внимания. Вот и вечер, солнце уходит за гору. Совсем холодно станет — иди домой, Дардаке!

— Нет, нет, не просто так ты говоришь! Скажи, папа, что хотел. Я большой, постараюсь понять. Ты долго на меня смотрел, ты меня позвал. Я Ракмат, твой Ракмат! Теперь мне скажешь? — И, взлохматив голову отца, мальчик ткнулся ему в грудь.

Сарбай молчал. И тогда мальчик, обхватив его плечи, сцепил на спине отца руки и стал валить на землю:

— Сдавайся, папка! Могу на обе лопатки положить, я сильный, сильнее тебя!

Отец хотел высвободиться, шлепнуть сына, как это делал еще совсем недавно, но вырваться не смог. Он с удивлением подумал, что мальчишка, чего доброго, и правда справится с ним, повалит.

Ему было приятно, что сын так силен, но ничуть не повеселел. Поспешно сказал:

— Сдаюсь, сдаюсь!

— Апа, то-то же! Ну, тогда говори. Скажешь?

Отец продолжал молчать. Мальчик опять хотел было на него навалиться, поиграть с ним, но, глянув в лицо, понял — отцу не до шуток. Что-то его сегодня гнетет. И мальчишка притих. Отец стал гладить его по спине и тихо говорить:

— Слушай внимательно. Будешь слушать, а?

— Честное пионерское, папа!

— Что, что?

— Если чуть повернусь, пусть превращусь в осла!

— Вот ты какой — прыг-прыг, скок-скок! Силы много, а в голове ничего нет. Что плетешь, слышишь? Сперва пионерское слово и сразу ослаишака вспомнил. Э-эх, мальчик мой из племени униженных!

Глаза у отца были потухшие, руки опущены. Так печален был отец, что мальчик готов был уйти, убежать, только бы не мучить его больше. Но отец говорил… Медленно текли слова:

— Вот я, вот ты… Мой отец и отец деда — наши деды и прадеды жили бедными, униженными. Это род наш такой, племя такое — племя унижен-

ных. Я не учился. Ты в школе грамотным стал, книжки, газеты можешь читать, а что с того? Что, Ракмат-Дардаке? Не верю, теперь уже совсем потерял надежду, что станешь лучше и счастливее меня. Видно, рок наш такой. Кто родился в бедности и унижении — такими и детей своих вырастит. От судьбы не уйдешь…

С недоверием и тоской смотрел мальчик на отца. Никогда еще не слышал таких слов, непонятны были они ему. Он знал отца сильным, крепким, выносливым, работящим. Может, заболел? Скорей всего старится отец, говорит — сам не знает что. Вот закрыл лицо грубыми своими руками с набухшими жилами. Уж не плачет ли он? Разве могут мужчины плакать?

Из рассуждений о племени униженных только и понял Дардаке, что деды и отцы из их рода скверно жили и тяжело. «Но мы ведь не плохо живем, — хотел было сказать мальчик. — Мы совсем не плохо живем, папа. Ты со мной добр и ласков, и мама меня любит, товарищи мои со мной играют, в школе учат учителя, и никто меня не бьет. Ты, папа, безграмотный — можешь делать только простую, грубую работу: пасешь коров или возишься с кирпичами. Много еще таких темных и необразованных дехкан. Но я,

твой сын, учусь и буду учиться, а потом пойду работать... Я знаю, чего хочу: вот исполнится мне четырнадцать лет, окончу семь классов и пойду на курсы трактористов. Трактористам хорошо платят. Деньги им дают и зерно, а те, что работают на свекловичных полях, получают еще и сахар, вкусный сладкий сахар. Сейчас у меня рваная одежда, но я вырасту и куплю сапоги и костюм. Я рубашку смогу купить и шляпу, как у председателя. И тебе куплю, папа. Ты будешь сидеть дома и отдыхать. А сейчас ты просто очень устал. Приляг, поспи, милый папочка, разломанную стенку коровника я и сам могу достроить...»

Дардаке не сказал всего этого, только подумал. Мальчик еще не научился так долго и так свободно говорить. Он понимал, что такое усталость, голод, холод, болезнь, старость, слабость, но сегодня отец заговорил о тукуму — униженности, а этого слова мальчик понять не мог и не знал, что пророчит ему его отец. Что за угроза слышится в его словах? О какой «судьбе» он предупреждает? Какой такой «рок» над ними висит? Сказка это или правда?

Холодные вечерние тени ложились на землю, давно уже мальчишки разошлись по домам, а Сарбай с сыном все еще сидели у старого коров-

ника. Хотел один сказать, хотел другой утешить, но слов им не хватало и не было способности выразить свои опасения и свою ласку иначе, как это делают с давних-предавних времен кровно близкие люди: они прижимались друг к другу и поглаживали друг друга и так вместе заснули, и тут их нашла Салима-апа. Постояла перед ними, скрестив руки на груди, посмеялась над мужем и сыном, а потом растолкала и повела ужинать.

*

Светлым солнечным утром, поднявшись с кошмы, Дардаке козлом поскакал к открытой двери, как вдруг услыхал, что на улице кто-то громко говорит. Ему даже показалось, что это учитель читает вслух какую-то книгу. Мать приложила палец к губам, шепнула сыну:

— Тихо веди себя. Финагент приехал.

— Опять? Что он хочет, мама? Разве не знает, что нет у нас ничего?

Он выглянул и увидел обутого в чистые сапоги, одетого в коричневый вельветовый костюм высокомерного усатого дядьку. У этого приезжего поверх костюма был еще надет темно-синий плащ. Волнистые поля шляпы свисали над его круглым лицом. На правую руку он накрутил ре-

мень туго набитой кожаной сумки. Он небрежно помахивал сумкой и, задрав голову, цедил слова. Говорил и говорил, а отец, ссутулившись, стоял перед ним в чепкене и молча глядел на свои разбитые сапоги. Тут из-за угла соседнего дома появился еще один человек. Увидев его, отец Дардаке вздрогнул и еще больше съежился. Новый этот, совсем здесь не известный человек, молодой и румяный, был в синей шинели и в фуражке с красным околышем. На плечах у него блестели погоны с двумя золотыми звездочками…

И Дардаке понял: уже вчера отец знал, какие к нему собираются гости. Вот почему был таким невеселым и удрученным, вот почему вспомнил о несчастных предках.

Мальчик в два прыжка очутился возле отца, прижался к нему, обнял его. Отец недовольно на него взглянул, а финагент так дернул плечом, будто его овод ужалил. И только молодой лейтенант милиции улыбнулся краем глаза.

Обратившись к лейтенанту, финагент сказал:

— Видишь, какой труд у нас. Адские муки переносим, чтобы получить с неплательщиков. Терпение лопнуло, сил больше нет уговаривать. Будем описывать имущество, товарищ начальник. Обыск нужен.

Дардаке вопросительно посмотрел на отца. Лицо Сарбая окаменело. Салима-апа, худенькая, верткая, выбежала из дома, загородила руками вход. Казалось, сейчас закричит. Но только вертела головой, поглядывая то на одного, то на другого.

Лейтенант прошелся туда-сюда, заметил, что из окон соседних домов смотрят и в воротах стоит народ. Слишком он был молодой, нерешительней. Посмотрел на седого Сарбая и тихо спросил:

— Что, правда, не хотите платить? Государство, знаете, не может бесконечно ждать.

Финагент сердито махнул рукой:

— Что его спрашивать? Разве не видишь — упорный неплательщик. Молчит и молчит. Спит, что ли? Попробуй добиться. Из камня легче воду выжать…

И тут наконец Сарбай, поклонившись лейтенанту, заговорил:

— Ой, братец начальник! Если нет, где взять, а? Копейки колхоз не дает. По трудодням что получили? Нет денег, совсем ничего нет. Пусть осенью придет, пожалуйста. Разве отказываюсь? Все отдам.

Тонким, женским голосом говорил Сарбай. Мальчик смотрел на него, слушал. Может, это

и называется «тукуму» — униженный? Отец на бабу старую стал похож.

Прижав руку к груди, Сарбай повторял одно и то же:

— Отдам, все налоги осенью отдам, правду говорю…

— Ай, Сарбай-аке! — с досадой воскликнул финагент. — Теперь конец месяца, завтра сдаю в банк последние сборы. А там надо отчитаться перед райфо. Если постараешься, найдешь, чем заплатить. Хочешь, чтобы я по твоей милости лишился службы, а? Десять лет работаю, премии получал. Из-за тебя все должен потерять, так? Для меня лучше, если прямо скажешь… Вот в присутствии начальника Скажи: «Отказываюсь платить государству свои недоимки». Мне лучше будет — уговаривать не надо. Есть власть. Пусть власть решает, что с тобой делать.

Нет, Сарбай не мог так сказать. Он с испугом посмотрел: как мог подумать финагент, что он хочет отказаться выполнять законные требования государства!

— Заплачу, заплачу, а сейчас поверь мне в долг… Эх, если бы…

Он не договорил, слезы покатились по его щеке. Молодой лейтенант не выдержал, дернул фина-

гента за рукав:

— Пошли! А вы, аксакал, пасите свой скот. Работайте…

Сарбай, легким движением оттолкнув сына, кланяюсь, пошел провожать лейтенанта и финагента. Лейтенант сел на лошадь и ускакал. Финагент не ушел.

— Ладно, — сказал он тихо, — я за тебя, Сарбай-аке, уплачу свои деньги… Ты ведь пасешь коров, так? Ты мне осенью телку отдашь. Обещаешь, да?

Старик быстро закивал. Он на все был согласен. Как говорится, пока опустится топор, колода отдыхает. Получил передышку — и слава богу. А осенью… кто знает, что там будет осенью!

Когда финагент наконец ушел, мальчик, потрясенный увиденным и услышанным, спросил отца:

— Как же так, папа? Ты шкуру быка носил, мясо носил, масло тоже сдавал. И шерсть. Помнишь, мы покупали у соседей шерсть, и ты ее отдал заготовителям. А теперь деньги просят у тебя. За что, папа?

— Как «за что»? Земельный налог, культналог, заем, самообложение. Картошку сажал, просо сеял на приусадебном участке — за все надо пла-

тить, сынок.

— Но ведь война кончилась уже скоро три года. Почему нет облегчения?

Сарбай весь преобразился. Оглядевшись вокруг, зашипел на сына:

— Молчи, молчи! — и зажал верхней губой нижнюю, даже волосы бороды захватил в рот.

И, только войдя в дом, снова заговорил, вцепившись, как коршун, в плечо сына:

— Не приставай, не спрашивай, не болтай! Будешь лезть с такими вопросами, все ноги тебе перебью! Понял?

Нет, Дардаке не понял. Забился в угол, сжался и, хотя отец вроде уж и не обращал на него внимания, не спускал с него пытливого взгляда. Смотрел и смотрел, стараясь разгадать, что за тайна сидит в этом большом седом, старом человеке. Чего он боится и отчего сгибается? Уж не от предков ли он унаследовал свою робость? Не они ли его и тянут к земле всё ниже и ниже?

И мальчику стало очень интересно узнать, хоть что-нибудь о своих предках.

*

— Ты все просишь меня рассказать, как жили твои деды. Ладно, слушай, сынок. Что знаю — все

тебе скажу. Наберись терпения.

Они на быке верхом сидели — мохнатый старый отец и босоногий крепкий сын его Дардаке. Они с восходом солнца выехали из кыштака, чтобы горными тропами к вечеру добраться до джайлоо. Там на сочных травах все лето будет пастись скот. Мать уже давно перебралась в аил, а сын вот только сейчас кончил учебный год, и отец за ним приехал на быке. Они вдвоем уселись на широкой спине желто-пегого смирного быка и отправились в далекий путь по холмам и долам, все выше и выше. Отец впереди сидел, а сын сзади. Мальчику хорошо и покойно сиделось за спиной у отца, удобно и тепло. И он очень обрадовался, когда отец посулил ему долгий рассказ. Горная тропа медленно стекала меж копыт дремотно шагавшего быка. Ветер еще не ерошил травы, солнце пока что лежало за горой и кузнечики не шумели; совсем тихое раннее утро; только и слышно, как шуршат камушки под копытами быка и как ровно он дышит.

А горы и справа и слева, и покрытые мхом и плесенью камни, и черные острые ели, и далекие снега — верно, и они приготовились слушать — тихо сегодня стоят. Удивляются. Сколько лет знают Сарбая — не могли дождаться от него

рассказа. Они мудрые — много знают. Древние — много видели и много слышали. И поучения седовласых аксакалов, и веселую возню джигитов, и звон битвы, и предсмертный хрип пораженного копьем, и торжествующий хохот победителя. О родная земля, чего только ты ни испытала, чего только ни терпела! И зной, и бури, и грохочущие потоки камней, и тысячелетия ледового плена, и жаркие удары преисподней, от которых крошатся горы, и звездный дождь, и горячие ливни извержений. И ты, горная тропа — след сотен человеческих поколений, — ты впитала в себя и перемешала с пылью и кровь людскую и пот. Ты истоптана, изъезжена тысячами и тысячами. Подожди немного — озорник Дардаке, тот, что подгоняет потрескавшимися пятками желто-пегого быка, смотри, скоро пересядет на машину, сломает тебя, выровняет, выгладит и понесется на быстрых колесах машины. И тогда ты, тропа, в союзе с ним изменишь судьбу всей горной родной земли…

…А сегодня он слушает рассказ отца, историю древней своей родословной. Мальчик весь вытянулся, чуть шею не вывихнул, с таким вниманием впитывает каждое слово старика.

— …Мой прадед — твой прапрадед Байменко

— рано осиротел. Он был беден, рабом, батраком был твой прапрадед Байменко: одна лошадь только, овец своих не имел, наш прадед Байменко работал на богатого бая…

Об этом мальчик уже и раньше слышал. Он гордился тем, что его прапрадед был бедным человеком, а не эксплуататором. Дардаке от учителя знал, что раньше люди делились на бедных и богатых. Бедные были хорошими, а богатые плохими: много ели, толстели, покупали себе жен и заставляли бедняков на себя работать.

— Здоровьем не был обижен Байменко, — рассказывал отец, и мальчик сразу вспомнил, что учитель говорил, как укрепляют тело физкультура и физический труд. — Он был такой сильный и такой ловкий, наш предок Байменко, что самый старший бай из местности Кок-Джангак приблизил его к себе, и джигиты стали его учить, чтобы сделать из него байдын батыра. Ты знаешь, сынок, что означает это слово? Конокрады и скотокрады — вот кто были эти байдын батыры.

И отец долго объяснял мальчику, что раньше баи и манапы имели при себе особых слуг — воинов для набегов на соседей. Их учили драться, бороться, джигитовать на лошадях. А потом из них сколачивали под начальством самого

смелого и сильного конную группу, вооружали дубинками с железными набалдашниками, а иногда и винтовками и посылали за три-четыре горных хребта, в дальний род, чтобы отбить у тамошних пастухов косяк лошадей или стадо овец…

— Твой прапрадед пригнал один раз целый табун — больше ста коней — своему баю. Думал, тот похвалит его, надеялся — подарит на радостях пять-шесть лошадей и он сможет заплатить калым и жениться…

— Жениться? — с удивлением спросил мальчик у отца: — Как же так? Если Байменко воином-солдатом был у бая, он ведь, наверно, в казарме жил? Неужели не мог дождаться, пока у него кончится срок службы?

— Ах ты, дурачок! — рассмеялся отец. — Твой прапрадед Байменко рабом был, как лошадь или собака при хозяине. Бай что хотел, то с ним и делал. Побить мог, убить мог, руку отрубить мог. Не было у байских слуг ни крыши над головой, ни срока службы. Спал слуга у байского порога. Бывал сыт и мясом, но, только выходя в поход, получал у хозяина одежду, обувь и оружие. Дома босой ходил, рваный. Наш предок Байменко был так силен и ловок, что бай ни за что не хотел с

ним расставаться. Люди говорили: «Надо женить парня», и бай согласился, а сам откладывал это дело с году на год…

— Я бы убежал! — воскликнул Дардаке. — Горы высокие, Киргизия большая…

Отец обернулся, глянув в глаза сыну:

— Как ты угадал, Дардаке? Верно, верно — твой прапрадед не один раз, а два раза бежал. Первый раз его настигли, и хозяин собрался убить своего слугу. Но ведь жалко убивать хорошего коня, если это собственный твой конь, быстроногий и сильный. Собственную собаку, если она хорошо охотится, тоже жалко убивать. Убить раба — значит потерять полезную скотину. Бай решил проучить Байменко. Вот какое он ему придумал наказание. Бай знал, что молодой раб его полюбил девушку из бедной семьи. И он сказал: «Иди вот за ту гору, там пасутся табуны чужого рода. Если один сумеешь отбить от табуна девять коней и пригонишь сюда, я позволю тебе отдать их отцу твоей любимой. Хочешь жениться — сам добывай для себя калым». Отважный Байменко схватил палицу с тяжелым железным наконечником, вскочил на коня и помчался добывать себе счастье. Среди ночи соколом налетел он на табунщиков чужого рода, выбил их из седла, отделил косяк лошадей и

угнал в свою долину. Он радовался и ликовал, но не знал еще Байменко, что такое коварство бая. Через тайных посыльных донес хозяин другому баю о том, что обокрали его. С гиканьем и свистом нагнали Байменко всадники чужого рода, и начался неравный бой одного со многими. Хозяин твоего прапрадеда видел, как отбивается от наседающих врагов молодой джигит, но не послал ему помощи. Преследователи накинули на шею Байменко волосяную петлю и приволокли раба к его хозяину. Бай сказал: «Знать ничего не знаю, он сам во всем виноват. Если бы я хотел увести ваших коней, то послал бы целое полчище. Этот бесноватый не для меня, для себя отправился на грабеж. Если вы его прирежете, он получит заслуженное наказание, но только и труп его заберите с собой — ни живой, ни мертвый он мне не нужен». Так сказал он, думая, что Байменко станет молить его о прощении. Но тот, избитый и окровавленный, приподнялся на колени и плюнул в лицо своему баю. И тогда бай стал топтать его ногами и глумиться над ним, но не дождался он от нашего предка ни стона, ни крика…

— Байменко умер от побоев?! — в ужасе закричал мальчик из-за спины своего отца.

Сарбай рассмеялся:

— Если б в тот раз умер наш предок, как могли бы появиться на свет мы, его потомки? Ты думаешь, что говоришь, а, Дардаке? Если бы так легко умирали рабы, трудно бы пришлось богачам жить на свете. Бай не раба своего хотел убить, а гордость в нем, дух неповиновения.

— Неужели Байменко смирился?

— Мой отец рассказал мне, а ему его отец рассказал, что, увидев, как стоек и силен Байменко, посланцы чужого бая взвалили его полумертвое тело на коня и увезли к своему хозяину, И стал Байменко рабом другого. И тот другой вылечил его и сделал своим джигитом, своим байдын батыром. Но и этот новый хозяин нашего предка не был добрее прежнего. Год за годом обманывал он его, обещая дать калым для покупки невесты. И, поняв наконец, что его бессовестно обманывают, Байменко оседлал лучшего скакуна и, прихватив запасного, убежал из Кок-Джангака за тысячу верст, сюда, в Джумгал. Благословенный прадед мой женился здесь на вдове, и она родила ему сына, по имени Санса.

Уже солнце поднялось над головой, и цветы распрямились на лугах, и горячий ветер стал обнимать босые ноги Дардаке, а бык все шел и шел, и отец все говорил и говорил. Он рассказал,

как Байменко погиб в бою и в том же бою сын его Санса потерял правый глаз.

— Санса был моим дедом. Он ездил на рыжей корове, так как не было у него коня. Он трудился всю жизнь, пас овец и, окривев на один глаз, был, наверно, счастливее своего отца, так как хоть и был он беднейшим из бедных, но увечье его мешало ему участвовать в боях и набегах. Он был смирным и незлобивым человеком. Но слушай, мальчик, что с ним сделали. Во время праздничных игр, когда вышли на шуточный бой люди двух манапов — волостных правителей Тойбека и Джансаке, — сын Джансаке, Тайтели, желая напугать противника, выстрелил в воздух. Манап Тойбек озлился на него и приказал своим людям застрелить лошадь Тайтели. Но тот, кто стрелял в лошадь, попал в седока и ранил его — ранил сына могущественного манапа, волостного правителя. Чтобы не платить, не откупаться за ранение сына своего врага, манап Тойбек решил схитрить. Он созвал своих советчиков и сказал: «Найдите среди моих людей кого не жалко, подстрелите его, и мы тогда скажем, что это люди Джансаке его убили. Так мы сквитаемся, и уездный правитель не потребует с нас выкупа». Выбор пал на моего несчастного деда. По зову манапа мой дед Санса

сел верхом на свою рыжую корову и поехал к повелителю. И когда он ехал, его подстрелили из-за угла. Так сын Сансы, Бекбо, твой дед и мой отец, в шестнадцать лет стал сиротой.

Тропа, что вилась по склону горы, подымалась все круче. Бык, пыхтя и отдуваясь, переступал с ноги на ногу. Дардаке сползал по спине его к хвосту и, чтобы не упасть, должен был обхватить плечи отца. Отец подумал, что мальчик жалеет его, ласкается к нему. Но Дардаке, прилежно слушая отца, смотрел в то же время кругом на деревья и травы, на летающих и перекликающихся птиц, на веселые облака, что стаями проносились у них над головой. Кругом все было полно жизни и радости. У него кончился учебный год, и сейчас ему хотелось бегать и резвиться, прыгать, скакать, лазать по горам, выслеживать зверьков. Грустный и монотонный голос отца вызывал в нем протест. Он хотел гордиться своими предками, восторгаться ими.

— Папа, — сказал он требовательным голосом, — ты забыл про революцию и про большевиков. Почему ты не вспоминаешь, как твой отец, а мой дедушка Бекбо дрался против белых, которые хотели вернуть царю власть. Расскажи об этом, папа!

— Ах ты, пострел, откуда знаешь? Тебе мама рассказала? Да, твой дед и мой отец Бекбо, оставшись сиротой, только на себя и мог надеяться. Он в юности научился тачать сапоги, плести сети. Он умел выработать кожу и мех. Он резал из кожи сбрую и делал седла. Настоящий мастер на все руки, твой дед Бекбо бродил из кыштака в кыштак, из аила в аил, работал для одного и для другого, но платили ему толокном и просом, и ходил он в чужих обносках. Да, он погиб за революцию, твой дед. Белые бандиты — басмачи узнали, что он не просто бродячий скорняк и сапожник. Они выведали через своих шпиков, что Бекбо носит из селения в селение приказы красных, и заманили его в ловушку. Три дня бандиты истязали его, пока он не умер…

— А потом? Потом ведь и ты, папа, носил приказы красных? Я об этом слышал от дяди.

Сарбай обернулся, как-то испуганно посмотрел на сына и оборвал свой рассказ. Он стал яростно бить каблуком по животу быка, подгонять его:

— Чшу, чшу!

А сын теребил его:

— Папочка, ну что же ты? Ну говори же, говори, я тебя слушаю!

Сарбай ссутулился, на душе у него стало нехо-

рошо. Требовательные вопросы вызвали в нем даже что-то вроде стыда. Он хотел было сказать правду: что два раза, всего только два раза носил приказы красных в далекий горный аил, а потом нанялся к баю пасти скот и не мог никуда ходить. Он хотел было сказать сыну своему правду: что, хоть и был уже взрослым, не мог даже понять, за что убили отца. Он тогда понял только одно: отца нет и забота о куске хлеба для матери и младших братьев легла на его плечи. Баи его оседлали и били. Как мог он, темный и безграмотный, призывать к чему-либо народ, если он сам не знал, что делать и куда идти! Сказать об этом сыну — он сейчас же спросит: «А почему ты не научился грамоте? С приходом Советской власти каждый дехканин мог учиться». Мальчик знает эту истину от своих учителей, знает, что были кружки ликбеза и многие их закончили. Многие, но не все. Сказать сыну, что долго еще — до самого появления колхозов — он был батраком у баев, то у одного, то у другого, и по нескольку месяцев не видел людей и знал только скотину, которую пас. Мальчик спросит: «А как же Кудайберган? А как Шамши? Они ведь тоже из бедняков, тоже голодали. Почему они научились, а ты от них отстал?» Сказать — посмотри вокруг, я не один

такой отсталый. Нет, Дардаке не такого от него ждет ответа. Легче всего, а потому и правильней всего Сарбаю казалось такое объяснение: «Наш род неудачлив от прадеда к деду и от деда к отцу». Понимай так: сам я не виноват ни в чем, судьбу не переспоришь. Бог, судьба, рок — вот три слова, которые помогали Сарбаю мириться с бедами, с робостью своей, с темнотой. А может, и с ленью? Может, ленив был Сарбай? Нет, он всегда безотказно выполнял все, что ему поручали. Но не больше. Только то, что приказывали. Не мог сделать — говорил: «Не умею». Он не был ни гулякой, ни пьяницей, винить ему себя было не в чем. И, когда мулла говорил, что надо смириться со своей участью и не сетовать на судьбу, он охотно с этим соглашался. Если же кто-нибудь напоминал Сарбаю, что в ранней юности он был активистом и продолжал дело отца, он гордился этим. На вопрос же о том, как случилось, что другие, а не он поднялись вверх, Сарбай пожимал плечами и говорил: «Значит, меня обогнали. На скачках разве все впереди? Тот конь, что сначала ходко бежит, может потом отстать, правда?»

Но сын не такого от него ждал ответа. И Сарбай это понимал и досадовал на себя, что начал этот разговор.

Между тем небо накрыло тенью ущелья и горы, резкий ветер принес прохладу, и разразился ливень. Тут уж было не до разговоров. И Сарбай в душе обрадовался этому. Он гнал и гнал быка. Бык сам свернул с тропы и упрямо пошел по высокой траве. Конский щавель терся об их ноги, и высокая полынь била их серыми своими цветами по лицу. Они оба мгновенно промокли, холодные струи побежали по спинам. И вдруг посыпал крупный град. Путники съежились, но круглые ледышки безжалостно их секли. И Сарбай, заставив сына перелезть вперед и прикрыв его своим телом, сразу же подумал, что невезенье и неудачи преследуют его во всем, а сейчас, наверно, бог его наказывает за то, что вслух роптал на судьбу.

Бык, которому, видно, тоже не понравилось, как хлещет град, ломая кустарник, пошел прямо в лес и остановился под большой разлапистой елью.

Сарбай наклонился к нему, ласково похлопал по шее и сказал:

— Ах ты, добрая скотина! Да ведь, пожалуй, ума у тебя больше, чем у человека.

Дардаке спрыгнул на землю и, чтобы скрыть от отца, как сильно поцарапался в кустах барбариса, поспешно раскатал на ногах штанины. Град

и дождь прекратились так же внезапно, как и начались, но Сарбай решил сделать привал. Надо было дать быку обсохнуть — мокрую спину седло быстро натрет до крови, бык заболеет и не будет годен к работе. Расседлав быка, повесил отсыревшую сыромятную сбрую на ветку сушиться. Делать больше было нечего, и он, боясь, что придется продолжать разговор с сыном, притворно хмурясь, стал разглядывать связку капканов, притороченную к седлу. Эти капканы он собирался по прибытии на джайлоо поставить в лесу. Делая вид, что проверяет их исправность, он стал растягивать и сжимать их, щелкать дужками. Дардаке стало скучно, и, разыскав острый камень, он стал колупать им и отбивать с коры ели сгустки смолы. Стуча, как дятел клювом, он собрал ее довольно много и пожалел, что нет тут школьных товарищей — вот бы они обрадовались! «Эх, не увижу их до самой осени. Ведь все ребята любят пожевать. А может, в аиле найдутся любители. Там, кажется, ребят нет, только девчонки. Что ж, можно ведь дать смолы и девчонкам». Набив себе рот и старательно жуя, Дардаке продолжал отковыривать новые куски. Он завернул их в листья лопуха, перевязал вьюнком и, сняв войлочный колпак, сунул в него свою драгоценность и снова

надел на голову.

Увидев это, его отец рассмеялся:

— Что ж ты делаешь, дурачок! Тепло головы и солнца разогреют смолу, волосы слипнутся. Брось. И не надо жевать, выплюнь…

— Почему, папа? Во рту хорошо пахнет, и зубы, говорят, становятся белее. — Он набил рот и старательно работал челюстями. — Все мальчишки любят жевать…

Отец махнул рукой — ладно, мол, делай как знаешь, сам будешь жалеть.

Бык, не теряя времени, сильным шершавым языком слизывал мокрую траву. Сарбай ухмыльнулся, заметив, что мальчик с невольной завистью смотрит на то, как насыщается животное. Надо бы сказать сыну, что жевать смолу плохо: все время глотаешь слюну и сильнее разгорается голод. Нет, он потом скажет. Сейчас напоминать о голоде не стоит. Бык-то вот ест, а им придется терпеть до вечера. У них не было с собой ни лепешки, ни боорсоков. Весна — время, когда отъедается скотина. Человеку для этого дана осень.

Мальчик поймал внимательный взгляд отца и вспыхнул. Ему стало стыдно, что он, такой взрослый, мог обнаружить перед отцом голодную

зависть.

И он поспешно сказал:

— Я умею ставить капканы. Дедушка Буйлаш меня научил. Вот мы приедем — ты позволишь мне поставить на сурков?

Отец улыбнулся. Он был доволен сыном: мальчик не заговорил о еде.

— Это хорошо, что ты научился ставить капканы, — сказал сыну Сарбай. — Но сурков ловить еще рановато. Они сейчас кормят детенышей, да и шкурка еще не слиняла, такая у заготовителей идет третьим сортом.

Отец и сын переглянулись и рассмеялись. Они поняли мысли друг друга. Они оба гордились терпением и стойкостью. Мальчик кинулся к отцу:

— Ой, папка! Я тебя слушал, слушал… Почему так редко говоришь? Почему о предках рассказываешь, о себе не хочешь? — С этими словами он повис на шее отца, ожидая от него ласки.

— Э-э, ты как барс прыгаешь! Смотри не загрызи. Большой стал барс, тяжелый. — Он потрепал парня по шее и мягко отстранил. — Надо собираться. Помоги подвязать седло.

Дардаке отошел и, сделав недовольный вид, отвернулся. Потом, будто прозрев, посмотрел боком и, поддразнивая, быстро заговорил:

— Ты говоришь — мы племя униженных. А вот и нет, а вот и нет! Мы племя возвышенных — вот что я теперь знаю. Ты рассказал и о своем дедушке, и о прадедушке — они и правда были унижены. А уже твой отец — мой дедушка Бекбо — возвысился над баями и манапами. Теперь они, а не мы униженное племя, их уже давно не осталось, а те, что происходят от них, стыдятся своих предков. И ты не униженный вовсе, ты на военном заводе работал, а еще раньше ты, я знаю, за колхоз боролся, ты сильный, и ты…

Не успел он закончить, как вдруг в синем небе раздался гром. Сарбай с ужасом стал озираться и, упав на колени, закричал:

— Скорей молись и кайся, сын мой! Усмири в себе шайтана! Слышишь, аллах бросил в тебя за твои речи гром с ясного неба. Молись, а то молния тебя поразит…

Дардаке, испуганный криком отца больше, чем громом, на мгновение окаменел. Он не упал на колени, а стал прислушиваться. Прошло несколько секунд, и лицо его озарилось веселой улыбкой. Всплеснув руками, он сложил их над головой и забормотал молитвенным голосом:

— О алла, молю тебя, прибавь еще грому, мы скорей тогда будем попадать к дому! Папа, папоч-

ка, очнись! Это не гром, это взрывают скалу Кабак. Там работают геологи и строители автомобильной дороги. Папочка, наш учитель рассказывал…

Поднявшись с колен, отец недоверчиво и растерянно посмотрел на сына. Дардаке прыгал на скале и хохотал. Отцу не понравилось, что мальчишка слишком уж разыгрался.

— Ну-ка, ты, возвышенный, — проворчал он. — Чем прыгать да смеяться над отцом, собери-ка лучше хворосту и свяжи вязку. Приедем в аил, на чем будем греть ужин?.. Вот так, вот так, покланяйся земле, — может, и вылетит из тебя пустая гордыня…

Глава III

День за днем, неделя за неделей уходят в прошлое, а Дардаке все один и один. Что-то слишком долго нет отца. Люди, которые приезжают из долины за молочными продуктами, привозят от Сарбая приветы. Одни лишь приветы и обещания вернуться, ничего больше. Дардаке привык к своим коровам, и они тоже привыкли к нему, знают его хорошо, отличают от любого другого человека, слушаются мановения руки, подчиняются беспрекословно. Интересно, скучают ли

они по старому своему пастуху Сарбаю, помнят ли его? Их об этом не спросишь. Собака и кошка, любая прирученная птица умеют показать свою привязанность к хозяину, лошадь подойдет и приласкается, но рогатая скотина неспособна выразить свои чувства. Молодые телки, правда, подходят иногда, требуя, чтобы у них почесали между рогами, но так же, как к пастуху, они могут подойти и к деревцу — почесаться о ствол.

И все-таки и коровы и быки что-то понимают. Признают человека своим повелителем. Человек выбирает для своего стада луг, и, даже если по соседству трава сочнее, коровы не решаются туда перейти. Встречаются, конечно, строптивые, но им достаточно показать кулак, крикнуть погромче, и они возвращаются на место. Да, крупный рогатый скот охотно подчиняется власти человека. Бывает, что подерутся бычки или сцепятся рогами коровы, — Дардаке смело разнимает их. Пусть даже косяк нападет на косяк, он не задумываясь идет в гущу битвы. Лупит направо и налево палкой, а то просто упрется в морды руками и расталкивает. Ну-ка попробовал бы это сделать посторонний человек — животные так бы его саданули рогами, что пришлось бы потом отлеживаться не один день.

Первое время Дардаке радовался своей смелости и способности управлять стадом. Он даже гордился властью пастуха. Сам перед собой гордился — некому было показать, на что он способен. Но чем дальше, тем больше мальчик тяготился одиночеством. Он вспоминал школьных товарищей, разговоры, споры, игры на широкой улице кыштака, борьбу, беготню. В этом году Дардаке впервые оказался не только днем, но и вечерами без друзей и сверстников. Надо же так — нет в аиле мальчишек! Восьми-, девятилетние не в счет — они быстро надоедают. С ними повозиться можно, а поговорить не о чем. А у него как раз появилась потребность побеседовать с мужчинами. Скоро месяц, как нет отца, а теперь еще и старого Буйлаша увезли в больницу. Он каждое утро совершал омовение холодной ключевой водой и сильно простудился.

— Ах, дедушка Буйлаш! — вздыхая, говорил Дардаке, устремляя свой взгляд за цепь холмов, в ту сторону, где далеко внизу лежит кыштак. — Знал бы ты, дедушка, сколько накопилось у меня к тебе вопросов! В мой маленький капкан ничего не попадается. Я уже переставляю его на третье место. А что мне делать с хворостом, который я заготовил?

Правда, правда. Он работал несколько дней и сложил девять больших куч хвороста, по числу юрт аила: каждой хозяйке по куче. Это кроме того, что он привозил ежедневно своей матери. Ей все завидовали. Кизяк без хвороста плохо разгорается. Ее просили поделиться, и она кое-кому давала кривую, узловатую хворостину, но делала это неохотно.

Скупость матери была неприятна Дардаке. Сам он готов был поделиться всем, что у него есть. И вот он заготовил дрова для каждой хозяйки. Надо заготовленный хворост оттуда, с горы, перевезти в аил. И хорошо бы одновременно, чтобы все почувствовали себя богатыми. Дардаке давно бы объявил жителям аила, что их на горе ждет топливо, но, правду говоря, побаивался: мать, узнав, что он собирал, ломал и складывал хворост не для своей семьи, а для всех, обязательно рассердится, может даже заболеть от огорчения. Он уверен был, что так и будет, но почему, понять не мог.

Хорошо бы посоветоваться с отцом или с дедушкой Буйлашем! Спросить, что значит *свое* и *чужое*. Почему мама не обижается, когда он пасет и общее колхозное стадо, и собственных коров разных хозяев? Ведь он делит свой труд на всех. Но вот разрубили мясо пойманного им козленка,

и мама сразу взяла себе лучшие куски, и никто с ней не спорил. Она даже несколько больших кусков мяса завялила и спрятала! Некоторые молча с завистью на нее смотрели, но не сказали ни слова.

Этим летом, проводя долгие часы в полном одиночестве, Дардаке то и дело задумывался над вопросами, которые никогда раньше не приходили ему в голову.

Однажды, сидя на камне, он вспомнил, как в кыштак зимой приезжала кинопередвижка, показывала большой город с высокими домами, где этаж лежал на этаже до самого неба. Дома на улицах стояли впритык один к другому… Когда смотрел, даже не особенно удивился — он следил за поступками людей, ему было интересно, куда и зачем идут люди, о которых была кинокартина. Теперь же Дардаке задумался. Для чего горожане живут так тесно один над другим? В Москве даже поезда загнали под землю — наверху для них не осталось места. Он легко запоминал все, что рассказывали ему учителя, и отвечал на проверочные вопросы почти всегда правильно. Однако это вовсе не значило, что чуждый мир городов был ему понятен. Он, например, знал, что часть того скота, который пасется в горах, переходя

с одного луга на другой, осенью будет сдана заготовителям. Быки, телки и яловые коровы отправятся в долины, там их погрузят в вагоны… Паровоз, который он тоже видел только на киноэкране, потащит состав на мясокомбинат. И мясо и кожа, и рога и копыта, — все пойдет в дело, все переработают, чтобы накормить, одеть и обуть людей. Как будто все понятно, но вдруг выскакивал вопрос: «Сколько быков, коров, баранов съедают города? Сколько съедает каждый человек в отдельности?» Дардаке довольно хорошо и быстро умел считать и, вспомнив, что в Москве несколько миллионов жителей, пришел в ужас от того, как много нужно, чтоб прокормить всех. От ужаса он легко переходил к восторгу.

Одни размышления рождали другие. Он начинал чувствовать себя кормильцем людей, ощущал общность между своей жизнью и жизнью тех, кто толпился в городах, за сотни и тысячи километров от гор, где он бродит со своим стадом. Все это поражало воображение Дардаке, и он смотрел кругом, надеясь хоть кого-нибудь увидеть, чтобы поделиться своими открытиями и размышлениями. Над ним летали птицы, в траве стрекотали кузнечики, попискивали сурки, пробегал в хвое барсук, проносилось по гребню

горы стадо архаров, иногда налетал холодный ветер или всю котловину затягивало туманом… Он спускался поближе к стаду, то и дело покрикивая, чтобы коровы знали, где их пастух.

Так час за часом, день за днем… И поговорить не с кем!

И вот однажды отошел Дардаке от своих коров и от нечего делать стал изо всех сил кричать песни. Казалось, что чем громче он поет, тем получается красивее. Ему нравилось, что горы и лес возвращали песню, повторяли и усиливали. Когда был он совсем маленьким, покойная бабушка учила его петь и хвалила, если он старался. Но со смертью старушки не осталось любителей его пения — ни отец, ни мать, ни соседи не ценили его способностей. Стоило открыть рот, все затыкали уши и ругались: «Перестань сейчас же, негодный мальчишка!» Только во время войны никто не мешал. Когда отец уехал с рабочим батальоном, а мать насовывала прямо на платье отцовские старые штаны и с утра до позднего вечера пропадала в поле, Дардаке, приходя из школы, набивал пузо холодной картошкой и принимался во весь голос выводить на высокой ноте:

Если взгляну в окошко,

Вижу почки на тополях.
Когда вспоминаю отца,
Слезы так и брызжут из глаз.

Нет, он не плакал. Холодно было в кибитке, голодно, пыльно и скучно, однако он пел, а не плакал. Кто сочинил слова этой простой песенки? Все мальчишки и девчонки ее повторяли, у всех отцы ушли на войну или на трудовой фронт.

Ах, тогда много пели! Недаром, наверно, говорится, что женщина в горе всегда певунья. В полях, в огородах, на пастбище, в одиночку и собравшись вместе, пели в поды войны и женщины и дети.

Вот и сейчас Дардаке затянул песню того времени:

Красноармеец родимый,
Пусть твои дела идут хорошо.
Разори гнездо подлеца,
Что затеял войну.

Дардаке даже глаза зажмурил, чтобы лучше и громче петь. Уж так он старался, надрывался изо всех сил: думал, что каждому, кто услышит, должно понравиться его пение. И вдруг услышал надтреснутый голос старого Буйлаша:

— Не пой так протяжно, сынок! Не терзай мой слух страшным словом «война!» Столько бед принесла людям — лучше ее не вспоминать. Двух сыновей взяла у меня и любимого зятя. Единственная моя дочка Сайраш в молодые годы стала вдовой и с крохотной своей Зейной переехала из столицы в наш дальний кыштак… Не надо, не пой военных песен, Дардаке, храни их в сердце, но не досаждай нам тяжелыми, воспоминаниями. Лучше пой о веселье, о счастье, о радостях людей…

Открыл глаза Дардаке, хотел кинуться на грудь старику — так он по нему соскучился. Но что такое — нет никого… Неужели почудилось? Да, так бывает с теми, кто долго ходит в горах один. Мерещатся голоса близких людей. И то, что слышал неделю и месяц назад, повторяется, будто сказанное вслух. От многих старых пастухов известно было Дардаке об этом. Иначе бы испугался. Но всё-таки удивительно! Вроде бы как живой рядом стоял дедушка Буйлаш.

«Эх, — сказал себе Дардаке, — если и нет его здесь, значит, хочет издали услышать. Спою-ка я по его заказу веселую песню».

И Дардаке влез на высокий камень. Он даже приподнялся на носках, чтобы громче получилось и сильней. Вот уж он запел так запел! Чуть

пополам не треснул от натуги:

Мягкий бархат — волос твой,
Колокольчик — голос твой,
Ты расти, расти большой,
Жеребенок милый мой!

Тут раздался громкий возглас:

— Молодец, парень, хорошо поешь!

Повернувшись на голос, Дардаке увидел, что весь северный склон горы усеян белыми и серыми пятнами. Это стадо овец перевалило сюда через гребень. А вот и чабан скачет, изо всех сил подхлестывая свою коротконогую, редкохвостую клячу. Да нет, не чабан, а помощник чабана — сын его Чекир, вот кто скачет с горы. Дардаке обрадовался, помахал ему рукой, но Чекир вихрем налетел, сорвал с его головы войлочный колпак, засунул себе под колено.

— Эй, ты, — заорал он, — певец бесштанный, я отдам тебе твою вшивую тряпку, не догонишь — изорву в клочья!

Чекир был года на три старше, выше ростом — ему подшутить захотелось над Дардаке, подразнить мальчишку. Он с хохотом носился туда-сюда. И вот остановился шагах в тридцати.

Дардаке посмотрел вокруг — не нашел в траве

куска глины или камня, нечем, было швырнуть, в обидчика. Гнаться пешему за конным, — толку не будет. Все кипело в душе у мальчишки, но он старался показать полное равнодушие и даже отвернулся.

— Что, коровья жижа, боишься меня! — издевался Чекир. — Смотри, сажусь на твою шляпу. Хеп! Хорошо, мягко, Ракмат!

Тут он опять погнал клячу вверх. Трудно было старушке скакать по горам. Увидев; как тяжело она подтягивает задние ноги, Дардаке не удержался — скинул бешмет и побежал за всадником. А Чекиру только того и надо. Стал крутиться, выделывать всякие штуки. То подбрасывал и ловил колпак, то, свесившись в седле, волочил, сбивая головки одуванчиков. Свистел, гикал, делал Дардаке страшные рожи. Старая его лошаденка тоже, наверно, соскучилась по игре. Дает подбежать, машет-подманивает своим трехволосым хвостом и вдруг отскочит, как жеребенок. Похоже, что боевая у нее была молодость.

Сколько ни бегал Дардаке, не мог догнать Чекира. Ругал его, проклинал его:

— Стой, червивоголовый! По-добру говорю, стой! Поймаю — ребра переломаю! — Он запыхался, язык одеревенел во рту, пот катился по

спине ручьями, злость распирала его. — Эй, берегись, Чекир!

До того добегался бедный Дардаке, что глаза стали слипаться от пота. Пришлось остановиться, отдышаться. Он вытер лицо рукавом, осмотрелся и вдруг увидел, что овцы Чекира не на горе уже пасутся, а перебрались ниже, на склон холма. Вскрикнул от радости Дардаке, мгновенно созрел у него план мести. Он открутил длинную ветку арчи и с бешеным воплем кинулся гнать овец вниз, вниз, в долину, к коровам. Вот когда сердце его наполнилось ликованием: нелегко будет Чекиру заставить коротконогих, мирных овец подняться в гору.

Боясь коров и быков, овцы сбились в кучу и жалобно блеяли. Коровы, недовольные тем, что к ним пришли незваные гости, сердито замычали и нагнули рогатые головы.

Чекир пока еще играл, размахивая колпаком, зазывал Дардаке. А хитрый парнишка уже предвкушал победу. Он теперь настолько был в себе уверен, что даже к ручейку подбежал, бросился на колени, ополоснулся, напился и со свежими силами погнал вниз и тех овец, что еще задержались на склоне.

Тут только Чекир понял коварный план Дарда-

ке. «Ну хорошо же! Ты согнал с горы моих овец — я разгоню твоих рогатых, попробуй собери!» Размахивая и стегая плеткой направо и налево, он врезался в стадо коров. Не тут-то было. Коровы отбегали на два-три шага и снова сбивались вместе, не пропуская всадника. То ли они чувствовали, что это чужой, то ли просто недовольны были тем, что кто-то нарушил их размеренную, спокойную жизнь, — они заревели и даже стали строиться в круг, как при нападении волков.

А Дардаке тем временем гнал овец все ниже и ниже в лощину. Он хлестал их, орал на них, заставлял бежать. Хоть и не приходилось ему пасти овец, он знал, что откормленные овцы быстро слабеют от бега… Потом будут много пить, лягут от усталости.

Выпучив глаза и зеленея от бешенства, Чекир вопил что было сил:

— Э, акмак, остановись, прекрати! Замучишь овец…

Наконец он догадался объехать стадо коров. Пустив свою лошадь вскачь и легко догнав Дардаке, Чекир с ходу стеганул плеткой его несколько раз вперекрест, а потом, разъярившись, хлестал, не разбирая, по спине, по голове, по лицу. В первое мгновение Дардаке, прикрыв руками глаза, со-

гнулся от боли. Он чуть не упал. Но, когда тебя бьют, боль ведь страшна только самая первая. Недаром говорится, что первая боль с ног сбивает, а вторая на врага подымает. Зарычав от бешенства, Дардаке извернулся и, прижавшись лицом к животу всадника, обхватил его тело и повис на нем. Лошадь волочила его, Чекир то стегал его по спине, то рукоятью плетки бил по голове. Дардаке рук не разжимал. Подтянувшись и упершись коленями в круп лошади, он, кряхтя и напрягаясь, тянул Чекира изо всех сил на себя. Тот сидел, как пригвожденный. Ноги-клещи впились в лошадиное тело. Казалось, только вместе с лошадиной шкурой можно его сорвать. Но вот Дардаке изловчился и перебросил сперва одну, а потом и вторую руку с поясницы на шею Чекира. Всей своей плотной тяжестью он повис на шее врага и стал мотаться, раскачиваться да еще уперся половой в скулу, изо всех сил давил. И тут, не выдержав двойной тяжести и слишком долгой игры, упала на колени старая лошадь. А потом повалилась на бок, стряхнула дерущихся и, перекатившись через спину, поднялась, помотала головой и, встав в сторонке, тяжело задышала.

Сильно стукнулся Чекир о землю, вытянулся, как бревно. Дардаке прочно уселся на нем. Чекир

попробовал было вырваться, но тут же получил удар в челюсть:

— Лежи смирно!

Дурным голосом завопил Чекир:

— У-у-убью тебя!

— Ах, так! — Дардаке схватил его руки, скрестил их и придавил к груди коленом. — Проси прощения!

Чекир попробовал укусить руку Дардаке, но тот схватил его за волосы и стал бить головой о землю…

— Сдаюсь! — крикнул Чекир.

— Больше не будешь срывать шапку? Поклянись, что не будешь. Скажи: пусть я тогда превращусь в пса.

— Пусть буду псом.

— Ладно же! — Дардаке перевел дух. — Смотри, что будет сейчас с твоей плеткой…

— Ой-ой, не бей! — завопил Чекир и зажмурился.

— Да не буду я, — рассмеялся Дардаке. — Открой глаза пошире. Видишь, что делаю? — Он разорвал ременную плетку и разломал короткую толстую рукоять. — Так тебя разорву, если попробуешь со мной драться!

— Ох-хо-хо! — с восхищением воскликнул Че-

кир. — Не знал я, что сын старика Сарбая такой стал здоровый… Ну, слезешь ты с меня наконец?

Дардаке, довольный, рассмеялся. Но подняться ему было нелегко. Больше всего болели ноги — вот как набегался за лошадью!

Разогнувшись, он оглядел себя. Рубашка, и без того драная, изорвалась в клочья. Штанина почему-то была залита кровью.

Чекир уселся на земле и долго так и эдак крутил головой, прислушиваясь к себе.

— Ой, плохо!

Дардаке сказал:

— Никому не говори, что мы с тобой дрались. Старшие узнают, из-за чего началось, — смеяться над нами будут. Давай так: кто первый расскажет о драке, тот заслуживает плевка.

Чекир все качал головой.

— А что ты скажешь дома, если спросят? — Он рассмеялся. — Видел бы ты себя! Будто бороной по тебе проехали. Неужели и я такой, а?

Проведя ладонью по лицу, Дардаке увидел на руке следы крови. Нащупал на шее рубцы, под глазом опухоль. Но хуже всего, конечно, то, что так ужасно изорвана рубашка…

Чекир медленно, держась за бок и кряхтя, поднялся на ноги. Облизывая запекшийся рот, он

осклабился и вдруг протянул Дардаке руку:

— Давай подружимся. Я первый начал задираться…

Дардаке сжал в горячих ладонях длиннопалую кисть Чекира и широко улыбнулся. Он искренне обрадовался тому, что старший предложил ему дружбу. Казалось бы, он, победитель, мог предлагать или отказывать. Но Дардаке уже забыл о своей победе. Он и о драке давно бы забыл, да больно много осталось от нее следов.

Вдруг Чекир скинул с себя бешмет. Дардаке показалось, что новоявленный его друг снова собирается драться. Нет, он стал рубашку с себя снимать. Снял и протянул ему:

— На, возьми!

Дардаке слова не мог выговорить.

— Бери, надевай, — настойчиво повторял Чекир. — Мне дай свою… Побратаемся.

Серая сатиновая рубашка Чекира была почти новой. Ни одной заплатки. У Дардаке сильно забилось сердце, он не знал, как быть.

Чекир, раскрыв ворот рубашки, накинул ее на голову Дардаке, как хомут.

— Ой, подожди! — весь дрожа от возбуждения, сказал Дардаке. Он поспешно снял с себя обе рубашки и стал натягивать ту, что дал ему Чекир.

Он уже и голову продел в ворот и руки просунул в рукава, рубашка не налезала.

— Что же ты, давай, давай! — торопил его Чекир и стал сильно тянуть за подол вниз.

Вдруг раздался треск, и новая рубашка Чекира лопнула сразу в трех местах. Лицо Дардаке, испуганное и удивленное, появилось в прорехе. Чекир в первую минуту тоже испугался. Но тут же стал хлопать себя по ляжкам и хохотать. Он так хохотал, что старая лошадь, скосившись на него; отбежала подальше. Даже на ногах не мог удержаться Чекир, упал и катался по земле от хохота, показывая на запутавшегося в рубашке Дардаке и повторяя:

— Ой, ой, не могу! Как мышь, летучая мышь… Ну побегай немножко, посмеши меня… Ой, ой, не могу! Все рваное… У тебя, у меня — одни клочья.

Дардаке сперва не смеялся, хотелось плакать — так жалко было новой рубашки Чекира. Но, когда Чекир на себя нацепил серые лохмотья, Дардаке тоже не мог удержаться от смеха. Только с молодыми так бывает — нападает хохот, и остановиться не могут. Овцы разбрелись по склонам гор, коровы, все как одна, повернули головы в сторону Дардаке и задумчиво уставились на своего повелителя.

— Смотри, смотри, бык сейчас ругаться начнет! — сказал Чекир и еще пуще расхохотался.

Остановился он так же неожиданно, как и начал. Видно, какая-то мысль поразила Чекира. Рассмотрев внимательно обрывки своей рубашки и переведя взгляд на полуголого друга, он всплеснул руками и воскликнул:

— Слушай, Дардаке, ты, оказывается, широкий, как бык. Ай-яй! На три года я тебя старше, на голову выше — не годится моя рубашка, мала тебе. Нет, ты не как бык, ты как трактор: пятнадцать лошадиных сил! Нашел же я с кем связываться…

Дардаке помог Чекиру собрать овец в стадо и проводил его до поворота. Вернувшись вечером домой, он сказал матери:

— Я лез на скалу и поскользнулся. Хорошо, что голову не пробил, мозги не вытекли.

Мать закричала на весь аил.

— Ах ты глупый, ах ты несчастный — что сделал с собой, на тебе живого места нет! Где я тебе возьму рубашку? Из этой только лапшу варить. Что я буду с тобой делать? Нет нисколько в твоей голове мозгов! Потому только не вытекли, что нет ни капли…

Дардаке сидел понурившись, глядя в землю, но душа у него ликовала: он нашел себе друга.

*

У Дардаке правый глаз опух, почти не открывался, ноги после долгой беготни плохо слушались, рубцы на плечах и на шее за ночь покрылись корочкой; чуть шевельнешься, кажется, что тебя стегают крапивой. А тут еще мать, чудом скрепив нитками обрывки рубашки, таких грубых наделала швов, что они цеплялись за каждую ранку на теле, за каждую царапинку.

Выгнав коров на пастбище, Дардаке, по-стариковски кряхтя и охая, опустился на камень и стал вглядываться вдаль. Сразу даже и сам не понял, чего ищет, кого ждет с нетерпением. Раздвигая веки правого глаза пальцами, глядел на пологий холм, где вчера появились овцы. Он даже петь пробовал, но не пелось ему сегодня. Сперва не признавался себе, что жаждет появления друга. Он собирался даже отвернуться, если увидит, что Чекир гонит сюда овец. Вроде бы он не особенно заинтересован. Прошел час, другой, и уже не мог сидеть на месте Дардаке. Хоть и болели ноги, он и на один холм поднялся, и с другого оглядел все окрестности. Вскарабкался на скалу и долго смотрел в ту сторону, где скрылся вчера Чекир со своим стадом.

Не мог же новый его друг забыть дорогу к этому пастбищу! Кровь ударила в голову Дардаке: «Наверно, лежит больной. Он ведь и с лошади падал, я еще ногой его стукнул. Ой-е! Правильно говорится, что гнев мой — враг мой. Надо ж было дойти до такой ярости! Эх, да провались этот проклятый колпак, из-за него я, наверно, искалечил парня!» Подумав так, Дардаке сорвал с головы серый войлочный лопух и что есть силы шлепнул им о камень.

— Да пропади ты пропадом, если из-за тебя погиб человек! Хоть ты и с моей головы, знать тебя не хочу, проклятый! Подумать только, паршивый комок овечьей шерсти, а сколько наделал бед! — Он кулаком погрозил своему жалкому, распластавшемуся на камне колпаку. — Проси прощения, иначе не подпущу тебя больше к своей умной голове, не буду поить своим потом, не возьму домой. Жарься тут на солнце и мокни под дождем!

Бедному Дардаке так хотелось хоть с кем-нибудь поговорить, так устал он от одиночества, что старую войлочную тряпку готов был принять за живое существо.

Вот и развеселился, вот и рассмеялся Дардаке. Даже глаз его стал лучше открываться и к под-

сыхающим рубцам на теле он стал привыкать. А когда привел на дневную дойку стадо и вдруг узнал, что из больницы вернулся дедушка Буйлаш, кинулся к нему со всех ног.

— Эге-гей-гей! — закричал он от радости и влетел в юрту аксакала.

*

Там собралось много народу. Видно, не только Дардаке соскучился по старику. У двери стояла Зейна и кланялась каждому входящему. Увидев товарища, она не смогла удержаться от смеха.

— Ой, Дардаке! — воскликнула она. — Уж не забивал ли ты головой колышки для юрты? А может, бодался с быком?

Дардаке не удостоил девчонку ответом и, пользуясь тем, что он мужчина, раздвинул руками толпившихся женщин и, войдя за полог, низко поклонился старику.

Увидев Дардаке, аксакал в знак благоволения коснулся своих щек пальцами обеих рук и, ласково глядя на мальчика, продолжал свой рассказ. Он сидел, скрестив ноги и опираясь на сложенные ватные одеяла. Лицо его было светло-розовым, из-под черной домашней тюбетейки выбивались давно не стриженные прозрачно-седые

волосики, узкая холеная борода опускалась на грудь. В добром прищуре припухлых век бегали и поблескивали точечки глаз. Видно было, как наслаждался старик тем, что вернулся наконец домой, что окружают его свои, слушают его.

— Больница в райцентре знаете какая — девять домов нашего кыштака поместятся в ней! Все кругом белое, как снег на вершинах гор. Стены белые. И подушки и одеяла — все белое. Доктора ходят в белых халатах и шапочках, сестры — в белых платочках. Почти век прошел с того дня, когда я родился, — никогда еще не жил в такой комнате, не лежал в такой постели… Э, нет, лучше с самого начала расскажу вам, дорогие мои. Только приехал, только перешагнул порог — доктор, молодой парень, попросил меня раздеться догола. Открыл передо мной двери: «Аксакал, прошу вас вот сюда, с дороги вам надо помыться!» Смотрю — передо мной большое каменное корыто, полное воды, называется «ванна». Надо было лезть туда, а я не захотел, и тогда вошли девушки-сестры. «Ой, говорю, доктор, зачем насмешки надо мной строишь? Разве можно девушкам смотреть на голого старика!» Скорей-скорей сам полез в воду. Потом мне штаны дали и рубашку и положили на мягкую пружинную кровать. Подушка пуховая,

ой-е, как хорошо! Справа, слева от меня лежат восемь человек. Всем подушек хватило, всем простынь хватило — сверху, снизу, каждому по две простыни!

Дардаке не терпелось поговорить с дедушкой Буйлашем насчет своих лесных запасов хвороста. Куда там! Старик увлечен был рассказом.

— Раньше, правда, не знал, что Советская власть больных, никуда не годных, старых, как я, в хлопковые кутает простыни, с ложечки, как маленьких, кормит. Хе-хе! Лекарство мне с разных сторон давали, слыхал кто-нибудь, а? Я, горел, ой, какой красный был! Совсем, думаю, умирать буду. Дышать не мог, хрипел, кашлял. Доктор иглу принес, первый раз сам колол. Я думал, все пропало — так мне было больно. В другой раз молодая женщина пришла с иголкой. «Уходи, говорю. К мужчине как можешь входить!» Хе-хе, она так кольнула, — комар, честное слово, больнее кусает… Ай, эти уколы!.. Грудь моя стала такой же легкой, как у птицы в небе. Избавился от этих вечных хрипов… Еще раз скажу — вот где Советскую власть увидел. Кормят, поят, одевают, ласкают. Когда пить захочешь — белоснежные девушки приносят яблочный сок, виноградный. Говорю молодому парню, доктору: «Уже две неде-

ли у вас гощу, пора мне домой, надоел вам». Он обижается: «Разве плохо у нас? Радио передает музыку, разные новости. А если хотите, дадут вам газету, книжку, журнал…»

Рассказывая о больнице, старый Буйлаш радовался и веселился, как ребенок. Приятно было смотреть на оживленное, приветливое лицо хозяина дома. Но понять не мог Дардаке, почему такой мудрый, столько проживший человек удивляется, что в больницах все бесплатно. И неужели не слышал он и не читал о пенициллине, спасающем от смерти?

А дедушка Буйлаш все говорил и говорил:

— Я узнал в больнице, что не всегда хворь нападает на человека, бывает, что сам человек виноват в своей тяжелой болезни. Так и со мной случилось. Я выходил и зимой и летом на заре и совершал омовение холодной водой. Это нож для легких. «Если в горячую банку из стекла, — сказал мне доктор, — налить холодную воду, банка лопнет». И я согласился с ним — сам видел, как это бывает. Оказывается, и человек плохо переносит быструю перемену жары и холода. В моей простуде, я сам был виноват…

Дардаке очень уважал старика. Всегда внимательно вслушивался в его слова. А сейчас вдруг

рассмеялся. Не мог удержаться — так и прыснул.

Старик строго на него посмотрел, и женщины неодобрительно зашумели. Так бывает в школе. Какой-нибудь озорник проведет пальцем по ребрам, когда учитель читает книжку, станет щекотно, и невольно рассмеешься. Но ведь сейчас никто не щекотал Дардаке.

— Не сердитесь на меня, аксакал, — поклонившись и густо, покраснев, сказал Дардаке. — Наверно, муравей прополз у меня под рубашкой.

Милостиво кивнув, хозяин дома отвернулся от мальчика и продолжал:

— Кашель бывает и от другой причины — в человеке поселяются невидимые зверьки. Доктор мне велел плевать в баночку, сказал, что не выпустит из больницы, пока не посмотрит, нет ли в моих плевках каких-то живых палочек. Я надел очки и долго смотрел на свой плевок при солнечном свете…

На этот раз не только Дардаке, но и Зейна рассмеялась. Оба выскочили из юрты. Взрослые проводили их сердитыми взглядами. Теперь Дардаке испугался, что старый Буйлаш не скоро ему простит.

— Он как маленький, — сказала Зейна.

— Да, — сказал Дардаке, — только все равно мы

не должны были смеяться.

— Ты первый начал. Фыркнул, и я тоже не удержалась. Знаешь, ты хорошо придумал насчет муравьев. Давай, чтобы нам поверили, насыплем в твой колпак муравьев и будем бросать через тундук. Щекотно станет многим, а Может быть, даже и самому дедушке. Так мы оправдаемся.

Но Дардаке не понравилась эта выдумка. Он был недоволен собой и стоял удрученный. Зейна ушла от него. Скоро и женщины стали расходиться — им надо было доить коров. А Дардаке все стоял, боясь зайти к старому Буйлашу.

В этот момент, облачившись в халат и надев на себя широкий тюбетей, Буйлаш вышел из юрты и, увидев Дардаке, улыбнулся ему как ни в чем не бывало.

— Ну-ка, подойди поближе, — позвал он Дардаке и стал щупать сухими пальцами опухоль под глазом. — Ой, сынок, не шути с таким делом! Возьми у меня лошадь и съезди к врачу. Говорят, ты со скалы свалился. Правда это?

— Я поскользнулся, а потом еще перевернулся, и большой камень догнал меня…

Старик подмигнул Дардаке:

— Можешь так и сказать доктору и сестрам-девушкам, хе-хе! В больнице я видел женщин,

которые приходили с рассеченной щекой и с кровавыми ссадинами от побоев, но ни разу не слышал, чтобы хоть одна из них пожаловалась на мужа. Говорили, что кололи дрова и щепка отлетела, что в темноте ушиблись. Или вот так, как ты: обвиняют камни. Все равно им верят и оказывают помощь.

Дардаке смотрел, выпучив глаза. Вот так так! Значит, Буйлаш сразу угадал, что была драка!

— Ой, дедушка! — вскрикнул он. — Женщины уже кончают дойку, надо выгонять стадо.

— Вижу, вижу, что к доктору ты не хочешь ехать. Ну, да и не надо. Раны твои наружные, скоро заживут. — И старик уже было отпустил своего гостя, как вдруг что-то вспомнил. Взяв на кухне ведерко с прогоркшим старым маслом, он сунул в него палец и густо смазал опухоли и царапины Дардаке! — Бысмылла! — воскликнул он, подражая знахарям. — Это не моя рука, а рука самого святого лекаря Лукмана лечит тебя. Приходи и мажься каждый день. У доктора точно такого же цвета мазь, она очень хорошо помогает…

Дардаке мог бы сказать, что запыленное, испорченное масло не способно лечить, а сходство с мазью ничего не значит. Но он промолчал и даже не улыбнулся, а принял наставления старшего

как должное.

И надо ж так — будто в награду за терпение и почтительность Буйлаш вынул из переметной сумки, что висела на стене юрты, обернутый в красивую разрисованную бумагу кусок душистого мыла:

— Это тебе в подарок! Ходи чистым. К чистому телу не пристают болячки…

В порыве благодарности парнишка чмокнул старика в щеку и пулей выскочил из юрты.

Выгнав коров на пастбище, он подошел к ручейку, снял с себя рубашку и, намылив руки, прежде всего хорошенько смыл следы масла. А потом разделся догола и весь вымылся мылом и мочалкой из сухой травы.

*

Не успел еще Дардаке обсохнуть на солнце, как вдруг увидел на противоположном холме стайку ребятишек из своего аила. С ними была Зейна. Узнав ее, он сразу же присел за кустом. Но она уже махала ему белой панамкой. Хорошо, что ручеек, у которого он купался, протекал в защищенном месте. Торопливо одевшись, Дардаке хотел было побежать к Зейне, но вовремя опомнился. Мало ли кто зовет его. Она-то, небось, просто гуляет

с малышами, а он на работе, пасет скот, занят серьезным делом.

— Дарда-аке! — кричала Зейна. — Прогони свое стадо!

— Чего?

— Прогони коров, малыши боятся перейти на ту сторону луга!

— Чего-чего?

— Прогони стадо!

Расстояние было невелико, он видел милое круглое лицо девочки, видел, что, говоря с ним, она даже и не смотрит на него, а подбрасывает и ловит небольшой мячик. Это его почему-то рассердило, и он грубовато-снисходительно пробасил:

— А что вам тут?

Зейна, продолжая играть мячиком, как ни в чем не бывало ответила:

— Мы собираем цветы в подарок дедушке Буйлашу.

Дардаке передернул плечами и отвернулся. Ему нравилась Зейна, он даже считал ее красивой и часто ловил себя на том, что подолгу на нее смотрит, любуясь смуглым личиком. У Зейны была стройная тонкая фигурка, и она не сутулилась, как другие, родившиеся в кыштаке.

Отличалась Зейна и одеждой. На ней, как влитая, сидела бархатная жилетка; платьица, всегда чистые и хорошо выглаженные, казались новыми. Женщины часто говорили, что Зейна носит слишком короткие платья, да и мама ее, хоть и давно покинула город, не подчинялась деревенским правилам приличия и ходила с голыми икрами. В этом Дардаке плохого не видел. Но легкость и свобода, с которой Зейна говорила с мальчиками, а ее мама с мужчинами, коробила его. Он не осуждал их городские привычки, но и не мог их не замечать. А иногда ему казалось, что Зейна нарочно держится как-то уж слишком горделиво, показывая всем своим видом, что он ей не чета.

Зейна снова крикнула:

— Ну прогони же стадо! Сколько ждать?

Он презрительно ответил:

— Подумаешь, выдумки! — Он сделал рукой круг: — Можете во-от так пройти.

В самом деле, ну разве не глупость она придумала — рвать цветы, собирать их в букеты! Кому это нужно? Неужели дедушка Буйлаш нуждается в этом? Тут Дардаке вспомнил, что в юрте, где живет тетя Сайраш, всегда в нескольких кринках стоят полевые цветы. А кроме того, у них есть два особых каких-то кувшина с пестрым рисунком

на гладкой поверхности. Их Сайраш привезла из города, и они будто бы нарочно сделаны, чтобы в них ставили весенние тюльпаны, маки, сирень. В кыштаке, где на улицах не растут цветы, может быть, и правда приятно держать их в комнате, чтобы, не выходя в поле, чувствовать хороший запах и любоваться красотой. А здесь, на джайлоо, куда ни глянешь, все усыпано цветами. Каждая травка цветет, каждый куст.

Обидевшись на Дардаке, Зейна резко повернулась и крикнула ребятишкам, которые были с ней:

— Уйдем отсюда! Цветы найдутся и в другом месте!

— Бездельница, лодырь! — крикнул ей вдогонку Дардаке.

Девочка внимательно и долго смотрела на него, как смотрят на диковинное животное.

— Гру-би-ян! — раздельно сказала она и, уже больше не оборачиваясь, скрылась со своей стайкой за холмом.

Дардаке насмешливо улыбался. Вот бы видел Чекир, как он выставил отсюда эту воображалу! Жалко, что не едет. Они бы вместе посмеялись над глупой горожанкой. Вспомнили бы, как она явилась в кыштак во время войны со своей чистюлей

мамочкой и показывала наряды. А потом вышла на улицу с веревкой, на концах которой были приделаны деревянные ручки, и стала ее крутить через голову, скакать и так и эдак, и одной ногой и двумя. Все девчонки собрались вокруг нее, а мальчишки стали бросаться комками земли. Вот уж верно, что городская бездельница, белоручка!

У всех тогда не хватало хлеба, мужчины ушли на войну и на трудфронт, женщины работали с утра до ночи, и детям тоже было не до игр и развлечений.

Дети работали и в огороде, и в поле. Дардаке девятилетним полол грядки и чистил от сорняков кукурузные посевы. А десятилетним садился на вола, тащившего борону. Одиннадцати лет он уже научился косить. А девчонки подгребали граблями сено и сносили его в стога и собирали колоски…

«Да, девчонки носили, девчонки собирали. Что же ты, Дардаке, так говоришь, будто не было среди маленьких голодных работниц Зейны? Вспомни-ка, вспомни. Зейна веселой всегда была и, если выдавалась свободная минута, сразу затевала игры и даже танцы. Она всех подружек увлекла своими прыгалками. Нигде веревки нельзя было оставить — сейчас же утащат девчонки. Матери

ругали их за это, а прежде всего ругали Зейну. Но она не унывала. Поплачет немножко от обиды и принимается за свое: поет и скачет. А работала за двоих, как и ее мама. И училась хорошо… Сама учительница, проработавшая весь день на току или в картофельном сарае, к вечеру ходила по домам и собирала замерзших и голодных ребятишек — вела в классы. Зейна всегда приходила к ней первой и потом вместе с ней кричала под окнами: «В школу, в школу!»

Зейнин отец был на фронте старшим сержантом-минометчиком. Тетя Сайраш одна из первых получила повестку о гибели мужа. Но, может быть, потому, что он был горожанином, слесарем железнодорожного депо, и здесь никто его не знал, о нем в кыштаке не горевали. Из всех жителей один старый Буйлаш знал Зейниного отца, своего городского зятя, ездил к нему в гости. Когда же стали приходить известия о гибели своих — тех, кто был призван из родного колхоза, — общее народное сочувствие к вдовам и сиротам коснулось и немного обогрело тетю Сайраш с дочкой ее Зейной. Но до конца так и не свыклись с горожанками жители кыштака.

Вот сейчас Дардаке опять обозвал Зейну бездельницей. Он пасет стадо коров, а Зейна гуляет,

цветочки рвет. Он работает, а его сверстница затевает с малышами игры… Дардаке нарочно заставлял себя так думать, чтобы приглушить угрызения совести. Ведь он знал, что Зейна взяла на себя заботу о малышах, чтобы освободить матерей. Выходит дело, и она вроде пастуха-чабана, только в стаде у нее не телята и не ягнята, а человеческие детеныши. Это тетя Сайраш придумала. Предложила устроить по городскому образцу детский сад с дочкой своей Зейной в роли воспитательницы. Женщины боялись за своих детей — уж больно далеко их Зейна уводила. Но ребятишки полюбили девчонку, и уже не только трехлетние и пятилетние, а те, что постарше, тоже стали ходить с ней. Восьмилетние и даже десятилетние. Дардаке, наверно, потому и рассердился, что увидел таких больших гуляющими без дела. Кто со свистулькой, а кто с куклой, с игрушечной коляской. Скакалки-прыгалки теперь знали все девочки поголовно, а были и такие, которые получили в подарок из города резиновые мячи. Да-да, настоящие прыгающие мячи!

У Дардаке никогда не было своего мяча. Самолет в небе он видел. Трактор на полях тоже видел и автомобиль видел, даже подходил к ним близко. Но паровоз он только на экране в клубе видел.

Так вот и с мячом. Он сперва в кино увидел игру в футбол и страшно увлекся, хотя и не мог понять, почему мяч прыгает. Потом наконец и к ним в кыш-так, в школу, прислали волейбольный мяч, и Дардаке понял, что это такое. Но своего мяча, домашнего, которым можно играть в комнате или во дворе, никогда у него не было. Он уже вырос большой, может побороть отца, поколотил шестнадцатилетнего Чекира, стыдно думать о мяче, стыдно просить отца и мать о таком подарке…

Маленький черный резиновый мяч, который высоко прыгает… Нет, никогда он его не попросит купить и никогда не возьмет в руки! Не было детства — теперь поздно его возвращать!

Зейна ушла, Чекир не появляется. Коровы и коровы, одни коровы перед ним. Дардаке стоял, окруженный плотными зарослями цветущего шиповника. Крупные розовые цветы сотнями были рассыпаны и справа и слева. Подул ветерок, и Дардаке вдруг ощутил сильный и очень приятный запах. Он наклонился над цветком и понюхал его. И ему показалось, что Зейна появилась рядом с ним. Он мгновенно повернулся вокруг, — нет, девочки нигде не было. И тут он понял, что шиповник пахнет Зейной. Во время дневной дойки, когда они, смеясь, выбежали из

юрты и она ему предлагала набрать в колпак муравьев, от нее пахло точно так. И ничего удивительного — в волосах у нее был цветок. И в юрте стояли в кринках эти самые цветы шиповника.

Не зная почему и для чего это делает, Дардаке стал ломать и срывать ветки с цветами. Он изодрал руки в кровь и занозил ладони, но все-таки набрал целую охапку цветущих веток. Но цветы никуда не годились. С такой силой он рвал, ломал и трепал их, что на каждом осталось только по одному или по два розовых лепестка.

На следующее утро, выгнав коров, Дардаке сразу же полез в гору, чтобы забрать маленький капкан. Дней пять назад он поставил его на крутом склоне высокой горы, зарыл в щебень в холодном и сухом месте, неподалеку от ледника. Кого он надеялся здесь поймать? Конечно, козлы и архары подымаются и выше, преодолевая в поисках лакомых растений высоченные хребты, но это случается редко.

Он долго карабкался по скалам. Сильный, порывистый ветер нес ему навстречу мокрые снежинки. Где-то за перевалом выпал снег, и, хотя над головой синело небо, сильный ветер успевал донести сюда белые хлопья. Может быть, он срывал их с ледника — лицо то и дело больно

секли мелкие острые льдинки.

Не очень-то Дардаке надеялся на удачу. Ну, а вдруг попался гриф? Вот будет потеха! Пропал капкан — такую сильную и злобную птицу ему одному не одолеть. Можно, правда, попробовать убить ее камнем, грифа не жалко.

Вот и скала, заросшая лишайником, — отсюда до капкана пятнадцать шагов. Ну и высоко он забрался! Даже лес остался внизу. А далеко в глубине зеленый луг. Коровы на нем кажутся не крупнее саранчи. Дардаке дрожал от холода. Казалось, надо бы поскорее посмотреть, что делается в капкане, а он этот момент нарочно оттягивал. Но вот наконец он выглянул из-за скалы. Э, в капкане что-то есть! Какой-то неведомый зверь. Не козленок, не ягненок архара, не птица. Удивительное, незнакомое существо с пушистым коричневым мехом и длинным хвостом. Головы не видно. Может, белка? Нет, слишком велика. А вдруг маленький барс или дикий кот? С этими когтистыми зверями надо быть очень осторожным.

Дардаке стал кидать в зверька камушками, потом подошел, тронул палкой… Да он уж давно издох. Не похоже, что попал в капкан случайно. Значит, хищник. Его привлек запах убитой

мыши.

Молодой охотник выдернул из земли колышек и, не раскрывая капкана, долго разглядывал зверька. Шерсть, кое-где окровавленная, была запылена, а все же поблескивала. Мордочку помяли железные челюсти капкана — нельзя было понять, на кого похож.

Дардаке был бы рад и козленку и ягненку. Но вот досада — к приезду отца попалась в капкан какая-то дрянь. Он хотел выбросить добычу, но вспомнил, что настоящий охотник так не делает. Отец, например, бывает рад и сурку и даже суслику, а есть люди, которые ставят ловушки для кротов, хотя все знают, как мелка, дешева и не прочна кротовая шкурка.

...Придя домой, Дардаке показал свою добычу матери. Салима брезгливо поморщилась:

— Ой, что ты притащил! Брось!.. — Посмотрев внимательней, она сказала: — Немного похожа на белку. Может быть, крыса?

— Мама, этот зверь в пять раз больше крысы или белки. Знаешь, какой тяжелый! Я еле донес.

— Волк в двадцать раз больше, а что толку? Даже шапку нельзя сшить из его меха.

Почистив капкан песком и повесив на место, незадачливый охотник стал копать ямку, чтобы

похоронить поглубже, спрятать от людских глаз и носов уже начинающего повонивать зверька. Как вдруг услышал сзади себя голосок Зейны:

— Ой, где ты взял, Дардаке?!

— Положи сейчас же! — крикнул он.

Зейна вроде бы и не слышала его крика… Подняв с земли мертвого зверька, она и так поворачивала его, и эдак, счистила пыль, взъерошила мех.

— Ах, жаль, что мордочкой попалась. Ну и везучий же ты! Где поймал? На высокогорье, да? — Зейнины глазки сверкали. Она так говорила, будто и не помнила о вчерашней ссоре. — Ну, что же ты окаменел? Вижу, вижу: даже не знаешь, какой это зверь. Идем скорей, я тебе покажу.

— Я-то знаю, — решил схитрить Дардаке, — а вот скажи ты…

— Идем, идем! — тянула она его за рукав. — У нас есть книжка, и в ней рисунки всех зверей и птиц Киргизии. Это горная куница… А вот и дедушка идет, пусть он тебе скажет…

Старый Буйлаш осторожно взял мертвого зверька, нацепил на нос очки и, качая головой, долго его разглядывал.

Дардаке с нетерпением ждал приговора. Как бы он хотел, чтобы Зейна ошиблась! Кому приятно,

чтобы девчонка опередила тебя В знании горных животных. Ну, а если даже и куница — не все ли равно, как называется та или иная крыса. Зачем она нужна, такая противная!

Услышав разговор, прибежала Салима. Женским чутьем она угадала, что происходит что-то важное. Старый Буйлаш сказал, обращаясь к ней:

— Твоему сыну, Салима-келин, сопутствует в охоте редкая удача. Куний мех очень высоко ценится, в прежние времена только самые богатые баи шили из него оторочку на тюбетее, а байские жены делали себе из меха этого зверя воротники. Посмотри — шерсть переливается, как жемчуг, ворс не ломается, не мохнатится…

Слушая старика, Дардаке с удивлением видел, что в его руках мех зверька и в самом деле стал как бы искриться на солнце, переливаться и сверкать. Буйлаш слегка его изогнул и приложил к голове своей внучки; Девочка вспыхнула от мягкого прикосновений, подняла на деда глаза и сразу так похорошела, что у Дардаке занялся дух, он даже рот раскрыл.

— Ой, Зейна, да ведь ты красавица! — всплеснув руками, воскликнула Салима.

Старый Буйлаш на двух ладонях протянул

зверька Салиме:

— Это драгоценная вещь, — сказал он. — Пусть в твой дом войдет богатство и счастье. Аминь!

— Да исполнится ваше желание, уважаемый аксакал, — так же торжественно сказала Салима-апа. — Семь хлебцев пожертвую в честь святого Баабедина… О господи, если вы понимаете все так хорошо, может быть, взялись бы снять шкурку?

— Ну что ж, — согласился старый Буйлаш, — если ты мне доверяешь, я это сделаю для тебя и твоего сына. И шкурку сниму, и выделаю. А вы пока готовьте золу рябины и арчи… Шкурку надо снять осторожно, чтобы не прорезать ножом… Куница эта живет среди камней и попадается только самым метким стрелкам, охотникам из охотников. Ну, смотри, Дардаке, дела твои пошли на лад…

Сам виновник торжества и длинных речей то краснел, то бледнел. Он и рад был, и счастлив, но стоило ему взглянуть на Зейну, стыд и досада охватывали его. А девушка смотрела на него в упор, слегка улыбаясь и будто ожидая от него чего-то важного.

И она дождалась.

Дардаке и сам бы не мог сказать, почему это сделал. Он кивнул, головой в сторону Зейны и во

всеуслышание произнес:

— Это она первая определила, что я поймал не крысу, а ценного зверька куницу. Видите, яма — я хотел закопать. Ракмат тебе, Зейна! — И он неуклюже поклонился.

Зейна широко улыбнулась, поклонилась ему в ответ и при этом зарделась от удовольствия.

Салима-апа сердито покосилась на сына, а старый Буйлаш посмотрел на него с нескрываемым удивлением. Дардаке знал, что мужчина не должен признавать в присутствии людей превосходство или даже правоту женщины. Да, он знал, что его никто не похвалит за то, что он поклонился девчонке и поблагодарил ее, но сделать с собой ничего не мог.

Сейчас он повернулся и пошел сам не зная куда. Он долго ходил один и думал, думал.

Утром, отправляясь, как всегда, со стадом на пастбище, Дардаке попросил Зейну дать ему с собой книжку:

— Я раньше не догадывался. Там ведь у меня много времени. Буду сидеть и читать.

*

Ни на этот, ни на другой день отец не приехал. Дардаке и раньше приходилось подолгу не

видеться с ним, но впервые он ждал его с таким нетерпением. Перед отъездом отец долго с ним разговаривал, вспоминал предков. Но о себе и о своей жизни ни разу как следует не рассказал. Как это раньше не приходило в голову расспросить отца о большом городе, о заводе? Зейна родилась во Фрунзе и считала себя горожанкой. Ее отец работал в железнодорожных мастерских. Но ведь и его отец жил в породе и работал на заводе, выпускавшем танки. Челябинск вчетверо больше Фрунзе, а танковый завод, где служил отец, до войны выпускал тракторы. Кто не знает, что тракторы и танки во многом похожи, они родственники. Дардаке был уверен, что рано или поздно станет трактористом. Кончит семилетку и поступит на курсы при машинно-тракторной станции. Разгуливая по горам с коровами, он теперь часто думал о своем будущем. Хоть он и добился успеха в охотничьем промысле — поймал капканом козла и куницу, — его почему-то не влекла охота. Правда, он никогда еще не стрелял из ружья, и, конечно же, ему очень хотелось испытать свою способность выслеживать животных и птиц. Случалось, он прикладывал к плечу палку и даже зажимал один глаз, чтобы лучше прицелиться, но ему было стыдно перед

самим собой: разве мужчина позволит себе так играть! Эх, было бы настоящее ружье… «Вот стану трактористом, заработаю деньги и после первой получки пойду в райцентр и куплю ружье». Однако, подумав, он решил, что первую получку истратит на одежду — купит отцу вельветовый костюм и шляпу, как у финагента. И матери купит бархатное пальто. «Если я научусь управлять трактором, — думал в другой раз Дардаке, — мне будет нетрудно, когда меня возьмут в армию, пересесть на танк, а может быть, даже на самолет». И опять он вспоминал, что отец работал на танковом заводе и может рассказать такое, что не знает у них в кыштаке ни один парень.

Но не только это вызывало в Дардаке нетерпеливое желание встречи с отцом. За лето в нем созрели какие-то до сих пор неведомые силы и стремления. Что-то в нем бурлило и рвалось наружу. Коровье стадо ему надоело, одиночество и однообразие угнетали. И все же он готов был бы продолжать изо дня в день пасти скот, если бы… Ну как бы это лучше сказать? Вот если бы приехал председатель, бригадир или хотя бы бухгалтер и стал с него спрашивать, пусть даже ругать, тогда бы он почувствовал себя на работе, его труд был бы учтен наравне с трудом взрослых.

Учтен и признан… Для чего ему такое признание, почему его беспокоят подобные чувства, Дардаке себе объяснить не мог.

Однажды, пригнав коров с дойки, Дардаке увидел, как на далеком зеленом склоне замелькали пушистые светлые пятна, будто разбросанные там и сям раскрывшиеся коробочки хлопка. Всадник на низкорослой лошаденке с гиканьем помчался навстречу. Дардаке поскорее снял с головы свой колпак, сунул в него книгу, что дала ему Зейна, и крепко зажал под мышкой.

— Привет, Дардаш! — крикнул всадник. — Глаз и висок у тебя зажили? Мать очень ругала за то, что порвал рубашку? Ты, я слышал, куницу поймал. Правда это? А твой отец почему не едет?

Дардаке ничуть не удивился этому потоку вопросов. Он с радостью смотрел на Чекира: наконец-то появился! Живой, здоровый, веселый.

— А у тебя нигде не болит? Ой, я боялся — думал, умрешь в дороге.

Чекир схватился за гриву лошади, Дардаке взял ее за повод и, подхватив всадника под руку, помог ему спешиться. Этим он показал, что не только не сердится, но рад приезду гостя. Так встречает старик старика, сосед соседа. Во всем, что бы ни делал Дардаке, чувствовалось желание казаться

взрослым.

И Чекир подхватил игру: прижав ладонь к груди, поклонился и торжественно помолчал. За руку ребята не поздоровались. И хоть они разыгрывали из себя мужчин, по их смущенным улыбкам можно было догадаться, что оба они жалеют о той некрасивой драке, которая произошла несколько дней назад.

Продолжая быть степенным и по-стариковски медлительным, Чекир отвязал притороченный к седлу узелок-салфетку и расстелил на цветущей траве:

— Прошу тебя сесть со мной. Я хотел встречи и попросил дома сварить мясо ягненка, изжарить боорсоки, а также приготовить свежий сыр эжигей. Доставь мне удовольствие — бери все, что захочешь, и насыщайся.

Чекир вытащил из ножен острый нож и протянул его рукояткой бывшему врагу. И это означало, что в отношениях между батырами нет больше недовольства друг другом.

Дардаке, который на все время от обеда до ужина не получал от матери больше одной лепешки, был смущен и удивлен. При виде таких яств он не мог продолжать игру. Стоял и растерянно улыбался. Улыбку его можно было понять так:

«Ты, Чекир, видать, и богаче и щедрее меня. Не только я, но и все население нашего небольшого молочного аила не могло бы расстелить такой богатый дасторкон. Никому у нас, даже больному дедушке Буйлашу, давно не предлагают мяса ягненка. Видно, правду говорят, что люди вашего овцеводческого аила живут лучше нас. Не знаю даже, как мне быть. Если я приму твое угощение, мне положено отдарить тебя так же щедро и расстелить перед тобой завтра не менее обильный дасторкон. Сделать этого я еще долго не смогу!..»

Эту длинную речь он не произнес. Чекир понял, какие чувства обуревают Дардаке, и усадил его насильно. Они плотно закусили и потом напились кумысу из нового бурдюка. Слава богу, в последнее время дедушка Буйлаш опять стал ездить на коневодческую ферму и привозить кумыс. Он всегда делился с Дардаке, а теперь вот и Дардаке смог поделиться с Чекиром.

Парни после этой встречи опять подружились. Видно, правду говорит дедова присказка: «Джигиты, не сразившись, не подружатся». Теперь что ни день Дардаке и Чекир с нетерпением ждали друг друга и весь день пасли вместе коров и овец. То и дело, сняв рубашки, штаны, оставшись в подпоясанных ремнями трусах, парни, пыхтя

и перекатываясь, обливаясь потом, подолгу боролись без злости и ожесточения. Мать-земля подстилала им колышущуюся зеленую мураву, а речка обмывала, ветер сушил их. Чекир в ребячьей борьбе считался среди сверстников непобедимым, но с Дардаке, хотя тот был много моложе, ему почти никогда не удавалось справиться. В нем разгоралось самолюбие, он готов был бороться и час и два — борьба его увлекала до того, что он забывал все на свете.

Как истинные батыры, — они каждый раз стремились к полной победе — «противник» должен был просить пощады. Для этого все известные приемы были хороши: и подножка, и толчок в грудь, и перебрасывание через плечо, и сгибание через колено. Оба чувствовали себя великанами Ала-Тоо из сказки. Они вышли из пещер и преодолели высоченные перевалы, чтобы помериться силами. Коровы и овцы заменяли им толпу зрителей, блеяние и мычание — одобрительные возгласы и призывы к победе.

— Ну, Черный великан, держи! — совал свою руку Дардаке.

— Ты погиб, Желтый великан! — отвечал ему Чекир. Растопырив руки, он брался за пояс одной рукой, а другой хлопал Дардаке по плечу и силь-

но его тряс.

Так начиналась жаркая схватка, и только полная победа одного над другим могла ее остановить.

Правду сказать, коровы и овцы не очень одобрительно относились к тому, что их смешали. Коровы то и дело отбрасывали рогами овец, а овцы собирались скопом, преграждая дорогу своим противницам. Так пришлось им бороться за пастбище, и в борьбе они вытаптывали лучшую траву, вместо того чтобы пастись. У коров поубавилось молока, овцы начали худеть, но молодые пастухи не хотели этого видеть. Дружба и каждодневные встречи были им дороже. Постепенно коровы с овцами стали привыкать друг к другу — столкновения между ними были реже. Поняв, что коровы сильнее, овцы благоразумно перед ними отступали. Прекратил сопротивление и бесполезную борьбу Чекир. Теперь они чаще сидели и спокойно беседовали.

Но скоро беседы их превратились в споры. Чекир, уже год назад кончивший семилетку, мечтал только об одном — поскорее стать взрослым и получить стадо овец. Учиться он не хотел, книжки не любил. Ему нравились скачки на лошадях, борьба, веселые сборища парней.

— Кем же ты хочешь стать? — спрашивал Дардаке.

— Мой отец чабан, и я тоже буду чабаном, — отвечал Чекир, — получу стадо и буду пасти, как пасли скот мой дед и прадед.

— А что ты знаешь об овцах, об их питании, о шерсти, о мясе? Умеешь ли ты отличать одну породу от другой и отбирать лучших?

— Будто бы ты много знаешь о коровах! — с обидой возражал Чекир.

— Но я не хочу быть пастухом. Я буду трактористом, поступлю для этого на курсы. Но мне и этого мало — я хочу знать все, что происходит на белом свете.

— Ты просто воображала, — отвечал ему Чекир. — Наслушался учителей и повторяешь их слова.

Как-то раз Дардаке вынул спрятанную под камнем книжку Аалы Токомбаева «Время летит» и предложил Чекиру послушать. Тот неохотно согласился, и Дардаке стал читать громко, с выражением. Скоро он заметил, что Чекир дремлет. Он растолкал его и снова принялся читать.

— Лучше расскажи мне коротко, что там написано. Читать слишком долго, — зевая, сказал Чекир.

— Ну как тебе не стыдно! — воскликнул Дардаке. — Это очень хорошая книжка о том, как мальчик стал художником.

— Я не собираюсь становиться художником, — смеясь, прервал его Чекир, вскочил на коня и погнал своих овец в другое ущелье.

Дардаке очень огорчился. Он думал, что спугнул своего друга и тот больше не приедет к нему. Но утром следующего дня Чекир прискакал как ни в чем не бывало. Когда они уселись, он попросил:

— Читай!

— Но я сегодня не взял книгу, — с искренним сожалением сказал Дардаке.

— Ах, не взял! — Чекир расхохотался. — Тебе просто везет. Я ведь хотел, когда ты начнешь читать, вырвать из твоих рук книгу и поиграть, как тогда с шапкой... — Увидев, как помрачнел Дардаке, Чекир хлопнул его по спине и сказал: — Ладно, ученый друг, не будь таким серьезным. Неужели не понимаешь шуток? Я люблю, когда ты рассказываешь. Расскажи мне что-нибудь интересное.

Польщенный, Дардаке стал думать, чем бы увлечь друга. Он ласково потрепал Чекира по колену и, показав палкой на крутой лесистый склон горы, сказал:

— Хочешь, поделюсь с тобой тайной? Никому не скажешь?

— Пусть я буду псом!

— Видишь тот лес? Я в нем долго пропадал…

— Да что ты? Зачем? Один на один в этой тьме? — Он сделал вид, что изумился и даже испугался. — Там, наверно, очень страшно.

Наивный Дардаке не заметил, что его друг слепка подтрунивает над ним.

— Я там провозился много дней, — сказал он с гордостью. — Может быть, и живут в лесу барсы и медведи, но, если ты занят делом, забываешь об опасности. Ах, как хорошо в прохладном ельнике! Запах такой, что дышишь — не надышишься. И кругом всякая живность. Что-то шуршит, что-то пищит, что-то скачет и перебегает с места на место. Я даже думал, что животные совещаются на своем языке: «Кто к нам пришел, друг или враг?» Иногда я замирал и слушал. И меня так увлекали все эти шумы, скрипы, шорохи и звериные переклички, что я на время забывал работать.

Тут Чекир по-настоящему удивился:

— Увлекали шумы? Ты, наверно, смеешься надо мной! Что может увлекать в лесу? А что за работу ты там для себя придумал? Ловил зверей? Что поймал, говори скорее!

Он уже знал, что мальчишка добыл капканом горного козленка и куницу, а сейчас ждал, что тот расскажет о каких-нибудь новых успехах. Втайне он завидовал везению Дардаке и надеялся, что тот выболтает ему семейные секреты. Чекир не верил, что Дардаке просто повезло. Он думал, что отец сообщил ему особые охотничьи приметы.

— Поймал, говоришь? — засмеялся Дардаке. — Ловля капканом — разве это работа! Я заготовил дрова, много дров, на каждую семью нашего аила по большущей куче. Я так много заготовил сучьев, корней и валежника, что сам оттуда не могу вывезти. Сегодня-завтра приедет мой отец, и тогда мы пригоним сюда рабочих быков и будем два или три дня грузить и вывозить…

— Ну да! — Чекир поблескивая своими заячьими глазками, вскочил на ноги. Что-то его увлекло, он, казалось, готов был сию же минуту бежать в лес. — Как тебе это пришло в голову? Э, да ты, наверно, все врешь!

Дардаке, ударив его ребром ладони под колено, заставил снова сесть.

— Слушай, слушай. Это чистая правда. Ты бы видел — я на каждой куче оставил бумажку с фамилией той семьи, для которой делал заготовку.

— Как это так? Неужели ты для кого-то ста-

рался?

— Когда я очень уставал и мне уже не хотелось работать, я подгонял себя тем, что говорил: «Эта куча — для вдовы Мамбета, хромой Шаир, а эта — для Кулипы, у которой шестеро ребятишек, она никогда не сможет сама набрать себе дров…»

Чекир расхохотался:

— А для меня, своего лучшего друга, ты не заготовил ни одной кучи?

— Для тебя? — Дардаке смутился. — Но мы с тобой в то время еще не были друзьями. И… и ты ведь сильный, молодой, здоровый, ты сам можешь заготовить…

— Эх, ты! — воскликнул Чекир. — Совсем шуток не понимаешь. Уж не думаешь ли, что и правда жду твоей помощи? Ты удивляешь меня все больше. То поучаешь, то вслух читаешь книжки, а теперь подаешь мне пример хорошего отношения к людям. Если б я умел писать в газету, обязательно расхвалил бы тебя в статье.

Дардаке опять не мог решить, шутит Чекир, трунит над ним или действительно его хвалит.

Он не скоро это узнал. На следующий день приехал его отец Сарбай, и Дардаке долго не ходил в горы, не пас коров и не встречался со своим другом Чекиром.

Часть вторая
Глава V

С середины ноября хмурое небо, нависшее над Джумгалом, сеяло и сеяло почти беспрестанно и днем и ночью белые хлопья снега. И кыштак и окружающие горы — все стало белым-бело. Даже тропки, протоптанные людьми между домов, в правление колхоза, к кооперативной лавке и к школе, были ничуть не темнее сугробов, что лежали по сторонам. Только потому и видны были тропки, что слегка поблескивали в свете дня. Шоссейная дорога, прорезывающая кыштак, и та лежала белая, как бинт. Низенькие, беленные известью домики, заваленные снегом, напоминали гряду снежных холмов. Труб давно не было видно, дымы очагов подымались из черных воронок в снегу, окошки подслеповато щурились из-под снежных козырьков. Чернели одни лишь тополя; высокие и разлапистые, они тянули во все стороны свои заиндевевшие, застекленные льдом ветви, показывая дальнему путнику, что здесь, под снегом, притаилось поселение людей.

Но как, же все повеселело с января, когда очи-

стилось небо, засветило солнце и установились крепкие морозы! Празднично засверкали стекла домов, заалели щеки ребят, да и взрослым людям мороз нарумянил лица, побелил брови и ресницы, заставил всех быстро ходить, бодро. И заиграло, зазвенело все вокруг. Сухой, прозрачный воздух разносил звон молотков кузницы, ржание лошадей, скрип шагов каждого живого существа. А как расшумелись воробьи! В пасмурные дни где-то прятались, появлялись только в одиночку, а с солнцем собрались в стайки, будто озорные мальчишки, и подняли трезвон, крик. Бурная речка Джумгал успокоилась, застыла. Школьники размели на ней снег и вот носятся по сверкающей глади. Кто на коньках, а кто и так — разгонится и катит, подбивая под ноги счастливчиков конькобежцев. Да, еще не у всех есть коньки, только вот теперь, на третий год после войны, стали их продавать в сельпо. И не каждый может купить. Сколько прорех! На что ни поглядишь — все нужно, всего нехватка…

У подножия холма, в верхнем конце кыштака Каирма, растет особое какое-то дерево. Черноствольное и пушистое, с длинными гибкими ветвями. На удивление проезжим, не знакомым с этими местами людям, оно и зимой покрыто

цветами. Не лежит на нем снег, и земля вокруг него черна, а кое-где пробивается в круге дерева свежая, ярко-зеленая травка. И чем морознее день, тем заметнее окутывает все это место прозрачный легкий пар.

Что за чудо такое? Раньше и правда считали это место не только чудесным, но и священным. Издалека приходили паломники, муллы жгли тут свечи и читали проповеди. То и дело раздавался предсмертный хрип зарезанного жертвенного барашка. А потом падали на колени и, скрючившись в молитве, просили о чем-то бога паломники. Между тем священное дерево — всего лишь плакучая ива, только очень разросшаяся. Видно, полезна ей вода вечного источника Кара-Су, что бьет из-под ее корней и летом и зимой. Да, вырывается прямо из-под дерева, но не подмывает его и не гноит, а питает и поддерживает. Как глубокая кипящая чаша этот источник. И вода его, закрытая тенью дерева, кажется аспидно-черной. Но стоит в ладони или пиале поднять ее к свету — сразу становится искристой и прозрачной. И по вкусу она лучше всякой другой воды — летом холодна до того, что сводит зубы, а зимой приятно теплая.

Истинная правда, что в прежние времена соби-

рались сюда больные язвами и трясучкой, заики и немые. Однако считалось, что больше всего помогает источник Кара-Су нерожавшим женщинам. В последние годы поубавилось паломников. То ли потому так случилось, что районные власти распорядились снести глиняный мазар, стоявший возле ивы (в нем-то и собирали щедрую дань с доверчивых людей муллы и шейхи), то ли потому, что народ стал не так легковерен. Не съезжаются теперь сюда больные язвами и калеки, не устраивает никто пышных молебствий. И все-таки цветет ива над Кара-Су в любое время года. Издали видны разбросанные по всем ветвям красные и синие, белые и желтые цветы. Так что же это такое, в самом деле? Подойдите поближе, присмотритесь. Не цветы вовсе на дереве, а разноцветные тряпочки-лоскутки, которые отрывают от своего платья и подвязывают на ветки проезжие женщины. С этим обычаем, с приметой, что поможет их здоровью такая маленькая жертва, никто ничего поделать не может. Ну, да и ладно, пусть висят цветы-лоскутки, никому они не мешают.

А на том месте, где стоял «святой» мазар, прошедшим летом построил колхоз большой сухой и светлый коровник. Тут-то и проработал чуть ли

не три месяца Сарбай, оставив вместо себя в высокогорном джайлоо сына своего Дардаке. Об этом мы уже знаем из предыдущих глав. Но вот чего мы не знали и долгое время не говорил Сарбай о такой приятной новости ни жене своей, ни сыну. Какую же другую счастливую новость скрывал от родных Сарбай? А вот какую. По соседству с коровником правление колхоза решило возвести двухкомнатный дом с дощатыми полами и с кухней. Теплый дом, красивый, добротный, под железной крышей. И решено было поселить в нем скотника с семьей.

Отлично придумано, но никому даже в голову не приходило — ни председателю артели усатому Закиру, ни главбуху, ни заведующему фермой, — что может в этом новом доме поселиться кто-либо другой, кроме Сарбая. Он уже многие годы пас колхозное стадо и считался хорошим работником. Вернувшись с трудового фронта, Сарбай мог бы попросить для себя должность овечьего чабана. Известно, что чабаны лучше живут, чем пастухи-скотники. По артельному уставу тот, кто пасет овец, если добивается хорошего приплода, в свое личное пользование получает до пятнадцати — двадцати голов. А это значит, что есть у чабана и шуба, и шапка, и мясо, и сыр, и

брынза. Есть у него и деньги. Хоть и не большие, но не бедняком ходит умелый чабан. Как-никак основа основ тянь-шаньского колхоза было и будет овцеводство… Так вот, мог бы ведь, приехав с трудфронта, и Сарбай попроситься в чабаны. Но случилось не так. Стоило ему оказаться после долгих военных лет дома, тут же и вызвал его в правление усатый Закир:

— Плохо дело, Сарбай-аке! Без тебя мучились коровы. Сильно попортили ребятишки-пастухи коровье стадо. Сам знаешь — по мне, и вовсе не было бы общественных коров в колхозе. Пусть бы кому надо держал своих по домам. Овцы в горах колхозу прибыль, а все остальное так… Да что говорить, районное начальство велит колхозу и коровье стадо развивать, и табуны конские, свиней даже нам навязывают, — мол, нечего ссылаться на мусульманские обветшалые законы. А начальству, сам знаешь, виднее. Так что берись, Сарбай-аке, сегодня же берись, Сарбай-аке, за стародавнее свое дело, принимай коровье стадо. Работай, а мы тебя не обидим!

Разве мог отказаться смиренный Сарбай? Он в тот же день и принял стадо. И с той поры, вот уже третий год, и летом пасет и зимой приглядывает… Так почему же не поделился он с женой и сыном

радостью? Почему сразу не сказал, что строится не только коровник, но и дом для скотника? Не верил в свое счастье Сарбай, боялся отпугнуть. Так привык за свою жизнь к невезению, к невниманию, к бедности, что и тут подумал: «А ну как позовут на эту должность другого — помоложе и посильнее. Зачем зря будить у сына и жены надежду на переезд в новый дом?»

Но пришла осень, спустились с джайлоо все, кто жил а аиле на молочнотоварной ферме. Пришел день, и сказал председатель Сарбаю:

— Бери лошадь, повозку, перебирайся в новый дом. Поздравляю и скот твой, и тебя, и семью твою с новосельем.

Конечно, хоть и молчал Сарбай, жена его Салима давно от людей знала, что колхоз строит для скотника дом. И Дардаке об этом слышал. Но и мать и сын сделали вид, что только сейчас от отца им стала известна радостная новость. Да, уж радость так радость. Светлый дом, чистые, гладкие стены, теплый деревянный пол, большая русская печь. Есть на что посмотреть и людям показать!

И вот они собрали свой скарб, что весь поместился на одном возке, и перебрались…

Но только вселились в новый дом — заплакала

Салима.

Вот что значит женщина — всегда найдется причина для слез. Наверно, слезы радости у нее?

Она причитала:

— Ай, Сарбай, смотри, на чем живем, что есть у нас! Здесь, на свету, в двухкомнатном просторе, на чистом крашеном полу, вся нищета наша, вся тряпичная бедность, вся рвань и ветхость стали видны! Ай, Сарба-ай, муж мой драгоценный, что делать будем? И одеяла, и подушки посеклись, еле жив лежит коврик-ширдак. Спасибо хоть сами немного приоделись. Только от этого еще хуже, еще печальней нам в новом доме. Ни посуды у нас нет, ни полочки, ни кастрюли, ни сковородочки… Ой-е! Плохо нам, плохо…

Долго причитала Салима-апа, смущая души Сарбая и Дардаке. Хоть грузись на повозку и обратно поезжай в старую развалюху.

Но когда выбрали угол для постели, пристроили полку с книжками-учебниками Дардаке и поставили его самодельный столик, на который сразу легли тетрадки и карандаши, встала чернильница, — вроде бы даже и уют появился. К хорошему быстро привыкаешь. И на кухне Салима понемногу устраивалась. Той осенью после обильного урожая колхоз выдал на трудодни и

картошки и зерна. Даже денег рубля по два дали на каждый трудодень. Первый рад за войну и послевоенные годы получили кое-что из колхозной кассы простые работяги — не члены правления, не бригадиры, не трактористы, а рядовые дехкане. Получил, и Дардаке первый свой в жизни колхозный заработок. Купил, себе настоящие крепкие солдатские ботинки.

Вроде бы налаживалась жизнь, в новом доме, в теплом, просторном. Стал даже и учиться прилежней Дардаке. А если выпадало свободное время, бежал в соседний кыштак, за девять километров. Там располагалась машинно-тракторная станция. Дардаке часами мог смотреть, как ремонтируют машины. Да и не только смотрел — иногда помогал слесарям и кузнецам. Но только пришлось ему вскоре забыть об этих походах. Что ни день, прибавлялось работы дома…

*

Большой коровник, добротный и теплый, разве плохо это животным и тем, кто за ними присматривает? У дойных коров отдельное большое помещение, каждая в своем стойле. И телятник — вроде как детский сад. Деревянный пол, застекленные окна, кухонная печь одной своей

стороной обогревает помещение. Так обогревает, что и в морозы можно тут работать без шубы. Быки-производители и рабочие волы — те особо отгорожены. Им хватает своего тепла, на них топливо тратить не надо…

В первое время радовался Сарбай, гордился тем, что работает в новом, свободном и чистом помещении. Но прошло два зимних месяца, и что-то все хуже и хуже становилось Сарбаю. Большое помещение больших требует трудов. Деревянные полы, чистота, свет — ох, и коварная, оказывается, штука! В тесноте и темноте грязи не видно, а земляной пол и коровий навоз — они как-то дружно живут, их не сразу и отличишь. Во всяком случае, нет надобности целый день чистить и убирать. А то, что в новом скотном дворе три разных помещения и за всеми надо следить, а то, что в одном теплее, а в другом холоднее, а на улице и вовсе мороз, думаете, это не сказывается на здоровье скотника? Ломит, ломит спину у старого Сарбая. Криком кричал бы, да перед людьми совестно. Надо в дойный час и к дояркам выгнать коров и принять обратно. Хоть недалек водопой, но ведь и напоить надо животных. Корм задать тоже не малое дело. Но всего, конечно, труднее поддерживать в помещении порядок и чистоту. За день так

лопатой намахаешься, что доползти бы только до дому, завалиться отдохнуть… Не тут-то было! В новом доме, как и в новом коровнике, тоже хватает работы. И дрова надо наколоть-наносить, и двери надо обить — мороз щели ох как любит, так и рвется через них в комнаты. Хозяйка, хоть и жалеет мужа, только и ждет его, чтобы ухват новый насадил на черен, полку пристроил, табурет сколотил, построгал доску для раскатывания теста, поточил ножи-ножницы… Домашняя такая работа — радость доброму хозяину, да вот сил не стало, куда-то запропастились силы. Конечно, и Дардаке помогает — мать и ему находит дело. Однако ж в последнее время он после занятий не домой шел и не играть с приятелями. Старик-отец ждал его — не мог дождаться, когда сын вернется из школы.

Болезней раньше не знал Сарбай, простуда его не трогала даже в далеком люто холодном Челябинске, где целыми днями он работал во дворе танкового завода. А тут, наверно, сквозняки его скрутили, частая смена тепла и холода. Но кто ему мог это объяснить? Посидит Сарбай пять минут и опять хватается за лопату: кидает назад, через голову, коровяк. Чуть не кричит от боли, а все-таки заставляет себя, перемогается. Но в

голове гудит и во рту сохнет, и то и дело сердце нехорошо стучит, неровно. Тогда он чуть слышно, одними губами, начнет повторять родное имя:

— Салима, а Салима, выйди!

Не бывает, чтобы звал ее на помощь, голосом кричал. Ждет, чтобы она сама по своему добру к нему пришла.

— Салима, Салима! — бормочет он и верит, что достигнет его шепот ушей ее сердца.

Когда же появляется она в коровнике, насупливается Сарбай, бугрит свои брови и сует ей то лопату, то вилы:

— На, покидай немного, ты помоложе меня…

Она весело берется за работу и подшучивает:

— Стар, стар, конечно, стар ты стал. Отдай кому-нибудь молодому свое место!

Но тут же и принимается его утешать, называть своим джигитом и мергеном-охотником.

— Ты лучше всякого молодого, добрый, горемычный мой!

Но вот насчет того, чтобы отдать эту работу, поменять на другую — такая мысль давно теплится в душе у Салимы. В новом доме — новые покупки. Что по трудодням получили и что за масло, накопленное летом, выручили на базаре, все, и деньги и запасы, к середине зимы стало

истощаться. Пришлось ведь, никуда не денешься, сменить ситец на одеялах и подушках, купить коврик — прежний так обветшал, что на чистую стену не повесишь. А до кухни дело дошло — тут и сковородки понадобились, и тазы, и чайник медный, и чайник фаянсовый; за ними попросился в дом и маленький чайник для заварки, и полдюжины цветастых пиал, и блюдо для бешбармака, — разве можно без всего этого жить людям, отпраздновавшим новоселье? Вот и две лампы керосиновые, без них тоже нельзя — не каждый вечер дает дает колхозная станция… Пришла крайняя необходимость справить к зиме кое-что из одежды: сапоги, валенки, воротники новые да тулупы… И вышло так, что не сумели рассчитать обновы по своим капиталам, растратились прежде времени. К середине зимы плохо стало, уж очень голодно.

Как-то расхрабрилась, разошлась Салима:

— Иди скажи Закиру — не надо нам ни нового дома, ни ваших коров! Люди, скажи, работают чабанами, пасут овец, не хуже людей. Дайте мне заработать, стать на ноги…

Вот так штуку придумала баба, совсем сдурела — новый дом хочет бросить! Столько сил в него вбили, а она других людей сюда впустит.

— Да не наш, не наш этот дом! — кричала Салима. — Плохо будешь работать — колхоз выгонит из общественного дома.

В чем-то права была Салима. Но Сарбай знай себе отмахивался. Послушать ее — это значит самому в правление идти, самому напрашиваться на новую работу… Конечно, с отарой овец даже и на зимнем пастбище куда легче управляться, чем обслуживать одному этот проклятый новый коровник. Да только и там нелегко, нет, нелегко… К тому же идти разговаривать с председателем, первому этот разговор затевать… Ну, а вдруг Закир откажет? Что тогда?

*

Как-то в морозный солнечный день Сарбай выгнал скотину и принялся чистить коровник. Тут как раз Дардаке вернулся из школы. Войдя в открытую дверь, он не окликнул отца, а стал приглядываться. Что-то, показалось ему, не так движется, не так, как прежде, работает отец. Согнувшись под прямым углом, старик очищал железной лопатой примерзшие к доскам лепешки навоза. В том, как медленно и напряженно сгибались руки отца, в том, как он, опираясь на лопату и не распрямляя спины, брел от одной

лепешки к другой, Дардаке вдруг увидел, что перед ним не только старый, но и больной, очень усталый человек.

Бросив портфель с учебниками, Дардаке взял из рук отца лопату… Он ведь затем и пришел сюда, чтобы, как вчера и как позавчера, пособить в работе. Но обычно он ждал, что отец прикажет: займись, мол, сынок, тем-то и тем-то. Безотказно выполнял все его просьбы. Сегодня другое дело. Сегодня сын понял, что наступила пора показать отцу самостоятельность.

Сарбай немного удивился решительности сына. Он хотел даже похлопать его по плечу и вместе с ним посмеяться. Но вышло так, что он не похлопал, а ухватился за плечо сына, без чего ему трудно было бы разогнуться. Вместо одобрительного смеха вырвался у Сарбая грустный болезненный звук — не то смех, не то кашель. Силясь бодро пройтись перед сыном, старик неожиданно потащил ногу и тут уж действительно рассмеялся горько и сердито:

— Какой шайтан придумал теплые строить коровники? С тепла на холод, с тепла на холод. У быков, коров поясницы нет, не ломит, не стреляет. Человеку так работать — ой, трудно!

Выйдя на волю, на солнышко, и прижавшись

плечом к дереву, Сарбай поплотнее закутался в тулуп и отвернулся к стаду, лениво пасущемуся на заснеженном пологом склоне. Сытые коровы лоснились на солнце. Медленными движениями они взрыхляли мордами снег, чтобы найти под ним свежую травку, полакомиться. Некоторые обгрызали мягкие лозинки кустов. За таким сытым стадом и приглядывать не надо — не уйдет далеко.

Пока Сарбай о том о сем думал, туда-сюда смотрел, Дардаке выбросил весь навоз из помещения и подгреб в кучу. Ему уже и делать вроде было нечего. Старик хотел указать ему, чем надо заняться, но парнишка, не глядя на него, легко взобрался на глинобитную крышу, где возвышался смерзшийся, слежавшийся стог сена. Быстрыми, легкими движениями он стал отделять сено от стога, ловко подбрасывать, разбивать и раскладывать по крыше кучками, чтобы спустить потом каждой корове ее порцию. Видно было, что руки Дардаке привычны к труду. Все делалось играючи, радостно, само собой. Повеселев, Сарбай решил не мешать сыну присмотром и побрел по снегу в обход пасущегося стада…

Дардаке разгорячился от работы под ярким зимним солнцем, он сбросил с себя тулуп и шапку.

Вдруг что-то пребольно стукнуло его по затылку. Он огляделся, пожал плечами, потер затылок и снова взялся за вилы. Тут опять, и на этот раз куда как больнее, в него влепился размятый навозно-снежный катыш. Нехорошо попал — прямо в висок. От такого удара в человеке невольно закипает злость.

Из-за кустов чия поднялись две фигуры:

— Салам алейкум!

— Ой, Дардаш, ты что, не признаешь, что ли, друзей?

Дардаке и верно не сразу понял, кто это пришел. Голоса знакомые, Но по одежде вроде бы и нездешние парни. Оба вырядились, будто на праздник или же так, будто отцы их большие начальники. Один высокий, тонкий, другой коренастый. Оба в одинаковых мерлушковых тюбетеях, в черных, собранных, в поясе барашковых, отороченных, мехом кожухах. Рожи красные, задорные, глаза и зубы так и играют. Длинный парень оказался, давним его другом-недругом Чекиром, а коренастый? Тот, пожалуй, даже постарше был, чем Чекир. Давно его не видел Дардаке, даже имя не сразу вспомнил. Но когда вспомнил, даже задрожал от ярости. Это был Алапай, сын мрачного пьяницы Мамбеткула.

Не так-то было важно, кто отец его. Сам Алапай, хоть и не пьяница, ужасный всегда был задира. Этот Алапай был не меньше чем на четыре года старше Дардаке. Давно семилетку окончил, давно пасет овец вместе с отцом. Можно сказать, взрослый человек, помощник чабана. Чего им обоим нужно от него? Разве он им ровня?

— Ассалам… Вы что это деретесь?

— Да ты прыгай, прыгай к нам! — смеясь, закричал Алапай. — Не бойся, не съедим. Три раза тебе кричали, ты не слышал. Пришлось запустить снежок. Ты ж не девчонка, не заплачешь… Мне вот Чекир говорил — ты другой стал, ужасно, говорит, ты сильным стал…

Дардаке сразу вспомнил, на что намекает Алапай. В школе этот здоровяк любил мучить маленьких, издеваться над ними. Сколько раз заставлял он Дардаке бороться с собой, а положив на лопатки, требовал, чтобы побежденный бодал стенку. Была и до сих пор существует у мальчишек, такая расплата за поражение. Оседлает тебя побежденный и, требует, чтобы ты, изображая быка, лбом бодал стенку.

Что до Чекира, Дардаке не знал, как к нему относиться. С нежностью вспоминалась начинавшаяся дружба. Но не мог Дардаке простить

предательства. Заготовленные в лесу дрова действительно увезли по наущению Чекира. Правда, сам Чекир так объяснил свое поведение: «Ты же стал возчиком айрана. Я неделю тебя ждал, а потом решил — зачем пропадать добру. Если мы не возьмем, лесники обязательно заберут. Неужели хуже, если твой друг воспользовался?!» Но при этом так ухмылялась лукавая рожа Чекира, что простодушный Дардаке не мог понять, потешается над ним приятель или же говорит искренне и правдиво.

Сейчас Чекир держался так, будто чувствует себя виноватым и сокрушается, что долго не приходил к товарищу. Алапай же сразу взялся поддразнивать Дардаке.

— Ты ж теперь здоровый стал, неужели боишься нас? — С этими словами он задрал свою широкую курносую рожу и вызывающе осклабился.

Дардаке накинул было тулуп, но прыгать вниз раздумал. Как бы примериваясь и оценивая силы ребят, он оперся на вилы и молча разглядывал своих гостей. То, что они вырядились в новые кожухи и шапки, задевала его самолюбие. Наконец он презрительно процедил:

— Эх вы, околочабанники! Содрали с колхозных ягнят шкуры, нацепили на себя и бахвалитесь!

— Но-но-но! — Алапай показал кулак. — Говори, да не заговаривайся.

А Чекир примирительным тоном сказал:

— Мы не расхитители. Был бы ты овцеводом, тоже носил бы мерлушковую шубу.

Алапаю, видно, хотелось ссоры:

— Пш-ш! Разве его отец и он могут справиться с овцами? Лентяям на роду написано околачиваться возле коров!

Дардаке видел, что отец стоит недалеко и прислушивается к разговору. Как смеет Алапай оскорблять старшего! Отца!.. Да разве можно простить такое? Дардаке спрыгнул с крыши и, клокоча от злости, пошел прямиком на ребят.

И вдруг, смотри-ка, Алапай улыбнулся и протянул ему руку:

— Да ты, я вижу, настоящий герой!

Дардаке мгновенно оттаял. Поверил, сразу поверил в доброжелательность Алапая, взял его руку, крепко пожал.

Гость одобрительно подмигнул:

— Ого! Крепкое пожатие! Хочешь, небось, показать, что не смогу теперь заставить тебя бодать стенку? — Мотнув головой в сторону заснеженной площади, спросил: — Может, померимся силами? Давно мечтаю сразиться с кем-нибудь

стоящим. Не найду себе ровню. Этот, — от ткнул локтем Чекира, — что тоненькая елочка, одного моего взмаха не выдерживает… Хочешь знать — это он меня сюда притащил. Говорит про тебя: «Сын Сарбая настоящим батыром стал». Хочет, чтобы ты отомстил мне за его вечные поражения… Ну? Пошли, что ли?

Но Чекир замахал руками:

— Подожди, подожди! — Он взял Дардаке под руку и повел за угол коровника, где на привязи стояли две оседланные лошади. — Правду сказать, — заговорил он, плутовато поблескивая глазками, — мы приехали, чтобы позвать к себе в гости. Не каждый день овцеводы спускаются в долину. По этому случаю мать приготовила жирную шурпу, бешбармак. Наедимся как следует мяса. У вас и бузы вдоволь; найдется и чего-нибудь покрепче. Едем, не сомневайся. Неужели не хочется тебе продолжить нашу летнюю дружбу? Вот и Алапай, узнав, как ты легко со мной справился, решил, что надо такого хорошего парня взять в компанию настоящих джигитов. Ты ведь еще не знаешь, сколько он поездил за последнее время, сколько повидал. Был недавно в Нарыне и такое рассказывает… Ну? Едем? Ничего, что нет у тебя лошади, мой саврасый донесет нас обоих…

Дардаке и краснел и бледнел. Никак он не мог понять этих парней. То оскорбляют его, то вызывают на борьбу, потом вдруг мирно улыбаются и даже зовут на пиршество. Уж не издеваются ли они над ним?

— Может, думаешь, что потешаемся над тобой? — спросил Алапай. — Если способен состязаться со мной — станем друзьями…

— Не знаю, как быть, — смущенно проговорил Дардаке, вспомнив, насколько старше Алапай, и оглядывая его квадратную фигуру.

— Ах, не знаешь! — Алапай мгновенным движением подбил Дардаке ногой и толкнул.

Парнишка кубарем полетел в снег. Но кто удержится на ногах, если нападут внезапно? Вскочив, Дардаке свирепо уставился на обидчика…

— Ты, ты…

— Да ну, чего там «ты, ты», — небрежно бросил Алапай и тут же стал расстегивать свой кожух. Швырнув его в смет, он сразу же принял борцовскую позицию. — Давай, парень! Поборемся, а потом поедем пировать. Только не забивай поговорку: «Борясь, и отца не жалеют». На пощаду не рассчитывай, и слезы тебе не помогут!

Дардаке его уже почти не слышал. Как говорят старики, «борец под его шкурой вдруг сам

родился».

Распахнув тулуп, Дардаке как бы выпорхнул из него и с разгону налетел на противника. Ногами и руками он сгреб его, свалил, покатился вместе с ним… Чекир, подхватив тулупы бойцов, отбежал подальше. Второй зритель, старый Сарбай, издалека смотрел, не вмешивался. Он молча выпятил по привычке бороду.

Сам он драчуном-борцом никогда не был, но в сыне угадывал и силу и удаль, верил в него.

Ай да схватка! Снег взвился под ногами, мерзлая земля гудела, когда падали на нее бойцы. Вскочив, они расходились и, склонив головы, тяжело дыша, приглядывались друг к другу. Топтались, растопырив ноги и согнувшись, как вдруг снова кидались навстречу врагу, чтобы снова гнуть, мять, ломать, скручивать руки, ноги, шею… Вдруг Алапай оторвался от противника и побежал. Это хитрость была. Он на спину принял скакнувшего на него сзади Дардаке и, с ходу перевернувшись через голову, оказался на нем, вывернулся и уселся верхом. Не тут-то было. Парнишка поднялся дугой. Как железный мост, опирался он ногами и затылком в землю, и, сколько ни давил на него тяжеловесный Алапай, сломить не мог.

Пока обе лопатки поверженного не коснутся

земли, тот, кто наверху, не считается победителем. Киргизская вольная борьба разрешает и силовые и болевые приемы. Хвататься можно и за шею и за ноги, разрешается коленом нажимать на живот, выкручивать ноги, руки. Алапай всей тяжестью давил на Дардаке. Тот не поддавался. Голова Дардаке ерзала по скользкому, сбившемуся снегу, и грудь и спина были в ссадинах, однако боли он не чувствовал. Давно уже вылезла из штанов рубашка, кожа на теле стала багровой от мороза, но холода он тоже не замечал. Все сильнее и сильнее давил Алапай. Казалось, вот-вот хрустнут позвонки на шее юного противника…

Чекир, подошедший совсем близко, согнувшись, заглядывал под спину Дардаке, чтобы увидеть, когда лопатки коснутся земли. Поняв, что голова его слишком далеко запрокинулась, он заметался в испуге, опасаясь, что тяжелый, как очаг из камня, Алапай просто раздавит неокрепшего подростка. Чекир уже готов был позвать на помощь Сарбая, он уже руку поднял, чтобы поманить старика, но тут произошло что-то новое.

Дардаке сумел как-то повернуться на бок и опереться на правое плечо. Шея у него выровнялась; Чекир облегченно вздохнул. Зато победа Алапая стала гораздо ближе. Он упорно давил и давил на

то плечо, что еще не коснулось земли. Казалось, уже нет спасения… Между тем рука Дардаке шарила и судорожно искала, за что бы ухватиться. И вдруг вцепилась в левую ногу Алапая. Начиная бороться, бойцы закатывают рукава и штанины: голое тело труднее удержать. У Алапая штанина раскаталась, и этим воспользовался Дардаке. Как тиски, захватили пальцы, потянули штанину и вместе с ней ногу — тянули и скручивали, напрягаясь до последних сил. И вот уж лицо Алапая сморщила боль, и уже не мог он так жать плечо Дардаке. Резким движением парнишка угрем скользнул по гладкому, подтаявшему снегу, высвободился из-под грузного тела, вывернулся, но при этом не выпустил ногу противника. Еще сильнее стал ее скручивать, теперь уже двумя руками, да еще и навалился на него. Колено Алапая неестественно подогнулось, что-то хрустнуло…

— Зарезал, чертов бугай! — раздался откуда-то снизу хриплый и свирепый голос. — Слезай, вставай!.. Слышишь, что ли, ногу сломал. Подымайся, тебе говорят!

Не сразу понял Дардаке слова Алапая… Но зато почувствовал: случилось что-то очень скверное…

— Я не хотел, не хотел! — вскочив на ноги, вос-

кликнул парнишка в отчаянии.

— Бугай чертов! — повторил Алапай. Он не подымался. Медленно повернулся на бок, как-то судорожно подтягивая к животу ногу. Глаза его невольно наполнялись слезами, но губы кривились в усмешке. — Запомни, батыр, — сказал он, глядя на Дардаке, — лопатки мои земли не коснулись, не хвались, что победил. Я поправлюсь, и тогда…

Больше он говорить не мог и замычал от боли.

Дардаке неловко топтался, не зная что делать. Чекир тянул Алапая за руку, но тот, видно, не мог найти здоровой ногой опоры на утоптанном скользком снегу. Лицо его стало серым, губы дрожали… Наконец ему удалось сесть. Скрюченная нога теперь лежала как бы в стороне. Все трое, на нее смотрели. Она прямо на глазах пухла, наполняя штанину.

— Кровь не течет? — невпопад спросил Дардаке.

Алапай нашел в себе силы рассмеяться:

— Ха, откуда кровь? Вывих, понимаешь… А может, и сломал. Ну у тебя в руках и силища!.. Эх, черт, получилось, что от игры загорелся пожар. Что делать будем, а?.. Уставились! Что случилось, то случилось. Я сам виноват, получил, чего доби-

вался. Осторожно усадите меня на лошадь и, пока я не отморозил ногу, отвезите в больницу.

«Вот терпеливый, черт!» Дардаке с восторгом смотрел на Алапая. Ему казалось, что тот должен был возненавидеть его, кричать, сзывать людей, чтобы все узнали, кто его искалечил. Видно, этот парень хороший товарищ и настоящий мужчина. Дардаке побежал за лошадью, подвел ее за уздцы. Ах, как трудно было поднять тяжелого, неуклюжего Алапая! Он не кричал, только стонал, да и то совсем негромко. Обняв товарищей за шею, повиснув на них, Алапай подтянул здоровую ногу и сунул ее в стремя, но верхом сесть не смог. Он лег на седло животом и закричал Дардаке:

— Садись и держи меня! Поехали, ребята! — Но тут он вспомнил о Сарбае. — Твой отец видел? Эй, Чекир, найди старика! Соври ему что-нибудь, скажи, что я поскользнулся…

На счастье, оказалось, что Сарбай загонял скотину и конца борьбы не видел. Ребята окольными путями, чтобы их не расспрашивали, поехали в больницу, на другой конец селения.

— Мы скакали наперегонки… лошадь упала… не знаю, вывих или перелом, — бойко врал Алапай врачу в приемном покое. — Если б не эти ребята, я бы отморозил ноги… Пожалуйста, лечи-

те, только не отрезайте: жить без ноги не могу, люблю свою ногу!

Даже хмурый, сердитый врач улыбнулся, слушая болтовню Алапая.

— Хорошо, что ты не в сапогах, а в ботинках, — сказал он. — Пришлось бы резать — пропало бы голенище. Было бы жалко, правда? С этими словами он резко крутанул и дернул больную ногу Алапая.

Алапай задохнулся, выпучил глаза, лицо его покрылось потом, но не закричал.

— Молодец! — похвалил врач. — Теперь все в порядке. С вывихом мы справились, но в кости могут быть трещины, придется тебе у нас остаться... Посмотрим на рентгене, наложим гипс...

На пути к дому Дардаке погрузился в раздумье. «Вот герой так герой! — превозносил он в душе Алапая. — Надо учиться у него выдержке, терпению и благородству. Я, может быть, искалечил его на всю жизнь, а он не только не винит и не ругает меня, но даже называет батыром. А если б со мной случилось? Я бы, наверно, ревел во всю глотку, я бы возненавидел Алапая, как злейшего врага...» О том, как перед борьбой оскорблял и дразнил его Алапай, Дардаке забыл начисто. Забыл и то, что тот нанес оскорбление его отцу.

Встретив сына на улице, Сарбай крепко схватил его за руку и потащил в дом. Закрыв за собой дверь, шепотом заговорил:

— Этот сын пьяницы Алапай — он хулиган и драчун. Я должен был вас разнять. Ой-е! Плохо, очень плохо, ты ломал ему ногу…

— Не сломал, а только вывихнул.

— Молись, чтобы не стал парень калекой. Случается, что вывих хуже излома… Когда ты стал перекручивать ему ногу я хотел крикнуть, чтобы ты не делал этого…

— Как же так, папа? Чекир сказал, что ты ушел и конца борьбы не видел…

Сарбай быстро глянул в глаза сыну и отвернулся.

— Так он сказал?.. Вот и не видел, вот и не видел! Да, ли, знать ничего не хочу! — Немного помолчав, старик стал причитать: — Ах, Ракмат-Дардаке, Ракмат-Дардаке, что мы за несчастные люди! И все потому, что происходим из племени униженных. Вот увидишь, увидишь — другому бы сошло, а нам с тобой ни за что не сойдет. Обязательно будут неприятности. Перед судьбой и перед аллахом мы беззащитны…

*

Дети колхозников, работающих на молочной ферме, обычно шли рано утром в школу под предводительством Дардаке. Зажав под мышкой старый, битком набитый книгами и тетрадями клеенчатый портфель, подаренный ему счетоводом, парнишка шагал по узкой тропе среди сугробов весело и быстро, уверенный в том, что детвора спешит за ним и стремится попасть в ногу. Это потому было важно, что Дардаке обязательно напевал какую-нибудь песенку с маршевым мотивом. Тот, кто сбивался с ноги, не мог повторять за ним слова, и начинал теряться и спотыкаться. За спиной Дардаке шла Зейна; она давно к этому привыкла и не видела ничего обидного в том, что на ее долю выпадала как бы второстепенная роль. Маленькие мальчишки и девчонки, подобравшись по росту, двигались за ней длинным хвостом. В конце плелись первоклашки, обнимая и прижимая к груди свои портфельчики. Нести их за ручки малыши не могли — слишком круто подымались по сторонам тропинки сугробы. Опустишь руку с портфелем — и он всю дорогу чертит по снегу.

Ребятишки даже и не сознавали, как им важно,

что впереди вышагивает такой рослый и веселый малый, как Дардаке. Как вдруг случилось, что он исчез. Нет его утром. Зейна есть, а Дардаке нет. И громкой песни нет. Зейна тоже поет, но в голосе ее не слышно бодрости. Когда пел сын Сарбая, можно было вовсю топать ногами, кричать, хохотать — его голос заглушал все шумы. А теперь, без него, стал разлаживаться утренний марш школьников. Озорники не слушались Зейны, начинали возню, бросались снежками. Малыши отставали и плакали…

Как-то Зейна, встав пораньше, решила посмотреть, каким путем теперь ходит Дардаке. Спрятавшись за деревом неподалеку от крыльца его дома, она увидела, как, поспешно запахнувшись и насунув на голову свой заячий капелюх, ее товарищ быстрым шагом двинулся в обход обычного пути. И еще она заметила, что, кроме портфеля с книгами, он несет свой знаменитый бурдючок.

Недолго думая, Зейна догнала его:

— Салам, Дардаке! Что с тобой, куда ты несешься?

— Не все ли тебе равно? Иду, значит, надо…

— Как ты мне отвечаешь! И еще называешься другом.

Он смутился и пробурчал:

— Разве можно все говорить… девчонке? Вы же болтушки…

— А что у тебя в бурдюке?

— Молоко…

Она топнула ногой:

— Говори же! Ну что ты замолчал? Кому молоку?

— Больному товарищу.

— Какому? Из школьников никто сейчас не болеет…

Дардаке нахмурился. Подумать только, какой тон она себе позволяет!

— Знаешь что?

— Что?

— То, что ты еще не доросла. Уверена, что товарищи могут быть только в школе… Ничего тебе больше не скажу, противная ты тараторка, вот и все!

Она подбоченилась:

— Вот, значит, как!

Смотри-ка, во что превращается этот мальчишка! Забыл дружбу, забыл все добро, которое сделали ему. Если высокий и сильный, можно, значит, так себя вести с товарищами? Большой рост и крепкие мускулы — разве этого доста-

точно, чтобы считать себя взрослым? Она ведь как-никак отличница и комсомолка, у нее есть право знать, что происходит с непутевым одноклассником.

— Ты дождешься, что поставим о тебе вопрос на собрании!

Дардаке снисходительно усмехнулся. Ну, раскипятилась девчонка!

Правду говоря, ему даже нравилась ее горячность. Щеки раскраснелись, а глаза так и сверкают.

— Почему ты стал таким? — продолжала Зейна.

Дардаке пожал плечами:

— Каким?

— Странным, вот каким. Убегаешь от ребят, на уроках сидишь невеселый, невнимательный…

— А еще?

— А еще то, что держишься, будто не школьник-семиклассник, а взрослый парень.

— Ну еще, еще!..

— Не дразнись, противный! — Она чуть не плакала от злости. — Еще то, что не вступил в комсомол до сих пор. И то, что… не носишь пионерский галстук.

Дардаке искренне расхохотался. Его громкий

хохот разнесся в морозном воздухе по всему кыштаку.

— Галстук? Значит, пионерский галстук? Я? Чтобы насмешить весь кыштак?

Он расхохотался еще громче.

Зейна резко отвернулась и побежала. Никогда она не простит ему этого глупого хохота.

*

Утром, передав через больничную нянечку бурдючок, Дардаке подходил к окну и кричал сквозь двойную раму:

— Алапай, Алапай! Ну как, лучше тебе?

Заслышав голос товарища, больной, оторвавшись от книги, поворачивал к окну лицо и улыбался, видна была его широкая грудь, из-под одеяла с белым пододеяльником торчала огромная нога в гипсе. Держа в руке книгу, Алапай что-то кричал; слов почти не было слышно, но по движению губ Дардаке понимал, что товарищ его и сегодня повторяет то же, что вчера:

— Жакшы — хорошо! Я чувствую себя хорошо, иди в школу!

И, хотя Дардаке не был очень уж опытным человеком, даже он догадывался: если в такую рань Алапай взялся за книгу, значит, боль его разбуди-

ла ни свет ни заря. «Неужели он может читать? Наверно, делает вид, чтобы успокоить меня». Так думал Дардаке по дороге в школу. Он все больше дивился железной выдержке товарища.

Как только раздавался звонок, Дардаке срывался с последнего урока, не дослушав учителя, и, расталкивая ребят, несся в больницу. Он поспевал как раз после обеда, пока еще не начинался мертвый час, и хоть пятнадцать минут мог поговорить с Алапаем.

Никто этого парня не навещал — ни мать, ни отец, — один Дардаке. Почему? Расспрашивать было нельзя. Если кто пробовал, живо отлетал от Алапая. Соседи по палате уже знали его гордый нрав и не задевали его семейных дел. Впрочем, кое о чем можно было догадаться. Отец и мать Алапая пасли скот в горах. Сын был с ними, помогал им. Поехав ненадолго в кыштак, по-глупому сломал ногу. Наверно, отец не мог ему простить такую оплошку. Мамбеткул был всем известен как грубый, несправедливый человек. Он, наверно, и жене запретил навещать сына.

У Алапая, как показал рентген, кроме вывиха, в кости была трещина. После того как наложили гипс, он мог бы лежать дома. Только некому было там за ним ухаживать, Узнав обо всем этом, Дар-

даке стал приходить к Алапаю и вечерами.

Уже через неделю больной поднялся и скакал по коридору на костылях. В любое время он выходил в теплую переднюю, где разрешалось курить и громко разговаривать. Часами мог стоить крепкий парень на одной ноге, даже не опираясь на костыль. Сидеть ему было труднее — мешал гипс.

— С того дня, как у меня сломалась нога, — любил повторять Алапай, — я стал вроде бычка, поставленного на откорм. Вкусная еда, чистая постель, казенная одежда. Да еще ты мне приносишь. Нет, не уйду отсюда, так мне тут нравится.

Вот шутник! Он все время улыбался, подсмеивался над собой. Никто не слышал от него ни одной жалобы. Алапай так и не рассказал никому, что в несчастье его виноват Дардаке, и ни разу не упрекнул парнишку даже намеком.

Но вот однажды Алапая навестил Чекир. Дардаке давно знал его щедрость. Он перещеголял самого себя. Приехал с большим мешком на лошади и как начал вытаскивать… Тут и жареное мясо, и манты — пельмени величиной с кулак, и банка варенья из районного магазина, куда он, оказывается, заезжал… Воспользовавшись тем, что медсестра куда-то вышла, Чекир вынул

из мешка и быстро поставил в глубь тумбочки Алапая четвертинку водки.

— Зачем? Тут запрещено, — зашептал Дардаке.

— Молчи, дурак! — отмахнулся Чекир. — Алапай не мальчишка. Выпьет — станет веселее. Больше ничего с ним не будет. От такой ерунды никто не опьянеет.

Но Алапай тоже не обрадовался такому подарку. Он велел Чекиру сейчас же забрать и унести бутылку.

— Вы знаете, что я люблю повеселиться и не отказываюсь иногда выпить. Но больница — не место для гульбы... Если кто увидит, пойдет разговор, что я пошел путем своего отца. Ах, как надоело мне и опротивело его пьянство!

Когда они ушли из больницы, Чекир рассказал Дардаке:

— Дело плохо. Мамбеткул совсем запустил свою отару, у овец появилась чесотка. Пока сын был с ним, разгульное поведение старика не так отражалось на стаде. Он часто уезжал в райцентр или пьянствовал с усатым Закиром. Алапай в таких случаях заменял отца. А вчера... Наши зимовки были неподалеку, и вчера я поехал к Мамбеткулу, хотел сказать, что собираюсь сюда, в долину, и буду в больнице у его сына. Но оказалось, что

Мамбеткул ушел с горного пастбища, перегнал отару почти к самому райцентру, где трава под снегом вся вытоптана. Овцы стали голодать, болеть, несколько уже пало. Председатель Закир, хоть он и не отказывается гулять с Мамбеткулом, если увидит, что стадо гибнет, обязательно прогонит Мамбеткула с чабанской должности… Вот к чему привело то, что ты сломал ногу Алапаю.

— Ты правда думаешь, что я виноват во всем? — с отчаянием в голосе спросил Дардаке.

— Гм! А кто же еще? Уж не я, наверно, и не лошадь, которую ни за что ни про что обвинил Алапай… Эх, Дардаке, Дардаке! Изуродовать такого парня, поставить под угрозу колхозную отару овец! Разве не знаешь, что Мамбеткул только называется главным? Сын его Алапай — вот кто настоящий чабан… Дурной ты, дурной! Даже злая собака, когда с ней играют, не кусается по-настоящему, не отрывает от живого тела куски мяса. Если у тебя вместо рук сильные крючья, научись пускать их в ход осторожно. Так ведь недолго и убить человека.

Дардаке слушал своего товарища и не мог понять, шутит тот или говорит серьезно. Заячьи глазки Чекира, по обыкновению, весело поблескивали, но улыбки на лице не было.

Прижав руку к груди, Дардаке воскликнул:

— Ой, Чекир! Я готов все сделать для Алапая. Но чем, чем ему помочь? Ведь я всего только школьник.

— А что говорит твой отец?

— Он же ничего не знает.

— Рассказывай! Пусть не притворяется, что не видел. Думаешь, в нашем кыштаке можно что-нибудь скрыть? Как бы не так! Твой отец сказал твоей маме, а она — соседке. Даже моя мать знает, кто сломал Алапаю ногу…

— Врешь ты, все врешь! Наверно, сам всюду рассказываешь…

— Я бы сейчас тебя стукнул как следует! — разозлившись, сказал Чекир. И, глядя исподлобья, добавил: — Если бы не боялся, что ты мне сломаешь руку или ногу. Зачем меня оскорбляешь? Когда мы с тобой подрались, разве я кому-нибудь нажаловался? Нарушать товарищество — нет ничего хуже!

Дардаке уныло почесал в затылке.

— Да-а, — протянул он, — папа действительно видел. Он даже хотел нас разнять…

— Почему не разнял? Он взрослый, будет отвечать за все. Что он тебе говорит? Будь честен, скажи мне правду! — Теперь Чекир говорил

вполне серьезно. Он так и впился глазами в лицо Дардаке. — Чему тебя учит отец? Что советует?

— Папа советует… — протянул парнишка. — Он мне советует молиться за здоровье Алапая.

— Как? Как?

— Говорит: «Молись! Каждый день молись!»

Чекир присвистнул от удивления:

— Молиться? И ты… ты молишься?

— Я — нет, а папа с мамой и утром и вечером просят аллаха вернуть Алапаю здоровье.

Чекир расхохотался, вскочил на коня и, все еще продолжая хохотать, поскакал в сторону гор. Отъехав метров на двадцать, он обернулся и закричал во все горло:

— Э, Дардаке! Ты тоже молись! Молись, молись! Я всем буду рассказывать, что ты святой дервиш из сказки. Прощай, дурачок!

*

Прошла еще неделя. У Алапая сняли гипс, но теперь нога его стала толстой, как бревно. Ясно было, что ездить верхом и ходить без костыля он еще долго не сможет. Поняв это, парень стал мрачнеть. Встречая в больнице Дардаке, он шутил все реже и реже. Однажды он сказал:

— Довольно. Больше не приходи! Надоело мне

смотреть на твою ласковую улыбку. Я тебя не виню, но… смотреть на твою постную рожу мне тошно. Из-за тебя… Да ладно, ладно не из-за тебя… — Он махнул рукой, отвернулся и заковылял в палату.

*

…Вечером в доме Сарбая был разговор. Сперва без Дардаке, а потом на семейный совет было решено допустить и его.

Сарбай сказал сыну:

— Рано навалилась на меня старость, сил моих не хватает на то, чтобы хорошо работать на том месте, которое мне доверено.

Твоя мать помогает мне чем только может, но, с тех пор как мы переехали, хозяйство отнимает у нас столько времени и сил, что в коровник ей некогда заглянуть. Я уже сказал, как много значила для меня твоя помощь. Но в последние две недели, после того, что случилось с Алапаем, ты поздно приходишь домой, и на тебя я уже не могу рассчитывать… Что же делать, на что надеяться?

— Если ты болен, почему не лечишься у доктора? — еле слышно спросил Дардаке.

Сарбай нахмурился:

— Доктор, доктор… Лучше не говори мне о

больнице и докторах! Мне стыдно идти туда, где лежит изуродованный моим сыном парень… Эта глупая борьба лишила на долгое время Мамбеткула помощника, и он не может справиться с отарой. И без тебя все хуже и хуже идут мои дела на скотном дворе. Пойди взгляни, сколько накопилось смерзшегося навоза у ворот и жидкой грязи внутри. Доярки справедливо говорят, что не только ноги коров — даже вымя и то у них измазано…

— Акмак у меня родился, не сын! — высоким, резким голосом заговорила Салима. — Мамбеткул тебя убьет. У ста собак меньше злости, чем у этого проклятого пьяницы. Он своего сына чем попало лупил с раннего детства. У парня, верно, все кости в трещинах. Ты ему сломал ногу. Слыханное ли дело, чтобы ребенок мог руками переломить колено взрослого человека! Сын пьяницы — он весь гнилой, только с виду крепкий. Когда ты был маленьким, Алапай колотил тебя, издевался над тобой а ты теперь жалеешь его. Всегда уважала твоего отца, но сколько же мы мучались из-за его кротости! Неужели и сын унаследовал его робкий характер?.. Э, нет! Не Дардаш придумал такую глупость — идти помогать своим врагам. Ты, ты, святая душа, нашептал ему на ухо…

Салима, подбоченясь, продолжала сыпать на их головы поток слов:

— Будьте наконец мужчинами оба! Займитесь делом. Ты, Сарбай, расскажи наконец сыну, как тебя вызвал председатель и что он тебе сказал. — Повернувшись к Дардаке, Салима продолжала: — А ты слушай внимательно. Твой отец во всем видит одно плохое. Но, если врагу нашему хуже, разве не должно стать нам лучше?! Может, это счастье само к нам идет. Сколько лет живем при коровах, и ничего у нас нет, кроме долгов. И дом этот не наш. Случись что-нибудь, нас мигом переселят в старую лачугу. Пусть сюда переезжает пьяница Мамбеткул, этот лодырь и лежебока. А нам не привыкать к работе. Хоть и нелегко там будет, зато заживем как люди, будет у нас и мясо, и теплая, красивая одежда. И отца своего, глядишь, откормим так, что болеть перестанет, помолодеет.

Хоть и слушал Дардаке в оба уха, но долго не мог понять, что могло произойти за один день. Он чувствовал, что это связано с переменой настроения Алапая, что спор матери и отца касается чего-то очень важного. Наконец Салима замолчала, и Сарбай смог спокойно рассказать, как вызвал его к себе председатель колхоза и предложил стать

чабаном, приняв отару у пьяницы Мамбеткула. Обычно зимой чабанов не меняют, но так как вышли из строя и Мамбеткул и его сын, надо было найти им замену. Узнав о предложении председателя, Салима с ума сошла от радости. Уже не первый год мечтала она, что Сарбаю дадут отару, все уши прожужжала, чтобы пошел и попросил, но разве мог решиться на это ее робкий муж! Да ведь, правду говоря, и она не верила, что им дадут такую выгодную должность. У чабана должен быть помощник, вдвоем с женой на зимнем пастбище с овцами не управиться. Теперь Дардаке подрос, набрался сил. Но ведь не обойдется без того, чтобы оставлять на время школу. А что потом? Без семилетки на курсы трактористов его не возьмут. Да и вообще — рискованное это дело. За нарушение закона о семилетнем обязательном образовании по головке не гладят.

С Дардаке по таким важным делам раньше никто не советовался Он пришел в смятение. Ведь и правда, чтобы искупить свою вину, он готов был даже к Мамбеткулу идти в помощники. А тут что-то взяло его сомнение. Стоит молчит. Вдруг нахлобучил шапку, накинул тулуп на плечи и, ни слова не сказав, опрометью выскочил из дому. Так по нужде выскакивают. Родители ждали его,

ждали, час прошел — нет сына. Где мог пропасть? Искать надо идти…

Уже девять часов показывали стрелки в приемном покое, когда позвонил в дверь мальчишка и стал просить дежурную сестру:

— Ой, ну пожалуйста, мне очень-очень нужно? — Он кланялся и руку прижимал к груди. — Такое важное дело, никак нельзя дождаться утра. Вызовите Алапая!

Алапай вышел на костылях сонный, недовольный. Выслушал Дардаке без единого слова, не улыбаясь, но не морща брови. Когда же гость выговорился и смолк, Алапай неожиданно размахнулся и хлопнул по ладони, а потом долго и крепко жал руку:

— Ты молодец, настоящий друг!

Покраснев от удовольствия, но в то же время и растерявшись, Дардаке спросил:

— Почему? Чем я молодец?

— Тем, что пришел и рассказал. Вспомнил обо мне. Тем, что готов идти на зимнее пастбище работать. Станешь настоящим чабаном. Чабан — гордая должность. Киргиз — потомственный чабан. Смелый, выдержанный. У тебя не только руки сильные, голова тоже есть. Я тебя уважаю!

После таких возвышенных слов Дардаке не

решился сказать Алапаю, что мечтал стать трактористом. Боясь обидеть товарища, он кивал и улыбался. Потом робко спросил:

— А как же ты?

— Что я? Пока буду калекой, в горах делать мне все равно нечего. Значит, придется повозиться с коровами. — Он горько рассмеялся: — Мой отец Мамбеткул, знаешь, как будет доволен! Магазин под боком. А в магазине бутылки…

Провожая гостя, Алапай сказал:

— Думал, будет хуже, боялся совсем остаться без работы. Ну, а чабаном я все равно буду. За меня не беспокойся. Я уже чабан. Как поправлюсь, потребую самостоятельную отару. И еще подумаю, брать ли в помощники отца своего, Мамбеткула…

Вот так произошел перелом в жизни Дардаке.

Вернувшись домой, он сказал отцу и матери:

— Я согласен.

— Где ты был? Мы тебя всюду искали, — спросили отец с матерью.

— Я ходил советоваться к дедушке Буйлашу.

И он действительно по пути из больницы забежал к Буйлашу. И тот сказал ему:

— Усатый Закир знает, до чего Мамбеткул довел овец. Чтобы спасти друга и собутыльника,

он хочет свалить на вас с отцом чесоточных и истощенных животных. Смотрите, как бы вы не попали в неприятную историю…

— Не попадем! — сказал дедушке Буйлашу Дардаке. — Ничего не боимся. У меня знаете сколько сил!

— Знаю, знаю, — сказал старый Буйлаш и рассмеялся.

Глава VI

— Помнишь поговорку: «Побежишь от труда — уткнешься в пень»? Вот и сиди, карауль чесоточных и тощих, — ворчливо говорил Сарбай жене.

— И буду сидеть! Разве я отказываюсь?.. Помолчи-ка лучше, прислушайся, это, кажется, голос твоего сына.

Сарбай живо вскарабкался на глинобитную стену овечьего загона и приложил к уху ладонь, стал туда-сюда поворачиваться, стараясь определить, откуда идет звук голоса. Салима, стоя внизу, среди овец, задрала к нему лицо и слегка посмеивалась. Что могло радовать ее? Овцы в стаде были тощими, низкорослыми, многие лысели от чесотки. Нет, овцы пока не радовали

Салиму. Зато сейчас она заметила, как легко взобрался на стену муж ее Сарбай. В тяжелом тулупе, в валенках, в толстых ватных штанах, а смотри-ка, с камня на камень скачет, как горный козел, не запыхался, не хватается за поясницу. Ожил, ожил здесь ее муж, хотя дела их совсем не так уж хороши. Что-то есть целебное в высокогорном воздухе, в необходимости с утра до ночи шевелиться, двигаться вместе со стадом.

Сарбай продолжал прислушиваться. И вот с северной стороны донесся до него слабый отголосок. Может, эхо до него донеслось? Как петух, перед тем как прокукарекать свою песню, так и Сарбай вытянул из ворота шею и резким, особо поставленным голосом закричал:

— Эге-ге-гей! Стой там, иду-у!

Известно, что жители гор унаследовали от предков и голос высокий, и слух тонкий, и глаз зоркий. На большом расстоянии, за несколько километров, и не на ровном месте, а скрытые друг от друга холмами, перекликаются киргизы. Первые слова еле-еле слышны, а потом постепенно, будто настраиваются, не только отдельные слова — сложные, длинные фразы улавливают натренированные уши чабанов. И голоса их крепнут — все сильнее становятся и звенят в морозном

воздухе. Сарбай расспросил сына и о том, что нашел он в далеком ущелье, и много ли нашел, и какие ветры там дуют, и не грозит ли им в пути снежный обвал. Только получив все нужные ему сведения, он спрыгнул в кошару и пошел среди овец к калитке.

Присев на корточки у стены, Салима подтаскивала к себе то одну тощую и больную овцу, то другую и, взяв ладонью из широкой деревянной чаши горсть ячменя, скармливала им, стараясь не уронить ни зернышка.

— Смотри, муж мой, как кидаются на меня твои овцы, не отбиться от них. Так, пожалуй, и меня они съедят вместе с ячменем. Разве могу всех накормить? Скоро совсем кончится ячмень, а им только и поддерживаем слабых. Не едет к нам никто, не подвозят корма. Сена тоже почти не осталось… — Она поднялась, замахала руками, чтобы отогнать от себя напиравших овец. — Кш, кш!.. Видишь, Сарбай, не шарахаются, ничуть не боятся.

— Те овцы шарахаются от людей, у которых жиру много. Боятся, что зарежут их. А эти несчастные — они и смерти, наверно, были бы рады, вот и не шарахаются. Ой, ой, Салима, начнется падеж, осрамимся мы с тобой…

Салима и слушала и не слушала его. Она давно привыкла к воркотне мужа и умела так себя вести, чтобы и не обижать его невниманием, и не давать ему слишком уж долго жаловаться на судьбу. Сарбай открыл перед рослым черным козлом калитку загона. И тот, тряся бородой, выступил вперед.

— Веди, грозный предводитель! — улыбнувшись, воскликнул Сарбай.

Салима снизу вверх бросила на мужа испытующий взгляд. Если шутит, значит, не так уж плохо себя чувствует, да и сын, пошедший в разведку, наверно, прокричал отцу хороший кабар.

Козел меж тем потоптался на пороге, оглядел важным взглядом свое подопечное стадо и не спеша вышел из загона. Он не сомневался, что овцы последуют за ним. И пока серо-желтая масса курчавых блеющих созданий медленно продвигалась между Сарбаем и Салимой, оба они внимательно вглядывались в каждую, вылавливая и заталкивая в угол чесоточных и слабых, хроменьких и плешивых.

Сарбай покрепче перепоясался и сказал на прощание Салиме:

— Сиди, сиди тут, мажь креолином своих ублюдков! Эх-хе-хе… — Он не то чтобы над ней смеялся,

в тоне его была и жалость, и понимание того, как тоскливо женщине оставаться в овечьем загоне у крошечной землянки одной-одинешенькой и ждать, когда-то вернутся муж с сыном. Но, конечно, он над ней немного посмеивался: могли бы, дескать, жить как люди и среди людей, а теперь…

Человек, не знающий, что такое зимовка в горах, и представить даже не может оглушающей тишины, однообразия и безмерной скуки одиночества, в которое погружается женщина, оставшаяся в землянке.

Салима, как бы признавая свою вину, в ответ на слова мужа кротко склонила голову и сказала без обычной резкости:

— Ой, я и сама-то вся провоняла от этого креолина, руки сожгла! Но раз надо, так, значит, надо. Буду лечить. За делом и время пройдет, а там, глядишь, и вы вернетесь… Ну что ж, мерген, иди… Только почему ты не рассказал мне, что кричал тебе сын твой?

Сарбай уже было отошел, но при словах «сын твой» теплое чувство обволокло его сердце. Что происходит с ним с тех пор, как поднялись они в горы на пастбище? Чудо происходит, чудо воскрешения. Он с сыном вместе — вот что происходит.

То, чего лишен он был, вдруг в обилии хлынуло на него. Сын, сын! Отец наслаждался тем, что крепкий этот парень, кость от кости его, тут, с ним. Не в школе где-нибудь, не в отъезде, — одно дело делает с ним, давно известное, радостное и такое мужское! Пасти овец, да еще зимой, да еще в горах, с родным сыном пасти — это счастье.

Сарбай глубоко вздохнул, сладко. Сказал Салиме:

— Мой сын — твой сын! Если б не наш сын, старуха, пропали бы мы совсем. Какой кабар, спрашиваешь, прокричал он мне? Что все ходит и ходит, ищет траву под снегом… Никогда раньше зимой не был наш Ракмат в горах, покрытых снегом. Разве не удивляешься, что с первого дня туда-сюда ходит? Разве не странно тебе, что школьник, избалованный теплом и тем, что каждый день встречался с товарищами, ничего в горах не боится? Он, смотри, и ног не жалеет. Да ведь другой парень сколько ни будет ходить, перепахивать ногами снег, ничего не найдет. Потомственный чабан наш сын, вот что. Будто носом чует… А сейчас он прокричал, что на северной стороне того холма, где недавно был оползень, есть на склоне хорошее пастбище. И еще прокричал, чтобы я шел по его следу, а он с

лопатой пойдет мне навстречу, чтобы облегчить путь по глубокому снегу и овцам, и мне, старику.

— Э, не старик, не старик ты совсем! — скороговоркой проговорила Салима. Она не любила возвышенную болтовню. — Вот это и называется, что у вас с сыном стали прорезываться зубы. — Дальше она стала говорить чуть ли не тоном приказа: — Слушай, мерген, если Дардаке правда нашел много хорошей травы, не мучайте бедных овец — не гоняйте их ночевать в кошару. Останьтесь там с ними хоть на одну ночь. Завтра к вечеру вернетесь…

Сарбай покачал головой:

— Ой, жена, что говоришь?! А если замерзнем там вместе с овцами?

— Хо! Будто вы голодные. В горах среди снега разве холодно сытому человеку? Я, помню, маленькой была, и братья мои, и сестры, и я сама в самый большой мороз по снегу босиком бегали. Разве сравняется горный мороз с долинным? Ну, да ладно, учить тебя, что ли… Иди-ка ты лучше в дом, там есть лепешка, испеченная в золе, возьми ее дополнительно к тем, что я тебе положила. Хотела себе оставить, но вам нужнее, а у меня тут всегда найдется, чем наполнить желудок. Зато буду знать — вы там и ночью не останетесь

голодными.

Сарбай не мог не согласиться с тем, что жена права. В самом деле, пока коротконогие животные доберутся до пастбища — измучаются. Неужели гнать их еще такой же длинный путь обратно! Да, да, придется, наверно, заночевать. Он вошел, наклонившись, в низенькую землянку, одна стена которой была срезанным склоном холма, а противоположная являлась частью ограды загона. Так что только две узенькие стенки нужно было поставить да положить на доску сверху земляную крышу, вот и готово нехитрое строение. Одно крошечное окошко, печка, небольшой стол и две низенькие лежанки на земляном полу. Сарбай вскинул на плечо ружье, привязал к поясу кожаный мешочек с коробкой спичек; там же лежали на всякий случай кремень, кресало и фитиль. Спички могут подмокнуть, тогда как добывать огонь?.. Запас пищи, положенной для него и сына, уже лежал в мешке. Подумав, Сарбай сунул за пазуху и ту лепешку, о которой говорила жена. Он надвинул поглубже меховой треух и вышел из дому, как выполз. Вроде медведь из пещеры. За то время, что они находились тут, в горах, не стригся и не брился Сарбай. Борода и усы захватили чуть не все лицо, косматые бро-

ви прикрывали глаза. Выйдя, Сарбай не сразу разогнулся, хотя поясница у него и не болела. Постоял немного, опершись на лопату, посмотрел на жену, на тех несчастных овец, что оставались в кошаре — худых, измученных, — и, махнув рукой, пошел к стаду.

— Не страшно тебе одной будет ночевать, а? — Не дожидаясь ответа Салимы, Сарбай махнул рукавицей козлу-вожаку.

Тот понял и пошел, ведя за собой отару. Сарбай погнал отстающих и тут услышал заботливый голос жены:

— Я-то что, не думайте обо мне. Вот как бы волк не перепрыгнул через ограду кошары… Ну, да ладно. Ваше дело думать о том, чтобы овцы наели себе брюхо. — Сдержанно кивнув на прощание, она отвернулась.

*

Дардаке стоял среди снежной белизны ущелья, опираясь на лопату левым локтем, а правым утирая со лба пот. Красное, обветренное лицо сияло на солнце, — он был рад, что, нашел обильное пастбище. Два месяца назад он даже и не подозревал, что его душу будут веселить такие радости. Вот склон холма, с которого, то ли согре-

тый солнцем, то ли сдвинутый ветром, сполз снег и обнажил большую площадку, густо заросшую желтим перистым ковылем, таким густым и таким мягким, что в нем хотелось поваляться. И дальше, справа и слева, хоть и лежал нетронутый снег, стоило копнуть лопатой — всюду открывалась трава. Сердце в груди билось сильно и звонко. Так бывает, когда победишь товарища на гонках или в борьбе, так бывает, когда удачно ответишь на вопрос учителя и он похвалит тебя и весь класс с удивлением посмотрит — вот, оказывается, какой он, этот Дардаке, умный и... удачливый. Похвала учителя — она ведь не всегда приходит за правильный ответ. Надо еще, чтобы ответ был уверенным, свободным, как любит выражаться подружка его Зейна, — в ы д а ю щ и м с я.

Ой-е! Дардаке все еще по-школьному смотрит на жизнь, оценивает свои успехи. Забыть, забыть надо школу, пореже вспоминать.

Что это такое — помощник чабана, которому колхоз начисляет три четверти трудодня за каждый рабочий день? Что это такое — рабочий день помощника чабана зимой, в горах, на высоте в две тысячи пятьсот метров над уровнем моря? Что это такое — один человек с лопатой в руках, в

желто-сером старом тулупе, в заячьем капелюхе, уши которого болтаются по ветру, как пустые рукавицы? Как посмотреть. Может и счастливым быть одинокий в белом снегу. Пусть товарищей нет у него, пусть перепуталось время — когда спать нужно, когда обедать, когда готовить уроки. Нет точного распорядка у чабанов. Ну, а игры? Все мальчишеские игры забыл за этот месяц парнишка.

Ему четырнадцать лет, он родился в горном кыштаке, не одно лето провел высоко в горах на молочнотоварной ферме. В прошлом году самостоятельно пас коров. И охотником он стал в прошлом году летом — поймал козленка; вот и сейчас у него висит на плече бурдючок из шкуры этого козленка, наполненный овечьим молоком. Прошлым летом он куницу поймал на высоком хребте, куницу, которая крадет яйца из орлиных гнезд. Да, он ее поймал маленьким капканом, а дедушка Буйлаш выработал шкурку, и скупщик «Заготживсырья» уплатил за нее тысячу рублей. Отец смог расплатиться этими деньгами с финагентом, который готов был описать имущество за недоимки… Прошлым летам не только пастухом и не только охотником стал Дардаке — он возил айран из высокогорного аила в долину и в тот

же день возвращался на своем Желтопегом быке высоко и горы. За это ему начислили трудодни и выдали премию.

Но что это мы принялись вспоминать давно известное? Не напрасно ли тратим время? Нет, это нужное дело. Перелистать старые страницы иногда очень даже полезно. Не вспомнив о летних успехах нашего героя да еще, пожалуй, в том, как победил он семнадцатилетнего крепкого парня, разве можно понять, почему стал взрослым считаться Дардаке? Не только он сам, — кое-кто из старших увидел в нем взрослого. Но когда месяц назад поднялся с отцом и матерью сюда, в зимние горы, Дардаке сразу понял, что нисколько он не взрослый… Он ведь никогда не был в горах зимой. Вот ведь какая штука — никогда.

Даже отец его Сарбай и мать его Салима удивились: как так могло случиться, что четырнадцатилетний их сын ни разу не бывал на зимнем пастбище? А удивляться было нечему. Это они на старые времена равнялись. Тогда ведь чуть ли не все киргизы кочевали с овцами. Тогда и школ не было, и больниц в долинах не строили. Теперь кыштак — основное поселение, центр жизни, земледелие стало опорой народа. И вот такой мальчик, как Дардаке, он хоть и не был сыном

земледельца-пахаря или огородника, все детство зимы проводил в кыштаке, учился в школе, жил в теплом доме. Так вот и оказалось, что только в четырнадцать лет впервые поднялся зимой в горы. Плохо, конечно, что оставил школу Дардаке, но тут уж ничего не поделаешь.

На трех волах отвезли нехитрое имущество новоиспеченного чабана-зимовщика Сарбая и небольшое семейство его в горы — к тому месту, где стояла заваленная снегом землянка и еле видна была запорошенная снегом глинобитная ограда овечьего загона. Кругом на десятки километров ни души. Пригнали сюда и овечью отару — четыреста девяносто голов истощенных, еле живых, зараженных чесоткой животных. Тех самых, которых довел до такого состояния пьяница Мамбеткул. Э, да что говорить, не было в колхозе худшей зимовки. И худшей отары тоже не было. Да и на чабана не особо надеялся председатель. Не только вола — собаки не дали Сарбаю, а своей у него не было. Но зато козел был хорош в стаде Мамбеткула! Скорей всего прав был старый Буйлаш, когда сказал Дардаке, что это темное дело: хочет усатый Закир свалить на бессловесного Сарбая грех собутыльника своего Мамбеткула. Слыханное ли дело — отправить на зимовку

нового чабана, старика, без лошади и даже без вола. Сена мало, ой мало, разведанных пастбищ совсем нет. Эта землянка и этот загон невесть когда построены каким-нибудь нерадивым баем для самого нерадивого своего чабана.

Тридцать пять колхозных отар пасутся в ближних горах. И у каждой отары, у каждого чабана есть свое давно известное пастбище. Опытный чабан, зная, где будут зимовать, заранее, еще до того, как уляжется снег, присмотрит склоны и ложбинки, на которых не вытоптана трава, не объедена. Опытный чабан знает, как дуют ветры зимой — где надувают снег, а где слизывают. Много знает чабан. И то, где оползни особо страшны, и то, где спрятать от бури стада, откуда волки чаще всего появляются, — и об этом знает опытный…

На семейном совете, куда и Дардаке был приглашен на равных правах с родителями, решили они, что надо принимать отару. Салима хотела, Сарбай нисколько не хотел, а Дардаке — его гордость подвела. И еще — совесть. А знать ничего не знал Дардаке, в чабанском искусстве нисколько не смыслил. Не больше понимал Дардаке, чем Зейна или сидевший на передней парте Алым. Конечно, дети видели овец, всяких овец, а на уроке зоологии кое-что запомнили: знали, чем

питается овца… Этим летом Чекир пригонял овец, пас их вместе с коровьим стадом. Дардаке видел, как овцы щиплют траву, как сбиваются в кучи. Видел, но ничего интересного и поучительного для себя не извлек.

Нежданно-негаданно стал помощником чабана, такого, который и сам-то не совсем чабан. Когда уехали те, что привезли их сюда, скрылись за горой, остались с отарой в голом снегу Сарбай, Салима и Дардаке. Первый день откапывали землянку, выбрасывали снег из кошары, проверяли печку. Хорошая оказалась тяга, и на том спасибо. Кизяк почти без хвороста мог гореть. И вот на следующий день сказал Сарбай сыну:

— Если мы будем сеном кормить овец, через неделю корм кончится. Я на юг пойду, а ты иди на север. Иди, иди, сынок. Ищи траву.

Дал ему в руки деревянную лопату отец. Дала ему мать испеченную в золе лепешку — больше ничего не получил в дорогу Дардаке. И еще сказал ему на прощание Сарбай, что, как отойдет он на расстояние, с которого нельзя будет отличить крышу их землянки от скал, запорошенных снегом, когда почувствует себя одиноким, пусть попробует голос, пусть покричит, а потом прислушается.

— Ты всегда любил громко петь, теперь надо научиться высоким голосом сообщать друг другу, где мы находимся и что мы видим. А как траву под снегом найти, об этом потом будем говорить. Первый урок — себя не потеряй в снегах. Когда останешься один, прислушайся, хорошо тебе или плохо. Если не родится радость в сердце твоем, уходить надо отсюда.

Был солнечный день, темно-синее небо над половой лежало рваными кусками, искромсанное ледяными пиками страшных в своем величии пустых и далеких ледников. Кое-где чернел высокий лес. Только эти пятна не ранили глаз. Кыштак, что лежит в долине, он ведь тоже давно укрыт снегом. С конца ноября белизна лежала повсюду. Одна лишь проезжая дорога была чуть темнее из-за следов человека, его машин и его животных.

Значит, привыкнуть должен был Дардаке к снеговой белизне? Так почему же тут, в горах, совсем по-другому выглядит снег, почему его блеск так режет глаза?

Перед войной доктора стали советовать чабанам носить темные очки. Ох, и смеху же было! Старики пугались друг друга, собаки лаяли на них. Был, говорят, случай, когда лошадь чабана,

увидев хозяина в черных очках, ускакала от него и, сколько ни звал ее хозяин, не возвращалась, пока не сиял он с лица своего эти страшные черные пятна. Доктора советовали… Но не так-то просто было достать очки. А те чабаны, которые достали, поносили немного и выбросили. Впрочем, кое-кто из молодых привык, и темные очки даже начали кое-где входить в моду. Но за войну все это забылось. Какие уж там очки!

Дардаке вспомнил рассказ учительницы географии. Норвежцы помогали бежать из немецкого плена русским солдатам и вели их через снежные горы в Швецию. И самое страшное было в том, что люди слепли от яркости снежной белизны.

Сарбай об этом ничего не знал, и Салима не знала, и деды и прадеды понятия не имели, что снег портит зрение. И очков не носили не только черных, но и даже и прозрачных. Правду сказать, довольно скоро и Дардаке пообвыкся. Прищурился, и стало ему легче. Он рассмеялся и подумал, что, может быть, потому-то и прищурены глаза киргизов, что многие века смотрят они зимой на яркий горный снег.

Итак, в первый день, отойдя на несколько километров от кошары, остановился Дардаке и стал кричать отца. Но ответа не услышал. Еще покри-

чал, еще прислушался…

Он, посланный отцом, шел сюда без определенного плана, шел без лыж (не приучены киргизы к лыжам), вот его следы в снегу. Там, где он остановился, следы кончились. В горах, на большой высоте, не то что в степи или в широкой долине, — ровным, глубоким слоем снег не лежит. Всегда можно, идя по краю горного откоса, найти мелкие места. Это Дардаке сразу понял. Пройденное расстояние его не утомило, но дышал он глубоко, как усталый человек. А может, как испуганный?

В тот первый день, когда очутился среди заснеженных зимних гор совсем один, когда голос его не нашел ответа, Дардаке вдруг ощутил, как он ничтожно мал среди бесконечной горной белизны. А летом и осенью разве другие здесь горы? Почему никогда раньше не ощущал Дардаке своей ничтожности в горах?

Да, прошлым летом, уходя со стадом коров, он многие часы оставался в одиночестве. Может, со стадом легче? Так ведь он и без стада бродил по горам, подымался туда, где гнездятся орлы, где солнце неспособно растопить снега… Но летняя природа, летние горы — они живут, шумят, дышат. Неужели горы живут? Вот только теперь,

окруженный со всех сторон снежным безмолвием, понял Дардаке, что сами по себе горы мертвы. Летом звери и птицы, бабочки и червяки, цветущие кусты и травы — беспрерывное движение, запахи, крики, стрекотание… В летних горах человек не одинок. Даже поднявшись в ледники, он не может не видеть кипение жизни.

Тут-то и вспомнил Дардаке слова отца: «Когда останешься один, прислушайся, хорошо тебе или плохо. Если не родится радость в сердце твоем, уходить надо отсюда».

С того места, где топтался Дардаке, горы видны были только безлесные. Скалы, красные, серые, черные, кое-где свободные от снега, нисколько не живее были, чем укрытые всеобъемлющей белизной. С высочайших хребтов ветры вздымали к небу снежную пыль, но движение это не напоминало о жизни. Ни голоса птицы, ни шороха зверя, ни шелеста листьев. А горы такие беспощадно громадные, и над ними рваная синева, и в ней неприветливое, холодное солнце.

Снова покричал Дардаке — нет ответа. Потеряться он не боялся, по собственным следам легко найдет дорогу к землянке. Он все смотрел и смотрел, где радость найти. Отец велел траву искать, но при этом сказал, что надо прежде всего

обрести радость. В снежной горной холодной пустыне радость?

Где уж там взрослый! Нисколько он не взрослый — понять даже не может, откуда в снегах радость. Красота? Ой, наверно, очень красиво, но для живого нет места. И все-таки страха тоже не услышал в себе Дардаке, не торопился убежать, присматривался, озирался. Долго. Слушал, слушал — шорох услышал. Далекий и грозный. Кто ему подсказал? Он сразу понял, что с какой-то горы пополз снег, а со снегом, наверно, и камни покатились. Это что, жизнь? Так горы живут. Сами. Без животных, без птиц, без человека. Не жизнь, а смерть несет оползень для того, кто окажется там. Поразмыслив, Дардаке определил направление, откуда пришел звук оползня. Определил, что нисколько не опасен ему. И вот тут произошло чудо. По хребту одной из ближних гор неслышно пронеслась и в минуту исчезла стайка каких-то темных животных. Не зрением, не слухом и не обонянием — чем-то другим ощутил Дардаке, что животные эти — горные козлы кийки. И вот что он еще понял: понеслась эта стайка козлов в ту сторону, откуда пришел звук оползня. Вот когда застучало его сердце от радости. Он открытие сделал, первое свое чабанское

открытие. Кийки знают: когда скатится со склона поры снег, откроется трава. Кийки понеслись в ту сторону, на очистившееся от снега пастбище. Да, чтобы жить, чтобы насытиться и жить.

Значит, нет мертвых гор. Живут кийки, живут и стада архаров, живет под снегом трава. Видеть, понимать, искать и находить — вот радость чабана. И теперь красота и радость этой скрытой жизни так вдохновили Дардаке, что он закричал голосом, еще не известным ему. Правда, правда, не знал Дардаке в себе такого высокого, торжествующего крика.

Он прислушался и уловил ответ отца.

*

Прошло время, и Дардаке научился высоким, тонким голосом сообщать на большие расстояния важные сведения о том, что окружает его. Вот и сегодня, найдя ковыльное пастбище, он прокричал отцу свой кабар и пошел навстречу стаду.

«Эх, только бы добрались! — думал Дардаке. — Несчастные худущие, черти, никак не наедятся, не нагуляют жира». Еще раз оглядел Дардаке, оценил взглядом найденное богатство. Впервые он нашел такое обильное, свежее пастбище. Но беда в том, что овцам придется преодолеть ложбину

с глубоким снегом. Обойти нельзя. Наваленные друг на друга обломки скал круто подымаются по обе стороны, овцы их не одолеют. Одна из ложбин потому так многоснежна, что вчера в нее скатился оползень. Не всегда оползни открывают траву. Дардаке, как и всякий горец, слышал, конечно, как гибли под снежными обвалами и чабаны, и стада овец. Дедушка Буйлаш рассказывал, что был случай — он два дня откапывался и только чудом выбрался на волю. Одно дело слышать, другое — видеть. Этот вот оползень, ничего хорошего не открывший, если бы пошли сюда со стадом позавчера, мог бы их всех придавить. Но Дардаке не это волновало. Мало ли опасностей прошлых и будущих окружают человека. Сейчас надо провести через глубокий снег отару. Коротконогие овцы в рыхлом снегу по глубине не пройдут. Идя по собственному следу, навстречу отцу, Дардаке отшвыривал лопатой снег направо и налево, пробивая коридор. Он топтался, чтобы уплотнить дорожку… Успеть бы, а потом как-нибудь так устроить, чтобы глупые животные не разбрелись по сторонам: в глубоком снегу они потеряют столько сил, что многие не доплетутся до пастбища.

Запыхавшись и взмокнув от работы, Дардаке

чуть не сбросил, по старой привычке, свой тулуп. Работая в кыштаке, он часто так делал. Даже большой мороз его не пугал. Здесь он однажды попробовал, сбросил тулуп. Наработавшись, поднял его со снега, надел на себя и сразу же окоченел. Часа два, не меньше, дрожал и бог знает почему не простудился. Да, вдали от дома на морозе лучше потеть в тулупе, но не сбрасывать его. Погреться пойти некуда, а чтобы костер разложить, нужен хворост.

Пробив коридор в снегу, Дардаке с нетерпением вглядывался вдаль. Что-то долго не идут. Ох и не любил же парнишка ждать! Вот уж не для него это занятие — стоять без дела. Сразу одолевают дурные мысли. Начинаешь вспоминать тепло и уют родного дома. Невольно вздыхаешь. Вот и сейчас он сквозь толщу горных хребтов как бы увидел далекий кыштак, сверкающую железную крышу школы, услышал гомон ребят… В душе его натянулась струна и заныла противным, тоскливым звуком. Наверно, учитель каждый день на перекличке против фамилии «Сарбаев» ставит две буквы: «н. б.» то есть «не был». Сколько уже таких пометок? А может, его исключили из школы? Зейна, что сидела с ним на одной парте, когда он приходил, отодвигалась немножко,

чтобы освободить ему место. Теперь, наверно, рада, что сидеть ей так свободно… А все-таки, может быть, вспоминает о нем, ждет, думая, что придет завтра.

Ребята с молочной фермы жаловались, что далеко от них школа. Отсюда он и за целые сутки не доберется.

Дардаке не знал, что будет так скучать. Он взял с собой учебники (они лежат на полочке в землянке), иногда вечерами их перелистывает, теша себя надеждой, что сам сумеет продвинуться вперед. Вот только пусть немного поправятся овцы… Эх, а ведь был разговор, что побудет он здесь недели две и уйдет домой… Разговор! Чего только взрослые люди не говорят! Стараются и других и себя убедить, а сами прекрасно знают, что ничего у них не выйдет. Может, это и есть главный признак взрослого человека — врать себе и верить?

Здесь надо каждый день ходить, ходить, ходить и ходить в поисках травы для скота. Беречь овец… Какой сейчас год? Какой месяц? Какой день? Снежный год, снежный месяц, снежный день и снежный час! Нет, все-таки помнит Дардаке, что прибыли они сюда в начале февраля и с той поры прошло тридцать пять или сорок суток. Значит,

сейчас вторая половина марта… Ой-ой! Весна! Как же он прозевал? Значит, внизу уже цветет верба? А может, скоро и здесь… Скоро ли? Но снег, пожалуй, и правда вот-вот начнет подтаивать. И может произойти страшное. Да, может начаться самое страшное: подтаивая, снег образует на земле ледяную корку, из-под которой овцы не могут добыть траву. Такое обледенение называется «джут». А джут — это значит бескормица, падеж скота, из-за джута в давние годы гибли с голоду и овцы и люди.

— Дардаш! Эге-гей, Дардаш! — раздался полос отца.

Вот — вошли в ущелье. Кипит желто-серое месиво, блеет, шуршит. Отец далеко сзади, его почти не видно. Впереди стада — черный козел. Зашел по грудь в снег, уткнул бороду в каменный выступ, как бы раздумывая, куда идти дальше. Как бы ожидая приказа командира, остановилось стадо.

Дардаке обнял шею вожака, почесал между рогами. Желтые стрельчатые глаза смотрят в упор, но прочитать в этом взгляде ничего нельзя. Козел не собака, настоящего понимания между ним и человеком не возникает. Но, видно, недаром наши предки козла избрали вожаком овечьего

стада. Козел преданный слуга и верный. Как же так — слуга? Он ведь гордый предводитель. Да, надо делать вид, что признаешь его авторитет, первенство. Гнать козла — вожака стада — нельзя. Приманивать можно. И незаметно направлять…

Дардаке, с тех пор как стал ходить с овечьим стадом, диву давался, как это козел привыкает к чужеродным животным, овцам, приноравливается к их привычкам и возможностям. Вот, например, сейчас. Легконогий козел в несколько прыжков обошел бы по скалам ложбину с глубоким снегом. Глупый, глупый, а понимает, что коротконогие твари, порученные ему, не смогут одолеть крутизны, — вот и сам не скачет по камням, а ищет другого пути. А разве не удивительно, что, если встретится овечья отара с козьим стадом, вожак ни за что не перебежит от своих подопечных, хотя и будет с тоской смотреть вслед родичам. Выходит, и у козла есть сознание? Обняв его за шею, Дардаке показал ему прорытую в глубоком снегу тропу. У парнишки в руках был пук ковыля. Он нарочно нарвал, чтобы приманить вожака. Этот черный предводитель серого войска тоже ведь очень голоден.

— Вожак, вожак, иди за мной — вон там вас ждет большое плато такого вот пушистого вкус-

ного ковыля!

Увидев, а может, учуяв траву, овцы дружно заблеяли. Вожак, вытянув губы, вежливо взял у Дардаке несколько стеблей. Он ничем не проявил жадности. Затряс бородой, как бы говоря, что для пиршества не время и не место, и, пережевывая угощение на ходу, пошел за парнишкой.

Стадо сгрудилось у начала тропы. Глупые серые создания не могли понять, что нужно идти гуськом или хотя бы по двое, по трое, но не лезть кучей. Козел обернулся и оглядел их чуть ли не презрительным взглядом. Так, по крайней мере, понял Дардаке. И тут он сделал то, что делать не следовало: разбросал траву перед овцами. И они заторопились, стали лезть друг через друга, тонуть в снегу.

Парнишка не сразу понял, чем это грозит. Ему даже показалось, что, если пойдут плотным строем, смогут одолеть снег. Тем временем козел и несколько овец уже выбрались на ту сторону ложбины и начали пастись. Козел неторопливо и важно, а овцы суетливо, жадно. Эта картина еще больше возбудила стадо. Как волна набегает на волну, так и овцы полезли друг через друга, затаптывая слабых.

И тут раздался бешеный крик Сарбая:

— Ты что, черт бы тебя взял! Лезь, лезь, в снег, направляй их, не пускай в глубину!.. Дурак, н-ну, дурак!

Забежав вперед, Сарбай стал помогать сыну, оттесняя овец к тропе. Дардаке, весь дрожа от страха, раскрыл тулуп, чтобы казаться шире и создать преграду. Блеющий и визжащий желто-серый поток катился на него, и, если б он упал под напором, овцы прошли бы по нему, как шли они по своим слабым, очутившимся внизу сестрам. Тогда парнишка, забыв о морозе, сбросил тулуп, рискуя тем, что острыми своими копытцами стадо разорвет его зимнюю одежду в клочья. Действуя по наитию, он стал хватать одну овцу за другой и кидать вперед. Так он разобрал плотный сгусток, и тут подоспел к нему на помощь отец…

Вот наконец стадо перебралось через лощину… Все? Нет, нет, не всё. Темными пятнами там и здесь был отмечен пройденный путь. Это лежали бездыханные тельца затоптанных в снег. Сколько их? Дардаке боялся считать. Десять? Двенадцать? Двадцать? Но вот одна шевельнулась, другая…

— Хорошо, что завал недавний, снег мягкий, — сказал Сарбай, — оживут. Может, поболеют немного… Вытаскивай, помогай им подняться!.. Ой, сынок! — Сарбай просиял лицом. — Ой, до-

рогой мой сынок, оказывается, нам повезло. Ты нашел очень-очень хорошее пастбище. Смотри, как эти бедные хрупают, не поднимая головы… Видишь, у них мигом ожила на спинках шерсть. Эх, голод не шутка. Мы удивляемся скотине, а ведь от голода и человек становится страшным, давит других, нападает на брата и сестру, на мать и на отца. Голод лишает человека и чести, и стыда. Видел бы ты, как голодали мы в рабочем батальоне на Урале. Остались от нас кожа да кости. Жидкий суп, всякая там трава без мяса, хлеб из мякины, да и то кусочек размером с полладошки. Эх-хе-хе! Оказывается, если продолбить кору уральской березы, можно выдоить из дерева сладкий сок. Мы пили его, сцеживали в кружку… Мы шатались, тощие и слабые, как эти овцы… Но мы-то хоть знали, что помогаем фронту, нас поддерживала вера в победу. Этим человек отличается от скотины… Но я тебе расскажу, как однажды железнодорожный состав с новыми танками, только выйдя из ворот завода, сошел с рельсов. Это было в конце лета, среди приусадебных участков пригородного селения. Нас повели восстанавливать насыпь. Вот какое дело было, сынок. Танки легко сошли с платформ поезда, им ничего не сделалось. Танкисты, чтобы облегчить

состав, свели их с насыпи, и покатились эти чудовища по огородам, взрыхляя грядки и подминая картошку… Нас послали чинить насыпь, а мы всё забыли, увидав свежие клубни. Друг на друга полезли. Мы и за пазуху, и в карманы, и в шапки, и в сумки — всюду старались напихать картошку. Бабы подняли крик, но разве могли мы удержаться?.. Да, и человек может потерять способность владеть собой… — Он неестественно рассмеялся: — М-м, хороша уральская картошка! Не то что наша, горная. С той ворованной картошки у нас сразу появились силы…

Долго бы еще рассказывал Сарбай, но вдруг заметил, что овцы разбрелись по всему склону.

— Э-э, Дардаш! Развесил уши! Если позволим овцам туда-сюда ходить по всему пастбищу, они вытопчут его в два дня. Не столько съедят, сколько потопчут. — Он размахивал полами тулупа, сгоняя овец. — Вот видишь тот куст? Дальше не пускай. Когда не останется на ближнем участке ни травинки, тогда погоним их дальше. Надо, чтобы не ленились, копали снег. Сейчас они стараются ухватить ту траву, которая на виду торчит. Пусть работают, пусть не по выбору, а все подряд выедают. И надолго хватит, и не будут зря тратить силы на беготню, жиреть начнут.

Дардаке с удивлением и с уважением слушал отца. Летом не приходилось задумываться, хватит или не хватит. Куда ни глянь — всюду зеленый ковер. Зимой, оказывается, надо экономить не только то, что видно тебе, но и скрытое от глаз под снегом.

Надев тулуп, почти не пострадавший от копыт животных — снег и правда был очень мягким, — Дардаке с удивлением заметил, что поверхность его теплая. Ой, значит, солнце греет? Значит, зима отступает? И, хотя не забыл Дардаке об угрозе джута, его мальчишеское сердце возликовало. Откуда только взялись у него силы! Схватил лопату и пошел-пошел кидать снег, укладывал его по линии, которую отец определил как границу сегодняшнего пастбища.

Сарбай тем временем прилег и, опираясь на локоть, с недоумением глядел на сына. Ему, старому, казалось, что только покойный отдых снимает усталость.

— Сынок! — сказал он с ласковой укоризной. — Ты что, неужели обратно решил нагрести ка гору сползший с нее снег?

— Нет, папаня, — ответил парнишка, продолжая работать лопатой. — Вот сделаю дувал из снега — овцы через него не полезут.

Сарбай, почесывая черным твердым ногтем бороду, рассмеялся:

— Ох! Когда только бросишь игры? Порой ты кажешься мне взрослым и серьезным человеком, а иногда вот такой… ну прямо малый ребенок! Нет, нет, я не сержусь. Играй, постреленок.

Сейчас, когда овцы мирно паслись, легко находя припорошенную снегом траву, когда старый чабан полеживал, подставляя прищуренное лицо солнечным лучам, когда мальчишка играючи бросал лопатой снег, все здесь казалось мирным, простым и легким. Какая уж это работа! Под чистым небом, среди величественных гор, вдыхая целебный воздух, гуляют, отдыхают счастливые и беззаботные люди.

Сарбай и впрямь был счастлив. Общение с сыном доставляло ему постоянную радость. Сейчас он смотрел на него, как смотрим мы, улыбаясь и восхищаясь, на котенка, играющего с клубком, или на щенка. Ему захотелось приласкать парнишку.

— Ну-ка, подойди… Что смотришь? Подойди, подойди ко мне! — Сарбай сунул руку за пазуху, показывая край лепешки. — Кому это мама прислала теплый, румяный хлебец?!

Дардаке и правда стал сейчас похож на щенка,

которого приманивают лакомым кусочком. Он стал принюхиваться и скосил глаза — вроде бы сделал стойку. Не первый раз отец с ним так играл: покажет, а потом не даст, только подразнит. Значит, у него хорошее настроение и чувствует себя неплохо.

— Ну иди же, иди же!

Дардаке мотнул головой:

— Знаю тебя, обманешь!

Сарбай еще больше развеселился и, вобрав голову, как черепаха в панцирь, в свой широкий тулуп, прошамкал из глубины:

— Ш-што я тут наш-шел! Ням-ням-ням! Румяный хлебец. Его спекла кому-то его мама в горячей золе овечьего помета! Ням-ням-ням! Ох и вкусный же хлебец!..

Дардаке невольно почувствовал острый, сосущий голод, но условия игры не позволяли сразу кинуться к отцу.

— Э-э-э! — кричал он отцу. — Не поймаешь, не обманешь меня! Кукиш дашь, да?!

— Ням-ням-ням! Не веришь — не надо, наемся я сам.

У Дардаке блестели глаза, рот наполнился слюной. Притворно обидевшись, он отвернулся, но так захотелось отведать ему хлебца, что лопата

выпала из рук и он побежал к отцу. А тот свернулся в снегу, как еж, и фыркал, фыркал в ворот тулупа. И фыркал и чавкал — делал вид, что старается поскорее сжевать хлебец.

— Ой! Разве это отец родной!? Это волк злой, недобрый, нехороший… Я спозаранку хожу, ищу пастбище, копаю снег, работаю как во-ол, а он не дает… ничего мне не дает и лопает сам!

Дардаке притворился плачущим, но Сарбай скрутился еще плотнее. Тогда, потеряв терпение, парнишка стал тянуть ворот тулупа, открывая лицо старика. Он дергал, толкал, бодался и, кажется, даже понемногу начинал злиться. А Сарбай все дразнил и дразнил:

— Эх, ты! А еще хвалишься: «Я батыр, я балбан-силач, всех побеждаю — руки-ноги ломаю!»

И тут, даже для себя неожиданно, Дардаке нагнулся, подхватил обеими руками старика отца и поднял его, как поднимают малого ребенка. Поднял и начал крутить:

— Раскручу и заброшу! Дай хлеба или за гору тебя заброшу!

Правду сказать — испугался Сарбай. Такой силы не ждал он в сыне своем.

— Э-э! Сдаюсь! С ума сошел! Надорвешься, дурной!

— Давай хлеба! Давай, грабитель, басмач!

Они уселись в сугроб, отец разломил лепешку пополам, и вот принялись они жевать наперегонки со своими подопечными овцами. Те хрупали желтую подснежную траву, а они — румяную, присыпанную золой лепешку.

*

Наевшись вкусного хлеба, Дардаке поднялся, отряхнулся и с важным видом, будто собравшийся в бой предводитель батыров, четким шагом двинулся к накиданной им снежной гряде. Протянув руку и повелительным жестом указывая на что-то, он произнес:

— Эй ты, Сарбай в своем тулупе, не сиди, как пестик в ступе. Стой, как зоркий часовой, твоя армия с тобой! Помни, если нападут… — Он хотел продолжать рифмованными стихами, но смешался и стал говорить прозой: — Ты командир курчавого войска, твоя обязанность следить за ним, не пропускать его через северную границу! На южной границе — вот ты сейчас увидишь чудо — я поставлю особого и грозного стража, каких еще не было в Поднебесных горах.

Дардаке промаршировал к южному склону пастбища и принялся за какую-то таинственную

работу. Он что-то копал, катал, лепил… Сарбай смотрел, смотрел, но ничего не понял. Скоро ему надоело, он продрог и пошел сгонять овец, забредших слишком далеко. Подняв ворот тулупа, старик медленно ходил, стараясь поворачивать спину к солнечным лучам. Солнце грело уже ощутительно, вызывая дремотную слабость во всем теле, а в душе — озабоченность.

«Э, ладно, — успокаивал себя Сарбай. — Будь что будет. Хуже всего, что председатель нас тут совсем забыл. Если начнется джут, без помощи нам не обойтись. Проклятый Мамбеткул — скормил овцам чуть ли не все заготовленное сено! Есть же такие безответственные люди! Если так любит водку, пусть бы губил себя, свою семью, но какое он право имеет уничтожать достояние народа, то, чем живут сотни и тысячи! Этот вот глупый черный козел — в нем больше рассудительности, чем в некоторых людях».

Сарбай долго вглядывался в дальние горы, пытаясь по форме плывущих у вершин облаков определить, какие их несут ветры, чего ждать в ближайшие дни — тепла или мороза. Он уже твердо решил, что этой ночью они к кошаре не вернутся. Так хороши здесь травы и так хорошо пасутся овцы, что отрывать их — гнать, а потом

возвращать — значит потерять многое. Да, хорошо пасутся, спокойно, неторопливо. Как-никак и эти ничтожные создания способны оценить и взглядом измерить величину пастбища. Хватит надолго — можно не жадничать, не хватать, а понемногу, спокойно насыщаться.

«А Дардаке все возится и возится со снегом. Что задумал озорник? Наверно, скучно ему тут. Надо ж так — и ростом и силой он уже мужчина, а в душе все еще дитя... С малолетства привык к труду, потому-то, наверно, даже играя, что-нибудь лепит, копает. Э, светик мой, как говорится, забава медведя — каменная запруда. Не стану тебе мешать. Только такие, как я, те, которым перевалило за полсотни, сидят спокойно или медленно ходят. А в тебе норов необъезженного скакуна. Если вспомнить, так и я в твоем возрасте минуты не мог устоять на месте.

— Папа! — крикнул Дардаке и перешел на торжественный тон: — Слушай ты, стоящий в дозоре на северной границе, Сарбай Бекбоев! Повернись сюда! Приветствует тебя дозорный южной границы дед-мороз Белов.

Сарбай, хоть и рассмеялся, услышав повелительный голос сына, пройдя тридцать шагов, увидел что-то такое, что поразило его. Ну и ну!

Перед ним возвышалась не простая снежная баба, какие лепит детвора, а что-то похожее на силосную башню с глазами, широким ртом и ковыльными усищами. Страхолюдина, от которой хотелось бежать. Вместо глаз Дардаке воткнул голыши, рот прорезал лопатой и насовал в него красной глины — не поленился слазить за ней на гору. Приглядевшись, Сарбай увидел, что у снежной глыбы есть и руки, очерчены и ноги…

Дардаке с ревностным вниманием следил за тем, какое впечатление произвел на отца. Он готов был и радостно рассмеяться, и начать оправдываться.

Сарбай покачал головой:

— Если бы наши овцы были хорошо упитанными, ей-богу, при виде этого страшилища удирали бы вовсю. Смотри-ка, смотри — у них и сейчас испуганные глаза.

Дардаке, вспомнив школьные забавы, соорудил эту снежную бабу вроде бы так, для развлечения. Но была у него надежда, что этот хоть и неживой пастух поможет им стеречь стадо. Ведь отпугивают чучелами птиц с ячменного поля, так почему же нельзя овец удержать в определенных границах, поставив таких вот снежных чабанов?

— Попробуй, папа, погони их в эту сторону. Вот

увидишь, не пойдут… Ур-ра, не идут! — Он захлопал и ладоши. — Мой снежный человек годится в караульщики!

Глядя на сына, и Сарбай радовался. Даже ему, старому, захотелось что-нибудь придумать…

— Э, а что ж ты ружье не дал своему солдату? Ну-ка, сунь ему в руки лопату — тебе она пока не нужна. Вот и солнце садится — пусть до утра с винтовкой на плече оберегает и нас, и стадо!

Дардаке заулыбался без слов. В ночном карауле теперь их будет трое. И, хотя снежный человек не сдвинется с места, в темноте он будет казаться еще более страшным.

…Горные сумерки коротки. Хоть и долго виднеются горящие красным пламенем далекие оледеневшие пики высочайших вершин, света они не дают. Небо все глубже, бархатная синева золотится точками звезд и чернеет, чернеет. Овцы пока еще видны. Еле-еле двигаясь, они продолжают щипать траву. Как люди, которым грозит наступление раннего снегопада и они вечерами и ночами убирают хлеба, так и эти накопители шерсти и сала, получив обильный корм, готовы без устали выполнять единственную свою обязанность — жевать, жевать, жевать.

Отец с сыном, часто покрикивая, чтобы не

потерять друг друга, беспрестанно ходят кругом отары. Мороз крепчает. На закате теплый ветер из долины согрел их, но, как только солнце село, ветер прекратился, и заснеженные отроги, казалось, стали сдвигаться, неся с собой леденящее дыхание. Отец ходил медленно, и, пока делал один круг, Дардаке успевал пробежать навстречу ему три круга. Ночевки со стадом не то чтобы пугали его, но никак не мог парнишка привыкнуть к удручающей грозной тишине ночи.

Ах, как хорошо, если пастбище поблизости от леса! Тогда наберешь хворосту, наломаешь сучьев… Одно то, что дело это требует движения, горячит и заполняет время, разгоняет страх. А уж когда распалишь костер, никакая ночь не страшна, о волках даже не думаешь. Пусть бы пришли — интересно посмотреть, как в свете костра сверкают их глаза. Но тут не из чего сложить костер, не на чем согреть чайник и, напившись горячего чаю, отогреть душу. Остается одно — ходить.

Ходить еще потому хорошо, что шуршит снег под ногами. Шуршит и скрипит. Чем быстрее ходишь, тем слитнее шум собственных шагов и уж не так пугает ночь.

Отец и сын, встречаясь, теперь уже не шутили. Оба останавливались и прислушивались.

Эх, хоть бы луна! При луне крадущиеся шорохи ночи не так страшны. Хорошо хоть не закрыто небо тучами. Но свет звезд ничтожен. Толпы их как разбежавшиеся овцы. Смотреть за ними и одновременно прислушиваться невозможно — никак не сосредоточишься. Ох уж эти ночные шорохи! Были бы поблизости деревья, можно бы подумать, что белка проснулась и прыгнула с ветки на ветку, что ветка освободилась от снега и прошуршала, задевая другие. Здесь, в пустых горах, мороз и потрескивания — тихие-тихие — кажутся, всегда кажутся крадущимися шагами зверя. А может, и многих зверей — стаи волков.

Дардаке не говорил отцу о своих страхах, он таил их в глубине сердца. И отец, если даже опасался нападения, слова «волки» не произносил. За ночь два или три раза подымал ружье и стрелял в воздух. И всегда после выстрела было слышно, что кто-то убегает. Если днем выстрелить — такого звука, после того как замолкнет ружье, не бывает. А ночью…

Вот так, встретившись и постояв, отец с сыном постараются увидеть глаза друг друга, иногда перебросятся ничего не значащими словами, а то и молча разойдутся…

Под утро овцы вдруг забеспокоились, тревожно

сбились и всей массой двинулись к югу. Двинулись, но тут же и остановились. И, как ни страшно было Дардаке от этого непонятного движения, он неожиданно расхохотался. Оказывается, стадо сгрудилось у подножия снежного человека, как бы поверив в грозную его силу, в то, что он лучший их защитник.

— Сынок! — вскрикнул Сарбай удивленно и встревоженно. — Ты что? Почему хохочешь?

— Смотри, к снежному человеку прибились…

— Брось, брось, оставь это баловство. Овцы зря не сбиваются. Ну-ка, обеги кругом, у тебя ноги резвые и глаза проницательнее моих.

Зачем обегать? Что он сможет сделать, если даже увидит волка? Схватить его за хвост? Но Дардаке и не подумал воспротивиться отцовскому приказу. Он побежал, как тренированный солдат, размахивая руками и высоко задирая колени. Запыхавшись, вернулся к отцу. Хотел честь отдать, но во время опомнился. Не время сейчас, не время для шуток.

— Даже мышонка не видать, — сказал он отцу. — Овцы сами себя пугают.

— Может быть, может быть, — вздыхая, откликнулся Сарбай. — Только помни, что во второй половине ночи волки набираются смелости.

Первые часы бродят вокруг и щелкают зубами, подзуживая самых сильных... Ох и трусливое же племя волки! Нисколько не смелее овец. Овцы — те сразу кидаются на траву, не ходят, не раздумывают. Для волков овцы та же трава: защищаться не умеют. Теперь, когда в стаде два-три барана и всего один козел, никто их, кроме нас с тобой, не защищает. Но думаешь, не было бы нас — волки бы сразу напали? Так бы и ходили вокруг, пока старший не скажет: «Ребята, а скоро рассвет, смотрите, будет поздно!» И тогда самые отчаянные кинутся, а за ними вся стая. Потому-то, сынок, под утро нужно быть начеку.

И снова Дардаке обежал отару. А когда закончил круг, отец спросил его:

— Как ты думаешь, волки полезны овцам?

Дардаке рассмеялся.

— Подумай, подумай, раньше чем смеяться, — сказал Сарбай.

— Думаю, думаю, папа. Разве может быть полезен разбойник, нападающий на мирных людей?

— Видишь, как наши овечки сгрудились, прижались друг к другу. Что их заставляет? Страх перед волками. А прижавшись друг к другу, они сохраняют тепло, греются и не гибнут от ночного холода. Значит, и польза есть от хищных зверей.

Сарбай замолчал. И тут раздался протяжный жуткий вой. Впервые за всю эту зимовку отец с сыном услышали волчий вой так близко. Дардаке невольно прижался к Сарбаю, но тот его резко оттолкнул:

— Ты что, овца? Греешься? Беги кругом и кричи, отпугивай их криком, а я буду стрелять. — И, перезарядив ружье, он выстрелил в плотную черноту ущелья.

Там что-то шевелилось, теснилось. Казалось, что в той стороне еще одна отара. Да, что-то живое там было. Сарбай достал из кармана спички и подпалил факел — намотанную на палку, пропитанную керосином тряпку. У них мало было керосину. За все время он впервые пустил в ход факел. Понес высокое коптящее пламя навстречу темноте. Там что-то повизгивало, рычало, возилось и вдруг… исчезло.

Сарбай облегченно вздохнул.

— Э, Дардаш, — сказал он подошедшему сыну, засовывая факел в снег, — видишь, правду тебе говорил — трусливое зверье волки. Если б пас ты не овец, а волков, плохо бы, трудно тебе пришлось… Ой, плохо живется волкам! С каждым годом хуже. В годы войны, когда женщины пасли овец, они осмелели, а теперь потеряли былую

наглость… — Говоря так, бодрил себя старик, да и сына приучал к спокойствию. — А все-таки, — неожиданно кончил он, — паршиво, когда у чабана нет собаки. Хоть бы одна. Громким лаем пугала бы волков. Да и у тебя, Дардаш, появился бы хороший, веселый друг. Может, научил бы тебя лаять, кусаться.

Тем временем загорелись под солнечными лучами дальние остроконечные пики. Солнце еще не скоро придет, а там уже гуляют его лучи. Понемногу гасли звезды, снег начал искриться, и серый предутренний свет раздвигал горы.

Волчьи следы подходили совсем близко. В снегу Сарбай увидел капли алой крови.

— Застрелил, застрелил одного, убил! — восторженно закричал он.

— Правда, думаешь, убил? — с недоверием спросил Дардаке.

— Почему спрашиваешь, почему сам не смотришь? Если бы только ранил, кровавый след, пятнами или струей, рядом с отпечатками лап был бы виден. А тут смотри — вот борозда в снегу. Стая утащила, уволокла убитого волка. Будет время — пройди в ту сторону и увидишь растерзанный труп.

Так отец давал Дардаке уроки наблюдательно-

сти. Парнишка с жадностью впитывал обрывки знаний. Раньше он довольно часто расспрашивал отца о том или другом, но Сарбай не умел говорить по заказу. Случалось, даже терялся от вопросов сына, отшучивался или отмалчивался. И теперь Дардаке не расспрашивал отца, но, когда тот сам заговаривал, не перебивал.

На рассвете в горных ущельях рождается холодный ветер. Каждое утро так. А почему? Недели две назад Дардаке пробовал спросить об этом у отца, И тот такой дал ответ:

— Зачем тебе знать? Какая тебе разница? Утром холодный ветер — загоняй овец под защиту горы. Ты чабан. Не о ветре думай, о своих овцах думай!

А когда парнишка, вспомнив рассказ учителя, стал объяснять, что разогретый утренним солнцем воздух долины подымается и на его место как бы стекает холодный воздух из горных ущелий, куда еще не проникли солнечные лучи, отец слушал, слушал и даже плюнул с досады:

— Неужели этому учат в школе? Подымается, опускается… Посмотри-ка вот на стадо — можешь отличить одну овцу от другой? Не можешь! И я не могу. А хороший чабан — как хороший учитель в школе своих учеников — по имени может назвать. Мы с тобой, не забывай об этом, из племени

униженных…

Да, лучше не затевать с отцом подобных разговоров, лучше ждать, пока он сам начнет. Иначе обязательно припутает своих любимых униженных. Но с той поры Дардаке часто упорным взглядом подолгу всматривается в стадо, стараясь найти приметы каждой овцы, научиться отличать их и понимать. Пока это ему еще плохо удается…

Этим утром дул резкий ветер, но отец с сыном так набегались за ночь, что не почувствовали холода. Дардаке с тревогой оглядывал одну за другой начинающих разбредаться овец. Все были живы, кажется, даже повеселели, бодрее стали. Вот ведь как — суток не прошло с той поры, как выбрались на обильные корма, а уж повеселели и окрепли. Эх, дать бы их поесть вволю!.. Парнишка сделал сегодня еще одно наблюдение. Если в кошаре ночуют овцы — многие, а то и все, подолгу лежат на земле. В эту ночь ни одна не легла. От страха перед волками или от жадности? Полезно это им или вредно? Отец прав — плохие они чабаны, мало знают, мало помогают своим подопечным.

Дардаке не чувствовал усталости, бессонная ночь возбудила его, он и голода не чувствовал. Но

в теле появилась новая, какая-то неведомая ему дрожь. От холода так не дрожат. Все его злило. Он посмотрел на своего снежного человека и с досадой отвернулся. Как мог он вчера столько сил потратить на эту глупость? И окружающая красота не затрагивала его душу, не вызывала в нем радости… Отец, закутавшись в тулуп, улегся в мягкий снег в защищенном от ветра месте. Солнце ярко светило на него, и Дардаке отчетливо увидел на тулупе швы заплат, потертые места, пятна. До слез жалко стало отца. Все на ногах — все четыреста восемьдесят овец и он, сын этого человека. А тот, который над ними и должен быть самым сильным, свалился. Парнишка боялся, что отец простудится, но, услышав, как громко и сладко он храпит, не решился его разбудить. Стоял, смотрел, ждал. Прошло минут десять, отец неожиданно поднял голову и как ни в чем не бывало сказал:

— Сынок, мне приснился хороший сон — аллах, оказывается, хочет исполнить наши желания. Я видел наших овец сытыми и жирными. Похоже, что они благополучно перезимуют и у них хорошо пройдет окот. — Он потянулся, медленно поднялся, стряхнул с себя снег. — Вот и ночь провели мы с тобой спокойно, сберегли стадо, не

подпустили хищников… Ну-ка, ну-ка, Дардаш, что сейчас надо делать?.. Подумал ли ты, как там наша мама со слабыми чесоточными овцами? Не хочешь ли сбегать домой попить горячего чайку и поесть? Беги, беги! Пусть мама накормит тебя, поспи немного… И скажи ей, чтобы принесла и мне хоть чего-нибудь положить на зуб. А когда она вернется и покормит тебя обедом, вот тогда сменишь меня. Тогда и я отдохну. Пастбище большое — следующую ночь мы тоже проведем здесь с овцами.

*

Дардаке, хоть за ночь он ни на минуту не сомкнул глаз, домой мчался во весь опор, веселый, радостный. Как вдруг… Что это? Калитка открыта настежь, кругом пусто. Он заглянул в кошару — и… не увидел ни одной овцы. Несчастье? Беда? В глазах зарябило, ноги задрожали. Отец говорил, что дома в загоне осталось одиннадцать слабых чесоточных овец — за ними ухаживает, лечит их, кормит их мама. Где же они? Где мама? По следам ничего определить нельзя — снег кругом вытоптан. Наверно, разбрелись. А может, пали от мороза… А может, всех утащили волки? Ой, ой, мы несчастные, невезучие, из племени уни-

женных! Бедный отец, что станет с ним? Как мы покажемся на глаза людям?!

Парнишка вскарабкался на стену кошары и оглядел все вокруг. Что он надеялся увидеть? Тут только он догадался глянуть на дверь землянки. Дверь была плотно закрыта, снаружи в железной петле не торчала палка. Волки навалились на калитку, утащили овец, а она… Неужели и правда могла не услышать?

Будто петух с насеста, слетел с ограды Дардаке. Кинулся к двери, дернул… Заперта изнутри. Он забарабанил кулаками по доскам и заголосил:

— Ма-ма! Ма-ма! Открывай! Открывай скорее! Ой, ты даже и поверить не сможешь, какое у тебя горе! Ну что же ты, мама, мама!

Салима прислушивалась всю ночь к доносившимся издали крикам и выстрелам. Под утро ее подкосил сон. Громкий стук, плачущий голос сына сорвал ее с постели. Кое-как накинув на себя кацавейку и вся дрожа, она босиком подбежала к двери, готовая к ужасным новостям.

Руки у нее дрожали, она никак не могла отодвинуть щеколду.

— Сейчас, сейчас, светик мой… Ой, нечистый меня попутал, я заснула и не встретила тебя…

Наконец ей удалось отворить дверь. Она чуть

не упала на руки сына.

— Что, что? Говори скорей!

При виде растрепанной босоногой фигуры матери Дардаке еще больше испугался.

— Овцы… овцы… — бормотал он.

Салима, готовая с горя расцарапать себе лицо, уже подняла руки со скрюченными пальцами.

— Ой! Ой! — вопила она качаясь, как это делают мусульманские женщины, оплакивая покойников. — Что? Скажи наконец — волки их съели? Что с отарой, что с овцами? Ты кричал «овцы», «овцы». А теперь молчишь? Свалился на вас оползень? Отца раздавило камнями? Ну, что ты молчишь?

Все это происходило в дверях, мать даже не отворила их широко, не спустила сына, совсем потерялась. Ее вопросы поразили Дардаке. Почему она спрашивает об отаре, об отце?

— Очнись, мама! — Дардаке взял ее за локти и вместе с ней зашел в крошечную землянку… Окошко было завешена. Когда закрылась дверь, нельзя было ничего разглядеть.

— Ты спрашиваешь об отце… У нас все в порядке, мама!

— Как так?

Дардаке тем временем почувствовал резкую

вонь и, освоившись с полутьмой, увидел, что в углу, за печкой, стоят, сбившись, те самые несчастные чесоточные овцы, которые были оставлены на попечение матери. Отодвинув резким движением занавеску, Дардаке неестественно, со слезами в голосе рассмеялся. Овцы все выпучились на него, как бы говоря: «Ну, что ты, молодой хозяин! Господь с тобой, неужели заботливая Салима-апа могла бросить нас без присмотра в холодной кошаре? Она замечательная женщина, твоя мама, мы таких и не видели. Слыханное ли дело — впустила нас, провонявших креолином, в дом и не стала топить печку, чтобы мы не пропали от духоты и жары. Ты ведь знаешь — зимой нам нельзя долго находиться в жаре… Она и сена нам не пожалела и каждой дала по две пригоршни ячменя…»

Сбросив тулуп, Дардаке, обессилев, шлепнулся на постель. Сорвав с себя свой заячий капелюх, он с силой хлопнул им об пол. За этим жестом обычно следуют бранные слова, но Дардаке ругать мог только себя. Он от испуга, от страшного испуга бил в дверь, а потом своим плачем напугал мать.

Салима, обычно вспыльчивая, сдержала гнев. Она смекнула, что сын ее утомлен бессонной ночью. Стараясь казаться веселой и доброй, она

застелила постель, разожгла печку, умылась, привела себя в порядок и, подойдя к Дардаке, погладила ему волосы:

— Дардаш, э, Дардаш! Ты уснул, что ли, маленький мой? Ой, да ты, я вижу, горюешь! О чем? Радоваться, радоваться надо. Ничего ведь не случилось. Пройдет время, мы с тобой, вспоминая, как напугали друг друга, будем людям рассказывать и вместе с ними хохотать... Ну-ка, ну-ка, подними голову, помощник чабана! Погляди на свою маму! — Она взяла его за подбородок и вдруг отдернула руку. — Эй, парень, да ты, смотри, колешься бородой! Я чуть ладонь не поцарапала!

Дардаке невольно улыбнулся. И мать и отец подшучивали над ним, когда он сухой бритвой срезал с лица те несколько волосков, что росли у него на верхней губе и на подбородке.

Дардаке порывисто обнял мать, хотел поднять ее, но голова закружилась, подкосились ноги, и он упал на постель.

Салима вскочила:

— Ой, дорогой ты мой! Разве можно баловаться такому усталому! Я ведь слышала, как этой ночью вы отстреливались от волков. Трудно вам пришлось. Попей горячего чайку, раздевайся и ложись. Без отдыха никто не может, даже волки

и те сейчас спят. Ложись, ложись… Разденься, поспи как следует.

Дардаке уже спал. Салима стягивала с него сапоги, упершись ногой б стену. Пришлось поворачивать его, чтобы снять ватные штаны, подсунуть под голову подушку. Он только мычал. Часа три Дардаке спал глубоким сном. Он мог бы, наверно, спать без просыпу десять часов, двенадцать. Но вот удивительно — к обеду, то есть часам к одиннадцати утра, примерно к тому времени, которое назначил как срок окончания его отдыха отец, Дардаке раскрыл глаза и сел.

— Мама! — сказал он так, будто продолжал начатый разговор. — Там, у стены кошары, я оставил мешок, набитый свежим ковылем. Угости этих тощих вонючих. Я для них принес. Их здоровые подруги с таким аппетитом бросались на этот корм, что я решил — надо и больных попотчевать.

— Ладно, сыночек, ладно, успеется! Одевайся. Вот стоит на столе кастрюля с ячменной похлебкой — ешь досыта.

— А папа?

— Пока ты спал, я уже побывала у него, покормила горяченьким. Ешь не спеша, но и не засиживайся. Отцу надо прийти сюда отдохнуть

и успеть засветло вернуться к тебе на пастбище. А он ведь ходит в пять раз медленнее тебя.

— Что ты, мама! — весело закричал Дардаке. — Теперь не впятеро, а только втрое. Это в кыштаке, когда папа был скотником, он еле-еле ползал, а сейчас молодец.

— Ладно, хватит болтать! — с обычной резкостью прервала сына Салима. — Разве мало мы с тобой смеялись и шутили утром? Настало время работы.

Дардаке покосился на мать и зачерпнул из кастрюли большой деревянной ложкой жиденькую ячменную похлебку.

*

И вот ярко вспыхнула дружная весна. Еще вчера мороз сковывал льдами все ближние горы, как вдруг в первой половине нового дня Сарбай и Дардаке, навострив уши, уловили необычные звуки. И справа и слева неслись к ним тяжелые вздохи опадающего, проваливающегося под своей тяжестью снега. Зазвенели голосистые струи, откуда ни возьмись, явились быстрые стайки птиц. В этот день и цвет неба изменился — голубизна его стала чуть более тусклой и по краям отсвечивала дрожащей желтизной. Вкус воздуха

стал другим. Дардаке не просто дышал, а как бы хватал ртом, стараясь набрать как можно больше влажного душистого воздуха ранней весны. Ветры кидались со всех сторон и трепали его, шумы оползней то и дело пугали его. Вся природа была напряжена, и Дардаке почувствовал в себе новые, неведомые силы и желания. Повсюду ему мерещились опасности, и он то и дело поглядывал на отца, не решаясь обнаружить перед ним свои страхи.

Сарбай стал медлительным, влажный воздух весны давил его. Опасливо поглядывая на небо, он сокрушенно качал головой, вздыхал, охал, но сыну своих дум не поверял.

После полудня откуда-то явился туман. Холодный и сырой, он облепил лица мокрым, вязким налетом, в воздухе стали летать мокрые бисеринки, а через минуту с неба повалил обильный тяжелый снег. И уже не было гор, исчезли даже самые близкие скалы, все заглохло, мягкая ватная тишина заткнула уши. Хлопья снега опускались сплошной завесой — крупные, как перья, липкие, ощутимые на вес. Дардаке в первую минуту забавляла такая неистовость природы. Но вдруг он понял, что в мягкой ласковости снегопада таится какая-то новая угроза. Вслед за горами и скалами

пропали, как бы растворившись в снегу, овцы — вся отара. Вот еще минуту назад Дардаке видел отца, а сейчас не стало и его.

— Сюда, сюда! — Голос отца доносился откуда-то справа.

Дардаке поспешил на его зов.

— Ты видишь? — говорил отец глухо. — Посмотри, посмотри на этих несчастных…

То ли снегопад стал немного реже, то ли зрение постепенно привыкало. — Дардаке разглядел сбившихся животных. На спинах их лежали желтовато-белые бугорки, по бокам струилась вода. Повеяло холодом, и на шерсти животных повисли ледяные бусинки.

— Ох, бедолаги! — продолжал Сарбай. — Такой снег они даже не могут с себя стряхнуть. Как бы не было беды… Давай-ка, давай! — закричал он вдруг и засуетился. — Надо гонять их, гонять. Будут стоять на месте — простудятся. Стряхивай с них снег, очищай чем можешь.

Врезавшись в толщу сбившегося стада, они растаскивали животных, расталкивали, но те снова собирались в кучу. Рукавами, полами тулупов, а потом и шапками чабаны старались сбросить со спин овец смерзающийся снег.

Сколько длилась эта борьба? Час, а может, и два

часа. Снег валил и валил, отец с сыном готовы были упасть от усталости тут же, в гуще стада. И тут над головой неясно обозначился огромный желтый шар, а через минуту туча рассеялась, а шар превратился в обыкновенное высокое солнце, окруженное чистой синевой. Только здесь, высоко в горах, погода меняется так быстро. Исчез мороз. Все сверкает, и бегут по лицу мокрые струи, и опять шумят под снегом приглохшие было потоки.

Отец и сын стояли рядом и тупо смотрели на серо-белую кашу ворочающихся в снегу животных. Давно ли на широком плато они весело щипали траву! Сейчас не видно ни одной травинки, а овцы в густом напластовании свежего снега кажутся какими-то другими существами — медлительными и неповоротливыми. Тревожило и то, что ни одна из них не блеяла, не кричала. Только черный козел, взбежав на утес, легко отряхнулся и смотрел сверху своими желтыми бесовскими глазами, громко мекал, туда-сюда поворачивая голову, как бы желая получше рассмотреть, что же произошло. С той крутизны, на которую он взобрался, мокрый снег быстро сполз. И, конечно же, козел, если бы он умел говорить, сказал бы и этим глупым овцам, и этим глупым

людям: «Что вам там, внизу, надо? Неужели вы не видите, что здесь сухо и хорошо? Дело ваше, можете оставаться там». И как бы в подтверждение своих слов, он затряс бородой и, сделав несколько быстрых прыжков, поднялся еще выше.

Дардаке понурился. Его уже не радовали ни синее небо, ни горячее солнце, ни громкий крик перелетающих с места на место птиц. Он боялся посмотреть в глаза отцу, ожидая, что тот в отчаянии начнет сейчас клясть все и вся. Сарбай заговорил неожиданно спокойно:

— Все-таки есть бог. Я, сынок, худшего ждал. Ты, наверно, не заметил, как долго поглядывал я со страхом на западную кромку вон того хребта. Солнце светило вовсю, но шайтаны уже готовили этот подарок. — Сарбай оперся ладонью на плечо сына, и Дардаке почувствовал, как дрожит его рука. — Такая туча, — продолжал Сарбай, — покрывает все, как тяжелое душное одеяло. Оно может быть очень толстым, это весеннее снежное одеяло. Эх, если б мы пасли коров! Им это нипочем. За тридцать лет я отвык от таких слабых животных, как овцы. Наверно, много погибло… Но те, что остались живы, теперь уже будут жить. Не будем горячиться, сил у нас с тобой немного, давай делать все с умом.

Дардаке прислушивался с удивлением к спокойному голосу отца. Он не знал, что это спокойствие отчаяния. Однако ж Сарбай, оглушенный и ослабевший, обрел неожиданно и рассудительность.

— Вот что… Пока я тут отдыхаю, иди разыщи лопату. Она стояла у снежного человека. Надо знать, что сделать… — Старик тяжело дышал, с трудом говорил. Может, даже и сам не знал что скажет.

Дардаке смотрел на него с надеждой, готовый сделать все, что ему прикажут.

— Знаешь что… расчисть хоть немного, открой овцам траву. Видишь, они перестали жевать. Это такие твари — если не видят на поверхности снега торчащих метелок ковыля, копаться не станут. Понял?

Дардаке побежал было, но отец его остановил:

— Вижу, ты совсем перепугался, мальчик мой. Есть и хорошее в этом снеге. Это желтый снег… Ну-ну, иди, я потом тебе расскажу, а сейчас надо работать.

Дардаке обиженно дернул плечом. Если отец не хочет рассказать, зачем начал? У стариков всегда находятся какие-то причуды. И все же на душе у парнишки стало повеселее. Найдя лопату,

он сбросил тулуп и принялся за работу с азартом, отдавая ей последние силы. Снег так и летел, трава освобождалась, приманивая животных, и вот уже те, что были посильнее, стали пробиваться на очищенное поле…

Отдохнув, и Сарбай взялся помогать сыну. Овцы уже вовсю жевали заснеженную траву. Но позади осталось не меньше сотни застывших в снегу животных.

— Ну, а теперь, сынок, — сказал Сарбай, — пойдем поможем тем, которые еще живы. Гони, толкай, а тех, которые не смогут сдвинуться с места, неси на руках.

Толкая ослабевших животных, подгоняя их, Дардаке чувствовал острую жалость к этим беспомощным существам. Те из них, которых он подымал на руки и нес, клали ему голову на плечо, как бы полностью ему доверившись. И в парнишке стало просыпаться что-то новое. Полуживые, чуть теплые влажные комки мяса и шерсти вызывали в нем умиление. Спасти, спасти во что бы то ни стало и как можно больше! И если раньше Дардаке боялся ответственности и умом понимал, что смерть животных грозит и отцу и ему наказанием и позором, то теперь он об этом совсем не думал. Он спасал жизнь. И это уже

была не только работа, даже, может быть, совсем не работа — это была потребность сердца.

Когда Дардаке подымал с земли мертвую овцу, он с брезгливостью отбрасывал ее в сторону. Только потом он понял, что ни разу не подумал об ответственности или еще о чем-либо подобном. Он бросал мертвую, чтобы скорее найти еще живую и помочь ей…

Многие из тех овец, которых Дардаке и Сарбай приносили на пастбище, тут же и вскакивали, принимаясь жевать влажную траву. Другие падали на колени, головы их свисали, но все же через некоторое время и они оживали. Но были совсем слабые — они валились на землю или, растопырив все четыре ноги, долго стояли, как бы задумавшись и вспоминая что-то. Но и эти со временем набирали сил и принимались за дело. А какое дело у овцы? Щипать траву, насыщаться, растить жир и шерсть.

Неожиданно Сарбай подошел к тем овцам, которых Дардаке отбросил, считая их дохлыми. Он стал вытаскивать из этого обледеневшего островка одну, другую, совал им руку под мышку, раскрывал рот и заталкивал туда кулак. И вот оказалось, что некоторые еще живы.

— Слышишь?.. Сунь руку под мышку. Бьется

сердце? Чуть-чуть бьется? Значит, может еще оправиться.

Он не упрекал сына за то, что тот опрометчиво отбросил этих полуживых, но все-таки кряхтел и покачивал головой.

— Что за школа у нас такая в кыштаке — нисколько не учат мальчишек обращаться с животными! Можно подумать — учителя совсем забыли, что и сами вышли из чабанского сословия, забыли, забыли, чем кормятся!

Когда Сарбай вытягивал из кучи окоченевший труп, он бросал его с досадой и цедил сквозь зубы:

— С-собачья жизнь, с-собачья работа! Сам виноват — з-зачем взялся! — На глазах его появились слезы, голова тряслась. — С-стар я, стар, совсем стар стал!

Вдруг он быстро пошел в сторону и остановился невдалеке спиной к сыну. Не оборачиваясь, крикнул ему:

— Ты в школе учился считать — считай! Посчитай всех дохляков. А я... я не могу этого делать.

Дардаке, перекладывая и считая уже потемневшие трупики, каждый раз подсовывал ладонь под ногу, надеясь, что услышит стук сердца. Ни одной живой он в этой куче не обнаружил.

Отец с нетерпением закричал:

— Сколько? Ну, сколько же? Что ты там так долго возишься?!

Дардаке уныло ответил:

— Вместе с суягными мы потеряли девятнадцать голов.

Отец резко повернулся:

— Ой, правда?! Ты что, посчитал каждую суягную за две головы? Нет, ты просто скажи, сколько подохло овец? — Голос отца неожиданно повеселел.

— Одиннадцать.

— Ого, да это подарок охотнику! Почему мне казалось, что подохло гораздо больше? У страха глаза велики. Ой, сынок, если остальных сбережем до весенней травы, значит, мы с тобой в дело годимся… Это подарок охотнику! — повторил отец.

«При чем тут охотник?» — подумал Дардаке и тут же поймал себя на том, что задает школьный вопрос. Учитель наверняка стал бы объяснять, что поговорки и пословицы передают нам опыт давних поколений и мы часто применяем их вроде бы и ни к месту. Да, об этом учителя говорят, а тому, как обращаться с животными, научить не могут…

— Папа, ты обещал объяснить, что такое желтый снег.

— Ой-е! Если чабан один и если он хилый, и сам бы замерз, и заморозил бы всех своих овец. А если чабан трусливый, от страха мог бы умереть. Такой снег, бывает, сутки идет. Тяжелый и липкий. И, если с ним вместе придет мороз, совсем плохо. Нам повезло — мало навалило… Видишь — снег нисколько не желтый, только называется так. По краям неба, когда подбиралась к нам туча, заметно было, что воздух желтеет… Снег из такой тучи съедает зимний покров. Погляди сюда, копни ногой — под низом быстрее стало таять. «Снег съедает снег — хан уничтожает хана», — так говорят старики. Э, Дардаш! — Сарбай оперся на черенок лопаты. — Хоть и стар я, но есть еще во мне сила одной овцы, и ума я, кажется, не лишился. Вот посмотри, посмотри-ка… — Он стал толкать вверх по склону лопату — в образовавшемся желобе бежала вода. — Желтая вода? Видишь, видишь! Поучись этому, постреленок!

Дардаке шел за отцом, поблескивая запавшими глазами. Сарбай передал ему лопату и, махнув на овец, которые пошли по очищенному месту, сказал:

— Сочной теперь будет трава — овцы станут

быстрее жевать. Но главное… Главное в том, что после желтого снега почти никогда не бывает джута. А это значит, что мы с тобой спасены… — Долгий разговор утомил Сарбая. Он тяжело дышал. Постояв немного и помолчав, старик заговорил другим, домашним голосом: — Что-то поделывает наша бедная мама? Небось, опять спрятала своих овечек под крышей, в сухости и тепле. А ты не думаешь, сынок, что дверь завалило и она не может выйти из землянки?

Дардаке испуганно глянул на отца. У него даже пересохло во рту, и, набрав в ладонь снега, он стал жадно его глотать.

— Завалило? А разве там больше выпало снега? — И тут он по хитрому прищуру глаз отца понял, что тот шутит. Просто, наверно, хочет пойти домой отдохнуть. — Ой, папа, иди, иди! Проведай маму и погляди, как поживают ее овечки. А когда отдохнешь…

— Знаю, знаю… Я сразу дам ей свои сапоги — пусть отнесет тебе сюда хлеба и горячей похлебки. Не бойся, не забудем о тебе, сынок.

Вытащив из голенищ концы ватных штанов, Сарбай опустил их поверх сапог и крепко завязал тесемки. Полы тулупа запахнул до самой спины и попросил Дардаке помочь ему стянуть пояс.

Не сгибая ног, старик пошел по глубокому снегу наугад — выбирать дорогу было невозможно.

Когда он был уже далеко, Дардаке крикнул ему вслед:

— Эге-гей, папа! Можно сгрести вниз этих павших овец и зарыть?

— Ой, не делай этого, несчастный! — загремел, обернувшись, Сарбай. — Сложи их возле деда-мороза. Существуют на свете такие люди, как председатель, бухгалтер, ветеринар. Если не покажем им трупы павших животных, обвинят нас, окажут, что мы их зарезали и съели. Или продали… Может, все-таки побоятся бога и когда-нибудь явятся к нам сюда. Вот тогда и составим акт. Слыхал такое слово — «а к т»?

Так Дардаке узнал еще об одной, не известной ему до сих пор стороне жизни.

*

Теперь не только на освещенных солнцем склонах, но и в глубоких затененных ущельях текли ручьи талого снега. Ближние хребты оголились, а дальние вершины стали сверкать нестерпимо ярко. Быстро освобождались всё большие и большие площади земли, открывая прошлогоднюю траву, в которой кое-где уже зеленели молодые

ростки. Вот когда началось раздолье для овец! Но все чаще и чаще тяжелые массы снега скатывались вместе с камнями, грохоча то справа, то слева, и нужно было помнить о грозящей опасности. В низинах появились мощные ревущие потоки. Соскользнуть в них тоже было страшно. Но сердце Дардаке стучало весело, потому что все кругом веселилось и радовалось. Горы так шумели, будто переговаривались друг с другом. Они тянулись к небу. Да, да — они росли на глазах! Как так? Покрытые снегом, они кажутся одинаковыми, а сейчас, обретая краски и обнажая кусты, они с каждым днем менялись, и, может быть, поэтому казалось, что они растут. И днем и ночью звенела песня весны. Из теплых стран — из Китая, из Индии, из Африки — возвращались перелетные птицы. Деловито перекликаясь, они таскали в клювах веточки, травинки — строительный материал для новых гнезд.

В долине, в кыштаке, приход весны не так заметен… Нет, неправда — в долине просто другая, более спокойная и тихая весна. Здесь, на высоте, в крутых горах, она ужасно шумит. Кажется, что попал в кузницу. И грохот и сверкание. Вот только что на этом склоне было сухо, но откуда-то прорвался весенний ручей и покатил прямо на

отару куски глины и камни. Не зевай! Скорей, скорей перегоняй своих овец на другую сторону.

Под палящими лучами солнца чесоточные овцы быстро поправились; лысины их заросли, и теперь их было трудно отличить от здоровых. Как же они все повеселели и оживились, эти полумертвые, эти медлительные животные! За ними не ходить надо, а бегать. Как завидят вдали пустую, свежую траву — не удержишь: не хотят пастись на бедном, вытоптанном пастбище. И тут новая появилась забота. Суягные овцы, брюхо которых отвисло до самой земли, спешили за всеми, спотыкались, падали. Это им было вредно — того и гляди, сбросят. Значит, надо сдерживать прыть тех, которые бегут и торопятся… Э-эх, не сегодня-завтра начнется окот. Сарбай и Салима переругались. Она говорила, что маток с набухшим выменем надо бы загнать в кошару, — разве можно им в последние дни перед окотом совершать длинные переходы? Это грозит большими потерями. Сарбай кричал с раздражением:

— А где взять сена? Ты скормишь им сейчас, а начнут их сосать маленькие, что будем давать им тогда? Проклятый Закир! Он хочет нас погубить, в тюрьме хочет нас сгноить… Что мы ему сделали? — И Сарбай, исхудавший, издергавшийся,

тряс кулаками, с ненавистью плюясь в ту сторону, где лежал за горами кыштак.

С каждым днем в стаде все больше и больше овец с обвисшим брюхом и набухшими сосками. Ой-ой, вот как начнут они одна за другой, а то и десяток за десятком ягниться, что тогда делать, что делать, как за всеми усмотреть?..

*

Нежданно-негаданно из темного ущелья выехали на освещенное солнцем пастбище два всадника. Одним из них оказался заведующий фермой однорукий Садык, вторым — молодой ветеринар, имени которого Дардаке не знал. Почему они приехали с противоположной стороны? То ли побывали у других чабанов, на других пастбищах, то ли решили промять своих сытых лошадок… Как-никак обидно было, что не прямо из кыштака приехали к ним. Больше двух месяцев не являлся сюда ни один из руководителей.

Дардаке всяким видел отца, сердитым тоже видел. Но с начальниками отец всегда был молчалив, первым не начинал разговор, отвечал робко и… на все соглашался. Что с ним случилось? Как только узнал заведующего фермой, начал прямо с крика:

— Приехали все-таки, вспомнили! Уже растет новая трава. Вы бы еще летом явились!.. Вот они, забытые вами овцы. А те, что пали, сложены в кучу. Сами копайтесь, считайте, мне на все наплевать…

Заведующий фермой и ветеринар ни слова не отвечали. Похоже было, что они чувствуют свою вину. Однорукий Садык, под распахнутым полушубком которого была видна застиранная гимнастерка с орденскими планками, краснолицый, загорелый, очень нравился Дардаке. В седле Садык держался с завидной легкостью, и даже то, что правый рукав болтался пустой, не делало его фигуру менее мужественной. Казалось, он готов пришпорить коня и помчаться в бой. Тем более удивительно было, с каким терпением он слушал брань и ворчание Сарбая. А тот продолжал:

— Что б вам пусто было! Ни разу не приехали! Решили, наверно, что все мы тут — и овцы и люди — давно сгнили под снегом. Стыда у вас нет!.. Эх, оказывается, коровы мои были просто счастьем для меня. Сам виноват. Тогда я жил с людьми. И начальники тоже ко мне приходили, хотя бы для того, чтобы взять молока своим детям… — Он затряс кулаками, выставив вперед лохматую бороду. — Не осталось ни стебелька сена!.. Без-

дельника Мамбеткула отпустили с миром, а его вину взвалили на меня… Если вы… Если хотите погубить приплод, губите сами.

Вот распалился старик! Видно, верна поговорка: «Не дай бог испытать гнев доброго человека». Дардаке с восхищением смотрел на отца — вот когда в нем проснулся джигит! Даже начальники оробело молчат.

Сарбай ходил туда-сюда, говорил, говорил, говорил. И вдруг размахнулся и забросил далеко в овраг свою пастушью палку.

— Хватит, не желаю я больше!.. Не желаю, не желаю! Забирайте своих овец. Сами пасите, сами за них отвечайте!

Согнувшись, он пошел в сторону землянки, и всадники молча поплелись за ним.

«Почему же они так долго молчат? Почему не утешают бедного папку?» — думал Дардаке.

Пока отец ругался, в душе парнишки росло уважение к нему. Но, услышав, как он крикнул «Забирайте!», и увидев, что отец забросил символ своей пастушьей власти — палку, Дардаке испугался. Как так? Они столько сил отдали, уберегли, вылечили, откормили этих заморышей, и вдруг… Да ведь сейчас кто угодно возьмет такую отару. Алапай, наверно, выздоровел и будет рад-раде-

шенек получить повеселевших и поздоровевших овец. Но разве мог Дардаке спорить с отцом. Пусть он даже в горячке раздражения произнес слово «забирайте», тут уж ничего не поделаешь. Мужчины ведь зря не болтают.

Всадники нагнали отца, спешились, начали какой-то тихий разговор. Дардаке не слышал слов. Ему представлялось, что они договариваются, как, когда и кому передавать отару. Сердце парнишки тревожно забилось. Хоть и досадно было, что кто-то воспользуется их трудами, зарождалась и радость. Неужели?.. Неужели сегодня или завтра он окажется дома, увидит своих товарищей, встретится с Зейной?!

Дардаке внимательно следил за поведением взрослых. Они всё говорят и говорят. Наверно, один из них будет пасти брошенных отцом овец, а другой поедет в кыштак за новым чабаном… «А что, если я подойду сейчас и скажу?.. — Дух захватило от такой мысли. — Что, если я громко заявлю этим начальникам: «Неужели не видите — мой старый отец просто заболел от тяжелой бессменной работы! Вы слышали когда-нибудь, чтобы он так кричал?! Другой человек мог бы с ума сойти — полез бы на вас с кулаками, кусаться бы начал от злости. Неужели вы будете так

несправедливы, что воспользуетесь вспышкой гнева утомленного человека?»

Нет, не нашел в себе сил Дардаке, остался на месте. Он презирал себя, но справиться с робостью не мог. И снова вспыхнуло видение: он входит в кыштак, по знакомой дороге приближается к школе… Глаза его застилали слезы: «Дорогая моя школа, дорогие мои уроки, я забыл вас, меня заставила жизнь. Учителя, учительницы! Я не бездельничал. И вы, директор… Поймите, Аслам-бек Мукашевич, я не бездельничал. И если не сказал вам, куда отправляюсь, то лишь потому, что боялся. Я боялся, что мне запретят идти работать, а без меня отец не справился бы с отарой!»

Неужели никто не защитит? Неужели ребята не станут просить за него? А Зейна? Она ведь все знает. Но что может сделать Зейна?

Понуро поплелся Дардаке вслед за отцом и приезжими. Он даже не подумал, что оставляет овец одних. В душе что-то сломалось: все зря, все зря. Зря бросили новый, хороший дом и привычный труд скотников, зря оставил он школу, зря мучился здесь — отец одним махом все перечеркнул.

В этот день стадо паслось неподалеку от землянки. С того места, где остановился сейчас в раздумье Дардаке, ему видны были и овцы, па-

сущиеся на свежем, открытом пастбище, и — в другой стороне — ограда кошары, землянка… Ой, что там происходит? Вот так так! Отец с матерью держат лошадей приезжих за поводок, а начальники поднимаются в седла… Прощаются с отцом за руку… потом с матерью… Так прощаются только друзья, так провожают только уважаемых гостей. И вот гости, повернув коней, поехали по берегу весеннего потока… Вот они повернулись, помахали на прощание…

Значит, помирились? Дардаке не знал, радоваться ему или огорчаться. Неужели важный заведующий фермой простил отцу оскорбления и крик? Неужели отец, бросив свой пастуший посох, пошел на попятную — изменил своему слову?

Сарбай возвращался к пастбищу крупными шагами, веселый, доброжелательный, — давно его не видел таким Дардаке. Еще издали он крикнул сыну:

— Вот безбожники! Вот проклятущие!!!

Но эти сердитые слова нисколько не вязались с радостным выражением его веселых глаз. Подойдя к сыну, Сарбай схватил его в охапку и закружил. Так только мальчишки делают. Ай-яй, совсем ошалел старик!

— Эй, папка, я ведь не девушка, чтобы со мной в обнимку танцевать. Скажи наконец, что такое? Может, второе солнце открылось на небе? Может, однорукий Садык и этот ветеринар похвалили нас?

Сарбай расхохотался.

*

Сарбай махнул своей большой рукой и присел на камень. Лицо его сияло.

— Садись и ты, сынок. Не знаю, что случилось, но этот однорукий фронтовик, хоть он и начальник, не обиделся на то, что я кричал на него. Наверно, правду говорят люди, что человек, побывавший на войне, навидавшийся людского горя, сочувствует тому, кто страдает. Ты бы слышал, какими словами он говорил со мной! Прямо признал, что правление колхоза виновато перед нами. Оказывается, ущелье Сарычу, которое ведет сюда, к нам, завалило большим оползнем. Хоть снег и растаял, невозможно пробраться и сейчас. Вот почему они явились с противоположной стороны. В Сарычу, говорят, навалило таких камней, что не только верховой — пеший и то не пройдет… Два месяца не могли к нам пробраться. — Отец вдруг расхохотался, хлопнул ладонями

по коленям: — Вот жулики! Они, оказывается, в район давали о нас сводку, не зная, живы ли мы и живы ли наши овцы. Это председатель придумал. А Садык с ним поругался. Но и он не мог найти к нам дороги. Знаешь, Дардаш, кто первым нас обнаружил? Мы и не видели, а у нас позавчера побывал гость. Побывал, посмотрел и уехал. Догадываешься, кто?

Долго Дардаке ломал голову. Не позавчера, а неделю назад пролетал на небольшой высоте рейсовый пассажирский самолет. Большая черная туча заставила летчика сделать крюк. Неужели с самолета их заметили и дали знать?

— Да нет же, нет! — воскликнул Сарбай и ткнул сына кулаком в бок. — Твой новый друг побывал здесь позавчера. Посмотрел издалека, повернулся и уехал. Алапай, Алапай тут был. Нашел к нам дорогу. Никто не знал, как сюда пробраться, Алапай сказал, что найдет путь, и нашел.

— А почему же, — выпучив глаза от удивления, спросил Дардаке, — почему уехал, не спустившись к нам? Так враги поступают, шпионы чужого войска!

— Да, да, он был здесь в разведке, — ответил Сарбай. — Усатый Закир обещал сыну Мамбеткула, что, если тот найдет к нам дорогу, пусть

посмотрит, годимся ли мы на что-нибудь. Он ему обещал…

— Понял, понял! — подхватил Дардаке. — Закир хочет вернуть отару Мамбеткуловым! — Все закипело в душе Дардаке от возмущения.

— Да подожди! Много ты понял. Алапай потому и не спустился… Садык рассказал, как, вернувшись из поездки, парень, которому ты сломал ногу, стал говорить: «Эти люди совершили чудо!» Это он про нас сказал. А не спустился, чтобы мы не подумали о нем ничего дурного… Если прежний хозяин приходит, что остается думать тому, кто завладел его имуществом? Алапай так сказал председателю: «Эти люди спасли то, что погубил мой отец. Раньше я не верил, что скотники способны работать с овцами, но, увидев собственными глазами здоровое стадо, как мог я напугать этих старательных людей своим появлением?» — Неожиданно прервав себя и как-то боком посмотрев, Сарбай хитровато прищурился: — Ты веришь рассказу Садыка об Алапае? — спросил он Дардаке.

— Верю ли я? А почему… Ой, папка, неужели ты и правда такого плохого мнения о людях? Ты бы знал — Алапай ни одному человеку не говорил о том, что ногу ему сломал я. Алапай со мной в

шашки играл в больнице, встречал, как младшего брата… Да, я верю, верю, что он…

— Ну ладно, ладно. Посмотрим. Пока все идет хорошо. Садык уговаривал меня, мама тоже взяла его сторону… Ох, и молодец твоя мама! Раньше я никогда не слыхал, чтобы она решилась заговорить с начальником. Видно, у Сайраш научилась. А может, как и я, от злости обрела дар речи. Она знаешь чего потребовала? Она сказала: пришлите нам муки, толокна, чаю. Она потребовала, чтобы нам привезли сена. Ой-е! Садык сперва уши зажал, а потом понемногу стал принимать наши требования. И тут ветеринар помог. Сказал, что все это правильно, что хоть мы и спасли овец, но они слабы и приплод тоже будет слабый, для приплода нужна юрта… Кончилось тем, что нам пообещали завтра доставить все необходимое, а кроме того, вол, на котором привезут юрту и припасы, останется у нас.

— А пройдет вол? Где пройдет? — с тревогой стал расспрашивать Дардаке. — Может быть, Алапай приведет вола? Ой, папа, как я буду рад, если он приедет! Как ты думаешь, он уже не хромает?

*

Оказалось, что однорукий Садык умеет держать свое слово. На третий день он пригнал вола, навьюченного разобранной юртой. За волом следовали две лошади. Маленькие мохнатые лошадки киргизской породы. Такие не боятся подъема, у них не кружится голова, когда приходится пробираться по скользкой тропе над пропастью. Лошади были нагружены прессованным сеном… Дардаке впервые в жизни увидел такое уплотненное, обтянутое проволокой сено. Оказалось, что государство помогло колхозам. На третьей лошади, гнедой, с отметинкой на лбу, ехал сам Садык. К седлу его был приторочен небольшой мешок муки, а с другой стороны — такой же мешок толокна. Дардаке все смотрел, смотрел — нет ли еще всадника. Он с нетерпением ждал Алапая. Но Садык — вот, оказывается, какой он смелый человек — весь этот караван пригнал сюда один.

Парнишка и раньше знал кое-что о Садыке — виделся с ним, а как-то даже поговорил… Известно было, что на войне этот парень отличился. Осколок снаряда раздробил ему плечо, а он не потерял сознание, собрал все силы и левой рукой

швырнул под гусеницу вражеского танка связку гранат... Рассказывают, что и теперь Садык, хоть и осталась у него одна рука, очень сильный человек. Это похоже на правду. Разве мог бы кто-нибудь, кроме батыра, привезти в одиночку такой груз по недавно разведанному пути!

Садык проворно спешился и принялся распаковывать груз, раздергивая зубами узлы веревок. Дардаке подбежал, чтобы ему помочь, но, правду сказать, больше суетился. Он глаз не спускал с Садыка. Появилось острое желание подойти к нему, подержаться за его засаленный стеганый кемсел, поправить сбившуюся серую солдатскую шапку, прижаться к его суровому, загоревшему на морозе узкому лицу. Дардаке хотелось правый рукав его кемсела, который болтался и мешал, заткнуть за пояс.

Но больше всего ему хотелось пожать его твердую левую руку.

Видно, Садык заметил, как радостно суетился возле него подросток. Он вынул из-за голенища широкого войлочного чоко связку газет.

— На, братец Дардаш, почитаешь отцу с матерью. — Он бросил связку, и Дардаке обрадовался, что ему удалось поймать на лету.

Садык улыбнулся, оценив ловкость парнишки,

и похлопал его по плечу. Ох и рука же у него — как чугунная! Из-за другого голенища Садык достал толстую клеенчатую тетрадь, из нагрудного кармашка — новый, только что отточенный карандаш:

— А это тебе! Возьми и записывай, когда и какая овца принесла ягнят. Одного или двойню… а бывает ведь и тройня.

Заметив, что парнишка с проворством борзой хватает на лету все, что ни кидает он ему, заметив, как он вспыхнул от радости и молча исподлобья любуется им, Садык, крепко обняв парня, приподнял его и крутанул:

— Ого, солдат, весишь ты немало! Так почему же не хочешь исполнять мои приказания? Почему не отвечаешь? А, солдат?

Слово «солдат» Садык произносил ласково и любовно, вкладывая в него какие-то свои фронтовые чувства.

— Садык-байке, — со страшным трудом преодолевая робость, сказал Дардаке, — я буду… я исполню все ваши приказания.

— Давай в таком случае пожмем друг другу руки в присутствии отца и матери. Эгей, Сарбай-ака, Салима-джене, вы свидетели! — Садык чуть повысил голос и, потряхивая руку неуклюже

прильнувшего к нему паренька, сжал ее так, что хрустнули кости. — Теперь я твой командир, а ты мой солдат. Будешь беспрекословно выполнять распоряжения? Стараться будешь? А, Дардаке?

— Идет! — ответил парнишка и тоже пожал руку гостю. Он мог бы сжать сильно, гораздо сильнее, но ему почему-то казалось, что человек, у которого только одна рука, да еще левая, боль ощущает острее, чем здоровый.

— Вот, — говорил Садык, показывая на огромного, как буйвол, черного приземистого вола, а потом на серую лошадку, — вам теперь придется перекочевывать. Эти вьючные животные останутся здесь. Вам, вам останутся! И пусть хоть сам председатель потребует — не отдавайте. Никому не отдавайте!

В этом твердом напутствии тоже чувствовалось, что Садык отныне берет на себя заботу о них и старается внушить им — не только Дардаке, но и Сарбаю — чувство уверенности.

— Каждому чабану п о л а г а е т с я одна лошадь и один вол. Я для вас отобрал этих неприхотливых и выносливых животных — они вам хорошо послужат.

Всей семьей провожали Садыка до поворота ущелья. Махали на прощание. Но, как только

приезжий скрылся, Дардаке молниеносно подбежал к лошади. Вскочив на нее, он пустился галопом по большому кругу. Отец с матерью, не сводя глаз, следили за ним.

*

Дардаке сделал один круг, второй, третий. Он, казалось, ошалел от восторга, совсем забыл, где находится.

Салима уже не улыбалась. Повернувшись к мужу и поблескивая глазами, резким голосом сказала:

— Сын вложил ногу в стремя — значит, стал джигитом? Взрослым стал?

Понимая, что Салима неспроста взяла этот тон, Сарбай спокойно отвечал:

— Хочешь знать, жена, — Садык дал эту лошадь т в о е м у с ы н у. Разве не помнишь, что нам обещан был только вол? Мальчик понравился начальнику. Кажется, у этого потомка униженных доля будет получше, чем у прадеда, у деда и у меня. О творец! — Сарбай поднял лицо к небу. — Сделай так! Пусть сын мой нравится начальникам и успевает в жизни!

Но Салима, видно, по-своему понимала жизнь. Подбоченившись, она пронзительным голосом

закричала:

— Какой позор отдавать сыну лошадь, когда есть у него уважаемый отец! Ты, ты должен важно восседать на коне! Конь тебе подходит. Неужели взгромоздишься на вола, а сыну подведешь коня?!

Сарбай взял жену за рукав и, хотя поле всюду было ровным и одинаковым, отвел ее на несколько шагов и доверительным голосом проговорил, как бы поверяя ей мудрость, достойную только немногих избранных:

— Ой, байбиче! Слушай, слушай. Повторю тебе изречение Лукмана.

И старик запел дребезжащим голосом:

Отец сошел с коня, о-о!

Это значит, что сын сел на коня, о-о!

Отец сгорбился, о-о!

Сыну пора войти в круг взрослых, о-о!

Отец ввел сына в народ, о-о!

А сам остался сидеть у домашнего очага, о-о!

Пропев эти строки, Сарбай как бы напился из источника важности. Он другим стал, и этого не могла не заметить Салима. Крикливая, она

потеряла голос и слушала с почтением.

Сарбай говорил:

— Так вот и я, состарившись, неужто отниму коня у сына своего? Если сын мой восседает на коне, разве позор мне, а не уважение?! Я придерживаюсь обычаев старины и не забываю, что отец, подобный Тейтбекче, недостоин высокого звания отца. Вспомни, жена, этот Тейтбекче не дал коня сыну, идущему на врага, и этим опозорил себя перед всеми киргизами от колена к колену.

Салима, видно, почувствовала свою неправоту и, чтобы выйти из положения, решила все превратить в шутку. Она вспомнила времена, когда была молодицей, кокетливо склонилась в талии и ткнула пальцем в бок мужа:

— О повелитель мой, ты придерживаешься старинных обычаев, будто вселился в тебя сам хан Бакай… Ну, а есть у тебя еще песни, кроме этой?

— Есть, есть! — Сарбай засиял от радости.

— Ну, мерген мой, я готова тебя слушать — пой!

Сарбай, словно вернулась к нему давно забытая живость, поставил ногу на камень и вывел на высокой ноте:

Когда муж обретает богатство, о-о!

Он во дворе дома привязывает скакуна, о-о!

Когда земля обещает плодородие, о-о!

На ней поднимаются подснежники, о-о!

— Да, ты, смотрю, и вправду помолодел, мерген мой!

— Кому ж и молодеть, как не мне! Заведующий фермой сыну моему привел коня, мне — вола, а жене привез муки и толокна. Жена стоит рядом, положив руку мне на колено, сын чувствует себя владельцем скакуна и взял из рук отца ответственность за овец. — Сарбай серьезно посмотрел в глаза жены: — Как мне не молодеть?

— Да, сколько жила с тобой — видела, как трудно тебя обрадовать. Зато, если сердце твое раскроется, ты украшаешь землю, становясь мудрым… Ну? Найдешь еще что-нибудь у себя в сердце или на этом кончились твои песни? Пой, пой!

Сарбай никак не мог вспомнить подходящих слов, он оглядел и горы, и небо, и овец своих. Как вдруг вспомнил четыре строки Токтогула. Он кашлянул важно, принял вид акына: поднял руки, будто настраивает комуз, поднеся его к уху. Потом еще раз откашлялся и, сбросив с головы

огромный малахай, запел неожиданно звонко:

Красота джайлоо, о-о! — в стадах скота.

Красота коня, о-о! — в гриве.

Если даже и состарились, о-о! — старухи,

Они, как ты, шутят со своими стариками!

— Ой, непутевый! Смотри, как он заигрывает со мной! — скороговоркой прокричала Салима и всплеснула руками.

Сарбай весело расхохотался:

— Да разве не правда, что не только я — ты тоже состарилась? И разве не правда, что шутки шутишь со мной…

Глава VII

Пустынный склон горы с редкой растительностью. Медленно бредет стадо, черный козел возглавляет его… Дардаке на серой лошади ускакал далеко вперед, сделал круг, снова помчался куда-то, вернулся…

Парнишке казалось, что под ним тяжелый,

огромный Аккула, мифический конь Манаса. Стоит дать ему шпоры, и он легко перелетит через ледовый хребет… Трудно сказать, где и когда научился Дардаке управлять конем. Своей лошади у них не было, но еще в раннем детстве, мальчонкой, Дардаке, как и всякий другой киргизский ребенок, живущий в горах, пользовался любым случаем, чтобы вскочить на пасущуюся лошадь, на жеребенка, на вола. Девочки и те все до одной умеют ездить верхом.

Прошла неделя с той поры, как Дардаке получил эту серую лошадь, но все еще не может успокоиться. Сейчас он ведет стадо на новое пастбище. Но в воображении ему рисуются самые разнообразные картины. То он скачет в бой, то он возглавляет перекочевку, и кажется ему, что позади него вол везет разобранную серую юрту для будущих ягнят и мать с отцом восседают сверху, придерживая руками домашний скарб… Но чаще всего он видит себя среди разгоряченных всадников: они скачут по широкой долине, стремясь вырвать тушу козла у того, кто овладел им. Страшная и веселая, владеющая душой всякого джигита игра — козлодрание. Дардаке ни разу еще не участвовал в ней.

С гиканьем и криком подлетел Дардаке к стаду.

Все овцы подняли головы; казалось, в глазах их было недоумение. Козел-вожак, вывернув ноздри, укоризненно уставился на своего хозяина. «Ты теперь на коне втрое выше меня, — как бы говорил он. — Ты, наверно, поднялся в чине, и я готов признать в тебе полководца, но посмотри на своих подопечных. Разве они могут скакать за тобой? Э, молодой хозяин, присмотрись — твое войско состоит почти все из маток с раздутым брюхом. Они еле передвигаются, а некоторые чуть что — падают и катаются по земле. Скажу тебе по секрету — у бедняжек схватки. Я и сам бы рад побегать и попрыгать, но ведь мы с тобой за них отвечаем...» Дардаке резко осаживает коня:

— Довольно! Попал в горы на приволье и не можешь остановиться! Вижу — на боках твоих следы оглобель, небось в долине тебя то и дело запрягали в тяжелую телегу. Вот здесь ты и разбегался! Нет, нет, мы поедем медленно. Пусть вожак пойдет во главе стада, а мы поедем сзади...

Объезжая отару, Дардаке нет-нет да и оглядывал овец. Он знал, что в любую минуту может начаться окот. Но как это произойдет, что при этом делать ему? Отец и мать рассказали обо всем, но ведь и учитель рассказывает, а когда надо отвечать, голова идет крупом.

Ах, как досадовал Дардаке, что не приехал Алапай! А разве не мог бы Чекир выйти со своим стадам навстречу ему? Учительница естествознания весной, случается, ведет в горы экскурсию школьников. Вот бы она привела сюда ребят. Эти овцы, хоть у каждой по два глаза, не способны понять и оценить его новое положение. «Эх вы, глупые скоты! Не обращаете внимания на то, что пасет вас верховой чабан. Не знаете даже того, что Садык-байке привез юрту, чтобы защищать в ней от ветра и дождя тех ягнят, которые у вас родятся. Как говорит отец, у нас теперь на колхоз обид нет. Отныне все хорошее и все плохое зависит от вас и от нас. Если вы благополучно оягнитесь и мы будем за вами хорошо ухаживать, обрадуются не только в нашем колхозе. Это будет общим успехом всего района и всего Киргизстана… Откликнется и в самой Москве. Хорошее дело не пропадает, даже скрытое в горах…

Если о наших успехах расскажет Садык-байке, узнают о них и в столице».

Удивительные перемены произошли за эти несколько дней в душе молодого чабана… Какого такого чабана? Кто сказал? Кто назвал этого будущего тракториста чабаном? Неужели только из-за того, что ему привели коня, что хороший

человек, бывший солдат, обнял его, приласкал и ободрил, неужели весь строй мыслей изменился, пошел другим путем и погасил в нем прежние мечты?

…Охваченный думами, Дардаке, сам не зная отчего, вздрогнул и тревожно прислушался. Какой-то новый и удивительный звук… Да нет же, это блеет овца. Блеют многие овцы, но одна в этой массе блеет не просто, а совсем другим голосом. Дардаке уже давно умел отличить жалобу раненого или больного животного. Это тихое блеяние ни на что не было похоже…

И вдруг возник еще один голос — тонкий и высокий, пискливый голос только что родившегося существа. И вот опять ласковое и беспокойное блеяние матери. Так вот оно что! Значит, он услышал голос новой жизни…

Эта новость обрадовала, но в то же время как бы ошарашила Дардаке. Он остановил коня и сам застыл недвижим. И не только потому, что прислушивался. Его сковали волнение и новизна чувств. На секунду даже потемнело в глазах. Но тут же, справившись с собой, парнишка ловко соскочил на землю и, оставив коня без привязи, вошел в гущу стада, безошибочно определив то место, откуда шли эти новые звуки. Горный

склон, занятый отарой, был не очень широк, справа и слева начинались ущелья, и овцы могли бы по ним разбрестись. Все это пронеслось в голове у Дардаке, но гораздо больше сейчас его беспокоила блеющая овца. Он увидел ее в тени валуна. Она облизывала темно-коричневого влажного густо-кудрявого крошечного ягненка. Дардаке приблизился тихим шагом, и, слава богу, овца хоть и подняла на него глаза, но не вскочила, не испугалась. Она даже что-то проблеяла, как бы желая поведать Дардаке о том, что с ней произошло и чего она еще ждет. И тут она быстро-быстро завозилась, вскрикнула, и вот рядом с первым ягненком оказался точно такой же второй. Ножки этого второго переплетались, и все же он сразу же попытался вскочить. Упал, пискнул и опять вскочил. И мордочка его оказалась у разбухшего соска вымени, и он жадно припал к нему… Овца посмотрела на Дардаке, как бы говоря: «Видишь, какой прыткий! А тот, первый, еще и не пробовал…»

Дардаке пододвинул первенца к соскам матери, и он тоже попробовал вскочить на ноги.

— Ах ты, моя везучая, ах милая! — ласково проговорил, склонившись к овце, Дардаке. — Самая первая — значит, самая смелая. Молись, чтобы

твои двойняшки выжили… — Дардаке сказал эти слова, посмеиваясь над собой: «Какой я хитрый — сам не молюсь, а животным советую».

Молодой чабан дал ягнятам насосаться молозива матери. Он гладил овцу, шепча слова, которым научил его отец:

— Кылоо, кылоо! Двойняшки мои, двойняшки, ходите только посреди стада. Если выскочите вперед — вас украдут воры, а если отстанете — съест волк. Ходите только посредине!

Повторив несколько раз это заклинание, Дардаке вспомнил, что так встречают родившихся телят. Он ведь все прошлые годы сопровождал с отцом коров. Сейчас он мучительно покраснел, подумав, что произнес не то заклинание, какое положено овцам. Конечно, животные не понимают человеческого языка, но, если эта овца не первый раз рожает, она слышала от Мамбеткула или от сына его Алапая совсем другое и сейчас, наверно, очень удивлена.

Скрывая свое смятение, Дардаке взял ягнят в руки, поднял и потыкал их мордочки в бока других овец:

— Знакомьтесь, знакомьтесь со своими родичами!

Матка недовольно заблеяла, требуя вернуть

своих двойняшек. Она хватала губами штаны Дардаке и, с трудом подымаясь на задние ноги, ухитрилась даже схватить его зубами за рукав. Парнишка спустил малышей на землю. Теперь они твердо стояли на своих тонюсеньких ножках, но при этом крупная дрожь сотрясала их тельца.

Дардаке вынул из-за голенища подарок Садыка — тетрадь и карандаш. На первой странице он крупно написал:

«1. Овца с белой звездочкой на лбу. 16 апреля 1948 года. К вечеру окотилась двумя очень похожими ягнятами с белой отметинкой на лбу. Первый приплод поставил на ноги помощник чабана Ракмат Сарбаев».

...Лошадь Дардаке, освободившись от удил, спокойно щипала траву на том месте, где он ее оставил. Похоже, что, умная, кроткая, хозяина в пустом поле не бросит. Дардаке вскочил в седло, пригнулся к гриве и с криком, радостным и сильным, размахивая малахаем, помчался к отцу с матерью.

— Суюнчи! Суюнчи! Первый приплод, двойняшки!

Сарбай и Салима, выйдя из серой юрты, тут же и застыли. Только в следующее мгновение лица их осветились блеском радости. Они побежали

навстречу сыну, простирая к нему руки.

— Первый приплод, первый приплод! — повторял Дардаке.

*

Семья Сарбая, пережив зиму и голодную раннюю весну, решила, что самое трудное позади. Все трое стали спокойнее и радостней. Да ведь и правда, после того как Садык привез им продуктов и сена, с быстрым ростом трав и появлением листвы на кустарниках, казалось, уже не было оснований для беспокойства и жалоб. Окот начала овечка со звездочкой на лбу. И пока приплод достиг тридцати пяти — сорока голов, все шло без сучка без задоринки. Сарбай, Салима и Дардаке успевали принимать ягнят. Оягнившиеся овцы вместе с ягнятами днем паслись на приволье, и только на ночь маленьких отделяли от маток и прятали в юрту, чтобы они не простудились: ночи в горах даже в конце апреля бывают морозные.

Да, все шло хорошо. Вечерами Сарбай и Дардаке собирали в мешки и куржуны ягнят и увозили их из стада в теплую юрту. Детолюбивые матки забавляли их тем, что долго бежали за лошадью. Но многие оставались спокойно щипать траву и только время от времени особым образом бле-

яли, разыскивая своего ягненка. В течение дня чабаны внимательно наблюдали за теми овцами, которые искали места, чтобы рожать, толкали и трясли тех, что мучались и кряхтели, вытянув ноги; некоторым Сарбай мял руками живот — он помнил, что в далекие времена так поступал его отец.

Дардаке аккуратно записывал в тетрадь приметы вновь родившихся, состояние здоровья овцы и ягнят. Сарбай посматривал на него и уважительно, и в то же время чуть насмешливо — раньше таких записей никто не делал. Впрочем, он был очень доволен сыном, а с тех пор, как Дардаке прискучило ездить верхом и он больше внимания отдавал маткам и приплоду, отец все чаще бросал на него взгляды, полные любви и одобрения. Приплод увеличивался, стадо росло без особых приключений, и неопытным чабанам представлялось, что так и будет продолжаться. Но в один из теплых солнечных дней окотилось почти одновременно тридцать пять овец. Сарбай и Дардаке кидались к одной, к другой, не зная, где они больше нужны. Тут уж нечего было и думать о том, чтобы трясти, толкать или мять живот. Хоть бы жив остался ягненок. Рожавшие овцы не успевали выйти из стада, чтобы спря-

таться в укрытие. Того и гляди, крошечных ягнят затопчут чужие острые копытца… Окот продолжался и вечером и ночью. Что делать? Салима прибежала к ним на помощь, но и втроем они не могли справиться с лавиной, свалившейся на них. Как различить, не перепутать? Теперь, когда у половины стада появились ягнята, разве уследишь, у какой овцы какой ягненок и двойню она родила или одного? Трудно посчитать овец — эта колышущаяся масса, однородная и беспрерывно блеющая, переливается, разбредается… Да, трудно насчитать, но все-таки возможно. Гораздо труднее знать каждую, знать, какой ягненок какой овце принадлежит.

Сарбай, его жена и сын выбивались из сил, они спешили поставить на ноги падающих ягнят. Оторопь брала при виде задохнувшихся или мертворожденных… За сутки родилось больше восьмидесяти ягнят. Следуя инструкции, чабаны вечером отвозили всех новорожденных в юрту. А когда утром, с наступлением тепла, выпустили малышей, не знали, какой матке принадлежит тот или другой ягненок. Они подносили ягнят к овцам. Те жалобно и нетерпеливо блеяли и, если не признавали, бодали малышей; те падали, разбегались. Некоторые ягнята, не умея сосать,

жалобно кричали. От шума и общей разноголосицы голова шла кругом.

Помня наставления Садыка, Дардаке пытался делать записи, но все больше сокращал их. Кончилось тем, что Сарбай в раздражении выбил из его рук тетрадку:

— Смотри, разбегаются ягнята, а ты чем занят!

На другую ночь, когда они заперли в юрте уже больше двухсот ягнят, им пришлось с фонарем в руке обходить валявшихся в схватках овец. Хорошо еще, что они оставили калитку загона открытой: были овцы, которые, почувствовав приближение схваток, рвались из загона и принимались рожать, только найдя укрытие под каким-либо камнем или с наружной стороны дувала…

…Целую неделю день и ночь, день и ночь продолжался окот. Сарбай, Салима и Дардаке ели на ходу, спали по очереди и не больше чем по часу… И вот какое чудо произошло за это время с Дардаке. Спрятав тетрадку и не пытаясь больше записывать приметы, он постепенно стал ощущать в себе какую-то новую, неведомую ему раньше способность — одним взглядом и почти безошибочно определять сходство матери и ягненка. Сарбай и Салима сперва спорили с ним,

даже кричали на него:

— Не от этой, не от этой! Этот ягненок от той овцы! Неужели не знаешь — если насосется молока от чужой матери, будет понос, погибнет…

Но вскоре они поняли, что сын гораздо лучше видит, а вернее — чувствует. Сарбай даже стал просить: «Научи меня, научи!» Но Дардаке с растерянной улыбкой смотрел на отца и пожимал плечами. Он и сам бы хотел понять, привести в какой-то порядок те приметы, которые позволяли ему разгадывать и различать все вокруг, но стоило задуматься об этом, все путалось. Сколько его способность спасла новорожденных! Тут уж было не до счета. Погибло все-таки ужасно много. У чесоточных, даже у излеченных, рождались недоноски и, прожив несколько часов, гибли. Некоторые ягнята слишком рано начинали щипать траву и заболевали. Первородящие овцы то и дело не давали ягнятам сосать. Ой, сколько бед, сколько бед! Но вот наконец осталось совсем немного суягных маток, ягнята первых дней окрепли и бегали туда-сюда. Вскоре окот завершился. И, хотя наступили дни более спокойные, вся семья была еще в состоянии какого-то трепета: дрожали руки и ноги, беспокойно бегали глаза. Сарбай вздыхал так тяжело, будто вот-вот

сляжет в тяжелой болезни. Он страшно исхудал, еле таскал ноги, но больше всего его изнуряло ощущение собственной вины.

— Эх, пропала-сгорела моя борода, опозорился! Будь я проклят! Надо же было мне, старому дураку, ввязаться… Какой из меня чабан!

Втроем они собрали мертвых ягнят и сбросили в яму, прикрыв плоским камнем. Дардаке хотел было посчитать, но Сарбай ему не позволил:

— Сынок! Ты, я вижу, хочешь стать конторщиком. Неужели сердце потерял? Неужели не жалко тебе? Мне плакать хочется, когда смотрю на эту кучу, а если перебирать…

Дардаке, не дослушав отца, резко повернулся и пошел от него. Он не мог вынести этого упрека. Как так — ему не жалко? Начиная с первых двойняшек, которых принял своими руками, он каждого ягненка встречал радостным криком. Он с ними играл, гладил их, с восторгом наблюдал, как они начинали резвиться, бегать, бодаться… А потом началась эта сумятица. И когда увидел первые мертвые тельца… Нет, когда понял неизбежность такого обильного падежа, он отупел от горя… Но как же не считать? Ведь Садык-аке приказал, ведь это не наше, мы отвечаем, мы должны постараться сообщить всю правду…

Втайне от отца, спрятавшись за большим камнем, Дардаке постарался привести в порядок свою тетрадку и короткие пометки превратить в членораздельные фразы. Это сделать оказалось не только трудным, но почти невозможным. Попытка осмыслить и выразить на бумаге все, что за это время произошло, произвела на неискушенного подростка неожиданное впечатление. Он как бы видел все заново — всю драму. И едва не расплакался. Воображение рисовало все подробности. Смерть множества маленьких, только что явившихся на свет существ виделась ему, как огромное и непоправимое несчастье. И он не мог отделаться от чувства вины: «Ах, если бы я больше знал, больше умел!..»

Сколько чабанов видел за свою жизнь Дардаке! Простые колхозники, обыкновенные и часто безграмотные, грубые люди. Как ему до сих пор не приходило в голову, что от них зависят жизнь и смерть сотен и тысяч таких вот ягнят! Целые стада могут возникнуть или исчезнуть только оттого, каков чабан.

Для понурого, как бы погасшего Сарбая дни теперь тянулись бесконечно долго. Иногда он скрежетал зубами от злости и грозил кому-то кулаком, но чаще весь его вид выражал тупое без-

различие. Овцы паслись, ягнята играли, но трое людей, что не оставляли их ни на минуту, как-то вяло и безразлично бродили среди них. Утром и вечером Салима собирала свою семью, чтобы наскоро покормить, а потом они расходились по своим местам. Все трое часто, может быть, даже слишком часто, прислушивались и поглядывали в ту сторону, откуда могли появиться и рано или поздно появятся начальники…

Между тем весна разгоралась, превращаясь в лето. Росли травы, росли и ягнята. Разросшаяся отара двигалась теперь быстро, рассыпалась широко. Овцы нагуливали жир, ягнята с каждым днем покрывались густой шерсткой и становились все милее. Дардаке ловил себя на том, что наслаждается вновь обретенной способностью легко отличать их друг от друга. Он даже начал было имена им давать, да только не хватало известных ему имен, которыми было бы можно наградить стольких животных…

…Как всегда, неожиданно в ущелье появилась группа всадников. Во главе на кауром жеребце, сидя в мягком кожаном седле, — важный усатый Закир. Новое, сверкающее на солнце светло-коричневое кожаное пальто было расстегнуто, фетровую шляпу, тоже новую, он надвинул до

самых бровей. Но ему мало было того, что поля шляпы защищали глаза от лучей солнца, — он и ладонь приставил, вглядываясь в даль. За ним ехали Садык, ветврач, зоотехник, учетчик и члены ревизионной комиссии. Подъехав ближе и сухо кивнув, они спешились, переговариваясь, побрели все вместе, начав осмотр отары. Сарбай, Салима и Дардаке с унылым видом робко поглядывали на этих суровых людей. Редкие слова, которыми обменивались прибывшие, вонзались в уши, как иглы.

— Овцы у них не крупные, не в весе…

— Да, весьма неважная отара…

— А вот посмотрите — явные следы чесотки… и нет ягненка.

— Ой, какие тощие ягнята!

— Да что вы, товарищи! — проговорил какой-то малознакомый человек. — Отара уцелела только потому, что была укрыта и защищена горами. На ветру, в степи, такие овцы не выдержали бы полуголодной зимовки, а эти тощие ягнята погибли бы все до одного.

Уловив последнюю фразу, Дардаке отметил в уме: «Ага, вот, значит, что — ягнят, пока они не окрепли, нельзя пасти на открытой местности». И он полез было за своей тетрадкой, чтобы запи-

сать это важное замечание. Но кто-то другой стал говорить, и парнишка навострил уши.

— Имейте в виду, что этот чабан принял овец посреди зимы, принял слабую, пораженную чесоткой отару! — Это говорил Садык. Говорил громко и поглядывал на председателя, как бы ожидая, что тот начнет возражать.

Закир обернулся, посмотрел на однорукого Садыка сердитым взглядом, но неожиданно мягко проговорил:

— Да, благодаря мужеству Сарбая овцы жили, и теперь видите — среди них нет больных. А ягнята... я их что-то не вижу. Что-то их, кажется, маловато.

И опять председателя перебил Садык. Сделав широкое движение рукой и обернувшись к членам ревизионной комиссии, которые стояли, вооружившись блокнотами и карандашами, он оказал:

— Обратите внимание, здесь нет овец, которые оягнились бы поздно. Это значит, что чабаны не жалели сил и не держали отару в загоне. Овцы двигались, хорошо питались... И еще: чабаны ягнят не скрывают — все ягнята пасутся вместе с матками, потому-то их и плохо видно. Начнем считать! Давайте, давайте, пусть двое из вас

считают овец, а двое — ягнят. Видите, видите: разделить их нельзя, значит, это матери и дети.

Дардаке был обрадован и удивлен тем новым, что узнал из слов Садыка. Вот, оказывается, как много можно увидеть, если понимаешь поведение животных. «А что хотел сказать Садык-аке, когда уверял ревизоров, что мы не прячем ягнят? Разве есть люди, которые прячут?.. А почему он не говорит о павших ягнятах? Может быть, не догадывается?»

Парнишка краснел и бледнел. Ему хотелось подойти к Садыку и, как тот ему приказал, о т р а п о р т о в а т ь. Но заведующий фермой сегодня почему-то не смотрит в его сторону, не замечает его, ни разу не улыбнулся. Эти взрослые — их не поймешь. «Наверно, в прошлый свой приезд играл, баловался, а теперь забыл обо всем. Не нужна ему моя тетрадка и я не нужен...»

*

Председатель колхоза был явно недоволен тем, что Садык взялся распоряжаться. Будто и не видит, что тут находится он, Закир.

Махнув плеткой в сторону Сарбая, что стоял вдали, исподлобья поглядывая на приехавших, председатель громко сказал:

— Может, спросим сперва тех, кто пасет, а уж потом, чтобы узнать, правду ли говорят, будем считать сами.

Повинуясь движению руки председателя, Сарбай, понурив голову, поплелся к нему. Салима шепнула сыну:

— Это комиссия. Слыхал, что такое? Каждую весну собираются активисты колхоза и оценивают, кто и как провел зимовку… Идем, идем! — И, схватив Дардаке за руку, будто сын собирается убежать, она потащила его поближе к людям.

Закир любил говорить с колхозниками, напуская на себя важность и в то же время как бы и по-товарищески. Вот и сейчас, как старый и старший друг, который хотел бы услышать сокровенную тайну, он взял Сарбая за руку и повел в сторонку. Далеко не повел, остановил шагах в пяти, но вроде бы разговаривал с ним один на один:

— Ну, Сарбай-аке, надеюсь, будешь откровенным? Как ты, считать умеешь?

— Можно сказать, что нет, — вздохнув, проговорил Сарбай.

— Ой-е! Так как же ты, не считая, пас овец?

— Плохо, плохо я пас овец, совсем плохо…

Председателю, видно, не часто приходилось

слышать столь откровенные признания. Он пожал плечами, искоса посмотрел на Сарбая и повернулся к членам комиссии:

— Ничего не понимаю! Эх, Сарбай-аке, зачем хитришь? Притворяешься неразумным, неразвитым. Безграмотность в наше время никого не оправдывает. Члены комиссии видят сразу: падежа овец ты, слава создателю, избежал. Плохие овцы, но уцелели почти все… А теперь о другом. Слышишь, Сарбай-аке, о другом тебя спрошу. Не вздумай скрывать — все насквозь вижу! — Он приостановился и заговорил с пристрастностью обвинителя: — Как у тебя, Сарбай-аке, с падежом приплода? Ну-ка, ну-ка, выкладывай! — И, опять оглядев присутствующих, председатель впился глазами в лицо чабана.

Сарбай не мог не заметить издевки в тоне председателя, однако отвечал спокойно, и всем слышно было, что это спокойствие отчаяния:

— Большой падеж. Много-много подохло!

Закир даже руками развел: каково, мол, нахальство! Человек вроде бы даже хвастает своими потерями. Он опасался, наверно, что Сарбай начинает так, чтобы потом обвинить его.

Погрозив пальцем, председатель быстро заговорил, злобно:

— Наверно, обижаешься на меня? Нерадивые всегда на руководителей обижаются, но с обидой руководителя не хочет считаться никто… — И тут он начал кричать: — Вы… вы, пожалуйста, не упрямьтесь!.. И вы, пожалуйста, будьте серьезны! Ни государству, ни колхозу ваши шутки не нужны!..

— Очень, очень большой падеж! — громко, будто кающийся на миру грешник, повторял Сарбай. — Если не веришь, вон там яма, открой и посмотри! — Он протянул короткопалую, заскорузлую руку в ту сторону, где под плоским камнем были захоронены погибшие ягнята.

Показал и отвернулся, и рука его повисла, и он сам весь обмяк, опустив голову на грудь.

Закир, подавив вспыхнувший было в нем гнев, с деланным спокойствием обратился к членам комиссии:

— Идите смотрите, считайте!

Неуклюже шагая, Сарбай повел людей к яме. Зоотехник, ветврач и учетчик поплелись за ним, но тут вдруг однорукий Садык бегом обошел их и остановил:

— Э, погодите! — Он подозвал к себе Дардаке. — Слушай-ка солдат… Твой отец говорит что-то не то. Сколько приплода вы получили?

Дардаке отвечал еще глупее, чем отец:

— Не знаю.

Садык удивленно растопырил пальцы единственной руки.

— Как же так?.. Слушай, солдат, разве у нас такой был уговор? Ты что обещал?..

Дардаке не знал, куда спрятать лицо, он даже голову наклонил, чтобы не видеть сверлящего взгляда заведующего фермой.

— Где тетрадь, где карандаш? — продолжал Садык. — Потерял? Бросил?

Дардаке наклонился и вытащил из-за широкого голенища растрепанную тетрадь:

— Вот.

Садык, удивляя Дардаке ловкостью, раскрыл тетрадь на согнутом колене и, увидев запись на первой странице, широко улыбнулся. Но, перелистав еще несколько страниц, посмотрел с печалью и грустью:

— Эх, а я-то на тебя надеялся!.. Значит, и ты не можешь сказать, в каком состоянии стадо?

— Могу!

Садык рассердился:

— Ну, брат, и путаник ты, — то не можешь, то можешь. Арифметику, что ли, забыл? Сколько рождалось в день? Сколько сейчас ходит в отаре?

Вот у тебя маток четыреста семьдесят девять. Сколько из них оягнилось? Количество ягнят достигает двухсот?

Дардаке почему-то рассмешил этот поток вопросов. Видно, Садык-аке не был никогда учителем. А может, нарочно так спрашивает, чтобы труднее было ответить?

— Ну, что молчишь? Что сопишь? Двести ягнят есть? — Садык подбадривал его взглядом. — Говори же, говори!

— Больше.

— Триста?

— Еще больше.

— До четырехсот дойдет?

— Будет больше… Четыреста шестьдесят девять.

И тут с силой хлопнул кнутом по своему кожаному пальто усатый Закир:

— Эй, парень, ты что, смеешься над нами? Только что говорил — не знаешь, какой приплод…

— Не знаю! — простодушно глядя в глаза разъяренному председателю, ответил Дардаке.

— Как так?

— Приплод — все ягнята, правда? Мы мертвых и погибших не успевали считать, не было времени. А живых и здоровых четыреста шестьдесят

девять!

И тут вдруг все разом заговорили, стали переглядываться, смеяться, даже хохотать. Что такое случилось? И сердитый председатель расплылся в улыбке, положил руку на плечо Сарбаю:

— Что? Правда? Нас пугал, а у тебя приплод четыреста шестьдесят девять ягнят? Здоровых, крепких ягнят? — Не дождавшись ответа растерявшегося Сарбая, председатель обратился к членам комиссии: — Слышите, слышите! Выходит, в среднем на сто маток у них по девяносто восемь родившихся и выживших… Хе-хе, если не врет бродяга Дардаш, если только не врет… Вот мы сейчас сосчитаем и запишем… Если окажется, что джигит Дардаш прав… — Закир блеснул глазами и торжествующим взглядом окинул присутствующих: — Принимайтесь, принимайтесь! Зачем мертвых глядеть, лучше считать живых: — Он искренне радовался, кажется, готов был в пляс пуститься, этот пузатый, усатый Закир.

Дардаке смотрел на председателя во все глаза и понять не мог, почему он его то парнем называет, то бродягой, то джигитом. Но скоро пришлось еще больше удивиться.

Поверхностно оглядев пасущуюся на широком склоне отару, даже опытный человек не опреде-

лит, велик ли приплод. Крошечные ягнята того же цвета, что и матери, издали не видны. Члены комиссии согнали отару в гурт. Одни взялись считать овец, другие — ягнят. Когда подвели итоги и установили, что Дардаке назвал точную цифру, началось всеобщее ликование. Вот это-то и поразило Дардаке. Сарбай и Салима тоже не сразу поняли, почему их не только не бранят и не наказывают, но еще и поздравляют и хвалят. Усатый Закир, кидаясь то к одному, то к другому члену комиссии, кричал:

— Теперь видите, видите — прав я был, когда снял Мамбеткула. Мало ли что опытный, а Сарбай давно не пас овец... Мало ли что! Главное в человеке добросовестность, старательность. Старательному и бог помогает — много двойняшек родилось в отаре... Э-эй, все сюда! Комиссия, комиссия! Сюда, поближе ко мне! Есть сообщение, особое сообщение. Одна жирная овца повредила ногу, и ветеринар определил, что пригодна только на мясо. Ставлю на голосование: бешбармак будем варить или жарить шашлык? А может, третье предложение возьмет верх? Тут есть любители плова. В куржуне председателя найдется килограмма три плохонького риса.

В куржуне председателя нашлась и бутыль со

спиртом. Голова председателя работала быстро и четко, авторитет его сразу возрос. Один только Садык-аке был чем-то недоволен. Нет, не только Садык — Дардаке тоже не выказывал радости. Конечно, приятно, что их хвалят и поздравляют. Но как же так — никто даже не вспомнил о погибших ягнятах. Ведь если бы чабаны были опытные, если бы овцы были лучше откормлены, если бы на время окота прислали сюда двух-трех помощников, удалось бы спасти весь приплод. Не четыреста шестьдесят девять, а больше пятисот ягнят бегало бы сейчас по горам. Да, но ведь мертвых не вернешь к жизни. Так чего же хотел Дардаке? Уж не наказания ли для себя и для своих родителей? Миновала беда — радоваться надо! Конечно, надо. Ну, а вот он не мог.

Нет, не виноватых искал Дардаке — понять хотел. Сколько ни глядел в лица взрослых, не видел задумчивости. Будто все так и должно быть, будто умершие ягнята, много ягнят, — так, пустяки.

Тем временем в казане закипел бешбармак. Весенний бестолковый ветер во все стороны разнес терпкий запах крепкого навара. Люди, возбужденные предстоящим пиршеством, неестественно громко переговаривались, шутили, смеялись.

— Э, Дардаш! — закричал веселый краснолицый зоотехник Бектен. — Ты что там прячешься? А ну, подойди, подойди сюда. Сегодня, если верить твоему отцу, мы должны тебя поздравлять. Отец говорит, ты особенный какой-то. Старательный, говорит. Наблюдательный, говорит. Больно глазастый, говорит… В столице нашей, в городе Фрунзе, я видел мальчика семи лет — на скрипке хорошо играл. А сколько в балете крошечных детей киргизов — во-от такие девчоночки, а танцуют, будто их сорок лет учили. Да меня хоть сто лет учи — танцевать не буду…

Кажется, не только Дардаке — никто не понимал, что хочет сказать зоотехник. Вот ведь болтун! А тут, на счастье, поспел бешбармак. Бектену не дали договорить. Все заторопились, рассесться вокруг дасторкона. Мужчины выпили, передавая друг другу кружку разбавленного спирту; глотнул немного и Дардаке. А Сарбаю, поздравляя его с успехом, до краев налили и заставили опорожнить. Старик захмелел, порозовел, глаза стали веселыми. Салима-апа то и дело дергала его за рукав, чтобы не слишком часто лез в блюдо и не хватал жирные куски, самим аллахом предназначенные начальникам. Но Сарбая будто подменили — такой стал шумный,

развязный, хвастливый…

— Проклятый Мамбеткул оставил нам полудохлых, а мы… Волки окружили нас, как войско хана Батыя, а мы… Желтый снег падал целые сутки и завалил овец, а мы… А вы бы знали, какой герой мой сын…

Дардаке неодобрительно смотрел на отца, ему казалось, что люди смеются, потешаются над ним, не верят. Переглядываясь с матерью, он видел, что и она обеспокоена.

По соседству с председателем устроился краснолицый зоотехник Бектен. Он подозвал Сарбая, о чем-то его расспросил, а потом долго шептал что-то на ухо Закиру. Закир улыбался, бросал взгляды на Дардаке. И вот наконец, наевшись до отвала и громогласно рыгнув, он поднялся со своего места. Все с напряженным вниманием следили — что-то сделает сейчас председатель. А председатель вот что сделал. Подошел со стороны спины к Дардаке, подхватил его под руки и заставил встать.

— Слушайте все! — начал он. — Это герой, талант. Сейчас увидите — покажет нам кое-что интересное…

Дардаке, хотя слова и достигали его ушей, смысла уловить не мог, от смущения красным стал, не знал, куда деваться. Закир дышал на него

перегаром спирта, воняло новой кожей, потом. Но ужаснее всего, что председатель выставил его перед всеми. «Зачем? Какой я талант? — лихорадочно думал парнишка. — Чего хочет от меня? Обнял, будто женщину…»

— Этот молодой джигит, — продолжал председатель, — впервые пасет овец. Старики чабаны, опытные, столетние, и те не всегда такое смогут. Ой-е! Сейчас прикажу, и сын Сарбая вам свой талант покажет… А ну, кто там?.. Отделите пятьдесят — шестьдесят ягнят. Сын Сарбая любого ягненка — только укажите, какого — сейчас же отнесет к матери безошибочно.

Все зашумели, тотчас нашлись охотники выполнить приказ председателя и отправились отбирать ягнят… У Дардаке страшно забилось сердце, во рту стало нехорошо, глаза затуманились… И вдруг, сам не зная, почему так делает, он стал рваться из рук председателя. Толкнул его локтем, лягнул ногой, освободился и… побежал куда глаза глядят. Он мчался что есть духу, перескакивая через камни — вниз, вниз к речке, через речку, все дальше и дальше по ущелью. До него доносились крики; громче всех кричала Салима. Остановиться он не мог. Забежав за гряду холмов, стал петлять среди каменных обломков

и наконец, изнемогая от усталости, свалился за валуном. Только тут Дардаке понемногу отдышался, начал приходить в себя, думать.

Что произошло? Что плохого потребовал от него председатель? Хотел людям показать его способности, и только. Ведь и отец хвалил его, завидовал ему. Да, да, конечно, отец рассказал Бектену, а Бектен подзадорил председателя… Ну и что, ну и что? Зачем было убегать? Весь кыштак узнает, что убежал, люди будут смеяться — и Алапай, и Чекир, и Зейна…

«Может, лучше вернуться?» — подумал было Дардаке, но при одной лишь мысли, что снова предстанет перед членами комиссии и должен будет им показывать свои способности, он еще глубже забился в щель между валуном и земляным откосом холма… Долго так сидел, тупо глядя на рыжую каменистую поверхность горного склона… Изредка вздрагивал, как вздрагивают всем телом после долгого плача дети…

Раздался цокот копыт, и Дардаке, хоть слез у него и не было, закрыл лицо руками.

Всадник приближался. Может быть, это мать его ищет?

Парнишка раскрыл ладони и сразу увидел, как на расстоянии каких-нибудь ста метров рысью

проехал на своей резвой лошади однорукий Садык. Повернул, поехал назад, остановился. Неужели на камнях и в редкой траве этого пустынного ущелья можно обнаружить след человека?.. Садык спешился, прижал повод камнем, осмотрелся. Он, кажется, даже втянул воздух носом. Дардаке тихонечко рассмеялся, переходя с ребячьей непоследовательностью от одного настроения к другому. Началась игра в прятки, и он был бы рад, чтобы Садык подольше его искал, но все-таки не уехал бы так, а нашел…

Хорошо, что Садык прискакал сюда один. Хорошо, что не зовет, не кричит, не упрекает. В сердце Дардаке поднялась теплая волна. Теперь он не выходил из укрытия только потому, что боялся своей слабости. Боялся, что ноги не удержат. Все в нем дрожало, каждый мускул. В прошлом году он вот так же спрятался от людей, когда тетя Сайраш заставила его прирезать дикого козленка. Тогда он плакал крупными слезами, сейчас глаза его сухи. Но от этого ему не было легче, наоборот — тяжелее.

Садык все еще не нашел его. Правду говоря, он и не искал. Лениво поглядывал по сторонам, вынул кисет с махоркой, сделал самокрутку из газеты… А как ловко! Даже смотреть приятно.

Отрывает зубами полоску от сложенной газеты, крутит пальцем на колене, сгибает, берет в рот, сыплет табак из кисета… Дардаке так увлекло это зрелище, что он высунулся из своего укрытия… Кажется, Садык его не заметил. Зажег спичку, с наслаждением затянулся и… заговорил. Тихим, спокойным голосом сказал:

— Знаю — ты где-то здесь. Хочешь — выйди, не хочешь — не выходи. Оставайся тут до вечера. К закату солнца мы все уедем, отец твой Сарбай к тому времени протрезвится… Не заставляй его искать тебя и не вздумай обижаться — корить своего отца, осуждать. Он не пьяница, потому-то и опьянел, а опьянев, стал хвастливым. Хороший человек — любит тебя и очень тобой гордится… Ну, вот, пожалуй, и все.

Дардаке затаился, как мышь. Если Садык не зовет — значит, не хочет его видеть. Говорит будто с воздухом. «Ну и пусть, — думал обидчивый паренек. — Пусть уезжает, раз я ему не нужен!» Садык продолжал как ни в чем не бывало:

— На днях приеду и привезу тебе подарок. У лучшего нашего чабана Жолдоша Жолоева три замечательные собаки. Уговорю его одну передать тебе. Ох и злой же пес! Не боишься?

— Нет, что вы, товарищ командир! — с этими

словами Дардаке стремительно выскочил из своего укрытия и вытянулся перед Садыком.

Садык весело рассмеялся, все зубы показал:

— Ну что, герой?

— Я не герой, — потупившись, откликнулся Дардаке.

Ох, как захотелось ему броситься на шею Садыку! Трудно было сдержаться.

— Будешь, будешь героем! — все так же смеясь, продолжал Садык. Он положил руку на плечо парню: — Сейчас уеду, никому искать не позволю... Может быть, хочешь меня о чем-нибудь на прощание спросить?

— Хочу, — ответил Дардаке и поднял глаза.

— Хочешь спросить, почему праздник устроили, когда погибло столько ягнят и горевать надо, а не пировать?

Дардаке поразила проницательность заведующего фермой.

— Откуда вы знаете, Садык-байке?

— Тебе четырнадцать лет, а мне перевалило за тридцать. И я на войне побывал. Многому учит война. Людей учит понимать и горе человеческое.? Теперь слушай. Колхозники, которые приехали сегодня, члены комиссии, они правильно радуются. Они ждали худшего, гораздо

худшего. Закир послал вас на зимовку без всякой надежды, что удастся спасти отару. Плохое дело сделал Закир, люди понимали — обманул председатель отца твоего Сарбая. Обманул, а потом еще нарочно забыл о вас. Сколько ему ни напоминали, он только обещал, но не посылал вам помощи, говорил, что нельзя проехать. Но вот поправился Алапай и нашел дорогу. Мы с ветеринаром побывали у вас и, увидев, что вы сохранили овец, решили наперекор председателю помочь вам — дали лошадь и быка, привезли сена. Ох и бранил нас за это Закир: «Овцы у Сарбая истощенные, больные, окота не выдержат. Лишнего тягла в колхозе нет, сена мало, надо тем помогать, у кого животные здоровые». Сегодня по пути к вам всю дорогу твердил: «Погиб, погиб приплод в отаре Сарбая! Хорошо, если осталась в живых сотня ягнят». А что оказалось? Четыреста двенадцать ягнят оказалось! Живых и здоровых! Вот почему люди обрадовались. Закир и сам обрадовался, устроил т о й.

Дардаке наморщил от напряжения лоб. Никто с ним не говорил так серьезно. Дедушка Буйлаш предупреждал, что Закир готовит отцу подвох, но объяснить, что и как, не захотел или не сумел. Дардаке слышал, и не раз, что колхозники ругали

председателя за бестолковость и несправедливость. Садык не ругал, он как бы осмысливал поведение усатого Закира, раскрывал его характер. Так учитель литературы делает.

Дардаке руку поднял, будто он в школе перед учителем.

— Спрашивай, — разрешил Садык.

— Выходит, значит, фальшиво радовался Закир-аке?

— Зачем фальшиво? Разве плохо ему? Наш председатель всегда счастью радуется, удаче, везению. Понимаешь, нет?

— Понимаю! — откликнулся парнишка — ему в самом деле показалось, что стал понимать. — Например, у нас в школе… Если урок подготовишь и домашнее задание выполнишь, на любой вопрос можешь ответить учителю. А когда не готовился, гулял, тогда только на счастье и можешь надеяться: вдруг спросит то, что случайно знаешь. Конечно, радуешься такой удаче, прыгаешь до потолка.

— Ай, молодец! — Садык даже по колену себя хлопнул, так понравился ему детский ответ парнишки. — У тебя, я смотрю, голова работает. Правильно говоришь. Вот только ученик в школе одного себя подводит, а взрослый человек каж-

дым неверным поступком затрагивает многих, особенно если человек этот руководитель...

— А я?.. Скажите мне правду, Садык-байке, я тоже плохо поступил, когда убежал? Я не знаю, почему убежал. Иначе не мог — ноги меня сами понесли.

— Неужели нисколько не знаешь? — Садык недоверчиво усмехнулся.

— Закир-аке меня перед всеми выставил и стал называть талантом...

— Выходит, если я тебе сейчас скажу, что у тебя действительно талант, убежишь и от меня?

Дардаке не убегал, но смотрел настороженно.

— Знаешь, парень, — продолжал Садык, — за то, что сегодня убежал, я тебя не осуждаю и люди тоже не осудят. Конечно, немного над тобой посмеются, но гораздо больше посмеются над председателем. А те, кто видел, как ты вырвался, уже смеялись над ним.

— Над Закиром?! — воскликнул Дардаке. — Я удрал, а смеялись над председателем?

Удивление его было таким непосредственным и сильным, что Садык даже рукой махнул:

— Эх, ты! Я ведь думал — притворяешься, думал, что ты разгадал замысел Закира. Он оправдаться хотел перед людьми, а заодно и похвастаться.

— Не понимаю, — грустно протянул Дардаке.

— Так из-за чего же ты удрал? Мы все поняли так. Председатель выставил тебя, чтобы сказать: «Смотрите, какой у мальчишки талант — может запомнить каждую овцу и каждого ягненка. Вот что спасло приплод. Только, это, и больше ничего. Видите, видите — все зависит от счастья, от случайности. У вас везучий председатель — если даже все плохо, находится талантливый парень и спасает сотни ягнят. А кто нашел этого парня? Кто послал отца его Сарбая на место пьяницы Мамбеткула? Я! Хвалите меня!»

Дардаке слушал, слушал и вдруг спросил:

— Садык-байке, значит, хорошо, что я убежал?

Теперь настал черед удивляться Садыку:

— Что-что?.. Ну и хитрец! Смотри, как повернул!.. Ладно, отвечу тебе. Очень хорошо, что ты убежал, но только в том случае, если последний раз. Если самый последний раз в жизни! Понял?

— Теперь понял.

— Ну, тогда давай прощаться, солдат.

Садык-байке отдал честь, а Дардаке вытянулся в струнку и опустил руки по швам. Он знал, что, если нет на голове шапки или фуражки, руки к виску подымать не положено.

Глава VIII

Сарбай прилег, опершись на локоть, и, приглаживая ладонью невысокую ярко-зеленую сочную траву, сказал присевшему против него Дардаке:

— Вот, смотри, сынок, что с нами стало.

У Дардаке не было настроения отгадывать, что намерен выразить своим жестом и многозначительными словами отец, и он прямо спросил:

— Наверно, хочешь привести пример, да?

— Эх ты, потомок униженных, думать не любишь! Еще раз говорю: смотри, что с нами было и что стало. — И опять Сарбай, прижав рукой траву, отпустил ее.

Травинки медленно, как бы нехотя, распрямлялись, подымались к солнцу. Прошла минута, и снова как ни в чем не бывало ожила, зашевелилась на ветру сильная молодая трава.

— Ну и что? — заупрямился Дардаке.

— Позавчера перекочевали сюда. Траву топтали мы, топтал скот — неужели не видел, как смялась? А вчера, благословение небу, пролился обильный дождь. И вот вся трава, что была измята, поднялась, живет... Разве не правда, что и мы были точно так смяты и придавлены? Акти-

висты колхоза явились к нам, грозные, строгие, напугали. А потом? Потом они добрым словом и похвалой зажгли в нас потухший было огонь, воскресили затоптанную душу. Вот тебе и отгадка!

Благодушие отца радовало Дардаке. Было приятно, что он полеживает и рассуждает. В глазах его доброта и сытость. Что такое здоровье старого человека? Старому надо, чтобы тихо шелестела вокруг него спокойная песнь жизни — песнь похвалы. Вот уж три дня, как приезжал сюда с комиссией усатый Закир. Вот уж пять дней, как перекочевали они в другую долину, а отец все смакует радость, вызванную приездом председателя и его похвалой.

Ничего не сказав, только улыбнувшись отцу, поднялся Дардаке и оглядел стадо. Те самые овцы, что зимой до корней выедали, не оставляя ни одного стебелька, сухой подснежный ковыль, теперь топчут зеленый луг, перебегая с места на место.

— Эге-гей! Чой! Проклятые зазнайки! Разбегаетесь, оставляя прекрасный корм! А ну, кому говорят — чой!

В последнее время овцы научились подчиняться крику Дардаке, останавливались. А почему? Да потому, что не просто он кричал. Вот что сле-

довало за его криком: огромный пыльно-серый лохматый волкодав поднимался, рычал и лениво бежал вокруг отары, сгоняя разбредшихся овец. Пробежав круг, пес подходил к Дардаке, заглядывая ему в глаза, и, вздохнув, ложился у его ног.

Горы так ярко зелены и так плотно укрыты цветущим коврам трав, что кажутся волнами беспредельного океана. Высокие ледяные пики будто паруса в этом океане. А если вглядываешься в то пространство, что лежит под ногами, видишь, что океан этот не одноцветен. Желтеют лютики, шевелят своими седоватыми, похожими на крылышки бабочек лепестками трилистники, синеют шемюры, а местами вздымают к небу острые, как ножи, листья дикие ирисы. Стоит подняться вон на тот хребет — за ним, на широкой долине, разбросаны цветущие тюльпаны. Ярко-красные, с желтыми точечками посредине. Вся эта непостижимая красота и есть пастбище… Дардаке усмехнулся. Вот ведь как: и горы, и долины, и цветущие поляны — всего лишь хозяйство чабана. Может быть, это и называется счастьем? Все то, что тут происходит, — и то, что брюхо овец заметно раздулось, и что кудрявые ягнята, тряся круглыми, как хлебцы, курдючками, бегают и скачут и, если хотят молока, тычутся в полное

вымя матери, а если не хотят, рвут траву молодыми своими острыми зубами…

Рос и Дардаке. Сам себя не узнавал. Все реже вспоминал школу и школьных товарищей. Но не всех он забыл. Кое-кого он рисовал в своей памяти чаще, чем зимой, гораздо чаще.

Вот что случилось однажды.

Ранним утром, когда на листьях травы еще поблескивала роса, когда и овцы и ягнята весело и жадно хрупали влажную, сочную растительность, а солнце, явившись в просвете между гор, окрашивало все оранжевым лучом, именно в это раннее время в той стороне, откуда светило солнце, появился всадник. В руке он держал повод второй лошади, на которой сидел еще кто-то, но кто, пока было невозможно разобрать.

Дардаке прижал ко лбу ладонь, но и это не помогло. Солнце стояло еще так низко, что нельзя было защититься от его лучей.

Так кто же все-таки эти всадники?

Вроде бы должен приехать Садык-байке. А кого привез с собой? По мере приближения стало заметно, что второй всадник что-то уж очень ярко разодет. Но вот первый спешился… Нет, не Садык, заведующий фермой куда выше.

Ой-е! Этот маленький, сухонький — он заранее

спешился. Так теперь поступают разве только глубокие старики. Да, только они соблюдают давний обычай, полагая, что оказывают хозяину особое уважение, подходя к дому его пешком.

А второй всадник?

Да какой же это всадник! Это женщина… девушка… девочка.

Дардаке полетел как ветер. Только шагах в двадцати опомнился и остановился. Стоял и молчал. Так, наверно, каменный столб стоит. Вот только вряд ли бывает, чтобы столбы сами собой покрывались краской…

*

Правду говоря, Дардаке думал, что взорвется. Но ничего такого не случилось, ничего особенного с ним не произошло. Он узнал Зейну, и Зейна узнала его. Он успел заметить, что на ней поверх платья зеленая бархатная жилетка. И еще успел заметить, что глаза ее смотрят на него удивленно и в то же время радостно. И тут, забыв, какое обещание дал совсем недавно командиру своему Садыку, Дардаке опять убежал.

Нет, нет, он, конечно, не убежал, это не бегство было, а совершенно необходимая предосторожность: надо ведь привязать Ала Мойнока.

Проклятый пес готов кинуться на любого прохожего или проезжего, напугать до смерти… Кроме того, надо родителей предупредить. Не полагается младшему в семье первым встречать почтенного старца.

Дардаке бежал и кричал во все горло:

— Ма-ма, па-па!.. Гости, к нам гости приехали!..

К колышку юрты был привязан Серый. Сам не зная, как это случилось, Дардаке оказался на его спине. Не запомнил даже, кто его коня отвязал. Может, Серый сам отвязался, понимая, что дорога каждая секунда? Все равно, они уже были вместе — конь и взлохмаченный, обгоревший под солнцем бешеный всадник Дардаке. Серый взлетел на холм и горделиво заржал, показывая прибывшим из долины клячам, что значит жить в горах и пастись на молодой весенней траве. Ну, а с холма он несся, будто за ним была погоня или впереди его ждала награда.

Дардаке сделал два больших круга и потом еще один, маленький. И пока Сарбай-аке и Салима-апа с поклонами подводили под руки дедушку Буйлаша к двери юрты, он успел перевести своего коня на спокойный, торжественный шаг…

Он ловко соскочил, думая подать Зейне руку и помочь ей спешиться. Но мало ли что думаешь и

чего хочешь. Стоило оказаться на земле и встретиться глазами с Зейной, все добрые намерения и вся легкость испарились. Пришлось девочке самой слезать с лошади.

Впрочем, по киргизским обычаям, юноша не должен оказывать чрезмерное и заметное всем внимание девушке.

Юноша… девушка… Уж не слишком ли далеко мы заглянули? Мальчишка и девчонка — одноклассники. Что же касается правил поведения, старинных и новых обычаев, разве до них сейчас! Хорошо бы понять, что будет через минуту, сумеют ли они друг с другом заговорить? Сумеют ли скрыть от взрослых то смятение, которое внезапно сковало им руки и ноги? Глупее всего, пожалуй, то, что они смотрят и смотрят друг на друга. Нет, гораздо глупее, что молчат.

И тут Зейна, бросив туго набитый школьный портфель в траву, коснулась ладонью плеча Дардаке и побежала.

А он стоял.

Да, он стоял и стоял.

— Ну, что же ты? Беги за мной, догоняй — крикнула Зейна и зарделась.

И Дардаке вспомнил, как играли они в школе на большой перемене. Эту игру в годы войны

привезли в Киргизию эвакуированные ленинградские дети. Их колония находилась в райцентре, и кыштакская ребятня приходила с ними знакомиться. Игра называлась «пятнашки», а москвичи, как потом узнал Дардаке, называли ее «салочки».

— Не догонишь, не догонишь! — крикнула Зейна и побежала дальше.

Ала Мойнок, беспородный лохматый пес, привязанный к деревцу, поднял страшный лай. Он так рвался с привязи, так хотел пуститься вдогонку за бегущим ярким пятном, что полузадохся и охрип. Но вот и Дардаке вышел из оцепенения. Растопырив руки, будто не девочку хочет поймать, а курицу, делая огромные скачки и улыбаясь во весь рот, он мчался напрямик, ломая кусты, спотыкаясь о камни. Зейна легко увертывалась, проскальзывала у него под рукой. Он бежал босиком, а она даже не сбросила с себя сапожки на каблучках, и все же никак не удавалось ему не только поймать, но даже коснуться ее. Зейна обогнула холм и скрылась в зарослях тамариска. Потом он увидел, как она карабкается по крутизне в горный лес. И тут он испугался за нее и закричал:

— Зейна, Зейна, осторожно, там капкан!

Из-под ног ее катились камни, она ничего не слышала — лезла и лезла вверх, и до него донесся вопль:

— Дардаке! Ой, Дардаш, скорей, меня кто-то схватил…

Он увидел ее лежащей рядом с колючим можжевельником. Нога была подвернута, глаза смотрели испуганно.

— Дардаш, что это? — Она, оказывается, даже не поняла, что в ногу ей вцепился не зверь, а железный капкан.

— Лежи спокойно! — серьезно, как старший, приказал Дардаке. — Сейчас освобожу. Очень больно?

— Немножечко, совсем немного. Только я… я боюсь.

— Ах, немножечко! — Дардаке рассмеялся. Капкан, совсем маленький, поставленный отцом на хомяка или на лисицу, прихлопнул твердый задник сапожка. — Думала, не поймаю тебя. А в горах видишь, какие у чабана помощники. Попалась в мой капкан — не отпущу, сниму с тебя шкурку.

Это маленькое приключение поставило все на место. Вот они уже не парень и девушка, а просто школьные товарищи. Поняв, что ей ничего не грозит, Зейна вытянула ногу из сапожка, оставив

его в капкане, отодвинулась от можжевельника и села на травяной холмик, прижавшись спиной к рябине.

— Твой капкан не меня поймал, а кусок жеребячьей кожи. Так что нечего хвастаться, великий охотник!

Дардаке осторожно, чтобы не расцарапать, высвободил сапожок из железных челюстей. Сапожок был новый, хорошо сшитый, платье на Зейне тоже было новым; в длинной косе блестела красивая шелковая лента. Только сейчас парнишка понял, как празднично и красиво одета его гостья. А он босой, в задранных до колен штанах, в расстегнутой рубахе…

— Возьми свой сапог, надень, — сказал он насупившись, — и пойдем вниз, нехорошо убегать от взрослых.

— Почему нехорошо? Разве тебе не интересно, какие новости я привезла?

Дардаке не отвечал.

— Значит, правда не интересно? — обиженным голосом повторила она и, торопливо надев сапожок, поднялась.

— Ладно, не сердись, — проговорил наконец Дардаке. — Если бы знал, что приедешь, надел бы чистую рубашку и сапоги и…

Зейна весело рассмеялась:

— …и побрился бы, да? Ты уже назвал себя чабаном; вижу, вижу, воображаешь себя взрослым. Не хочешь меня слушать, совсем зазнался.

И тут Зейна взялась хохотать. Громко, раскатисто — никогда он не слышал, чтобы она так хохотала. Да, за это время его одноклассница повзрослела.

— Ой, Зейна! — воскликнул он. — Ты так стала похожа на тетю Сайраш… Тетя, тетя Зейна!

— Великий охотник, Великий охотник!

…Минуту спустя они уже устроились рядком и болтали как ни в чем не бывало. Говорила больше Зейна. Дардаке только изредка удавалось вставить вопрос. Новости она привезла просто удивительные:

— Закир уже не председатель колхоза, на общем собрании его страшно критиковали. Не только мужчины — женщины тоже расхрабрились. На его место выбрали Садыка, и тот первым делом прогнал подхалима завхоза и пьяницу Мамбеткула. Теперь на молочнотоварной ферме распоряжается Алапай. Но ему скоро дадут отару овец — Садык-байке считает, что он справится. Я рада, что уйдет в горы этот Алапай — он такой грубый и чуть что лезет драться, уверен, что всех

сильней. Но ему уже грозили, что скоро приедешь ты, и тогда…

— Куда я приеду? Думаешь, брошу отару?.. Ой, ты такое рассказываешь! Неужели Садык-байке, неужели Алапай, неужели…

Зейна хотела ему ответить, но вместо этого вскочила и стала озираться. Вдруг она захлопала в ладоши:

— Как тут у вас красиво! И чистый воздух… А в кыштаке уже пылища и жарища… Что это там? Что это краснеет? Тюльпаны? Целое поле тюльпанов? Пойдем наберем букет… А ведь нога все-таки побаливает. Если бы ты только знал, как во Фрунзе все обожают тюльпаны, даже очень большие начальники. Мой папка перед самой войной, на первомайской демонстрации, нес меня на плечах мимо правительственной трибуны, а я держала во-от такой букетище горных тюльпанов, и меня позвали наверх и хотели, чтобы подарила первому секретарю, но я не поняла и заплакала, я он мне отдал обратно все цветы и еще подарил плитку шоколада.

— А что это такое — шоколад? — спросил Дардаке.

— Я сама забыла, помню только, что очень-очень вкусно… Не перебивай, новостей так много,

что хватит на все три дня, а нам надо с тобой так много пройти...

— Куда пройти? — спросил Дардаке.

— Не куда, а ч т о... Не смей перебивать! Ты помнишь учительницу зоологии Асию Зурбековну?

— Конечно! На нее похожа одна из овец в нашей отаре.

Зейна рассмеялась:

— Может, и я похожа на одну из твоих овец?

— Ну а как же! — сказал он серьезно. — Не ты похожа, а на тебя похожа овца. По сходству со знакомыми людьми я узнаю многих овец и ягнят.

— Ой, какие глупости ты болтаешь! — Зейна всплеснула руками. — Наверно, хочешь меня рассмешить?

— Неужели Садык-байке и правда теперь председатель? — спросил Дардаке. — А где же усатый, пузатый Закир?

— Стал директором МТС — пошел на повышение, взял с собой Мамбеткула. От них будет зависеть, принять тебя на курсы трактористов или нет. Но ведь ты бросил школу, а без семилетки в трактористы не берут.

— Что ладно? Не воображай, что все может сойти... Мы еще поговорим, когда спустимся. Там у меня в портфеле... Неужели отказался от своей

мечты?

— Трактористом не буду!

Зейна долго и внимательно на него смотрела. Так завуч школы Шаир Турсуновна смотрит, если хочет, чтобы ученик признал свою вину.

— Ты? Неужели это правда? — Зейна не могла скрыть радость. — Наверно, тут, в горах, много думал на свежем воздухе. Я бы все время думала. В такой красивой обстановке должны приходить великие мысли... Ну что ты так смотришь? Я не шучу. Мне всегда казалось, что мало быть трактористом, если ты на большее способен. Ведь Садык-байке сказал о тебе, что ты талант. Меня еще никто не называл талантливой, а все-таки я знаю, чего хочу, и обязательно добьюсь. Я очень люблю детей — эта работа мое призвание! — Она горделиво взглянула на Дардаке и повторила: — Да, п р и з в а н и е!

— Какая работа? Ты же не сказала, какая у тебя будет работа. Дети ведь — не работа.

— Не лови меня на слове, не придирайся. Когда человек говорит вдохновенно и волнуется, может и спутаться. Э, да что с тобой толковать! — Она махнула рукой и, прихрамывая, побежала вниз.

И он побежал за ней и все кричал:

— Осторожно, осторожно, там еще один кап-

кан!

Она резко повернулась:

— Не вздумай говорить при дедушке, что меня поймал твой капкан. Старые люди всему придают значение, еще что-нибудь выдумают...

— Выдумают? Что выдумают? — Дардаке не мог ее понять.

Но Зейна ничего ему не объяснила.

...Внизу их встретил Ала Мойнок. Его кто-то отвязал, и он с бешеным лаем кинулся на Зейну. Дардаке закричал:

— Назад, назад!

А Зейна ничуть не испугалась. Протянула руки, и Ала Мойнок сразу понял, что его зовут играть, и обрадовался, запрыгал, заскакал. Вот так девчонка! Никого и ничего не боится.

Потом они втроем — Зейна, Дардаке и Ала Мойнок — обошли отару. Зейна то и дело брала на руки и ласкала ягнят, называя их миленькими и хорошенькими; одному из них даже пыталась скормить букет цветов.

— Глупый, глупый, почему не ешь? — говорила она и посматривала на Дардаке.

Он видел, что Зейна хоть и живет в кыштаке четвертый год, но как была, так и осталась горожанкой. Раньше он над ней посмеивался

и все ее замечания ни во что не ставил. Теперь что-то заставляло его внимательно прислушиваться к любому сказанному ею слову. Все, что она говорила, было ему приятно. Приятен был голос, приятно каждое ее движение… Хорошо, что Зейна приехала. Дардаке так и не узнал до сих пор причины ее приезда. Он думал, что дедушка Буйлаш привез что-нибудь отцу и прихватил с собой внучку. Но разве не удивительно, что она согласилась поехать? Надо бы расспросить… Нет, он не уподобится девчонкам и не станет любопытничать. Захочет — расскажет сама.

— А где овца, похожая на меня?

— Может быть, сама найдешь? Выбирай самую красивую. — Сказав это, Дардаке мучительно покраснел. — Ладно, не стоит, лучше посмотри вот на ту кучку. Сколько их там?

Она дернула плечом:

— Откуда мне знать!

— Пятьдесят четыре, — сказал Дардаке. — Побежим, сосчитаем.

Он погнал овец и ягнят через узкое пространство между кустом шиповника и большим валуном. Зейна считала вместе с ним.

— Правильно. Но как ты мог? Как ты это делаешь?

— Очень просто: сперва считаю их ноги, а потом делю на четыре и так узнаю количество овец.

Зейна фыркнула и покосилась на него:

— Ты меня принимаешь за дурочку?

— Нет, что ты! Я и сам как следует не знаю. Вот посмотри, что я еще могу.

И он стал показывать ей то, что две недели назад не захотел показать усатому Закиру и членам комиссии. Дардаке отворачивался, Зейна отнимала от сосков матери ягненка и приносила ему, а он тут же находил в стаде ту самую овцу — мать. Зейна бегала туда и обратно и, стараясь запутать Дардаке, приносила ему ягнят из разных концов отары; он безошибочно угадывал.

— Как ты это делаешь, как тебе удается узнать?

— Понимаешь ли, директор школы тоже не с первого дня может отличить каждого ученика…

— Перестань! — Зейна топнула ногой. — Как тебе не стыдно! Ты все время сравниваешь людей с животными.

— Не надо сердиться, — отвечал Дардаке. — Я ведь и сам только пробую понять. Видишь ли, хоть овцы и пасутся вместе, но у каждой своя судьба, своя жизнь. Одна болела чесоткой, другая расцарапалась об иглы шиповника и на месте зажившего рубца изменился цвет шерсти, третья

тяжело рожала, четвертая… Есть овцы, которых мы с трудом приучали к ягнятам, — они не хотели кормить. Есть любвеобильные, готовые дать свое молоко чужому, а потом этот чужой ягненок болеет поносом. Ты понимаешь, все овцы — матери-одиночки, у них трудная жизнь, тем более что они глупые, очень глупые. Чабан должен помогать, защищать их, учить…

— Учить? Разве можно овцу чему-нибудь научить?

Зейна слушала его сперва внимательно, однако на лице ее появилась насмешливая улыбка, и кончилось тем, что она зевнула. И тут, на счастье, их позвали. Салима-апа махала рукой и кричала:

— Скорей, скорей, мы вас ждем! Стынет бешбармак!

Неподалеку от юрты в траве лежал брошенный Зейной набитый до отказа школьный портфель. Она подняла его, Дардаке опросил:

— Что у тебя там? Зачем привезла?

Не ответив ему, Зейна вошла в юрту.

*

Да, портфель Зейны таил в себе серьезные дела. Недаром ома так важничала. Стали понятны намеки, которые она делала на горе, говоря, что

им надо много п р о й т и.

Удивительные события! Сперва они показались радостными, но потом вдруг осветились по-иному, Сарбай даже помрачнел и запел свою старую песню.

— Мы из племени униженных, судьба никогда не будет к нам благосклонна, — повторял он и скорбно качал головой.

Но лучше рассказать по порядку. После того как гости и хозяева плотно поели и старый Буйлаш, вытерев рот, отодвинулся от блюда с едой, Дардаке заметил быстрый вопросительный взгляд, брошенный дедушке Зейной. Он вроде бы ждал этого взгляда. Кивнул ей в ответ, и тогда она подтянула к себе портфель. Достав из него какую-то бумагу, Зейна обратилась к хозяину дома:

— Уважаемый Сарбай-аке, я привезла важное письмо. Оно адресовано вашему сыну, но касается всей семьи. Можно, я прочитаю его вслух?

Сарбай не привык к столь торжественному тону, он не знал, улыбаться ему или быть серьезным. Не успел он ответить, как выскочила Салима-апа.

— А разве сын мой, которому послана эта бумага, неграмотный? Или уже наступили времена, когда женщины берут верх над мужчинами?

Дардаке стало не по себе. Как грубо и резко говорит мать! После таких слов гостья должна обидеться и уйти.

Но Зейна не обиделась. Смело подняла глаза на хозяйку:

— Директор школы поручил… Мне все учителя поручили и весь наш класс!

— А при чем тут теперь учителя и весь ваш класс вместе с директором? Мой сын теперь уже не школьник, а помощник чабана. — Салима оглядела всех присутствующих. Но Сарбай и дедушка Буйлаш смотрели на нее неодобрительно, и она сменила гнев на милость: — Ну да ладно, читай! Надо уважать тех, которые учили грамоте.

Зейна поднялась и с выражением прочитала:

— «Ученик седьмого класса Чаекской неполной средней школы Сарбаев Ракмат! В третьей и четвертой четвертях ты не посещал школу и отстал в учебе. Причины этого нам известны, и все же тебя следовало бы из школы исключить. Только принимая во внимание, что ты не по своей вине бросил занятия и на своей должности показал себя отличником животноводства, педсовет решил тебя не

исключать. Получить образование в объеме семи классов обязан каждый ребенок — таков закон Советского государства. Ты учился хорошо в шестом классе и в первом полугодии седьмого. Исходя из этого, мы разрешаем тебе держать экзамены за весь седьмой класс. Твои учителя и твои одноклассники согласились помочь тебе и пройти с тобой последние главы учебников. Если ты постараешься и будешь напряженно работать, экзамены сдашь. Сейчас такое время года, когда с овцами не очень много хлопот. Отпросись у родителей и приезжай в школу. Мы все не сомневаемся, что ты сумеешь сдать экзамены и получишь удостоверение об окончании семилетки. Твой учитель, директор школы Асламбек Аманов. Двенадцатое мая тысяча девятьсот сорок восьмого года».

Закончив чтение, Зейна с поклоном передала бумагу Дардаке. Она старалась держаться независимо, но, видно, напряжение было слишком велико, взглянуть на старших она не решалась.

Дардаке неожиданно ткнул себя в грудь боль-

шим пальцем и спросил:

— Это мне?

Все, даже Салима, рассмеялись. Получилось, что Дардаке не слушал.

— Ты все понял? — спросила Зейна.

— Я понял, что меня опять хотят сделать учеником. Я… я… — Он ужасно растерялся.

И тут поднялась Салима.

— Зачем ему это? Зачем бедного мучить? — проговорила она своим резким голосом.

Тем временем Зейна вынула из портфеля пять или шесть книг: история, химия, алгебра… Дардаке дрожащими руками потянулся к ним, но тут же и отодвинулся.

— У меня они есть. — сказал он. — Почти все.

— Из века в век, — продолжала Салима, — чабанами становились без всякого образования. Сейчас у нас в колхозе есть два чабана из учеников, окончивших школу. Разве они лучшие чабаны? Нет, они только зря теряли время.

Дедушка Буйлаш, сухой, легкий, смотрел голубенькими глазками и кивал головой. Похоже было, что он во всем согласен с хозяйкой дома.

И вот тут-то Сарбай и воскликнул:

— Эх-хе-хе, мы из племени униженных, судьба никогда не будет к нам благосклонна!..

Что он этим хотел сказать? Дардаке смотрел на него во все глаза, Салима-апа застыла с разинутым ртом. Вдруг Зейна спросила:

— Дардаш, разве ты хочешь стать чабаном?

Дардаке молчал.

— Ну! — Салима-апа властно посмотрела на сына. — Говори же! Скажи этой д е л е г а т к е, что новый председатель колхоза Садык-байке назвал тебя прирожденным чабаном и что старый председатель тебя тоже хвалил.

Дардаке молчал.

Ему очень хотелось выбежать из юрты куда-нибудь в горы, подумать. Он не мог сразу охватить и понять все, что произошло. Для него было неожиданным и доверие педсовета, и обещание одноклассников подготовить его к экзаменам. Чувство благодарности переполняло его. Ему захотелось увидеть школу, поскорее встретиться с товарищами. Учебники, лежащие на дасторконе, тянули к себе, как магнит.

— Эх-хе-хе! — опять вздохнул Сарбай.

Но Салима не дала ему говорить.

— Хозяин ты здесь или нет? Мужчина ты или нет? Сын твой не отвечает матери, молчит. Может, тебе ответит?.. — Она бросила быстрый взгляд на Зейну и повернулась с поклоном к де-

душке Буйлашу: — Дорогой аксакал, не кажется ли вам, что судьбу юноши не приличествует обсуждать в присутствии девушки?

Буйлаш в знак согласия закивал головой. Он не хотел выражать свое мнение словами. Он проводил сюда внучку и знал, зачем она едет, но вмешиваться в семейное дело считал невозможным. Новые обычаи позволяют посылать девочку с казенным письмом по казенному делу. Раньше этого не было. Но раньше и таких девочек не было. Девочек, которые могут читать перед всеми и смело смотреть в глаза старшим.

Дардаке схватил за руку Зейну:

— Не уходи!

Но она легко освободилась, собрала учебники в портфель и вышла. Семейный совет продолжался без нее.

— Ой, байбиче, — сказал, как простонал, Сарбай. — Пусть мальчик, если он хочет, едет в школу. Разве говорил он тебе, что решил стать чабаном? Разве не помнишь, как смотрел на трактор и автомашины, как собирался после школы поступить на курсы при машинно-тракторной станции? Если провел одну зиму с нами, неужели судьба принудит его всю жизнь бродить по горам с глупыми животными? Вот смотри, умненькая

Зейна, внучка уважаемого аксакала, — она учительницей хочет стать…

Дедушка Буйлаш быстро закивал головой.

— Трактористом не буду, — сказал вдруг Дардаке и уткнулся в землю взглядом. — И учителем тоже не хочу.

— Вот видишь, видишь! — закричала Салима. — А кем будешь? Кем хочешь быть, золотой мой, работящий.

Дардаке изо всех сил старался вспомнить слово, сказанное ему Зейной, когда они были на горе. Она тогда сказала, что хочет работать с детьми и видит в этом свое… Что свое? Стремление? Желание?

— Опять молчишь?! — сердито проговорила Салима.

— Пустите, если можно, в школу, — басом сказал он. — А потом когда кончу, вернусь к вам.

Дедушка Буйлаш на этот раз не только закивал головой, но еще и слово сказал. Одно слово.

— Аминь!

*

И опять снег. Майский снег. Не желтый, а на удивление белый. Ярко-белый на ярко-зеленой траве. Недаром старый Буйлаш был так молча-

лив. Он не любил жаловаться, а перед непогодой у него ломило кости, и раньше он говорил об этом близким своим, чтобы предупредить о надвигающейся буре, но в последние два года, с тех пор как правление колхоза стало получать по телефону метеосводки из райцентра, бывший председатель Закир запретил старикам «распространять ложные слухи, вызывать панику». Да и в самом деле, один старик одно говорит, другой — другое.

Зейна сразу продрогла под снегом. Она ведь приехала в одном платьице и в бархатной жилетке. Хорошо еще, не туфли надела, а сапожки. Правду говоря, Зейна, после того как Салима выгнала ее из дому, намеревалась тут же и уехать. Но снег, плотный и густой, валил и валил. Салима бросила ей свой старый ватник, дала какой-то потрепанный веник:

— Иди помогать, девушка! У нас в горах все должны прежде всего позаботиться об овцах. Долго ли до простуды. Бежим, бежим. Сметай с них снег!

И Сарбай, и Дардаке, и даже старый Буйлаш на своих хлипких ногах отправились к стаду, пошла работа. Овцы будто ждали, что их начнут чистить. Стояли смирно. Спрятать их тут было негде…

Майский снег в горах не редкость. Бывает на такой высоте снег и в июне, а в иные годы случается даже в июле. Сразу наступает холод. Конечно, ненадолго. Иногда на два-три часа, иногда на два-три дня.

Снег лег толстым слоем. Нечего было и думать о возвращении в кыштак. Хорошо хоть к вечеру солнце его уже растопило. Но если здесь, на просторном пастбище, солнце легко справляется с майским снегом, в ущельях он лежит подолгу. Старый Буйлаш не согласился ехать.

Да ведь и раньше Зейна говорила, что собирается погостить три дня. Между прочим, увидев, как девочка старательно работает, Салима улыбнулась ей и раз и другой. Она незлобивая была женщина. А потом случилось вот что — они поговорили, и оказалось, что и у той и у другой взгляды совпадают. Как так? Ведь Салима считала, что чабану учиться не нужно. Да, она так считала. А Зейна? Зейна считала, что Дардаке человек способный и ему обязательно нужно учиться. Но если он хочет остаться чабаном, если не хватает ему терпения и мужества, чтобы не только семилетку закончить, но и десятилетку, а потом выучиться на инженера или, на худой конец на агронома, — учиться и правда не стоит.

— Я взяла на себя обязательство, обещала директору и классу и, конечно, помогу Дардаке подготовиться к экзаменам. Официально! Но в душе я против такой бессмысленной работы.

Ох и любила же Зейна повторять всякие ученые слова: «вдохновение», «обязательство», «официально», «призвание»...

Дардаке набросился на книги с жадностью. Все, что было ему непонятно, тянул из Зейны, ничуть не стесняясь. Интересно, что когда сел с ней к столу, взялся за книжки и тетрадки — сразу забыл, что она девчонка, что она ему нравится, что назвал ее про себя красавицей. Слава богу, она в течение этих трех дней так и не снимала ватник и была похожа на ту дурнушку Зейну, что перебирала в годы войны картошку и собирала на поле колоски...

...На четвертые сутки Буйлаш сказал, что пора ехать.

Был прекрасный летний день. Родители провожали Дардаке до ущелья, и он еще раз пообещал, что вернется не позже чем через месяц.

Буйлаш ехал очень медленно. На крутых местах, на узких тропах он держал лошадь Зейны за повод. Дардаке на своем Сером терял терпение. Он обгонял своих попутчиков и потом подолгу их

ждал… С Зейной рядом ему ехать было как-то не по себе. Она опять стала красавицей.

Но вот перевалили через гряду холмов, и перед ними раскрылась широкая, ровная долина. Зейна пустила свою лошадку вскачь и стала звать Дардаке. Парнишка быстро нагнал ее, и они поехали рядом, сперва молча, но долго ли может молчать девчонка?

— Ты способный человек, Дардаке! — сказала она.

— И ты тоже очень способная, Зейна! — сказал Дардаке.

— Вот так и собираешься повторять за мной мои слова?

— Я ведь знаю, что ты хочешь сказать.

Они не успели разговориться, хотя Буйлаш плелся далеко позади и времени бы хватило для большого и серьезного разговора. Им не Буйлаш помешал, а встречные всадники, которые спускались со второго перевала. Трое мужчин. Одного из них сразу же узнал Дардаке — это был новый председатель колхоза Садык. Все в той же потертой гимнастерке, на той же быстрой, но некрасивой лошадке. Совсем не похож на председателя. Вместе с ним ехали зоотехник Бектен и молодой ветеринар. Встретившись, они остано-

вились, и Садык-байке начал расспрашивать:

— Большой ли у вас был снег? Сколько овец заболело? Справятся ли Сарбай-аке и Салима-апа с отарой без помощника?

Дардаке отвечал серьезно и обстоятельно. На летовке все хорошо, овцы здоровы, чабан и его жена чувствуют себя прекрасно. Этот снег немного их напугал, и пришлось бы трудно, да вот приехавшие гости помогли спасти животных от простуды.

— Зейна! — позвал Садык-байке. — Ты, оказывается, не только учиться помогаешь чабанам, но и работаешь лучше всех. Вот Сарбаев говорит, что тебя надо премировать.

Девчонка звонко рассмеялась. С Садыком-байке она разговаривала всегда легко и свободно. Он представляется ей человеком справедливым, не то что старый председатель. Правда, и этот без образования…

— Садык-байке! — начала она звонким голосом. — Вот вы сказали на собрании, что Дардаке человек талантливый, а сейчас говорите, что ему не надо учиться.

Садык с удивлением поднял бровь и неодобрительно глянул на девочку:

— Не понимаю. Что-то ты не то говоришь, ком-

сомолка дорогая! Кто тебе сказал, что я против учения?

— А зачем чабану учиться? Вы же сказали, что Дардаке чабан… Уже всего достиг…

Она была несносна. Задавала вопросы, не слушая ответов. Она обвиняла. Первый раз в жизни ей пришлось так вот разговаривать со взрослым и таким ответственным… дяденькой.

— Эй, девочка, не слишком ли много на себя берешь! Кто сказал, что чабан должен оставаться темным? Слушай, но только слушай как следует… Мне известно, что мама твоя, Сайраш-апа, хочет уехать во Фрунзе. Твоя мама лучшая в колхозе доярка, но жить с нами не хочет.

Зейна резко перебила:

— А я знаю, что вы не хотите ей дать паспорт. Но у нас в кыштаке нет десятилетки, а я не собираюсь быть ни дояркой, ни чабаном, ни скотницей. Хочу жить в городе, получить высшее образование. И вообще вы… вы… — Она хлестнула кнутом лошадь и поскакала вперед.

— Зейна, Зейна! — закричал Садык. — Я привез тебе новости!

Девочка приостановила свою лошадь и слушала полуобернувшись:

— Ну ты, строптивая!

— Это не новость. Вы тоже строптивые…

— С осени в кыштаке открывается десятилетка.

— Значит, не хотите отпускать из колхоза?

— Отпущу. — Садык махнул рукой. — Тебя отпущу.

— А Дардаке?

— Что Дардаке? — Он обернулся к парнишке. — Ты что, неужели хочешь уезжать?

— Она болтает, товарищ командир…

Дардаке сказал это негромко, но Зейна услышала.

— Значит, я болтушка? Тогда прощай, не хочу тебя знать!

И, еще раз стегнув коня, Зейна поскакала в сторону кыштака. Вскоре она скрылась за поворотом.

Сцена эта, довольно необычная для сельской Киргизии, вызвала среди всех здесь находившихся мужчин растерянность и недоумение. Подъехал Буйлаш. Садык не хотел бы портить настроение старцу. Но как-никак Зейна приходилась ему внучкой, и он отвечал за ее воспитание. Пока молчал Садык, молчали и другие.

Буйлаш поздоровался с Садыком за руку, другим мужчинам кивнул и только после этого,

показав головой в ту сторону, куда ускакала Зейна, спросил:

— Ты услал ее за чем-нибудь?

Тут заговорили все вместе, один лишь Дардаке скромно молчал. С трудом поняв, что Произошло, старик опустил голову.

— Слишком много свободы получили у вас женщины, — сказал он.

Ответ был таким неожиданным, что Садык прекратил этот разговор. Он стал расспрашивать старика, каково положение на летовке Сарбая. И Садык и два его помощника повернули коней и поехали обратно к кыштаку.

— А разве вы не собирались к папе? — спросил Дардаке.

— Мы ехали к нему, чтобы помочь, думали, что снег натворил у вас беды, а теперь я спокоен. И товарищи мои тоже там не нужны. На тебя, видно, можно положиться! — весело оказал Садык и хлопнул парнишку по плечу.

— Но ведь чабан не я.

— Ты чабан. Ты прирожденный чабан. Но вот беда — у нас многие до сих пор считают, что способные к наукам и к учебе люди не должны оставаться на такой работе. Я слышал даже, как один человек называл труд чабана унизитель-

ным.

— А это правда, Садык-байке, что у нас будет десятилетка? — спросил Дардаке. — Скажите, а вы будете в ней учиться? Я слышал, война помешала вам получить образование… Скажите еще, если у меня раньше была одна мечта, а теперь появилась другая, разве это плохо?

— Ты сразу так много спрашиваешь…

— Я очень хочу учиться, и хочу много повидать, и хочу читать книги, и смотреть кино, и ездить. Но как же быть, если чувствую свое призвание… Что такое призвание, Садык-байке?

Они поднялись на кромку перевала. Перед ними далеко внизу расстилался родной кыштак. Всадники остановились, горячий ветер долины принес к ним аромат цветов и пряный запах кизячного дыма. Вдали тарахтел трактор. А справа, на зеленом склоне, были разбросаны ярко-белые точечки. Над ними возвышался всадник.

— А-ла-пай! — сложив рупором руки, закричал Садык. А потом они вместе стали кричать:

— Алапай, Алапай!

И, пока всадник ехал к ним, Садык, протянув руку с плеткой в сторону сверкающих белых точечек на зеленом лугу, сказал, обращаясь ко всем, но больше всего к Дардаке:

— Вот это маленькое стадо — наша надежда и наше будущее. Этих овец — высокопородных тонкорунных мериносов — доверило нам государство. Постепенно все наши стада мы обновим и улучшим. Это совсем не так уж трудно. Нужно только построить школу, клуб, кинотеатр. Нужно, чтобы люди стали по-другому жить и по-другому думать. И прежде всего нужно, чтобы чабаны были образованными и культурными. И... чтобы шли на эту работу по призванию. Не потому только, что тебе нужно или выгодно, а потому, что ты чувствуешь любовь к этой работе и готов отдать ей жизнь.

— А я готов! — сказал Дардаке. Сказал просто и горячо.

Он так весело и бодро это сказал, что все рассмеялись.

И тут как раз подъехал Алапай и с ходу крикнул Дардаке:

— Эй, ты! Я выздоровел! Не воображай, что меня победил. Давай бороться. В любое время давай, я вызываю тебя!

— Ну что ж, я тоже тебя вызываю. Но ты уже чабан, а я только помощник.

— Будешь, будешь чабаном!

Кто это сказал? Может, Садык-байке? Может,

Алапай? А может, он сам себе сказал?

Раздумывать было поздно. Все повернули коней и поскакали в сторону кыштака.

Перевод Е. Босняцкого.

В. Мурадян
ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ



От автора

Перелистывая пожелтевшие страницы фронтового дневника, невольно погружаешься в раздумье о тех суровых днях, когда, говоря словами поэта, «поперек страны-державы» бой гремел

«…святой и правый,
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле».

Замечательный поэт и солдат Александр Твардовский, с которым мне довелось встретиться на фронте в годы Отечественной войны, этими рукописными строками заключил последнюю страницу своей книги «Василий Теркин», когда дарил ее мне. Всю войну хранил я поэму, часто читал ее бойцам. А кто из воинов — будь то украинец или казах, армянин или азербайджанец, киргиз или узбек — не стремился быть похожим на храброго и веселого Теркина — живое воплощение русского солдата!

Соединение, в котором автор этих строк служил первые три года войны, явилось как бы олицетворением боевой дружбы народов СССР.

Плечом к плечу с храбрыми сыновьями великого русского народа мужественно и беззаветно сражались с фашистскими захватчиками украинцы, белорусы, азербайджанцы, армяне, грузины, киргизы, казахи, узбеки, латыши, эстонцы, литовцы, туркмены, молдаване, татары, — воины почти пятидесяти национальностей СССР. В огне и испытаниях войны росла и закалялась их дружба. Скрепленная кровью дружба эта вселяла исполинскую силу в наших воинов, порождала массовый героизм, вела людей на ратные подвиги. Сколько героических страниц вписали воины нашей дивизии в летопись Великой Отечественной войны! Сколько раз столица нашей Родины Москва салютовала гвардейцам этого соединения, покрывшего себя неувядаемой славой.

Бывший начальник штаба 4-ой гитлеровской армии генерал Гюнтер Блюментрит в своей статье, вошедшей в книгу «Роковые решения», с горечью признает:

> «Человек, который остался в живых после встречи с русским солдатом и русским климатом, знает, что такое война. После

этого ему незачем учиться воевать»[4].

Далее, говоря о храбрости, о волевых качествах русского солдата еще старой армии, Блюментрит пишет:

> «Таков русский солдат, которого мы узнали и к которому прониклись уважением еще четверть века назад. С тех пор большевики систематически перевоспитывали молодежь своей страны, и было бы логично предположить, что Красная Армия стала более крепким орешком, чем царская армия»[5].

Боевая история нашей дивизии в один из самых трудных периодов войны — летом и осенью сорок второго года — богата бесчисленными примерами, ярко иллюстрирующими признание битого фашистского генерала. Родившаяся в Горьком 160-я стрелковая, а затем 89-я гвардейская Белгородско-Харьковская Краснознаменная, ор-

---

[4] Примечания: 4

«Роковые решения» (книга написана группой генералов немецко-фашистской армии по заданию Министерства обороны США). Перевод с английского. Воениздат, Москва, 1958, стр. 72–73.

[5] Примечания: 5

Там же, стр. 73.

дена Суворова стрелковая дивизия выпестовала многих славных воинов, среди которых 55 Героев Советского Союза.

Список героев открывается именем легендарного солдата нашего полка, славного сына киргизского народа комсомольца Чолпонбая Тулебердиева. Он первый из воинов дивизии удостоился звания Героя Советского Союза. Имя его стало символом мужества и храбрости, смелости и отваги. Оно звало братьев по оружию к ратным подвигам, помогало им в минуту решительных схваток.

Жизнь Чолпонбая Тулебердиева — замечательный пример беззаветной любви к Отчизне. К сожалению, фронтовая жизнь героя, подвиг его до сих пор не нашли достаточно полного освещения в литературе. Повинны в этом и однополчане Тулебердиева. Ведь он жил среди нас, на наших глазах совершил он свой подвиг. И мы, однополчане героя, должны рассказать о нем современникам и потомкам. Правда, в армейских газетах был напечатан ряд статей и корреспонденций о Чолпонбае (в том числе и моих), но, судя по всему, на родине героя еще неизвестны многие из названных материалов.

Я получил несколько писем из Киргизии с

просьбой рассказать о подвиге Чолпонбая. Группа учащихся средней школы № 23 города Фрунзе пишет:

> «Мы проходим историю Киргизии. При изучении темы «Участие воинов Киргизии в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны» мы узнали о героическом подвиге Чолпонбая Тулебердиева. Мы восхищены его мужеством, стойкостью, храбростью, беззаветной преданностью нашей любимой Родине. Образ Чолпонбая будет всегда для нас примером героизма и любви к матери-Родине. Мы все читали книгу «Чолпонбай» Ф. Самохина, познакомились с его жизнью. Хочется обстоятельно узнать о Тулебердиеве, о его отважных, боевых делах на фронте. Очень просим вас описать в подробностях подвиг Тулебердиева, рассказать о его фронтовых друзьях, отличавшихся в боях за Родину…»

С такой же просьбой обратились и ученики другой школы столицы республики — № 36. Трогает, что юноши и девушки Киргизии с благоговением произносят имя Чолпонбая, что подвиг его слу-

жит примером беззаветной любви к Отчизне. И чем больше будет знать молодежь о герое своего народа, тем ярче засверкает пламя его неугасимой жизни, тем ближе он будет к нам — живым, во имя которых он отдал самое дорогое — жизнь.

Все это и побудило меня внести некоторые изменения в план работы над книгой о боевой дружбе советских воинов на фронтах Великой Отечественной войны, которую я пишу по материалам нашей славной дивизии. Две главы ее посвящены тому периоду боевого пути дивизии и полка, когда у нас служил Тулебердиев. Я дополнил их сохранившимися у меня материалами о Чолпонбае, чтобы читатель получил более или менее цельное представление об облике этого мужественного человека.

Писатель Федор Самохин в своей книге о Тулебердиеве в основном показал его детство и юность. Я же поставил перед собой цель — опираясь на записи в своем фронтовом дневнике и на документы Центрального архива Министерства Обороны СССР, более подробно рассказать о фронтовом периоде жизни Чолпонбая.

Но повествовать об этом — значит кратко воспроизвести и боевой путь нашего полка в один из самых тяжелых периодов войны, значит расска-

зать о командирах, коммунистах и комсомольцах полка, о фронтовых друзьях Чолпонбая. С ними он прошел суровую школу, в одном строю с воинами нашей дивизии совершил подвиг.

Хотя со времени окончания войны и прошло много лет, мы, боевые товарищи Чолпонбая Тулебердиева, не забыли ни его, ни его страну «Небесных гор». Впервые приехав в Киргизию, я увидел прекрасную родину Чолпонбая, о которой он так любил рассказывать: исполинские хребты Тянь-Шаня, вечные снега и ледники, зеленеющие тучные долины с бурными реками, сказочное голубое озеро Иссык-Куль… Вот она — родина Чолпонбая, которую он защищал на берегах Дона, выполняя наказ своего народа!

В письме своим землякам бойцам-киргизам народ Чолпонбая писал:

> «Всадники-киргизы! Пехотинцы-киргизы! Артиллеристы-киргизы! Вы защищаете горы своей родины. Будьте же в борьбе с врагом стойки, как горы, непреодолимы, как Ала-Тоо, безжалостны и холодны к врагу, как снега грозных вершин Тянь-Шаня. Помните, что вы обороняете весь Советский Союз, выполняете

историческое дело освобождения мира от коричневой коросты. Истребляйте врага без пощады и без страха, пусть голоса братьев, взывающих о помощи, затмят в вашем внимании рев немецких пушек и визг авиабомб.

Детище Октября, Киргизия, приказывает тебе, потомок Сейтека: мсти за украинца и литовца, за черкеса и эстонца, за белоруса и молдаванина, за разграбленный дом твоей общей Родины. Громи, потомок Сейтека, дзоты фашистов, чтобы уцелели юрты и клубы твоих гор, сметы все фашистские укрепления, чтобы уцелело твое жилище. Помни, сын Киргизии, отвоеванные тобою города Волги и Кавказа, города Центральной России сохранят в долинах Иссык-Куля, Сон-Куля, Аксая, Таласа и Алая киргизский язык и киргизскую культуру, жизнь твоих стариков-родителей, жизнь твоих сестер, жизнь твоих нежно любимых детей».

Чолпонбай Тулебердиев был одним из тех мужественных сынов своего народа, который навеки прославил имя воина-киргиза, имя своего

народа. Чолпонбай и его многие боевые друзья, о которых пойдет речь в этой книге, не дожили до победы, но они отдали во имя ее самое дорогое — жизнь. И потому они продолжают жить в сердцах народа, в делах народа, в его беспримерных трудовых подвигах на большом, невиданном по масштабам и размаху фронте строительства коммунистического общества.

Боевое крещение

«Жизнь — самое ценное для человека, но бывают моменты, когда она приносится в жертву во имя еще более ценного — сохранения своего государства, сохранения национальной независимости».

М. И. Калинин

1

Шел суровый сорок второй год. Даже природа, казалось, была потрясена бурями прошедших битв: весна в этом году запаздывала. И все же с каждым днем солнце пригревало все сильнее. Мутные потоки сбегали в низины, обнажая размякшее черное тело земли. Неукротимо лезла на поверхность густая щетка зелени. Просыпались от зимней спячки деревья, набухали почки. Вернулись перелетные птицы, и повсюду слышались их возбужденные голоса.

Пора пробуждения, пора жизни…

Но… Шла война, жестокая, неумолимая. Она не замечала дыхания весны, не считалась со стремлением людей жить, созидать.

Что принесет с собой первая военная весна? Этого никто не мог сказать. Но мы жили надеждами, верили в победу.

Уже к зиме стал ясно, что гитлеровский план молниеносной войны потерпел провал. Наша армия узнала пьянящую радость первых побед. Страна вздохнула свободнее. Повеселели и бойцы. «Не так страшен черт, как его малюют», — говорили повсюду.

Началось наступление и на Брянском фронте. За две недели наша дивизия продвинулась более чем на шестьдесят километров. Бойцы рвались вперед. Даже унылые воспрянули духом.

Хорошие вести стали приходить и из тыла. Сколько горячих, проникновенных слов довелось нам прочитать в эти дни в письмах, вложенных в скромные подарки, присланные из Горького, из Баку, из других городов и сел страны…

Дела в полку шли хорошо. Нас часто ставили в пример другим, а когда приезжали гости из Москвы или из штаба фронта, их непременно направляли к нам — в «самый интернациональный» полк.

Как-то в один из февральских дней к нам приехал поэт Александр Твардовский. Он провел в полку много времени, посвятил одно из своих

фронтовых стихотворений санинструктору Наде Кутаевой — крошечной ростом, но смелой русской девушке, которая вынесла из-под носа контратакующих фашистов раненого командира батальона старшего лейтенанта Григория Середу.

Твардовский, работавший тогда во фронтовой газете, уехал, пообещав не забывать нас. Вскоре мы расстались и с подполковником Кириллом Джахуа, который почти с первых дней войны командовал нашим полком. Он получил бригаду.

К нашей большой радости, на его место был назначен майор Павел Константинович Казакевич — начальник оперативного отдела штаба дивизии. Мы все знали его как прекрасного человека, умного, волевого и смелого командира. Вскоре Казакевич получил звание подполковника.

2

Штаб полка стоял в большом русском селе Сокольи Плоты. Воскресное апрельское утро было на редкость спокойным. Штабной повар объяснил это по-своему: мол, немцы народ верующий и по воскресеньям не воюют. Он возился с завтраком, Казакевич брился, мурлыча под нос грустную белорусскую мелодию, я вертел ручки прием-

ника, готовясь записывать очередную сводку Совинформбюро.

В комнате раздался затяжной звонок полевого телефона. Я взял трубку и сразу узнал голос комиссара дивизии Олейника. Поздоровавшись, он спросил, как дела, как прошла ночь. Потом сказал:

— К нам прибывает пополнение. Вышлите представителей для приема людей. Приезжайте сами.

— Много? — не сдержал я любопытства.

— Достаточно. Но с ними придется поработать. Много новичков, необстрелянные.

— Встретим как положено…

Пополнение пришло как раз вовремя. Полк наш занимал оборону на большом участке южнее станции Щигры. Линия фронта уже третий месяц оставалась неподвижной, но без боев и стычек не проходило и дня. Мы вели разведку, дрались за безымянные высоты, за отдельные домики, разбросанные в ложбинах между селами, разведчики ходили за «языком». Но не так-то легко было раздобыть нужные сведения. Враг окопался основательно: видимо, решил сидеть на занятых позициях прочно.

— Ну вот, комиссар, — узнав о прибывшем по-

полнении, сказал мне Казакевич, — наконец-то и мы обретем силу. Замечательно! Жаль только, что много «некрещеных».

Новички прибыли в последних числах апреля. Их разместили на окраине села. Помощник командира полка капитан Мерлин распорядился сводить их в баню, сытно накормить и выдать по сто граммов «горючего».

— По закону не положено, — бахвалился, как и все интенданты, Мерлин, — ведь они будут зачислены на довольствие только с завтрашнего дня. Но у бережливого хозяина всегда что-нибудь найдется, пусть народ чувствует, в какой полк попал.

— Хватит тебе, капитан, хвастаться, — одернул его Казакевич, — лучше поезжай за боеприпасами, начальник тыла звонил…

С Павлом Константиновичем мы обходили избы, где разместились молодые бойцы.

Из одной хаты, к которой мы подошли, донесся громкий хохот. Как только мы вошли, все мгновенно затихло. Подав команду «смирно», старшина Петров бойко отрапортовал:

— Товарищ подполковник, новое пополнение находится на отдыхе после обеда…

Мы поздоровались и сели за длинный доща-

тый стол.

— Ну, как устроились?

— Вроде хорошо, — звонким голосом ответил рослый сержант. — Обижаться не приходится.

— Чего еще обижаться, отхватил двести граммов, а кое-кому и росинки не досталось, — бросил старшина, кивая в сторону плечистого бойца, судя по лицу — киргиза или казаха.

— Я отдал Захарину… добровольно, — возразил тот, чуть запинаясь. — Я не пью…

Захарин усмехнулся.

— Ничего, Чолпон, научишься, еще долг с меня потребуешь.

— Нет, нет, не будет, не научусь, — замотал головой тот.

— Ну, что ж, тогда всю войну мне придется двойную нагрузку нести; друга надо выручать. Правда, трудновато будет, но ничего не поделаешь…

Все расхохотались, а парень смутился. На его широкие, смуглые скулы взбежал легкий румянец. Казакевич спросил у Захарина:

— Только в этом собираешься товарища выручать?

— Я так, в шутку, товарищ подполковник, — бойкой скороговоркой зачастил Захарин. — Глав-

ное, конечно, выручка в бою. Я своего раненого комвзвода вытащил от фашистов. А знаю — при случае он бы меня спас… Тяжеловато было, — сам от раны кровью истекал, да ведь не оставишь же командира в беде. Свой человек.

— Это хорошо, что ты смелый боец, нашим будешь под стать. Был у меня рядовой Миша Петросян. Он тоже хотел вынести с поля боя комбата Эйбатова, но сам погиб. Было это еще в Белоруссии… Много хороших людей мы теряем. Жестокая война, — вздохнул Казакевич.

— По правде говоря, после госпиталя мне страсть как хотелось вернуться обратно в свою часть, — словно в чем-то оправдываясь, сказал Захарин. — Но на сборном пункте старшина сказал: «Не забывай, что ты солдат, а солдат дисциплине брат — куда приказали, туда и шагай». Вот я и пришагал к вам.

Захарин улыбнулся чуть сконфуженно, и от этого его доброе лицо с голубыми глазами стало еще добрее и приветливее.

— Что, каешься? — с невольной ревнивой ноткой в голосе спросил я сержанта.

— Нисколько, товарищ комиссар. Наоборот, даже рад. Многое слышал о дивизии. Я ведь волжанин, из самого Горького.

— Значит, попал по адресу, прямо как по заказу, — заметил Казакевич, — горьковчан в полку много. Но я, например, родом из Белоруссии, а комиссар полка — из Баку, а вот оба воюем в дивизии чуть ли не с начала войны… В полку найдешь людей почти из всех республик…

— Из Киргизии есть? — робко спросил рослый парень, которого Захарин звал Чолпоном.

— Есть и из Киргизии. Очень хорошо воюют, — ответил Казакевич.

Мне все время казалось, что я где-то уже встречал этого парня.

— Он из Киргизии, — пояснил Захарин, — мы в дороге познакомились. Хороший малый, да вот в бою еще не бывал и по-русски пока туго разговаривает. А так, видать, смелый. В пути под налет попали, а он и глазом не моргнул, словно обстрелянный.

Вот, оказывается, где я видел его — на железнодорожной станции, куда я приезжал за пополнением! Я вспомнил, как во время налета, под свист и разрывы авиабомб, он кинулся на помощь железнодорожникам, которые отцепляли от состава горящие вагоны.

— Это вы помогали спасать вагоны? — невольно перебил я рассказ Захарина.

Чолпонбай опять покраснел.

— Все там были… Другие тоже…

— Он немножко недоволен, — продолжал Захарин. — Говорит, что сызмальства на коне ездил, а попал вот в пехоту. Джигитом был, первые призы брал в районе.

Казакевич усмехнулся.

— Хорошо, что крепко держится в седле. И на земле будет твердо стоять. А сейчас больше пехота нужна.

Беседа затянулась. Мы рассказали новичкам о боевом пути полка, ответили на их вопросы. Когда мы уже прощались, собираясь уходить, Захарин обратился ко мне:

— У меня одна просьбица есть, товарищ комиссар. Если можно, уважьте.

— Говори.

— Этого парня со мной бы в одну роту, Чолпона. — И, спохватившись, добавил: — Извините, что не по фамилии. Уж больно трудная, никак не выговоришь.

— Совсем не трудная, — вмешался парень, — обыкновенная, простая — Тулебердиев.

— Ну вот, сами слышите, товарищ комиссар.

— Ну что ж, Захарин, пожалуй, можно вас вместе оставить. Командир, думаю, не будет

возражать.

3

Полк занимал оборону по западным окраинам сел Суходол, Егаревка, Дубровка. На одном участке наши окопы и дзоты небольшим клином врезались в оборону противника. Немцы не раз пытались срезать его и выровнять линию фронта, но безуспешно. Особенно беспокоила их высотка севернее Суходола, которую защищала рота лейтенанта Ефима Антокова, бывшего бакинского токаря. Почти каждый день бойцам этого подразделения приходилось отбивать атаки. Потери несли большие, и роту Антокова нужно было усиливать.

Поздним вечером Захарин и Тулебердиев вместе с двенадцатью другими бойцами прибыли в батальон старшего лейтенанта Даниеляна. Он направил их в роту Антокова. Лейтенант, выбрав минуту поспокойней, собрал всех на беседу. Оказалось, что большинство в бою еще не было. Антоков решил оставить новичков во втором эшелоне, а обстрелянных фронтовиков направить во взвод младшего лейтенанта Бориса Германа.

Хмурый Чолпонбай стоял в углу хаты и с тоской

смотрел на друга. Захарину не хотелось в первый же день брать его с собой на передовую. «Пусть побудет в тылу роты денька два-три, попривыкнет, а там все пойдет своим чередом», — думал он. Но Чолпонбай не хотел разлучаться с другом, и Захарину пришлось рассказать лейтенанту о разговоре с командиром полка. Антоков согласился отпустить Чолпонбая в боевое охранение.

Тулебердиев быстро привык к обстановке. Вместе с Захариным через день ходил в боевое охранение. Когда противник открывал минометный огонь по высоте, друзья, как и все, укрывались в блиндажах. Только наблюдатели оставались наверху. Чолпонбаю даже показалось странным, что война идет так спокойно — сутки сидит в боевом охранении, а другие проводит в селе: отдыхает, изучает автомат, карабин, гранаты, слушает беседу политрука, читает газеты… Все почти так же, как и в запасном полку, где он провел несколько месяцев.

Я приметил, — Чолпонбай был несколько замкнутым, молчаливым, но исключительно любознательным солдатом. Уж если он чем-нибудь заинтересуется, то обязательно разузнает все до мелочей. И еще одна черта мне в нем нравилась. В разговоре он не боялся прямо, без обиняков

высказывать свое мнение. Но, скромный, застенчивый по натуре, он редко вступал в споры, больше любил слушать.

В эти дни Чолпонбай ходил хмурый, словно был чем-то недоволен. Он даже не смеялся бесконечным шуткам Ивана Захарина.

И вот однажды, когда в роту пришел комсорг полка Сергей Чулимов, Чолпонбай спросил его.

— Товарищ политрук, тут всегда так тихо? Как курорт, почти как на Иссык-Куле.

— Ты что называешь курортом? — с недоумением спросил всегда энергичный и сообразительный Чулимов.

— А Иссык-Куль что такое? — поинтересовался смуглый боец с маленькими усиками, которого все звали Самсоном и редко по фамилии — Сафарян.

— Иссык-Куль — наше киргизское море, — оживился Чолпонбай. — Красивое! Я помню, учитель рассказывал: наш Иссык-Куль — самое большое горное озеро во всем мире. Он в горах, почти рядом с ледниками, а не замерзает. И родники целебные там есть — давно-давно туда приезжали лечиться из разных стран, даже из Китая. Потому там построили санатории. Правда, здорово? — Чолпонбай окинул светлым взглядом

товарищей.

— Здорово! Вот отвоюемся и поедем к тебе на курорт, — мечтательно протянул Захарин. — И горы белоснежные, и озеро голубое, и воздух целительный. Что еще надо рыбаку и охотнику? Так и быть, Чолпон, стану я тянь-шаньцем. А, слушай, что означает Тянь-Шань? Это по-вашему, что ли?

— Какую отметку получал в школе за географию? — вместо ответа спросил чуть покрасневший Чолпонбай.

— Ну, положим, четверку, — похвалился Иван.

— Я тебе двойку не поставлю!

Бойцы расхохотались, и громче всех — Захарин.

— Здорово сказал, друг, верно. Но ты все-таки объясни.

— Что тебе объяснить? Тянь-Шань — «Небесные горы» значит. В Киргизии много гор. Ясно?

— Что там неясного, растолковал прямо как учитель, — бросил Остап Черновол, один из самых молодых бойцов роты.

— Ты не смейся, я хотел стать учителем. Война помешала.

Сергей Чулимов и помкомвзвода Мамед Сафаров внимательно прислушивались к солдатскому разговору. Мамед был и парторгом роты. Чело-

век удивительного спокойствия и выдержки, он быстро умел находить общий язык с бойцами. В роте его любили и за храбрость, и за чуткость к товарищам.

И сейчас, почувствовав, что шутки могут вызвать обиду у Чолпонбая, он вмешался в беседу.

— Учитель — благородная профессия. Я, правда, техник-строитель по специальности, но всегда с уважением отношусь к педагогам. Они ведь всех учат — и академика будущего и будущего героя. Кстати, наш комбат тоже учитель, он до войны у нас в Баку математику преподавал…

Чолпонбай встрепенулся.

— Значит, старший лейтенант учитель был?

— Не только один комбат, — ответил за Сафарова Чулимов, — учителей у нас много. И ваш комиссар батальона Кобелев учитель. Инструктор по пропаганде Правильщиков тоже учитель. И я без пяти минут учитель. Окончил физкультурный техникум, да вот вместо школы попал на фронт.

— Дело ты выбрал хорошее, — сказал парторг Чолпонбаю, — победим врага, обязательно продолжай учебу… Кстати, ты о себе еще ничего не рассказывал. А у нас так повелось: все новички рассказывают о себе, о своей жизни… Времени

свободного у нас сейчас много. Ну-ка, начинай, послушаем тебя…

Все загудели, и Чолпонбай смущенно оглянулся. О чем говорить? Ведь ему всего восемнадцать лет. Короткую жизнь свою он провел в родном колхозе. Кому интересно, если он расскажет, что зимой учился в школе, а летом пас колхозные отары… Делал все, что поручали. Но Чолпонбай видел, что товарищи дружелюбно смотрят на него. И, немного робея, он начал свой рассказ. Слушали его внимательно. Лишь когда Чолпонбай запнулся, словно силясь вспомнить что-то забытое или подобрать подходящее слово, Самсон Сафарян тихо попросил:

— Расскажи о скачках. Где ты первый приз получил?

— Давай, давай, Чолпон, не стесняйся. Интересно, — заговорили все.

Чолпонбай рассказал, что ежегодно в районном селе проводилась аламан-байга. В ней участвовали лучшие кони. И случилось так, что на одном из состязаний первым финишировал конь Чолпонбая. Районный отдел Осоавиахима наградил молодого наездника почетной грамотой и карманными часами.

— Молодец, Чолпа! — не выдержал Остап Чер-

новол. — Значит, лихой наездник!

Чолпонбай пропустил мимо ушей похвалу товарища и продолжал говорить. Он рассказал о своей худенькой, маленькой матери Сураке, о брате, который погиб на Калининском фронте, и как он, Чолпонбай, решив отомстить за брата, настойчиво добивался, чтобы его взяли в армию.

Чолпонбай утаил только одно: свою любовь к Гульнар. Знал об этом один Иван, но крепко хранил тайну от других. Захарин знал и о тяжелых переживаниях Чолпонбая. Отец Гульнар хотел выдать дочь замуж за своего овдовевшего зятя. Таков обычай. А Чолпонбай и Гульнар решили поломать этот обычай, чтобы стать мужем и женой по любви, по велению сердца. Когда Иван впервые услыхал рассказ Чолпонбая, он сгоряча хотел написать грозное письмо отцу Гульнар и в сельсовет, но Чолпонбай отсоветовал — ведь это может принести новые горести девушке.

Но бойцы ничего не знали об этой истории. Поэтому, когда Чолпонбай кончил говорить, кто-то бросил фразу:

— Обо всем рассказал. А о своих сердечных делах ничего.

Все расхохотались, слегка улыбнулся и Чолпонбай, покосившись на Захарина. Но тот лишь

пожал плечами: мол, я здесь ни при чем.

Чулимов, похвалив Чолпонбая за живой рассказ, собирался было уходить, но Тулебердиев остановил его:

— Вы, товарищ политрук, заставили меня говорить, а сами не ответили на вопрос.

— А, насчет затишья на фронте или, как ты называл, курорта? Ну, что ж, могу ответить… Видишь ли, ты говоришь, семь классов окончил, значит, географию знаешь. Представляешь, на сколько километров протянулась линия фронта от Белого до Черного моря? Сколько на ней таких деревень, как Суходол, где стоят наши войска! Война идет по всему фронту, но не везде одинаково. Сегодня здесь спокойно, а завтра может подняться такой сабантуй, что небо на землю упадет. Наше дело пока обороняться, да так, чтобы противник всегда боялся нашего наступления. А придет время, и вперед пойдем…

— Вы, наверно, давно воюете? — поинтересовался Чолпонбай.

— С сентября прошлого года. Я тоже был таким солдатом, как ты. Правда, я старше тебя на пять лет. В комсомол вступил до войны, а вот на фронте стал коммунистом, звание мне присвоили, комсоргом назначили.

— Мне рассказывали. Говорят, часто в разведку ходили, орден заслужили.

— Это все верно, но в нашем полку много таких найдешь, что из бойцов стали командирами и политработниками. Все зависит от самого человека…

4

Через день, когда Тулебердиев стоял в боевом охранении, в третьем часу ночи со стороны оврага до него донесся шорох… Затем мелькнули силуэты людей.

Тулебердиев хотел было дать очередь из автомата, но удержался. «Надо доложить взводному», — решил он и дернул веревку, привязанную к палочке у самых ног. Это была своеобразная линия связи — изобретение быстрых на выдумку бойцов. В блиндаже зазвенела гильза от артиллерийского снаряда. И тут же в траншею выскочили Иван Захарин, парторг Мамед Сафаров. Чолпонбай доложил. Сафаров с Захариным и Тулебердиевым двинулись к оврагу. Лейтенант Антоков предупредил соседнюю восьмую роту.

Ночь выдалась темная. Группа по тропинке быстро спустилась к вершине оврага. Дальше тропа бежала по лощине к селу. Тихо залегли.

Чолпонбай первым заметил человека, выползавшего из оврага на четвереньках. Через несколько минут показалась вторая, затем третья фигура.

— Стой, руки вверх! — резко приказал Сафаров.

Люди поднялись. Послышался женский молящий голос:

— Не стреляйте, мы свои!

Мужчина и женщина были в гражданской одежде. Шли они, по их словам, из Курска. Перебежчиков доставили в штаб полка. По всему чувствовалось — это не случайные перебежчики. Их оставили в полку под охраной. Нужно было проверить ценные показания женщины о готовящейся переброске вражеских агентов.

На вторую ночь при переходе линии фронта на участке соседнего батальона были задержаны еще шестеро. Эти уже оказались настоящими диверсантами. Значит, женщина сказала правду. На очной ставке один из задержанных кинул с ненавистью:

— Ускользнула, стерва, не успели.

— Чего не успели?

— Укокошить.

— За что?

— Она нам нужна была до поры до времени.

— Значит, пора пришла?

— Вообще-то нет, но…

Дальше он недосказал. Оказывается, женщина была местной жительницей, хорошо знала округу, где располагались части дивизии, и ее взяли провожатой.

Задержанных отправили в штаб дивизии. Через несколько дней мы получили приказ по фронту об усилении бдительности. Факты говорили, что враг готовится к наступлению и поэтому стремится усилить подрывную работу в наших тылах. Во что бы то ни стало надо было взять знающего «языка». Этого требовало и высшее командование.

Как-то во время обеда к нам зашел начальник штаба полка капитан Акмаев.

— Кажется, не вовремя? Я хотел поговорить.

— Как раз вовремя, — перебил я его, — садись, Назар, вместе пообедаем, а заодно поговорим, если есть что неотложное.

— Я пообедал, товарищ комиссар, — мялся капитан.

— Садись, не ломайся, как барышня, — полушутливым, полуприказным тоном сказал Казакевич.

Акмаев сел.

— Опять звонил начальник разведки дивизии, — сказал он, — требует «языка».

— Законное требование, — пожал плечами Казакевич. — Действительно, получается нехорошо: многие бойцы из пополнения еще не видели живого фрица. Мы решили создать боевую группу. Ее задача: проникнуть в район совхоза и взять «языка»». Кого пошлем?

— Чулимов просится, — вспомнил Акмаев.

— А удобно ли комсорга полка?

— Очень даже удобно, — вмешался я. — Он у меня давно просит разрешения пойти в разведку. «Руки, говорит, чешутся. Из-под земли фрица достану». Пусть пойдет.

— Ну что ж, согласен на Чулимова.

В это время в комнату вбежал мой ординарец Миша Старков и доложил о прибытии комиссара дивизии и какого-то незнакомого командира.

Мы поднялись навстречу, но в дверях уже появилась высокая статная фигура Федора Ивановича Олейника. Как обычно, он поздоровался со всеми за руку и, указывая на незнакомца, сказал:

— Старый батальонный комиссар Бурлака. Из ГлавПУРККА. Знакомьтесь!

Потом представил нас. Некоторое время все мы стояли. Казакевич спохватился и пригласил

гостей к столу.

— Как же, как же, помню — жареным карпом вы хвастали. Отведаем, отведаем. Уж больно вкусная рыба, — снимая шинель, приговаривал Олейник.

После обеда все отправились в батальон Середы. Гости побывали в ротах и вернулись в штаб полка лишь поздно вечером. Они одобрили наш план действий в районе совхоза и согласились с назначением Чулимова командиром боевой группы.

5

Чулимову разрешили подобрать людей по своему усмотрению. Из девятой роты он взял в группу Сафарова сержанта Захарина, Тулебердиева, Сафаряна и еще несколько человек. Кроме Чолпонбая, все были бывалыми воинами, не раз ходили в разведку. Чулимов долго колебался: брать или не брать Тулебердиева. Чолпонбай рвался в разведку, да и Захарин просил за друга. Но события, развернувшиеся в этот день, все разрешили по-своему.

...С утра Чулимов пошел в роту Антокова. Здесь, на высотке, он провел почти целый день, наблюдая за поведением противника. Засекая огневые

точки, изучая местность, он намечал наиболее удобные и безопасные подходы к совхозу. На карте начертил предполагаемый маршрут, по компасу определил направление движения. Поговорив с бойцами, которые должны были пойти с ним в следующую ночь, он собрался в штаб полка. Было это примерно около пяти часов вечера.

В тот день утром мы тоже поехали в батальон Даниеляна, осмотрели передний край обороны. В полдень Бурлака сделал доклад о первомайском приказе наркома обороны. Потом мы решили объехать другие подразделения. Олейник же хотел «проскочить» в левофланговый батальон соседнего полка.

— Меня не ждите, вероятно, останусь у Бунина, — сказал Федор Иванович, когда его ординарец подвел коней.

Через полчаса и мы собрались уезжать, но внезапно начался сильный артиллерийский и минометный обстрел. Под прикрытием огня противник двинул на высоту до двух рот пехоты. Немцы шли двумя колоннами. Разгадать их замысел было нетрудно: они вели разведку боем, чтобы выявить наши огневые точки, ну а при успехе — овладеть высотой.

Заговорили и наши батареи, но высота пока

молчала. Видимо, здесь решили подпустить противника поближе и затем обрушиться на него всей силой огня. Немцы шли нагло, почти в полный рост, шли, видимо, решив, что наши огневые точки уже подавлены.

Чолпонбая охватило волнение. Он старался скрыть это от Захарина. Горьковчанин же все подтрунивал над своим соседом-пулеметчиком Трапезниковым.

— Ну, брат, посмотрим, кто больше уложит фрицев: ты из «дегтеря» или мы с Чолпоном из автоматов.

Противник перенес огонь на Суходол, а его пехота бросилась в атаку. Заработали наши пулеметы, застрочили автоматы, в ход пошли ручные гранаты. Сафаров крикнул:

— Захарин и Тулебердиев, ко мне — на правый фланг взвода!

Но тут смолк пулемет Трапезникова.

— Патроны кончились или… — забеспокоился Захарин. Вместо ответа он услышал новый приказ Сафарова:

— Быстро к Трапезникову!

Пулеметчик, залитый кровью, лежал на дне траншеи. Захарин и Тулебердиев с ходу швырнули по гранате в цепь противника. Иван, быстро

подняв свалившийся пулемет, вставил новый диск и открыл огонь. Чолпонбай оттащил Трапезникова в блиндаж. Пулеметчик был ранен в плечо и, видимо, серьезно. Чолпонбай быстро достал индивидуальный пакет, прикрыл рану пулеметчика толстым слоем ваты и марли. Потом снял ремень, разорвал нижнюю рубашку и большими лоскутами ее перевязал пулеметчика.

— Потерпи, друг, сейчас сестра придет.

Пока Чолпонбай был занят перевязкой, Захарин перетащил пулемет метров на тридцать в сторону, так как немцы его заметили и стали забрасывать ручными гранатами. Тулебердиев, выйдя в траншею, остановился, растерянно разыскивая глазами своего неизменного друга. И тут со стороны того самого оврага, где неделю назад он обнаружил перебежчиков, выскочили трое фашистов и бросились к нему. Юноша дал короткую очередь, все трое сразу упали, но через пару минут двое поднялись и снова побежали на Чолпонбая. Из оврага появилось еще несколько вражеских солдат. Ясно было — они хотят взять его живым.

Чолпонбай снова нажал спуск автомата. Короткая очередь. Патроны кончились, оба диска пустые. Что делать? «Надо бежать к Захари-

ну!» — подумал Чолпонбай. Но вспомнив, что в блиндаже лежит раненый, остановился, а затем кинулся в блиндаж. Не сказав Трапезникову ни слова, он взял последний запасной диск и, на ходу вставляя его в автомат, выскочил наружу. Поздно!

— Хенде хох! — завизжал один из фрицев, спрыгнув в траншею. А другой с бруствера окопа наставил на Тулебердиева автомат.

Для раздумья времени не было. Чолпонбай хватил автоматом по голове солдата, спрыгнувшего в траншею. Тот свалился. Стоящий на бруствере немец, опасаясь угодить в своего, дал очередь поверх головы Чолпонбая. В эту минуту рядовой Рагимов заметил приближающихся немцев и крикнул Захарину:

— Фрицы! Из оврага!

Захарин пулеметным огнем прижал солдат к земле. Грянуло наше «ура!» Гитлеровец на бруствере невольно оглянулся и, увидев, что остался один, попытался бежать, но автоматная очередь Тулебердиева прошила его насквозь. Все это произошло в одно мгновение.

Чолпонбай тоже крикнул «ура», но, когда к нему подбежали Захарин, Сафарян и Рагимов, его охватила дрожь.

— Ты цел, Чолпон? — крикнули друзья.

— Я — цел… Вот «языка» взял…

Все подошли к немцу, валявшемуся на дне траншеи, подняли его. Фриц не в силах был держаться на ногах, еле дышал. Удар Чолпонбая оказался тяжелым.

Весь бой продолжался около двух часов. Высоту мы удержали. Когда противник открыл артиллерийский и минометный огонь по высоте и селу, а пехота его пошла в атаку, мы с комбатом были на наблюдательном пункте. Связались с командиром полка. Он приказал Середе двумя ротами ударить во фланг наступавших немцев. Роты повел сам комбат. Это его бойцы отвели угрозу от Чолпонбая.

На протяжении всего боя Чулимов находился на правом фланге роты, и, когда немцы двинули сюда подкрепление, чтобы окружить высоту, комсорг полка вместе с лейтенантом Антоковым поднял людей в контратаку.

После боя Сергей, узнав о мужественном поведении Тулебердиева, сказал:

— Я в нем не сомневался!

Закалка

1

Командир дивизии приказал пока воздержаться от посылки разведчиков. На другой день я и Казакевич были вызваны в штаб дивизии. Перед полком была поставлена задача: двумя батальонами овладеть совхозом и закрепиться там. Командир соседнего полка получил приказание поддержать нас.

Бой начался в полночь. Группа Чулимова действовала на стыке двух батальонов, во взаимодействии с ротой Антокова. Противник встретил нас сильным огнем. Совхоз оказался хорошо укрепленным. Бой шел до рассвета, однако овладеть совхозом не удалось. Но Чулимов со своей группой обошел боевое охранение противника, напал на него с тыла и, разгромив, захватил двух пленных. Когда Чулимова спросили, кто особенно отличился, он без колебания ответил:

— Если бы не Тулебердиев, Сафарян и Захарин, едва бы удалось взять живых фрицев. Они их буквально вытащили из блиндажа… Завязали им головы плащ-палатками, затащили в овраг, а

потом заставили их топать своим кодом.

От пленных мы узнали, что готовится большое наступление немцев. День и ночь на восток, к линии фронта, шли эшелоны с войсками и техникой.

Фашистские самолеты забрасывали позиции не только бомбами, но и тысячами листовок. Мы их уничтожали, вели контрпропаганду, разъясняли бойцам подлые замыслы врага. Но некоторые морально неустойчивые бойцы поддались геббельсовской пропаганде. Однажды позвонил комиссар первого батальона Саенко и доложил, что один струсивший боец прострелил себе кисть левой руки. Взяв с собой секретаря партбюро полка, я выехал в первый батальон. Командира и комиссара мы застали очень взволнованными.

— За всю войну впервые случилось такое, — подавленным голосом докладывал комбат.

— Все они из нового пополнения, — пытался объяснить комиссар.

Тут я не выдержал:

— Какая разница, из какого пополнения? Сходи в третий батальон и полюбуйся, как у них воюют новички. Ты слышал про Тулебердиева? Тоже из новеньких, а уже в разведку ходил, пленного взял…

Чолпонбай был очень пытливым и впечатлительным, он расспрашивал обо всем. Бойцы любили его за непосредственность и простодушие. Первые дни он робел, но после боевого крещения стал своим парнем в роте. Часто рассказывал бойцам о родной Киргизии, о жизни своего народа. Когда ему не хватало слов, чтобы по-русски выразить мысль, на помощь приходил татарин Гилязетдинов. Как-то Захарин шутя заметил:

— Скоро Чолпон почище попа будет говорить по-русски.

Тот не ухватил смысл фразы и обиделся на друга: почему Иван сравнивает его с попом. К счастью, недоразумение тут же разъяснилось.

2

В один из жарких июньских дней я приехал в батальон Даниеляна. Комбат сказал:

— Такой тишины на фронте не помню за всю войну. Что-то подозрительно.

— Наверно, затишье перед бурей, Самсон. Теперь уже ясно, что немцы готовят наступление. Перебежчики подтверждают данные нашей разведки. Все у нас должно быть начеку.

— Оборона крепкая, — заверил комбат, — но не

мешало бы подбросить на правый фланг огневых средств.

— Пожалуй, участок вдоль шоссе — самое вероятное направление основного удара немцев. Казакевич приказал минерам установить там противотанковые мины погуще. По-видимому, придется выдвинуть туда еще одну противотанковую батарею.

Вместе с комбатом мы решили побывать в девятой роте Антокова. Пошли по тропинке к высоте. Повсюду стояла густая нескошенная трава. Но там и сям на зеленом ковре чернели свежие ямы от вражеских бомб, мин и снарядов. Даниелян шел тяжелым шагом, чуть выдвинув вперед широкие плечи. Остановившись на минуту, он провел рукой по мокрому лицу. Пот катился градом.

— Ух, и жара! Наверно, у нас в Баку и то прохладнее.

— Будет еще жарче.

— В каком смысле?

— Во всех смыслах, — неопределенно ответил я. — Как у тебя с новичками, уже освоились?

— Еще как! Молодцы, воюют хорошо! О Тулебердиеве теперь и в дивизии знают. Отличный малый! И другие быстро освоились... Я доволен девятой ротой. Антоков — молодец, вполне себя

оправдал. Хорош парторг Сафаров — прямо врожденный политработник, а не техник-строитель.

— Недавно на совещании парторгов рот Сафаров говорил об опыте воспитательной работы среди бойцов нерусской национальности. Он рассказывал и о Тулебердиеве, о его дружбе с Захариным, Сафаряном, Гилязетдиновым, Черноволом. Просили меня приехать к ним, провести беседу о Феде Солодове.

— Знаю, — сказал Даниелян. — У них разговор зашел — что такое подвиг и чем он отличается от обыкновенной храбрости. Спорили, спорили, так и ничего не решили.

За разговорами мы не заметили, как очутились в траншее, ведущей к блиндажу лейтенанта Антокова. Я велел вызвать Сафарова и всех свободных от наряда бойцов.

Скоро в блиндаже стало тесно. Само собой вспыхнул разговор о положении на фронтах, о подозрительном поведении противника и других делах, остро волновавших бойцов. Посыпались неизбежные вопросы о втором фронте. Трудно было понять медлительность союзников. Да и мы, политработники, тогда еще не знали о тех мощных закулисных силах, которые намеренно затягивали выступление союзников.

— Ничего с этим фронтом не получается, — бросил Захарин. — Объясните, товарищ комиссар, чего они тянут?

— Жизнь берегут, свинью в банках посылают! — вырвалось у Чолпонбая.

Сказав это, он смутился… Но бойцы одобрительно отнеслись к его словам, и Чолпонбай осмелел, заговорил, сбивчиво, подбирая слова, о том, что самая тяжкая вина — бросить товарища в беде.

— Ждут ясной погоды, — с досадой проговорил Захарин.

И все невольно подняли глаза к голубому небу, где не было ни тучки…

— Ладно, повоюем пока сами, — заключил комбат. — Когда немцев как следует стукнем, они заспешат…

Затем я рассказал бойцам о храбром русском солдате Федоре Солодове.

…— Это было во время зимних боев. Штаб артиллерийского полка расположился в небольшом селе севернее города Тима. К одной из хат связисты протянули провода. Здесь был установлен полковой коммутатор. Склонившись над ним, проворно орудовала штепселями бойкая девушка с пышными волосами, вызывая то «Киев», то «Харьков».

В комнате стояла полутьма. Тускло горящая коптилка часто мигала от близких разрывов. Справа от девушки за столом дремал лейтенант. Он поднимал изредка голову и спросонья что-то невнятно бормотал. На полу, кто на соломе, а кто на плащ-палатке, похрапывали усталые бойцы.

Не спал только дежурный линейщик Федя Солодов. Примостив на ящике от патронов коптилку, он писал письмо. Позже оно было напечатано в нашей дивизионной газете… Вот послушайте…

Чолпонбай, и до этого слушавший с большим вниманием, замер. Достав из планшетки газету, я прочел письмо:

«Дорогая мама! На дворе крепкий мороз. Метет все вокруг. Идет бой, а я сижу в хате и пишу тебе. Ты можешь подумать, что нехорошо делаю. Там товарищи дерутся с врагом, проливают кровь, даже умирают, а я пишу тебе письмо.

Знаешь, мама, в такие минуты, как сейчас, человек многое вспоминает, анализирует и часто принимает какое-то очень важное решение…

Мама! Ты помнишь Лиду Алмазову — мою соученицу по десятилетке? Пом-

нишь, как мы вместе готовили уроки, ходили на каток, в кино, гулять? Помнишь, как ты подтрунивала над нами, говоря, что уж слишком рано такая большая дружба. Да, мама! Мы крепко дружили. И здесь, на фронте, я почувствовал, как Лида мне дорога.

Ты знаешь, она добровольно ушла на фронт в первые же дни войны. Служила, как и я, связистом. Мы с ней часто переписывались. И в письмах дали клятву друг другу, что после войны поженимся. Потом я долго не имел от нее весточки, а недавно получил от Васи Заплаткина письмо, в котором он сообщил, что Лида погибла… И при каких обстоятельствах!

Мама, она настоящий герой! Оставшись одна в хате, Лида два часа отбивалась с автоматом от немцев…»

— Вот и все письмо, товарищи. На этом оно обрывается. Федя его не дописал. Его оторвал на этот раз особенно громкий и настойчивый голос телефонистки:

— «Зима» слушает. Вам «Киев»? Вызываю…

Но сколько она ни старалась, «Киев» не от-

зывался. Девушка окликнула лейтенанта. Тот вскочил и, протирая глаза, спросил:

— Что случилось? Опять обрыв?

Не успела телефонистка растолковать заспанному лейтенанту, в чем дело, как Солодов, оставив на ящике письмо, схватил винтовку, телефон. Перекинув через плечо катушку с кабелем, он кинулся к двери, бросив на ходу:

— Я проверю!

На улице по лицу хлестнула колючая снежная вьюга, Солодов надел рукавицы и бегом пустился вдоль линии. Дома остались где-то далеко позади. Впереди слышались редкие автоматные очереди: видимо, немецкие часовые подбадривали себя. Загрохотали фашистские батареи. С воем через голову Солодова полетели снаряды. Один разорвался совсем неподалеку. Федя присел, но тут же снова устремился вперед. Левой рукой он вел по обледеневшему кабелю. Снова разрыв. Федя прыгнул в воронку от тяжелого снаряда. В ту же секунду из его рук словно вырвали конец провода. Значит, обрыв здесь! Связист быстро отрезал кусок кабеля с катушки и соединил оборванные концы. Затем, подключив аппарат, он стал вызывать «Киев» и «Зиму». Внезапно в трубке раздался знакомый голос телефонистки:

— «Зима» слушает. Кто вызывает «Киев»!

— Это я, Солодов. Обрыв найден. Но «Киев» почему-то молчит. Иду дальше…

Рвались снаряды. Один упал рядом. Взрывная волна оглушила Федю, отбросила его на несколько метров. Собрав силы, он все же пошел дальше. Новый взрыв свалил Солодова. Закружилась земля. В валенках и на спине он почувствовал кровь. Силы постепенно покидали связиста. Он хотел было включиться в линию и вызвать другого линейщика, но раздумал и двинулся вперед. Тут он почувствовал, что провод снова легко поддается под рукой. Значит, второй обрыв где-то близко. Солодов попытался ускорить шаг и упал. Он все же дополз до обрыва, стянул концы. Ослабевшие руки отказывались подчиняться. Он сделал попытку соединить концы зубами. После нескольких усилий это, наконец, удалось. Связь была восстановлена. «Киев» ответил. Но Солодов молчал… Когда на линию вышли связисты, они нашли его мертвым. Тело Солодова уже закоченело, но зубы Федора накрепко соединяли оба конца проводов.

— Вот человек! — вырвалось у Чолпонбая. — Настоящий батыр!

— Ты прав, Чолпонбай, — отозвался я. — Вот

что мы вправе назвать подвигом. Такие люди, как Федя Солодов, не умирают, они будут жить вечно.

Я достал блокнот.

— Однополчане написали письмо матери Феди. И вот что она ответила:

> «Я, как и тысячи других матерей, отдала своего сына Красной Армии по первому требованию любимой Родины. Со скорбью и материнской безутешностью горя узнала, что сын мой Федор Сергеевич Солодов погиб на боевом посту. Погиб, выполнив приказ.
>
> Как мать, прошу вас, родные мои, отомстите гадам за смерть Федора, за слезы матери. Для матери нет дороже…»

— Дальше вместо слов были расплывшиеся чернильные пятна — следы слез…

Я умолк. Рассказ, видимо, оставил глубокий след в сердце Чолпонбая. Он потом не раз рассказывал бойцам-киргизам о русском батыре Феде Солодове.

3

Летом 1942 года гитлеровское командование начало новое наступление. Этому благоприятствовало отсутствие второго фронта. Но ослабленная зимними ударами советских войск гитлеровская армия смогла предпринять летнее наступление лишь на юго-западном направлении.

Наша дивизия держала оборону на одном из главных участков этого фронта, в Курской области. Двадцать шестого июня к нам перешли два солдата противника и показали, что гитлеровское командование сосредоточило на нашем направлении 387-ю пехотную дивизию и 48-й танковый корпус немцев, 4-й пехотный корпус венгров, до 300 самолетов и готовится к большому наступлению.

28 июня, в четыре часа утра, на всем протяжении нашего фронта задрожала и загудела земля. Ясное, солнечное небо заволокло дымом — началась артиллерийская подготовка. Затем вступили в бой танки и мотопехота. От станции Щигры двинулись до 300 немецких танков. С воздуха их сопровождало свыше 200 самолетов. Смяв передний край соседнего с нами полка, немецкие танки прорвались на юг. Для нас создалась угро-

за окружения. В особенно тяжелом положении оказался третий батальон, фланг которого был оголен. Как назло, с ним прервалась связь. Командир роты связи старший лейтенант Горохов послал своих людей на линию. Наконец раздался звонок. Из третьего батальона говорил инструктор пропаганды полка Михаил Правильщиков.

— Танки подошли к окраине Морозовки, — как всегда спокойно доложил он. — Даниелян на позиции противотанковых орудий. Уже подбито несколько танков. Иду в роту Антокова. Какие будут указания?

— Передайте Даниеляну — немедленно оседлать шоссе в районе Морозовки и высоты 259,5. Сейчас, подойдут подкрепления.

Положив трубку, Казакевич похвалил Правильщикова то ли за информацию, то ли за его хладнокровие в бою. И тут же, обращаясь ко мне, спросил:

— Ну, что будем делать, комиссар? — и, словно отвечая самому себе, добавил: — Придется бросить туда резервы.

На помощь батальону Даниеляна были посланы рота автоматчиков лейтенанта Айбаса Эсенова и полковая батарея старшего лейтенанта Владимира Сидорова.

Нашим соседям справа пришлось принять на себя очень тяжелый удар: основная масса танков прошла через их оборону. На участке же нашего полка, где танков было меньше, противнику не удалось прорваться. Пехота стояла насмерть в своих дзотах и дотах, в глубоких окопах и ходах сообщений. Наша хорошо замаскированная артиллерия, которая понесла незначительные потери от четырехчасового огневого налета немцев, встретила их танки и пехоту мощным истребительным огнем. Опасное положение создалось лишь на правом, совершенно оголенном фланге полка.

Но часть упорно удерживала позиции. Командир первого батальона Москвитин и второго — Середа неоднократно водили бойцов в контратаки. Даниелян вместе с артиллеристами и ротой противотанковых ружей занял шоссе, преградил путь вражеским танкам. Когда же подошли подкрепления, комбат решил атаковать гитлеровцев и отбить северную окраину Морозовки.

Первой поднялась в контратаку рота Антокова. Сафаров с возгласом «Коммунисты и комсомольцы, за мной!» рванулся к окраинным домишкам, на ходу бросив две гранаты. За ним поднялась вся

рота. Противник кинулся вон из села. Но вскоре на Морозовку налетели фашистские самолеты, пошла в наступление мотопехота.

Немецкие автоматчики стали обходить село справа. Сафаров повел свой взвод им навстречу и заставил немцев повернуть назад. С криком «ура!» рота вновь поднялась в атаку. Ее встретили огненные струи — враг стрелял из огнеметов. На нашем участке фронта они применялись впервые. Бойцы еще не сталкивались с таким оружием. Но Сафаров, не страшась, шел навстречу летящему пламени.

И вдруг парторг упал.

— Мамед! — одновременно вырвалось у Захарина и Тулебердиева. Они быстро подскочили к Сафарову. Но тот уже был мертв. Умолкло горячее сердце парторга. Самое дорогое, что было у бакинского строителя Сафарова, — жизнь — он отдал Родине. Не стало еще одного ветерана нашего полка.

Чолпонбай не выдержал, заплакал. Потом он говорил, что плакал всего второй раз в жизни. Первый раз это было осенью сорок первого года, когда на Калининском фронте погиб его старший брат Токош. И вот теперь…

— Слезами войну не выиграешь, Чолпон, бить

надо, бить, истреблять зверей! — строго сказал Захарин.

Да, времени для слез не было. С каждой минутой бой разгорался все сильнее. Немцы подтягивали новые силы. Создалась угроза прорыва на участке батальона Даниеляна.

Правее нас грохот становился глуше и отдаленнее. Значит, противнику удалось все же углубиться.

В первую половину дня нам еще удавалось переговариваться по радио со штабом дивизии. Но потом связь прекратилась. Ни «Чайка», ни «Волга» не отвечали на наши позывные.

Еще утром комиссар дивизии Олейник предупредил, что связь, возможно, прервется.

— Действуйте, сообразуясь с обстановкой, — сказал тогда Федор Иванович, — держите полк компактно. Никакой паники. Я надеюсь…

Разговор оборвался. Командир роты связи беспрерывно кричал: «Чайка», я «Береза», я «Береза!» Но никто не откликался.

Обстановка осложнялась с каждым часом. Справа показалась танковая колонна. Немецкие самолеты не бомбили ее. Стало ясно — это танки противника. Казакевич приказал развернуть на восток пушки старшего лейтенанта Сидорова и

приданную противотанковую батарею.

— Ну, что, комиссар, думаешь? Будем стоять пока, или… другое предлагаешь? — после некоторого раздумья спросил командир полка.

— Думаю, что пока нужно стоять. Сняться сейчас, это значит вывести людей в чистое поле, под удар авиации. И танки обязательно насядут на нас, попытаются навести панику, отрезать пути отхода. Любой ценой надо дождаться вечера.

— Но Даниеляну будет трудно, его батальон понес большие потери.

Казакевич тут же позвонил Середе и приказал поддерживать постоянную локтевую связь с Даниеляном.

Полк держался еще несколько часов. Батальоны медленно отходили к окраинам Сокольих Плотов. Это решение мы приняли после того, как выяснили, что с востока на нас идет большая колонна немецких танков. Правда, наши артиллеристы заставили их укрыться за рощей и в оврагах, но они все время пытались ворваться в село, где находился штаб полка.

К исходу дня был получен приказ генерала Жмаченко, заместителя командующего нашей армией, — начать отход на реку Тим. Сокольи Плоты мы оставили под вечер, когда солнце

уходило за горизонт. Самолетов в воздухе стало меньше. Только иногда «юнкерсы» выползали из-за облаков и на бреющем полете пролетали над нами. Время от времени разыгрывались воздушные бои между истребителями.

Батальоны полка по лощинам и проселочным дорогам отходили на юго-восток, вдоль шоссе на город Старый Оскол.

Как потом стало известно, на наш фронт наступала армейская группа Вейхса в составе второй полевой и четвертой танковой армии немцев и второй армии хортистской Венгрии. Группа эта шла на Воронеж и Старый Оскол.

В то время мы всего этого не знали, но нам ясно было, что противник сосредоточил очень крупные силы и преследует далеко идущие цели.

Вот что я прочитал много лет спустя в материалах Центрального архива Министерства Обороны СССР о действиях дивизии и в частности нашего 636-го стрелкового полка в тот кошмарный день. В оперативных документах штаба 40-й армии сказано, что 443-й и 537-й стрелковые полки 160-й СД в течение 5 часов вели ожесточенные бои, удерживая свои позиции. И лишь прорыв более 200 танков противника вынудил эти полки оставить занимаемый рубеж.

«636 сп, — далее говорится в этих документах, — удерживал рубеж высоты 259 — Прудок до 17–00, вышел на рубеж Коровьи Верхи — 1-е Выгорное. При отражении атак противника пехота проявила исключительную стойкость и упорство, отражая неоднократные атаки противника, поддержанные танками и авиацией. Противник понес большие потери в живой силе и технике. Подбито до 30 танков, сбито 6 самолетов…»[6]

Полк отошел на новый рубеж. За ночь люди привели себя в порядок, отдохнули. Раненых эвакуировали. Оборону мы заняли по реке. Здесь и готовились к новому бою. Все наши попытки разыскать этой ночью штаб дивизии и установить связь с командованием ни к чему не привели. Утро было облачным, шел дождь, но к полудню прояснилось. Авиация противника снова начала бомбежку. Во второй половине дня в полк неожиданно прибыл Олейник с неизвестным нам полковником.

— Наконец-то мы вас разыскали, — обрадован-

---

[6] Примечания: 6
Архив МО СССР, ф. 395, оп. 9136, дело 100, л. 14.

но сказал комиссар дивизии и представил нам спутника: — Полковник Серюгин, новый командир дивизии.

Мы с Казакевичем представились. Полковник приветливо поздоровался, похвалил за то, что нам удалось в такой обстановке сохранить полк. Комдив и комиссар спросили о потерях, оставшихся боеприпасах и остались довольны, узнав, что пехота помогла вывести почти все орудия приданных нам дивизионов.

Определив рубеж отхода полка, они направились в другие части. Когда стали прощаться, Олейник вдруг вспомнил что-то, достал из планшетки армейскую газету «За победу» и протянул ее мне.

— Прочитайте в подразделениях.

Заголовок «Бакинские нефтяники неустанно помогают фронту» был обведен красным карандашом. Оказалось, что армейская газета напечатала корреспонденцию из Баку.

> «Нефтяники Баку, — сообщала газета, — с каждым днем увеличивают добычу нефти, усиливают помощь фронту. Они заявляют своим землякам — воинам Красной Армии: «Дорогие защитники

Родины, беспощадно громите фашистских бандитов, гоните их на запад. А мы, работая в тылу, сделаем все то, что необходимо для полной победы над врагом».

Газета далее рассказывала об успехах промыслов и нефтеперерабатывающих заводов.

Радостно было получить такую весточку из родного города, но нам тогда нечем было похвалиться. Прочитав корреспонденцию, я с горечью произнес:

— Они трудятся героически, а нам нечем хвастать.

— Это неверно! — чуть сердито поправил меня Олейник. — У вас есть чем гордиться. Полк воюет хорошо. А что касается положения на фронте, то оно непременно изменится. Гитлеровцы уже не те, что были в сорок первом. Вы сами это чувствуете.

Олейник и Серюгин еще раз пожали нам руки и стали садиться на коней. Олейник на ходу бросил:

— А заметку все-таки надо прочитать бойцам. Это очень важно…

Олейник и Серюгин собрали вокруг нашего полка уцелевшие подразделения и части. Диви-

зия снова обрела боеспособность.

4

Уже шестой день, ведя тяжелые оборонительные бои, мы отходили на Старый Оскол. Много раз враг пытался сомкнуть клещи вокруг нас. Но дивизия вместе с другими соединениями армии обрубала их.

В дивизию прибыли член Военного совета и заместитель командующего армии. Они сообщили, что Старый Оскол уже занят противником. Замысел его — ударом с севера и с юга вдоль восточного берега реки отрезать пути отхода левого крыла нашей армии и правого крыла 21-й армии. Поэтому соединениям армии ставилась задача — отходить южнее города и закрепиться на восточном берегу реки Оскол, не давая противнику возможности сомкнуть кольцо окружения. Наша же дивизия получила приказ держаться пока на западном берегу реки и прикрыть отход войск левого крыла армии.

К занятому противником городу мы подошли рано утром. У переправы полыхнул короткий бой. Вскоре в штаб полка явились Захарин и Тулебердиев с донесением командира третьего батальона, шедшего в авангарде.

«Переправа через р. Оскол взорвана. В городе пожары, большое передвижение механизированных частей противника. По ту сторону моста стоят танки. Продолжаю наблюдение», — сообщал старший лейтенант Даниелян.

Дивизия заняла оборону в полукилометре западнее реки Оскол, прикрыв переправу отходящих частей армии.

В небольшой деревне собрались командиры и комиссары дивизии. Оперативное совещание длилось недолго. Серюгин говорил короткими, отрывистыми фразами, почти без пояснений:

— Обстановка резко изменилась. Разведка установила: по высотам восточнее переправы у села Нижнее Чуфичево курсируют танки, бронемашины и автоматчики. Они переправились южнее села и хотят отрезать пути нашего отхода. Мы должны немедленно овладеть переправой. Надо ликвидировать авангардные части противника, просочившиеся на восточный берег реки, выйти к полотну железной дороги и организовать оборону на север и на юг для отражения контратаки противника с флангов. Не прорвемся сегодня, враг примет все меры для усиления кольца окружения и начнет бои на уничтожение всей группировки.

Командир с минуту помолчал.

— На переправу пойдет 636-й полк — наиболее сохранившийся и боеспособный. Для непосредственной атаки необходимо создать штурмовую группу. И надо, чтобы ее, повел один из вас, — обратился он ко мне и Казакевичу.

Я встал.

— По-моему, нужно идти мне. А командир полка пусть руководит боем.

Поднялся и Казакевич.

— Садитесь. Пожалуй, комиссар прав, — согласился Комдив. — Думаю, Федор Иванович не будет возражать.

— Решение правильное, — поддержал Олейник, — надо только подумать о составе группы. Она должна быть сильно насыщена огневыми средствами. Ведь важно не только овладеть переправой, но и отразить неизбежные контратаки танков.

Мы с Казакевичем быстро договорились о составе группы. Он тут же доложил:

— Хотим включить стрелковую роту Антокова, роту автоматчиков Эсенова, полковую батарею Сидорова. Придадим им взвод ПТР и взвод саперов. Просим артиллеристов поддержать нас огнем.

— Вам придадим еще десять орудий артполка, — тут же решил Серюгин. — Сил достаточно. Надо только умеючи управлять ими.

Штурм переправы начался в четыре часа дня. Бывший туркменский учитель, лейтенант Айбас Эсенов прекрасно выполнил задачу. Переведя свою роту вброд южнее моста, он по прибрежным зарослям подобрался к немецким танкам, стоявшим в засаде на восточном берегу реки. Севернее моста удалось просочиться на вражеский берег взводу стрелков с двумя ручными пулеметами. С остальной частью ударной группы я, начальник штаба полка Назар Акмаев и парторг полка Иван Купцов двинулись к переправе. Мост, как мы узнали потом, был минирован, да, кроме того, его охраняли четыре немецких танка и до роты автоматчиков.

Как только мы стали подходить к переправе, немецкие танки с места открыли огонь. Но наши артиллеристы прямой наводкой сразу же подбили два из них. Автоматчики стали обходить немцев с фланга. В лесу прокатилось «ура», загремели взрывы гранат, длинные очереди автоматов. Заговорили артиллерийские и минометные батареи. Под прикрытием шквального огня мы подошли метров на сто к переправе.

Совсем рядом лежал лейтенант Антоков и мой ординарец Миша Старков, а несколько поодаль — Тулебердиев, Захарин, Сафарян.

— Пора, — сказал я Антокову, и в ту же минуту его ракета взвилась вверх. Снова загремело «ура». Чолпонбай и его боевые друзья первыми рванулись к мосту… Взрывы снарядов, мин, стоны, крики — все слилось.

Одна из повозок со станковым пулеметом ринулась к мосту. На ней сидело четверо бойцов. Кто-то закричал: «Вперед, за чапаевской тачанкой!» И действительно, что-то в командире напоминало Чапаева. Но повозка еще не успела въехать на мост, как раздался взрыв. Подходы были заминированы. Вмиг разнесло повозку, людей и коней. Взрывная волна бросила и меня в сторону. С трудом подняв отяжелевшую голову, я увидел, как люди с моста подались назад. Хотел отдать командиру приказание, но рот был полон крови. Выплюнув вместе с нею три выбитых зуба, я стал подниматься и через силу крикнул: «Вперед!»

Говорят, в минуты опасности человек обретает неожиданные силы. То ли эта опасность неудачи привела в чувство, то ли контузия оказалась не столь сильной, но я вскоре пришел в себя. Одно

ухо словно зацементировали, в другом слышались далекие хриплые голоса: «Вперед! Гады бегут! Вперед!» Это кричали Захарин, Тулебердиев и Сафарян, которые благополучно пробежали по противотанковым минам и в момент взрыва уже были на восточном берегу реки. Обойдя мост стороной, саперы под огнем противника быстро разминировали переправу.

За ротой Антокова Даниелян двинул весь батальон. Быстро форсировал неглубокую речку и батальон капитана Москвитина, наступавший на правом фланге полка. Успел переправиться и приданный нам дивизион артиллерийского полка.

Обстановка не позволяла медлить. Надо было принимать срочные меры. Я приказал Акмаеву и Купцову срочно выйти с батареями к железной дороге, связаться с Даниеляном и Середой, закрепиться на занятых позициях.

Перед нами лежал глубокий, сыпучий песок. Мне и так тяжело было ходить, а тут еще это проклятое месиво! Миша Старков помог добраться до железной дороги. Я шел, держась за его крепкую шею то левой, то правой рукой. Ординарец двигался осторожно, мелкими упругими шагами, оставляя глубокий след на песке. Крепыш из

Курской области, юноша, пришедший в полк с народным ополчением, Старков был бесстрашным и преданным солдатом. В эти минуты мне почему-то бросился в глаза пучок его русых волос на мокром от пота, розовом лбу.

Только мы дошли до железной дороги, как откуда ни возьмись появился наш ездовой Иван Черемисов с конями. Мне стало немного легче, лишь страшно болели голова и десны выбитых зубов. Боль была такая, что я не чувствовал осколочных царапин. Иван налил в стакан водки из своего. «НЗ» и предложил ополоснуть рот.

Роты Антокова и Эсенова заняли оборону по обе стороны полотна железной дороги. Акмаев и Купцов вместе с несколькими бойцами, среди которых были неразлучные Тулебердиев, Захарин, Сафарян, Бениашвили и Молдыбаев, направились вверх, в сторону батальона Середы. Я послал людей и на правый фланг, чтобы установить локтевую связь с Москвитиным.

К полотну железной дороги выходили все новые и новые группы бойцов. Правее нас бой почти затих. Левее, на участках второго и третьего батальонов, сражение не ослабевало: противник вводил в бой новые силы. Командиру комендантского взвода лейтенанту Расулову я приказал

немедленно установить местонахождение командира полка. Тут слева показались всадники: они галопом мчались к нам. Приглядевшись, я узнал Тулебердиева и Сафаряна. С трудом остановив разгоряченных коней, они спешились и Сафарян молодцевато доложил:

— Товарищ комиссар, командир полка приказал разыскать вас и передать, что он находится со вторым и третьим батальонами. Они ведут сильный бой. Немец жмет с Оскола. Подполковник просил установить связь с первым батальоном и к вечеру отойти в село Обуховка. Он очень интересовался, что с вами…

— Ладно, ничего не случилось, — прервал я его. — Ты лучше скажи, где Акмаев, где Купцов?

— В батальонах, товарищ комиссар, — вставил Тулебердиев.

— Как у тебя рана, не беспокоит? — переменив разговор, спросил я. — Верхом-то неудобно…

Чолпонбай смутился.

— Какая рана, я забыл о ней…

— Он отказывается даже на перевязку идти, — пожаловался Сафарян.

— Это зря, Чолпонбай, — проговорил я нарочито строгим тоном. — Так ты себя из строя выведешь. Если не лечить, то и небольшая рана

может стать опасной.

Чолпонбай стоял красный, опустив глаза. В одной руке он держал поводья, а другая невольно скользила по тому самому месту, куда несколько дней тому назад угодил осколок вражеской мины.

Вскоре Тулебердиев и Сафарян с моей запиской отправились обратно к Казакевичу.

Безоблачный июльский день клонился к закату. С комендантским взводом я направился на северную окраину села, где мы должны были встретиться с Казакевичем.

Мы шли напрямик, по неубранным хлебам. Вокруг, точно светлые косы, метались из стороны в сторону отяжелевшие колосья. Из-за густого зеленого леска внезапно вынырнул кукурузник и пошел к земле. Его преследовали два «мессершмитта». Сделав круг над местом посадки ПО-2, они дали несколько длинных очередей трассирующими пулями. Самолет остался невредим. Из него выскочили двое и, заметив, что бойцы открыли оружейный огонь по мессерам, побежали к нам. Сделав круг, фашистские самолеты спикировали и, сбросив две небольшие бомбы, снова дали длинные очереди зажигательными пулями. Самолет окутался дымом и пламенем.

Летчики зашагали с нами в село. Им нужен был штаб дивизии. Один из них, глубоко вздохнув, сказал:

— Опять отступаем, на Дон.

Мы перебросились еще несколькими фразами, а потом шли молча. Тяжело было на сердце у каждого. Я мысленно перебирал события дня. Он казался бесконечно длинным. В моей отяжелевшей голове теснились обрывки мыслей, но особенно терзала одна — о тревожных событиях на фронте. Тяжко было оставлять родную землю врагу. Томило собственное бессилие. Думалось — где наши танки? До каких пор фашистские стервятники будут господствовать в родном небе? Когда наступит перелом? А он должен наступить. Мы в это верили, этим жили. Лица моих спутников были суровы. Чувствовалось, что каждого из них мучают те же вопросы.

До села мы добрались уже в сумерках. Нас встретил Казакевич. Мы крепко обнялись. Хлопнув меня по ноющей спине, он воскликнул:

— Значит, цел! И даже своим ходом!

— Как видишь.

— Куда ранен?

— Ерунда, уже все зажило, только остается зубы вставить.

— Комдив доволен действиями полка, Олейник тоже похвалил. Они были у нас, уехали только недавно. Ждут нового приказа.

Тут я вспомнил о летчиках. Мы немедленно запрягли в тачанку лучших рысаков, и Акмаев с летчиками помчался в штаб дивизии. До его возвращения можно было отдохнуть.

Разбудили меня за полночь. На столе мигала лампа, еле освещая просторную, хорошо выбеленную избу. У хозяев не было керосина. Мастер на все руки лейтенант Расулов раздобыл где-то бутылку бензина и, смешав его с солью, заправил лампу. Язык пламени то взвивался вверх, ярко озаряя комнату, то почти исчезал, освещая только стол, за которым у развернутой карты сидели Казакевич и Акмаев.

— Давно приехал? — спросил я Акмаева.

— С полчасика, товарищ комиссар!

— Что-нибудь узнал об обстановке?

— Дрянная обстановка! — бросил Казакевич.

— Узнал, — вставил Акмаев. — Положение серьезное. Противник вышел к Воронежу, а южнее нас — к Острогожску. Наступает на Коротояк и Лиски.

— Да, положеньице… — вздохнул я. — Неужели им удастся форсировать Дон?

— Нам приказано отойти на Дон, — швырнув на стол карандаш, поднялся Казакевич. — Надо решить, когда выступаем. Опасность грозит справа. Отходить придется с боями. Противник попытается раньше нас выйти к Коротояку, чтобы овладеть переправой через реку.

Мы снова склонились над картой.

5

Полк выступил на рассвете. Впереди войск пешком и на подводах тянулись на восток беженцы: женщины, дети, старики. Никто точно не знал, куда держать путь, но люди невольно тянулись к Дону. Всеми владело одно желание — уйти подальше от врага. Немецкие самолеты совершали беспрерывные налеты на колонны мирных людей, заливая кровью пыльные дороги и неубранные поля. Нам приходилось оказывать медицинскую помощь беженцам, подбирать раненых.

Правый фланг полка прикрывал батальон капитана Москвитина. К исходу второго дня он достиг высот северо-западнее Коротояка. Отсюда открывалась жуткая картина: над городом вились гигантские столбы дыма и огня. Земля, казалось, дрожала от страшного гула. Фашистские

стервятники висели над переправой. То и дело вспыхивали воздушные бои. Время от времени с неба срывались подбитые самолеты, окутанные дымом.

Нам нужно было решить, куда отходить.

— Видимо, нет смысла идти на Коротояк, — сказал Казакевич, — там все снесено огнем. Замысел противника понятен. Он стремится овладеть переправами, прижать нас к реке, уничтожить людей, технику и с хода форсировать Дон.

— Это ясно, — согласился я, — но все-таки следует послать разведку и выяснить, что творится в Коротояке. Надо разведать также район Урыва — Девицы. Жители говорят, что там есть переправа. Может быть немцы не успели ее разбомбить?

Для разведки нужно было время, а противник шел по пятам. Пришлось организовать оборону на прибрежных высотах. Полк начал окапываться. К высотам отошли и некоторые танковые подразделения. Мы договорились с танкистами об использовании машин с неисправными ходовыми частями как огневых точек. Пехотинцы помогли вырыть углубления на склонах высот и установить в них танк. Исправные машины мы тоже укрыли, но так, чтобы они могли свободно маневрировать.

От наших позиций до Дона было рукой подать — два километра. Мы знали, что если противнику удастся овладеть этими высотами, все переправы окажутся под артиллерийским и минометным огнем. Этого нельзя было допускать. К Дону стекались неоглядные толпы эвакуированных. Они заполнили все придонские села, и каждый стремился перебраться на восточный берег. Трудно представить трагедию, которая разыграется у переправ, если немцы прорвутся. И мы решили держать высоты, пока есть силы.

Решение об организации хотя бы и временной обороны имело и большое моральное значение. Беспрерывное отступление угнетающе действовало на людей. Новый же бой, несомненно, их подбодрит, укрепит боевой дух.

Капитан Красников, назначенный заместителем командира полка по строевой части, получил распоряжение: с группой бойцов и политруком роты Самуилом Ошеровым разведать район села Девицы и разыскать переправочные средства. Мы сознательно избрали именно этот район. Берега здесь были покрыты густыми зарослями. И ни одной магистральной дороги! Противник, конечно, меньше всего предполагал, что наши войска попытаются переправиться именно здесь.

Одновременно мы послали конную разведку в направлении Коротояка.

Взвод конных разведчиков мы сформировали в день прорыва вражеского кольца под Старым Осколом, когда надо было быстро, оперативно выяснять, что происходит вокруг, устанавливать и держать локтевую связь с соседями, посылать в батальоны распоряжения. Во взвод отобрали людей смелых, я бы сказал, отчаянных.

Из девятой роты попали Тулебердиев и Сафарян. Они уже несколько дней находились при командире батальона. Подобрав лихих коней, они мчались то в роты, то в штаб полка, выполняя особые задания комбата. Когда их вызвал Даниелян и приказал отправиться в распоряжение начальника штаба полка, оба были явно разочарованы. Комбат понял их, однако не показал виду. Ему тоже не хотелось их отпускать, но иначе поступать он не имел права.

— Я думаю, приказ ясен, — строго, официально сказал Даниелян. — Выполняйте!

Комбат исподлобья посмотрел на своих бойцов, радуясь в душе, что им не хочется покидать свой батальон. Молчание нарушил Чолпонбай.

— Товарищ старший лейтенант, тогда разрешите в нашу роту ехать сначала. Друзья там

остались, хорошие товарищи!

— Только ненадолго.

Захарин, встретив друзей, стал их попрекать:

— И вы променяли нашу славную роту на какой-то конный взвод? — выговаривал он. — Я бы до самого командира полка дошел, к комиссару обратился, но остался бы…

— Ты сам много говорил: приказ есть приказ, его не обсуждают, а выполняют, — парировал Чолпонбай. — Забыл? Зачем теперь другую песню поешь?

— Просто завидует, что мы идем в конную разведку, — подтрунивал Сафарян.

— Чему там завидовать, черт вас дери, — ершился Захарин. — Не хочется расставаться с вами. Думал, скоро они в роту вернутся, а получается наоборот… А вы, вижу, рады, выдвижение получили, еще немного и, пожалуй, до самого Буденного доберетесь.

— Брось, Иван! — перебил его Сафарян. — Парень пришел попрощаться, душу отвести, а ты… шутишь…

— Ну, прости меня, друг, — после небольшой паузы заговорил Захарин. — Я просто погорячился. И неправ, конечно. Приказ есть приказ, его надо выполнять. Я бы тоже попросился с вами, да

ездок из меня никудышный.

— Что это тут за собрание? — спросил подошедший командир роты Антоков.

— Не собрание, товарищ лейтенант, — ответил Захарин, — прощаемся. Вот изменщики пехоте, кавалеристами становятся.

— Это ты зря, сержант, — ответил Антоков, — мне тоже не хотелось их отпускать, но на важное они дело идут. В такое время конная разведка, конная связь очень нужны. Потом они, конечно, вернутся в роту.

— Обязательно вернемся, — заверили Сафарян и Тулебердиев в один голос.

Иван смягчился и взял обоих друзей за плечи.

— Ну что ж, ни пуха ни пера.

— В таких случаях говорят: «Пошел к черту!», — улыбаясь, заметил командир роты.

— Зачем товарища посылать к черту? — удивился Чолпонбай. — Разве хорошо — к черту?

— Очень даже хорошо, — засмеялся Захарин, — когда посылают к черту, человек знает, что черт не любит шутить. Или ты ему голову свернешь, или он тебе. Но поскольку голова — очень ценная вещь и без нее ноги не ходят, то человек обязательно свернет шею нечистому…

Привыкшие к философствованиям Захарина,

солдаты только посмеивались, глядя на недоумевающего Чолпонбая.

Командир роты крепко пожал руки бойцам.

— Не роняйте чести нашей роты.

Еще несколько минут, и кони помчались вдоль дороги.

...Чуть свет конники отправились в разведку. Только выехали из села, как тотчас разлилась протяжная песня: «Сотня юных бойцов из буденновских войск на разведку в поля поскакала...» Они ехали по холмогорью, протянувшемуся длинной цепью вдоль правого берега Дона до самого Коротояка. Чем ближе подъезжали они к реке, тем отчетливее вырисовывалась картина горящего и будто тяжело стонущего города. Бой шел на юго-западной окраине Коротояка. Артиллеристы прямой наводкой вели огонь по наседавшим фашистским танкам.

Песня оборвалась.

— Сердце горит, — заговорил Чолпонбай, обращаясь к Сафаряну. — Смотреть не могу. Сколько невинных погибает...

— Далеко зашли гады, много бед принесли.

— Если не остановим, плохо будет. Куда дальше?

— Да, Чолпонбай, не остановим врага здесь,

на Дону, он пойдет к вам, в Киргизию, в наш Нагорный Карабах, и всюду на его пути все будет гореть, как вот этот город.

…Два «мессершмитта» на бреющем полете пронеслись над конниками, пустив несколько очередей. Командир взвода приказал свернуть с дороги. Разведчики спешились и укрылись в кустарнике. Самолеты сделали еще один заход и, никого не обнаружив, дали на всякий случай очередь по кустарнику. К счастью, пули прошли мимо. Конники мелкими группками двинулись дальше. Сафарян и Тулебердиев поехали рядом. Самсон, продолжая разговор, задумчиво спросил:

— Вот мы говорим, что бьемся за Родину. А ты знаешь, Чолпонбай, что такое Родина?

— Конечно, знаю.

— Тогда объясни.

— Мне трудно по-русски. Слов не хватает.

— Говори по-киргизски или по-армянски.

— По-киргизски ты не поймешь, по-армянски я не умею. Лучше по-русски…

— Валяй по-русски.

— Ну, как тебе объяснить… Родина — вся земля, от самого востока до самого запада.

— Да, конечно, потом скажешь: от самого севера до самого юга, — вставил Самсон.

— Дай сказать, зачем мешаешь?

— Ну ладно, говори, не сердись.

— Вот я тебе повторяю — от востока до запада и от севера до юга.

— Это правда. Но разве только в земле дело?

— И люди на земле, и все, что на ней — тоже Родина. Я мало видел, первый раз на войну далеко поехал, а везде хорошо и красиво, как у нас в Киргизии. Ты знаешь, Самсон, какая наша Киргизия! На гору взберешься, — край земли увидишь, лететь, как орлу, хочется… А речка — такая быстрая! Глядишь — голова кружится…

— Да, сейчас бы туда, в горы, — вздохнул Самсон. — Тишина там…

— Когда тихо, а когда праздник — шум, разговоры, песни. Такой у нас народ веселый. А старики рассказывали — раньше плохо было. Люди были темные, ничего не знали, от баев все терпели. Я от стариков слышал — не знали мы счастья. Пришло к нам счастье с революцией, из далекого города, вокруг которого сейчас фашисты.

— Ленинграда?

— Да, Ленинграда. Я не был в этом городе, но знаю, что он большой. Ленин там совершил революцию. А когда маленьким был, я думал, что он тянется до самого Тянь-Шаня. Я сказал своей

девушке, Гульнар ее зовут, что, как поженимся, обязательно поедем туда…

Чолпонбай умолк. Молчал и Самсон. Слушая друга, он унесся мыслью в родные края, вспомнил Гадрутское ущелье в Нагорном Карабахе — эту гигантскую ладонь, опоясанную с трех сторон высокими горами. На склоне одной из гор лежит родное село Самсона — Кемракуч. В селе теперь нет дома, откуда кто-нибудь не ушел бы на фронт. Самсон вспомнил жену Вартуш, милых детишек Риту, Риго, двухлетнюю Арину. Как они теперь живут, что с ними сейчас?

— Не знаю, Самсон, — нарушил молчание Чолпонбай, — правильно я тебе говорю, понятно или нет, только каждый знает, что такое Родина. Если даже объяснить не сумеет, все равно сердцем знает. Родина — вся наша земля, все, что мы любим… Понимаешь — скажут сейчас: умереть за нее нужно — умру…

— Из тебя настоящий политрук получится. Зря талант пропадает.

— Мы серьезно говорим, а ты смеешься, — насупился Тулебердиев.

— Милый мой, и наши шутки тоже кусочек нашей Родины. И то, что ты сумел замечательно объяснить мне, — это тоже часть нашей Родины.

Беречь все это, отстоять от врага — вот, по-моему, что значит любить Родину. А любовь мертва без желания бороться за нее.

Конники подъезжали к Коротояку. Над городом среди моря огня и дыма взлетали черные фонтаны взрывов. Показывая на них, Самсон сказал:

— Смотри, Чолпонбай, вот как терзают нашу землю!..

Чолпонбай впился глазами в открывшуюся перед ним мрачную картину. Война губила тысячи жизней, пожирала плоды многолетнего труда. А Чолпонбай знал цену этого труда… Нет, дорого заплатят фашисты и за смерть, и за обуглившиеся развалины, и за опаленную огнем, почерневшую зелень, и за землю-кормилицу, исковерканную и обожженную.

От жителей окраинных домов разведчики узнали, что мост через Дон разбит вражеской авиацией. Командир взвода лейтенант Михин послал к переправе Тулебердиева и Сафаряна с несколькими бойцами, а сам с оставшимися конниками поскакал к западной окраине города. Ему хотелось разыскать кого-нибудь из старших командиров.

Встретившийся артиллерийский подполковник ему сказал:

— Передайте вашему командиру, что полк в эту мясорубку вести не следует. Здесь и так накопилось много войск, да и гражданских полно. Постараемся продержаться еще сутки, чтобы вывести всех на тот берег.

Михин вернулся в условное место, где его уже ждали Сафарян и Тулебердиев с товарищами. Доложив о состоянии моста, разведчики сообщили, что недалеко от него саперы наводят новую переправу.

Сведения Красникова были тоже не очень утешительными. Южнее села Девицы, где решили организовать переправу, подходы к берегу оказались заболоченными.

И все же выход нашли. Полковой инженер предложил проложить, по берегу настил из хвороста. На это дело мобилизовали саперный и комендантский взводы, транспортную роту и связистов. Конники получили новое задание — обследовать берега и, если можно, раздобыть речные баржи. Солнце зашло, мрак постепенно окутывал израненные бомбежкой берега Дона. Но люди продолжали работу.

Баржи нашлись у села Девицы. На них днем переправлялись местные жители. Через густой низкорослый лес и кустарники бойцы за ночь

проложили дорогу и приступили к переправе. В это же время севернее армейские саперы восстановили мост у села Урыв. Обозы направили туда. На западном берегу Дона скопились тысячи голов колхозного скота, лошадей. Оставлять их врагу было нельзя.

Всю ночь Захарин, Тулебердиев и Сафарян занимались переправой, а на высотах батальоны Москвитина и Середы готовились дать очередной бой врагу. Даниелян получил приказ переправиться ночью и занять оборону по восточному берегу реки. Акмаев должен был организовать штаб полка в левобережном селе Троицком. Я и Казакевич остались на западном берегу с батальонами.

Ночь тянулась томительно долго, а кончилась вдруг, неожиданно. Утренний туман рано рассеялся. Все отчетливее вырисовывались берега большой, широко разлившейся реки. Отступая перед светом восходящего солнца, легкий беловатый туман клочьями оседал в оврагах и лощинах, в густых прибрежных зарослях. Горизонт окрасился золотистым пурпуром, брызнули первые лучи солнца.

Но с запада, навстречу солнечным лучам, уже летели стаи фашистских стервятников. Пробом-

бив высоты, занятые нашими бойцами, первые «юнкерсы» скрылись за облаками, а на смену им пришла другая волна. Они начали бомбить переправу и прибрежные села. В наступление пошли вражеские танки и пехота. Главный удар они направили против батальона Середы.

Первые атаки удалось отбить. Сильно помогли наши штурмовики, которые внезапно налетели на фашистскую колонну танков и подожгли много машин.

Целый день шел бой. Мы выстояли.

Но следующий день оказался не легче.

Особенно тяжело пришлось левому флангу батальона Москвитина. Комбат то и дело звонил:

— Прошу побольше огня!

В дивизии все хорошо знали имя бесстрашного политрука Дмитрия Саенко. Этот человек отличался изумительным хладнокровием. И в этот день комиссара батальона видели там, где создавалось особенно опасное положение, где требовались и пламенное слово, и пример личной храбрости.

Во второй половине дня внезапно наступило затишье. «Враг хитрит. До вечера еще три-четыре часа, немцы непременно полезут снова», — подумал Саенко и решил, воспользовавшись

передышкой, обойти позиции левофланговой роты.

…Сержант Красовский, приподняв горячую от зноя каску, вытер обильно стекавший по запыленным щекам пот и полез в карман за табаком.

— Ну и денек! Покурить даже не дает, гад, — выругался он, подходя по траншее к группе бойцов.

И точно — в небе послышался нарастающий гул моторов, наблюдатели крикнули «воздух!». Над позициями пронеслись фашистские самолеты. Они разбросали множество геббельсовских листовок.

— Вот и бумага для курева, — шутливо бросил старший сержант Али Гусейнов.

— Ими только одно место вытирать, — со злостью сплюнув, пробормотал пожилой боец Зыкалин.

Одна листовка, медленно покружившись над окопами, упала невдалеке. Красовский поднял ее, но рядовой Аллахвердян запротестовал:

— Нельзя читать, это вражеская пропаганда.

— Я разрешаю, пусть читает, — спокойно сказал подошедший Саенко.

Красовский прочел: «До Воронежа — под бомбежки, до Урала — под гармошки».

— Еще смеются, гады! — сержант в сердцах

разорвал на клочки листовку и швырнул их за бруствер.

— Издеваются… — хмуро произнес Аллахвердян.

— Да, обнаглели. А почему? — негромко заметил Саенко. Бойцы обступили его плотным кольцом. — Мало мы бьем немца, вот он и нагличает. Надо ему так сыграть, чтобы он ноги свои не мог унести с нашей земли.

Тут снова прозвучало: «Воздух!» «Юнкерсы» делали заход со стороны солнца. Под прикрытием авиации в наступление пошли вражеские танки и мотопехота.

— Враг бросил на нас до двух полков пехоты, 40–50 танков и авиацию, — доложил командиру дивизии Казакевич. — Основной удар — в направлении батальона Москвитина. Прошу дать заградогонь.

Силы были неравные, немцам удалось подойти совсем близко к окопам. Москвитин передал, что на левом фланге противник вклинился в нашу оборону. Первая рота с одним станковым пулеметом отрезана.

Не прошло и двадцати минут, как в лощине, недалеко от нашего командного пункта, застрочили фашистские автоматчики. Угроза была

нешуточной.

— Михина ко мне! — приказал адъютанту Казакевич. Через несколько минут, тяжело дыша, прибежал Михин.

— Прибыл по вашему приказанию!

— Сколько у тебя сейчас народу? — спросил Казакевич.

— Налицо двадцать восемь.

— Лошадей оставить на месте, взять с собой человек двадцать и немедленно прочесать лощину с выходом на левый фланг Москвитина.

— Разрешите выполнять?

— Выполняйте!

Вскоре в лощине разыгрался короткий, но жаркий бой. Казалось, совсем рядом трещали автоматы, отчетливо слышались разрывы гранат. Потом стрельба стала удаляться. Михин впервые видел Чолпонбая в бою и был поражен бесстрашием киргизского парня.

Взвод Михина, преследуя фашистских автоматчиков, вышел к склону высоты, где немцы взяли в полукольцо нашу первую роту. Сильный артиллерийский огонь приостановил движение пехоты противника. Москвитин и Саенко подняли бойцов в контратаку. Короткий рукопашный бой, и положение было восстановлено. На левом

фланге все энергичнее действовали наши разведчики. Но вскоре они вынуждены были лечь. Из-за высоты появились новые цепи фашистских солдат. По ним неумолчно бил станковый пулемет. Казалось, весь наш левый фланг держится на одном этом дзоте. Чолпонбаю не терпелось, он стремился как можно быстрее пробраться к дзоту, чтобы помочь храбрым защитникам высоты.

— Этот пулеметчик, — сказал Чолпонбай рядом лежащему Самсону, — настоящий герой, он сотни бойцов стоит…

— Стоит, может быть, и больше, — поддержал Самсон, — а сто фрицев он наверняка уложил, не меньше.

Ни Тулебердиев, ни Сафарян, да и никто из взвода Михина еще не знал имени храброго пулеметчика, но все восторгались его геройством.

В дзоте был сержант Красовский. Тяжело раненый, истекающий кровью, он отбивал непрерывные атаки фашистов на левый фланг батальона. Но патроны были на исходе. Бойцы из расчета пытались перебежать в соседний блиндаж за боеприпасами, но кто был убит, а кто тяжело ранен. Сильные руки сержанта пока еще подчинялись ему. Но вот расстреляны все патроны. Осталась лишь одна граната. Сержант собрал последние

силы и бросил ее в атакующую вражескую цепь. Он еще видел падающих гитлеровцев. В ушах его в последний раз послышалось мощное «ура». Оно докатилось и до Чолпонбая: справа на помощь шла третья рота. Ее вел младший политрук Куценко. С призывом «Коммунисты, за мной!» он бросился в атаку.

Снова раздалось «ура!». Это наши разведчики кинулись на фашистов у дзота Красовского.

— Не уйти вам, гады! — крикнул Чолпонбай.

Его автомат строчил неумолчно, сраженные фашисты скатывались по склону высоты. Несколько фрицев пытались скрыться в наших ходах сообщения, но их настигли Чолпонбай и его друзья. Чолпонбай, в упор наставив на немцев свой автомат, крикнул уже знакомые ему слова «хенде хох!» Подоспевшие бойцы обезоружили пленных, а Чолпонбай, Самсон, старший сержант Гусейнов из первой роты кинулись в блиндаж. Они застыли у входа — из защитников дзота уцелел только один человек, да и тот был тяжело ранен. А сам командир лежал без движения, припав к станковому пулемету. Чолпонбай и друзья бережно подняли раненого бойца и убитого сержанта. Чолпонбай недавно встречался с сержантом Красовским на слете отличников

полка, слушал рассказ бывалого воина. Теперь этот сильный, всегда веселый, жизнерадостный человек лежал залитый кровью, бездыханный.

Он пал, не уступив врагу ни пяди родной земли.

И на этот раз мы удержали высоту. Фронтовые газеты, сообщая об этих боях, подробно описывали подвиг сержанта Красовского.

...На третий день после выхода на Дон в районе Коротояка разыгрался сильный бой. К вечеру мы получили тревожное сообщение: противнику удалось, хотя и небольшими силами, переправиться на восточный берег Дона. Комдив приказал немедленно двинуть туда наш третий батальон, а с наступлением темноты вывести на восточный берег весь полк.

Батальоны Середы и Москвитина, более двух суток удерживавшие позицию на западном берегу Дона, ночью переправились на восточный. Казакевич выехал с третьим батальоном на ликвидацию прорыва, а я с Акмаевым и Красниковым за ночь сосредоточил остальные подразделения полка, сдав свои позиции подоспевшим частям.

Люди отдыхали недолго. Еще не рассвело, когда полк двинулся к Коротояку. К концу дня разыгралось ожесточенное сражение, продолжавшееся

более двух дней. Противник был разбит и отброшен.

На участке нашей дивизии все попытки врага форсировать Дон были отбиты, фашистская лавина, докатившаяся до берегов этой большой реки, остановлена. Но немцы продолжали рваться на восток…

Однако зверь был уже не тот. Две недели непрерывных кровопролитных боев сделали свое дело, выбили самые острые зубы хищнику. И хотя фашистская армия с прежней наглостью выбрасывала то одну, то другую свою лапищу на наш берег, ей не удавалось зацепиться и сделать новый прыжок: на этом участке фронта Дон стал непреодолимой преградой для гитлеровских войск.

Подвиг

1

Лес благоухал. Тянуло ароматом ягод, не утихал птичий гомон. О войне напоминало только нудное подвывание фашистских самолетов, совершавших налеты на железнодорожную станцию Бобров.

На опушке леса вилась река. По обеим берегам ее было много тихих заводей, кишевших рыбой. В те несколько дней, что мы стояли, ожидая пополнения, все увлеклись рыбной ловлей. И не только заядлые рыбаки, а даже те, кто в жизни не брал в руки удочку.

Подолгу просиживал на берегу речки и Чолпонбай со своим дружком Захариным. Здесь Тулебердиев подружился с грузином Вано Бениашвили, который был заядлым рыбаком и в свое время выудил немало рыбы из Куры. Вано познакомил Чолпонбая с Серго Метревели, который тоже сразу пришелся по душе Тулебердиеву. Они были ровесниками, оба собирались вступить в комсомол.

Но во втором эшелоне мы стояли недолго, — все-

го неполных шесть дней. Заместитель командира полка по тылу и начальник снабжения немало потрудились над тем, чтобы хорошо одеть и обуть людей, создать запасы продовольствия. Непривычная тыловая жизнь еще не успела надоесть, как получили боевой приказ: полк должен сосредоточиться в лесу западнее станции Давыдовка, в нескольких километрах от Дона.

На второй день марша тачанку, в которой ехали я и Казакевич, нагнал капитан из штаба дивизии. Он передал нам боевое распоряжение. Прочитав, Казакевич протянул его мне:

— К командующему вызывают. Кто поедет?

— Когда?

— К утру.

— Это не проблема. Езжай сам, а нет, хочешь, я поеду.

В штаб шестой армии выехал я, начальник штаба полка капитан Акмаев и мой ординарец Михаил Старков. Мы еще не успели отъехать от колонны, как нас нагнали на своих конях Тулебердиев и Сафарян. За ними пыль стояла столбом и, медленно рассыпаясь, образовывала «дымовую завесу», которая, впрочем, держалась недолго.

— Явились по приказанию командира полка для связи! — доложил Тулебердиев, с трудом

останавливая разгоряченного коня.

— Сразу видно, что джигит скачет, — шуткой ответил я на его рапорт, указывая на тучу пыли.

Чолпонбай смутился и усердно похлопал по взмыленной шее вороного.

Штаб армии расположился на окраине Давыдовки — одного из районных центров Воронежской области. Командующего на месте не оказалось. Начальник оперативного отдела сообщил, что генерал находится на наблюдательном пункте, и показал по карте, куда ехать.

Мы выехали из Давыдовки по шоссе на юг, в направлении Коротояка. Вскоре свернули с дороги и остановились в одной из бесчисленных лощинок. Оставив здесь связных и наших коней, мы с Акмаевым направились к наблюдательному пункту командующего. Адъютант генерала доложил о нас.

— А, комиссар 636-го! — приветливо встретил меня генерал Харитонов. — А мы ждем, не дождемся.

Он протянул руку и спросил:

— Где сейчас полк и когда он может сосредоточиться в районе Давыдовки?

— Сегодня ночью, товарищ генерал.

Командующий пригласил подойти ближе к

карте, которую адъютант развернул на бруствере траншеи. Он говорил не торопясь, спокойно, ничем не выдавая своей безмерной усталости, но его болезненное лицо и опухшие, обветренные губы говорили о том, как необходим ему отдых.

— В районе Коротояка, — сказал командующий, — противник хотя и прекратил попытки форсировать Дон, но не отказался от своего замысла. По данным разведки, немецкое командование концентрирует крупные силы в районе Урыв — Селявное. Есть точные сведения о том, что в излучину Дона уже подтянуты седьмая венгерская дивизия и до двух полков немецкой пехоты. Поддерживают их танки…

Мы слушали, следя за движением карандаша. Солнце стояло прямо над нами. Зной становился нестерпимым.

— Так вот, — продолжал генерал, когда мы укрылись в тени, — противник не для парада стянул на этот участок так много войск. Замысел его ясен. Не удалось переправиться в районе Коротояка, попытается форсировать Дон в излучине, для выхода к Давыдовке. Ваш полк отдохнул достаточно…

Он прищурился и внимательно посмотрел на нас, видимо, желая проверить, как мы отнесемся

к столь быстрому возвращению на передовую одного только нашего полка, в то время как остальные части дивизии еще оставались на отдыхе. Мы переглянулись.

— Вы получили солидное пополнение. Как резерв армии полк с сегодняшнего дня вступает в оперативное подчинение командиру первой истребительной дивизии генералу Фирсову. Павел Андреевич Фирсов уже назначен заместителем командующего войсками армии, но пока продолжает командовать дивизией. Задача полка — намертво закрыть излучину Дона. Всеми действиями на этом участке будет руководить генерал Фирсов. Он сейчас на берегу. Подробности задачи уточните с ним. Ни один фашистский солдат живым не должен ступить на этот берег.

— Не подведем, товарищ генерал.

— Я в этом уверен, — скупо сказал командующий. — Вас будет поддерживать артиллерийский полк подполковника Присяжнева, дивизион реактивных минометов. Сил достаточно. Но на берегу будет стоять пехота. Поэтому и выполнение задачи прежде всего зависит от вас.

Несмотря на усталый и даже болезненный вид генерала, во всех его движениях чувствовалась энергия. Подробно разобрав с нами задачу, он

крепко пожал нам руки, и мы быстро зашагали к лощине, где нас ждали Старков, Тулебердиев и Сафарян.

Через час наши кони вяло брели обратно. В жару не хотелось гнать лошадей. Мы ехали молча. Но Самсон и Чолпонбай вскоре заговорили. Временами казалось, что они даже о чем-то спорят. Старков ехал молча.

— Как там с водой, что-нибудь осталось? — спросил Акмаев, повернувшись к ним.

— Есть, товарищ командир, — ответили они разом и тут же подъехали к нам.

Теплая вода во флягах не утоляла жажду. С неба по-прежнему лился огонь.

— О чем спорили? — спросил я, оторвав от губ почти горячее горлышко фляги.

— Это не спор, товарищ комиссар, — объяснил Сафарян, — Чолпонбай хочет угадать задание командующего, говорит, скоро наступать будем.

— А что, разве плохо? — улыбаясь, спросил я.

Чолпонбай тоже улыбнулся, глаза его блеснули под густыми изломанными бровями.

— Я спросил Самсона, — смущенно заговорил он, — почему отступаем? Когда будем наступать? А он отвечает: наши главные силы не подошли. Я говорю: где же эти главные силы? — Где-то на

Урале. Вот придут они, и тогда мы пойдем! — Я ему говорю, знаешь, Самсон, не понимаю. Выходит, самые главные силы сидят и ждут, пока фашисты к ним доползут. Тогда кому нужны будут эти главные силы? Он говорит, что настроение мое плохое.

— И ты сдался?

— Конечно, нет. Наступать — вот мое настроение.

— Хорошее у тебя настроение, Чолпонбай, — сказал я ему. — И думаю, что Самсон тоже такого же мнения. Наша задача как раз в том, чтобы выстоять, пока этих сил побольше наберется. Наступать нужно умеючи. Это не просто отдать команду. Надо уж такой час выбрать, чтобы хребет немцам переломить. А что касается главных сил, они еще свое слово скажут. Но главное — выстоять сейчас, выстоять теми силами, которые имеются у нас. Сделаем это, тогда и нас тоже назовут главными силами.

— А наступать когда пойдем, товарищ комиссар?

— Как будет приказ, так и пойдем. Скоро. Но сейчас наша задача — крепко закрыть Дон, и ни шагу назад. Таков приказ.

Помолчав, подумав, Чолпонбай сказал:

— Тогда разрешите, товарищ комиссар, вернуться в роту. Там веселее, чем в конном взводе. Близко к фрицам; чувствуешь, что на фронте находишься, а не в обозе.

Я не стал доказывать значение конного взвода для полка. Есть такие минуты, когда не следует гасить искреннего порыва воина. А воля к наступлению все сильнее охватывала полк в те трудные для нас дни.

— Ну что ж, — согласился я, — если очень хотите, то пошлем вас поближе к фрицам.

...Генерала Фирсова мы встретили на западной окраине Давыдовки. Он сказал нам примерно то же, что и командующий, а затем указал рубежи обороны полка. Я написал Казакевичу небольшую записочку и отправил ее с Тулебердиевым и Сафаряном, а мы с генералом отправились в артиллерийский полк, который должен был поддерживать нас.

...Во второй половине дня девятнадцатого июля наш полк сосредоточился в населенных пунктах северо-восточнее Давыдовки. До места назначения оставалось еще около десяти километров. Но дальнейшее продвижение днем было нежелательно. Чем ближе мы подходили к линии фронта, тем чаще появлялись над нами немец-

кие самолеты-разведчики. На марше одно наше подразделение, правда, совершенно случайно, попало под бомбежку. Жертв, однако, почти не было. Чтобы не подвергаться риску нового налета и скрыть от противника наше передвижение, мы решили двигаться ночью.

Полк сосредоточился в заданном районе на третий день поздно вечером. Следуя указанию генерала Фирсова, мы расположились по левой стороне лесного грейдера, который шел из Давыдовки к Дону. У самого леса дорога сначала взбиралась вверх, на заметную в этой округе высоту, а потом, перевалив ее, круто спускалась вниз к реке. По обе стороны дороги — от самой станции до начала леса — при тусклом лунном свете мы видели множество свежих воронок от разрывов бомб. На опушках и на небольших полянах стояло много артиллерийских и минометных батарей.

Мы расположились подальше от дороги и отлично замаскировались под густыми зарослями. Штаб полка разместился в полутора километрах от грейдера в небольших хуторских домиках, разбросанных вдоль маловодной речки Хворостань, которая местами исчезала в болотах, а потом, снова найдя свое русло, бесшумно ползла к Дону.

Полк получил боевую задачу занять оборону по Дону, на рубеже населенных пунктов Старая Хворостань — хутор Покровский — Машкино. Приказ гласил: выйти на заданный рубеж одним батальоном в ночь на двадцать первое июля, остальным подразделениям — в следующую ночь к двадцати четырем часам.

Время позволяло засветло провести командирскую рекогносцировку местности, уточнить задачу подразделений, поговорить с людьми, довести до каждого бойца приказ командования.

Летом сорок второго года в массовой политической работе большое распространение получили митинги. Они являлись той формой агитации, которая позволяла сразу охватить массу людей. Принятые на митингах резолюции носили характер клятвенного обязательства солдат и имели большую мобилизующую силу.

Посоветовавшись, мы с Казакевичем решили провести общеполковой митинг. Были, конечно, предусмотрены все меры предосторожности на случай налета авиации противника. В лесной чаще собрались бойцы и командиры из всех подразделений. Оставили на местах лишь наряды и тех, которые были заняты неотложными делами. Специальную трибуну для митинга не строили.

Но место выбрали подходящее: узкую, террасой, полянку, окруженную густым орешником.

Впереди всех с ручным пулеметом на коленях сидел участник гражданской войны Алексей Кузьмич Зыкалин. Рядом — второй номер расчета — его двадцатипятилетний сын Александр. Тут же на травке устроились Сергей Чулимов, Ефим Антоков, Чолпонбай Тулебердиев, Самсон Сафарян, Али Гусейнов, Гайфулла Гилязетдинов, Иван Захарин, Петр Стрюков, Иван Кемкин…

Открывая митинг, я вновь напомнил об обстановке, сложившейся на фронтах. Это было главным вопросом, этим жили люди, этим определялось настроение всех. Шли первые тревожные дни исторической битвы на Волге. Тогда нам ставилась задача накрепко стоять здесь, южнее Воронежа. И я рассказал о новой боевой задаче полка, о долге каждого воина в эти суровые дни. Казакевич тоже подчеркнул ответственность задачи, поставленной перед полком, а затем прочитал письмо трудящихся Горького к воинам дивизии. Слова письма, в которых чувствовалась уверенность рабочего класса, всего советского тыла в нашей победе, глубоко запали в сердца воинов. Взволнованно говорили комбат Середа, бывалые воины Чулимов, Гусейнов, Стрюков,

молодые бойцы Тулебердиев, Черновол, парторг транспортной роты Шаген Гаспарян…

Чолпонбай говорил минуты две.

— Гитлер хотел поссорить нас с русским народом. Не вышло и не выйдет. Война — это наша общая беда, она еще больше скрепила дружбу всех народов с русскими. В нашей роте бойцы разных национальностей. У нас так: один за всех, все за одного. От имени всей роты я заверяю командование, что мы готовы выполнить любую задачу…

Он говорил волнуясь, делая паузы, ища подходящие слова. Но когда Чолпонбай кончил говорить и, сопровождаемый аплодисментами, подсел к своим, Антоков похлопал его по плечу:

— Молодец! Хорошо, правильно сказал!

В сосредоточенном молчании слушали мы речи своих боевых товарищей.

— Гитлеровцы хотят нас заковать в кандалы. Нас, кому партия коммунистов дала свободу, новую жизнь, — заявил Алексей Кузьмич Зыкалин. — Рекою льется кровь на Советской земле. Сегодня фашистские изверги разоряют и истребляют украинцев, белорусов, эстонцев, латышей, литовцев… Завтра, если их допустить, они вонзят штык в сердце нашей Родины — Москву, ворвут-

ся на солнечный Кавказ, проникнут в Среднюю Азию, растопчут цветущие поля Узбекистана, Киргизии, Туркмении. Нет, никогда не простит нам народ, если мы пропустим врага в глубь страны. Дальше отступать некуда. Умрем, но не отступим!

Чолпонбай и сидевшие рядом с ним боевые друзья пристально смотрели на Зыкалина. Старый русский солдат взял в обе руки свой пулемет, повернувшись лицом к товарищам, встал на колени, поцеловал оружие и густым дрожащим басом продолжал прерванную речь:

— Клянусь тебе, партия, клянусь, Родина! Не посрамим земли русской, кровью своей отстоим ее!

— Клянемся! — громыхнули сотни голосов…

— Клянемся! — далеко отозвалось эхо…

Клятвой верности прозвучала резолюция митинга. Ее зачитал агитатор полка Правильщиков. Она заканчивалась вещими ленинскими словами:

> «Никогда не победят того народа, в котором рабочие и крестьяне в большинстве своем узнали, почувствовали и увидели, что они отстаивают свою, Советскую власть — власть трудящихся, что

отстаивают то дело, победа которого им и их детям обеспечит возможность пользоваться всеми благами культуры, всеми созданиями человеческого труда».

— Никогда! — хором отозвались воины. — Мы выстоим, победа будет за нами!

2

Оборону мы заняли на выгодных позициях. Основные силы расположились несколько поодаль от берега, а ближе к воде были выдвинуты боевые охранения со станковыми пулеметами. Пулеметчики держали под огнем всю поверхность реки на участке полка.

Вторую ночь после выхода к Дону я провел в первом батальоне. Утром, едва вернулся в штаб полка, расположенный в селе Машкино, как из-за угла вынырнул «виллис». Из машины вышли генерал Фирсов и двое незнакомых мне людей. Я бросил вопросительный взгляд на заместителя командующего.

— Докладывайте члену Военного Совета, — сказал генерал, показывая на корпусного комиссара.

Я доложил о состоянии полка, о занимаемых

позициях. Корпусной комиссар приветливо поздоровался со мной и стал расспрашивать о делах и нуждах полка. Отвечая, я смотрел на его чем-то знакомое лицо. Приехавший с ним бригадный комиссар, склонившись под капотом машины, делал пометки в блокноте. Корпусной комиссар отдал несколько распоряжений, называя фамилии отдельных армейских начальников, которых я еще не знал — ведь мы всего несколько дней были в этой армии. И вдруг я вспомнил: «Мехлис! Лев Захарович Мехлис!» Вот почему так поразило меня это лицо! Значит, Мехлис, бывший начальник ГлавПУРККА, теперь — член Военного Совета нашей 6-й армии!

Меня одолевали разные вопросы, но я не мог, конечно, задать их — Устав не разрешал. Я только смотрел то на депутатский значок, прикрепленный чуть повыше левого кармана темно-зеленой гимнастерки, то на пушистые седые виски, то в строгие глаза. Мехлис держался спокойно, хотя в его словах и чувствовалась какая-то нервозность. Объяснялась она, очевидно, положением на фронте и нерасторопностью людей, ответственных за обеспечение полка, получившего столь важную боевую задачу.

Докладывая, я не стал жаловаться на снабжен-

цев. Но на вопросы отвечал точно, не стараясь сгладить острые углы.

Выслушав меня и с минуту помолчав, Лев Захарович спросил:

— Газеты получаете?

— Второй день не доставляют, товарищ корпусной комиссар.

Мехлис сердито сдвинул брови:

— И вы считаете это нормальным? Как же можно в такое время людей оставлять без духовной пищи?

Я доложил, что сводку Совинформбюро мы принимаем по радио, размножаем на машинке и раздаем по подразделениям. А с газетами плохо.

— Кто был у вас из политотдела армии?

— Никто.

— А из политотдела дивизии?

— Они пока на старом месте.

— С продуктами как?

— Все есть, кроме хлеба. Поехали в тыл армии, но пока безрезультатно. Сами немного выпекли хлеба, но его еле хватит на сутки.

— Завтра все будет, а что удастся, доставим сегодня.

Наступила минутная пауза. Затем Мехлис, обращаясь к Фирсову, спросил:

— Как с артиллерией, Павел Андреевич?

— Артиллерии много, — ответил генерал. — Ночью подойдет еще дивизион «катюш». Дадим все. Самое главное, чтобы пехота крепко вкопалась в берег.

Вскоре Мехлис и генерал Фирсов уехали, а тем временем из третьего батальона вернулся Казакевич. Я подробно рассказал ему о беседе с Мехлисом и его обещаниях.

В ту же ночь армейские машины подбросили нам боеприпасы и продовольствие. Утром прибыла целая бригада работников политотдела армии. Они рассказали, какой разнос учинил Лев Захарович в политотделе армии из-за нашего полка. А через две недели приказом Мехлиса начальник политотдела дивизии был снят за то, что он редко бывал в подразделениях, мало общался с бойцами. Старший батальонный комиссар пытался было объяснить свое поведение сложностью и трудностью обстановки. Пробовал заступиться за него и Олейник, но Мехлис холодно отрезал:

— Для политработника, оторвавшегося от масс, нет оправданий. Провинился — отвечай по всей строгости.

Весь этот разговор происходил в политотделе дивизии, куда я был срочно вызван. Спор уже

был в разгаре, когда я доложил о своем прибытии. Мехлис кивнул мне половой, показывая на скамейку и давая понять, что я могу сесть. Но я не сел, так как все они стояли.

Спор, если можно назвать это спором, прекратился неожиданно. И Мехлис безо всяких вступлений спросил меня:

— Как воюет Красников?

— Неплохо, — ответил я, — на днях получил звание майора.

— Это хорошо, — сказал Мехлис и тут же спросил: — А сможет он командовать полком?

Я не сразу ответил, а он в ожидании уставился на меня.

— Командир он грамотный, смелый, но над ним нужен контроль.

— Комиссарский? — спросил Мехлис.

— И комиссарский, и вообще…

Видимо, зная слабую струнку заместителя командира полка, Мехлис спросил:

— Пьет здорово?

— Пьет как раз не здорово, — пояснил я. — Другой раз и от двухсот граммов голову теряет.

— Изведенный, — под нос буркнул Мехлис и, немного помолчав, добавил: — Ладно, подумаем.

Мне и в голову не пришла мысль о скором рас-

ставании с Казакевичем. Из слов Мехлиса можно было понять, что Красникова прочат в другую дивизию. Но как-то спустя несколько дней, когда к нам снова приехал Мехлис, Олейник, между прочим, сказал мне:

— Есть такое соображение — забрать от вас Казакевича. Как вы полагаете?

— Крайне нежелательно, товарищ комиссар, тем более сейчас, — ответил я.

— Ладно, подумаем, — повторил Олейник свою любимую фразу и на этом прекратил разговор.

Они уехали, а я, оставшись один со своими мыслями, стал перебирать в памяти биографию Красникова. Я знал, что еще в гражданскую войну он был у Мехлиса коноводом. Я напомнил Мехлису об этом во время одного из его приездов. И он захотел встретиться со своим былым сослуживцем. Действительно, оказалось, что они были старыми знакомыми. После «гражданки» Красников служил в кадрах, перед войной учился в Академии имени Фрунзе, имел звание капитана. В тридцать седьмом его арестовали якобы за хранение «контрреволюционной литературы»: нашли работы Тухачевского и Якира по военным вопросам. За три месяца до начала войны Красникова освободили. Он вернулся на родину — в

Курск и работал мельником. Когда фронт докатился до Курска, Красников вступил в народное ополчение и стал начальником штаба одного из батальонов. Во время боев за город Тим с этим батальоном он влился в наш полк. Красников побывал на военных курсах «Выстрел» и, вернувшись, был назначен заместителем командира полка по строевой части. К сожалению, страсть к «рюмочке» губила этого боевого командира…

3

В излучине Дона, где мы заняли оборону, бои шли каждый день. Противник неоднократно пытался форсировать реку. К вечеру, видя неудачу, немцы обычно отходили от берега на несколько сот метров, оставляя лишь боевое охранение.

…Кончался еще один из тех дней, которые кажутся томительно долгими. Бой уже затих, короткая июльская ночь накрыла Дон и оба берега.

С ординарцем Старковым мы застряли во втором батальоне. Я лежал на охапке сена в блиндаже комбата Середы. Не спалось, хотя от усталости ломило в ногах. Мучили мысли, тревожные, беспокойные. Почему нас преследуют неудачи? Результат ли это только внезапности вторжения?.. Может быть, дело в каких-то про-

счетах, ошибках?

Рядом беспокойно заворочался Середа.

— Не спится?

— Нет! — донеслось в ответ.

Я понял его. У всех на уме одно и то же. Люди думали. Они не могли не думать, ибо слишком много неожиданного несли с собою первые месяцы войны.

Я хорошо знал Григория Алексеевича Середу. Боевой командир, хороший тактик, он умел рассуждать с завидной ясностью. Ему не спалось, как и мне. И когда он заговорил, я не удивился. Это были обычные тогда вопросы, на которые так трудно было ответить.

Что значит внезапность? Неужели немцы сосредоточили на наших границах 170 дивизий за одну ночь, за неделю, пусть даже за месяц. Где же была наша разведка?

— Что же думали в верхах? Помните, товарищ комиссар, — сказал Середа, — перед самой войной ТАСС сделало даже специальное заявление о том, что слухи о передвижении немецких войск к нашим границам являются провокационными. Что же теперь скажут составители этого сообщения?..

Так и прошла ночь в тяжелых раздумьях.

Утром я позвонил в штаб полка. Акмаев сообщил, что Казакевич находится в первом батальоне и обещал вернуться к полудню. Я вызвал к телефону Правильщикова и поручил набросать донесение в политотдел.

— Если понадоблюсь, звоните в третий батальон, хочу заглянуть туда, — сказал я ему. — Меня просили побывать в девятой роте.

Третий батальон стоял во втором эшелоне, а его девятая рота занимала оборону, на стыке между первым и вторым батальонами. Худа и направились мы с ординарцем Старковым.

С утра было тихо: ни трескотни пулеметов, ни опротивевшего визга мин и снарядов, ни рева моторов в воздухе и на земле. Над широкой водной гладью висел густой утренний туман. Воздух сильно отдавал гарью, напоминая о вчерашнем жарком бое. Чем дальше удалялись мы от берега, тем ниже становился туман. Вскоре мы вышли из него, словно вынырнули со дна серовато-белого моря. Небо было почти чистое. Только прямо над нами неподвижно нависли редкие облака. Неожиданно из-за пенистого покрывала вынырнули два истребителя и закружились, наскакивая друг на друга.

Мы остановились. В небе шел бой. Описывая

петли, каждая из стальных птиц стремилась зайти в хвост другой. Резкий рев моторов прерывался короткими пулеметными очередями. Белые вспышки скользили по небу. Вдруг один из истребителей, кренясь на одно крыло, понесся на запад, оставляя за собой струю черного дыма. Другой же самолет, описав еще один круг, весело взмыл кверху и пошел на восток. На его крыльях мы отчетливо увидели красные звезды.

Совсем рядом в окопах раздались восторженные голоса:

— Вот он, наш соколенок!

— Молодец, дал гаду по морде. Пусть знают, что это не сорок первый год.

— Еще не то будет…

Мы направились прямо на эти голоса.

— Товарищ комиссар! Первое отделение девятой роты…

— …наблюдало за воздушным боем и не следило за землей, — улыбаясь, перебил я Захарина. Иван, довольный, пропустил мою шпильку мимо ушей и спросил:

— Вы тоже видели? Наш ястребенок здорово дал мессеру. В сорок первом они поджигали наших, как свечки, а теперь…

— Зачем хвастаешься, — каким-то чужим го-

лосом бросил Чолпонбай. — Один самолет сбили — это не война.

— Сбивают по одному, а наберется целая куча, — возразил Захарин.

— По одному будем сбивать, еще десять лет воевать будем.

Я пристально взглянул на Чолпонбая.

— Парень переживает, — поспешно сказал Захарин.

— Переживает, переживает, — с дрожью в голосе откликнулся Чолпонбай. — Почему не переживать?! Слыхал, что делается на юге? Немцы идут на Кавказ, скоро у Волги будут. Почему?

Я слушал Чолпонбая, и мне чудилось, что ночь не кончилась. Те же вопросы, то же волнение… Будто Чолпонбай был незримым свидетелем нашей беседы с Середой. Я не стал его перебивать. Хотелось «подслушать» мысли рядового бойца. А это были действительно размышления вслух…

— Не могу понять, — продолжал Чолпонбай, — почему так происходит, где главные силы, о которых говорил лектор из политуправления, наш Самсон говорил. Нас все время учили: пусть сунется враг, разгромим гада на его же земле. Что получается? Напали фашисты, разорили чуть ли не полстраны, идут дальше…

Сейчас уже трудно вспомнить его точные выражения. Но мысль была такая, и волновала она тогда не только Чолпонбая.

Говорил он трудно, то с паузами, то скороговоркой. Временами даже казалось, что он несколько заикается. Раз, не найдя подходящего русского слова для характеристики гитлеровцев, он употребил не очень изящный оборот, видимо, услышанный от друзей. При этом, заметив мой неодобрительный взгляд, извинился.

Я сидел лицом к Дону, мостиком перекинув ноги через узкий окоп. Чолпонбай переминался с ноги на ногу рядом, а справа скучились бойцы. Незаметно я поглядывал на их лица — было интересно уловить, как они относятся к речи Чолпонбая.

Не раз мне приходилось встречаться и говорить с этим застенчивым парнем. И всегда он был немногословным, не любил, если кто-нибудь из бойцов вел себя развязно. И вдруг… Я не узнавал Тулебердиева. И не я один. Товарищи тоже смотрели на него с удивлением и время от времени подавали знаки, недвусмысленно напоминая, что перед ним — комиссар. Но мне было не до служебных формальностей. Чолпонбай покорил меня своей откровенностью, тем, что по-детски

наивно выложил все то, что терзало его душу. В голосе Чолпонбая не слышалось боязни, одна лишь боль за наши неудачи на фронтах, большая тревога за судьбу Родины. И я готов был обнять его по-солдатски за то, что его юное, честное сердце в пору большой беды колотилось так учащенно…

Чолпонбай умолк. Краска прилила к его лицу, словно он чего-то устыдился. Молча, опустив головы, стояли солдаты. Им было неловко. То ли смутила самая речь товарища, а быть может, в каждом из них его слова родили смутный, еще не осознанный отзвук. Я знал: отмахиваться от таких вопросов нельзя! И, положив руку на плечо Чолпонбая, несколько приблизив его к себе, стал говорить спокойно:

— Ты выложил то, что тебя волнует, угнетает. В этой правде, в твоей тревоге и печали заложена и твоя решимость к борьбе, и вера в победу. Очень хорошо было бы, чтобы в эти тяжелые дни сердце каждого воина колотилось так гневно, как твое.

Да, на юге создалось тяжелое положение… Нам всем тяжело. Но надо уметь не падать духом… На войне возможны временные поражения. Но главное не это. Главное в том, что правда на нашей стороне и что наши народы сплочены и никогда не будут рабами немецкого фашизма…

Говорил я Чолпонбаю, а обращался ко всем бойцам. Я напомнил, что в сорок первом немец пошел на нас, наступая по всему фронту. Теперь у врага уже не те силы. Новое летнее наступление он начал только на одном направлении. На нашем Воронежском фронте дальше Дона немцам не удалось пройти. Они выдохлись и вынуждены еще больше сузить фронт своего наступления, бросив ударные силы на юг. Теперь наша цель — обрубить и этот клин.

Когда начнется общее наступление? Этого мы не знаем. Но по тысячам признаков чувствуется, что оно начнется… Только, чтобы приблизить это время, чтобы легче было остановить немцев на юге и разгромить их, мы должны здесь, на нашем участке фронта, не давать покоя врагу ни днем, ни ночью. Враг еще делает попытки форсировать Дон. Но ведь и мы можем зацепиться за тот берег…

Так примерно я говорил. А в заключение шутливо спросил:

— Ну, коли вы, не дожидаясь приказа Главного командования, решили наступать, так давайте подумаем о плацдарме на том берегу. Как выдумаете — нужен будет нам плацдарм для наступления?

— Конечно, нужен будет, — весело ответили бойцы. Повеселел и Чолпонбай.

— Ну, вот об этом нам и надо подумать. Сидя в окопах, конечно, не победишь.

— А разрешат нам переправиться на тот берег? — спросил Чолпонбай.

— Если спросить у немцев, конечно, они не разрешат.

Все рассмеялись.

— Если есть желающие сделать это без разрешения немцев, мы возражать не станем, наоборот, будем приветствовать.

В штаб полка я вернулся в полдень. За обедом рассказал Казакевичу о разговоре в девятой роте. Командир полка, задумавшись, сказал:

— Ты знаешь, комиссар, Тулебердиев честно сказал о том, что тревожит его. А другой может и не сказать. В трудные минуты такие сомнения иногда могут одолеть и сильного духом человека.

Казакевича, несмотря на его угловатый характер, бойцы любили за прямоту и отзывчивость, за то, что он любил солдат и уважал солдатскую честь. Командира полка часто можно было видеть в плотном кольце слушающих бойцов. И в эти дни, когда нас все сильнее захватывала идея

форсирования реки, Казакевич, бывая в ротах, часто заводил разговор с бойцами о будущем плацдарме, «прощупывал» их настроение. Потом он с восторгом рассказывал об этих беседах, о непоколебимом духе наших солдат, на которых, как он часто любил говорить, держится вся война.

Через день-два мы пришли к твердому мнению, что надо действовать, не дожидаясь, пока противник укрепит свой берег. Казакевич собирался ехать с докладом к Фирсову, но случилось так, что генерал сам прибыл к нам. Это было в конце июля.

Фирсов «с ходу» предложил нам отправиться с ним на передний край. Генерал хотел понаблюдать за вражеским берегом.

— Самая удобная позиция в девятой роте, — пояснил Казакевич. — Туда и днем можно подойти, и видимость оттуда хорошая. К тому же рота расположена на стыке двух батальонов.

— Что ж, поехали, — сказал Фирсов, садясь в машину.

Девятая рота третьего батальона стояла в двухстах, а местами в трехстах метрах от Дона. Дозоры ее находились у самого берега, где местность была непригодна для сооружения дзотов, блиндажей

и даже обычных окопов полного профиля: уже на глубине одного метра сочилась вода. Поэтому рота расположилась несколько выше, на более удобных для обороны позициях. Сюда можно было и днем незаметно подойти с нашей стороны, так как всюду были высокие заросли.

Командир роты лейтенант Антоков, увидев нас, быстро зашагал навстречу. Генерал Фирсов протянул ему руку и предложил сесть на траву. В это время к блиндажу Антокова подошли Тулебердиев и Захарин. Они шли от берега, где были в дозоре. Генерал подозвал бойцов.

— Сержант Захарин с дозора! — отчеканил Иван.

— Рядовой Тулебердиев!

— Ну, рассказывайте, что видели, — поинтересовался генерал.

— Против нашей роты на самом берегу реки у немцев нет никаких укреплений и даже окопов, — доложил Захарин.

— Они сидят дальше, — добавил Тулебердиев, — у раки держат боевое охранение.

— А точнее нельзя узнать, какая у него здесь оборона? — спросил Фирсов.

— Можно, — бойко отвечал Тулебердиев, — надо перебраться через реку и узнать. Мы несколько

дней говорим об этом.

— Я тоже об этом толкую, — в тон бойцам сказал генерал. — Не рискованно?

— Вся война держится не на редиске, а на риске, — по обыкновению сострил Захарин, но заметив пристальный взгляд Антокова, поспешно добавил: — Без риска дело не пойдет.

— Вот это правильно, сержант! — похвалил генерал. — Рисковать надо, но только с умом.

— Сейчас ночи темные, можно рискнуть, — заявил Тулебердиев.

— Ну что ж, спасибо за советы, друзья. Посмотрим, что скажут ваши командиры.

Потом, словно что-то вспомнив, он спросил Тулебердиева:

— Откуда родом? Не из Казахстана?

— Нет, товарищ генерал, из Киргизии.

— И давно воюешь?

— Три месяца.

— Был ранен, но не ушел из полка, — вставил слово командир роты.

Чолпонбай покраснел. Видимо, он боялся, что начнут подшучивать над его раной.

— Комсомолец? — спросил генерал.

— Нет еще, заявление подал.

— Он у нас на хорошем счету, смелый, отчаян-

ный. Настоящий разведчик, — снова похвалил комроты.

— Таких и надо принимать в комсомол, в партию, — сказал Фирсов и, повернувшись к Антокову, добавил: — Пусть идут отдыхать.

Генерал долго наблюдал за противоположным берегом. Там было сравнительно спокойно, и лишь время от времени появлялись дымки.

— Странно себя ведет сегодня противник. Словно его и нет там, — заметил генерал и, подумав немного, сказал: — А все же было бы неплохо зацепиться за тот берег.

— Надо, — ответил Казакевич. — Это было бы здорово.

Когда Фирсов уехал, все оживленно заговорили о посылке разведки на тот берег.

— Что ж, комиссар, давай обмозгуем, — сказал Казакевич. — Серьезное дело задумали. Только бы людей не загубить понапрасну…

— Сидя в блиндаже, ничего не узнаешь. Наши люди сами рвутся в дело. При таком настроении бойцов можно рассчитывать на успех.

— Ты не возражаешь, если пошлем Чулимова? — спросил Казакевич.

— Раз надо, какое может быть возражение.

— Сборную группу пошлем?

— Может быть есть смысл послать даже две группы, но под началом одного Чулимова.

Казакевич быстро согласился.

— В этом есть резон. Прикрытие обязательно должно быть — и для высадки, и на случай отхода.

4

Мы хорошо знали каждого, кого посылали в разведку на опасное и ответственное дело. Казакевич, просмотрев представленный Чулимовым список на 25 человек, вычеркнул двоих — Сафаряна, который накануне был слегка ранен осколком мины, но не ушел в тыл, и Ермакова, недавно прибывшего в полк. Это был крепкий здоровый сибиряк.

До прибытия в наш полк Ермаков служил в тыловых частях шофером. Однажды он попал в теплую компанию, хлебнул лишнего и ввязался в драку. Но это еще куда ни шло. Хуже было то, что он пьяный сел за руль и совершил тяжелую аварию, покалечив несколько человек. Его судил военный трибунал. Дали десять лет, которые заменили отправкой на фронт, на передовую. Он все время просил: «Пошлите на самое опасное дело, хочу смыть с себя позор, а то кончится война,

а я буду числиться в штрафниках».

Когда разведчики собрались на инструктаж, Чолпонбай, откозыряв по всей форме, обратился к командиру полка:

— Разрешите, товарищ подполковник, чтобы Ермаков с нами пошел. Он отчаянный, храбрый…

Тулебердиева поддержали Захарин, старший сержант Гусейнов, замполитрук Стрюков. Попросил и Чулимов. Казакевич вопросительно посмотрел на меня и потом приказал вызвать Ермакова. Минут через десять тот вбежал в помещение и взволнованно обвел глазами товарищей. Казакевич резко сказал:

— Ты видишь, каких орлов мы посылаем в разведку. Сливки полка. А ты…

Командир, видимо, хотел сказать, что он, Ермаков, не принадлежит к этим «сливкам», что у него есть темное пятно, но сдержался…

— …а ты, — закончил он, — надо полагать, не подведешь своих боевых товарищей.

— Не подведу, товарищ подполковник. Сибиряки никогда не подводили, — с жаром ответил Ермаков.

— Я тебя, откровенно скажу, не хотел посылать, рановато еще. Но товарищи твои просят, и комис-

сар их поддерживает.

При этих словах Казакевич мельком глянул на меня. Потом перевел взгляд на Ермакова. Кирпичный румянец на щеках этого сибирского крепыша, казалось, запылал еще ярче.

— Не подведу ни вас, ни товарищей, которые за меня ручаются, — уже тихо пробормотал Ермаков, вскидывая на меня взгляд удивительно чистых светло-голубых глаз.

Чолпонбай подтолкнул Захарина.

— Иван, знаешь, мы с ним земляки. Сибирь недалеко от нас.

— Скоро ты всех в земляки запишешь, — полушепотом ответил Захарин.

— Много земляков — хорошо.

— Очень хорошо. Только помолчи, а то замечание получим.

Перед выходом в разведку решили дать бойцам часа два отдыха. Для солдата это много времени. Другой раз подремлет с десяток минут и вскочит свеженький, будто всю ночь беспробудно спал.

В безлунную полночь от нашего берега отчалили лодки. Сначала отошла одна. Когда она достигла середины реки, тронулась вторая. Первой группой командовал младший политрук Шаламов, второй — старший сержант Гусейнов.

Стояла удивительная тишина. Только редкие немецкие ракеты да дальние глухие разрывы бомб напоминали о войне. Лодки скрылись в камышах. Вскоре световых ракет стало больше. Разведчики засекли самую близкую к берегу точку, откуда все чаще поднимались ракеты, и через заросли направились туда — было ясно, что это боевое охранение противника.

Решение было принято быстро: одна группа во главе со старшим сержантом Гусейновым и замполитом Стрюковым нападает на боевое охранение, другая во главе с младшим политруком Шаламовым прикрывает группу Гусейнова справа, откуда немцы могли подбросить подкрепление.

Прошло около двух часов, но ни один выстрел еще не нарушил тишины. До возвращения разведчиков я решил остаться на берегу у Сахиба Расулова, ставшего в эти дни старшим лейтенантом и принявшего восьмую роту. Пытался уговорить Казакевича, чтобы он поехал в штаб, отдохнул, но он не согласился. Мы оба, сильно уставшие, сидели с полузакрытыми глазами, но спать не могли.

Раздавшиеся вдруг винтовочные выстрелы и автоматные очереди заставили нас выскочить

из блиндажа.

Бой разыгрался немного раньше, чем мы предполагали. Как потом доложили, события развивались так.

Разведчики цепочкой осторожно двигались сквозь камыш. Все чаще бороздили темное безлунное небо немецкие ракеты и длинные очереди трассирующих пуль. Все сильней шелестел сухими листьями донской камыш, словно предупреждая об опасности, что ждала наших людей впереди. Но разведчики шли ей навстречу…

Внезапно застрочили автоматы и пулеметы, послышался визг мин. Видимо, почуяв неладное, противник открыл беспорядочный огонь. Наша артиллерия ответила дружными залпами по минометным вспышкам. Чулимов приказал группе Шаламова обходить окоп, откуда неумолчно строчил фашистский пулемет. Шаламов, Трапезников, Аллахвердян и Волгин приняли на себя весь огонь противника, отвлекли его внимание. Фрицы подняли галдеж. Но в темноте им трудно было разобрать, что происходит, они стреляли наугад. Воспользовавшись темнотой, к вражескому окопу подобрались Гусейнов, Стрюков, Тулебердиев, Захарин, Ермаков.

Надо было подавить немецкий пулемет. Но так,

чтобы осколками гранат не задеть наших разведчиков, которые стали обходить слева вражеское боевое охранение. Чолпонбай пополз, попросив Захарина прикрыть его огнем. Он подобрался к окопу совсем близко и, когда оттуда засверкали новые очереди трассирующих пуль, приподнявшись, бросил гранату. Вместе со взрывом замолк и пулемет. Еще несколько прыжков — и разведчики с ходу прыгнули в основной окоп. Добив расчет вражеского пулемета, они устремились дальше, но тут в воздух взвилась ракета — сигнал Чулимова — «отходить на берег». Дальше задерживаться было рискованно. Поблизости послышался гул моторов. Видимо, немцы надумали пустить танки. Чулимов решил вывести людей из-под удара.

— Плохо! — вырвалось у Тулебердиева, когда он увидел сигнал об отходе. — Ни одного живого фрица не взяли.

— Ничего, зато тут достаточно мертвых.

Разведчики стали отходить к берегу, где их ждали лодки.

В этой операции несколько человек было ранено. В схватке Стрюкову показалось, что кто-то горячим шомполом проколол ему мякоть левой ноги. Он тогда не обратил на это внимания, но

теперь почувствовал, что нога начинает ныть. Более тяжелой оказалась рана Аллахвердяна. Пуля угодила чуть выше ступни. Он не мог даже двинуть ногой.

— Что с тобой, Вартан? — спросил Гусейнов, подбегая к Аллахвердяну.

— С ногой плохо, Али, будто отрезали ее.

— Держись за меня, — сказал Гусейнов, подставляя плечо.

К ним подбежал Чолпонбай.

— Давай я помогу. Давай, друг, на спину, так удобнее.

Не обращая внимания на свист пуль и разрывы мин, Чолпонбай вынес Вартана на берег и уложил его в лодку.

Разведчики вернулись без «языка», но с ценными для нас данными. Удалось точно установить, что у берега противник еще не построил оборонительных сооружений, местность не была заминирована. Видимо, на этом участке немцы намеревались форсировать реку.

Выслушав рапорт разведчиков, Казакевич похвалил их за удачную вылазку. У всех были веселые, оживленные лица. Только Чолпонбай хмурил густые брови, стоял в стороне.

— Что не весел, Тулебердиев? — спросил ко-

мандир полка.

Чолпонбай исподлобья взглянул на Казакевича.

— Пленного не взяли.

— Пленный, конечно, не помешал бы. Но цель вылазки была другая. Главное, что прощупали передний край противника. Считаю, что вы хорошо выполнили эту задачу и принесли ценные сведения.

— Что же касается «языка», — добавил я, — то теперь Чолпонбаю известно, где его брать…

Рано утром мы с Казакевичем были на докладе у генерала Фирсова. Он остался доволен результатами разведки, но так же, как и Тулебердиев, пожалел, что не удалось взять пленного. Генерал сообщил, что наша дивизия выходит на передовую и полк снова вступает в подчинение своего командования.

На другой день в полк приехал Фирсов и заместитель командира нашей дивизии полковник Баксов.

— Военный совет доволен действиями полка, — снова похвалил нас генерал. — Сейчас перед вами ставится ответственная задача — форсировать Дон одним батальоном и во что бы то ни стало закрепиться на западном берегу. Какой батальон

пойдет, решайте сами.

— Видимо, капитана Москвитина, — сказал Казакевич. — Во втором и третьем у нас много молодых бойцов, они еще не обстрелянные.

— Тогда вызовите Москвитина и Саенко, — распорядился Баксов. — Пусть поторопятся.

До их прихода полковник расспрашивал о делах полка.

— Марку горьковчан вы держите крепко, — похвалил Баксов. — Это радует командование дивизии.

Нашу беседу прервал приход командира и комиссара первого батальона. Мы тщательно разобрали боевое задание, потом пошли в первый батальон. Решили поговорить с коммунистами. К нашему приезду за большим кирпичным зданием бывшей церкви собралось человек тридцать. С коротким докладом выступил Казакевич. Потом говорили коммунисты. Выступления были короткие — всего по три-четыре минуты. Но сколько уверенности, решительности и воодушевления чувствовалось в словах каждого!

Затем было оглашено обращение командования полка к воинам первого батальона. В нем выражалась уверенность, что храбрые воины батальона с честью выполнят ответственную

задачу и впишут новую славную страницу в боевую историю полка и всей Горьковской дивизии. Заканчивалось обращение словами:

> «Смело и бесстрашно перешагнем через тихую и многоводную русскую реку и отвоюем кусочек советской земли на западном берегу Дона. Будет плацдарм, будет трамплин для наступательных боев, которых мы ждем с нетерпением. Коммунисты, комсомольцы, беспартийные большевики первого батальона — вперед! За Дон! Таков приказ партии, матери-Родины».

Получив текст обращения, коммунисты разошлись по ротам. Казакевич уехал к артиллеристам, а я пошел по окопам и блиндажам. Здесь уже оживленно обсуждали предстоящую операцию. Ее большая идея зажгла людей. Но в первой роте я обратил внимание на лезгина Джанавова, который был явно в пасмурном настроении. Он еще ничего не знал о готовящемся прыжке на ту сторону реки. На мой вопрос, чем он озабочен, боец ответил:

— Как же, товарищ комиссар, немец на Кавказ пошел. Плохи наши дела. В нашем ауле скажут:

«Джанавов плохо воевал и врага до наших гор допустил».

— Но кто же виноват? Мы ведь и подпустили.

— Конечно, сами виноваты. Больше их надо резать здесь, тогда они дальше не пойдут.

— Верно ты говоришь, Джанавов. То же самое сейчас говорят наши бакинцы, мои земляки из Нагорного Карабаха, русские с Волги, казахи, киргизы. И если мы здесь будем бить и уничтожать фашистов, то раненый зверь истечет кровью на берегах Дона.

Джанавов ободрился, узнав о предстоящей операции.

К вечеру в батальон приехал и Казакевич. По берегу небольшой речки Хворостань мы с ним направились к стыку первого и третьего батальонов, где переправлялись наши разведчики. Еще засветло осмотрели местность. Судя по всему, противник не заметил оживления на нашем берегу. Значит, наш удар будет неожиданным.

Переправу начали поздней ночью. И только тут немцы спохватились и начали обстреливать район переправы. Снаряды и мины падали вокруг первой лодки. До берега оставалось всего метров двадцать, как вдруг почти одновременно грохнули в воду две мины. Лодка перевернулась,

и два бойца, видимо, не умеющие плавать, начали тонуть. Сержант Гусейнов был отличным пловцом. У себя в Баку он не раз участвовал в соревнованиях по плаванию. Заметив тонущих, он немедленно кинулся к ним. Поддерживая то одного, то другого, он помог солдатам выбраться на западный берег. Вынырнули и остальные. Все обошлось благополучно, только двое были легко ранены, да все вымокли до нитки. Но было не до такой мелочи.

Бойцы по приказу Гусейнова тут же заняли оборону, чтобы обеспечить подход других лодок.

Обстрел то усиливался, то затихал. Непрерывно взлетали немецкие ракеты. Возможно, противник посчитал, что снова действует наша разведка, и не стал контратаковывать танками. К тому же низменность, покрытая кое-где густым камышом, мелким кустарником, нескошенной травой, с неглубокими заболоченными озерцами была проходима для пехоты, но затрудняла действия танков, особенно ночью. Мы на это и рассчитывали, когда выбирали район высадки первой группы.

Уничтожив боевое охранение врага, батальон к утру закрепился в узком коридоре. За ночь бойцы окопались, заминировали наиболее танкоопас-

ные места, выставили специальные группы истребителей с противотанковыми ружьями и гранатами.

Бой продолжался до утра. Не спал и весь левый берег, поддерживая огнем первый батальон. Бойцы девятой роты находились у самой воды и с минуты на минуту ждали приказа переправляться на лодках. Но Москвитин пока не требовал подкрепления. Он не хотел, чтобы отвоеванный узкий коридор был густо забит людьми. Это могло привести к большим потерям.

В ожидании команды многие бойцы девятой роты умудрились даже задремать. Но Чолпонбай до самого утра не мог сомкнуть глаза. Он рвался на тот берег, где уже однажды был с разведкой и где сейчас дрались его однополчане. Взглянув на Ивана, который еще несколько минут назад сыпал своими шутками да прибаутками, а потом в один миг заснул, Чолпонбай ласково и с дружелюбной завистью бросил:

— Счастливый человек, спит, как ребенок в колыбели.

— Нервы крепкие, брат, — заметил Бениашвили. — Это на фронте великое дело — уметь в свободную минуту отдохнуть. Посмотришь, какой он встанет свеженький, — прикажи ему

— и вплавь реку форсирует. А кто отдыхать перед боем не умеет, у того нервы могут сдать…

Только перед самым рассветом, когда уже стало ясно, что подкрепления пока не понадобится, девятую роту отвели на прежнюю позицию. Чолпонбай сейчас же заснул крепким, безмятежным сном.

Утром 31 июля началась артиллерийская дуэль. Она продолжалась больше часа. Вскоре противник повел наступление. После выхода наших войск к Дону это был один из самых тяжелых дней. Враг не хотел смириться с тем, что мы смело отбили кусок советской земли на западном берегу реки. Гитлеровцы точно взбесились и решили немедленно ликвидировать плацдарм, «искупать нас в Дону», как они писали в своих листовках, и форсировать реку на наших плечах.

Против одного нашего батальона противник двинул до двух полков пехоты. Черной тучей двинулась она со стороны Селявного и Титчихи и леса, раскинувшегося между ними. Немецкие войска полукругом охватили небольшой плацдарм.

Сильный бой разыгрался в воздухе. «Мессершмитты» гонялись за штурмовиками, которые в свою очередь охотились за фашистской пехотой

и танками. Наши истребители завязывали воздушные бои с мессерами. Артиллерийская дуэль продолжалась с неослабевающей силой.

На командный пункт полка приехал генерал Фирсов.

— Мин и снарядов не жалеть! Дайте почувствовать пехоте, какая сила стоит за ее спиной, — приказал он, вызывая к телефону командира артиллерийского полка и командира дивизиона реактивных минометов.

Но противник лез, вводя в бой все новые и новые силы. В бинокль отчетливо было видно, как ползет пьяная фашистская нечисть. Укрываясь за танками, немцы веером, «с живота» строчили из автоматов, стремясь посеять панику. Часть танков обрушилась на первый батальон. Отец и сын Зыкалины, удобно примостив свой ручной пулемет на бруствере свежевырытого окопа, вели шквальный огонь по пехоте противника, стараясь отсечь ее от танков. Несколько бронированных чудовищ стали кружиться перед полосками болот. Они искали обходные пути, чтобы прорваться к берегу. Создалось критическое положение. Фирсов снова вызвал авиацию. Наши ИЛы на бреющем полете пронеслись над танками и цепями противника. Пока самолеты

делали новые заходы, раздались залпы катюш. Развернул свои батареи и подошедший артиллерийский полк дивизии. Серюгин и Олейник, только что прибывшие из второго эшелона, немедленно направились к нам.

Земля в излучине Дона бурлила, как гигантский котел. Пламя пожарищ окутало всю округу, поползло далеки на север и юг. Непрерывно атаковывали танки. Некоторым удалось прорваться в расположение батальона Москвитина, но тут два из них подорвались на минах, три забуксовали в заболоченных низинах. Их тотчас же подбили бронебойщики. Только двум удалось вклиниться между первой и второй ротой. До самого берега они не дошли, однако почти вся первая рота, которая удачно контратаковала противника и сильно вклинилась в его оборону, оказалась отрезанной от батальона. И все же она не отступила, удержала завоеванный рубеж.

Мощным заградительным огнем артиллерии и реактивных минометов, налетами наших славных соколов, мужеством и храбростью воинов полка, и прежде всего первого батальона, наступление противника было сорвано. Свыше двадцати покалеченных танков, сотни убитых солдат и офицеров — вот чем поплатился про-

тивник за свою первую попытку ликвидировать плацдарм. Самая опасная атака была отбита.

День был тяжелый, изнурительный. Тем не менее все воины, даже тяжелораненые, облегченно вздохнули. Одержана первая крупная победа в излучине Дона! Она окрылила нас, подняла боевой дух.

Мы не заметили, как начало темнеть. Бой затихал, будто уходя куда-то в глубь земли. Перед наступлением темноты неожиданно прервалась связь с первым батальоном. Прошло больше часа, но связаться с Москвитиным все не удавалось. Мы очень беспокоились, особенно о первой роте. Я собрался идти в батальон, как вдруг подкатил «виллис».

Это приехал Мехлис. Он был возбужден.

— Первая победа одержана, теперь надо ее закрепить, — сказал он, поздоровавшись с нами.

Но узнав, что с первым батальоном нет связи, тут же приказал:

— Немедленно выяснить, что там делается, ведь люди целый день пробыли под раскаленным металлом. Нужна помощь, надо их подбодрить.

Я ответил ему, что лодка стоит наготове, и мы с Казакевичем отправляемся на тот берег. Мехлис одобрил наше решение. Мы направились к бере-

гу. Пока переправились и разыскали Москвитина и Саенко, связь восстановили. Чувствуя, что мы не скоро сумеем вернуться обратно, я позвонил командный пункт, чтобы доложить начальству обстановку на плацдарме. Серюгин, выслушав меня, предупредил:

— Подождите, может быть он сам хочет говорить.

«Он сам» был, конечно, Мехлис. Действительно, член Военного совета еще не уехал. Через мгновение в трубке раздался голос Мехлиса. Я доложил ему, что настроение у людей боевое, потери не очень большие, раненых много, но все легкораненые отказываются эвакуироваться и остались в строю. Сообщил также и о положении первой роты.

— Передайте всем бойцам, командирам и политработникам благодарность Военного совета армии, — донесся из телефонной трубки голос Мехлиса. — Приказ получите завтра. К утру вышлите подробное донесение. До свидания!

Я положил трубку, и мы с Казакевичем пошли в роты. Люди очень устали, но от чрезмерного напряжения не могли заснуть. Передали бойцам, что Военный совет доволен действиями полка и всему личному составу объявлена благодар-

ность.

— Артиллеристов надо благодарить. Если бы не они, нас бы в порошок перемололи, — сказал Алексей Зыкалин. Он был легко ранен и очень сожалел, что не оказался с первой ротой.

— Хорошая идея, — поддержал я Зыкалина. — Может быть, письмо напишем от пехотинцев?

— Это замечательно! — воскликнул Казакевич. Он умел по-детски увлекаться делом, которое приходилось ему по душе. — Надо написать его сейчас же, утром отправим.

Когда по цепочке передали, что есть предложение послать артиллеристам благодарность за крепкую поддержку и отличное взаимодействие, отовсюду ответили: «Верно! Ура артиллеристам!»

Отправив разведку, чтобы установить связь с первой ротой, мы вернулись на берег. Примостившись в наспех устроенном жиденьком блиндаже Москвитина, взялись сочинять письмо. Саенко достал из планшетки ученическую тетрадь. В нижнем левом углу ее виднелась лохматая дырочка — днем пуля чуть не сорвала планшетку. Саенко вырвал листок, посмотрел на просвет и с улыбкой сказал:

— Почти готов для скоросшивателя, лист уже

продырявлен. Ну, начнем.

Через несколько минут он прочел:

> «Примите нашу пехотинскую благодарность за такую дружбу. Если мы так будем взаимодействовать и дальше — мы непобедимы. Вы хорошо и умело пользуетесь оружием, выкованным нашими земляками горьковчанами…»

Неожиданно в районе первой роты послышались частые выстрелы — автоматные и винтовочные. Вскоре сообщили нам, что разведка вернулась ни с чем: немецкие танки держали под огнем весь этот участок Дона.

Из штаба позвонил Акмаев и сообщил, что в районе первой роты кто-то кричал через реку: «Пока держимся, но «картошка» на исходе!»

— Значит, с боеприпасами плохо, — взволнованно произнес Казакевич. — Надо что-то предпринять. — Подумав с минуту, он спросил: — А может бросить туда девятую?

Но сделать это было рискованно. Мы не знали точного расположения первой роты. Немецкие танки находились где-то недалеко от берега. Ночью вызвать на них огонь — бесполезно и рискованно. Первая рота сама может оказаться

под ударом. Надо было найти какое-то другое решение. Лучше было бы переправить девятую на рассвете, так, чтобы к утру она могла окопаться и подготовиться к атаке.

В конце концов решили атаковать утром, чтобы не дать противнику закрепиться.

— Но продержится ли до утра первая? — вдруг усомнился Казакевич.

— Думаю, что да, — сказал я. — Народ там крепкий, бывалый.

Казакевич позвонил Акмаеву и приказал готовить к переправе девятую. Когда наша лодка причалила к левому берегу, Антоков доложил о готовности роты.

— Приступайте! — распорядился Казакевич. — Время не терпит.

Первым подошло отделение Захарина. За командиром шагал Чолпонбай. Увидев меня, он тихо что-то сказал Захарину. Тот мотнул головой и буркнул: «Опосля!» Отделение подошло и остановилось у самой воды.

— Задачу разъяснили? — спросил я Захарина.

— Так точно, товарищ комиссар! — браво ответил он. — Чолпонбаю знакомы эти места, ему и карты в руки.

— Выручим своих, обязательно выручим! — го-

рячо проговорил Тулебердиев.

Переправились быстро, без суеты. Рота с несколькими противотанковыми ружьями выдвинулась на левый фланг, заняла оборону фронтом к прорвавшимся немецким танкам, отделявшим от нас первую роту.

Отделение Захарина заняло оборону у самого берега. Перед рассветом стоявший на посту Чолпонбай услышал шум и всплески воды на реке. Он разбудил Захарина, а тот еще двух бойцов, и все вместе они стали прислушиваться.

— Даю голову наотрез, это наши выходят, — воскликнул Иван. — Передай по цепочке, чтобы не стреляли без команды.

Иван и Чолпонбай спустились к воде. Оттуда хорошо просматривалась поверхность реки. В едва начинавшемся сереньком рассвете они заметили движущиеся к берегу фигуры. Люди брели по пояс в воде, держа поверх голов автоматы. Вдруг они остановились и стали осматриваться.

— Наши! — радостно шепнул Захарин.

— Свои! Идите, идите, — сложив рупором руки, вполголоса крикнул Чолпонбай.

Но тут же взвились немецкие ракеты, затрещали пулеметы. Стреляли из танков. Черные фигуры еще больше погрузились в воду и то-

ропливо двинулись вдоль берега. Через минуту они зашлепали по прибрежной грязи навстречу нашим бойцам.

Захарин и Тулебердиев, протянув руки, помогли им выбраться на берег. Это были посланцы первой роты — коммунист Джанавов и комсомолец Николай Чалов.

Наконец-то мы получили точные и подробные данные о положении первой роты! Как оказалось, немецкие танки, отрезав ее, держали под огнем все пространство между ротой и батальоном и простреливали реку на этом участке.

Днем рота понесла большие потери. Вышли из строя командир и политрук роты и почти все взводные командиры. Остался только один младший лейтенант, который и руководил боем. Противник вновь пошел в атаку. Два немецких танка стали прямой наводкой бить по расположению роты. Разрывом снаряда был смертельно ранен и младший лейтенант. Когда к нему добрался старший сержант Гусейнов, он уже медленно сполз в окоп. Шевеля губами, младший лейтенант еще пытался что-то сказать… Смерть командира вызвала минутное замешательство. И именно в эту минуту бойцы услышали решительный голос старшего сержанта Али Гусейнова:

— Ни шагу назад! Стоять будем насмерть…

Гусейнов принял на себя командование ротой, и воины продолжали неравную борьбу. Решено было биться, пока не придут свои. Бойцы были уверены, что помощь близка. На всякий случай Гусейнов послал Джанавова и Чалова с донесением.

Теперь уже нам, зная точное расположение первой роты и противника, можно было действовать. Удивило нас поведение немецких танкистов: машины вели огонь с одной позиции. Можно было полагать, что танки завязли и без тягача не смогут вылезти.

Чуть свет немцы снова начали артподготовку и попытались пойти в наступление. Однако оно захлебнулось в самом начале. Часто и точно била наша артиллерия. Один за другим следовали залпы катюш. Пехотинцы с восторгом говорили: «Вот как отвечают на наше письмо артиллеристы!»

Рота Антокова готовилась к атаке. Командир мудро решил сначала покончить с застрявшими в болоте танками. К танкам он направил группу самых отважных бойцов с противотанковыми ружьями и гранатами. Проводниками пошли Чалов и Джанавов.

Высокий, хотя уже изрядно побитый камыш

помог подобраться к танкам очень близко. Одну машину взяли на себя пэтеэровцы, к другой поползли Захарин, Тулебердиев и еще несколько бойцов из девятой роты. Когда пэтеэровцы вышли из камыша, перед ними заблестела вода. А несколько дальше, боком к ним, стоял немецкий танк. Лучше и не придумаешь! Через несколько минут раздались гулкие выстрелы. После четвертого патрона из танка повалил черный дым. Другой фашистский танк, круто повернув башню, сделал несколько выстрелов наугад. В ту же минуту подкравшийся Иван Захарин бросил под гусеницы противотанковую гранату. Но болото, видимо, ослабило взрыв. Фашистский танк зашумел мотором и даже попытался рвануться вперед. Приготовив вторую гранату, Иван приказал Чолпонбаю:

— Давай вместе, бросим сразу, сильнее будет. Раз, два… Бросай!

Танк вздрогнул и осел на бок, задрав тупой нос. Из башни выскочили танкисты. Захарин, Тулебердиев и остальные ударили по ним из автоматов и винтовок.

Гусейнов и его бойцы увидели, как загорелись немецкие танки, закричали: «Ура!» Антоков поднял бойцов в атаку и быстро вышел в расположе-

ние подбитых танков. Первая рота соединилась с батальоном. Мы быстро организовали группу бойцов, нагрузили их боеприпасами, продовольствием и двинулись по берегу.

Гусейнов встретил нас со слезами радости. Мы обнялись. Да, мало осталось людей из того бакинского маршевого эшелона, который под назад прибыл для пополнения дивизии. Сколько пролито крови, каких чудесных людей уже нет!

Еду и боеприпасы немедленно раздали бойцам. Обходя окопы, мы рассказали о том, что командование очень высоко ценит мужество и отвагу бойцов первой роты. Я немедленно отправил к Казакевичу связных с запиской, где предлагал возобновить атаку с двух сторон.

Командир принял мой план. Атака была стремительной и неожиданной. Противник, видимо, не рассчитывал, что уставшие, измученные защитники плацдарма в состоянии так яростно атаковать. Батальон Москвитина не только восстановил прежнее положение, но и несколько расширил плацдарм.

Узнав об успехе полка, генерал Фирсов приказал переправить на плацдарм одно из подразделений первой истребительной дивизии. Девятую роту отвели на левый берег.

К вечеру мы получили приказ Военного совета. За отличные боевые действия всему личному составу полка объявлялась благодарность. Военный совет выражал уверенность, что полк, в котором олицетворена боевая дружба советских народов, не только закрепится на отвоеванной у врага советской земле на западном берегу Дона, но и каждодневно будет расширять этот плацдарм, необходимый для дальнейших наступательных боев.

Приказ привез комиссар дивизии. Он сообщил также, что наше письмо артиллеристам прочитали на всех батареях. Еще утром к нам в полк приехала делегация артиллеристов.

Олейник далее рассказал:

— Обстановка на юге тревожная. Создалась угроза прорыва противника к Волге. Немецкое командование бросает туда огромные силы: танки, пехоту, авиацию. Есть данные, что противник снимает с нашего фронта отборные части и направляет их на юг. Наши оставили Ростов. Есть очень строгий приказ Верховного главнокомандующего. Наверное, через пару дней получим. Требуется решительно покончить с благодушием, с гнилыми рассуждениями, что, мол, страна наша большая и можно еще отступать. Ни шагу

назад! — таков приказ!

Олейник залпом выпил стакан воды, смахнул пот со лба.

— На нашем участке фронта появилась новая дивизия хортистской армии. Противник, видимо, хочет полностью очистить правый берег, чтобы помочь своим основным силам, наступающим на Волгу и Кавказ. Этого допускать нельзя. Мы должны расширить плацдарм, оттянуть на себя как можно больше сил, перемолоть, уничтожить их, тогда защитникам юга будет легче…

Когда Олейник закончил, я попросил разрешения немедленно вернуться в первый батальон и передать приказ Военного совета армии.

— Отправимся вместе, — сказал Олейник. — Я больше недели не виделся с Москвитиным, Саенко. Хочу поговорить с людьми…

Я хотел было сказать, что ему не следовало бы переправляться на плацдарм, но, зная характер Олейника, промолчал. Он страшно не любил, когда кто-нибудь начинал его «оберегать», хотя сам проявлял удивительную заботу о каждом подчиненном.

— Мужество и отвага — это неотъемлемые качества коммуниста в бою, — постоянно говорил Федор Иванович, — однако не значит, что под

каждый снаряд надо подставлять голову.

Переправились удачно. Правда, когда лодка уже перевалила половину реки, позади нас грохнуло несколько мин, но волны реки только подтолкнули нас вперед.

Я подробно рассказал Олейнику о героизме первой роты, о действиях бойцов Антокова и о подвигах Захарина, Тулебердиева и наших пэтеэровцев, уничтоживших два фашистских танка.

На правом берегу лодку поджидали бойцы Антокова возвращающиеся в свой батальон. Олейник тепло поздоровался с ними, поздравил их с боевым успехом и, обращаясь к Захарину и Тулебердиеву, которых он хорошо помнил, оказал:

— А вы настоящие герои! Комиссар рассказал, как вы подбили танк.

— Тут больше Тулебердиев отличился, товарищ полковой комиссар, — сказал Захарин.

— Зачем неправду говоришь?! — вдруг вспылил Чолпонбай. — Ты бросил первую гранату.

— Это верно, а потом от твоей гранаты танк дернул носом. Одним словом, ты молодец. Потом, что за дисциплина? Когда тебя хвалит начальство, надо стоять по стойке «смирно» и краснеть. — Захарин по обыкновению свел разговор на шутку.

Все засмеялись. Улыбнулись и мы с Олейником. Федор Иванович, который был настойчивым поборником строгой воинской дисциплины, в беседах с бойцами вел себя просто. Почти двадцатилетний опыт политработника помогал ему находить общий язык с каждым солдатом.

— Я считаю, что командир отделения прав, — сказал Олейник, — Захарин не зря хвалит вас, товарищ Тулебердиев. Вы хорошо зарекомендовали себя в бою и, пользуясь случаем, от лица службы объявляю вам благодарность.

Все подтянулись, а Чолпонбай, приложив руку к виску, четко произнес:

— Служу Советскому Союзу!

— И вам, товарищ Захарин, объявляю благодарность, — продолжал Олейник. — Я уже дал указание подготовить все, что нужно, для представления отличившихся в этих боях к наградам. А теперь желаю вам хорошо отдохнуть и подготовиться к новым заданиям…

Мы прошли в первую роту. В одном из окопов встретили Али Гусейнова. Олейник крепко пожал ему руку.

— Здравствуйте, товарищ Гусейнов! Командование очень довольно вами.

— Али — молодец, высоко держит честь нашего

Баку, — вставил я.

— Земляки?

— Да, товарищ полковой комиссар, Гусейнов — бывший бакинский строитель, один из ветеранов полка.

— Хороших людей послали бакинцы в нашу дивизию, — заметил Олейник.

Он долго беседовал с бойцами. Много говорил о Баку — цитадели интернационализма, подчеркнув, что бакинцы, сражающиеся в Горьковской дивизии, высоко держат славные традиции рабочего класса и партийной организации Баку.

Мы вернулись на восточный берег за полночь. По дороге Олейник спросил:

— Как вы намерены расширить и укрепить плацдарм?

У нас созрела мысль форсировать реку еще в трех-четырех километрах южнее, в районе сел Урыв и Селявное. Едва ли противник сможет даже предположить, что мы попытаемся форсировать Дон на участке, где берег с отвесной Меловой горой возвышается над низиной, покрытой камышами и густой зарослью. А имея уже два плацдарма, можно повести наступление с двух сторон и овладеть сильным опорным пунктом противника — Селявное.

Я подробно рассказал Олейнику о наших замыслах. Он выслушал меня внимательно, но ничего не сказал. В штабе Олейник расспросил Казакевича о деталях плана. Видимо, он его все же заинтересовал. Уезжая из полка, комиссар сказал:

— Посоветуемся с комдивом, с командармом и решим.

5

В те грозные дни наша дивизионная газета выходила с призывами:

> «Пора кончить отступление. Ни шагу назад!»
>
> «Немцы не так сильны, как это кажется паникерам!»
>
> «Стойкостью и упорством умножайте потери врага!»
>
> «На берегах Дона враг должен быть измотан и разбит!»

Меня и Казакевича срочно вызвали в штаб дивизии. Съехались все командиры и комиссары частей.

— Мы собрали вас, — начал полковник Серю-

гин, — чтобы ознакомить с приказом Наркома Обороны о тяжелом положении на фронтах, создавшемся в связи с наступлением немецко-фашистской армии на Кавказ, на Волгу и Воронеж. Некоторые части нашего Южного фронта без серьезного сопротивления оставили Ростов и Новочеркасск и этим покрыли свои знамена позором.

Серюгин «окал» и потому слово «позор» у него прозвучало особенно сильно.

Все фронтовики того времени помнят приказ № 227. К железной дисциплине, мужеству и отваге призывала Родина. Презренье трусам и паникерам! Ни шагу назад! Дальше отступать некуда! — таково было веление народа.

Страстно, взволнованно говорил Олейник:

— Приказ надо довести до каждого бойца, командира, политработника. Каждый, кому дорога Родина, кто ей предан и жизнь готов отдать за ее свободу и независимость, пусть поклянется, что он не пустит врага ни на шаг вперед.

Закончив совещание, Серюгин велел мне и Казакевичу остаться.

— С вами особый разговор, — сказал он. — Федор Иванович рассказывал о ваших планах. Мы поддерживаем. Командующий тоже одобрил.

Надо тщательно обсудить план операции…

Послышались недалекие разрывы: противник начал обстреливать село, где находился штаб дивизии. Комдив предложил перейти в блиндаж, и мы продолжали там разговор.

Было решено двумя батальонами форсировать Дон в районе Меловой горы, чтобы выйти в район Селявное и овладеть этим крупным населенным пунктом. Батальон Москвитина и подразделение первой истребительной дивизии, чтобы отвлечь внимание противника, должны были также начать наступление.

— На подготовку операции и переброску людей вам дается два дня, — сказал Серюгин.

— За это время сможете ознакомить людей с приказом Наркома Обороны, — добавил Олейник. — Проведите партийные собрания. И вот еще что, надо обратить особое внимание на политико-воспитательную работу среди воинов нерусской национальности. Напишите к ним на родину об их боевых делах. Можно зачитать эти письма перед строем. У вас многие командиры и политработники знают языки народов Кавказа и Средней Азии — Акмаев, Даниелян, Расулов, Кобелев, Джанавов, Яхтин, Эсенов… Есть и такие замечательные воины, как Тулебердиев,

Гусейнов, Сафарян, Метревели, Гилязетдинов, Гаспарян… — всех не перечесть. Пусть они почаще беседуют с бойцами, разъясняют на родном языке боевую задачу.

…Вернувшись в полк, мы, не теряя ни минуты, стали готовиться к партийному собранию.

Под вечер, на лесной полянке, вокруг небольшого, сколоченного из необтесанных досок стола, расселись на траве коммунисты. Их было человек сто. Открывая собрание, старший политрук Купцов назвал имена коммунистов, погибших в последних боях за Дон.

— Прошу почтить их память… — сказал он.

В один миг встали все и, крепко стиснув в руках оружие, минуту стояли молча, устремив взоры на Дон. В эти секунды у людей чаще бились сердца и в груди каждого жило страстное желание отомстить врагу за все, что он творил на нашей земле.

Я зачитал приказ. Каждая фраза его не говорила, а стреляла… Многие командиры, политработники и рядовые бойцы, — говорилось в приказе, — живут настроением о том, что наши средства безграничны. Это очень опасное настроение. Ведь наша территория — не пустыня. По ту сторону линии фронта остались наши отцы

и матери, жены и дети, братья и сестры. Там мы оставили металл и топливо, железные дороги, хлеб…

Коммунисты заговорили. Отовсюду слышалось:

— Докатились…

— Нет уж, больше ни шагу назад…

— В гражданскую тяжелее было, да выстояли.

— И сейчас выстоим, только дисциплина нужна, железная…

Я выступил с краткой речью.

— Если мы хотим спасти положение и очистить Родину, нужно установить строжайший порядок и железную дисциплину. Паникеров и трусов будем расстреливать на месте. Партия сказала: «Ни шагу назад!» Нашему же полку поставлена задача не только крепко закрыть Дон на этом участке, но и заставить врага податься назад. Командование решило расширить задонский плацдарм и занять всю излучину. Вести наступление с позиции, занятой первым батальоном, невыгодно. Это связано с большими потерями. Поэтому командование решило остальными подразделениями форсировать реку в районе Меловой горы, где противник не ожидает нас, и внезапным ударом овладеть Селявным. День и час наступления

будет объявлен особо. Первый батальон должен активными действиями привлечь внимание противника, оковать его основные силы…

Затем зашла речь о роли коммунистов в бою, о месте политработников в предстоящих боях.

После меня говорили Саенко, Середа, Акмаев, Даниелян, Джанавов, Казакевич.

— Сколько можно отступать? Стыд и позор, — заявил лезгин Джанавов. — Я много говорить не могу, по-русски плохо получается. А скажу так: надо уничтожить, истребить фашистов всюду и чем угодно: автоматами, гранатами, зубами, кинжалом. Только дальше пускать нельзя. Я заверяю, что коммунисты первого батальона с честью выполнят приказ командования.

Решение партийного собрания кончалось словами:

> «На зов партии «Ни шагу назад!» наш многонациональный полк, прошедший боевой путь жестоких испытаний, ответит новыми массовыми подвигами, не только устоит на занимаемых позициях, но и твердой ногой вступит на западный берег, чтобы создать надежный плацдарм для наступательных боев. Пусть это ста-

нет началом большого перелома... Мы верим, что он наступит...»

Коммунисты вернулись в свои подразделения и словно влили в ряды бойцов новую струю энергии и мужества. В ротах и батареях, в окопах и дзотах шли митинги, беседы. Секретарь партийного бюро полка Купцов докладывал:

— Никогда еще не было столько заявлений в партию и комсомол, как в эти дни.

Ежедневно поступали десятки заявлений, написанные в большинстве случаев карандашом, на тетрадных листках. Каждый хотел пойти в бой коммунистом или комсомольцем.

В девятой роте третьего батальона было много молодых воинов, прибывших в полк в один день с Чолпонбаем. Уже три месяца они участвовали в боях. Но что такое три месяца? В мирное время это один миг в жизни человека! Но на войне они зачастую равны годам. И Чолпонбай прошел этот срок с достоинством. Он побывал во многих боевых стычках, не раз рисковал жизнью. Теперь он и другие молодые воины той же роты — украинец Остап Черновол, грузин Серго Метревели, татарин Гайфулла Гилязетдинов и другие — подали заявление о приеме их в комсомол. Чолпонбай

попросил Захарина написать за него заявление.

— Нехорошо, если в моем заявлении будут ошибки, — сказал он Ивану, — ведь этот документ пойдет в Москву.

— Пиши по-киргизски, — бросил Захарин. — В Москве на всех языках читают.

— Нет, я лучше напишу по-русски, как Ленин писал, ведь я же вступаю в Ленинский комсомол. Ты только буквы исправляй, а я перепишу.

— Это можно, — согласился Захарин, — на каком хочешь пиши, главное, чтобы от сердца слова шли.

Комсомольское собрание состоялось пятого августа, когда батальон после ночного перехода сосредоточился в лесу, в двух километрах от берега Дона. Сергей Чулимов, ставший в эти дни помощником начальника штаба полка по разведке, приехал к Даниеляну для уточнения исходной позиции его батальона. Встретившись с Чолпонбаем и услыхав о том, что тот вступает в комсомол, Чулимов сказал:

— Ты бы сразу в партию подавал, уверен, что тебе отказа не будет.

Чолпонбай задумался.

— Товарищ капитан, — нарушил он молчание. — Я вспомнил Мамеда Сафарова. Он говорил

мне: оправдаешь — примем в комсомол, еще лучше покажешь себя — и в партию примем. Никогда не забуду его, хороший человек был.

— И он бы очень радовался твоим успехам. Ты прав, Чолпонбай, таких людей нельзя забывать. Значит, сегодня у вас собрание?

— После обеда.

— Ну, заранее поздравляю тебя с вступлением в комсомол, — протянул руку Чулимов.

...Между молодыми елями уселись комсомольцы девятой роты. Пришло и несколько коммунистов.

Комсорг стал читать заявления молодых бойцов. Тулебердиев с нетерпением ждал своей очереди. Наконец огласили и его заявление. Он встал навытяжку, крепко стиснул в руках автомат. Сказал торжественно и строго:

— Клянусь вам, товарищи! Не подведу вас, не посрамлю имя комсомола. Если понадобится, жизнь отдам за любимую Родину!

Он с трудом произнес слова «не посрамлю», которые услышал на митинге от старого солдата Алексея Зыкалина. Видимо, они нравились ему, и он хорошо уловил смысл этих древних выразительных русских слов.

Чолпонбая приняли в комсомол. За него голосо-

вали все — никто не сомневался в его храбрости и стойкости, в его беззаветной преданности Родине. Все верили Тулебердиеву и любили его. Но никто не мог знать, что уже на следующий день Чолпонбаю доведется подтвердить свою суровую клятву бессмертным подвигом и как раз на той горе, что возвышалась над противоположным берегом.

После собрания Чолпонбай решил написать письмо родным.

За этим занятием и застали его Захарин и Сафарян.

— Кому? — кивнув на недописанное письмо, спросил Сафарян, садясь рядом.

— Ясно кому, — ответил за него Захарин, — факт, девушке своей…

Иван покосился на тетрадный листок. Чолпонбай быстро сложил листок и сунул в карман…

— Чего боишься? — положил ему руку на плечо Захарин. — Не стану я читать. Я только хотел и от себя послать в ваше село… А может, ты не хочешь, чтобы после войны я приехал к тебе на шашлык, то скажи прямо. Тогда ты к нам приезжай — уху я тебе всегда сварю. Я, брат, свежую рыбу на крючке держу. Раз-два — и готово!

— Приезжай к нам хоть совсем жить, — заго-

ворил Чолпонбай, — наши места увидишь, не уедешь. А привет от тебя припишу…

— Чолпон, сколько у тебя родичей? — неожиданно спросил Иван.

— Сестер тоже считать?

— Конечно, и сестер.

— Братьев?

— А как же? — удивился Иван, — всех считай, всю семью. Большая она?

— Миллионов двести будет, — серьезно ответил Тулебердиев и тут же улыбнулся.

— Я же сказал, что из тебя хороший политрук выйдет, зря талант пропадает, — бросил Сафарян.

— А что, политруком быть неплохо, — быстро ответил Чолпонбай. — Политруки у нас смелые. Вот взять нашего: где бои, там и он. Капитан Чулимов из бойцов в политруки вышел и теперь самый первый разведчик в полку.

Долго еще сидели друзья за беседой, пока Меловая гора, торчавшая перед их глазами, не окуталась черной пеленой.

6

К полуночи батальоны заняли боевую позицию на берегу реки. В двухстах метрах разместился

новый командный пункт полка.

Перед нами возвышалась отвесная Меловая гора. Село Селявное с господствующей над всей местностью высотой немцы превратили в сильно укрепленный опорный пункт. На скатах высоты, в роще и на самой высоте противник имел много окопов, траншей, дзотов, огневых точек, местами появились даже проволочные заграждения.

Место это для обороны было выбрано не случайно. От села к реке здесь тянулись глубокие овраги, а между ними, как сказочный верблюд с несколькими горбами, возвышалась облысевшая Меловая гора. У самой реки она вдруг обрывалась, словно кто-то исполинским мечом рассек ее, чтобы она не преграждала русло реки. Широкой, причудливо изгибающейся лентой река делила фронт большой битвы.

Все было готово к атаке. Ждали лишь саперов с переправочными средствами.

— Часа два народ может отдохнуть, — сказал по телефону Серюгин, выслушав рапорт Казакевича. — С Федором Ивановичем подъедем к вам. Возможно, будет и Фирсов, а Баксов выезжает сейчас.

Шел четвертый час ночи, но саперов все не было. Нас все больше охватывала тревога. Откла-

дывать атаку было нельзя.

Единственной естественной защитой на нашей стороне был мелкий лесок, зеленой лентой окаймлявший берег Дона. Густое сплетение зарослей скрывало под невысокими кронами едва заметные прибрежные тропинки. Кусты и молодые деревья росли так тесно, что уже на небольшом расстоянии за ними нельзя было различить человека. У воды же местность была почти открытой, если не считать редких зарослей камыша.

…Время, казалось, неслось с невиданной скоростью. А нам хотелось, чтобы эта ночь длилась как можно дольше — пока не подоспеют армейские саперы со своими лодками и легкими понтонными мостами. Но они словно сквозь землю провалились.

Уставшие и измученные, мы с Казакевичем дремали. Вдруг раздался протяжный звонок телефона. Серюгин передал, что саперов задержал налет вражеской авиации, сегодня их ждать нечего. Но операция не откладывается.

— Будем проводить любой ценой. Немедля надо сформировать в каждом батальоне группы отличных пловцов. Подумайте о плотах, лодках. Действовать до рассвета. Жду Фирсова, приедем

вместе. Задача осложняется, но другого выхода нет. Готовьтесь! — с этими словами Серюгин положил трубку.

Казакевич приказал командирам и комиссарам всех подразделений немедленно начать подготовку групп, Там, где есть возможность, связать плоты.

Командир третьего батальона Даниелян решил на всякий случай разведать берег — нет ли где спрятанных рыбачьих лодок. Затем собрал оставшихся бойцов.

— Скоро начнет светать, — начал он, — саперы сегодня нам помочь не смогут. Но ждать нам нельзя. Мы должны начать переправу до рассвета. По показаниям пленных, немцы хотят любой ценой сбросить с западного берега наш первый батальон и ликвидировать плацдарм. На нашем участке враг не ждет удара, считает неприступными эти отвесные берега…

Внимательно слушая, комбата, Чолпонбай покосился на правый берег и усмехнулся. Друзьям не трудно, было его нанять — Чолпонбай видывал не такие горы и лазил по ним.

Даниелян еще продолжал напутствие, когда появился старший лейтенант Горохов.

— Товарищ комбат, — доложил он. — В камы-

шах найдена лодка. Но худая…

— Ничего, была бы лодка, подлатаем, — обрадовались Захарин и Бениашвили.

— Немедленно приступайте к делу! Через полчаса сообщите о готовности, — приказал Даниелян.

Захарин, Бениашвили, Тулебердиев побежали к лодке и с помощью других бойцов стали заделывать щели паклей и тряпками. Захарин опытным глазом сразу определил, что лодка поднимет 10–12 человек. Но где лучше начать переправу?

Командир роты, оборонявшей этот участок берега до подхода батальона Даниеляна, сообщил Антокову о своем предположении: недалеко от того места, где предполагалось высадить наших людей, есть немецкая засада.

— Нельзя ли поточнее? Где именно? — спросил Даниелян.

— Можно вызвать командира пулеметного расчета, он вел наблюдение.

Не прошло и десяти минут, как перед комбатом вытянулся среднего роста худощавый сержант с черными густыми, бровями и длинными ресницами.

— Кто тебе сказал, что там немецкая засада, чего ты панику наводишь? — укоризненно спро-

сил комбат, внимательно всматриваясь в лицо бойца, показавшееся ему знакомым.

— Мы наблюдали, товарищ старший лейтенант, сами засекли. Мы почти трое суток без смены на этом месте сидели, глаз не закрывали. Все видно, как на ладони.

— Видишь, какой глазастый, — несколько смягчившись, сказал комбат. — Откуда родом?

— Из Баку.

— Фамилия?

— Согомонян.

— Постой, постой, ты не учился в девятой школе?

— Учился… Я вас узнал, вы нам математику преподавали.

— Значит, мой ученик! Как же это я сразу тебя не вспомнил?! Не обижайся, на войне всяко бывает, — похлопал он по плечу бойца и, повернувшись к командиру роты, сказал:

— Вот что. Раз вы знаете, где засели немцы, я вам дам еще один пулемет. Если, действительно, засада там есть, то обезвредите ее, прикроете нашу переправу слева.

Берег, между тем, все больше напоминал огромный муравейник. Но люди делали свое дело бесшумно, быстро. Нам с Казакевичем не сиде-

лось. Решили пойти в третий батальон.

Шли по тропинке молча, мелкими частыми шагами, чтобы не споткнуться.

— Тяжело что-то на сердце… — вдруг проговорил Казакевич. — В успехе операции я не сомневаюсь, но людей можем потерять много.

— Да, людей жаль. Но другого выхода нет.

Я вспомнил слова командира дивизии: «Операция не откладывается». Серюгин произнес эти слова твердо, решительно. И мы знали: и он, и Олейник, и заместитель командира дивизии полковник Баксов хорошо понимают тяжесть и сложность предстоящей операции. Но другого выхода, действительно, не было. Отложи мы форсирование даже на день, враг опередит нас и сбросит в реку батальон Москвитина, который вот уже неделю героически удерживает клочок земли на Правобережье. И тогда все жертвы оказались бы напрасными.

Кроме того, с наступлением дня враг снова примется бомбить берега. И тогда тоже будут немалые потери. Возможно и весь план операции окажется под угрозой.

Обо всем этом мы с Казакевичем не обмолвились ни словом, но каждый отлично понимал другого. Я чувствовал, что командира волнует то

же, что и меня.

В батальоне Даниеляна нас обрадовали сообщением о найденной лодке. Казакевич тут же отправился поглядеть на нее. Я же решил поговорить с добровольцами, вызвавшимися первыми форсировать Дон. Их набралось больше сорока. В первой группе был Чолпонбай. Он стоял бодрый и веселый, хотя лицо его казалось исхудавшим, осунувшимся. Да и не мудрено — люди, которые сутки не знали нормального отдыха. Положив руку на его широкое плечо, я спросил:

— Как дела, Чолпонбай?

— Очень хорошо, товарищ комиссар! Выйдем на Меловую, тогда будут еще лучше.

— Настроение у него, как говорится, на все сто. Теперь с ним шутки плохи, он уже комсомолец, — бросил неугомонный и вездесущий Захарин.

— Поздравляю тебя, Чолпонбай, уверен, что будешь настоящим Павкой Корчагиным.

— Вы шутите, товарищ комиссар, Корчагин был большой герой, мне капитан Чулимов рассказывал.

— Нет, Чолпонбай, не шучу. На войне каждый может быть героем. А Корчагин, он ведь тоже простым комсомольцем был…

Связист позвал меня к телефону. Звонил Баксов.

Я доложил о наших планах. Полковник одобрил их, дал несколько советов и сказал, что скоро будет на переправе.

Подошли Казакевич и Даниелян. Командир полка был возбужден и явно доволен: нашли еще одну лодку.

— Можем, комиссар, кричать: «Эврика!» Правда, лодка требует ремонта. Но ничего, на безрыбье и рак рыба. Надо торопиться, уже светает.

Сообщив Казакевичу о приезде Баксова, я спросил:

— Кто поведет первую группу?

— Разрешите мне! — обратился Антоков. — Ведь больше половины группы из моей роты — Захарин, Тулебердиев, Шувакс, Бениашвили, Гилязетдинов, Черновол…

Мы не согласились. Роте отводилась главная роль при переправе и расширении плацдарма, и Антокову лучше было переправиться вторым рейсом… Возглавить группу приказали командиру взвода лейтенанту Герману. Но старший лейтенант Горохов стал доказывать, что его присутствие на том берегу крайне необходимо, что ему надо будет немедленно наладить телефонную связь.

— Разрешите мне возглавить группу! — сказал

он в заключение, выступив вперед.

Отказать? Миг я сомневался: не в нем, не в его мужестве. Просто думалось: уместно ли это сейчас? Ведь незадолго до этого Николай Горохов был снят с должности командира роты связи и переведен в третий батальон командиром взвода. Горохов был наказан за недостойное поведение некоторых его подчиненных. Но в его личном мужестве никто не сомневался.

Теперь он стоял рядом, а в глазах его читалась такая горячая просьба, что отказать было невозможно. Ведь он рвался на опасное для жизни, рискованное дело, а получалось, что мы выказываем ему — боевому товарищу — недоверие.

Казакевич исподтишка кивнул мне в сторону Горохова. Это значило — надо дать парню показать себя, посмотрим, как он рвется в дело!

Словно отвечая Казакевичу, я сказал:

— Тогда пусть Горохов и ведет группу. Я верю ему.

— Значит, мнения у нас совпадают, — откликнулся Казакевич и, повернувшись к комбату Даниеляну, распорядился: — Действуйте, опаздываем!

7

Начало светать. В утренних сумерках, когда еще с трудом можно было различить человеческие фигуры, от нашего берега отчалила первая лодка, в которой сидели одиннадцать смельчаков из батальона Даниеляна.

При низком тумане, который, казалось, плыл против течения реки, противнику не сразу удалось обнаружить нашу лодку. Веслами работали Бениашвили, Захарин, время от времени им помогал Тулебердиев. Все мы, затаив дыхание, следили за лодкой. Чем дальше смельчаки удалялись от нас, тем все больше они терялись в тумане. Еще несколько минут, и цель будет достигнута. Но вдруг в зыбкую тишину ворвались пулеметные и автоматные очереди с Меловой горы. Правый берег реки словно взбесился. Вокруг лодки вскипала вода от града пуль. С присвистом буравили утренний сыроватый воздух мины и снаряды. Артиллерийская канонада загремела и на нашем берегу. Залпы следовали один за другим. Это вызвало некоторую растерянность у немцев. Пулемет умолк, но не прошло и пяти-шести минут, как он вновь затрещал и, казалось, еще яростнее, чем прежде. Однако первой группе

повезло. Немцы ее обнаружили, когда лодка уже почти пересекла реку и очутилась в мертвом пространстве — вне поля обстрела. И когда днище заскрипело по прибрежному песку, Горохов скомандовал:

— Прыгать и врассыпную!

Вздох облегчения вырвался у нас, когда наши люди один за другим вылезли из воды и быстро укрылись в камышах. Этот участок берега из дзота не простреливался, а автоматчиков противника пока не было видно. Ну, а если враг начнет контратаку? Долго ли удержится горстка храбрецов? Туман рассеивался. Надо было действовать, не теряя ни минуты.

Нас тревожило еще одно: не заминирован ли берег? Но вот несколько наших смельчаков, выскочив из камыша, быстро перебежали узкую песчаную полоску, тянувшуюся между берегом и Меловой. Значит, мин нет.

А тем временем лодка уже возвращалась к нашему берегу. Со стороны казалось, что она идет своим ходом, без помощи людей. Оказывается, Захарин и Бениашвили тащили лодку, по горло погрузившись в воду. Вскоре от левого берега отчалили уже две лодки. Одной управлял Бениашвили, другой — Захарин. Несколько человек

пустились вплавь. Это окончательно взбесило гитлеровцев. Только теперь, видимо, противник понял, что мы ведем не разведку, а осуществляем более серьезную операцию. Ливень пуль и мин часто рябил водную гладь. Те, кто пустился вплавь, стали исчезать один за другим. Лишь двое добрались до противоположного берега. После разрыва крупной мины одна лодка перевернулась и нам показалось, что все в ней погибли. Но когда рассеялся дым, мы отчетливо увидели выползающих из воды бойцов. Двоих раненых они несли на руках… Захарин остался невредим, а Бениашвили отделался легким ранением. Когда товарищи предложили ему остаться на нашем берегу, он отмахнулся:

— Ничего, кацо, сделаю еще десяток рейсов, а там видно будет.

Горохов понимал, что больше ждать нельзя. Надо было прежде всего блокировать дзот на Меловой горе, который больше всего мешал переправе.

— Коммунисты и комсомольцы, за мной! — скомандовал он, будто здесь, в камышах, лежали многолюдные цепи, а не горстка храбрецов.

Первым поднялся Чолпонбай. Он рванулся навстречу вражескому дзоту с такой яростью,

словно хотел расчистить путь для того генерального наступления, о котором мы с ним еще недавно толковали.

Бойцы ползли с флангов, а Чолпонбай, сделав короткую перебежку, вместе с Гороховым стал карабкаться к подножию горы, к каменоломне. Сюда фашисты даже гранатами не могли достать. Чолпонбай встал во весь рост и помахал нам автоматом, словно сообщая о своем первом успехе.

В это время по лощине со стороны села Урыв на наших смельчаков двинулись фашистские автоматчики. Видимо, это и была та самая засада, о которой говорил накануне пулеметчик Согомонян. И он же первым открыл огонь по вражеским автоматчикам. Полковые орудия, поставленные на прямую наводку, тоже дали несколько залпов и разогнали немцев.

Огонь фашистских пулеметчиков и автоматчиков, засевших в дзоте на меловой сопке, усилился. Надо было подавить эти огневые точки во что бы то ни стало! Под сильным огнем Горохов, Герман и Тулебердиев начали взбираться по отвесным склонам высоты. Вот уже до вершины осталось совсем немного. Еще яростнее застрочили немецкие пулеметы. Сжав до боли зубы, мы следили за каждым движением Чолпонбая.

— Что он делает?! — не выдержал Казакевич. — Прямо на огонь лезет!

Чолпонбай отстегнул от ремня две гранаты и одну за другой швырнул их в амбразуру дзота. Раздались взрывы. Пулемет замолк. Тулебердиев, приподнявшись, махнул рукой, ободрил своих товарищей и бросился к дзоту. Но снова застрочил фашистский пулемет. Чолпонбай качнулся и упал в трех метрах от дзота. Видимо, он был ранен. Однако он тут же приподнялся и, собрав силы, сделал еще бросок вперед. Но снова упал.

— Чолпонбай! — крикнул Горохов и пополз к нему.

Чолпонбай собрал последние силы, что-то ответил командиру, но Горохов не разобрал его слов. Огромным усилием воли подняв отяжелевшее тело, Чолпонбай рванулся вперед и закрыл собой амбразуру дзота…

В крови героя захлебнулся вражеский пулемет, перестали строчить и автоматы. Воспользовавшись секундным затишьем, Горохов подскочил к дзоту. Фашисты штыками своих винтовок пытались оттолкнуть от амбразуры отяжелевшее тело героя. Горохов, а за ним Герман, Шувакс, Гилязетдинов, Черновол спрыгнули в ход сообщения и стали бить по фашистам в упор.

И все бойцы на левом берегу, не дожидаясь приказа, поднялись в атаку, разом бросились к реке и, кто вплавь, кто на лодках устремились вперед, на вражеский берег, туда, где лежало еще не остывшее тело Чолпонбая.

Этот бой навсегда запомнился всем нам яростью его участников, волею к победе. Меловая гора была взята!

По всему было видно, что это серьезно обеспокоило немцев. Они не могли понять, куда мы наносим свой основной удар, откуда грозит им наибольшая опасность. Растерявшееся немецкое командование бросало свои резервы то на один фланг полка, то на другой. Завязывались новые бои.

С высоты, западнее Меловой горы, немцы открыли фланговый огонь по нашей переправе. Однако командир второго батальона капитан Середа немедленно принял меры, чтобы блокировать эту опасную огневую точку. В разных местах через Дон пустились вплавь смельчаки. Один из них санинструктор Матвейчук быстро одолел реку и с автоматом и гранатой смело полез к пулеметной точке. Используя «мертвое пространство», Матвейчук подобрался к врагу так близко, что его граната легла как на ученье и

разнесла фашистский расчет.

Командир полка вызвал к телефону Середу:

— Немедленно переправь на западный берег весь батальон, обеспечь левый фланг Даниеляна, ему приказано развивать наступление на Селявное и идти на соединение с Москвитиным.

— Задача ясна. Разрешите выполнять?

— Торопись, — ответил Казакевич, — теперь успех полка зависит от действия твоего батальона.

На западный берег устремилась новая волна бойцов. Наступление развивалось с нарастающей силой. Вскоре в камышах и зарослях на левом берегу Дона стало почти пусто.

Через полчаса мы уже были на Меловой горе и стояли, обнажив головы, у тела Чолпонбая, бережно завернутого в плащпалатку. Чолпонбай лежал в том самом дзоте, амбразуру которого он закрыл своим телом.

Щемящее душу молчание нарушил Даниелян. Он протянул исписанный тетрадный листок и несколько вырезок из газет.

— Это мы нашли у Чолпонбая, — тихо произнес он.

— Хоронить будем завтра, после взятия Селявного, — сказал я, положив документы Тулеберди-

ева в планшетку.

— Хоронить будем со всеми почестями, — добавил Казакевич. — Он совершил бессмертный подвиг.

Наши цепи залегли северо-западнее Меловой горы. Противник беспрерывно атаковал нас, его танки появлялись то на одном, то на другом участке. День шел к концу. Люди были голодные, усталые. Но даже раненые оставались в строю, не хотели уходить в тыл. Каждый понимал — надо удержать позиции.

Сначала мы было решили продолжить наступление на Селявное. Но потом от этого намерения пришлось отказаться. Надо было за ночь закрепиться на новом рубеже, эвакуировать раненых, пополнить подразделения людьми, доставить боеприпасы.

Густая тьма постепенно окутала все вокруг. Теперь можно было обойти роты, поговорить с людьми.

Лейтенанта Ефима Антокова я застал в наскоро вырытом окопе на склоне возвышенности юго-восточнее Селявного. Он очень горевал о Чолпонбае.

— Хороший был малый, — сказал он мне усталым, словно мятым голосом. — Примером

служил…

— Тулебердиева будем представлять к званию Героя. Правильно будет зачислить его навечно в список роты. Комсомольский билет он еще не успел получить… Выпишем и пошлем в музей…

— А вы взгляните на партийный билет командира роты, — вставил комиссар третьего батальона политрук Кобелев. — Покажи, Ефим.

Антоков, смутившись, достал из кармана корпус покалеченных карманных часов и пробитый партийный билет.

— Скользнула пуля… Будто вторично родился… Теперь дважды в год придется справлять день рождения.

…На Меловую гору мы вернулись за полночь. Отдыхать пришлось мало. По всему чувствовалось, что противник готовится дать серьезный бой. Наблюдатели засекли большое движение войск в направлении излучины Дона. Значит, утром немцы непременно пойдут в наступление. Надо опередить их, не выпустить инициативы из своих рук. Генерал Фирсов подбодрил нас, сказав, что он собрал на этом узком, участке чуть ли не всю артиллерию армии.

— Держитесь крепко, большая сила стоит за вашей спиной, — говорил он. — Понадобится, и

авиация придет на помощь. Но плацдарм надо удержать, а для этого следует во что бы то ни стало овладеть Селявным.

Пока часть бойцов отдыхала, мы перебрасывали на западный берег продовольствие, боеприпасы, противотанковые орудия, эвакуировали раненых. Поближе к берегу подтянулись дивизионы наших славных катюш…

Бессмертие

1

Розовый диск солнца бросил первые слабые лучи на Меловую гору, где в дзоте лежало тело Чолпонбая. У входа в блиндаж лицом к утренней заре стоял часовой. Но не успело еще солнце подняться над горизонтом, как снова загремела, задрожала израненная придонская земля. Полк шел в наступление. Роты старшего лейтенанта Сахиба Расулова и лейтенанта Ефима Антокова первыми подошли к южной окраине Селявного. Противник открыл сильный огонь, бросил в контратаку до сорока танков. Пехотинцы вынуждены были залечь.

Казакевич приказал Москвитину усилить натиск на село Титчиха.

Шаг за шагом батальон шел к цели. Но вскоре там и сям раздавались взрывы — атакующие натолкнулись на сплошные минные поля. Передняя цепь бойцов залегла.

Артиллерия и катюши шквальным огнем заставили вражеские танки остановиться и затем попятиться. С бреющего полета наши ИЛы

расстреливали фашистские танки, нападали на колонны противника, идущие из глубины обороны.

Воспользовавшись этим, капитан Середа поднял батальон в атаку, но противник пока держался крепко. Атака не удалась. Залег и первый батальон.

И Саенко, и Москвитин понимали серьезность положения. Им надо было во что бы то ни стало занять село Титчиху, чтобы немцы не могли бросить свои главные силы против Даниеляна и Середы. Ведь наши только зацепились за берег и еще не успели закрепиться. Ясно было, что немцы пойдут сейчас на все, чтобы очистить плацдарм и сбросить нас в Дон.

Потом уже мне рассказывали, как развивалось наступление первого батальона.

Комбат решил сам поднять людей.

— Время не терпит. Пошли, — спокойно сказал Москвитин комиссару Саенко, поднимаясь во весь рост.

— Погоди! — решительно возразил Саенко. — Пойду с людьми я, а ты руководи боем. Нельзя оставлять батальон без командира.

С этими словами Саенко побежал вперед, к залегшей цепи.

— Самуил, — крикнул Саенко политруку первой роты Ошерову, — передай по цепи: готовиться к атаке.

Все поняли, что комиссар не зря залег в цепи, что готовится новая атака. Люди здесь уже знали о гибели Чолпонбая. Особенно больно ударила эта весть по сердцу старшего сержанта Али Гусейнова, с которым еще недавно Чолпонбай ходил в разведку.

— Эх, какой отчаянный, какой славный парень был, — сказал Али лежавшим рядом Зыкалину и Джанавову. — Ну, ничего, фрицы заплатят за каждую каплю его крови.

Над цепями раздался решительный голос Саенко:

— Коммунисты и комсомольцы, за мной! За партию, за Родину!

Он вскочил и бросился вперед, за ним поднялся весь батальон. В одной цепи комиссар, коммунисты и комсомольцы прокладывали путь наступавшему батальону через минные поля. Тут и там раздавались взрывы мин. Люди падали раненые, искалеченные, мертвые. Но Саенко бесстрашно шел вперед. И, казалось, что погибшие продолжали жить и сражаться. Было пройдено почти все минное поле. Но вдруг под ногами ко-

миссара раздался глухой взрыв, и Саенко упал, с оторванными ногами. На миг позабыв, что делается вокруг, к нему бросился капитан Москвитин. Взяв в объятия умирающего комиссара, комбат глухо всхлипнул, но ничем уже не мог помочь… Саенко еле слышно прошептал:

— Вадим, мой друг! Дерись до последнего… За родную Украину… А я… умираю…

Молнией облетела бойцов весть о гибели комиссара Саенко. Узнал об этом и лезгин Джанавов. В цепи услышали его гневный голос:

— Джанавов плакать не будет! Джанавов мстить будет!

Лавиной ринулись бойцы в атаку, и впереди их шли молодой коммунист Джанавов, ветеран гражданской войны Алексей Зыкалин с сыном, старший сержант Гусейнов, рядовой Гаспарян… Вскоре батальон ворвался в сильно укрепленное село Титчиху. Но немцы начали яростно контратаковать. На правом фланге батальона неумолчно работал пулемет Зыкалина. Бывалый солдат хоть и был ранен, но не ушел в тыл, остался в строю и теперь мужественно отбивал одну за другой контратаки немцев. Несколько фашистских молодчиков пытались подкрасться к отважному пулеметчику. Зыкалин предупре-

дил сына:

— Смотри, Саша, нас могут обойти, следи…

Зыкалин-младший заметил фашистов, пытавшихся подобраться к нашему пулемету. Приготовив гранаты, он выжидал. «Пора», — подумал про себя Александр и одну за другой бросил в цепь вражеских автоматчиков две гранаты. Несколько врагов было разнесено в клочья, а остальным пришлось убраться…

Не зная, куда мы наносим главный удар, немцы стали оттягивать свои силы. Казакевич приказал Даниеляну и Середе начать новую атаку.

Даниелян, положив трубку, поднялся и снял фуражку. Бойцы хорошо знали эту привычку своего комбата. Увидев комбата с обнаженной головой, все сразу поняли, что начинается новая атака. По цепочке понеслась команда готовиться к атаке.

На решающем участке наступала восьмая рота. Ее потери при переправе были незначительны и, сохранив свою боеспособность, рота ближе других подошла к окраинным домам Селявного. Командир роты старший лейтенант Сахиб Расулов был одним из ветеранов полка.

— Девятая рота овладела Меловой, седьмая развила ее успех, а наша должна первой ворваться в Селявное, — объяснил задачу роты своим бойцам

Расулов.

Сахиб был мягким по натуре и даже несколько застенчивым человеком. Но дисциплину в роте умел сохранять крепкую. Его любили все, и никто никогда не осмеливался вступить в пререкания с командиром. Во взгляде его черных глаз, спрятавшихся под густыми бровями, было много доброты и вместе с тем решительности и отваги. С начала войны Расулов не расставался с автоматом, хотя справа у него висел пистолет. Сколько раз спасал его верный ППШ! И в этот день он оказался его спасителем.

Бойцы роты стремительно шли вперед вдоль глубокого оврага, который тянулся от самого Дона до юго-западной окраины села. Левофланговый взвод, обойдя крайние два дома, бросился вперед по улице, а Расулов с ординарцем подбежал к этим домам, решив все же проверить, не остался ли кто-нибудь из немцев… И вдруг им навстречу выскочило несколько солдат с офицером. Увидев Расулова, немецкий солдат крикнул: «Рус, сдавайся!». И направил свой автомат. Но Расулов опередил его, выпустив сразу полдиска. Офицер и два солдата тут же повалились на землю, а остальные кинулись назад, в хату. Оставив двух подоспевших бойцов выкуривать засевших нем-

цев, Расулов повел роту дальше.

Быстрое продвижение восьмой роты нагнало панику на врага. К тому же по другой стороне оврага успешно наступала рота лейтенанта Эсенова. Бойцы Антокова ударили по центру Селявного. Наша артиллерия и катюши перенесли огонь на село.

Атака была так стремительна, что немцы не успели собраться с силами.

Мы вступили в село с юго-запада, а с восточной окраины навстречу нам шел батальон капитана Москвитина. Крепкий удар с двух сторон и решил судьбу Селявного. Никто не думал, что так легко падет этот сильно укрепленный пункт в излучине реки.

Вскоре в село пришли Серюгин и Олейник. Старший лейтенант Даниелян, лихо козырнув, доложил о выполнении боевой задачи. Командир дивизии сказал:

— Поздравляю вас, товарищ капитан, и с победой и с новым воинским званием!

— Служу Советскому Союзу! — ответил тот.

Каков был этот жаркий, решительный бой, можно судить хотя бы по записям в дневнике ефрейтора первой венгерской мотобригады Иштвана Балачка, убитого в районе действия

нашей дивизии.

Он писал, что бригада прибыла к Дону 17 июля, а уже в три часа утра 18 июля гитлеровцы бросили ее в бой. Причины такой поспешности ефрейтор объяснял тем, что «накануне пехотинцы потеряли 500 человек».

Его запись от 9 августа рассказывала о первом знакомстве ефрейтора с «русской адской машиной», то есть катюшами.

> «В одиннадцать часов она заговорила. Сердце остановилось. Моментально загорелась деревня. Все наши бежали, куда могли. Русские уничтожили противотанковую пушку с машиной. Кругом бушует море дыма. Дома не могут представить себе, какой бой нервов нам надо с собой провести, чтобы продержаться в таком аду…»
>
> «15 августа: в 5 часов начинается наступление. Русские упорно держатся. Этот ужас нельзя описать! У нас много раненых (пять раз стреляла адская машина). Пока еще бог и святая богоматерь защищают меня. Мы верим в них…»
>
> «16 августа. Грустное воскресенье. Не

успеваем отвозить раненых».

«17 августа. Два раза ходили в наступление. Оба раза пришлось отступать. Много убитых и раненых».

«20 августа. День святого Стефана. В 5 ч. 15 мин. началось наступление. Боже, помоги нам, чтобы счастливо окончился бой. 6 ч. 30 мин. — бой продолжается. Будь с нами, святая богородица! Артиллерия и танки ведут адский огонь. Зашевелилась земля. Будь с нами бог! 9 часов — артиллерийский огонь… Не покидай меня, святая богородица! У немцев большие потери. Русские ужасно отчаянный народ, воюют до последней минуты».

«21 августа. Подсчитали потери роты: 20 убитых, 94 раненых, трое пропали без вести. Настроение подавленное. В роте осталось со званием двое: я и ефрейтор Матушек. Перед нами русские уничтожили немецкую дивизию».

«31 августа. Нам запретили писать домой, — лишили нас единственной радости».

«1 сентября. Здесь находится лучшая армия русских. Они смертельно точно

стреляют. Вижу нашу судьбу — мало шансов на возвращение домой. Поскорее бы окончилась война, иначе мы все погибнем. Половина уже погибла».

«14 сентября. Помоги нам, бог, поскорее целыми вернуться из этого ужасного боя. Помоги, боже, чтобы не зря текло столько венгерской крови! Защити, богородица, венгерский народ от истребления! Русская артиллерия бьет очень хорошо».

«15 сентября. Холодно, мерзнем, но это еще не зима. Что будет зимой, если мы останемся целы? Помоги, богородица, нам попасть домой»[7].

Не помогла Иштвану Балачка святая богородица. Хортист хорошо почувствовал силу нашего оружия и верно предвидел судьбу захватчиков и их сателлитов.

О многом говорит иной раз свидетельство врага. Характерно в этом смысле любопытное высказывание бывшего генерал-майора фашистской армии Фридриха Вильгельма фон Меллентина. В своей книге, выпущенной в Лондоне в 1956

[7] Примечания: 7
Архив МО СССР, ф. 988, оп. 238012, дело 1, лл. 104–106.

году на английском языке, он так характеризует действия наших войск по созданию и удержанию плацдармов:

> «Другой характерной особенностью действий русских является стремление создавать плацдармы, как базы для будущих наступательных действий. Действительно, наличие в руках русских войск плацдармов всегда создавало серьезную опасность. Глубоко ошибается тот, кто благодушно относится к существующим плацдармам и затягивает их ликвидацию. Русские плацдармы, какими бы маленькими и безвредными они ни казались, могут в короткое время стать мощными и опасными очагами сопротивления, а затем превратиться в неприступные укрепленные районы. Любой русский плацдарм, захваченный вечером ротой, утром уже обязательно удерживается по меньшей мере полком, а за следующую ночь превращается в грозную крепость, хорошо обеспеченную тяжелым оружием и всем необходимым для того, чтобы сделать ее почти

неприступной. Никакой, даже ураганный артиллерийский огонь не вынудит русских оставить созданный за ночь плацдарм. Этот принцип русских «иметь повсюду плацдарм» представляет очень серьезную опасность и его нельзя недооценивать»[8].

Битый фашистский генерал хорошо подметил значение «русских плацдармов». Он словно был очевидцем создания и нашего Селявнинского плацдарма или, как еще его называли бойцы, «плацдарма Чолпонбая», сыгравшего столе важную роль в боях на этом направлении.

2

Чолпонбая похоронили близ села Селявного на той самой Меловой горе, где он совершил свой подвиг.

На могиле героя солдаты установили деревянный обелиск. Химическим карандашом я сделал надпись:

«Вечная слава тебе, герою киргизского

---

[8] Примечания: 8

Цитируется по книге маршала Советского Союза А. И. Еременко «Против фальсификации истории второй мировой войны», 1958, стр. 88.

народа! Верный сын народа Тулебердиев, своим подвигом во славу Родины ты обессмертил себя и свой народ!»

Утром 8 августа Совинформбюро передавало:

«Южнее Воронежа наши части форсировали Дон. Советские бойцы заняли два крупных населенных пункта. Бои идут на улицах нескольких других населенных пунктов. Разгромлен полк 7-й венгерской дивизии. Захвачено 12 орудий и другие трофеи».

Сказано было по-военному скупо. И только участники этих боев знали, что скрывается за этим кратким сообщением.

Вскоре на западный берег Дона устремились остальные части дивизии и других соединений. Бои по расширению плацдарма шли с неослабевающей силой. По показаниям пленных солдат 14-й пехотной хортистской дивизии, их бросили на смену разгромленной 7-й пехотной дивизии, остатки которой бежали с поля боя и были расстреляны немцами. Сообщение Совинформбюро об этих боях гласило:

> «Южнее Воронежа гитлеровцы, подтянув резервы, безуспешно пытались вернуть ряд населенных пунктов, на днях занятых нашими частями. В ходе этих боев противник понес большие потери в живой силе. Кроме того, нашими бойцами захвачено до 50 полевых орудий».

Сколько героических дел и подвигов стояло за этими лаконичными строками! И один из них — бессмертный подвиг пламенного патриота советской Отчизны, доблестного сына Киргизии комсомольца Чолпонбая Тулебердиева.

После, разбирая бумаги Чолпонбая, я нашел незаконченное письмо. Чолпонбай писал своей любимой девушке Гульнар:

> «Свет мой и радость моя, ждешь ли ты меня? Скоро пойду в бой, буду бить врага, как били его киргизские батыры, за тебя буду бить, за родную Киргизию, за нашу замечательную Советскую Родину…»

В стихотворении Джамбула, приложенном к письму, были отчеркнуты слова:

«Если гнев твой остер, как меч,

О, зачем свою кровь беречь?
Бей врага, мой сын, бей врага!
Это Родины нашей речь!»

В другой газетной вырезке, которую мы нашли у него в кармане, были слова М. И. Калинина:

> «Жизнь — самое ценное для человека, но бывают моменты, когда она приносится в жертву во имя еще более ценного — сохранения своего государства, сохранения национальной независимости».

Это, казалось, было сказано о самом Чолпонбае, не колеблясь пожертвовавшем жизнью ради великой цели — освобождения своей Родины.

Подвиг Чолпонбая навсегда остался в памяти воинов нашей дивизии. Много писалось о нем в газетах. У меня сохранилось простое безыскусственное стихотворение нашего дивизионного поэта, гвардии красноармейца К. Щеголева:

Чтобы с боем занять Меловую высотку,
Отважный с друзьями реку переплыл,
Взобравшись по склону, он бросился к дзоту

И телом своим амбразуру закрыл.

Замолк пулемет... В темноте подземелья,
Почуяв тяжелые смерти шаги,
Белее природного мела белели
И корчились в страхе пред смертью враги.

«Сполна, получите за друга, за брата!
Дождались, проклятые гады, конца!» —
Так крикнул и с яростью бросил гранату
Боец, отомстивший за гибель бойца!

Метались по степи зеленые фрицы,
И пули, пропев, догоняли врагов...
Я долгом считаю к могиле склониться,
К могиле у этих донских берегов.

Лежи, наш товарищ, у взятого дзота.
Ты выполнил долг и погиб, как герой.
Дорогою славы шагает пехота,
Идущая в жаркий, решительный бой.

В истории дивизии читаем:

«Во время ожесточенного боя за переправу на Дону, вражеский дзот, находившийся на господствующей высоте, препятствовал нашим подразделениям форсировать реку. Верный патриот нашей Родины, сын киргизского народа Чолпонбай Тулебердиев… первым достигший гребня высоты… своим телом закрыл амбразуру вражеского дзота. Воспользовавшись прекращением огня и замешательством противника, наши бойцы блокировали дзот и уничтожили его вместе с гарнизоном.

Уничтожение дзота способствовало прорыву линии обороны противника, занятию нашими войсками двух населенных пунктов Урыв и Селявное. Так был занят плацдарм на западном берегу реки Дона, который удерживался до перехода Красной Армии в наступление в январе 1943 года. Красноармейцу Тулебердиеву Указом Президиума Верховного Совета СССР посмертно присвоено звание Героя Советского Союза…»

3

...Поезд Баку — Воронеж еще раз пересек Дон и, оставив позади город Лиски, приближался к станции Давыдовка. Я не спал. Не сиделось и не лежалось. За окном мелькали луга, холмы, рощи... И хотя в утреннем тумане все сливалось в сплошное безбрежное поле, память моя все отчетливее восстанавливала знакомые приметы этой многострадальной земли, которую много лет назад я исходил вдоль и поперек.

Считанные километры оставались до Давыдовки. Открыв наполовину окно, я стал искать глазами небольшую возвышенность, на склоне которой в сорок втором был наблюдательный пункт командующего шестой армии генерала Харитонова.

...Заскрежетали вагонные буфера. Станция Давыдовка! Забрав свой небольшой чемоданчик и фотоаппарат, я быстро выскочил на перрон. Состав медленно покатил дальше, а я направился на главную улицу села. В райкоме партии никого не было, кроме сторожа. Оглядев меня с ног до головы и прищурив заспанные глаза, он с удивлением спросил:

— Не из обкома?

— Нет.

— Откуда же в такую рань?

— Из Баку, — ответил я и присел на краешек скамейки, рядом со стариком.

— Из Баку? — еще больше удивился тот. — И куда путь держите?

— На тот берег, в Селявное.

— Стало быть, в колхоз «Тихий Дон». А там чего, у вас родные есть или знакомые? — любопытствовал вахтер, обрадовавшись, что нашел собеседника и можно после долгих часов ночного молчания отвести душу. — Бывали раньше в Селявном?

— Да, но давно, во время войны.

Старик задумался и, помолчав намного, сказал:

— Да, много тут народу головы сложило. Возле Селявного памятник увидишь. Говорит, храбрый был малый. На Меловой погиб. Там его и похоронили.

— Да, на Меловой, — тихо повторил я.

Заметив мое волнение, вахтер сочувственно спросил:

— Наверно, близкий вам человек?

И я ответил одним коротким словом:

— Да!

— Да ведь, говорят, он — из Киргизии, а вы же с Кавказа?

Тогда я рассказал ему о тяжких и грозных днях, скрепивших кровью наше братство…

Вахтер молча поднялся и позвонил кому-то, называя его по имени и отчеству.

— Приехал комиссар… Какой? Да нашего героя. Он вот здесь… Вас дожидается.

Не прошло и пятнадцати минут, как в райком вошел высокий мужчина лет тридцати пяти.

— Вот и наш секретарь, — представил его старик.

Вскоре собрались и другие райкомовские работники. И в одном из них я узнал… пионера Лешу, в доме которого некоторое время стоял штаб нашего полка. Леша, бывало, каждый день приставал ко мне, чтобы его взяли в армию, потому что ему надо стать героем. Пока мы вспоминали бои на Дону, к райкому подали машину. По знакомой дороге мы помчались к Дону. Позади остался лес, когда-то служивший прекрасной позицией для наших реактивных минометов и артиллерийских батарей… А вот перед нами заблестели тихие, величавые воды Дона.

…Переправа на пароме заняла примерно полчаса. Но вот и Селявное. Его трудно было узнать.

Сколько новых домов! В центре — памятник воинам, погибшим в боях за освобождение села. Многие имена хорошо мне знакомы. Обнажив голову, я молча простоял несколько минут у обелиска, а потом пошел к Меловой горе.

К ней от села тянется тропа… Нет, она не заросла травой. По ней часто ходят колхозники, школьники, пионеры, за счастье которых отдал свою жизнь Чолпонбай Тулебердиев. Они приносят на могилу живые цветы; старшие рассказывают детям о жизни героя. И пусть знают на родине Чолпонбая, что Меловая гора, где покоится мужественный сын Киргизии, стала священной для здешних жителей.

Я долго стоял у памятника погибшего героя… От села потянулись сюда люди. Меня окружила группа школьников. Подошли и учителя, колхозники. Я долго рассказывал о битвах на Дону, об освобождении их села, о подвиге Чолпонбая.

Едва я кончил, как один из ребят нетерпеливо спросил:

— А что было дальше?

Я мог бы ответить просто: дальше было продолжение подвига…

…Бои на Дону продолжались с прежним ожесточением. Много новых героических страниц

вписала в историю этих боев наша 160-я Горьковская дивизия. А созданный в те дни плацдарм сыграл важную роль в ходе зимних наступлений Красной Армии, особенно при разгроме острогожско-россошанской группировки врага. По замыслу высшего командования удар по ней должен был быть нанесен одновременно с трех сторон по сходящимся направлениям. Один из них был нацелен с Селявинского плацдарма, или, как теперь пишут военные историки, — «...с плацдарма на правом берегу Дона в районе 1-е Сторожевое (50 км южнее Воронежа...)»[9].

Этот плацдарм еще в октябре можно было называть островком, ибо за нашей спиной лежала широкая водная гладь, а впереди, в трех километрах, широкой дугой проходила линия фронта. Но ранние морозы быстро связали оба берега толстой ледяной корой, щедро присыпанной крупным шершавым снегом. Словно здесь и не было реки. Снег покрыл толстым слоем измученную придонскую землю, на теле которой ныли тысячи ран. Там и сям торчали черные трубы сожженных хат.

Однако в обезлюдевших селах на плацдарме не

[9] Примечания: 9

Вторая мировая война 1939–1945 гг. Военно-исторический очерк. Военное издательство Министерства обороны Союза ССР, 1958, стр. 411–412.

прекращалась жизнь. В подвалах разрушенных домов, в полууцелевших зданиях, в блиндажах и дзотах жили защитники плацдарма. Они готовились к большим боям.

На плацдарм и во все прибрежные села шли танки, пушки, катюши, минометы, самоходки. К прифронтовым железнодорожным станциям непрерывно подходили военные эшелоны. По ночам к исходным рубежам шагала пехота.

Командиры изучали позиции противника, искали уязвимые места его обороны, определяли участки наиболее вероятного прорыва.

В один из дней в роту старшего лейтенанта Расулова приехал генерал-лейтенант Р. Я. Малиновский. Он долго беседовал с бойцами, командирами батальонов и рот, расспрашивал о готовности полка к наступательным боям. Генерал, уезжая, сказал:

— Будьте готовы, недолго остается ждать.

Со дня на день ожидали начала наступления. Никто еще об этом официально не говорил, но каждому бывалому: солдату и так все было ясно. С юга шли радостные вести: началось наступление наших войск на Волге. Каждый из нас в душе чувствовал, что это и есть начало того коренного перелома в ходе войны, которого мы так долго

ждали.

В конце ноября дивизия получила приказ: немедленно сняться с занимаемых позиций, сдав их подошедшим частям, и форсированным маршем двинуться на юг по левому берегу Дона. Совершив более чем стокилометровый марш, дивизия сосредоточилась севернее Богучара. Здесь в составе ударных группировок Юго-Западного и Воронежского фронтов она пошла в наступление, начатое нашими войсками. 16 декабря. Оно развивалось успешно. В результате оказались разгромленными основные силы 8-й итальянской армии и оперативной группы «Холлидт» и был завершен разгром 3-й румынской армии.

...Настали дни, когда мы вступили, на землю братской: Украины. Всем нам вспомнилось предсмертное завещание нашего боевого друга Дмитрия Саенко. Трудно передать словами, с каким волнением и трепетом целовали украинскую землю русские и украинцы, азербайджанцы и армяне, киргизы и казахи, грузины и узбеки — боевые друзья старшего политрука, погибшего в боях за Селявнинский плацдарм.

В морозные январские дни 1943 года, когда мы были уже далеко за Доном, был получен Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР о по-

смертном присвоении Чолпонбаю Тулебердиеву звания Героя Советского Союза. Его прочитали во всех частях и подразделениях дивизии. Имя первого Героя соединения стало символом беззаветной любви к Родине, мужества, отваги.

Вскоре пришли и газеты с письмом «Бойцам-киргизам от киргизского народа». И в этом письме нас особенно потрясли слова:

> «Над полем брани победно реет дух Чолпонбая Тулебердиева, своим телом закрывшего отверстие немецкого дзота…»

Иван Захарин рассказал о письме бойцам-киргизам из соседнего отделения. Бойцы, привыкшие к его вечным шуткам, на этот раз не узнавали бывалого солдата. Он не мог спокойно говорить о Чолпонбае.

Вскоре к ним пришел капитан Даниелян.

— С письмом все знакомы? — спросил комбат.

— Слышать слышали, но еще не прочитали, — ответил Молдыбаев. — Вот Захарин только рассказывал.

— Тогда давайте будем читать, — предложил комбат. — Оно адресовано не только воинам-киргизам, но и всем нам, боевым товарищам Чолпонбая…

Бойцы плотным кольцом окружили капитана. Часто переводя дыхание от жгучего морозного воздуха, Даниелян читал:

> «…Воин Красной Армии! В напряженных боях летом и осенью этого года грудью своей ты преградил путь врагу; легендарным геройством и стойкостью разрушил людоедские планы немцев… Враг уже испытывает силу могучих ударов Красной Армии… Занялась заря освобождения. Отблески ее видны уже во всех уголках нашей Родины. Она будет шириться все дальше, на запад, она придет в логово зверя и испепелит его…»

— Видите, как уверен народ в нашей победе, — подняв глаза на слушавших его бойцов, сказал комбат и снова продолжал читать:

> «Дорогие дети наши! Вместе с братскими народами Советского Союза вы можете и должны очистить нашу землю от гитлеровской нечисти…
>
> Будьте достойны великой освободительной миссии, выпавшей на вашу долю! Крепите железную воинскую дис-

циплину! В совершенстве овладевайте оружием! Днем и ночью наносите сокрушительные удары по кровожадным захватчикам! Пролейте ведра вражеской крови за каждую кровинку советского человека! Несите освобождение нашим братским народам!»

— Сейчас перед нами Украина — родина другого легендарного воина нашей дивизии старшего политрука Саенко, — сказал Даниелян. — Она простирается до самых западных границ СССР. Теперь наша цель — освободить всю братскую Украину.

И дивизия шла на запад, освобождая города и села Украины.

…В апреле 1943 года пришла радостная весть, — дивизия стала гвардейской. А вскоре к нам приехал Федор Иванович Олейник, назначенный заместителем начальника штаба фронта по политчасти. Он привез нам гвардейское знамя.

— Товарищи бойцы, командиры и политработники, — торжественно говорил Олейник перед строем дивизии, — соединению присвоено высокое гвардейское звание. Его мы завоевали в жестоких и кровавых битвах с немецко-фашист-

скими оккупантами. Каждый воин теперь вправе гордиться своей родной дивизией, своим званием гвардейца. Это алое знамя освящено кровью таких мужественных сынов нашей Родины, как Тулебердиев, Саенко, Солодов, Эйбатов, Петросян, Макаров, Красовский, Сафаров, Морозов, Тюльпинов и другие. Их имена навсегда останутся в наших сердцах, в списках славных гвардейцев.

> «Пройдут века, — писала в те дни дивизионная газета «Боевое знамя», — народ откроет страницы летописи Отечественной войны. На этих страницах золотыми буквами будут записаны имена героев нашего соединения Тулебердиева, Солодова, Макарова, Морозова, Кондрашова и многих других. Родина никогда не забудет своих героев. Слава вам, герои Отечественной войны!»

А вот строки из письма комсомольцев дивизии, адресованного молодежи Горьковской области.

> «В историю Великой Отечественной войны золотыми буквами будут вписаны подвиги горьковчан-комсомольцев… Вся страна знает и чтит память комсомольца

красноармейца, Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева, бесстрашно закрывшего своим телом амбразуру вражеского дзота».

...Уже Одер и Эльбу форсировали гвардейцы нашей дивизии. Подвиг Чолпонбая в Берлине повторил гвардии сержант Архип Семенович Манита. Он закрыл своим телом пулеметную амбразуру и ценой своей жизни обеспечил успех решительной атаки гвардейцев. И когда пришел долгожданный День Победы, командир дивизии гвардии генерал-майор Серюгин, поздравляя гвардейцев с победой, вновь назвал имена тех славных воинов соединения, кто своими подвигами прославил боевой путь дивизии, ее гвардейское знамя. Многие из боевых друзей Тулебердиева, прошедшие «от плацдарма Чолпонбая» до Берлина, были удостоены звания Героя Советского Союза. И список героев, в котором первым значилось имя Чолпонбая, вырос до пятидесяти пяти.

*

...Я обвел глазами взволнованные лица школьников, застывших у могилы героя. Один из них,

в пионерском галстуке, вышел на середину и, отсалютовав памятнику Чолпонбая, торжественно произнес:

— Клянемся, товарищи, быть такими же патриотами Родины, как наш Герой Чолпонбай.

— Клянемся!

Эхо звонких детских голосов гулко разнеслось над тихими водами Дона и многократно повторилось в прибрежных лесах. Мне показалось, что это откликнулось не эхо, а голос Чолпонбая. И я вспомнил слова поэта Мусы Джалиля:

Умирая, не умрет герой —

Мужество останется в веках…

К. Каимов
МЛАДШАЯ ЖЕНА



По тропинке, сбегающей в долину с вершины серого холма, ехали два всадника. Уставшие ло-

шади осторожно ступали по крутой дороге. Их подбадривали камчой, но они, пробежав немного рысью, снова плелись. Да и сами всадники устали не меньше и, покачиваясь в седлах, дремали. От зари до зари — жара. Изо дня в день мерное покачивание в седле, однообразный топот лошадей утомили путешественников. Наконец они достигли земли, где родились и выросли. Священна родина! Да хранит ее аллах! Лошади, подбодренные запахом знакомых глинистых склонов, стали бить копытами землю, кусать удила, прибавляя шагу.

Путники, до этого ехавшие угрюмо, подняли головы, посмотрели вокруг и радостно сообщили друг другу:

— Слава аллаху, добрались! Живы-здоровы!

Они с наслаждением подставили открытую грудь прохладному ветерку горной долины.

Забыв дорожные мучения, они взмахнули камчами, отпустили поводья, и лошади понесли их галопом домой.

Всадники возвращались из далекого Андижана и Аксы. Один из них — всем известный Токобай, другой — его джигит Шертай.

Расстояние, оставшееся до дома, равное одному дню пути, всадники заставили лошадей

пробежать за несколько часов. Кони, почуяв дом, рвались вперед. Когда перебрались вброд через реку и забрались на крутой берег, всадники увидели на лугу двадцать юрт и большое стадо — аил Токобая. Юрта первой жены, и еще юрта второй жены, и еще юрта третьей жены… Пай-пай, слава аллаху! И еще юрта четвертой жены, и еще юрта пятой жены. Пай! Пай! Да будет вечен закон шариата! И еще юрта шестой жены, и, наконец, юрта седьмой, самой молодой, самой красивой жены. О кудай! Беспредельна милость твоя! Вокруг разбросались юрты детей, родственников и подневольного люда, зависимого от Токобая. На краю аила островерхая серая юрта Шертая.

Спутники, месяцами находившиеся в дороге, при виде аила обрадовались, как дети, нашедшие вновь своих родителей. Сон это? Явь? Неужели они опять дома? Теперь Токобая тревожило только одно: сохранился ли его скот от падежа и воров? Увидя табуны и отары, он успокоился, его хозяйский глаз не обманывал — все было на месте. Кругом аила пасся его скот, в аиле, оживленно играя, бегали стайкой его младшие дети. Куда ни взглянешь, все принадлежало ему — Токобаю.

Убедившись, что в аиле все в порядке, Токобай посмотрел на семь юрт своих жен. У большой

юрты старшей жены — байбиче — стоят на привязи лошади. Из юрты струится слабый дымок. «Моя заботливая старушка!» — чуть-чуть улыбнувшись, прошептал Токобай.

Вторая юрта тиха. Вид у нее хотя странный, но для него и для всех привычен, она вся увешана вывернутыми наизнанку шкурами — вторая жена занималась дублением кож и выделкой мехов.

Токобай уважал свою байбиче, вторую жену он не любил за ее скупость. Смотря на почти одинаковые юрты, он сразу не мог вспомнить, в какой из них какая жена. Его глаза загорелись, остановившись на белой, как яйцо, юрте, расположенной в конце ряда семи юрт. Там была его младшая жена — Айымкан. Юрта токол стоит на еще не помятой зеленой траве. Всевидящая Айымкан, угадывая скорый приезд мужа, наверно, нарочно обновила место стоянки своей юрты.

Что может быть приятнее для вернувшегося из путешествия горца-киргиза, чем ночевка на новом месте, в объятиях молодой любимой жены? Ничего не может быть приятнее! Если есть на свете для Токобая счастье, то оно заключается именно в этом. Но не может он, строгий последователь шариата, имея семь жен, сегодня, минуя

всех остальных, остановиться в юрте токол, которую любит больше всех. На такой дерзкий поступок, как ни властен Токобай, он никогда не решится, ибо, по шариату, непреложному закону мусульман, глава семьи обязан остановиться в юрте байбиче и там провести первую ночь после своего возвращения. В последующие ночи он должен осчастливить своим посещением одну за другой всех семь жен, начиная от старшей и кончая младшей, — так говорит шариат. Он мог добраться до своей любимой токол только на седьмую ночь.

Бедные жены! Разная у них судьба. Каждая хотела бы обладать привилегией первой или хотя бы второй жены. Что делать? Третья жена должна быть довольна радостями первых двух, согласно мудрой пословице: «Бурьян пьет воду, которую оставляет ему благородный рис по своей доброте».

Остальным женам остается только на словах хвастаться, что у них тоже есть муж, достойный всяческого уважения. Какое кому дело до их горестной судьбы? Они злятся на старших соперниц и в тоске и скуке проводят свои дни почтенных жен достопочтенного Токобая.

Муж, покорный раб шариата, требующего от

него одинакового внимания и любви к каждой жене, в душе любит только самую младшую. С этим и шариат не может ничего поделать. Ах, если бы муж мог…

Юрту байбиче он обязан посетить раньше других жен не только по обычаю и повелению аллаха, но чтобы не обидеть своих старших детей небрежностью к их матери. Избегая объятий почтенной старухи, ему придется быть внимательным к ее детям, серьезно разговаривать со старшими, ласкать и забавлять младших и нетерпеливо ждать утра, когда можно будет считать, что после возвращения он, как правоверный, провел первую ночь в юрте своей первой жены, уважаемой байбиче.

Неужели байбиче не догадывается, что старый муж холоден к ней? Она это знает и говорит себе: «Вижу, твои глаза жадно смотрят на белую юрту токол… Так нет же, ты выпьешь у меня весь яд бесплодного ожидания». И, как ни в чем не бывало, она ухаживает за милым супругом, не обращая внимания на его нетерпение. С каким наслаждением она прошлась бы по спине возлюбленного мужа его же грозной камчой! Досталось бы от байбиче и всем его женам… «Да поразит их всех ломота и корчи!»

Ни одна из жен не довольна своим супругом, но не осмелится бранить его, это противоречит законам священного шариата. Ни одна из жен, за исключением байбиче, не имеет права возражать ему. Подчинение мужу должно быть беспрекословным, хотя в глубине души они презирают своего повелителя.

Стоит только жене не угодить мужу, как невероятные мучения свалятся на несчастную, грозный властелин вправе жестоко наказать жену. Мало того, она тотчас же станет посмешищем для окружающих, всегда поддерживающих мужа по законам шариата.

В народе говорят: «Киргиз богатеет — берет себе много жен, узбек богатеет — строит много домов». Но и те и другие, соблюдая обычай многоженства, не в состоянии понять угнетаемых ими женщин и уверены, что женщины довольны своим положением.

А батрак Шертай, имеющий одну жену и одну юрту, счастлив. Догадавшись о беспокойных мыслях хозяина, он злорадствует, от всей души возносит тобо — благодарственную молитву аллаху за то, что тот дал ему только одну любимую жену.

Спутники торжественно въехали в аил.

— Ата вернулся! Ата едет! Ата! Ата! Ата!

Визг, крики детей. Встречать хозяина-владыку из каждой юрты выскочили маленькие дети, выбежали средние, вышли степенно старшие.

С громким лаем за детьми бросились собаки и, узнав всадников, неистово завиляли хвостами и, мешая ребятам, с не меньшим визгом прыгали то с одной, то с другой стороны на лошадей.

Байбиче, вытирая лицо и поправляя шаль, с улыбкой встала у двери своей юрты, зная, что ее повелитель первым подойдет к ней. Остальные жены, обязанные по обычаю хранить терпение, не выходили из своих юрт и поглядывали на встречу через щели дверных завес. Каждая ожидала, как милости, взгляда мужа в ее сторону. Токобай видит все семь юрт, однако делает вид, что не смотрит на них, и едет прямо к юрте байбиче, ио незаметно он нет-нет да умильно поглядит в сторону юрты токол. Властелин не смеет это сделать открыто.

«Милая токол, просунь голову в щель завесы, поздоровайся со мной хотя бы глазами!» — молит он. Токол понимает взволнованные мысли своего старого мужа, но он покорно проезжает мимо, и красавице становится горько, словно сердце ей посыпали солью. Она падает на кошму и и

плачет от досады и жалости к себе. Остальные жены, как ни скрывал Токобай, заметили взгляд, брошенный им на юрту токол. Обозлившись, они шлют ему проклятье: «Чтоб ты ослеп!»

А жена Шертая — Толгонай, взяв на руки ребенка, спокойно стояла перед входом в свою юрту. Шертай, проезжая мимо, чтобы не быть неучтивым перед хозяином, только кивнул жене, улыбнулся открытой, светлой улыбкой и бросил ей узелок. Кажется, немного. Но как обрадовалась женщина, как была горда этой дружеской улыбкой и этим незатейливым подарком! С завистью жены Токобая смотрели на эту бедную женщину.

Джигиты у дверей юрты байбиче, подбежав, подхватили Токобая, слезавшего с лошади. Шертаю, как приехавшему издалека, тоже оказали почет — помогли спешиться.

Токобай сначала поздоровался со стариками — аильными аксакалами, обнял и поцеловал сыновей, дочерей, внуков и внучек и только после этого протянул руку байбиче. Так установлено шариатом — да не нарушит этот закон ни один правоверный! Кроме байбиче, никто из других жен не имел права поздороваться с ним за руку. Так-то!

Когда путники и аксакалы удобно устроились

в юрте байбиче, снохи набрались смелости, кланяясь, вошли в юрту, разожгли огонь и занялись хозяйством. Другие жены Токобая сидели в юртах с детьми, возвратившимися к ним с пригоршнями конфет, полученных от отца. Они тоже хотели присутствовать в юрте байбиче и разделить с мужем угощение, но это не допускалось обычаями. Поэтому обиженные сидели в юртах и злились. Младшие желали смерти старшим, старшие — младшим. Так жены Токобая «любили» друг друга… Да простит им аллах!

Токобай не торопясь рассказал аксакалам о новостях Андижана и Аксы.

Только после того как закончили пить чай и убрали дасторкон, хозяин наконец разрешил Шертаю уйти домой, а сам остался в окружении старшей семьи.

*

Жаждущий свидания с токол, Токобай был вынужден остаться у байбиче до утренней зари. Затянув разговор с детьми, он, притворившись невероятно уставшим, довольный тем, что после многих недель может наконец лечь в свою постель, уютно пристроился на ней и спокойно заснул. А его бедные жены всю эту ночь не могли

уснуть… Но байбиче — хороший сторож, она не упустит мужа из своей юрты. Она мечтает, что он немного поживет в ее юрте — два-три дня.

— Мой путь жизни уже отмерен… — рассуждает она. — Почему бы моему старику не разделить со мной быстро текущие дни, отпущенные мне аллахом, до моей смерти? Моим соперницам, пока достигнут моего возраста, еще много остается дней для наслаждения солнцем.

Она знает: ее мечты неосуществимы, и вот кряхтит, ворочается, горестно вздыхает, не смея разбудить спящего сладко мужа…

Ей хочется поговорить с ним, расспросить о поездке, провести с ним, как прежде, хотя бы эту одну ночь. И все же байбиче, жалея мужа, разбитого долгой ездой, не будит его и только тихо вздыхает. Она не верит, что упрямый старик, проснувшись, пожелает ласково поговорить с ней.

Остальные жены всю ночь стирали, мыли, чистили юрты, а потом тщательно заплетали волосы, чтоб понравиться уважаемому мужу, который ведь должен прийти. Да будут благословенны законы шариата!

Каждая из них делает все, чтобы нарядом, красотой перещеголять другую.

Токол тоже в эту ночь не могла уснуть. У нее испортилось настроение. Она была недовольна законами шариата и не утруждала себя заботами по хозяйству. Седьмая мрачно рассчитала, что у нее впереди, до встречи с мужем, еще целая неделя. Как долго! Много событий может произойти за это время. Возможно, завтра мужа вызовут к себе манапы Солто, Сарбагыш или Саяк. Во время заключения договоров, тяжб, споров таких людей, как Токобай, всегда призывают для участия в бютюме, то есть в судебном разбирательстве. Токобай известен неустрашимым мужеством, хотя народ не помнит его подвигов. Известен он также находчивостью и красноречием — эти качества он проявляет на каждом шагу. Недаром народ называет его «Токобай-хитрец»! Он пользуется большим уважением; возможно, что его пригласят на этой неделе на какой-нибудь той. И опять отлучится Токобай из аила, опять потекут для токол безрадостные дни. Пиры, развлечения, сборища заставят Токобая забыть, что в юрте тоскует и плачет его молоденькая жена, попавшая в круг соперниц.

— Пусть пропадут навеки, пусть скроются в могиле несчастные мои дни! — рыдает токол.

Что такое токол?

Токол — меткое, разящее слово. Безрогих коров и коз киргизы, так же как и младших жен, называют несчастным именем «токол». Токолы — самые беззащитные существа среди животных и женщин. Кто бесправнее младшей жены? Разве может защититься безрогая корова от рогатой коровы, безрогая коза от рогатой? Перед байбиче младшая жена безоружна, беспомощна и вся в ее власти. Безрогая козочка должна трепетать от страха перед бодливой злой козой, имеющей острые рога.

Байбиче, старшая жена, выдав замуж дочь, приобретает новых родственников и тем самым поднимает свое значение среди всех членов семейства и окружающих людей. У женщины появляется чинара, на которую можно опереться, появляется ветка, за которую можно держаться. Ну а младшая жена? Надеждой для нее могло быть еще рождение сына. А если его не было? Опорой токол в семье являлся только ее многосемейный и многоженный муж. Но муж не всегда мог являться для нее защитой, так как хотя он не боится байбиче, но должен считаться со своими взрослыми сыновьями и дочерьми, считаться с мнением окружающих людей, живущих по законам шариата.

Бедная токол всегда запугана и несчастна. Если ее родня не знатна и у нее нет ребенка, она в семье мужа рабыня.

Исполнилось пять лет, как она переступила порог юрты Токобая. Айымкан девятнадцать лет! Она начала задумываться над своей судьбой, как взрослый человек. На оскорбления и издевательства она может отвечать только слезами. Видя ее беспомощность, ее старшие соперницы беснуются еще сильнее.

Токобай, любящий супруг, заботится о ней, защищает, охраняет и утешает ее, когда он в аиле. Уезжая, он дает наказ своим джигитам: «Не оставлять токол без топлива и воды, без законной доли мяса при забое скота». Обеспечив, таким образом, возлюбленную жену всем, он спокойно уезжает. Но стоит ему удалиться, как старшие жены призывают к себе джигитов и запрещают им даже близко подходить к юрте токол. А если кто-либо из джигитов не исполнит их приказа, они заставят преданных им джигитов избить его и после возвращения мужа наговорят на него, очернят, обвинят его в чем угодно и не успокаиваются до тех пор, пока не изгонят ослушника из аила. Уже пять лет никто из джигитов добровольно не осмеливается помочь Айымкан без Токобая.

Айымкан удается жить сносно среди свирепых жен Токобая только благодаря своему изворотливому уму. Лишившись помощи джигитов, она стала прибирать к рукам детей байбиче. Старшему сыну старухи Осману сорок лет, кроме него у байбиче еще три сына и дочь. Младшему сыну Субану девятнадцать лет.

Вначале Айымкан зазывала к себе в юрту Османа, называя его возлюбленным сыном, кормила мясом, угощала всем, чем могла. Умела она вести с ним и интересные разговоры, обнаруживая и остроумие и недюжинный ум. Осман полюбил свою младшую маму и много раз спасал ее от гнева байбиче. Однако собственная мать ближе, и с нею нельзя не считаться почтительному сыну. Вскоре ему все-таки пришлось делать вид, что он не видит и не замечает скандалов между ними. Обладателю трех жен было достаточно своих скандалов, ссор и женских рыданий.

Остальные два сына старухи относились к ней равнодушно. Один только младший, строптивый красавец Субан, называл Айымкан апа и оказывал ей уважение. Субана боялись все, когда он бывал в аиле, скандалистки-соперницы не смели собираться в юрту токол, чтобы ругаться с ней: он сразу выгонял их, невзирая на возраст. В начале

кочевок он созывал джигитов и приказывал снимать и вывозить на кочевку в первую очередь юрту младшей апа. Байбиче и другие его мамаши выходили из себя и грозили джигитам. Но те отвечали злюкам: «Попробуйте сами усмирить Субана! Вы же знаете — он бешеный. Если мы не выполним его приказания, он нас всех уничтожит!» И женщины понимали, что джигиты правы, и больше не придирались к ним.

Но Субан вскоре сам женился, и у него появился ребенок, и он стал больше думать о своей семье, чем о токол. А тут еще случилось так, что в течение пяти лет, как говорила в старину, «пятки Айымкан не орошались кровью» — она не принесла Токобаю ребенка. Для нее это было горем, для соперниц — радостью. Токобай, равнодушный к детям, по-прежнему хорошо относился к своей молодой жене. Но старшие жены не успокаивались. Воспользовавшись молодостью жены Субана, они добились того, что поссорили ее с Айымкан, после чего и Субан отдалился от токол.

«Что делать? За кого теперь мне держаться? Опереться на детей средней жены? Они и их настроят против меня, — безнадежно думает токол о своей судьбе. — Если бы моя родня была сильна, она бы не дала меня в обиду». Но отец Айымкан

— человек среднего достатка. Если Айымкан уйдет от мужа к нему, отец должен будет вернуть Токобаю полученный за нее калым. А это разорит всю семью, лишит ее последнего барана и «последних волос на голове» отца. Среди киргизов еще не родился человек, кто мог бы забрать свою дочь от Токобая.

Токол всю ночь проплакала, печально думая о своей судьбе.

*

На следующую ночь Токобай перекочевал в юрту второй жены — Джанылкан. Прославленная хозяйка, чтобы похвастаться перед мужем, развесила по стенам юрты и разложила на самых видных местах меха, расшитые всевозможными цветами кошмы, выделанные мерлушки для шубы, дубленые кожи. Богатая лавка, да и только.

Все это сделали ее умелые руки, все это — результат ее огромного труда, и все это — приданое дочери. Ну и что же? Она не дождалась похвалы от мрачного мужа.

К несчастью, как бы она ни старалась, ее мозолистые руки не становились мягкими, а тело не переставало пахнуть дубильной закваской.

— Для нашей дочери Алтын я приготовила три

кошмы, два ковра. Свадебная белая юрта тоже готова, — хвасталась Джанылкан. — Теперь ей не хватает только шекуле — богатого ожерелья на шею. Ты привез его ей?

Говоря все это, она стелила пышную постель: на ковер положила несколько войлочных кошм, на них — огромную медвежью шкуру, на шкуру — несколько тонких стеганых подстилок, набитых бараньей шерстью. Сверху легла простыня, а затем шелковое одеяло. Приготовив пышное ложе, она пригласила своего повелителя почивать. Стоило ему лечь, как она начала рассказывать о бесчисленных дедах, совершенных ею в отсутствие мужа, и упрекала:

— Как понимать, что своей байбиче уважаемый муж привез чапан, а меня, которая все время заботится о твоей пользе, ты забыл?

— Хватит! Не болтай! — только и сказал угрюмо муж.

Джанылкан не умолкала, упрек за упреком, жалоба за жалобой так и сыпала она своей скороговоркой. Она болтала до тех пор, пока Токобай не заговорил сам, чтобы как следует отчитать говоруху. Слава аллаху: летняя ночь коротка, а то бы еще больше попало Джанылкан…

Третью ночь Токобай посвятил больной жене

Кымбат. Та не претендовала на его внимание. Если бы только она не старалась добиться хорошего наследства для своих детей, Токобай был бы для нее совершенно не нужен. Конечно, она встретила его хорошо, показала ему детей, красивых, чистеньких, аккуратно одетых. Токобай вынужден был похвалить ее и приласкать детей. Она бы не обиделась, если бы он после этого тотчас же ушел в четвертую юрту, но шариат есть шариат, и непреложны законы его. Он остался ночевать и спокойно выспался.

Четвертая ночь… Характер четвертой жены был вздорный, на глазах у нее так и кипели слезы. Она всегда была готова устроить истерику, но… она была еще молода и довольно красива. Токобай давно не любил ее, однако… согласно закону шариата… утром солнце разбудило его около красивой женщины-плаксы, всхлипывающей даже во сне, по ее щекам текли слезы.

Потом, как и полагалось, он провел ночь в юрте пятой жены. Зная, что Токобай не выносит запаха насвая, она перед этим весь день усердно жевала табак с золой. Куленда этим запахом всегда отгоняла от себя нелюбимого мужа, давно примирившегося с дурной привычкой жены. Они мирно спали, отвернувшись друг от друга. Шари-

ат всегда шариат, и пятая ночь, принадлежащая пятой жене, была проведена в ее юрте. О кудай, да будет прославлено имя твое!

Так жизнь Токобая шла по мрачному пути среди уже давно не нравившихся ему женщин. Бедный старик! Ни он, ни его жены не могли вознести молитвы благодарности за ниспосланное им счастье. Его сердцу была мила только одна Айымкан, он стремился к ней, но она, к несчастью, была седьмая.

Ах, любовь многоженца! Что же? Любя седьмую, он не прочь жениться еще и на восьмой, совсем молоденькой, чтобы ее юностью вернуть себе молодость.

Стареет он. Человеку шестидесяти пяти лет иметь семь жен — вполне достаточно, но Токобай, чувствуя свое охлаждение, обвиняет в этом не старость, а своих недостаточно интересных жен.

«Эх, если бы все жены были такие, как Айымкан, как Айша...» — печально думает Токобай. Айше — шестой жене — всего двадцать три года. Она — мать четырех детей. Ее родня из богатых мест. Богатого рода. Сама красива, весела и большая затейница. Айша знает, чем угодить мужу: она переодевает его во все новое белье и новую верхнюю одежду, но, прежде чем сделать это, она

сажает его, как малое дитя, в таз и собственноручно купает в горячей воде. Прекрасная жена! А как она нежна, как умеет приласкаться, расчесать бороду, погладить и покрутить усы, щекотно поцеловать шею.

Токобай с нетерпением ожидал шестую ночь, но пришел к Айше обозленный. Старик давно сомневался в поведении слишком ласковой жены, которую находил подозрительно веселой: не верил, что он мог приносить ей счастье. Придя к ней, он посадил к себе на колени очень похожих на мать, веселых детей, обнял, поцеловал, но, лаская их, придирчиво осмотрел юрту. Все было в порядке… Вдруг он заметил у капшита, на месте соединения кошм, образующих стены юрты, над самой постелью Айши, что циновка из прутьев чия смята, в ней, как видно, была проделала дыра, достаточная для того, чтобы пролезть человеку. И хотя циновку тщательно приводили в порядок, тростинки чия хранят на себе следы излома. О кудай! Где законы шариата? И мрачный муж будто видит, как в юрту его жены ночью зверем пролезает похититель семейного счастья, осквернитель священного ложа.

У Токобая ощетинились брови, лоб прорезали морщины, ресницы спрятали в щелки свире-

пые глаза. Он пристально уставился на Айшу. Глаза его сверкнули бешенством. Айша угадала причину гнева Токобая, покраснела и испуганно опустила глаза. Это было равносильно признанию.

«Эх, умереть бы, да жизнь сладка, провалиться бы, да земля крепка! — мелькает в сознании Айши. — Бежать к родным? Всесильный Токобай опозорит не только меня, но и родителей, братьев и всех родственников». По законам шариата женщину, изменившую мужу, никто не имеет права защищать. Отныне Айша — преступница, ее жизнь и смерть в руках этого старика.

Пока дети не съели угощение и не заснули, Токобай не сказал ни одного слова, только его глаза все больше наливались кровью. Он не дотронулся до еды, не выпил ни одного глотка кумыса, словно боялся опоганиться прикосновением к пище, изготовленной порочной женой.

Когда дети заснули и в аиле погасли огни, он, не повышая голоса, сказал ей:

— Принеси узду.

«Как бы он не превратил меня в лошадь, не вскочил на плечи и не погнал бы к моим родным… О кудай, спаси меня!» Сердце комом застряло в горле. Чувствуя неминуемую гибель,

жена покорно принесла узду, а потом тяжелую камчу — нагайку.

— Иди сюда!

Токобай сбросил с себя чепкень, засучил рукава, подошел к дрожащей женщине и надел на нее узду. Жена вынуждена была закусить удила. Ее голову крепко охватили ремни лошадиной узды, поводья очутились в левой руке мужа — началось избиение. Рассвирепев, Токобай бил ее по лицу, выбил ей зубы, рассек губу. Изо рта лилась кровь… Однако Токобай продолжал бить ее до тех пор, пока не онемела его рука и не сломалась рукоятка плети. Наконец обессиленный властелин в изнеможении опустился на кошму.

Айша с зеленым лицом судорожно вздрагивала у порога. До рассвета у Токобая ныли ноги, он не мог подняться, а Айша лежала без памяти… Так прошла шестая ночь в юрте шестой красавицы-жены. Да будет соблюден закон шариата…

На рассвете бай накинул на плечи чепкень и вышел в степь. Он поднялся на холмик, недалеко от въезда в аил, и улегся на траву.

На востоке брезжил рассвет. Скоро солнце бросит свои животворящие лучи на землю. Но эти лучи не оживят, не согреют жизнь Токобая. Солнце, которое грело его, давным-давно зашло.

Сегодня раньше всех проснулась Айымкан и открыла тюндук юрты. «Наверно, она ночь перед встречей со мной провела без сна», — подумал любвеобильный муж.

Токобай поднял голову.

— Ты единственный друг мой, милая Айымкан. Ты одна по-настоящему любишь меня, — благодарно прошептал он.

Да, в этот момент Айымкан увидела на холме мужа, но боязливо притаилась у себя в юрте.

Через некоторое время проснулись остальные жены. Только у одной Айши юрта осталась с закрытым тюндуком.

Весть о несчастье Айши сразу распространилась по аилу, но никто не осмелился зайти к ней, страшась гнева Токобая.

Когда солнце взошло, въезжавший в аил одинокий всадник, издали узнав Токобая, спешился и поднялся на холм, ведя лошадь за собой. Токобай, растроганный вниманием и уважением всадника, поднялся с места и пошел к нему навстречу. Это был дядя Тоймат, младший брат его матери. Поздоровавшись, гость горько заплакал…

Тоймат человек семейный, среднего достатка. Токобай любил его за честность и преданность родне. Не понимая, что случилось со всегда ве-

селым Тойматом, Токобай бережно повел его в аил. Байбиче, увидев гостя, приказала позвать их в большую юрту. Когда уселись, Токобай начал разговор:

— Дорогой дядя, жива ли, здорова ли твоя семья?

— У меня большое горе — твоя несчастная тетя умерла, — он заплакал сильнее.

Слезы Тоймата по такому поводу удивили и вывели из терпения Токобая.

— Мужчине не пристало горевать об умершей жене! Стыдись! Перестань плакать, дядя! — Он повернулся к Шертею: — Собери всех моих жен и приведи их сюда, живо.

Тоймат явно вел себя неприлично. Токобай и все сидевшие в юрте подсмеивались над ним, не понимая, как можно мужчине так горевать о смерти своей жены, тем более на людях.

Вошли семь женщин в огромных, ослепительно белых тюрбанах — элечеках. Среди них была и еле живая Айша, вся в синяках и ранах, с вспухшими глазами и рассеченной губой, без передних зубов. Айымкан, в полном соку, как круглая луна, заставляла любоваться своей красотой всех, но в юрте байбиче она чувствовала себя самой бедной и ничтожной. Она скромненько остановилась

у порога.

— Если ты плачешь, дядя, потому что тебе недостает жены, — Токобай гордо посмотрел на Тоймата, — у меня их много, выбирай себе любую…

Тоймат, семь женщин и все в юрте были поражены этой выходкой старика. Они не понимали, серьезно ли он говорит или шутит для утешения своего дяди. Но вот стало ясно, что Токобай это сказал от всего злого сердца. Он хотел избавиться от одной из нелюбимых жен.

Все знали, что это противоречит обычаям, но властелин-муж может поступать с женами, как ему заблагорассудится. Жизнь и смерть жен — в руках их господина.

«Да, так еще никто не делал, — зло думает Токобай. — Пусть теперь все узнают о моем мужественном и благородном поступке».

Дядя Тоймат от смущения не знал, куда деться, он краснел и потел, не говоря ни слова.

— Ты молчишь? Понимаю! В таком случае, ваша очередь! — Токобай повернулся к своим женам, и его голос зазвенел: — Говорите! Кто из вас хочет идти в жены к моему дяде? Я предлагаю во имя аллаха. Я требую! Говорите!

Жены испуганно переглянулись, словно спра-

шивали друг друга, что делать, но ни одна из них не осмелилась высказать желание покинуть своего старика. Все присутствующие смотрели на избитую Айшу, уверенные в том, что только она одна скажет сейчас о своем желании уйти. Токобай и сам ждал ее согласия, предполагая, что нашел подходящий случай, чтобы избавиться от ненавистной.

Айымкан вдруг подняла голову и открыто и дерзко посмотрела на своего повелителя. Ее взгляд говорил многое. В нем было презрение к человеку, который считает ее за скотину, который так избивает своих жен, который и любить-то не умеет. Взгляд Токобая молил ее о любви, молил ее молчать.

— Я пойду! — вдруг крикнула Айымкан, выступив вперед.

У Токобая сердце покатилось в бездну. Когда оно вскарабкалось кое-как на свое место, ой как он пожалел, что затеял эту историю, но было уже поздно.

— Хорошо! Годишься! Согласен, — прохрипел Токобай, стараясь держать себя бодро, а сам был готов зарыдать, как рыдал перед этим смешной его дядя. — Эй, джигиты, переселите токол вместе с ее юртой и вещами к моему дорогому дядюшке.

Да будьте вы… счастливы! — выдавил он, корчась от обиды.

Жены радовались, что избавились от самой молодой соперницы. Тоймат был несказанно рад, что, не выложив пятака, приобрел красавицу с приданым.

Токобай прелюбезно улыбался, показывая всем своим видом, что он чрезвычайно доволен происшедшим и счастлив доставить удовольствие дяде. Одна мудрая байбиче понимала, что улыбка его крива и таит много злости.

Юрту, вещи и саму Айымкан погрузили на три верблюда и повезли к дяде ее бывшего мужа. Тоймат гарцевал впереди каравана.

На голом месте, где находилась юрта любимой жены, не осталось ничего, кроме пепла и дотлевающей головешки. Тускло горевшее пламя в сердце Токобая так же потухало, как последний огонек забытого костра.

Перевод В. Швембергера.

О. Даникеев
ДЕВИЧИЙ СЕКРЕТ



1

У нас в аиле есть только школа-девятилетка. Кто хочет учиться дальше, уезжает в районный центр либо в какой-нибудь город. Я тоже так сделала. Кончила нашу школу и поехала к дяде, на рудник…

Но получилось все не так, как я задумала. Проучилась всего два месяца, а потом пришлось школу оставить. Не потому, что я не хотела заниматься или плохо себя вела. Оказалось, что с русским языком у меня очень слабо. Возвращаться назад мне не хотелось. Во-первых, стыдно перед односельчанами, а во-вторых, Азыпкан-апа… О ней много чего можно порассказать, да незачем вспоминать и перебирать все это. Азыпкан — это моя мачеха. Когда мой отец погиб на войне, она, долго не мешкая, вышла замуж за Далыбая из нашего же аила. Душа у нее черствая, а язык — настоящий яд. До сих пор, как подумаю о ней, сердце стынет.

Четыре месяца прожила я на руднике, а мачеха так ни разу и не приехала, не вспомнила обо мне. Дядя сказал: «Ну и не надо. Оставайся у нас, родная. Это твой дом. Была бы ты здорова, а горевать

не о чем».

Я согласилась…

Дядя работает на руднике бурильщиком. А тетя дома крутится с утра до вечера по хозяйству да возле ребят. Я дома от мачехи столько натерпелась, что в семье у дяди держалась вначале тише воды, ниже травы. Виноватой вроде бы ни в чем не бывала, но все боялась, что вот-вот начнется «то самое», и то и дело поглядывала на тетку: не хмурится ли она. Дядя у меня очень добрый, мягкий человек. Я, бывало, жду не дождусь, когда он придет с работы. Мне казалось, что если тетка нападет на меня, начнет ругать, дядя защитит. Да при нем она и не станет ко мне цепляться, не посмеет, — так я думала.

Страхи мои оказались напрасными. Тетя не только по внешности, но и в душе женщина простая и мягкосердечная. Удивительно, насколько разными бывают люди! Например, Азыпкан и тетя. А ведь тете я совсем чужая…

Как бы там ни было, а пока я решила так: «Дядя работает в семье один, жена у него не очень здоровая, дети маленькие. Да еще я прибавилась. Я не могу отблагодарить их тем, что буду вести себя как избалованная единственная племянница, надо хоть по хозяйству помогать». И я себя не

жалела, помогала, как могла.

За водой надо было ходить далеко, да еще с полными ведрами в гору. Один раз я набрала два полных больших ведра да у самого, можно сказать, порога поскользнулась и шлепнулась. Искры посыпались из глаз. Даже подняться не было сил, до того больно и обидно. Все на мне мокрое. А тетя уже с неделю лежала больная в постели. Вдруг дверь отворилась, она выходит на крыльцо, без чапана, в одном платье. Я увидела ее и затряслась вся. Сейчас, думаю, возьмет коромысло да как наподдаст мне! Съежилась, заморгала и хочу сказать что-нибудь, оправдаться, а не могу, голос пропал. Тетка подходит ко мне, а я только смотрю на нее жалобно…

Я и сейчас помню этот случай так, будто он вчера был. Тетя наклонилась ко мне и подняла мою голову исхудавшей за время болезни рукой. «Бедняжка моя, замучилась ты из-за меня. Всех вас я замучила». И с такой печалью она это сказала… Я обняла ее крепко-крепко и заплакала в голос. В первый раз в жизни заплакала от радости, от того, что меня приласкали. В первый раз в жизни я почувствовала материнскую ласку, услышала материнское слово. Тетя, наверное, поняла это и все гладила меня по волосам, по лицу…

Я очень подружилась с дочерью наших соседей Асыл. Она училась. Ругала меня за то, что я оставила школу. Мне нечего было возразить ей, я теперь стыдилась говорить, почему я ушла из школы. Асыл, между прочим, когда перешла в восьмой класс, тоже не очень-то была сильна в русском языке, — это она сама мне сказала.

Что скрывать, я ей завидовала. И очень огорчалась, что не учусь сама. Может быть, я тоже успевала бы. «А теперь, кто знает, придется учиться или нет...»

Старший брат Асыл и его жена работали на обогатительной фабрике флотаторами. Жили они хорошо. Иногда я думала, не поступить ли и мне на работу. Но куда? И кем? Дядиной семье было бы, конечно, совсем не вредно, если бы я работала и хоть что-нибудь зарабатывала. Но об этом я никому не говорила...

Приближался новый год. Однажды я сидела у Асыл и слышала, как ее джене говорила, что в новом году на фабрику будут набирать людей. Сказала дома своим, что хочу с нового года пойти на фабрику, а они наотрез: «Ты на работу не спеши, отдохни этот год, а с осени начинай учиться».

Тетя к этому времени поправилась, встала на

ноги и принялась хозяйничать по-прежнему. Я хочу что-нибудь сделать, она сразу: «Отдыхай, моя хорошая. Я теперь здорова, справлюсь. Отдыхай. Хватит тебе дела с осени».

Она так обо мне заботилась и так была ласкова, что и я к ней привязалась, наверное, больше, чем ее родные дети.

Как-то раз тетя дала мне денег и говорит: «Джамаш, вот возьми и сходи хоть в кино, а то ты носа из дому не высовываешь, совсем поникла». Я было отказалась: «Не пойду я сейчас, тетя. Насмотрюсь еще кино, успеется». Но она вел равно отправила меня вместе с Асыл.

В центре поселка я не была с осени. Мы жили на самой его окраине — за рекой. Я иногда только ходила в магазин за чаем или за сахаром. И вообще человек в непривычном месте чувствует себя как-то, ну, по-другому, что ли.

Около клуба было много народу. Кажется, это была суббота. Мы с Асыл встали в очередь за билетами. Недалеко от нас, возле доски показателей, остановились три человека. Двое пожилых, а третий — молодой джигит. На нем было черное пальто. На голове — пестрая кепка. Мне стало смешно — зима лютая, а он в кепке. И еще я удивилась тому, что эти трое все оглядываются

по сторонам, как будто недавно сюда издалека приехали… Интересно, кто они, я их не знаю. Но тут две девушки, которые стояли в очереди перед нами, заговорили как раз об этих людях.

— Вон тот, наверно, главный инженер, который недавно приехал, — сказала одна.

— Он самый…

— А женщина?

— Это его жена, говорят.

— А молодой парень кто?

— Это горный инженер, будет работать вместо Никольского начальником смены. Симпатичный, правда?

— Скажешь тоже…

И обе захохотали.

Я посмотрела на того парня. Невольно, сама не знаю почему. И тут мной овладело какое-то непонятное чувство, стало чего-то стыдно. Джигит и вправду был симпатичный: среднего роста, лицо светлое, глаза красивого разреза, спокойные и вдумчивые. И брови у него были хороши, — тонкие, ровные, будто нарисованные. Нос прямой, рот мужественный… в общем, все было в нем привлекательно и приятно. Мне показалось, будто я давным-давно знаю его, будто это близкий мне человек… А может, я и вправду где-нибудь

встречала его раньше? Нет. Тогда почему же я так волнуюсь, когда смотрю на него, почему меня охватывает беспокойство? На это я ответа не нашла. Сердце колотилось, даже дышать было трудно. Одну косу свою я принялась нещадно теребить от смущения. Асыл, впрочем, тоже глядела на него во все глаза…

*

Однажды дядя дольше обычного задержался на работе. Мы всегда ждали его дома с нетерпением. Рудник — это все-таки рудник. Мало ли что может случиться. Когда дядя опаздывал домой хоть ненадолго, мы начинали волноваться. На этот раз он пришел радостный. Разделся, снял шапку и уселся на торе. Ребятишки тут же облепили его, принялись тормошить. А дяде это одно удовольствие. Он возится с ребятами так шумно и весело, будто сам не старше их.

В комнату вошла тетя.

— Что ж это такое тут творится! Дайте отцу покой, он устал, пускай немного отдохнет.

Детвора откатилась. Дядя сел, скрестив ноги, и лихо поправил свои довольно-таки жидковатые усы. Подмигнул ребятам:

— Разве я от этого устану, это мне настоящий

отдых!

За едой говорили о разных делах у дяди на работе, и он между прочим сказал:

— Два новых человека прибыли к нам.

— На работу? — спросила равнодушно тетя.

— Да.

— Где ж они будут работать?

— Один главным инженером рудника, а второй — начальником смены.

— Я решилась спросить:

— Дядя, а откуда они приехали?

— С комбината. Там их утверждали.

— Они киргизы?

— Один киргиз, говорят. У нас на руднике из киргизов еще инженеров не было, этот первый. Молодой уж очень, как он справится с работой? Кажется, не умеет говорить по-киргизски, все по-русски да по-русски. А так вроде бы бойкий парень, может, и привыкнет, наберется опыта.

Я про себя удивилась, откуда вчерашние девушки так точно все знали про приезжих. Потом уж я узнала, что одна из них работает секретарем в дирекции рудника.

После этого в доме у нас ничего не говорили о новом джигите. Я видела его в поселке. Несколько раз проходил он и по нашей улице. По сторонам

не оглядывался. А я украдкой, чтобы никто не заметил, поглядывала на него.

Где мало народу, там много слухов. Про приезжих болтали много, главным образом — о молодом инженере. Его чаще называли просто «инженер-бала», что значит «юноша-инженер». Говорили, что он не киргиз, а кореец. Потом сказали — казах И наконец помирились на том, что он «помесь»: отец был киргиз, а мать — русская. Многие этому поверили, да и я тоже. Но мне было и смешно немного: ну, не все ли равно, кто он, киргиз или не киргиз, чего тут горячиться?

Мне хотелось послушать, что будут говорить о нем наши девушки и молодухи. Плохо ли, хорошо ли говорят, все равно интересно и приятно слушать. Сама-то я молчала. Не понимаю только, почему о нем так много говорили? Как будто нет в поселке других джигитов, о которых можно поговорить!

И вообще, какое мне дело, говорят о нем или нет?

*

Настали ясные-ясные, безоблачные дни. Потемнели южные склоны гор, но на северных снег пока не тает. По ущельям и оврагам побежали

ручьи. Кое-где на припеке выглянули вестники настоящей весны — подснежники. А земля еще холодная, и с гор тянет леденящий ветерок.

Дядя утром так спешил на работу, что забыл взять с собой еду. В полдень я отнесла ее ему. У входа в штольню было очень много народу. Я смотрела, как снимали кору с огромного бревна и спускали его потом в штольню. Шумно было на эстакаде: там что-то ремонтировали. Словом, каждый занят был своим делом.

Немного погодя двинулся с грохотом груженный рудой состав. Стук колес все удалялся и наконец стал совсем не слышен.

Я подошла поближе ко входу в штольню. Нужно подождать, пока выйдет дядя. И вдруг из штольни вышли двое. Один — начальник цеха (я его раньше видела), а другой — «инженер-бала». Он шел прямо к тому месту, где стояла я... На нем была спецовка, вся измазанная, на голове — каска. В руке инженер держал маленький аккумулятор. Лицо у джигита, надо сказать, было грязное-прегрязное. Левой рукой он сдвинул каску на затылок. Мне сразу бросились в глаза его черные волосы и широкий лоб. А он посмотрел на меня с улыбкой. Я замигала часто-часто и не знала, что мне делать.

— Кто вам нужен, сестрица? К кому вы пришли? — спросил он, и голос его показался мне ох каким приятным! Я улыбаюсь и смотрю на него. А он тоже улыбается. В это время появился дядя. Я скорей к нему, но смотрю на инженера. Отдала дяде еду и говорю:

— Дядечка, он хорошо знает по-киргизски…

Голос у меня дрогнул. Дядя ничего не ответил, только погладил меня по голове. Джигит, кажется, тоже слышал, что я сказала, потому что оглянулся на меня, когда пошел к конторе.

*

Незаметно пролетела весна, и началось лето. Поселок зазеленел. По вечерам в центре у нас весело. Шахтеры идут в парк погулять, посидеть на скамеечках. Молодежь — на танцплощадке. Им там хорошо, танцуют, смеются. А я стою в сторонке, где-нибудь в укромном месте, и смотрю, смотрю… И очень часто вижу того, кого мне хочется увидеть. Только встретиться с ним не смею. Нечего скрывать, я ужасно тоскую. Приду домой и реву под одеялом, чтобы никто не слышал. Он танцует с другими девушками как ни в чем не бывало. Мое горе ему непонятно, он о нем и не подозревает.

Я прекрасно знаю, что между нами «пропасть», огромная, бездонная, «пропасть». Все понимаю. Но мне почему-то не хочется подчиняться этому и считаться с этим. Я не хочу в это верить. Тысячу раз я говорила себе, что надо оставить надежды и навсегда забыть его, но ничего не могла с собой поделать. Как бы ни велика была разница между нами, я все-таки надеюсь приблизиться к нему. Не знаю, может, все это только пустые мечты да детское упрямство… Может быть…

«Инженер-бала» для меня все равно, что белый голубь в стае сизых. Я думаю о нем днем и ночью, вижу его перед собой, слышу его голос. Но ведь мы с ним даже руки друг другу ни разу не подали… Нет, надо что-то предпринимать, что-то делать, надо найти какой-то выход. Или будет по-моему, или… пропадай все!

*

На шахте скоро конец смены. Я отправляюсь встречать дядю, взяв с собой его среднего сынишку. Едва мы вышли из поселка, я увидела, что следом за нами быстро шагает «инженер-бала». Что делать? Свернуть в сторону? Но слева речка, справа подымается высокая осыпь. Я была рада увидеть инженера, но здорово растерялась. «Зна-

чит, он сегодня работает во второй смене…»

Он нагнал нас у самого моста. Я не оборачивалась. Он прошел было, потом оглянулся и говорит:

— А-а, это, оказывается, знакомая сестренка! Здравствуйте!

Наклонил голову, но руки не подал. Я не ответила. Застеснялась, видите ли. Покраснела. Он, наверное, понял, что со мной, и наклонился к нашему малышу.

— Ну, большой джигит, как тебя зовут, а?

«Большой джигит», глядя на меня, тоже голову опустил и насупился. Мне стало совсем стыдно.

— Ну, отвечай же, дядя спрашивает.

В это время мы вошли на мост. Мальчуган побежал к перилам — на воду посмотреть. Я тоже пошла за ним. Инженер остановился возле нас, присел и снова спрашивает малыша:

— Ну, что же ты, джигит, не хочешь сказать, как тебя зовут? А еще такой хороший мальчик!

Я уже успела успокоиться.

— Отвечай дяде, — говорю.

— Айстанбек, — отвечает наш герой.

— Арстанбек? Молодец! Сразу видно, что вырастешь храбрым джигитом!

Он похлопал мальчугана по плечу, поднялся,

облокотился на перила и тоже стал смотреть на воду. Он стоял совсем близко, а вода шумела, казалось, все громче и громче. Чистые холодные струи пенились возле камней, спеша дальше и дальше в своем неустанном беге. Я, не отрываясь, глядела на воду, и мысли мои будто становились такими же чистыми и прозрачными, как вода горной реки. Две большие тени падали на воду — моя и его, но тени эти, в отличие от нас, не были неподвижными. Бег реки то заставлял их приближаться друг к другу, то отбрасывал в сторону, они склоняли друг к другу головы, протягивали руки… Я смотрела на них… Но вдруг тени исчезли. Мне показалось, что я поднимаюсь высоко-высоко и лечу, как на крыльях. Река стала похожа на ровное серое поле, а вокруг меня тишина — ни звука.

Сильные руки сжали мои плечи.

— Что с вами, сестренка? — услышала я и словно очнулась от глубокого сна. Инженер все еще держал меня за плечи. Глаза его улыбались.

— Сестренка, да ведь вы… вы едва не упали с моста в реку, — сказал он.

Я в ответ только улыбнулась.

— Нельзя так долго смотреть на быстро бегущую воду. Голова может закружиться. А ну-ка,

посмотрите теперь на небо, на горы.

И он подвел меня к дереву. Я прислонилась спиной к стволу, и некоторое время мы молча смотрели друг на друга. Мне казалось, что он прочел все мои мысли до одной. Тогда чего же мне молчать? Мне захотелось крепко-крепко обнять его и сказать ему, что я люблю его. Рано или поздно это все равно узнается. Я шагнула вперед и протянула руки, но тут что-то словно отбросило меня назад. Я не могла выговорить ни слова. Почему?.. Он же будто почувствовал, как мне трудно, и решил помочь мне выйти из неловкого положения. Слегка прикусив нижнюю губу, помолчал немного, подумал и повернулся ко мне.

— Сестренка, я вас второй раз встречаю. Вы, наверное, опять к отцу идете? — спросил он просто.

— У меня нет отца.

— Мм-м… а мать?

— И матери тоже нет…

Он еще помолчал. Прищурил глаза и сдвинул брови, как будто я коснулась его больного места.

— Ну, ничего. Когда повзрослеешь, сиротство не чувствуется. У нас с вами в жизни есть кое-что похожее. Нам нетрудно будет найти общий язык, — сказал он.

Вы, наверное, представляете себе, как я тогда поняла его слова. А они имели совсем другой смысл.

— Агай, я… — начала было я и запнулась.

— Хорошо, хорошо, родная. (Родная? Как это понять?)… Отчего вы так замкнуты и застенчивы? Молодой девушке не грех быть веселой и общительной. А меня называйте, если хотите, братом или просто по имени — Азим. А вас как зовут?

Азим… Азим… Какое у него приятное, ласковое имя, подумалось мне. Я ответила:

— Меня?.. Меня зовут Джамал.

Мы разговаривали долго. Я даже чересчур разболталась и рассказала ему про себя очень подробно. Он говорил о себе немного, но мне казалось, что и я все-все знаю о нем и его жизни.

— Вам нужно поступить на работу. Что ж дома сидеть? Надо привыкать к самостоятельности, — сказал в конце разговора Азим то, о чем я сама все время думала.

— Мне и самой хотелось бы работать, — ответила я обрадованно. — Если это возможно, то там же, где вы работаете.

— Где и я? В горном цеху?

Вообще-то для женщины это не очень подходящее место. Они больше работают на обогатитель-

ной фабрике или на электростанции. Но Азим больше ни о чем не спросил меня.

*

Дядя с тетей долго отговаривали меня, но в конце концов согласились. До утра я так и не заснула ни на минуту. Вертелась на постели, точно рыба на сковороде. Думала об Азиме и не могла надуматься. На заре подошла к окошку и стала смотреть на поры, такие важные и задумчивые в своем спокойствии. Им нет никакого дела ни до меня, ни даже до Азима, ни до того, что всего через несколько часов я увижу Азима и услышу его голос, буду хоть недолго да рядом с ним… Интересно, а другие девушки могут любить так же, как я? Наверное, могут, они ведь тоже живые люди и должны понимать, что такое любовь… Нет, конечно, не так, как я. Не так сильно. Потому что они любят других, а не Азима. Так сильно можно любить только его одного на всем свете… Я отошла от окошка и бросилась на постель. Вздохнула, полежала немного совсем спокойно и вспомнила, что сегодня мне исполняется семнадцать лет…

*

Утром я пришла в управление рудника. Азим ждал меня, как мы и договорились. На нем был черный костюм. И галстук, очень красивый. Мы поздоровались за руку и вошли в здание управления. Мне там все очень понравилось, — может быть, потому, что раньше я в таких учреждениях никогда не бывала. Сначала мы пришли в большую комнату, где у окна сидели друг против друга две женщины. Одна была секретарь директора — девушка, которую я уже видела в кино. Вторая, незнакомая, что-то печатала на машинке. Слева, на диване, сидело трое пожилых мужчин. Все трое прижимали к себе какие-то папки. Один все время недовольно шевелил губами и пристально смотрел в одну точку на стене. Азим спросил секретаря, у себя ли директор. Она только кивнула головой и продолжала заниматься своим делом. Тогда мы сели на стулья недалеко от тех троих на диване.

Из директорского кабинета вышло, громко разговаривая, несколько человек. Двое из тех, что сидели на диване, прошли в кабинет, но очень скоро вышли. А человек, который шевелил губами, предложил нам:

— Ребята, если вы не надолго, заходите. А то у меня дело долгое. Измучаетесь ждать.

Мы поблагодарили его и вошли к директору. Он встал и молча показал нам на стулья: садитесь, мол. Закурил, поглядел на ручные часы. Налил в стакан воды из графина и залпом выпил.

— Эх, хороша водичка!

Сел, вытер платком вспотевший лоб.

— Ну, Курманов, как дела?

— Спасибо, Анатолий Михайлович, неплохо.

— С выработками, с объектами познакомился уже?

— Конечно, познакомился, времени прошло порядочно.

— Ну, знаешь, некоторым и года не хватает, чтобы узнать участок, — директор рассмеялся. — Но ты, я вижу, не только с работой знакомишься, а и с девушками нашими. Уж не невеста ли? — директор опять засмеялся.

Я опустила голову, но видела, что Азим улыбнулся и покраснел. Потом провел рукой по волосам и сказал директору спокойно, как обычно:

— Мы к вам, Анатолий Михайлович, вот с какой просьбой… Девушка вот эта по некоторым причинам вынуждена была на время оставить школу. Она племянница Сыдыгалиева, бурильщика из

нашего цеха. Вы его знаете. У него ребятишки малые, а жена часто болеет. Короче говоря, — Азим посмотрел на меня, — надо эту девушку устроить к нам на работу…

Пока Азим говорил, директор внимательно смотрел на него, постукивая по столу толстыми пальцами. Когда Азим кончил, директор опустил голову и задумался. Мы смотрели на него, — что он скажет?

— Та-ак, Курманов, ты извини, я забыл как тебя зовут-то?

— Азим, Анатолий Михайлович.

— Так вот, Азим, дело такое. Помочь этим людям, конечно, нужно. Но сейчас у нас нет для нее подходящей работы. Ни на фабрике, ни на электростанции… Надо подождать…

— А в других цехах?

Директор принялся задумчиво потирать рукой подбородок.

— Да вообще-то одно место есть. Только не для девушки такая работа, пожалуй… В горном цеху.

— Хорошо! Я согласна! — неожиданно выпалила я и даже вскочила с места, но тут же села. Директор улыбнулся. Ничего не сказав нам, вызвал секретаря и попросил позвать Яковлева. Тот скоро пришел, поздоровался и начал было о чем-

то докладывать, о каком-то двенадцатом блоке, я толком не слушала. Директор перебил Яковлева:

— Василий Петрович, извините, я тут о другом… О ваших делах поговорим потом подробно. Скажите, с какого числа ушел у вас коллектор с первого участка?

— Да уж недели три прошло.

— Нашли кого нибудь на его место?

— Пока что нет подходящего человека.

— Мм… Василий Петрович, — тут директор внимательно посмотрел на Яковлева, — тогда вот что. Эта девушка просит взять ее на работу. Не посоветуете ли, как быть.

Яковлев вытащил из нагрудного кармана очки, надел их и принялся разглядывать меня. Потом снял очки.

— Анатолий Михайлович, вы же сами знаете. На этой работе девушке будет тяжело. Не справится она, вообще там девушки не справляются…

Азим встал.

— Василий Петрович, вы с одной стороны правы, конечно. Но с другой… ведь во время войны женщины у нас и проходчиками работали. Трудно, правда, им было, но справлялись. Горный участок, понятно, не канцелярия… Но… Не так уж тяжело два-три раза в неделю спуститься в

шахту. Если работа заинтересует ее, она, может, иному парню сто очков вперед даст. Сейчас трудно сказать.

— Курманов верно говорит, Василий Петрович. Вы пойдите к себе в отдел и подумайте. Если вы дадите согласие, я не против, — поддержал Азима директор.

Мы попрощались и вышли вслед за Яковлевым. Это был главный геолог рудника. У него мы пробыли долго. Они с Азимом долго спорили, я тогда по-русски еще плохо знала и не все поняла в их споре. Только все боялась, что вот из-за меня такие солидные люди шумят и спорят, как бы еще не поссорились. Но в конце концов Яковлев сказал: «Ладно».

С 25 марта я начала работать коллектором геологического отдела первого горного цеха.

2

Утром, когда я в первый раз вышла на работу, Яковлев познакомил меня с сотрудниками отдела. Их было девять человек. Женщин только две. Я остановилась возле яковлевского стола.

— Канай, — сказал Яковлев, — подойди, пожалуйста.

Джигит, который сидел за одним из письменных столов и что-то чертил, то и дело запуская руку во взлохмаченные кучерявые волосы, нехотя поднялся. Подошел. Высоко поднял брови и зачем-то скосил рот на сторону.

— Канай, эта девушка будет работать вместе с тобой. Познакомь ее с основными принципами работы, научи вести цеховой журнал учета, ну, словом, ты сам знаешь, — и Яковлев взял карандаш, давая понять, что разговор кончен и пора браться за дело.

Канай окинул меня высокомерным взглядом и пошел на свое место, не сказав мне ни слова. Я пошла за ним. Все сотрудники занимались своими делами, чертили, писали, уткнувшись в бумаги. Не очень-то я, должно быть, им понравилась. Канай пододвинул мне какой-то старый

шаткий стул и тоже углубился в работу. Я не села, я стояла и смотрела на стол. На нем лежал квадратный лист плотной бумаги, разрисованный, точно географическая карта, разными красками. Канай зачеркивал красным карандашом квадратики сетки, нанесенной на краю листа. Кудрявая женщина, которая сидела за соседним столом, посматривала сбоку на меня. Мне понравилось ее лицо. Тогда — только ее одной из всех сотрудников.

Во время обеденного перерыва мы все вышли из отдела. Ко мне подошла та кудрявая женщина и сказала:

— Мы теперь вместе будем работать. Как же вас зовут?

— Джамал.

— А меня Светлана. — Она улыбнулась такой милой улыбкой. — Я здесь тоже недавно. Ничего, привыкнешь.

Мы шли вместе до самого поселка и разговаривали. Светлана — инженер-геолог, окончила институт в Алма-Ате. Работала сначала на руднике Текели, потом ее перевели сюда.

— Ты своей работы не бойся. Ничего в ней сложного нет, все очень просто. Для девушки тяжеловато, конечно. Но тебе это потом пригодится,

польза будет. Мы ведь тоже потаскали мешочки с пробами на спине, повозились с камушками. Может, и ты потом станешь геологом. Какое у тебя образование-то?

— Я кончила девять классов.

— Хорошо-о… Но надо продолжать, просто необходимо. Ты еще совсем молоденькая. — Это она сказала грустно и некоторое время молчала.

— А вы кем работаете? — решилась спросить я.

— Участковым геологом.

— А-а-а… — протянула я понимающе, хотя, конечно, не имела представления о том, что это значит. — А этот… как его… Канай?

— Ах, этот… — Светлана посмотрела на меня испытующе. — На первый взгляд ничего особенно привлекательного в нем нет, но так он как будто неплохой парень. Я его тоже плохо знаю. Ничего, узнаем. Не бойся.

— Чего же мне бояться? Я просто так спросила.

*

Время шло себе да шло. Сначала я ужасно мучилась, потом привыкла к работе. Дядя все уговаривал:

— Брось ты эту свою затею! На что нам эти деньги, смотри, как ты исхудала.

Но я не соглашалась.

Азима я почти не видела, хоть и работала в горном цехе. Зато и в конторе, и в шахте я не расставалась с Канаем. В первые дни он был недоволен моей работой. Мне ничего не говорил, а Яковлеву жаловался (это мне потом Светлана рассказала). Но вскоре Канай сменил гнев на милость. Не знаю уж почему: то ли нашел, что я постигла премудрости своего нехитрого дела, то ли решил, что достаточно показал характер. Но, в общем, вел себя не так, как в первое время.

Помнится мне, как-то примерно через две недели после моего прихода в цех мы брали пробу из верхнего уступа нового блока. Канай отметил те места, откуда надо было взять пробы, и уселся по своему обыкновению на груду руды покурить. Я расстелила брезент и принялась отбивать молотком куски породы. Но вот вдалеке показался свет: кто-то шел со стороны восстающего[10]. Канай не двинулся с места. Человек подошел к нам. Это был Азим. В первый раз я встретилась с ним во время работы, и в каком же я была виде! Волосы висели из-под каски безобразными патлами, лицо мокрое от пота… От стыда я начала скорей-

[10] Примечания: 10

Восстающий — подземная вертикальная горная выработка, не имеющая непосредственного выхода на земную поверхность.

скорей швырять на брезент камни.

Азим поздоровался.

— Сала-ам, — нехотя откликнулся Канай. Швырнул окурок через плечо и засвистел.

— Джамал, а ну-ка, дай твой молоток, — сказал Азим, не сводя глаз с Каная. Я протянула ему молоток. Азим повесил аккумулятор на острый выступ породы и взялся за дело с какой-то злостью. Кончил он скоро. Я не смотрела на него. Развязала один из маленьких мешочков и начала складывать в него пробу.

— Ну как, закончили? — с издевкой спросил Канай.

— А ты не видишь? — спокойно ответил Азим, укладывая пробу вместе со мной. Канай теперь стоял возле нас так, что загораживал собою свет. Мы шарили по брезенту в темноте.

— Хх-ха! Какой ты воспитанный! Если хочешь показать свое уважение к девушке, делай это в другом месте. Здесь работа, а не парк культуры, понял?

Азим встал и выпрямился.

— Уважение нужно везде. Я не собираюсь приходить сюда каждый день и работать за Джамал. Пойми правильно. Она молода, да еще девушка… Трудно ей. Надо на первых порах помочь челове-

ку и делом, и советом.

— Хватит, не морочь голову. Моя работа тебя не касается. И не твое дело помогать тем, кто работает у меня, понятно? Я твоих проходчиков и бурильщиков не трогаю. И ты ко мне не лезь! А ты чего разинула рот, давай, бери следующую пробу! — гаркнул он и толкнул меня в плечо. Я ничего не понимала. Разве они враги друг другу? И если да, то давно ли и почему? Я немного отступила в сторону и остановилась. На душе у меня стало тревожно.

— Ну, чего встала, говорю! — снова крикнул Канай. — Иди делай свое дело! — и он протянул ко мне руку, собираясь, должно быть, еще раз толкнуть меня. Но не успел. Руку его крепко перехватил Азим.

— Как тебе не стыдно, Канай! — крикнул он.

— Что-о?! — Канай рванулся, но Азим не отпускал его. Я увидела, что Канай рванулся еще, размахнулся… я зажмурилась и даже закрыла лицо руками. Услышала звуки ударов, не утерпела, вскочила и открыла глаза. И тут же снова зажмурилась. Мне стало страшно: казалось, две громадные уродливые тени борются почти беззвучно одна с другой. Никаких возгласов, только глухие толчки да прерывистое дыхание. Мне

хотелось закричать, но я не могла, голоса не было… Вот они отшвырнули карбидку, она погасла. Стало темно-темно. Я не знала, что мне делать. Хотела помочь Азиму да не знала, как и чем. Ведь Канай изобьет его — он и старше и сильнее. Я начала шарить по карманам спецовки, искать спички. Нашла, наконец. А парни все еще дрались. Я чиркнула спичкой. Ее слабый огонек на мгновение выхватил из темноты фигуры Азима и Каная. Мне показалось, что они отпрянули друг от друга. Я снова зажгла спичку. Канай и Азим смотрели на меня. Я видела только две пары блестящих глаз. Не знаю, как мне удалось зажечь карбидку, но удалось-таки. Стало светло, как днем. Оба джигита стояли передо мной в своих серых спецовках, с непокрытыми головами — каски их валялись на земле. Оба тяжело дышали, волосы у них растрепались, лица были в грязных пятнах. Если бы увидел их сейчас кто-нибудь еще, не удержался бы от смеха. В забое все еще стояла пыль столбом.

Но вот Канай сплюнул, шагнул в сторону и сел. Только теперь я заметила, что левый глаз у него подбит. Всмотрелась в Азима. Нет, ему, кажется, почти не попало. Щеки горят да спецовка на локте разорвана, вот и все. Он стоял, сжав кулаки и

не сводя глаз с Каная. Канай держался руками за виски и смотрел в землю.

Азим посмотрел на меня и улыбнулся так, будто ничего не произошло. Поднял каску, пригладил волосы и надел каску на голову. Канаеву каску бросил хозяину — что, мол, с тобой, а ну-ка, надень. Тот не поднял головы, не шевельнулся. Азим уложил последнюю пробу и ушел на свой участок. Канай долго смотрел ему вслед. Тишину в забое нарушал теперь только стук моего молотка — чак-чак-чак…

*

Я, кажется, уже говорила, что Канай довольно скоро изменился. Почему? Тогда я этого не понимала. Где бы мы ни брали пробу, он работал вместе со мной. Мешки по лестницам таскал сам и сам грузил их в вагоны. Со мной обращался совсем не так, как вначале, и называл меня ласково — Джамаш… Я сказала об этом Светлане, она усмехнулась, а потом предупредила серьезно: «Ты будь поосторожней…»

Что это значит? И почему — поосторожней?

*

Я не заметила, как прошло лето: глядь, уже и конец августа. Южные склоны давно пожелтели, начали желтеть и северные. Дни стояли еще жаркие, а по ночам было совсем прохладно — высоко все-таки мы живем.

После работы я обычно не знала, чем заняться. Помогу тете закончить разные домашние дела и сажусь в комнате у окошка, в котором одно стекло было выбито. Сижу одна и смотрю на поселок, утонувший в зелени. Теперь мне знаком и мил в нем каждый уголок, я люблю наш поселок, — наверное, потому, что привыкла к нему. Немного подальше поселка начинается наше озеро, красивое и переменчивое. Оно перекликается с небом: когда небо ясное, сияет и озеро; когда небо хмурится, и озеро мрачнеет. А если по небу ветер гонит тяжелые холодные тучи, озеро вздымает высокие шумные волны и обрушивает их на берег… Иссык-Куль, Иссык-Куль, как часто пушистые белые облака, тянущиеся вдоль голубоватой горной гряды противоположного берега, соединяют твою воду с синевой неба! Бывают же на свете такие красивые места, я просто не могу налюбоваться на эту красоту. Смотрю долго-дол-

го, и мне начинает казаться, что над всем этим — над озером, над поселком — появляется большой силуэт. Вначале туманный, он постепенно становится четче и четче. Он приближается ко мне, это уже не рисунок, а живое лицо, его, единственное, лицо. И я ничего не вижу, кроме этого лица, — ни гор, ни озера, ни неба, ни поселка. «Азим, — обращаюсь я к нему мысленно. — Азим, что ты за человек, скажи мне. И сам ты, и твой взгляд, и твоя улыбка — загадка для меня. А ведь ты для меня — все…»

С недавних пор я осталась совсем одна. Асыл кончила десятый класс и уехала в Пржевальск поступать в пединститут. Ей это подходит — она может научить человека тому, что сама знает, очень легко и просто. Меня, например, выучила за неделю танцевать. В общем, я осталась без подруги. Правда, со Светланой мы сходились все ближе и ближе…

Вечером я собралась и пошла в парк. На танцплощадке уже играла музыка, очень красивая. Я теперь знаю, что играли тогда вальс Штрауса «Голубой Дунай», который я с тех пор запомнила на всю жизнь. Я не стала, как обычно делала до этого, прятаться в тени. Я пошла к танцплощадке по самой освещенной аллее, и мне совсем не

было страшно. Я шла одна, и на меня обращали внимание и, кажется, даже переговаривались на мой счет. Но мне было все равно. Я подняла голову и шла вперед уверенными шагами. Народу на танцплощадке было много. Мне казалось, что все эти люди повернулись и смотрят на меня. Я прошла через входную дверцу. Азим был здесь; он стоял в противоположном от меня углу и разговаривал с какими-то девушками. И я теперь видела только его одного… Он заметил меня, посмотрел пристально и удивленно. Ничего не сказав своим собеседницам, подошел ко мне.

— Джамал?..

Я не ответила, я только смотрела на него растерянно. И тогда Азим протянул руку — он приглашал меня танцевать. Разве могла я отказаться? Я положила левую руку ему на плечо, он обнял меня за талию. Впервые в жизни я танцевала с парнем в обнимку при всем честном народе. Но ведь мне так давно хотелось потанцевать с Азимом! Теперь желание мое сбылось, Азим был рядом, его глаза сияли так близко — две звезды, упавшие для меня с высокого неба. Ох, как сильно колотилось у меня сердце и как горели щеки!

Потом мы сидели на невысоком холме у самого конца парка. Все вокруг было спокойно и

немного печально. Тишина. Только из елового леса неподалеку время от времени доносился голос кукушки. Озеро лежало такое неподвижное, что, казалось, и оно прислушивается к этим отрывистым тоскующим звукам. Луна пряталась за облаками, и горы виднелись лишь темными силуэтами.

— Каждый край красив по-своему, — вдруг сказал Азим задумчиво. — Как хорошо теперь в Чуйской долине! И цепи гор киргизского Ала-Тоо, и беспредельные золотые поля, красоте которых, кажется, луна и звезды завидуют. В ясные ночи луна сияет так, будто долго-долго умывалась перед восходом, а звезды… их столько, они такие большущие, что кажется — вот-вот попадают в густую пшеницу… Нет, до чего хорошо!

— Вы хотите сказать… — начала я, но остановилась. Мне хотелось, чтобы Азим говорил еще и еще.

— Джамал, я хочу сказать, что в мире много красоты. Увидеть и понять эту красоту может лишь человек. Но мало понять! Ему нужно украшать, делать лучше свою жизнь. Тогда он приобретет право любоваться красотой мира. Но сделать жизнь лучше — нелегкое дело. Для этого нужно трудиться и бороться. Понимаешь ли ты, Джамал,

что это значит? Жизнь — это борьба, говорят. А знаешь, кто это сказал?

Я покачала головой: «Не знаю…»

— Это сказал Маркс, Карл Маркс!

Я не понимала, зачем Азим говорит мне все это. Тогда высокие материи, вроде философии и прочего, были мне неинтересны. Лучше бы он говорил еще о луне, о звездах, о небе…

— Джамал, а ты в этом году учиться будешь? — спросил Азим.

Теперь стало понятно, для чего он завел речь об улучшении жизни. Не зная, как ответить, я довольно-таки глупо переспросила:

— Я-то? В этом году?

Азим рассмеялся.

— Именно ты… и именно в этом году.

— Не знаю… Я об этом не думала.

— Когда же ты собираешься думать, если не сейчас? До начала учебного года осталось каких-нибудь десять дней.

Я постаралась собраться с мыслями, понимая, насколько серьезен и самый вопрос и начатый Азимом разговор.

— Времени действительно мало, — согласилась я, но не ответила, буду ли я учиться. «Если начну учиться, как быть с работой? С Азимом почти не

придется видеться, я этого не хочу. А что он подумает обо мне, если я не вернусь в школу? А дядя с тетей?» — все это разом промелькнуло в голове.

— Вот и я об этом говорю, — услышала я голос Азима. — Значит, надо решать поскорей.

— Учиться, конечно, хорошо бы. Но как быть с работой? Вы сами понимаете, у дяди семья. Я уже не маленькая, я не могу быть обузой дяде с тетей, я должна им помогать, — рассудительно заявила я, чувствуя, как заныло сердце при мысли о том, что учиться, может, и вправду не придется.

Азим долго молчал, потирая рукой подбородок.

— Это ты права, Джамал. Ежели так… хотя погоди! Как же я забыл? В этом году открывается вечерняя школа рабочей молодежи. — Он вскочил и потянул меня за руку — Ну вот, Джамаш (он впервые назвал меня так ласково), ты и поступишь в вечернюю школу.

Я этому тоже обрадовалась и почти закричала:

— Ну, конечно, поступлю, конечно!

Азим улыбнулся. Сжал мою руку в своей.

— Когда кончишь школу, нужно дальше учиться. Джамал, пойми и это!

Мы стали смотреть в небо. От него глаз нельзя было отвести, честное слово! Луна сияла вовсю, облака лишь кое-где виднелись неровными

клочками. Озеро перерезала серебряная лунная дорожка. Подножия гор залиты были холодным светом, а вершины терялись в темноте.

Мы поднялись с места…

*

Канай отнесся к моему поступлению в школу неодобрительно.

— Бабам ученье ни к чему. Выходят замуж, и вся учеба насмарку. Да и как ты будешь успевать, интересно? На работе никто тебе за твою школу поблажек давать не будет.

Успокаивал он меня так:

— Ну уж ладно, кончай десятый класс, ежели так хочется. И хватит с тебя.

Впрочем, я не особенно прислушивалась к тому, что он говорил. Все это пролетало мимо. Я считала, что Канай вообще не может ничего дельного сказать. Такое услышишь от людей, которые умны, много знают, много видели. А он что. Он не знает и ничтожной частички того, что знает Азим. Вообще они — небо и земля. Смешно даже сравнивать. Все достоинства Каная — его большой рост да густая шевелюра. Тоже богатство!.. Азима он ненавидит. Не знаю уж, с тех ли пор, как они подрались в забое или еще раньше

невзлюбил он его, но только ругает он Азима неустанно. Ругает, ругает, как ему не надоест! Если бы мог, наверное, прогнал бы пинками из поселка, да только руки коротки. О том хорошем, что делает Азим, он молчит, как в рот воды набрал. Не желает замечать его успехов. Зато уж если узнает о самой пустяковой ошибке инженера, трещит об этом с утра до вечера, из мухи готов верблюда сделать. Рассказывает встречному и поперечному и сам же смеется, бессовестный. Знает ли об этом Азим? Непонятно. Держится он так, будто ни сном, ни духом ни о чем не ведает. Но Канай, должно быть, не понимает, что болтовня одного дурня не может изменить мнения всех о человеке. Да не понимает и того, что своей болтовней себе же вредит.

Помнится, это было в то утро, когда мы прочли в отделе приказ о назначении Азима начальником участка. Все, ну просто все, говорили, что это правильно. Даже Яковлев, который любил покритиковать Азима: «молодой чересчур, горячий, опыта маловато», снял очки, повертел их в руках и сказал:

— Молодец он, с работой справляется. Я в него верю.

Я очень обрадовалась. Мне хотелось расцело-

вать Василия Петровича за эти слова. Я улыбнулась, Светлана посмотрела на меня и тоже улыбнулась. Канай стоял у окна, задумчиво щурился на весьма важный и интересный предмет — носок своего ботинка.

— Ну вот, Канай, и новый начальник у нас есть. Теперь тебе по работе больше всего придется иметь дело не с Александром Никитичем, а с товарищем Курмановым. Ты хорошо с ним знаком?

И Яковлев испытующе поглядел на Каная.

Канай, прежде чем ответить, почему-то взглянул на меня.

— Знаем, знаем, — протянул он. — По-моему, Василий Петрович, администрация поступила неправильно. Ошиблась. Молодежь, конечно, надо выдвигать, только не таких, как Курманов. Он того не стоит. Он… он попросту заносчивый петух. «Я здесь единственный настоящий инженер», — вот его мнение о самом себе.

Светлана нахмурилась.

— Но ведь он не говорил тебе, например, что он инженер, а ты всего-навсего техник, верно? Эх, Канай, нехорошо!

В комнате стало тихо. Светлана продолжала:

— Что-то никто из нас не замечал за ним того, о чем ты говоришь. Те, кто с ним вместе работают

в горном цеху, уважают его и, наверное, не зря. Такие люди попусту хвалить не станут. Кто же лучше знает, они или ты? Они вместе с ним работают, им видней!

Канай вышел из комнаты — то ли потому, что остался, так сказать, в меньшинстве, то ли потому, что не хотел больше слушать, как хвалят Азима. Уже на пороге он сказал:

— Посмотрим. Не спешите с выводами.

*

Февраль месяц. Воскресенье. Дядя взял своего старшего и отправился к соседям. Погода прекрасная, снег так и сверкает на солнце. Мы с тетей перебрались на южную половину дома и уселись в коридоре. Тетя что-то шьет для ребятишек на машине, я готовлю уроки. Время от времени тетка перестает строчить и бросает на меня взгляд искоса. Я не обращаю на это особенного внимания, ну, смотрит и пускай себе смотрит, нельзя, что ли, одному человеку поглядеть на другого. Время шло потихоньку-полегоньку, а мы с тетей работали молча. Но вот она посмотрела на меня как-то особенно пристально. Теперь я начала беспокоиться, но не хотела показывать этого и продолжала смотреть в книгу как ни в чем не

бывало. Сердце у меня стукнуло сильней… еще… и наконец забилось часто-часто. Что же это? Что у тети на уме? А ведь в последние дни не только она, но и дядя стал какой-то «не такой». Оба они как будто все собираются о чем-то поговорить со мной, но не решаются. Стараются что-то скрыть от меня, я вижу, — мы, девушки, наблюдательны, вы не думайте. Может быть, я в чем-нибудь провинилась? В таких случаях человек начинает чувствовать свои больные места. Тяготятся они мною? Не может быть, не поверю этому. Неужели дядя бросит меня на произвол судьбы? Что я ему сделала? Проклятое, проклятое сиротство… Тут мне стало ужасно жаль себя, я прикусила губу, стараясь удержать слезы, но от этого еще больше захотелось плакать. И я заплакала, выпустив книгу из рук, заплакала сначала потихоньку, а потом и в голос.

Стук машинки прекратился.

— Джамал, Джамалта-ай! — тетя в одну минуту очутилась возле меня и обняла меня. — Что с тобой, родная? Что произошло?

Но я только пуще плакала. Тетя долго уговаривала меня, потом замолчала, прижав свою голову к моей. Немного погодя прошептала:

— Ну, Джакин, в чем же дело?

Я не выдержала:

— Тетя, почему ты все молчишь, что ты от меня скрываешь? И дядя тоже… Почему?

— Перестань-ка, милая, перестань…

Я понемногу успокоилась. Сидела, разглядывала привычный узор нашего старого шиирдака и думала. «Наверное, и Азим не раз плакал вот так же горько, как я. Бедняга!» От этих мыслей становилось и грустней и легче на душе.

Тетя расстелила скатерть и принесла чай. Повертела пиалу в пальцах, отхлебнула чаю и начала:

— Джакин, мы о тебе плохого не думаем, что ты! Но ты уже не маленькая, восемнадцатый год тебе пошел. Для девушки это немало. У меня в восемнадцать лет уж ребенок был. Мы тебе хотим только добра. Если с этими вот пострелятами что случится, — она посмотрела на усевшихся вместе с нами за чай ребятишек, — ну, не дай бог. И ты для нас так же дорога…

Тетя замолчала, будто ждала, что я скажу. Я ничего не сказала.

— Мы не хотим, чтобы в поселке болтали про тебя. О молодых девушках люди любят посудачить, — что ж, как говорится, на чужой роток не накинешь платок, — тут тетя снова замолчала и

занялась чаем.

Что же она знает? И почему не хочет сказать мне? Не хочет, это ясно. Боится, что я расстроюсь и стану хуже учиться? Может быть…

— Тетя, а что ты слышала обо мне, скажи?

— Да ничего… — замялась тетя.

Но тут я пристала к ней, как с ножом к горлу.

— Тетечка, зачем скрывать, расскажи, если хочешь помочь и веришь мне. Рано или поздно я все равно узнаю, не от тебя, так от других. Разве это лучше?

Тетя поупиралась еще немного, потом все же рассказала. Закончила она так:

— Родная, ты подумай о своем будущем. Если, не приведи аллах, что случится, если начнут на тебя пальцами показывать, ты всю жизнь потом горя не оберешься. К тому же Азим тебе не пара.

Она сказала то, что я сама себе тысячу раз говорила. Но как ужасно, непереносимо больно было услышать это от другого человека! Я вскочила, убежала в комнату, уткнулась лицом в подушку и тут уж наплакалась как следует.

С этого самого дня я всюду — и дома, и на работе, и на улице — чувствовала себя несвободно, неловко. Казалось, все только и смотрят на меня одну и говорят только обо мне. Единственно, что

меня успокаивало немного — это сознание полной моей безгрешности и полной моей правоты.

Азим был такой же, как всегда. Как будто он ничего ни от кого не слышал. Когда мы встречались, он, как выражается моя тетя, дотошно расспрашивал меня о моей учебе, о работе. Расспрашивал, ну, просто, как родной брат, давал советы и ни разу не сказал ничего необычного. Я по-прежнему смотрела на него во все глаза и по-прежнему удивлялась тому, что он, такой молодой, так хорошо знает жизнь и во всем разбирается.

И Азим часто смотрел на меня внимательным и долгим взглядом, выражение которого было для меня, к сожалению, совершенно непонятно. Что в его глазах — дружба, любовь? А что если… О, тогда моему счастью не было бы границ! Но мне сразу же становилось страшно. Ведь, я и вправду неровня ему. За что ему любить меня? За красоту? Да если бы я была красивей всех красавиц, ему одного этого было бы мало. Ему ровня — человек такой же, как он сам, если такой человек есть еще на свете, в чем я, откровенно говоря, сомневаюсь.

А я любила Азима все больше и больше. Надежда не оставляла меня, а от признания удерживала

девичья гордость и застенчивость.

3

В последнее время Канай стал необычайно приветлив. Этому удивляюсь не только я, но и все у нас в отделе. Даже его острые злые скулы, кажется, сделались кругленькими, мягкими, а узенькие глазки так и светятся радостью, когда он с кем-нибудь разговаривает.

Ровно в девять мы были в блоке. Канай, как обычно, работал своей рулеткой, отмечал, где брать пробы. Я сидела неподалеку и налаживала карбидку. В дальнем конце блока, наверное, готовились к взрыву: там шумели перфораторы, мелькали неяркие огни. Я уже привыкла к шахте и не оглядывалась с опаской по сторонам, как в первые дни работы. Что скрывать, тогда я здорово трусила. Мне казалось, что все эти страшные нависшие камни только и ждут, когда я подойду поближе, чтобы свалиться мне на голову. Я обливалась холодным потом и тряслась от страха. Все боялась — вдруг завалит выход из блока, что тогда? Я даже не знала, что в блоке есть запасной выход. Когда я брала пробу, то ударяла по камню с опаской, словно могла причинить ему боль. Ударю молотком раз-другой и прислушаюсь. Теперь

смешно вспоминать об этом.

— Джамал, иди, начнем отсюда, — позвал Канай.

— Мешочки все захватить?

— Давай.

— А где брезент, у вас?

— Да, да, вот он.

Я встала и, пригнувшись, подошла к нему.

— Сядь, отдохни. Я покурю.

— Нет, агай. Некогда отдыхать, я и так долго сидела… Откуда начинать, с той первой отметки?

— Не спеши. Ты вот что… Скажи, Джамал, почему ты до сих пор называешь меня «агай»? Лучше Канай или Ка… — он не договорил и повернулся ко мне. Выражение лица у него было какое-то виноватое. Я посмотрела на него и почувствовала, как во мне вспыхнула злость… Канай встал и двинулся ко мне. Я отступила. Губы у него задергались, будто он собирался что-то сказать. Нет, не сказал ничего…

Я расстелила брезент и начала брать пробу. Канай вертелся возле меня. Он завернул край брезента и принялся отбрасывать в сторону куски пустой породы. Потом взял мой молоток и несколько раз ударил по тому месту, откуда я брала пробы. Но до конца отметки не дошел.

— Хватит, давай мешок, — сказал он.

Я принесла один мешочек, мы вдвоем уложили в него пробу. Канай продолжал выбирать пустую породу и отбрасывать эти куски в сторону.

— Почему вы это выбрасываете? В книге про такое не говорится, — заикнулась было я, но Канай перебил меня:

— А, книги! По книгам пусть сами ученые работают. Мало ли про что в книгах написано так, а в жизни выходит этак!

Почему он так делает, почему? И это не в первый раз… Не понимаю, право.

Мы вышли из шахты и направились к конторе.

— Курманова теперь в конторе и не увидишь, — сказал вдруг Канай. — С утра до ночи торчит в шахте.

— У него срочная работа. Да он и всегда много времени проводит в шахте, не только теперь.

— И наша Светлана пропадает вместе с ним, — продолжал Канай, как мне послышалось, с особым ударением. — Это неспроста.

— Ну и что? Они же вместе работают, — возразила я. — Мало ли кто с кем на работе вместе… Дело не в этом.

Не знаю, понял ли он, что я хотела этим сказать,

но спорить со мной не стал.

— А Светлана к тому же еще не все блоки и выработки знает. Нужно же ей с новым участком познакомиться, привыкнуть к новой работе. Это не так-то просто, хоть она и геолог (примерно с середины прошлого месяца Светлану временно перевели маркшейдером на первый участок. Она ведь раньше, до института, работала техником-маркшейдером).

— Вот я и говорю, — будто оправдываясь, заключил наш разговор Канай.

*

Долгожданный праздник Первого Мая пришел и прошел. Вечером, словно он только и дожидался, когда кончится торжество, хлынул проливной дождь. А второго числа погода снова была ясная-ясная. Горы сразу зазеленели, легкий прохладный ветерок принес медвяный запах весенних цветов.

Солнце стояло уже высоко, когда мы поднялись на скалу, которую у нас называют «Плечо». Было тихо. Высохшая прошлогодняя трава цеплялась за ноги. Маленькие пестрокрылые птахи спешили спрятаться от нас в зарослях арчи.

Нас было человек пятнадцать ребят и девушек.

«Старейшая» у нас Светлана. Она перекинула через руку сползший ей с головы на шею тонкий белый платок и стояла, глубоко дыша и глядя вдаль.

— Сколько же здесь покоя! Никогда не видела ничего подобного, — тихо сказала она.

Я подошла и встала рядом с ней. Мне-то эти места знакомы, но сейчас я по-новому видела их красоту. Горы, горы — окаменевшие волны сказочно великого океана. А на гребнях волн — белая пена вечных снегов…

Азим шагнул вперед, расстегнул ворот рубашки и поднял к небу правую руку.

— Эй-хэ-эй!

«Хэ-эй!.. Э-эй!»

Эхо прокатилось по горам и упало в дальнее ущелье. Зажмурившись крепко, до боли в глазах, слушала я это эхо. А когда открыла глаза (вот странно!) силуэт поднятой вверх руки Азима ярко-белым облаком выделялся на фоне ясного неба. Сам Азим стоял на том же месте…

Мы уселись в кружок и поели. Настоящий той, где хозяевами были все мы, — каждый принес с собой угощенье. Еды было много, были и вино, и водка для ребят. Все развеселились, никому не хотелось возвращаться домой. Особенно шумно вел

себя Канай. А Светлана и Азим были сдержаннее всех. Если не присматриваться, можно было бы и не заметить: они веселились вместе со всеми. Но от внимательного взгляда это не ускользнуло бы, особенно от моего. Ведь я ни на минуту не спускала с Азима глаз. Его и Светлану что-то объединяло и вместе с тем отделяло от других, — это я отлично видела, и на душе у маня было нехорошо. Как тогда сказал Канай? «И наша Светлана пропадает вместе с ним»? Это, мол, неспроста. Неспроста, конечно. Но что за этим скрывается? А я все равно не могу подумать о них плохое, — решила я вдруг, и мне снова стало легко.

Мы начали играть в «поймай платок». Во время игры Канай сидел справа от меня. Азим водил и бросил платок мне на плечо, но промахнулся, и платок подхватил Канай. Азим не ожидал этого и был спокоен, а Канай сразу пустился бежать. Азим не догнал его и рассмеялся:

— Не выгорело мое дело!

— А ты и здесь хотел бы только выигрывать? Нет, дорогой, это не то, что карьеру делать!

Подоспевший Канай говорил без тени шутки. Ребята возмущенно зашумели. Мне хотелось вскочить и ударить моего противного начальника. Светлана сидела напротив меня. Будто угадав

мое намерение, она посмотрела мне в глаза и покачала головой. Я осталась сидеть. Азим не сказал ни слова и, опустив глаза, сел на свое место. Но игра уже не клеилась. Ребята с участка Азима принялись было высмеивать Каная, но Азим остановил их:

— Бросьте, друзья, зачем затевать ссору. Если у него душа горит, поговорим после.

Всю обратную дорогу Азим и Светлана обсуждали какой-то производственный вопрос, спорили, даже сердились друг на друга. Я толком не поняла, о чем у них шла речь, но, кажется, о каких-то делах на первом участке.

— Ладно, на производственном совещании все решится. Тогда посмотрим, — сказал Азим, прощаясь с нами.

*

На производственном совещании я не была. В этот день у нас в школе был последний урок. Училось нас по вечерам не так уж много — человек двадцать. Когда прозвенел последний звонок, к нам в класс пришли директор, завуч и все наши учителя. Мы сели, в классе наступила тишина.

— Ну, что ж, снова начнем учиться? — пошутил поднявшийся со своего места директор…

Получилось у нас не собрание, а скорее беседа. Мы расспрашивали преподавателей об экзаменах, — как их будут принимать, кто приедет. Учителя советовали нам готовиться получше, тогда и бояться будет нечего и некого — пусть хоть академики приедут на наши экзамены.

Я сидела немного в стороне ото всех и смотрела в окно. Вдруг мне показалось, что у окна кто-то стоит. Пригляделась — да, верно, стоит какой-то человек. Кто же это? Азим? Зачем он сюда придет? Сердце у меня забилось, но в это время завуч заговорил как раз обо мне:

— Товарищи, среди вас есть единственная девушка. Я хочу задать ей один вопрос, — он потер руки и продолжал:

— Товарищ Каниметова, вы окончили школу. Аттестат у вас в руках…

Кто-то перебил его:

— Насчет аттестата, агай, еще рано говорить! Кто знает, как оно будет…

Все засмеялись, а завуч сказал серьезно:

— Вы должны верить в себя. А чтобы верить, надо хорошо готовиться. Не зря же вы просидели в школе десять лет, верно?

— Верно-то верно…

— Ну так вот, и я хочу спросить, куда ты, дочка,

думаешь теперь идти? В какой институт? Да и другие пусть про себя скажут.

Вопрос застиг меня врасплох. Я до сих пор не решила, в какой институт подавать документы. Азим иногда спрашивал меня об этом, когда мы с ним занимались по физике или математике. Я только плечами пожимала: «Не знаю». «А ты подумай, Джамал, — настаивал он. — Подумай сейчас, потом поздно будет. Если попадешь туда, где не понравится, всю жизнь будешь жалеть...» Я встала из-за парты и сказала:

— Не знаю, агай.

— Как не знаешь? До сих пор...

— Чтобы поступить в институт, надо работать, — схитрила я.

— Разве ты не работаешь?

— Работаю, но стажа мне еще не хватает для поступления в институт. Я ведь только год как работаю.

— Это ничего не значит. Кто хорошо учится, того могут принять в институт и без стажа сразу после десятого класса. А ты училась неплохо, да еще год работала. Тебе, чтобы поступить в институт, нужно только желание, — сказал завуч.

— Совершенно верно, — поддержал сто директор.

— Попробую… — неопределенно ответила я и поспешила сесть.

Теперь стали расспрашивать других. Потом учителя пожелали нам успехов, и мы разошлись из школы. Я шла не спеша, и вдруг передо мной как из-под земли вырос Канай. Что ему надо? Я невольно съежилась.

— Ну как, кончили?

— Да. А вы разве сами не видите?

Он пошел рядом со мной. Несколько раз пытался подойти ко мне совсем близко, но я сразу же отступала на обочину, и он вынужден был, как говорится, соблюдать дистанцию. Я не знала, что у него было на уме. Когда мы подошли к почте, я сказала:

— Агай, вы, кажется, прошли, вам туда, — и показала на мощенное булыжником шоссе.

— Джамал, а можно мне тебя немного проводить?

— Спасибо, я привыкла ходить одна.

— Мне надо тебе кое-что сказать.

— Говорите здесь, я слушаю.

Мы стояли возле самого фонаря. Канай смотрел на меня, как будто онемев.

— Говорите. Что вы хотели мне сказать? — повторила я и скрестила руки на груди.

— Джамал… Джамал, я тебя люблю.

— Любите? Ха…

— Почему ты смеешься?

— А почему бы мне не смеяться?

— Да, я тебя полюбил давно, еще раньше, чем Азим. Но…

— Канай (я впервые назвала его по имени), ты непонятный человек. И говоришь чепуху… Азим никогда не говорил мне, что любит меня. И что значит твое «но»? Если ты вправду любишь, то почему целый год молчал? Разве тебе кто-нибудь мешал?

— Да, Азим мешал мне везде — и на работе, и в любви. Я его ненавижу. Но теперь все, я своего добился. Нам никто больше мешать не будет, Джамал.

Он приблизился ко мне, я отступила. Канай побледнел, и глаза у него погасли.

«Я своего добился…» Чего добился? Мне больше не хотелось стоять и слушать Каная. Я повернулась и пошла прочь. Он меня не преследовал.

Я вспомнила прошлое. Нет, он не любит. Другое у него на уме. Тьфу!

Дядя и тетя поджидали меня, ребятишки уже спали.

— Чего ты так запоздала, родная, ты ведь ушла

сегодня рано? — спросила тетя.

— У нас сегодня был последний урок, тетечка, а потом еще собрание, — ответила я и положила на окно свои книги.

— А-а… дядя твой тоже только что пришел. И у них собрание было. А ты почему такая бледная, детка? У тебя ничего не болит?

— Нет, нет, это просто так.

Но тетя взяла свою бархатную безрукавку и набросила мне на плечи.

— Погрейся-ка. Погода сегодня холодная.

— Да, погода не из теплых, — подхватил дядя. — Смотри, как бы наша дочка не простудилась. Налей ей горячего чаю.

Я присела рядом с ним. После ужина тетя заговорила:

— А ты бы рассказал, что у вас на собрании было, раз оно такое длинное.

— Ничуть не длинное. Судьбу человека не так просто решить. Вопрос разбирали важный.

— Какой вопрос, дядя? — быстро спросила я и с нетерпением ждала ответа.

— О качестве руды.

— На каком участке?

— На первом…

Больше я ни о чем не спрашивала. Все стало

понятно. Вот почему Светлана и Азим целыми днями не выходили из шахты. Вот о чем они спорили.

«Неспроста»… Да, неспроста… Я ушла в горницу и легла. Дядя с тетей продолжали разговаривать, мне было слышно все от слова до слова.

— Какое же у нее оказалось качество?

— Э, да разве ты это поймешь!

— Не поймешь, не поймешь! А ты объясни, на то ты и мужчина.

— Ну, ладно. В общем, с тех пор, как наш молодой инженер стал начальником участка, качество руды снизилось, понятно? А процент, по данным геологов, должен быть высоким.

— А как это?..

— Ну вот тебе! Я же сказал, обеднела руда, меньше в ней полезного.

— А-а…

— Словом, плохо ему придется.

— Кому?

— Да парню этому. И еще…

— А кто этот парень? — перебила тетя.

— Фу ты, да «инженер-бала»!

— А-а, вот кому! Азиму…

Они перешли на шепот.

— Что же они сказали?

— А что говорить? Снимут, наверное, его с работы. И девушку-маркшейдера тоже… Они оба ничего не могли доказать. А парень хороший. Это все по молодости у него получилось. Не был раньше на такой работе. При старом начальнике участка все было в порядке, то и дело премии получали. А Канай тогда говорил…

Шепот стал таким тихим, что я только расслышала:

— Оказывается, он верно говорил…

Я не могла уснуть, лежала и комкала одеяло. В ушах звучал противный голос Каная: «Я его ненавижу… Я своего добился…» Добился своего… Как? Я думала, думала, но так и не нашла ответа на этот вопрос.

*

На время экзаменов нам должны были дать отпуск. Наутро я зашла в контору узнать, есть ли уже приказ.

— Подождите немного, — сказала девушка-секретарь. — Чтобы сразу все уж оформить…

— Что «все»?

Я не хотела мешаться в конторе и вышла. Присела на скамеечке в тени. К себе в отдел не пошла — не хотелось встречаться с Канаем. Ждать мне

пришлось недолго. Секретарша постучала в окно:

— Каниметова, заходите! Приказ готов.

Я — бегом в контору. Девушка дала мне экземпляр приказа, я пробежала его глазами и сразу поняла, что дядя говорил правду. Так вот, значит, как… Я стояла, держа приказ в руке и растерянно смотрела в окно. Возле эстакады показался Азим. Он был без шапки, ветер растрепал ему волосы. Он немного постоял на бугре, опустил голову и медленно пошел к конторе. Неприкаянный — показалось мне, и защемило сердце от жалости. Не могу я сейчас видеть его. Бросилась к дверям, отворила… и на пороге столкнулась с Азимом. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга, потом Азим улыбнулся как ни в чем не бывало и протянул мне руку:

— Ну как, Джамал? Сдашь экзамены, а?

— Да-а, наверное… — машинально ответила я, не сводя с него глаз.

— Когда отпуск-то начинается? — опросил Азим.

— Отпуск, говорите? — переспросила я и заглянула в приказ, — ведь я даже не успела прочесть в нем то, что касалось меня.

— О, уже приказ есть? Скоро, скоро… Ну-ка… —

он протянул руку за бумагой.

Мне так не хотелось отдавать ему эту бумажку, но делать было нечего. Отвернувшись, я передала Азиму приказ.

— Приказ номер двадцать девять… — начал он громко, но тут же замолк и дальше читал уже про себя. Прочел, задумался. Поднял вверх брови.

— Ну что ж, за то, что руки натворили, шея отвечает.

— Но ведь вы не виноваты.

— Мы со Светланой то же говорили. Но факты упрямая вещь. Никуда не денешься.

Азим вернул мне приказ и вышел вместе со мной на улицу. Он даже не заглянул в контору.

— Ну я-то ладно, а вот со Светланой несправедливо поступили, зря ей выговор вынесли. Да еще строгий. За что? Но этим дело не кончится. Надо еще подумать, — насупился он. — Но рано или поздно справедливость восторжествует, Джамал…

*

Азим не опоздал. Как сказал, так и пришел. Мы уселись на последнюю парту в большом классе, у самого окна.

— Ну, Джамаш, ты написала? Что тебе было

непонятно?

Я сидела ближе к окошку и оттого лицо Азима было мне видно особенно хорошо. Он похудел. Волнистые волосы И тонкие брови у него угольно-черные, — то ли они кажутся такими из-за худобы, то ли в их краях все такие чернявые, не знаю. Лоб у него большой, без единой морщинки, глаза спокойные.

— Да что ты так уставилась на меня, Джамаш? — слышу я вопрос Азима. — Говори же, что тебе неясно?

Я готовилась к последнему экзамену по физике! Азим помогал мне, как и по другим предметам — особенно по Химии и математике. Я перелистала книгу.

— Мм… правило Максвелла… Это понятно… — я листала дальше. Последний раздел — ядерная физика. Тут я задержалась. Азим сел поближе ко мне, просмотрел заглавия параграфов и начал объяснять, как всегда, просто и понятно, изредка поглядывая на меня. Он сразу замечает, понимаю я или нет. Если я начинаю часто мигать и прикусываю нижнюю губу, он, ни слова не говоря, идет к доске и пишет формулы, подробно растолковывая их — должно быть, не только по моему учебнику, но и по другим, знакомым ему книгам.

Он вообще удивительно много знает и обо всем умеет рассказать — о музыке, о литературе, о науке и технике. С любым человеком найдет общий язык.

Азим объясняет мне, и я начинаю верить в свои силы. Если я и не все знаю одинаково хорошо, то уж по любому билету что-то могу сказать. То, что казалось необычайно сложным и непонятным, стало просто и ясно, будто Азим подкрутил какие-то винтики у меня в голове. А я его даже не поблагодарила.

Сколько доброго сделал он для меня с тех пор, как я начала работать. Помогал и в работе и в учебе, был внимателен, давал советы. Я мало и редко благодарила его. Он этого не любил. При встречах расспрашивал меня о делах, о том, как я учусь, как мое здоровье, как относятся ко мне дома, не обижают ли. Я ничего не скрывала… кроме моей любви к нему. Но мне казалось, он все понимает без слов, — ведь он огорчался тем, чем огорчалась я, и радовался тому, чему я радовалась.

Ну, а у него разве не бывает успехов и поражений? Разве его ничто не заботит? Да зачем далеко ходить — неужели последние события не задели его за живое? Не знаю, во всяком случае, он никак этого не показывает. Лицо у него по-прежнему

светлое, он по-прежнему приветлив. Работает он на прежнем своем месте — начальником смены первого участка.

— Я… — начала я, но запнулась. Дальше нужно было произнести имя Азима, а я не могла решиться. По правде сказать, я очень застенчивая.

— Ну что, Джамаш, — Азим присел на ближайшую парту и посмотрел на меня.

— Вы сейчас очень мучаетесь? — решилась спросить я.

— Пока дела плохи, но ведь наладятся…

— Я до сих пор не поняла, в чем же заключалась ваша вина. Почему вас…

Тень заботы легла на лицо Азима. Я впервые увидела, что он нахмурился и прикусил нижнюю губу. Но выражение лица оставалось уверенным и решительным, а глаза все также смеялись.

— Моя вина?.. Да что о ней говорить! Я будто бы способствовал снижению качества руды. Но об этом подробно написано в газете, в статье Каная. Вот она, — Азим достал из нагрудного кармана свернутый в несколько раз номер нашей газеты «Рабочий», развернул его на второй странице и показал мне статью «Результат безответственности и невежества». Довольно большая статья, подписанная: «Участковый геолог К. Асанбеков».

«Канай здорово потрудился», — подумала я. В статье приводилось множество цифр и доказательств. «Полезное содержание добываемой руды по сравнению с плановым снизилось с десяти до семи процентов. В результате этого страна недополучила десятки тонн ценного сырья. Себестоимость тонны руды повысилась по сравнению с первым кварталом на четыре рубля шестьдесят девять копеек…» И дальше: «Причиной вышеперечисленных недостатков является безответственность товарища Курманова…» — Я поморщилась — как можно дойти да такого? — «Безответственность Курманова на производстве, его беспринципность не только принесли вред предприятию, но и вызвали недовольство среди шахтеров и других работников рудника…»

Дальше я не читала подробно, только пробежала глазами.

— Ну как, Джамаш? Неплохо написано?

— И как только могут публиковать подобные статьи? Надо сначала разобраться.

— Так ведь разбирались. Цифры в статье приведены верные, а высказывать свои мысли имеет право каждый… Скоро вот будто бы приедет представитель райкома…

Азим, опустив голову, что-то чертил пальцем

на крышке парты.

— А какое сейчас качество руды?

— Хорошее. То-то и загадка. Разработки ведутся так же, как и в прошлые месяцы. «Все наделало твое предложение», — говорили они. Но до сих пор от него никто не отказался. Мы идем по многоступенчатым уступам по-прежнему. А выходит гораздо производительнее, чем раньше.

— Я тоже не понимаю. Но нет ли за всем этим чьего-то преступления? — я не решилась назвать имя Каная.

— Кто же мог его совершить? Светлана проверила все замеры, все они правильные. А геологические разрезы… Лабораторные показатели… Да нет, и в них нет ничего подозрительного. Вот ежели ты совершила преступление, пробы брала неправильно, — засмеялся Азим.

«Пробы брала неправильно…» Сердце отчего-то кольнуло, я вспомнила прошедшие дни.

*

Кажется, Канай говорил обо мне с дядей. Не знаю, что дядя думает по этому поводу. Изредка он говорит: «Хороший, крепкий парень, да только вот…»

Он не заканчивает свою мысль, но мне кажется,

что все это имеет отношение ко мне…

Как-то раз я собиралась мыть голову и расчесывала волосы. Пришел с работы дядя.

— На-ка вот, — сказал он и протянул тете пачку денег. — Трать на что хочешь.

Голос у него был веселый. Тетя взяла деньги.

— Батюшки, это еще откуда? Да как много, а до зарплаты еще времени порядочно… — она вопросительно поглядела на дядю.

— Сначала взяла, а потом спрашиваешь, откуда!

— Как не спросить, может, ты кого ограбил!

— Ну и шутки у тебя! Не бойся, никого не ограбил. Это премия за прошедший месяц. Вернее было бы сказать, что из-за того шалопая мы целых два месяца были «ограблены».

Дядя вошел в комнату.

Непонятно было, обрадовалась тетя или рассердилась. Она посмотрела на меня — Мне показалось, с жалостью, нахмурилась и тоже ушла в комнату. Я уже не расчесывала волос, гребень валялся на земле. Очень удивил меня дядя. До сих пор я ни разу не видела его обозленным, не слышала, чтобы он сказал хоть одно грубое слово. Навеселе он? Нет, он ведь не пьет… Во всяком случае, говорил он так, будто обращался ко мне,

имел в виду меня.

«Азим… Шалопай?» У меня пересохло в горле от волнения. Из комнаты доносились голоса дяди и тети.

— Что с тобой случилось? Не понимаешь, что ли…

— Она еще ребенок. Надо же это понять! А он мальчишка, мальчишка. Дело не в наружности и не в образовании. Он чужак, вот в чем дело. Канай в тысячу раз лучше его…

Я заткнула уши обеими руками, долго сидела и смотрела в землю. Не могла собраться с мыслями. Спустились сумерки. Я вскочила и побежала к поселку.

Я не знала, куда и к кому я бегу без оглядки. Я знала только, что над головой у меня небо, а под ногами земля. Я хотела найти правду такую же чистую, как небо, такую же сильную, как земля.

Вот и поселок. Контора закрыта. Я бросилась к дому с раскрытыми окнами, стоящему немного на отшибе. Там жила Светлана. Я вошла. Светлана была одна, сидела и читала. Увидев меня, поднялась и шагнула навстречу.

— Джамал, у тебя что-нибудь случилось? — спросила она немного испуганно.

— Нет, ничего. Я… я просто так, — все, еще за-

дыхаясь от быстрого бега, ответила я, завела руки за спину и прислонилась к притолоке. Хотела улыбнуться, но не смогла. Светлана подошла ко мне близко-близко и заглянула в глаза.

— Нет, Джамаш, ты не просто так пришла, ты что-то узнала. Садись-ка, — и она пододвинула мне стул.

Озираясь, точно перепуганный жеребенок, я села рядом с нею. На столе горела лампа, накрытая поверх абажура белым платком. Светлана налила в стакан холодного чаю.

— Ты, по-моему, устала, на, выпей.

Я послушно проглотила чай. Глянула в небольшое четырехугольное зеркало, которое стояло тут же, на столе, и сама себя испугалась: волосы растрепаны, губы дрожат, ноздри раздуваются… Светлана пригладила мне волосы.

— Ну, Джамал, расскажи все-таки, что произошло, — попросила она. — Опять с Канаем что-нибудь?

Ее голос придал мне храбрости.

— Да, с ним… Света, может, я ошибаюсь, ты помоги мне. По-моему, это он…

— Что «это он»? Говори все до конца. Хочет умыкнуть тебя? Преследует?

— Нет, нет…

— Но что же тогда?

— Света, ни ты, ни Азим не виноваты, вы страдаете понапрасну.

— Джамал, я действительно ничего не понимаю. Все это дело прошлое, зачем его вспоминать. Мы получили по заслугам. Ты бы лучше…

— Нет, ты ошибаешься, Света, это совсем не прошлое дело. Оно не устарело, из-за этого я к тебе и пришла. Когда дело идет о чести человека, не может быть речи насчет прошлого и так далее.

Светлана вздернула брови.

— Вот как! Ну что ж, может быть…

— Света, наверное, я неправильно поступила, что молчала до сих пор и сама никак не могла разгадать загадку. Скажи, пожалуйста, качество руды зависит от того, как брать пробу или нет?

— Как это?

— А так! Если, например, брать не по тем правилам, что в книге написаны, а по-другому, как захочешь?

— Вот тебе и раз! Что это значит «как захочешь?» Для кого же тогда печатаются правила?

Я не слышала, что она еще говорила. Как будто в ответ на ее вопрос прозвучал у меня в ушах голос Каная: «А, книги! По книгам пусть сами ученые работают. Мало ли про что в книгах написано

так, а в жизни выходит этак! Кому охота таскать на спине лишний груз!»

Но ведь таскал же он раньше этот «лишний груз»! И потом, когда Азима сняли с работы, груз этот опять перестал для него быть лишним…

Я сжала голову руками и еще раз обдумала все. Понятно, теперь все понятно. Не знаю, то ли от радости, то ли от злости я заплакала и, плача, рассказала Светлане обо всем, что я наблюдала во время работы с Канаем. Она слушала так, будто ее не касалось то, о чем я говорю, только ее тонкие брови то сдвигались к переносице, то снова расходились. Когда я кончила, она быстро поднялась со стула и обняла меня.

— Спасибо, Джамаш, теперь все ясно. Канай специально… — Светлана широко раскрыла свои зеленоватые глаза. Взяла меня за руку.

— Пойдем, Джамаш, пойдем к Азиму. Ведь завтра партийное собрание, открытое собрание первичной организации. Будут разбирать его дело…

Я улыбнулась.

— Пошли, Света!

*

На другой день после собрания итоги «дела Азима» молниеносно стали известны всему поселку. Те, кто плохо относился к Азиму, внезапно потеряли всякий интерес к нему, как будто исполнилось их сокровенное желание. Короче говоря, они теперь молчали в тряпочку. Шахтеры первого участка, да и не только они одни, радовались такому решению «загадочного дела» и на чем свет ругали негодника Каная, способного на подлость ради своих мелких личных интересов.

Дядя ходил как виноватый и не смел мне слова сказать. А тетя (не лучше ли мне называть ее матерью?) радовалась. То и дело она гладила меня по голове, ласково улыбаясь, — и без слов ясно было, что она от души желает мне радости и счастья…

Как-то я пришла домой и крепко обняла тетю.

— Тетечка, хочешь, я тебе что-то скажу?

Тетя, не выпуская из рук моих плеч, с улыбкой кивнула и утвердительно прикрыла глаза.

— Азима назначили главным инженером рудника.

— Кто тебе это сказал?

— Светлана.

— Какая, это та русская девушка?

— Да.

— Ну, дай бог ей силы… Скажи, Джамал, Азим за тобой ухаживает? Дядя говорил об этом.

— Да ну, тетечка… Какое там…

— Ладно, скажи тогда, ты с Азимом видишься? — помогла мне тетя.

Я смутилась оттого, что она назвала его по имени. Не «инженер-бала» или «тот парень», как обычно, а по имени — будто своего, близкого человека.

— Да, вижусь, мы встречаемся. Тетя… знаешь… он говорит, что к новой работе приступит после отпуска. Говорит: увольняйся с работы, поедем вместе…

— Поедем вместе? — перебила меня тетя. В глазах у нее были и радость и жалость ко мне.

— Да, тетя. Во Фрунзе. Он хочет, чтобы я поступила учиться.

— А-а, учиться! — тетя покачала головой.

Мы с тетей понимаем друг друга без слов…

*

Прошло всего три дня после нашего с тетей разговора. Раннее утро, я еще крепко сплю.

— Джамал… Джамаш… — будят меня.

— А?

— Вставай, Азим уже здесь. Машина ждет. Вставай, милая, — ласково говорит тетя.

Я просыпаюсь мгновенно, вскакиваю и начинаю поспешно одеваться. Утро еще только занимается, в комнате сумрачно. Тетя вышла в переднюю. Я быстро осматриваю собранные накануне вещи — все в порядке. Выхожу в переднюю комнату, там дядя разговаривает с Азимом.

— Ты, дорогой, старое не поминай, — говорил дядя Азиму, но мне показалось, что слова эти обращены и ко мне. Я резко захлопнула дверь и осталась во внутренней комнате.

— Джамал, Джама-ал! — послышался из кухни тетин голос. — Встала ли ты, наконец? Иди умываться.

Тогда я отворила дверь и прошла мимо Азима и дяди, сделав вид, что не замечаю их. Едва брезжил рассвет, и утренняя звезда еще не скрылась за горой Боз-Ала. Как красиво мерцает ее свет!.. Прохладно, тихо и так хорошо вокруг! Неужели я навсегда расстаюсь с этими краями? И как-то меня встретит новое место? Мне становится страшно. Зачем только я родилась девочкой? Девочке куда труднее жить…

Из дому выходит тетя и трогает меня за плечо.

— Пора, родная. Идем, чай уже вскипел.

Мы выпили чаю все вместе. Дядя с Азимом первые вышли за дверь, мы с тетей остались в комнате. Я перецеловала крепко спящих ребятишек, с порога оглянулась, посмотрела на них еще раз на прощанье…

Тетя плакала, обнимая меня, у дяди на глазах тоже навернулись слезы. В который уже раз они повторяли мне, чтобы я была твердой, терпеливой, который раз желали счастья и успеха…

*

Теплый фрунзенский вечер приветливо встретил нас. Моему счастью не было границ. Сбылось все, о чем я думала, чего так страстно желала. Азим рядом со мной, он весел и здоров. Чего мне еще нужно? Чтобы он сказал мне, что любит, любит только меня одну? Нет. Это, мне кажется, было бы лишним. Разве все его поведение по отношению, ко мне, с самой первой нашей встречи, не говорило о любви, о чистой, светлой любви?

Но время идет, и уверенность покидает меня, на сердце становится тревожно. «Когда же, когда ты раскроешь свою тайну мне, Азим? Не мучай меня, обними и поцелуй…»

И это последнее мое желание исполнилось. Он

обнял меня. И поцеловал. Только…

Вот как это было.

На другое утро после приезда во Фрунзе мы вместе пошли в политехнический институт. Азим помог мне сдать документы, потом мы вышли на улицу. Когда спускались по лестнице, я держала Азима за руку.

— Джакин, давай немного постоим, — сказал он вдруг. — Должен прийти один человек. Подождем, ладно?

Я рассмеялась, пригладила Азиму волосы на лбу, растрепавшиеся от ветра, и посмотрела ему в лицо. Какое-то странное, двойственное чувство владело мной: мне хотелось обнять Азима и в то же время я не могла преодолеть свою застенчивость и сделать это. И почему, почему я не поддалась чувству? Азим смотрел мне в лицо, не отрываясь. Смотрел все тем же своим непонятным ласковым взглядом… В это время к нам подошла какая-то девушка.

— Здравствуйте, — сказал она тоном человека давно и близко знакомого и протянула руку Азиму, а потом и мне.

Она была красива. Большие, черные, как смородина, глаза будто сами смеялись. И мне вдруг стало так тревожно, так защемило сердце.

— Если не ошибаюсь, это Джамал? — улыбнулась девушка.

Азим тоже улыбнулся и кивнул головой — «да».

Я молчала.

Девушка снова взяла меня за руку.

— Милая Джамаш, ну как ты теперь? Школу кончила успешно, правда? Азим-агай много писал о тебе, хорошо, что ты приехала…

Я молчала.

Азим шагнул вперед.

— Джамал, милая, познакомься — это моя невеста Зыйнаш.

Зыйнаш… Это имя стрелой вонзилось мне в сердце. И сердце словно остановилось, стало холодно, потемнело в глазах. «Это моя невеста Зыйнаш». Слова Азима прилетели откуда-то издалека, эхом донеслись с высоких вершин Ала-Тоо.

Ледяная вода пролилась на пламя моей любви, на мои мечты, на мою нежность. Нет больше моего счастья.

Я не помню, назвала ли я свое имя, протянула ли руку. Я словно окаменела.

— Джамал, — заговорил со мной Азим, И обнял, да, обнял меня. — Вот, Джакин, и пришло время нам расстаться. Ты помнишь нашу первую

встречу? Я тогда смотрел на тебя, слушал, что ты говорила, и у меня появилась одна мысль, одна цель. Это касалось тебя, только тебя. Верь мне, Джамал, я думал о тебе и о твоем будущем. Я старался сделать все, что мог. Не знаю, удалось ли мне добиться своей цели, воплотится ли она в жизнь до конца. Ты еще ребенок, Джамал, вся жизнь у тебя впереди. Тебе нужно много и терпеливо учиться. Будь счастлива, Джамал и… прощай — и он поцеловал меня в лоб. Поцеловал в первый и последний раз.

Они ушли вдвоем с этой девушкой. Я повернулась и вошла в здание института. Обхватив голову обеими руками, я поднималась по лестнице. Вот она кончилась, я стояла на площадке, и весь город открылся передо мной. Но я не замечала ни прямых улиц, ни парков, ни красивых домов, утонувших в зелени. Я видела только их двоих, уходящих все дальше от меня. Я плакала. Горячие слезы текли по лицу и капали мне на грудь.

*

С тех пор прошло пять лет, ровно пять лет. Я получила высшее образование, стала геологом. Вот и диплом у меня в руках. Говорят, я первая из

киргизских женщин получила такой диплом.

«Кому же я обязана всем этим, перед кем в долгу? — думаю я. — Только перед Азимом, конечно! Если бы не он, кто знает, кем бы я была до сих пор и где бы я была?» Я стою на том самом месте, где мы расстались с Азимом и смотрю в ту сторону, куда он тогда ушел. Если бы сейчас он вдруг пришел сюда… я обняла бы его и расцеловала, как брата. «Я оправдала твое доверие. Твои труды не пропали даром», — сказала бы я ему.

Я и сейчас люблю Азима. В десять, в тысячу раз больше, чем раньше, я люблю его настоящей большой любовью. Он и его слова всегда со мной — в горести и в радости. Это неугасимый огонь, неиссякающая надежда моей жизни.

Где он теперь?

Вспоминает ли он обо мне?

Знал ли он тогда, что я люблю его?..

Перевод Л. Лебедевой.

Т. Касымбеков
ХОЧУ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ



1

Ужасно мне надоело тащить этот тяжелый чемодан! По двору я зашагал быстрей, переступил порог и едва не столкнулся с отцом. Он даже рот раскрыл от удивления.

— Кто там? — крикнула из комнаты мать. — Асыл, сыночек…

Она выбежала, как молоденькая, обняла меня. Спохватилась и кинулась к чашке с водой, обвела ею вокруг моей головы, выплеснула воду — от сглазу! И только после этого мы вошли в дом.

…Дом наш такой привычный и знакомый, сегодня мне кажется чужим. Какой низкий потолок!.. Окошки маленькие, свету мало. Паутина по углам. И сыро — пахнет сыростью.

— Ну, как дела? — беспокойно спросил отец, едва мы сели.

Он уже не улыбается, смотрит на меня, ожидая.

Я независимо шмыгнул носом, хотя на душе ох как кошки скребли!

— Не прошел. Но и ваш замечательный Мыкты тоже провалился.

Отец дернулся и застыл, как истукан.

— Ой, — крикнула мать, — ну что ты нахохлился? Не будет учиться, что такого?!

Но отец отмахнулся, встал и, бормоча себе под нос, пошел прочь. Хлопнула дверь.

Мать вздохнула и погладила меня по голове.

— Не прошел и не прошел. Ты там не болел? Был бы только жив и здоров…

Вот мама! Ничего особенного не сказала, а кошки вроде бы перестали скрести. И мне вдруг стало уже не так обидно за свои неудачи, я даже подумал, что жизнь, вообще-то говоря, не совсем уж плохая вещь.

А мама забегала, постелила скатерть, поставила передо мной чашку айрана, принесла хлеб. Только я очень устал от непривычной долгой дороги, и есть не хотелось. Отхлебнул немного айрана.

— У отца беда, — шепотом сказала мать. — С работы сняли…

…Весь день отец со мной не разговаривал. Но вечером, когда чистил лошадь, вдруг повернулся ко мне и кивнул: подойди, мол. Я подошел, что ж…

— Черный козел тебя боднул, что ли?

Я молчал.

— Документы у тебя были хорошие?! Или нет? Эх, учителя наши, зря им деньги платят. Шутка

сказать, — по тысяче рублей в месяц! А за что? Только и знают небось с бригадирами водку пить…

Я ему хотел объяснить, как у меня все получилось, но куда там! Он совсем распалился, отшвырнул скребницу и пошел, и пошел:

— На людей посмотри… Поедут и поступают учиться. А у тебя все наоборот. Продал теленка, чтобы тебе денег дать, проводить как следует… А ты? Растяпа! Съездил и ни с чем воротился. До каких пор нянчиться с тобой? Ты же знаешь, как трудно нам живется, нуждаемся. Сын какого-то несчастного Чокона выучился и вот, глядите, занял мое место. А мне что же теперь, сквозь землю провалиться?!

Я слушал, смотрел на него и удивлялся. Куда девался чисто выбритый, важный финагент! Отец похудел, постарел и сморщился. По-чудному, как индюк, вытягивает шею, трясет, головой.

Свою службу финагента отец любил, наверное, больше всего на свете. Разъезжал он с утра до ночи, прямо из сил выбивался. «Аксакал приказал поехать в Ак-Су… Аксакал посылает в колхоз. Начальство — это начальство, сынок. Возражать не полагается, пропадешь», — проникновенно втолковывал он мне, отправляясь в очередной

объезд. И трусил на своей лошаденке, подталкивая ее в бока ногами. Начальству он, может, и нравился, но у нас многие его терпеть не могли. Я сам сколько раз слышал, как про него говорили: «Ну, опять тащится этот репей… Сколько не плати, все ему мало. Ох, этот Чангыл…»

— Нас теперь топчут другие, — почти кричал отец. — Что говорить, даже этот паршивец Орко покою не дает. Поглядите на него, важная шишка, сам бригадир!

Что я ему мог ответить?.. Ничего. Правильно, я без толку съездил в город, сам во всем виноват. И оправдываться мне нечем.

— Я тебе говорю, что сын дрянного Чокона выучился, а меня выгнали. Понял? Он образованный молодой кадр, видите ли. Что ты на это скажешь?

Ничего я не скажу на это. Обидно. Сын Чокона сидел в нашей школе на последней парте и всегда только шмыгал носом. Кончил семь классов и поехал, видите ли, во Фрунзе учиться в финтехникум, и теперь он работает вместо моего отца. А я…

— Вот так! — у отца голос дрожал от обиды. — Когда я сдавал дела, обнаружилась недостача. Тысячи рублей не хватило. Такой шум подняли!

«Возмести немедленно, не то передадим дело в суд!» Пришла беда, так все собаки залаяли… На кого же мне надеяться, на кого опереться? На тебя? — Он ткнул меня пальцем в грудь, махнул рукой и ушел в дом.

А я остался стоять, где стоял. И рта не мог раскрыть, будто мне его зашили…

Сдали мы документы на юридический факультет. «Это очень хорошо, кончим и сразу займем важный пост», — говорил Мыкты. Ну что ж, можно попробовать и на юридический. Если уж падать, так с высокого верблюда…

Я в жизни не видал таких больших домов. Три огромных трехэтажных здания — это, оказывается, общежитие. Учебный корпус прямо как наша Афлатун-скала. И как это не кружились головы у тех, кто строил такие дома! Возле университета цветов насажено больше, чем их расцветает весной на просторных джайлоо.

Мы все говорили о том, какими учеными, должно быть, выходят из университета люди. Не знаю, как Мыкты, но я-то не слишком много готовился к экзаменам. И оба в глубине души думали: «Пойдем, как-нибудь, другие знают не больше нас!»

Поселились в общежитии. Вечером я сидел и читал. Мыкты подошел ко мне.

— Асылбек, погляди, идет мне рубашка? Это отец перед отъездом купил на Уч-Коргонском базаре. Посмотри, рукава не длинноваты?

Не поднимая головы от книги, я ответил:

— Нормально.

Мыкты не отставал:

— Да ты погляди!

На нем были синие брюки, которые он накануне вечером положил под матрац, чтобы разгладились. Рубашка белая, шелковая, еще не надеванная. Волосы он пригладил, узорную тюбетейку сдвинул на ухо.

Парень, который сидел на койке в углу и жевал привезенные из дому боорсоки, чуть не подавился от смеха.

— Вы у нас прямо как картинка! Должно быть свататься собрались?

Мыкты посмотрел на него грозно и цыкнул:

— Тебя не спрашивают!

Бедняга даже испугался, присмирел и с таким усердием снова принялся за свои боорсоки, будто, кроме них, ничего на свете для него не существовало. Гордый победой Мыкты — куда, мол, таким замухрышкам со мной тягаться! — подошел ко мне и вырвал книгу у меня из рук.

— Брось! Пошли…

Я сказал, что хочу дочитать страницу.

— Завтра читай хоть весь день.

— Вот неотвязный! Ну, куда мы пойдем?

— В город. Погуляем, пива выпьем…

Он повернулся к парню с боорсоками.

— Эй ты, шляпа, не хочешь пройтись? Брось свои вонючие боорсоки! Да куда тебе, бедняга, ты ничего в жизни не пробовал, кроме кислого молока…

Тот поспешно проглотил очередной боорсок и хотел что-то сказать, но мы не стали слушать и с хохотом вышли из комнаты.

Вечером в городе очень красиво. Мокрый после поливки асфальт блестит, как лед в лунную ночь. Машины, троллейбусы, автобусы проносятся мимо. Водители не сигналят, не то что наш колхозный шофер Кенебай, который двадцать раз нажимает сигнал, если увидит за версту какую-нибудь старуху.

Мы шли по улице мимо высоких домов. От легкого ветра чуть шелестела листва на деревьях. Народу было много — нарядные девушки и ребята, люди более солидного возраста и даже совсем слабые старики с палочками, — всех выманила на улицу прохлада летнего вечера. Можно было сфотографироваться на память прямо тут же на

улице, у фонтана. И мы с Мыкты сфотографировались. Нам сказали, что завтра мы можем получить снимки. Здорово!

И знаете, я шел и вот о чем думал. Человек своими руками создает все прекрасное, но сам он и есть главное украшение жизни. Чем был бы, например, этот замечательный город без людей? Он казался бы мертвым, ненужным, холодным… Лучшее в нем вот эти люди, которые прогуливаются, отдыхая после трудов. Чистые, хорошо одетые…

Мыкты дернул меня за рукав?

— Что ты рот разинул?

Он принялся мне все объяснять и показывать — прямо экскурсовод.

— Гляди, вот ресторан. Видишь вывеску? Кто не бывал здесь, дружок, тот не испытал настоящего блаженства. Звенят рюмки, музыка гремит в твою честь. Давай зайдем.

Да, зашли, нечего сказать! Вышли только в двенадцатом часу в весьма бурном настроении. Машем руками, говорим без умолку. Земля качается под ногами, голова кружится. Я изо всех сил стараюсь идти уверенно, спокойно, только ничего не получается. Сказать по правде, я до этой поездки в город никогда не пробовал пива,

не то что там коньяк или водку. Пива в первый раз отведал в поезде, оно мне сначала не понравилось, горькое.

А Мыкты все геройствовал.

— Эх ты, баба! — орал он на меня. — Шагай веселей, не умрешь! Все будет в порядке.

Но водка делает свое дело, как ни храбрись. Ноги не очень слушаются героя Мыкты, хоть он и бубнит свое:

— Ничего, живем! Привыкнешь. Вот поступим учиться, кончим, станем судьями, понял? Тогда мы узнаем, что такое счастье, понял? Все просто будут умирать от зависти…

— Понял, не ори. Сначала надо поступить…

Мыкты споткнулся и, покачиваясь, остановился. Уставился на меня пьяными глазами.

— Поступим! — заявил он. — Мне отец знаешь какое письмо дал? Знаешь, кому он письмо написал? Такому человеку, такому… очень важному человеку.

Я в свою очередь вытаращил глаза:

— Ты же мне этого не говорил.

Мыкты снисходительно ухмыльнулся:

— Дело на мази. Твой Мыкты всякой чепухой не занимался, он все обдумал и предусмотрел. С тебя пол-литра причитается.

— Ну?

— Вот тебе и ну! Про тебя в письме тоже написано. Про меня и про тебя, понял?

— Про меня тоже?.. О-о, ты шутишь, Мыкты?

Я даже немножко протрезвел. В голове перестало шуметь, и я услышал шум шагов и голоса прохожих.

— Шучу?! Что мне с тобой шутить, — ты не моя джене.

Сердце у меня забилось, я не знал, что сказать. Хвастун Мыкты показался мне и в самом деле всемогущим и всезнающим, я испытывал к нему прилив горячих, прямо братских чувств.

А ведь верно. Бердике-ага вполне мог написать письмо одному из своих друзей. Как говорится, друг твою радость разделит и в беде тебе поможет. А Бердике не пустой человек. С давних пор на ответственной работе. Председатель сельсовета, причем такой председатель, которого знает весь район. В райисполкоме его ценят и уважают, а председатель райисполкома, когда приезжает к нам в аил, всегда останавливается у Бердике…

В общежитие мы явились поздно. Но другие ребята еще не спали, сидели на кроватях, уткнув носы в учебники.

— Ложитесь! — распорядился Мыкты — Спать

пора.

Шатаясь добрался он до выключателя и погасил свет. Он долго раздевался в темноте, сопел, бормотал, потом повалился на кровать. Ребята молчали, никто не возразил Мыкты. Я никак не мог распутать шнурки у ботинок, возился, возился, наконец встал и зажег свет.

— Байке, почему твой приятель так себя ведет? — обратился ко мне парень, которого Мыкты назвал шляпой.

Я разозлился.

— А ты что скулишь? Побили тебя, что ли? Пришел, лег спать, вот и все! Читать хотите? Читайте, свет горит.

Лег и натянул простыню на голову.

Что же написал в письме Бердике? Правда, что обо мне тоже в письме сказано, или Мыкты наврал? Если правда, очень хорошо. Не помешает, во всяком случае. Так хочется поступить в университет! Отец будет рад…

Проснулся я поздно. Солнце уже пробралось в комнату. Жарко, тихо, только мухи жужжат. Мыкты спит. Волосы у него на затылке торчат клочьями в разные стороны, как трава на плохо вспаханном поле. Он плотно завернулся в простыню — от мух, наверное.

Я поднял голову и света божьего невзвидел. Руки-ноги тяжелые, а голова трещит, просто разламывается. Но делать нечего, пошмыгал носом и встал все-таки. Растолкал Мыкты, сам пошел умываться. Сунул голову под кран, легче стало. Вернулся в комнату, смотрю — Мыкты опять заснул. Стащил с него простыню, он даже не пошевелился. Спит, как зачарованный богатырь. Я взял чайник и полил водичкой голову сонного героя.

— Изыди, нечистый, из него!

Мыкты подскочил и бессмысленно вытаращил на меня глаза.

— Спятил ты, что ли? — завопил он, очнувшись. — Человек спит… а он водой брызгается… А если я заболею от испуга? Еще смеется. Дурак!

— Не ругайся, сказал я. — Ты разве не пойдешь на консультацию?

Одевались мы молча, оба сердитые. Но идти нам все равно пришлось вместе. Мы плелись довольно вяло и на консультацию опоздали. Совсем молодой, но уже толстенький преподаватель в белой шелковой рубашке ходил взад-вперед по аудитории что-то объяснял по русскому языку. Разбирал предложения, написанные на доске.

Мы с Мыкты сидели рядом. Он слушал вни-

мательно, даже рот открыл, только, наверное, понимал так же, как и я. До меня совершенно ничего не доходило, как я ни старался вникнуть. Все мимо ушей, даже зло брало.

Хмурый Мыкты толкнул меня в бок.

— Идем… Есть ужасно хочется. Не умирать же нам здесь.

Забыв про ссору, я с радостью согласился:

— Пошли.

Есть, правда, очень хотелось, да и голова была тяжелая, как кувшин с водой. Мы на цыпочках вышли из аудитории. Никто нас не останавливал, не уговаривал: «Куда идете, посидели бы, послушали, полезно…»

Нам очень нравились городские магазины, так и тянуло зайти в каждый хотя покупать мы ничего не собирались. И сегодня мы еще раз обошли все магазины какие могли, просто с ног сбились от усталости. Добрались наконец до базара и сделали серьезную покупку. Арбуз купили за три рубля и тут же его съели. Потом решили вернуться в общежитие.

Мыкты, как всегда, впереди. Пиджак он перекинул через плечо. Я свой тащил под мышкой, так что только улицу не подметал. Мыкты не раз упрекал меня: «Что ты тащишься за мной, как

коза на веревке, иди рядом, по-городскому». Но я к этой городской манере никак привыкнуть не могу. Спохватываюсь иногда и чуть не наступаю приятелю на пятки. Так мы идем нога за ногу, как усталые лошади, но болтать не перестаем.

— Ой, Асылбек! — Мыкты остановился у витрины магазина, покачал головой. — Какое пальто, гляди! Чудо! Накладные карманы, с поясом. И как раз на меня, сорок восьмой размер.

— Да, брат, в городе все можно купить, кроме души человеческой, — откликаюсь я.

— Асылбе-ек… — глаза у Мыкты засверкали. — Видел, «Волга» проехала? Ох и машина, так и блестит… Вот если бы мы были министрами и разъезжали на такой машине, а?

Мне стало смешно.

— Брось, такое и во сне не бывает.

Мыкты заспорил так горячо, будто из-за моих слов его не назначили министром.

— Почему во сне? Думаешь эти, кто проехал, лучше нас с тобой, из другого теста? Все зависит от судьбы, сколько раз тебе повторять? Если счастье улыбнется, и ты подымешься высоко.

Я спорить не стал, судьба — дело сложное. А с министрами я не знаком, что я о них буду рассуждать. Я, по правде сказать, ни одного и

заместителя министра в жизни не видел.

— Асылбек… — Мыкты потянул меня к витрине ювелирного магазина. — Гляди, золото… блестит, глазам больно. Как ты думаешь, эти часы золотые или только позолоченные? Асылбек, знаешь… если бы мы с тобой шли и нашли… ну, двести тысяч рублей. Разделили бы деньги и накупили всего, всего! Я обязательно купил бы «Волгу».

Он замолчал, но ненадолго.

— Эх, — вздохнул он, — помнишь, мы видели в магазине военную форму? Вот у кого счастливая жизнь, у офицеров. Солдаты отдают им честь. Самые красивые женщины в их объятиях. Если уж поступать учиться, так на военного!

— Ты уж постарайся сразу в генералы.

— А что, можно и в генералы.

На углу, не сговариваясь, мы дружно свернули, как волы, привыкшие ходить в одной упряжке.

Пивная была маленькая, в ней уместились только прилавок и два столика. Людно, шумно, пахнет табаком, копченой рыбой, квашеной капустой и еще чем-то вроде забродившего силоса. Пьяные громко рассуждают, размахивают руками, требуя внимания к себе. Но Мыкты все это нипочем. Он счастлив:

— Пиво есть, шашлык!

— Ну, — сказал я, облизывая пересохшие губы, — по две возьмем, что ли?

— Давай по три. Отдохнем хорошенько. Каждый гражданин имеет право на отдых. Не мы с тобой это придумали. Давай становись в очередь!

…Незаметно пролетело время до того самого дня, когда надо было сдавать первый экзамен. Девушек и парней собралось много, мы с Мыкты, бледные и подавленные, чувствовали себя чужими в этой веселой, разноголосой сумятице. Оба мы растерянно оглядывались по сторонам, как будто искали кого-то, кто помог бы нам благополучно сдать экзамены. Но желанного благодетеля не было среди присутствующих; все были заняты своими делами и громко, оживленно болтали о том, как правильно писать по-русски то или другое слово, какие происшествия бывали в свое время на разных и всяких экзаменах. Шутки так и сыпались, то и дело раздавался громкий смех. Нам-то было не до смеху…

Когда нас впустили в аудиторию, я предложил Мыкты сесть сзади, все-таки можно будет что-нибудь подсмотреть или подсказать друг другу. Не тут-то было: нашлось и кроме нас немало охотников сидеть позади. Мы заняли места где-то за средними столами.

Мыкты бледнел на глазах.

— Асыке, — сказал он, еле шевеля губами, — ты не загораживай рукой написанное, будем проверять друг у друга.

Перед нами сидел очкастый парень в голубой рубашке с короткими рукавами. Он держался так, будто беспокоиться ему было не о чем. Аккуратненький такой, кудрявые волосы старательно причесаны. Мыкты уставился на него, тот и бровью не повел, только очки поправил.

— Видал, как сидит?.. — шепнул мне Мыкты. — Мне, мол, нечего бояться, кому и поступать в университет, как не нам. Это сын министра... несомненно...

Недолго думая, Мыкты пересел на свободное место рядом с голубой рубашкой. Жалобно заглянул парню в глаза.

— Товарищ, не знаете, какой текис будет? — спросил он. — Трудно... мы из аила приехали... Вот если бы вы... мы у вас, когда диктовку будем писать...

Бедняга Мыкты говорил не очень вразумительно. Не так легко просить незнакомого человека. Но парень понял, не удивился и не рассердился. Серьезно посмотрел на нас сквозь очки.

— Ладно, — сказал он. — Только незаметно, а то

и вам попадет и мне.

Мыкты поторопился заверить его:

— Незаметно, аке, незаметно, мы понимаем…

Экзаменатор распечатал конверт и два раза прочел текст. Напомнил, как надо писать — где поставить фамилию, какие поля и прочее. Сердце мое падало от страху куда-то в живот, все ниже и ниже.

Начался диктант. У Мыкты номер не прошел: лысый экзаменатор не зря, должно быть, потерял свои волосы. Он сразу заметил, что Мыкты списывает, и велел ему пересесть на прежнее место, рядом со мной.

Результат первого экзамена мы узнали на другой день.

Я прочел список тех, кто получил «хорошо» и «удовлетворительно». Моей фамилии там не было, а я так надеялся хоть на «тройку». Напрасная надежда, моя фамилия стояла в другом списке… Двойка… И тут мы с Мыкты оказались рядышком.

Мыкты был вне себя.

— Эх, черт бы побрал этого лысого… Если бы не он, я бы на «четверку» написал. Тот очкастый «четверку» получил, видишь? — он стиснул зубы и сжал кулаки. Глаза у него сверкали.

Я вздохнул.

— Ну что, будем сдавать другие экзамены? Если сдадим хорошо, может, обойдется, а? Все-таки издалека приехали…

Мыкты немного отошел.

— Верно! Они должны с этим считаться, у нас есть справки, что мы работали в колхозе.

Озябшему кажется, что и от звезд тепло идет. Я вспомнил, о чем мне говорил Мыкты в тот вечер, когда мы были в ресторане.

— Мыкты, а где же то письмо? Помнишь, ты тогда говорил?

— Письмо? Я его отнес… — Он нахмурился. — Тот сказал, что это, мол, дело преподавателей.

По словам Мыкты, он отнес другу отца письмо вместе с бутылкой шампанского. Тот принял его хорошо, обо всем расспрашивал, но насчет экзаменов заявил, что ничем помочь не может. Преподаватели рассудят сами…

— Отец для него немало барашков в свое время зарезал, а он теперь делает вид, что ничего такого не было.

Мы пошли в учебную часть за экзаменационными листками. Но нам их не дали. «К дальнейшим экзаменам вы не допущены, забирайте документы».

И пошли мы, буйные головушки, сами не зная куда. Слонялись вокруг университета, будто клад зарыли где-нибудь у входа. Вместе с нами слонялись и другие двоечники, утешая нас своим видом — как-никак не одни мы провалились. Но на счастливчиков, получивших хорошие оценки, мы не могли смотреть без душевной горечи.

Нелегко расстаться с надеждой. Мы еще раз подходим к доске объявлений и перечитываем списки. Но там никакого чуда не произошло, из числа двоечников нас никто не вычеркнул и не перенес наши фамилии в счастливый список.

Мы понуро побрели в общежитие. В нашей комнате никого не было. Даже наш «шляпа», который сидел целыми днями, как клещ, присосавшись к книжке, и тот ушел гулять. Его труды, видимо, не пропали даром.

На столе валялись рассыпанные боорсоки и тщательно обрезанные арбузные корки. Туча мух роскошно пировала на объедках.

— Вот бараны, даже не убрали за собой! — буркнул Мыкты.

Мы сидели и молчали, повесив носы. Наверху, на балконе, играла гармонь, там шумно разговаривали, смеялись. Эх, если бы кто-нибудь из них сейчас пришел и сказал мне хоть слово, хоть одно

обидное слово, я просто отлупил бы его!..

Мы все-таки решили пойти к ректору. Секретарша встретила нас не очень приветливо, — должно быть, изрядно надоели ей такие, как мы.

— Я вам говорю: сего-дня прие-ма нет! Что вы лезете?

Но нас это не остановило. Обреченный на смерть бык топора не боится. Мы без спросу ворвались в кабинет ректора.

Ректор оказался спокойным, вежливым человеком. Он удивленно посмотрел на нас большими, внимательными глазами.

— Что случилось, ребята?

Наш пыл остыл мгновенно. Нам стало страшно, но ректор смотрел на нас по-прежнему спокойно, хоть и строго.

— Агай, — начал было я, но тут же испугался собственного голоса и, опустив голову, принялся так внимательно разглядывать свои ботинки, будто никогда их не видел. Говорить, не глядя на ректора, было легче, и я продолжал, правда, очень бестолково: — Мы… специально приехали издалека… агай…

Тут в бой ринулся осмелевший Мыкты:

— Агай, мы не щадя сил, трудились в колхозе. У нас есть справки… Мы хотели на юридический…

— Ну и что же произошло?

Этот простой вопрос камнем упал на наши головы. Мы молчали, как рыбы. Но понятливый человек сам догадался, в чем дело.

— Провалились?

— Агай… — жалобно пробормотал Мыкты.

Непроницаемое лицо ректора не дрогнуло. Вот удивительный человек! Кажется, рухни сейчас у него на глазах гора, он не утратит спокойствия. Некоторое время он молча смотрел на нас, словно решая, что с нами делать.

— Гм… понятно… Ну, вот что, джигиты. Сейчас очень много производственников идет к нам. Конкурс большой. Не все желающие могут поступить, требования у нас высокие. Тех, кто получил неудовлетворительные оценки по русскому языку, мы к дальнейшим экзаменам не допускаем. Вы поймите, ребята, невозможно сейчас учиться в вузе, не умея грамотно писать по-русски. Тем более, что на юридическом факультете занятия ведутся на русском языке. Ну хорошо, примем мы вас сейчас, вы все равно провалите первую сессию. И придется исключать вас за неуспеваемость. А это плохо не только для вас, но и для нас. Нам интересно принять наиболее подготовленных и работоспособных ребят.

Я даже вспотел, до того трудно было слушать суровые, но справедливые слова ректора. Глаза поднять на него я так и не смел. Мыкты подтолкнул меня — скажи, мол, что-нибудь. Куда там! Я потихоньку пятился назад, пока не наступил на ногу Мыкты. Тут я повернулся и пулей выскочил из кабинета, как будто ректор гнался за мной…

— Скажи, пожалуйста! Каменное сердце у этого ректора! — завопил на улице Мыкты. — Ну и компания собралась здесь, один злей другого. Будто больше и учиться негде!

Я молчал. Но можете мне поверить, сердце у меня ныло, как у проигравшегося картежника.

Все это припомнилось мне, пока я стоял у нас во дворе и разглядывал наш старый дом. Не дом — так, домишко. Непобеленный и даже неоштукатуренный, без фундамента. Стены неровные, углы какие-то кривые. Растрепанный камышовый настил свисает с крыши, словно чуб у подгулявшего джигита.

У забора лениво пережевывает зеленые кукурузные стебли темно-рыжая корова и похожий на нее худой теленок. Чего он такой худой? Должно быть, мама выдаивала у коровы все молоко и бедняге теленку ничего не оставалось. А что его особенно откармливать, — ведь отец давно его

запродал и задаток взял, теленка могут увести со дня на день. На бугорке суетливо копошится хохлатая наседка с пятью цыплятами. Но уж если кто чувствует себя здесь превосходно так это рыжий петух, — он женихом вышагивает по двору, то и дело хлопая крыльями.

Люди хозяйственные засадили огороды и картошкой, и помидорами, и луком. Наш отец не таков. «Еще чего, стану я все лето копаться в земле! Наши деды не знали никакой вашей картошки-мартошки и жили себе да поживали…» Все пятнадцать соток нашего огорода мы засеяли кукурузой. Но сорняков выросло, пожалуй, больше, чем кукурузы. Полол-то огород я, но делал это спустя рукава — не до кукурузы было, все думал об экзаменах. Отец вечно в разъездах, у матери, занятой хозяйством, руки не доходили полить огород как надо. Вот и стоит наша чахлая кукуруза сиротой — никому от нее ни свету, ни радости…

Да, нечему порадоваться, ничего не скажешь. А тут еще осы, устроившие себе гнездо под крышей, жужжат, вьются возле самого носа, тоже на зло наводят.

2

Кто-то неожиданно толкнул меня сзади. У этого проклятого Мыкты всегда вот такие шуточки. Я обернулся и увидел не Мыкты, а Чотура. Он, прищурившись, смотрел на меня.

— А, добро пожаловать!

— Это тебе добро пожаловать, — широко улыбнулся Чотур. Прибыл, значит? А я и не знал. Наш герой Мыкты проезжал мимо на своем лихом коне и сообщил мне новость. Что, провалились?

— Да… — Я попробовал улыбнуться. — Очень трудно теперь поступить в вуз…

Чотур сочувственно покивал.

Он старше меня года на два, но мы с ним добрые товарищи. В восьмом классе мы даже учились вместе. У них в семье тогда остались только он да старуха-мать. Старшие ее сыновья, Асанбай и Усенбай, погибли на фронте. Мать взяла тогда Чотура из школы и увезла в Наманган — как бы, мол, здесь в армию не забрали. Чудная была эта старуха Канымгюль — маленькая, вся черная, сухая. И сварливая — просто беда!

Вернулись они через год. Чотур поступил сторожем на дровяной склад. Мать решила женить

сына поскорей: пусть почтительная сноха ухаживает за свекровью на старости лет.

Высватали девушку. Старуха Канымгюль с первого дня все твердила сыну:

— Чем жестче камча, тем покорней жена… Не обращайся с женой слишком мягко. Баба — настоящий шайтан. Сядет тебе на шею, не сгонишь. Разве можно называть мужчиной того, кто на поводу у жены?

Чотур старался вовсю и придирался к жене из-за всякого пустяка. Канымгюль радовалась:

— Покойный отец был точь-в-точь таким… Бывало, как войдет в дом да поведет глазом, мы уже все дрожим. Просто молились на него, готовы были целовать землю, по которой он ступал.

Чотур только моргал и слушал. Ему тогда и было-то всего семнадцать лет. Что он смыслил в семейных отношениях? Порядок у них в доме был примерно такой. Приходит Чотур с работы и с порога кричит жене:

— Эй! Подай умыться!

Жена Бактыгюль поспешно приносит воду.

— Лей на руки! — командует Чотур. — Да не брызгайся!.. Теперь на шею…

Когда умоется и наестся, отдает новый приказ:

— Эй! Положи подушку мне под голову.

Бактыгюль приносит подушку. Удовлетворенный Чотур ложится — руки за голову, нога на ногу. Но покоя все равно нет.

— Эй, ты меня любишь?

— А ты? — спрашивает обрадованная Бактыгюль. — Любишь?

Чотур усмехается.

— Если любишь меня, поди сюда. — Он приподнимается и показывает пальцем на место, где только что сидел. — Целуй здесь.

Бактыгюль делает вид, что принимает слова мужа в шутку.

— Ой, что это за игрушки… Перестань.

— А-а, вон оно что! Не любишь, значит? Соврала? — он злобно таращит на нее глаза. — Не поцелуешь?

Обиженная Бактыгюль, поправляя платок дрожащими пальцами, выходит из комнаты.

— Эй! — кричит Чотур ей вслед.

Такие сцены повторялись у них чуть ли не каждый день. Бактыгюль терпела-терпела, а потом в одно прекрасное утро ушла в гости к брату и не вернулась. Вскоре умерла мать Чотура. Не осталось у него ни дома, ни семьи. Куда он только ни толкался, где только ни работал… Женился чуть ли не четыре раза… И смеялись же все над ним!..

Теперь он не любит вспоминать о прошлом и старается ни с кем не ссориться.

Вот он сидит передо мной — высокий, худой, сутулый, похожий на беркута, опустившегося на камень. Лицо у Чотура грубоватое, рябое, спрятавшиеся под густыми бровями глаза блестят, как у дикой кошки.

Когда мы в школе ставили пьесы, Чотуру давали роли басмачей, разбойников и прочих злодеев. Он гордился своей грозной внешностью и, нацепив деревянный меч, нахлобучив до бровей лохматую шапку, важно прохаживался перед зрителями.

…Жена Чотура Сойко принесла подогретое бозо. Я глянул на нее и прыснул. Сойко и Чотур удивленно посмотрели на меня, потом — на миску с бозо, не попало ли туда что-нибудь.

— Сойко-джене, — спросил я, смеясь, — наш Чотуке не заставляет тебя ему ноги целовать?

Сойко улыбнулась.

— И не говори! Он у нас мастер покуражиться…

Чотур сердито сверкнул глазами, но не выдержал и расхохотался.

— Забудьте вы об этом, в конце концов! Готов вам деньги заплатить, если перестанете напо-

минать мне…

Он принялся помешивать бозо.

— Что было, то прошло. Но было — ничего не скажешь. А что касается Сойко, с ней не больно сладишь. Другое дело бедняжка Бактыгюль… Ну ладно, хватит, давайте лучше пить бозо.

Мы разговорились, вспомнили детские годы, и нам всем было весело. Да, знаете, если у мужа и жены лица светлые, как заря на джайлоо, то и в доме светло и посидеть с ними в компании приятно. Ни насупленных бровей, ни сердитого брюзжания — сразу чувствуешь, что люди любят друг друга и живут дружно. И сынишка у них хороший, очень похожий на Чотура. Только он сейчас у бабушки, у матери Сойко.

— Так мы, значит, в колхозе работаем, Асылбек, — говорит довольный Чотур. — На тракторе. Ничего, неплохо, жить можно.

У меня на душе становится хорошо и спокойно, я чувствую себя так, будто только что искупался в чистом, прохладном озере после тяжелой, пыльной дороги. Я даже улыбаюсь во весь рот…

3

— Асылбек!

Я открываю глаза. Отец стоит надо мной, головой едва не упираясь в низкий потолок. В руке у отца сложенная вдвое камча, он натянул свою серую дорожную фуфайку и туго подпоясался широким поясом. Лица его мне не видно, утренний свет еще только начинает пробираться в дом сквозь заклеенное газетой разбитое окошко. Я поднимаю голову.

— Я в район поехал. Ты вставай и поезжай за мной, постарайся на попутной машине. Около райфо встретимся. Дело есть… — говорит отец негромким и каким-то просительным голосом. Вид у него угрюмый, но держится он мягче, чем обычно. Чего он хочет от меня? Я приготовился слушать, но отец молчит и оглядывает комнату, будто ищет чего-то. Взгляд его падает на кожаную сумку, которая висит на гвозде в переднем углу. Отец медленно подходит к ней, бережно, обеими руками снимает со стены и некоторое время держит перед собой. Потом вздыхает и достает из сумки остро отточенный карандаш. Снова вздыхает и кладет карандаш обратно. Смотри,

пожалуйста, эта древняя, потертая, вся замасленная сумка дорога ему так, словно ее сделали из его собственной кожи! Эх, переменчивая судьба, ведь эта бесценная сумка была неразлучной спутницей своего хозяина целых десять лет — и в седле, и на машине.

Еще один вздох.

— Гм… пусть повесит пока… — бормочет отец. Он ощупывает сумку со всех сторон, точно проверяя, цела ли она, и с той же осторожностью вешает ее обратно на гвоздь. — Пусть повисит. Пригодится Асылбеку, когда он поступит на мое место.

Бросив на меня пристальный взгляд, отец выходит. Через некоторое время я слышу удаляющийся топот копыт. Вот все стихло, только шуршит от ветра сухой камыш на крыше.

Тихонько входит мама. Она, должно быть, только что доила корову.

— Молока совсем мало. Хватит доить, пусть теленок сосет… Асыл, ты встал, сынок? Все учился, бедняжка, исхудал, ослабел. Полежи еще, если хочешь, радость моя. Я тебе сварю кукурузы, будешь есть со сметаной.

— Мам!

— Что, дитятко?

— Зачем отец поехал в район? И мне велел...

— Не знаю, сынок... Велел, так поезжай. Дело, наверное, есть.

А мне и не сиделось дома. Я вышел на дорогу, и тут кстати подвернулся шофер Кенебай со своей машиной. Я поднял руку, Кенебай остановил машину, и я сел в кабину.

Отца мы догнали у Кыр-Мойнока. Издали казалось, что неугомонный Чангыл задремал в седле. Он ехал опустив голову, так, что виден был бритый затылок, и совсем не погонял нашего пегашку. Конь шел ровно, быстро, отец слегка покачивался в седле.

Дурачина Кенебай решил пошутить. Почти поравнявшись с отцом, он два раза нажал сигнал — ба-ап! ба-ап! Пегий шарахнулся, будто его ударили рукоятью камчи по загривку, перескочил через арык возле шоссе. Отец упустил поводья и, не успев даже ухватиться за гриву коня, вылетел из седла.

Кенебай захохотал. А я так разозлился, что не помня себя ухватился за руль и принялся вертеть его. Машина начала выделывать зигзаги по шоссе. Кенебай, опомнившись, пихал меня в бок и старался вырвать руль у меня из рук.

— Останови! Останови! — кричал я.

Машина остановилась. Мы выскочили из кабины и подбежали к отцу. Он сидел, опершись одной рукой о землю.

— Это моя обязанность… я должен сигналить… вдруг авария… — растерянно оправдывался Кенебай. — Конь пугливый, я не виноват.

Я его не слушал. Что с отцом? Я попытался взять его под руку, он слабо оттолкнул меня, плюнул со злостью и сказал стонущим голосом:

— Это мерзавец Кенебай? Проклятый… Будь ты трижды проклят…

Кенебай стоял возле машины, нелепо опустив руки. Увидев, что отец невредим, шофер забрался в кабину, рывком захлопнул дверцу и уехал.

Конь отца был недалеко. Запутавшись в поводьях, он стоял, покусывая удила. Отец сердито ударил шапкой о ладонь, потом надвинул шапку до бровей и набросился на него.

— Вот тебе! Вот тебе! — он два раза ударил коня камчой по голове. — С жиру бесишься, чтоб тебя зарезали, падаль! Из-за тебя чуть нутро не выскочило, вся спина разбита…

Потом досталось Кенебаю и всему его роду-племени. Ох и ругался же отец. Да, впрочем, и я в ту минуту готов был разорвать шофера на куски.

— Подумать только, даже этот сопляк потешает-

ся над нами! — заключил отец свое «похвальное слово» Кенебаю.

А машина тем временем уже еле виднелась вдали. Вот она совсем скрылась за холмом.

Мы с отцом добрались до райфо только к полудню.

Большое село раскинулось между двумя горными речками. Начинается оно почти у того места, где речки сливаются, и тянется выше к предгорью. Домов так много — ну, прямо, тесно им в этой неширокой долине. Стайкой больших белых гусей среди приземистых сереньких уток кажутся расположенные в центре села здания, где находятся разные учреждения. Пирамидальные тополя ровными линиями вытянулись вдоль улиц, под ними овчинкой кудрявится молодой клевер.

Народ здесь почему-то так и снует по улицам. Все спешат, спешат куда-то. Встретятся двое знакомых, кивнут друг другу головой — и мимо. Отец тоже идет быстро, молчит, — должно быть, думает о своих горестях. Но вот мы остановились у дверей райфо.

— Ну, сынок, — заговорил отец, поглядывая на большое окно, — сейчас пойдем с тобой в кабинет аксакала. Веди себя скромно, не пере-

бивай начальника, если спросит о чем, отвечай обдуманно. Помни поговорку: «Если судьба осчастливит муху, то сам орел прилетит к ней на поклон».

Мы вошли, поздоровались. Я, правда, только губами пошевелил, зато отец произнес приветствие громко, радостно. Человек, который сидел за столом, накрытым красной скатертью, и что-то писал, поднял голову и вежливо ответил нам. Ему на вид было лет тридцать. Ростик маленький, над столом видна одна голова, гладко выбритая. Глаза голубые, веселые и щеки розовые, как у мальчугана.

— Аксакал… Как поживаете, как здоровье? — Отец подошел к маленькому человеку и долго, с чувством пожимал ему руки. — Как детки? Служба нравится, аксакал?

— Все хорошо, аксакал, спасибо. Садитесь.

Я тоже поздоровался с начальником за руку.

— Вот этот негодник мой сын, — сказал, улыбаясь, отец. — Глядите-ка вырос, и не заметили как.

Начальник внимательно посмотрел на меня.

— Понимаю, — ответил он серьезно. — Что же у вас за дело ко мне, аксакал?

— Да дело-то, конечно, есть, — отец заморгал

глазами и подобострастно вытянул шею. — Дело, понимаете, такое…

Начальник выжидательно наклонил голову, слушал не перебивая.

— Я пришел потому, что у меня к вам есть маленькое дельце, аксакал, — повторил отец. — Вы еще молоды, но уже занимаете большой пост, вот я и хочу посоветоваться с вами. Меня вы от работы освободили — состарился я, да и образования нет. Что же, согласен, не обижаюсь! Но я хочу, вам сказать, аксакал… Вот посылал своего Асылбека учиться, он заболел, вернулся домой. Да, значит… Молодые они, конечно, грамотные… им можно доверять.

Начальник молчал.

— Если бы вы могли принять Асылбека на мое место… Я ему помогу, ничего, справится.

Начальник едва заметно улыбнулся — так улыбаются взрослые, когда видят, что плутоватый мальчишка хочет их провести.

— Но ведь на ваше место уже назначен другой человек, — сказал он мягко. — И потом…

— Знаю, аксакал, — не дал ему договорить отец. — Но ведь с этой работой и Асылбек может справиться, что там особенного… Сделайте это для него, аксакал! — на глазах отца блеснули сле-

зы. — Писать, считать, что там… сами увидите, Асылбек не какой-нибудь невежа, он знает, что начальство надо уважать.

Начальник откровенно рассмеялся.

— Да что вы! На вашем месте работает человек, который имеет специальное образование. А ваш сын только десятилетку кончил. Финансовые дела сложные, ответственные, вы сами знаете. Не справится он!

— Справится, аксакал, справится… Если поначалу в чем ошибется, я готов принять расходы на себя, продам, если нужно, единственного коня.

Отец упрашивал долго, не жалея льстивых слов. Я сидел и потел от стыда. Начальник остался тверд и непреклонен, ему было просто смешно смотреть на то, как старается отец.

— Бросьте, пожалуйста, здоровому парню работа найдется. Пусть поработает в колхозе, чего же лучше!

Отец вскочил и вышел из кабинета, размахивая руками. Шапка, которую он все это время держал под мышкой, упала на пол. Я поднял ее и, радуясь, как узник, вырвавшийся на свободу, побежал за ним.

— Дай сюда! — отец вырвал шапку у меня из рук. — Так и знал, что у этого поганца ничего не

добьешься! Говоришь с ним, как с человеком, а он нос воротит. Мы еще посмотрим, надолго ли ты стал начальником, сволочь!

Но на этом отец не успокоился. Все куда-то ездил, ходил, хлопотал и, наконец, однажды сообщил, сияя от радости:

— В нашем сельсовете освобождается место секретаря. Его переводят в райисполком. Надо поговорить с товарищем Бердике. Председатель может назначить секретарем кого захочет.

— Работа очень трудная, — заикнулся я, но отец так и взвился.

— Еще что! — завопил он. — Ты что, не человек? Образования у тебя нету? Как же проработал четыре года сын этого дурака Эльмурата? Теперь его приглашают, слышишь, приглашают в райисполком! Глядишь, еще председателем райисполкома станет… А этот, полюбуйтесь, болтает невесть что! Человек должен все уметь…

Я замолчал. Вообще-то секретарем сельсовета стать неплохо. Так сказать, местная власть. Если, как говорит отец, ладить с начальством, может, и выдвинешься.

Отец мой человек проницательный, — он тут же сообразил, о чем я думаю.

— Ты смотри помалкивай, — вкрадчиво зашеп-

тал он. — Я сам обо всем договорюсь. Придет день, тебя позовут и начнешь потихоньку работать, понял?

Матери он отдал приказ:

— Приготовь бозо, слышишь? Пригласим товарища Бердике. Да, а что наш козленок? Перестал хромать?

— Давно перестал, я его полечила хорошо. Поглядел бы, как он траву щиплет.

Тут уж я не выдержал.

— Это еще зачем? Мало тебе того, что тогда в райфо было? Опять подхалимничать?

Отец напустился на меня:

— «Подхалимничать»?! Это называется оказывать уважение, а не подхалимничать, ясно? От сильного не прячь свою большую чашку, — вот как у нас говорят. Попробуй-ка устройся сам, если можешь, тогда и поступай по-своему. Когда ты станешь человеком, я не пойду на поклон к самому пророку… Ты бы лучше научился держать себя с достоинством. Вот тебе мой конь, езди на нем, как подобает джигиту. И держись подальше от всяких Чотуров. Выбирай друзей с умом. Мыкты, например, чем не товарищ? Я его видел вчера в райфо. Не забывай, что Мыкты сын Бердике. Поддержка товарища Бердике нам очень нужна,

сынок!

Мыкты! Да я его видеть не хочу, у него ни чести, ни совести, только и умеет хвастаться. Было бы чем — он, видите ли, водку умеет пить! И обманщик хороший! Во Фрунзе мы истратили мои деньги, а на обратном пути он как будто забыл об этом. Пришлось мне пить чай с сухарями — вот и вся еда.

— Пропади он пропадом, твой Мыкты! — отрезал я отцу. — Какой он товарищ!

— Хоть никакой, нам-то что! Нам нужен его отец, поэтому и с ним ты изволь ладить. Понял?

Отец сам отправился в магазин покупать что нужно для угощенья. Бозо у матери вышло крепкое — богатыря с коня свалит.

У меня на душе было скверно, будто тухлятины наелся. Зато отец ходил веселый, распрямив плечи и высоко держа голову.

Наконец настал торжественный час. Солнце клонилось к закату: тень одинокого тополя, что рос на другой стороне улицы, дотянулась до нашего порога. И почтенные гости изволили пожаловать; спешившись, ступили они на землю нашего двора.

— Асыл! — весело позвал отец. — Помоги мне встретить гостей, прими у них коней, отведи в

холодок и задай свежей кукурузы. Недаром говорится: ухаживай не за гостем, за его конем…

Гости весело рассаживались. По обычаю, сначала подали чай. Потом принялись и за водку. Выпили по две рюмки — тут подали горячий, крепко посоленный куурдак.

На самом почетном месте сидит известный товарищ Бердике, очень толстый. Его крепкий буланый конь, должно быть, с трудом носит хозяина. Когда Бердике садится в машину рядом с шофером, беда тому: председателя сельсовета быстро убаюкивает езда, и он постепенно прижимает водителя все теснее в угол кабины, не давая ему толком править. Не знаю, чем питается Бердике, но толстеет он не по дням, а по часам, вздувается, как на дрожжах. Слева от председателя сидит счетовод Бурге. Этот, наоборот, худой, как щепка, остроносый, остроскулый, и даже глаза у него острые, как два шила. Когда Бурге перестает жевать и прислушивается к разговору, глаза его хоть и осторожненько, но все же покалывают то одного, то другого из собеседников.

Неожиданно в комнату вошел Орко. Он поздоровался и пожал всем руки.

— Орко, добро пожаловать! — Отец налил в стакан водку. — Ты пришел к накрытому дастор-

кону, значит, совесть у тебя чистая. Выпей вместе с гостями.

Орко помялся, потирая руки, потом взял у отца стакан.

— Мы с вами соседи, Чаке, я зашел по пути. Оказывается, и аксакал здесь…

Отец то и дело принимал пустые бутылки. Но вот Бердике засопел и как будто собрался прилечь. Я подсунул ему подушку. Бердике поглядел на меня одобрительно.

— Чаке, — обратился он к отцу, — вот отправили мы с тобой джигитов во Фрунзе, а они вернулись ни с чем. Мыкты говорит, условия там плохие. На будущий год в военную академию собирается.

— Да, да, — подхватил отец, — но пока мы с вами живы, Беке, дети наши не пропадут. Дело для них отыщется.

Орко решил вмешаться в разговор:

— Конечно, Чаке! Работы уйма. Зерно, например, не успеваем перевозить. Не хватает людей. Пусть Асылбек поработает грузчиком. Не такое уж трудное дело, катайся себе на машине с ветерком!

Отец не спешил принимать совет Орко.

— Э, братец, грузчики найдутся, — небрежно

ответил он и тут же заулыбался. — Ну-ка, выпьем еще, гости дорогие! Найдется и Асылбеку работа, ничего! — Он заискивающе посмотрел на Бердике. — Вот наш Беке-аксакал, глядишь, и возьмет его к себе в секретари… Ну, пейте, пейте, дорогие мои!

Как ему не стыдно! Я готов был сквозь землю провалиться, Встал, чтобы уйти и хоть не видеть, как он унижается. Куда там! Не успел я шагу ступить, отец сразу:

— Асыл.

Голос у него ласковый, а глаза так и сверлят меня со злостью. Ладно уж, сел я опять на свое место.

Отец принялся хвалить нынешнего секретаря сельсовета Кокила: мол, хороший, крепкий джигит, один из лучших в аиле.

Бердике чуть приподнял голову, поглядел куда-то мимо отца в угол.

— Ничего… — пробурчал он нехотя. — Он скоро от меня уходит… Кто у нас действительно работник из работников, это Бурге. Любое дело ему нипочем, ведет все счеты и расчеты.

— Как же, как же… Такие работники, как Бурге…

Бурге принимает все это как должное, только

хмыкает довольно. Но водка развязала язык и ему, скоро он принимается болтать, и каждое третье слово у него на языке — секретарь Кокил.

— Важничает попусту, задается чересчур этот ваш Кокил. Мои, понимаешь, счета вздумал проверять. Это еще ладно, так однажды начал спорить с самим аксакалом. Своим языком себе же и вредит. Где уж ему выдвинуться!

Я принес пенистое бозо. Отведав его, гости заговорили еще громче. Бердике запивает водку бозо, сопит, пыхтит и блаженно потеет. Бурге продолжает поносить Кокила. Разговорился и Орко, хоть выпил меньше всех. Водка на него действует очень быстро, это из-за фронтовой контузии.

— Не унывай, Чаке, — подбадривает Орто отца. — Дадим тебе работу. Раис сказал, что собирается назначить тебя водовозом. Разве плохо? Правильная поговорка: чем без дела ходить, лучше даром работать. Для тебя готова арба и пара коней что надо!

Отец усмехнулся.

— Ой-бой, что же ты раньше не сказал? Повелевай нами, господин, давай сегодня покушаем, а завтра посылай нас хоть в ад, пойдем, не откажемся:

— При чем тут «повелевай», Чангыл, брось ты

это! — насупился Орко. — Что я, на смех тебе дался! Я дело говорю.

— Не повышай голоса, уважаемый бригадир, мы в делах тоже разбираемся, от вас не отстанем. С молодых лет честно служим партии и правительству. Ведите себя прилично, аксакал. Разве можно издеваться над человеком только за то, что его временно сняли с работы?

Орко вспыхнул, но тут ссору прекратил авторитетный голос Бердике:

— Довольно! Спорить не о чем, колхоз для всех колхоз. Каждый делает что может, никто от работы не отказывается.

— Вот это верно! — подхватывает отец, которому, видно, очень понравились слова Бердике: «каждый делает, что может».

Орко успокоился на другом.

— Конечно, никто не отказывается, — повторил он за аксакалом и затих.

Но беседа уже не клеилась. Все чувствовали себя связанно и отчужденно. Тем временем совсем стемнело. Гости собрались расходиться. Отец поспешил во двор помочь уважаемому Бердике сесть на коня. Я тоже поддержал председателя за локоть. Бердике тяжело опустился в седло, буланый хотел было тронуть, но отец придержал

повод и отвел коня в сторону.

Я возился с Бурге, которого плохо слушались руки и ноги. Никак его не усадишь, сползает с седла, да и только. Валится мешком то на меня, то еще куда-то и все-таки пытается лихо покрикивать: «Хоп! хоп!» Тоже мне джигит-наездник! Вот сломает себе шею где-нибудь в канаве, ни одна собака его не пожалеет. При мысли, что мне приходится этому пьянчуге прислуживать, меня зло брало. Так и хотелось дать ему хорошенько по шее, чтобы протрезвился. Отца боюсь, а не то…

Наконец я его погрузил. Кое-как затолкал ноги в стремена, сунул поводья ему в руку и — «чу! чу!» на коня.

Отец все еще разговаривал с Бердике.

— Аксакал, — твердил он, — птица на крыльях взлетает, на хвост садится. Если вы не поддержите…

Бердике забормотал что-то, отец его перебил:

— Сын наш, аксакал, но честная служба его зависит от вас… Под вашим руководством он только и станет человеком. Правда, молод он, неопытен, но с вашей помощью привыкнет, обтешется.

— Да, вот… Чаке, секретарь мой действительно уходит. Ты сам слышал, он парень беспокойный…

— Слышали, слышали, аксакал. Асылбек не такой, он знает, как надо уважать начальство.

— Ладно, Чаке, раз ты так просишь. Кхм, да… Но… пока я ничего не могу сказать. Пусть сначала тот поганец уберется. Посмотрим. Думаю, твой справится, бойкий парень, по глазам видно.

Отец польщенно засмеялся.

— Да уж не хвалите негодника, аксакал! Вот если попадет в ваши руки, тогда станет человеком…

— Ну пока, Чаке!

— Счастливо, аксакал!

Наш серый щенок долго, отчаянно лаял вслед аксакалу. Отец гордо вошел в дом.

— Вот! Вот что значит хороший человек! Все понимает с полуслова.

Потом он сердито мотнул головой в сторону дома Орко.

— Стыдно мне было за этого ишака. Явился незваный и заладил: «Работа, работа!» Не спеши, дорогой, если я и буду работать в колхозе, то не иначе как на твоем месте. Воду вози, говорит. Тоже мне, сообразил, ишак! Только расстроил гостей.

4

Я часто хожу в библиотеку при нашем Доме культуры; Почти каждый день. Прихожу, встречаю таких же, как я, неприкаянных. Пока с каждым поговоришь, немало времени уйдет. Потом возьмешь книжку и делать нечего — надо возвращаться домой.

Отец после того знаменитого для, как у нас гостил Бердике, держится со мной ласково. Наш пегий теперь называется «конь Асыла»; отец ухаживает за ним, чистит, треплет по холке с таким видом, будто только этот конь и может довезти меня туда, где я, по мнению отца, «стану человеком».

Как-то раз подъехал к нашему дому Орко на своей куцей серой лошадке.

— Ассалом алейкум, Чаке, — вежливо поздоровался он с отцом. — Чаке, дело такое, завтра тебе надо выходить на работу, на строительство. Курятник строим. Как-никак поможешь.

Отец помрачнел, едва лишь Орко показался на горизонте. Услышав предложение бригадира, он застыл от возмущения, глаза у него стали круглыми, как у совы.

— Что ты болтаешь? Это чтобы я строил тебе курятник?

— Ой, Чангыл! Не вопи, говори прямо, пойдешь или нет? Что тебе сделается, если ты поможешь строить курятник?

— Не смей издеваться, Орко! «Что тебе сделается»? — передразнил бригадира отец. — Я тебе не раб клейменый, понял?

— Перестань, не хочу я с тобой спорить. Никто тебя рабом не считает и не называет. Будешь сам отвечать перед председателем. — Орко подтолкнул лошадь своими большими кирзовыми сапогами и, уезжая, добавил: — Ты живешь в колхозе, Чангыл, имеешь огород. Старуха твоя нездорова, ладно, мы ее не принуждаем. А ты должен работать по мере сил.

Отец долго смотрел бригадиру вслед, губы у него дрожали.

— Курятник строить, а! Погоди, я еще с тобой поговорю, пес!

Немного остынув, он повернулся ко мне.

— За людей нас не считают… Ладно… Вот поступишь ты на службу, тут же придет он приглашать нас с тобой в гости. Увидишь. А пока, сынок, живи как ни в чем не бывало.

Я так и живу. Такая моя жизнь почему-то

особенно нравится матери. Она все чему-то радуется втихомолку. Старается накормить меня посытней и уговаривает побольше сидеть дома. Оказывается, у нее на мой счет тоже свои планы.

Как-то в полдень пришла к нам старушонка, морщинистая, сухая. Я кивнул ей — здравствуйте! — и тут же книжку под мышку, вышел во двор. Под окном у нас валялась ступа, я перевернул ее вверх дном, сел на нее и уткнулся в книжку. Слышу — старуха спрашивает мать:

— Аимгюль, а ведь говорили, что твой сын уехал на важную учебу?

Я насторожил уши.

— Ездил он, только... — мама запнулась. — Пришлось вернуться. Ничего, не в этом, так в будущем году поступит учиться.

— Э-э, ученье ученьем, не убежит, была бы жизнь долгая и хорошая. — Бабка шумно прихлебнула чай. — Вот Назарбай, говорят, женит сына. Слыхали? Нас позвала на свадьбу. Святое дело, надо бы подарить барашка, так я своему Омуру сказала.

— Откуда берут невесту?

— Говорят, из другого аила. Парень с девушкой познакомились на учебе.

Мать вздохнула.

— Это хорошо! Пусть будут счастливы. Мы бы женили Асыла, да нет невесты на примете.

Старуха повысила голос:

— Э, да у нас почти все девушки не просватаны. Акбая дочка чем нехороша? Крепкая, у такой хозяйки дом засияет. И красивая, и умница. Слава богу, не в мать уродилась, та ведь известная сплетница, только у ней и дела ссорить людей. Отец-то смирный человек.

Некоторое время в доме было тихо, потом послышался голос матери:

— Верно… Вы правы, мать Омура. Как-то мы об этой девушке не подумали. Надо посоветоваться со стариком…

— Посоветуйтесь, конечно. Зачем далеко ходить, когда подходящая девушка рядом? Она из твоей воли не выйдет. Да и с сыном твоим они, наверное, уживутся.

Вот тебе и на! Ничего подобного я и не подозревал. Просто рот разинул, сижу и не знаю, что делать.

А мать обрадовалась, будто золото нашла. Еле дождалась отца и выложила ему все за обедом. Решительно так, — что ж, мол, так судьбой определено. Отец слушал молча и поглядывал на меня краем глаза.

— Это как же? — спросил он наконец. — Жених наш сам нашел себе невесту? Или ты, как обычно, собираешься по тени шубу кроить?

Я покраснел, а мать, ничего не подозревая, отвечает:

— Договоримся со сватами, и дети не откажутся.

— Брось ты своих сватов! Надо сына сперва на работу устроить. Женитьба не убежит.

Мать замолчала — как толокном подавилась. Да и то сказать, так вот, ни с того ни с сего сына женить, — что это за дело!

После обеда я побрел на улицу. В дверях своего маленького белого дома, аккуратно покрытого камышом, стоял Чотур. Говорят, что завзятые курильщики дня не могут прожить без курева, — тоскуют, места себе не находят. А я, наверное, так же скучал по Чотуру, будто оставил у него в доме что-то самое мне необходимое, чего мне страшно не хватало. Привык к человеку!

«Сегодня рано пришел с работы, молодчина!» — подумал я и заспешил к Чотуру.

Он то и дело заглядывал в окно и торопил жену:

— Сойко, скоро ты? Говорят же: пока плешивый причесался, и свадьба кончилась. Брось, белей не

станешь, хоть в простоквашу окунись.

Оказалось, оба спешили в Чолок-Сегет на комсомольское собрание. Мне на собрание идти не хотелось. А Чотур с женой скоро ушли. Я смотрел им вслед и думал: «Вот он какой, учился кое-как, можно сказать, полуграмотный, а рвется на собрание!»

Я с некоторых пор перестал бывать среди людей. С каждым днем чувствую себя все отчужденней. Вчера, можно сказать, человек был мне другом-приятелем, а сегодня я смотрю на него, как на ель знакомого. Разговариваю со всеми вежливо, но холодно. Не сегодня-завтра стану секретарем сельсовета, об этом забывать не следует. Надежда на такую замечательную перемену в моей жизни греет меня сильнее и радостнее весеннего солнца…

Когда я вечером явился домой, отец встретил меня мрачнее тучи.

— Ты где шляешься? — зарычал он. — Твои ровесники делом заняты…

Что это с ним, какой шайтан его попутал? Я уж отвык от того, что отец ругает меня. Смотрю вопросительно на маму.

Она тут же бросается защищать меня.

— Перестань ты, что за наказанье! При чем

здесь Асыл, что ты мучаешь ребенка? Раис велел, придется тебе работать. Что скажут, то и будешь делать, хоть бы и тот же саман. Не убивайся так, бог милостив.

Отец привычно махнул рукой. Может, он на этом и успокоился бы, но меня дернуло сказать, что я не пошел на собрание. Он опять расходился:

— Вот тебе на! Ну и сиди у материнского подола, недотепа! Другие не старше тебя, а выступают на собраниях, чувствуют себя среди людей как рыба в воде. И что ты за никчемный парень! Для таких и три человека — толпа, они боятся людей, прячутся, как сурки, от них. Погляди хоть на Мыкты, он не только в колхозе, он и в районе спуску никому не даст. А ты… Нашел себе какого-то Чотура-мотура… в карты играешь…

Передо мной пожелтевшее поле. От хлебов теперь осталась только жесткая стерня. Скошена и высокая, в рост коня, трава при дороге. Видны одни дикие яблони, согнувшиеся под тяжестью плодов.

В садах виноградные лозы оплели до самых макушек урюковые деревья; когда смотришь сверху, заросли алчи, смородины и чия кажутся причудливым ковром, удивительно красивым.

Там, где тропа пересекает шоссе, стоит огромная груша. Когда я подъезжаю к ней, из-за бугорка резко взмывает в небо пустельга. Сорока, сидевшая на груше, встрепенулась было — не коршун ли, но тут же успокоилась, будто устыдившись своей ошибки. Слегка повернув голову, она следит за неровным полетом пустельги: «Ах, пропади ты пропадом, жалкая птица!»

Легкий ветер приносит приятную прохладу, ласкает лицо, забирается в рукава. И солнышко сегодня хорошее, оно не жжет, а согревает и радует все вокруг.

Неподалеку тарахтит трактор Чотура. Увидев меня, Чотур останавливает трактор и машет мне рукой, зовет:

— Э-эй!

Мне спешить некуда, я поворачиваю пегого и подъезжаю к Чотуру. Лицо у Чотура серое от пыли, только глаза и зубы блестят. От него крепко пахнет соляркой. Я здороваюсь, Чотур кивает головой и смотрит на меня весело и с любопытством.

— Куда собрался? — спрашивает он. — Уж не в Чолок-Сегет ли на работу? Там сегодня дело кипит, народу полно…

Слово «работа» задевает меня за живое.

— Да нет, так просто, прогуливаюсь, — отвечаю я холодно, упираясь в стремена и поглаживая коня по холке. — Придет время, поработаем. А ты зачем меня звал?

— Так просто, — в тон мне отвечает Чотур. Он достает папиросу и закуривает, быстро и жадно затягиваясь. Собирается как будто сказать что-то, но потом делает равнодушное лицо и повторяет: — Просто так…

Сойко тем временем поднимается на прицеп. Озабоченно нахмурив брови, она окликает мужа:

— Эй, давай-ка пахать, поздно уже. Что равняешься с бездельником, ему все равно куда ехать! Давай паши!

Вот вредная баба! «Бездельник!» Тоже еще, обзывает, да что она сама-то особенного делает? Мне обидно, но не стану же я спорить с женщиной! Я поворачиваю коня и пускаю его рысью по вспаханному полю…

…Весна в этом году была дождливая. Пшеница, посеянная на суходоле в Чолок-Сегете, поднялась высокая, выше камыша. Уезжая во Фрунзе, я еще подумал: «Ну, помучается Орко с уборкой!» А теперь уж почти все убрано. Где поровнее, работал комбайн, на буграх косили жаткой, а кое-где,

наверное, пришлось и серпами орудовать. Ну, так и есть: на поле копошатся жнецы, и, судя по всему, сегодня уборку закончат.

На холме белеет ток. Людей там целый муравейник. Ровно гудят молотилки, из-за их шума еле слышны голоса работающих. По дороге в облаках густой пыли снуют грузовики с хлебом.

Под большой яблоней стоит юрта, вокруг нее целый склад: старое седло, сломанная жнейка, пустые банки из-под мазута, еще что-то валяется. Две женщины хлопочут у дымного очага.

Чуть подальше стоит маленькая белая палатка. Я направился к палатке — любопытно, кто в ней находится? Кто-нибудь из районного начальства, что ли? Женщины, хлопотавшие возле юрты, удивленно уставились на меня, я кивнул им и проехал мимо. Из палатки вышла наша библиотекарша Шаир.

— А, здравствуйте!

— Здравствуй, добро пожаловать, джигит! — Шаир ухватила моего коня за повод. — Слезай, будь гостем!

Вот уж трещотка! Придешь в библиотеку, начнешь книги выбирать — одну предлагает, другую, говорит без умолку. Не знаю, со всеми она или только со мной так обращается. Не церемонится

ничуть, при посторонних вышучивает и улыбается при этом так, будто знает что-то особенное. Муж у нее в армии, но она никогда не бывает грустной или сердитой. Кончила в прошлом году курсы и сразу начала работать в библиотеке.

Я сошел с коня, Шаир привязала его к столбу. Что ж, очень приятно! Я вошел в палатку.

— Ну как? — спросил я с улыбкой. — Бросили библиотеку?

— Переселились. Тебе что, глаза маслом залепило, джигит? Или заважничал? — посмеиваясь, Шаир прошла на свое место. — Вот газеты, журналы, книги. Ты у меня был несколько дней назад, взял книжку, а на другой день мы перебрались сюда. А сегодня снова переезжаем. Здесь работа кончается, останутся только те, кто на току нужен.

Недаром эту курносенькую, черноглазую и белозубую женщину назвали Шаир! С ней все же очень приятно поболтать. Я сидел, перебирая книжки, время шло незаметно.

Снаружи донеслась звонкая песня. Затянул один, подхватило еще несколько голосов. Шаир тихонько подтягивала, потом спросила меня:

— Хорошо наши джигиты поют?

— Так себе.

— Не так себе, а очень хорошо! Попробуй-ка сам спеть, критиковать всякий умеет!

Мне ее не переспорить, ясное дело, поэтому я сделал вид, что не считаю нужным вступать в пререкания, и замолчал. Шаир тоже некоторое время сидела молча, думая о чем-то.

— Вам, парням, хорошо! — вдруг сказала она. — Можете говорить все, что думаете.

Она перекинула на спину толстые косы.

— А вы почему не можете?

— Так уж мы созданы, дорогой.

Я насторожился. На что она намекает, какой бес ее попутал? А песня слышалась все ближе, особенно выделялся чей-то высокий тенор. Но вот пение оборвалось, джигит что-то сказал, в ответ зазвенел девичий смех.

— Этот Садыр всех насмешит, — тихо проговорила Шаир и, оживившись, продолжала: — Кстати, вчера говорили тут о вас, о тебе и о Мыкты. И правда, сейчас даже слабые девушки трудятся, а вы, здоровые, сильные парни…

— Ну и что же? — спросил я небрежно, словно меня это не касалось. Но на душе стало неспокойно.

— Как «что же»? Собрание было. Решили заставить вас работать, хватит вам женихами

красоваться.

— Кто решил?

— Все комсомольцы решили, вот кто!

Я разозлился. Вот еще! У каждого своя дорога. Если они убирают хлеб, так и все должны? Интересное дело! Настроение у меня испортилось, я посидел еще минут пять и поднялся.

— Ладно… У меня еще в районе дело…

Попрощался с библиотекаршей вежливо. Пусть болтает, все равно я скоро стану секретарем сельсовета, меня не только в аиле, в районе все будут уважать…

Вечером пошел к Чотуру.

— А, добро пожаловать! — приветствовал он меня. — Проходи, садись.

Прошел, сел. Чотур весело, но, как мне показалось, насмешливо на меня поглядывал. Потом захохотал своим противным смехом. Гогочет, как гусь.

— Жена! — позвал Чотур. — Дай, пожалуйста, карты. Где они? Хочу разок-другой оставить нашего шалопая.

— Не буду я играть! — отрезал я. — Болтаешь чепуху. Ты один, что ли, работаешь? Нашел шалопая!

Чотур взял у жены карты и не спеша принялся

сдавать.

— Ну, давай разочек сразимся. Не обижайся. Кто не работает, того называют шалопаем, верно?

Вся кровь хлынула мне в лицо, в глазах помутилось, я даже карт не видел.

— Ты серый рябой мешок! Тоже считает себя человеком! Я у тебя на шее не сижу… Работай сколько влезет, не на меня работаешь, понял?

— Не злись, убитый богом, — спокойно сказал Чотур. — Пусть я серый мешок, а от твоей красоты кому легче? Сидите вместе с отцом на шее у больной старухи.

— А тебе что за дело?

Чотур загремел:

— Мне? Мне есть дело! Ты…

Но я повернулся к нему спиной и, не оглядываясь, пошел к двери.

5

Отец почти не бывает дома. Куда он ездит, чем занимается — непонятно. Сам он молчит, как старый скряга, которому в капкан дорогая дичь попала. Мне думается, он все хлопочет, чтобы меня пристроить. «Да, — бурчит он иногда про себя, — теперь скоро...»

В верхнем конце аила живет один инвалид, Базыл. Поссорившись с Чотуром, я стал захаживать к этому Базылу. Он большей частью сидит под тутовым деревом на специально для этого сделанном деревянном топчане. Захочется ему вздремнуть, он тут же и поспит. Базыл может передвигаться, опираясь руками о землю, обеих ног у него нет, потерял на войне. Но чаще он сидит на своем топчане и, так сказать, присматривает за хозяйством.

Я пришел к Базылу в полдень.

— А-а, заходи, Асылбек-уке, посиди со мной. — Базыл подвинулся, освобождая место.

Он взял в руки комуз.

— Вот послушай «Сары барпы»... Это мелодия Ниязалы. Вот был мастер! Как он умел на комузе изображать пение птиц, слышишь? — Базыл

заиграл, подпевая хрипловатым голосом Петь он не умел, но на комузе играл хорошо.

— Базыке, вы ведь вчера целый день только эту мелодию и играли. Разве у вас других нет? — спросил я.

Базыл, должно быть, обиделся. Он положил комуз и откинулся на подушку.

— Ох, устал…

Но немного погодя он сел и, высоко подняв брови, сказал грустно:

— Славные были люди! У того же Ниязалы есть другая песня, тоже очень красивая, «Арсар куу». Слушай!

Он долго играл, потом попросил:

— Асыл, сходи-ка, принеси из дома бозо, там в углу стоит бочоночек. Твоя джене приготовила. Да ты вчера видел, где он. Пить хочется.

Мы выпили по две чашки холодного бозо. Базыл сегодня был необычно разговорчив, вспоминал свою жизнь и наконец тихо сказал:

— Вот теперь сижу, как собака на привязи.

Я посмотрел ему в лицо, на нем не было ни отчаяния, ни боли. Должно быть, он уже отгоревал свое и смирился.

— На фронт я пошел в сорок третьем, был тогда еще моложе тебя, совсем молокосос. Сам-то вер-

нулся, а ноги на войне оставил.

Мне жалко его, он ведь совсем еще не старый, сорока лет нету. И без ног. Только он никогда не жаловался. Наоборот, любил говорить о том, какие у него умелые руки, как он мог бы работать.

— Задумал, понимаешь, перебраться в район, устроиться в сапожную артель. Брат Садыр не соглашается. Брось, аке, говорит. Если хочешь, сапожничай дома, чини башмаки ребятишкам и за хозяйством присмотри, а то некому, кроме тебя, все работаем. Раз так, говорю, купи мне хорошие сапожные колодки. Ладно, отвечает. Так что, уке, скоро я начну стучать молотком. Вот увидишь, не только простые чокои, буду шить узорчатые сапожки для девушек!

Об этом Базыл твердит каждый день. Давно уже… И верит в свои силы. В глазах у него загораются веселые искорки. Затягиваясь папиросой, он широко улыбается мне, показывая ровные, пожелтевшие от табака зубы.

— Приготовь кожу, уке. Сошью тебе сапоги куда лучше тех, что продают на базаре. Лет пять будешь носить, не меньше!

Тихо шелестят над нами листья тутовника. Птицы любят это большое густое дерево, их тут всегда полно. Вот и сейчас стая воробьев устроила

совещание над нашими головами. Посовещались, почирикали и всей стаей перелетели на кукурузу.

Половина огорода у Базыла засажена кукурузой. Кукуруза сильная, на каждом стебле по нескольку больших, почти спелых початков. Мне очень нравится запах кукурузы, какой-то свежий и теплый.

Другая половина огорода занята арбузами, дынями и овощами. Тут и картошка, и капуста, и огурцы, и морковь, и помидоры. Помидоры уже покраснели, кустики их стоят нарядные, как девушки на празднике.

Жена у Базыла хорошая хозяйка — это все говорят. Да и как иначе, если муж инвалид, а ребятишки — их двое — совсем малыши, только в школу пошли. Но Базыл, между прочим, и сам на огороде работает, я это своими глазами видел. Зато и огород хорош, гляди-ка, как темнеют на солнце здоровенные арбузы и блестят золотые дыни.

Базыл слова берется за комуз. Но тут является Мыкты. Ему жарко, на носу выступил крупными каплями пот. Базыл приподнимает голову, должно быть приготовившись ответить на приветствие Мыкты. Но тот только молча протягивает

руку. Базыл пожимает ее. Мыкты спрашивает:

— Ну что, сидите?

— Сидим. Добро пожаловать, Мыкты-уке!

Я смотрю на Мыкты. Во Фрунзе, во время экзаменов, он был довольно худощавый, но потом удивительно быстро поправился. Шея толстая, и весь он какой-то цилиндрический. Держится важно.

— Ну, как дела, в порядке? — спрашивает он, хватает меня за плечи и начинает трясти изо всех сил — это он изволит шутить. — Гуляешь?

— В порядке, — отвечаю я и стряхиваю с себя его руки.

— Хе! — пренебрежительно произносит Мыкты и начинает запанибрата приставать к Базылу, будто их в одной люльке качали: — Ну, Базыл, как, все возишься со своим комузом? Бозо-то есть? Пить охота!

Базыл не выказывает ни обиды, ни удивления. Наверное, он привык к такому поведению Мыкты. С сожалением — только глаза у него щурятся — он отвечает:

— Ай-ай, уке, опоздал ты! Мы все выпили, ни капли не осталось. А где это ты пропадаешь, что-то тебя не видно в наших краях?

Мыкты, упираясь в бок правой рукой, левую

указующим жестом вытягивает куда-то к северу.

— Был там… в районе. Работу предлагают в двух местах. Велели анкеты заполнить. Ну, мы еще подумаем. Как по-вашему, в милиции ничего работа?

— О-о, уке, тебе везет. Хорошо, очень хорошо… Пистолет нацепишь!.. — Базыл повернулся ко мне. — Асыл-уке, сбегай, принеси арбуз там или дыню, выбери что хочешь. Твоя джене сняла вчера несколько штук, ты знаешь, где они лежат. Или прямо на бахче найди свежий. Беги скорей, угости Мыкты-уке, пусть утолит жажду.

Я принес огромный, с котел, темнокожий арбуз. Базыл пошлепал по нему рукой, оглядел его и разрезал на две половины.

— Ого! Вот это называется поспел!..

Арбуз был сладкий — настоящий сахар. Базыл добродушно улыбался, глядя, как мы с Мыкты наперегонки въедаемся в сочные ломти.

Мыкты швырнул коркой в лениво дремавшего дворового пса и вдруг спросил:

— Базыл, а зачем вам с твоей бабой столько арбузов? Ишь какой урожай!

— Ха, уке, лишними не будут. Сами поедим, друзей угостим, на зиму запасем. Что останется, свезем на зеленый базар, продадим. В прошлом

году продавали, ребятишкам на эти деньги обновок накупили.

Мыкты с набитым ртом пробурчал:

— Вот у кого денег полно, оказывается!

Базыл нахмурился.

— Считаешь в чужом кармане… Ты лучше скажи, откуда сам деньги берешь водку покупать?

Он взял лежавший на подушке комуз и слегка постучал грифом по оттопыренному карману Мыкты. Тут и я заметил, что из кармана торчит горлышко бутылки.

— Мне отец сколько хочешь денег даст! — хвастливо ответил Мыкты. — Что, выпить захотелось? Угостить?

Я сплюнул.

— Очень нужно твое угощение! Было бы что, а то…

— Что может быть лучше водки? Эх ты, баба!

— Подумаешь, мужчина!

Я вскочил и сжал кулаки. Базыл потянул меня за рукав.

— Бросьте ссориться, герои! Ты, Асыл, уж очень горячий. Давайте-ка лучше я вам сыграю…

Он не успел еще дотронуться до струн, как Мыкты потянулся за комузом:

— А ну-ка, я запою, как Токтогул!

Базыла передернуло, но он сдержался и даже улыбнулся:

— Давай, уке, давай, повесели нас!

Мыкты неистово колотил по струнам и что-то пел дурацкое. Я почувствовал, что от него пахнет водкой. Базыл с тревогой следил за тем, как Мыкты лихо обращается с его любимым комузом. Лопнула струна. Мыкты продолжал играть, не обращая внимания на это. Базыл вырвал инструмент из рук Мыкты.

— Осторожней, уке!.. — он уже не сдерживал негодования. — Это комуз, уке, он не терпит такого обращения. Да у меня и нет запасных струн… Вот беда!

Мыкты пропустил мимо ушей слова Базыла. Он был весь красный и громко сопел.

— Пить я хочу, Базыл! Неужели у тебя вправду нет бозо?

Базыл все еще огорченно рассматривал комуз.

— Нет, уке, — ответил он. — Завтра приходи, сможешь хоть выкупаться в бозо.

Он невесело усмехнулся. Но Мыкты, видно, разошелся — не остановишь.

— Смотри ты! Безногий, а хитрый… Валяется тут, как мешок с соломой! Верно, Асыл? — обратился он ко мне за поддержкой. — На мою водку

глаза разгорелись, а попросил у него бозо, завтра приглашает. Ну, ты, доставай деньги, Асыл сбегает в магазин…

Базыл не дал ему договорить. Весь белый, с дрожащими губами, крепко зажав в руке комуз, он крикнул:

— Ты! Скотина здоровая! Нашел чем попрекать, да я тебя…

Он размахнулся комузом, Мыкты увернулся, и комуз ударился об угол топчана, разлетевшись в щепки. В руках Базыла остался гриф с повисшими, оборванными струнами…

Мой отец приветливо встретил Мыкты, пригласил сесть и принялся расспрашивать о здоровье домашних. Он говорил сегодня как-то очень медленно и с расстановкой, а на потном худом лице его было важное и значительное выражение.

«К чему бы это? — подумалось мне. — Уж не стал ли и секретарем сельсовета наконец?!»

Оказалось, совсем не то: отец сам устроился на работу в лесхозе. Он старался скрыть свою радость и медленно процедил:

— А ну их… Позвали, предложили работать. Я согласился, хоть зарплата небольшая.

— А работа какая? — спросил Мыкты.

Его, видно, это заинтересовало.

— Да так… За уборкой ореха следить, что ли… — еще небрежнее ответил отец.

— О, это не работа, а клад! — у Мыкты загорелись глаза. — Сдашь «налево» тонну ореха, вот десять тысяч рублей у тебя в кармане.

— Ну, это не по мне, такого я не умею делать. — Отец притворно зевнул. — Придется попотеть, работа, кажется, нелегкая.

Мать подала обед.

Отец, по всему видно, очень доволен, что я пришел с Мыкты. А мы только что вернулись из райцентра, где пробыли несколько дней.

— Ребята, обиду не смоешь с души, как грязь с рубахи. Вы не обижайте друг друга, помогайте один другому. Мы с аксакалом Бердике уже не молоды, пора вам уступить дорогу, — говорит он.

— А как же, — Мыкты высоко подымает плечи. — Мы и во Фрунзе всюду вместе ходили.

— Вот это правильно!

— Отец обещает Асылбека к себе в секретари взять. Это хорошее место.

— Верно, хорошее, — подхватил отец. — Но самое ценное, что работа будет под руководством Бердике. От этого нашему парню выйдет большая польза.

Мыкты вздохнул и улыбнулся.

— Я бы и сам не прочь на это место поступить, да только председатель-то мой отец, неудобно.

Отец скосил на него глаза, усмехнулся.

— Да, если бы можно, так хорошо, конечно. Особенно тому, у кого ушки на макушке…

На улице послышался топот копыт. Кто-то верхом подъехал к нашему двору и остановился.

— Эй, Чаке! Аимгюль-джене, Чаке дома?

Господи, опять Орко! Отец ругнулся и прямотаки со стоном встал со своего места. Я пошел за ним и остановился в дверях.

— Заходи, — нехотя пригласил отец.

Орко слегка тронул коня, тот переступил поближе, звякнуло стремя.

— Ассалом алейкум, Чаке! — вежливо поздоровался бригадир.

В общем-то наш бригадир Орко человек приветливый. Особенно когда на работу посылает или спрашивает что-нибудь — все с улыбкой.

— Алейкум ассалом! — вынужден был так же вежливо ответить отец. — Что не хочешь спешиться?

— Некогда, Чаке, я ведь на минутку. У меня есть к тебе одно предложение.

— Ну… говори! — Отцу, должно быть, стало любопытно.

Орко, приподнявшись на стременах, указал свернутой вдвое камчой на наше кукурузное поле.

— Чаке, вот что… кукуруза у тебя в этом году все равно как следует не вызреет. Короче говоря, Чаке, хотим мы у тебя ее забрать на силос.

Отец вытаращил глаза и еле выдавил:

— Ой-ой!..

— Погоди, Чаке, погоди. Кукуруза твоя в лучшем случае даст зерна центнера три, да и то вряд ли. А силос получится из нее хороший. Ты взамен возьмешь пять центнеров пшеницы из колхоза, идет?

Отец яростно затряс головой.

— Нет, уж это ты погоди, Орко-уке. Себе возьми эти твои пять синтиров. У нас корова, что мы зимой без кукурузы будем делать, чем скотину кормить? — Отец говорил сквозь зубы, на скулах у него двигались желваки. — Ты, Орко, не шути с людьми!

Орко тоже закипятился:

— Да разве я худа тебе желаю? Брось ты свою глупую обидчивость, что в ней проку! — Орко обратился за поддержкой ко мне: — Верно я говорю, уке?

Я промолчал.

— Ну ладно, упрямый ты человек, получишь за кукурузу вязок шестьдесят сена. Корми, пожалуйста, свою корову!

Отец и на это не согласился.

— Нет! — отрезал он и отвернулся.

Огорченный Орко шлепнул ладонью по шее коня.

— Эх, ему доброе говоришь… Ой, уке, ты разумный парень, ну погляди, разве такая кукуруза даст зерно? Одну зелень. Я предлагаю пять центнеров пшеницы. Разве мало? Поспорим, если вы соберете хоть два центнера с этого поля, отрежьте мне нос!

Мы с матерью пытались потом уговорить отца. Он уперся и ни в какую. «Не надо. Не стану продавать своим трудом добытое… Зелень скормим коню, стебли пойдут на крышу, вот вам и все!» Но ведь бригадир-то дело говорил. Отец отказывался из-за самолюбия, что ли, причем из-за какого-то чудного самолюбия. Была бы польза и нам и колхозу…

А огороды уже убраны; начали убирать кукурузу на силос. Недалеко работает бригада, поэтому в аиле стало шумно, людно. Голоса, крики, да еще трактор тарахтит с утра до ночи. Даже наш петух хлопает крыльями с таким видом, будто невесть

какое важное дело делает.

Мы с Мыкты стоим у нас во дворе. Петух подходит к нам, потряхивает красным гребешком и, поворачивая голову, поглядывает на нас то одним, то другим круглым глазом. Ждет, должно быть, не перепадет ли ему зерна. Не понимает, бедняга, что скорее всего не мы его накормим, а он пойдет нам на жаркое.

У силосной ямы целая толпа девушек и молодух — так и мелькают платья, одно ярче другого. Мыкты подмигивает мне:

— Погляди, сколько черноглазых! Пошли туда, а?

С того дня, как я узнал о решении комсомольского собрания, я, признаться, стеснялся людей, боялся попадаться им на глаза. Мыкты этого не понимает, а сам он никого не стесняется. Вот и сейчас он пристал, как репей: пойдем да пойдем. Что делать? Откажешься — трусом назовет. Поэтому я нехотя соглашаюсь:

— Ладно.

Когда мы подошли, все уставились на нас. Не понимаю, как можно остаться спокойным и не покраснеть, если тебя так и сверлят десятки острых, любопытных глаз. Да еще если ты имеешь основания чувствовать себя посторонним. Но

Мыкты все это нипочем. Выступив вперед, он громко здоровается.

— Добро пожаловать, — улыбнулся бригадир Орко. — Добро пожаловать!

А девушки перешептывались, до меня донесся приглушенный смех. Я и без этого чувствовал себя неловко, а тут меня словно холодной водой облили. Еле-еле заставил себя поздороваться за руку с теми, кто стоял поближе. Мне казалось, что все без исключения смеются над нами. Я, не глядя, видел их улыбки. А Мыкты чувствовал себя отлично; он уселся на груду зеленых кукурузных стеблей и принялся шутить с женщинами.

Женщины быстро подавали зеленую массу на ленту силосорезки, другие сбрасывали ее в траншею; человек десять утаптывали силос в яме. Траншея была почти полна.

— Эй, молдо, — глядя на Мыкты, не вытерпел бригадир, — подсобил бы немножко! — По выражению его лица видно было, что про себя он добавил: «А не то убирайся отсюда подобру-поздорову!»

Я молча наклонился, взял охапку кукурузы и бросил на движущуюся ленту силосорезки. Потом еще охапку, еще... Я спешил, чтобы не услышать снова грозный окрик. Орко задержал

на мне взгляд своих выцветших, с покрасневшими веками глаз:

— Уке, работай аккуратней, сорочку запачкаешь, — и подал мне вилы.

Мыкты, увидев это, вскочил, выхватил вилы из рук снохи Кульджи.

— А ну, джене, отдохни, ты устала!

— Устают только такие молдо, как вы, — засмеялась в ответ румяная сноха.

— Не хочешь ли испытать меня? — Мыкты подмигнул ей. — Тогда посмотрим…

В это время показалась плетеная повозка с кукурузой. Тащил повозку ленивый бык. Возчик, должно быть, намаялся со скотиной, которую все время приходилось погонять.

— Сюда, сюда заворачивай! Вот здесь разгружай, Садыр! — закричал Орко. — Ну и бычок тебе достался, еле тащится. Давай сюда, парень!

Не знаю, слышал возчик слова бригадира или нет, только он ничего ему не ответил. Побледнел, закусил тубы и досмотрел сначала на меня, потом на Мыкты. Это был Садыр, брат Базыла. Он соскочил с повозки и направился к нам. Мне почему-то стало страшно. Садыр на секунду остановился возле меня и пошел дальше, не говоря ни слова. Вид у Садыра был такой, что все просто оцепене-

ли и молча следили за ним. Один Мыкты ничего не замечал и продолжал заигрывать с молодухой, лениво забрасывая кукурузу на транспортер. Садыр подошел к нему, размахнулся и так хватил тяжелым кулаком Мыкты по носу, что тот плюхнулся в траншею.

— Ой, Садыр? Что ты? — закричал кто-то. Садыра схватили за руки, он не вырывался, стоял, скрипя зубами, и смотрел на Мыкты. Тот, шлепнувшись на кучу силоса, опомнился, вскочил и сразу сообразил, кто его ударил. Схватив вилы, он метнул их в Садыра. Женщины ахнули, я закрыл лицо руками: мне показалось, что вилы попали Садыру в голову. Но Садыр даже не нагнулся и ловко поймал вилы на лету. Ругаясь, Мыкты выскочил из траншеи, кинулся к Садыру. Люди не подпустили их друг к другу. Двое парней держали Мыкты, трое отвели в сторону Садыра.

— Породи, ты у меня еще узнаешь! — крякнул Садыр. — Нашел себе забаву! Я тебе башку расшибу, как комуз!

Я вздрогнул, а над самым ухом у меня раздался голос Орко:

— А ну, за работу! Не обращайте на Мыкты внимания, он получил по заслугам.

6

Я сидел на перевернутой ступе и делал вид, что читаю, но читать не мог. Гляжу, мимо меня по дороге шагает Чотур. Он издали помахал мне рукой. Я сделал вид, что не замечаю, и принялся разглядывать верхушки тополей. Но Чотур, кажется, и думать забил про нашу ссору. Подойдя поближе, он спросил:

— Что, сидишь?

Дурацкий вопрос!

— Сижу, — ответил я и повернулся к нему спиной.

— А я думал, ты скучаешь, — сказал я.

— Некогда скучать, братец, — холодно ответил я.

Но Чотура мой холодный тон ничуть не озадачил. Он принялся хохотать, будто его щекочут!

Чего он пристает, снова поругаться захотелось, что ли? Подошел ко мне и смотрит, глаза блестят, как у кота перед мышиной норой. Я немного смутился, но виду не показывал и зорко следил за ним, готовый дать отпор.

— Что это к нам не заходишь? — спросил Чотур.

Я снова перевел взгляд на вершины тополей.

— Так просто. Дела… Некогда!

— Дела-а? Какие же у тебя дела? Что-то я тебя в этом году за делом не видел. Ха-ха-ха-ха! И что это за невидимые дела! Пошли к нам. У меня сегодня выходной.

Я покачал головой, но он не отставал:

— Брось, какой прок одному сидеть! Идем!

В это время заявился отец. И с ним еще кто-то.

— Принимай коней, сынок! — крикнул отец, спешиваясь.

Чотур негромко поздоровался с отцом и вопросительно посмотрел на меня.

— Ладно, приду — только немного погодя, — сказал я.

Чотур сунул руки к карманы, и зашагал прочь.

— Придет, придет! — крикнул отец вслед и проводил его неодобрительным взглядом.

Чудно, этот неказистый Чотур мне все-таки очень нравится. Мне кажется, что он понимает все, о чем я думаю, из-за чего мучаюсь. Хотя этого не может быть, потому что я и сам себя не очень-то хорошо понимаю.

С отцом вместе приехал лесничий Иванов. Я его и раньше не раз видел, знаю его сына Колю, моего ровесника. Коля веселый такой парнишка, очень

общительный. Десятилетку он окончил в районе, потом уехал куда-то учиться или работать.

Дом у Ивановых большой, шесть комнат. Я один раз был у них, Коля пригласил. Жена лесничего — женщина крупная, и, несмотря на это, она не ходит, а бегает и по двору и по дому, еще бы, хозяйство какое! У них и куры, и гуси, и поросята… Иванов, должно быть необыкновенно хозяйственный человек. В аиле все удивлялись, как это он приехал с двумя чемоданами, больше никаких вещей не было, а так скоро и дом хороший построил, и сад насадил, и огород развел. И в лесничестве ведь работы хватало!

Ростом лесничий невысок, но весь какой-то большой, крепкий, здоровый. И конь гнедой под стать хозяину: крупный, сильный, копыта с чайник.

Отец разговаривал с лесничим почтительно, на какой-то странной смеси киргизского и русского языков. Он пригласил гостя сесть; Иванов опустился на расстеленное матерью одеяло и, видно, не знал, куда ноги девать: то ли поджать под себя, как это делают киргизы, то ли вытянуть. Большие кирзовые сапоги мешали ему.

— Асыл, где ступа? — спросил отец.

Я принес ступу и поставил возле гостя. Ему это

понравилось. Он улыбнулся и, повалив ступу набок, сел верхом, как на коня.

Мать принесла чай. Лесничий сбросил куртку, положил ее на пол, отхлебнул чаю и заговорил. Отец говорил еще в прошлом году, что лесничий быстро научился киргизскому языку и знает его в совершенстве. В совершенстве не в совершенстве, но объясняться он умел, верно. Это все признавали, а кое-кто, потолковав с Ивановым, начинал себя считать знатоком русского языка.

Я встал и потихоньку вышел во двор. Отец за мной. Ну, думаю, сейчас опять начнется: «Негодник! Что ты бегаешь от людей?» Нет, ничего, отец только приказал:

— Асыл! Давай-ка поймай петуха, надо зарезать его для гостя. Да поживей! Мы прямо отсюда поедем в Артык.

Я позвал кур и бросил им горсть кукурузы. Петух от угощения не отказался, но и в руки мне не дался. Я попробовал было ухватить его за ногу, он увернулся и больше ко мне близко не подходил. Я за ним вдогонку, он от меня. Юркнул в кукурузу и был таков.

Из дома вышел отец.

— Поймал?

Я вытер пот со лба:

— Застрелить бы его надо, так не догонишь.

— Эх! День-то уже на исходе. Вот уж недотепа!

Он показал на желтую хохлатку.

— Хватай эту. Сойдет, только поскорей.

С хохлаткой я справился быстро. Передал ее матери, сам зашел в комнату. Отец с Ивановым говорили о домах, о том, как их надо строить. Иванов бранил наш дом, хвалил свой и предлагал отцу построить такой же, просторный, на крепком фундаменте. За плату, конечно. Ну, на такой дом наших денег не хватит. Я в разговор не вмешивался, послушал, послушал и потихоньку улизнул к Чотуру.

Чотур, как всегда, был в отличном настроении. В комнате, кроме него, сидела за швейной машинкой его двоюродная сестра Дильде и что-то шила. Дома у Дильде швейной машины не было, и она иногда заходила к Чотуру. Увидев меня, Дильде привстала и слегка поклонилась. На минуту сверкнули ее большие черные глаза, потом она снова принялась за работу. Мне показалось, что она немного смутилась.

Я повернулся было к радиоприемнику, Чотур с досадой махнул рукой.

— Спит! Без электричества плохо. Никак питание не наладишь. То батарея кончится, то еще

что-нибудь не так. Ремонтирую без конца, батарейки покупаю, все равно ничего не получается. В Таш-Кумыре у меня была радиола «Восток». Переезжал сюда, пришлось продать. Вот это был приемник, все ловил, Работал, конечно, от электросети. А этот принимает только Фрунзе и Ташкент, и то плохо… Ну ладно, давай сыграем разок.

Мы взялись за карты. Чотур сдавал и все говорил, говорил о том о сем. Потом как-то по-особому поглядел на меня.

— Асылбек… я тебе давно хотел сказать… Еще в тот раз, только ты был не в духе. Ты, парень, становишься плохим человеком, тебя перестанут уважать.

— Кто перестанет?

— Как кто? Люди! — Чотур даже немного обиделся на мой вопрос. — Захочешь учиться — поезжай, никто тебя удерживать не станет. Но до тех пор…

Дильде не поднимала головы от своего шитья и не вмешивалась в разговор, но мне казалось, что она слушала очень внимательно. В уголке рта у нее притаилась едва заметная улыбка. Может быть, Дильде улыбалась каким-то своим мыслям… Все равно мне было не по себе.

Чотур легко обыграл меня подряд два раза. Рассмеялся и бросил все карты мне в голову.

— Вот тебе! Сшей себе из них чапан… Красиво будет, только держись!

— У меня настроение неважное.

— Неважное? Ха-ха-ха… Погуляй еще месяц-другой без дела, настроение улучшится.

Чотур помолчал.

— Знаешь, Асыл, — качал он снова, на этот раз серьезно. — Я не смог по молодости и по глупости своей оценить Бактыгюль. Помнишь мою первую жену?

— Ему-то что о ней вспоминать, это ты никак забыть ее не можешь, — запальчиво вставила Сойко, которая незадолго перед этим вошла в комнату.

— Не могу, — ответил Чотур и усмехнулся. Сойко вскочила, выбежала. Чотур поглядел вслед, пожал плечами и продолжал: — Да, бедная Бакты ушла от меня, мать умерла. Придешь с работы — воды тебе никто не подаст. Я решил, что проживу и так, бросил работать. Шлялся целыми днями по базару и пьянствовал. В карты играл. Это был, можно сказать, мой единственный источник доходов. Только чаще проигрывал. Наконец пальто с себя проиграл. И вот, понимаешь, иду я в тот

день по улице, недалеко от вокзала. Навстречу мне женщина, маленькая, худая, у нее тяжелый чемодан, еле она его тащит. Я к ней: «Сестренка, давай чемодан донесу. Куда идти?» Она недоверчиво посмотрела на мои нечесаные космы, грязный костюм, стоптанные ботинки. Потом улыбнулась, отдала чемодан. Пронес я его немного, свернул в переулок и был таков. Да-а, — Чотур покачал головой, как бы удивляясь тому, что это он сделал когда-то такое нехорошее дело. — Ну, принес я чемодан домой, закрыл покрепче дверь и сорвал с чемодана замок. И там, в чемодане-то, понимаешь, были один книги, полно книг. Стою, смотрю на эти книги… Стал их перебирать, нашел сверток в газете, в свертке белье — лифчик там, рубашка…

Чотур заглянул мне в глаза.

— И после этого случая я не одумался. Шел и шел по кривой дорожке. Правда, воровать больше не воровал, но и доброго ничего не делал. Карты, водка… «Зарабатывал»… — Он криво усмехнулся. — Да ведь и воровство, так сказать, способ существования. — Чотур, сощурившись, испытующе-насмешливо посмотрел на меня. — Может, и ты хочешь попробовать?..

Я молчал.

Неужели я такая уж дрянь?! Неужели, глядя на меня, можно думать о таком вот? «И ты хочешь попробовать?» Этими словами Чотур хлестнул меня, как плетью. Я не мог ответить, не мог встать и уйти. Чотур, наверное, понял, что творится со мной, и заговорил о другом.

— Я слыхал, к нам приехал представитель из райкома комсомола. Будет проводить собрание молодежи. Потом кино покажут. Ты пойдешь? Мы сегодня все свободны, можем пораньше отправиться в клуб.

Не услышав и на этот раз от меня ни звука, Чотур прилег на кошму, заложив руки за голову.

— Дильдеш, — обратился он к своей красивой сестренке, — спроси свою джене, накормит ли она нас. За это время и верблюда можно было сварить!

7

Спелые орехи дождем сыплются на землю с ореховых деревьев возле клуба. Подует ветер, сорвется с дерева стаяла птиц — и сразу слышишь: тук… тук… тук… Это орехи стукаются о твердую утоптанную землю. Мы подобрали по несколько штук, тут же разгрызли и съели. Кроме нас, возле клуба никого не было. Сойко и Дильде сели в тень, а мы с Чотуром зашли в сельсовет. В конторе оказался один счетовод Бурге. Библиотека была закрыта.

Бурге посмотрел так, будто припоминал, где это и когда он нас видел. Он был погружен в какие-то свои расчеты, копался в бесчисленных бумагах.

— Ну как, джигиты? Что скажете? — негромко спросил он наконец.

Чотур подошел к его столу.

— На собрание пришли, — прогудел он. — Чего это здесь ни души нет? Или не будет собрания сегодня?

Бурге сморщился.

— Присаживайтесь. Про собрание не знаю ничего, приезжий представитель с нашим Кокилом были здесь, возле них вертелось человек пять

парнишек.

И Бурге снова защелкал своими счетами, бережно перебирая истрепанные бумажонки. Кончив считать, он запер их в железный ящик. Как обезьяна, которая ищет блох, сунул руку куда-то себе под мышку — спрятал ключ от ящика. Спрятал и сразу успокоился, заулыбался.

— Видите, работы сколько! Зайдет иной раз кто из знакомых, так даже поболтать некогда. Последние три дня буквально головы от стола не подымаю, готовлю отчет для района. Вот только сию минуту кончил. Ну, а вы что, гуляете, джигиты?

Он обращался главным образом ко мне. Спросил, оскалив зубы в любезной улыбке, о здоровье отца. Не забыл еще нашего угощения!

В дверь постучали. Вошли четыре женщины, чем-то взволнованные. Мы замолчали.

— Ну как, Бурге, есть что-нибудь? — спросила одна из них. — Нам, дорогой, уходить пора.

Голос у нее был слабый, лицо бледное, глаза покраснели и смотрели на счетовода жалобно.

— Ашыргюль-джене, я вам давно сказал, что нет, — тут Бурге улыбнулся. — Кто вовремя пришел, тот и получил. Я же не виноват, что вы опоздали. Деньги, знаете… — Бурге развел рука-

ми. — Деньги — это вода, текут быстро.

Из-за спины Ашыргюль выступила здоровая, краснощекая женщина.

— Что это такое? — заговорила она. — Что вы нас за нос водите? И не платите, и не отказываете.

— Ой-ой-ой! — Бурге покачал головой. — Азим, красавица, вы-то что? Ашыргюль-джене требует, понятное дело, у нее девять законных сыновей. — Он с особым ударением произнес слово «законных». — А вы что же, хе-хе!

Азим вздрогнула, словно от удара, резко повернулась и вышла, с треском захлопнув дверь. В комнате стало тихо. Молчание прервал Бурге.

— Хе-хе-хе, — фальшиво засмеялся он. — Требует деньги на незаконнорожденного… Совести нет…

— Ты, Бурге, детей оставь в покое, чьи бы они ни были. Ребенок не виноват, что у него нет отца. Зато государство о нем заботится, и ты обязан деньги выдать, — резко ответила одна из женщин.

— Ладно, ладно! — Бурге обеими руками зажал уши. — С вами свяжешься, так не обрадуешься.

— Бурге, — сказала Ашыргюль, — отпусти нас, смеяться потом будешь…

— Эх, Ашыргюль-джене, чем ходить и просить эти жалкие деньги, ты бы лучше просила у бога здоровья своим детям…

Ашыргюль вспылила:

— Это мое дело, чего просить! Каждый раз чуть не половину оставляем тебе. В прошлом году доверила тебе книжку, так ты за полгода пособие сцапал. Хочешь, чтобы мы совсем от него отказались?! Ладно, подавись этими деньгами, чтоб тебе пусто было!

И она ушла. За ней ушли и другие. Бурге проводил их страдальческим взглядом и вздохнул:

— Видали, каково с ними? А тут еще работай с утра до вечера. Устаешь до полусмерти, валишься с ног. И все тобой недовольны. Неблагодарная у меня работа! Вот хоть эти бабы, ну что они стали бы делать, не плати им государство пособие? И требуют так, будто я эти деньги их отцам задолжал. До чего дошли люди!

Чотур насупился.

— «Люди, люди!» — передразнил он. — Ты-то человек или нет? Если им полагается по закону, плати и не звякай!

И тут неожиданно для самого себя я не выдержал:

— Ты, Бурге-аке, осуждаешь женщину за то,

что она спрашивает деньги на незаконного, как ты говоришь, ребенка?!. А ты, сам ты законно поступаешь? Куда ты деваешь деньги, которые у них крадешь? В землю зарываешь?! — И, не дожидаясь ответа от изумленного Бурге, я крикнул: — Жулик ты, лиса бессовестная!..

Чотур потом долго хохотал, повторяя:

— Как ты его? «Лиса бессовестная»? «Жулик»? Здорово, ха-ха-ха!

Я в жизни никого так не обзывал, поэтому чувствовал себя теперь очень неловко. Может, я зря горячился… Но когда я вспомнил хихикающего Бурге, подлого обманщика…

Собрание молодежи проходило в клубе. Народу набилось множество, на скамейках сидели, тесно прижавшись один к другому. Кому места на скамьях не хватило, устраивались как могли: кто присел на корточки, кто, не выдержав неудобной позы, опустился прямо на пол, не жалея брюк. Чотур все-таки кое-как втиснулся между Сойко и Дильде. Я стоял, прислонившись к стене, и смотрел на сцену. Там, в президиуме, были Кокил, представитель райкома комсомола и несколько человек наших активистов.

Клуб у нас большой, только его давно не ремонтировали. В дождь крыша протекает, штукатурка

от этого обваливается. Один механик кинопередвижки, парень задиристый и насмешливый, не признает наш клуб и крутит кино прямо на улице, благо белая стена конторы хорошо заменяет экран. Когда приезжают городские артисты, спектакли тоже приходится устраивать во дворе: зрителей столько, что в клубе они не помещаются.

Сегодня в клубе темновато. Горит почему-то одна-единственная керосиновая лампа, она освещает только членов президиума, да и то слабо. Две большие ночные бабочки носятся вокруг лампы, словно стараясь погасить и этот слабый свет. Огромная тень оратора, смешно повторяя его движения то и дело перемещается со стены в зрительный зал, потам опять на стену. Я некоторое время внимательно следил за этой тенью и плохо слушал, что говорит ее хозяин, джигит из райкома. А говорил он увлеченно, уверенно и так свободно, что мне стало завидно. В самом деле, он старше меня на год, ну, может быть, на два. Почему же он такой смелый? И, наверное, образованный. Успел приобрести авторитет у людей…

— В Шамалды-Сае, — говорил райкомовец, — река Нарын будет перегорожена плотиной, там построят огромную электростанцию. Когда она

будет закончена, электроэнергию получит не только наша Киргизия, но и вся Средняя Азия. Работать нам будет легче, жить станем лучше, культурнее, интереснее. Короче говоря, ребята, эта ГЭС — наше счастье, наше будущее!

В зале зашумели. Кое-кто уже слышал о плотине раньше, но многие узнали о ней только здесь, на собрании. Наши местные ораторы один за другим потянулись выступать. По-моему, лучше всех говорил Кокил.

— Вы поглядите, — он повел рукой сначала в один темный угол, потом в другой. — Поглядите, темно, как в пещере, верно? А было бы электричество, мы могли бы сидеть и любоваться друг другом, сколько хочешь. Но главное, я вот о чем хотел сказать. Есть такая поговорка: «Невкусен суп из мяса, купленного по дешевке», то есть грош цена тому, что досталось без труда. Если мы не примем участия а постройке плотины и электростанции, как же мы сможем потом без зазрения совести пользоваться ее энергией, считать ее своей?! На стройку приедут люди со всей страны, нам тоже надо послать туда своих ребят.

Вот этого самого Кокила и поносил на все лады счетовод Бурге. Кокил аккуратный такой, худощавый парень с умными глазами. Я в последнее

время иногда встречал его в библиотеке и старался при этом на него не смотреть. Все казалось, что он вдруг спросит: «Ну что, ждешь, когда я тебе место освобожу?» Неприятный вопрос, да еще ежели его задаст такой парень. Кокил говорит немного, но веско, значительно. И держится всегда спокойно, я еще ни разу не видел, чтобы он суетился или спешил.

Глядя сегодня на него, я окончательно простился с надеждой стать секретарем сельсовета… Куда мне!

Кокил между тем продолжал:

— Ребята, кто захочет поехать на строительство, тем райком даст путевки. Что вы скажете на это?

— Ладно? — раздался чей-то голос из угла. — Не торопи, посоветуюсь с женой, завтра дам ответ.

Я думал: а я?.. Я не столяр, не плотник, не шофер. Да кому я нужен… Пусть этот райкомовец сам поедет…

Тут вскочил Кенебай и потребовал, чтобы его записали, но ретивого шофера остановили: мы с тобой, дескать, и колхозу необходимы. Кенебай не успокоился, принялся по своему обыкновению зубоскалить и расшевелил всех. Ехать на стройку записалось трое ребят из верхней бригады. Этим и кончилось собрание.

Стали показывать кино, но дело не ладилось. Рвалась лента, останавливался движок. Мы решили уйти домой. При таких темпах картину досмотришь к утру, не раньше. Да и публика у вас невыдержанная, чуть что, раздаются крики:

— Сапо-ожники!

— Давай живей!

От одного крика голова заболит, а тут еще топот, свист. Мы стали пробираться к выходу. Дильде и Сойко оглядывались на экран, ожидая новой вспышки света.

— Пошли, пошли? — заторопил жену Чотур. — Ничего тут не дождешься, дома я тебе сам без света кино покажу.

Но и ему, конечно, было досадно, что не удалось посмотреть картину. По дороге он тихонько сказал мне:

— Вот видишь, Асылбек… Эх, черт возьми, было бы у нас здесь электричество, как в Таш-Кумыре, мы бы эту картину посмотрели в свое удовольствие…

8

Дильде… Это коротенькое имя с недавнего времени для меня почему-то звучит, как песня. Мне становится так тепло, хорошо, и сердце сильнее бьется, когда я тихонько говорю: «Дильде»…

Вон там, на нижнем конце поля, убирают последнюю кукурузу на силос. Тарахтит силосорезка, слышны голоса, смех. Может быть, и Дильде там. Я всматриваюсь в пеструю толпу. Вот мелькнуло белое платье. Дильде? Нет, кажется, не она…

Недалеко от нашего дома работает еще одно молодежное звено — картошку копают. Дильде может быть и там. Я поднимаюсь на крышу нашего дома и смотрю на картофельное поле. Нет, отсюда никого не узнаешь.

В полдень я отправляюсь в ту сторону и медленно иду по дороге мимо работающих. Скорее всего, никто не обратил на меня внимания, но мне кажется, что все взгляды прикованы ко мне. Я опускаю голову и ускоряю шаги.

— Эй, братишка! — окликает меня женский голос. — Не проходи мимо, подойди к нам.

Я подхожу.

— Дайте ему картошки, пусть сварит на ужин! — насмешничает кто-то из парней.

Все хохочут, а я чувствую себя сиротой на обеде у богатых родственников. Но не бежать же мне отсюда. Стыдно. И я здороваюсь со всеми:

— Здравствуйте! Успеха в работе вам!

— Дайте ему картошки, — говорит тот же мужской голос, — и пусть убирается восвояси.

Я оглядываюсь. Так и есть, это Садыр. Он оперся на воткнутый в землю кетмень и недружелюбно глядит на меня. Мы никогда друг друга не любили. В школе он почему-то дразнил меня «воображалой», а я его «коровьей башкой». И сейчас мне хочется крикнуть ему в ответ: «Ты, коровья башка, погоняй свою арбу и не лезь учить других!» Но я молчу. Садыр подходит и здоровается со мной за руку — так, что чуть мне плечо не вывихивает.

— Что же это вы с Мыкты творите? — спрашивает он. — Скажи на милость, кто вам дал право издеваться над инвалидом?

Голос у Садыра скорее грустный, чем злой. Мне опять становится совестно, что я был безучастным свидетелем того, как Мыкты оскорбил Базыла. Я уже не злюсь на Садыра, а только боюсь, что он скажет: «Эх, да разве вы люди!» — и

повернется ко мне спиной. Но Садыр только добавляет:

— Мерзавец он, этот Мыкты!

Он плюет на ладони и берется за кетмень. Наверное, Базыл подробно рассказал брату о том, как произошла ссора. Садыр как будто бы не считает меня таким уж виноватым. Мне становится легче, и я с радостью наблюдаю, как светлеет лицо Садыра.

До самого вечера я вместе со всеми копал картошку, потом во время отдыха парни устроили борьбу. Когда-то я мог легко побороть Садыра. Теперь не тут-то было! Садыр легко кладет меня на лопатки — набрал силы, бугай! Я почему-то не стыжусь своего поражения, хотя девушки дружно хохочут надо мной. Смеется и Дильде, она здесь, веселая, оживленная, как и все. Но с ней я не осмеливаюсь не то что пошутить, а даже просто заговорить. Не могу — и все тут! И мне досадно, когда кто-нибудь из ребят обращается к ней чересчур, как мне кажется, развязно.

Тогда, на комсомольском собрании, Дильде выглядела такой хрупкой, воздушной, прямо, как говорится, неземное создание. Сегодня она совсем другая: на ней старенькое желтое платье с полинявшими цветами, рукава засучены, воло-

сы, заплетенные в одну толстую косу, закручены узлом на затылке, лицо разгоряченное. Крепкая, сильная, она работает легко, без напряжения.

Облака над горой Бозбу стали красными от заходящего солнца, а тени длиннее, и теперь отчетливее доносится шум нашей бурной речки. Садыр велел сложить кетмени и лопаты в кучу под деревом.

— Пошли!

Кое-кто взобрался на повозки с картошкой. Дильде сказала, что идет сегодня к Чотуру, потому что мать ее уехала в гости. На мое счастье, краснощекая сноха Кульджи, такая неразлучная с Дильде, успела занять на арбе место. Так и получилось, что мы с Дильде остались вдвоем.

Вообще-то, все это странно. Когда я учился в девятом классе, а Дильде в шестом, я совершенно этой девчонкой не интересовался. Девчонка как девчонка. Она очень любила петь и на праздниках всегда выступала на школьной сцене. «Ишь поет-разливается, — думал я тогда. — Как бы не сбежала с каким-нибудь артистом!» Правда, с тех пор неказистая девчонка превратилась в красивую девушку.

— Дильдеш, Чотур дома?

Этот вопрос был не слишком-то удачным ре-

зультатом моего мучительного раздумья: «О чем заговорить с Дильде?» Но что поделаешь, на большее моей находчивости не хватило. Дильде откликнулась живо и охотно:

— Да, наверное, он и Сойко уже вернулись с работы. Чотуке приемник починил вчера. Теперь играет хорошо. Сегодня будут из Фрунзе концерт передавать.

Прекрасно, можно задать следующий вопрос:

— Хороший концерт?

— Кажется, хороший, — ответила Дильде и больше ничего не сказала, обрекая тем самым и меня на молчание.

Я шел и мучился сомнениями: тропинка узкая, пропустить мне Дильде вперед или самому идти первым? Лучше всего, пожалуй, идти рядом. Я попробовал так и сделать, но, во-первых, начал спотыкаться на каждой шагу, во-вторых, трава возле дорожки была покрыта густым слоем пыли, и ноги у меня скоро стали грязными до безобразия, а, в третьих, из брюки мне налипли тысячи репьев, так что одна штанина то и дело цеплялась за другую.

Дильде остановилась, пропуская меня на тропинку, но я отказался:

— Ничего, Дильдеш, по дорожке идите вы.

Я решил, что нам с ней нужно обращаться друг к другу на «вы»: в самом деле, нас в одной люльке не качали. И вообще, по-моему, неудобно к взрослой девушке, стройной, как молодая березка на берету ручья, обращаться «ты» или, еще того хлеще, как это некоторые парни позволяют себе: «Эй, ты?»

Дильде, услышав мое обращение, быстро повернула голову и удивленно на меня посмотрела. Ей, должно быть, и так казались странными моя робость, взгляды исподлобья, а тут еще это «вы»... Она покраснела, не зная, то ли обидеться, то ли сделать вид, что не придала значения такому пустяку. Во всяком случае, она явно не ожидала от меня ничего подобного. А ее смущение меня окончательно поставило в тупик. Я почувствовал, что тоже краснею. Но ведь ничего плохого у меня в мыслях не было, честное слово! Просто Дильде нравится мне, и все! Она очень хорошая девушка.

Как бы там ни было, но ни слова больше я из себя выдавить не мог до самого Чотурова дома. Тут мы остановились.

— Кажется, они дома, — заметила Дильде, по-видимому ожидая, что я вместе с ней войду в дом. Но я и думать не смел войти к Чотуру вместе с его

сестрой. Еще подумают бог знает что!

— Дильдеш, мне пора домой, — пробормотал я и вздохнул.

Дильде молчала.

— Ну, идите… До свидания! — я протянул ей руку.

Растерявшаяся Дильде дотронулась кончиками пальцев до моей ладони, и я неожиданно для себя самого крепко сжал ее руку. Девушка почти вырвала ее и, резко повернувшись, ушла.

…Дома сидел отец, нацепив на нос очки, и внимательно разглядывал содержимое своей старой сумки. Очки отец надевал только в исключительных случаях — когда читал особенно важные бумаги или разговаривал с людьми, которые ему не нравились. Не знаю уж, что он видел через эти очки, зрение-то у него еще хорошее. Бывало, мать не может вдеть нитку в иголку, отец сразу: «Давай сюда, старуха!» Нацелится, раз — и готово, попадет ниткой в ушко. «Вот как надо! Хе, слабый конь быстро устает, слабый человек быстро стареет». Между прочим, очки он не купил, а подобрал на дороге кем-то потерянные и привез домой.

Лампу отец придвинул к самому своему носу. Мать сидела поодаль и месила тесто почти в полной темноте.

— Асыл, где ты был? — спросила мама. — Милый, да ты весь в пыли! Что случилось, сынок?

— Да вот пошел сегодня в поле, там картошку копают, я тоже поработал немного.

— А-а, — успокоенно протянула мать и снова принялась за свое дело.

Зато отец так и застыл с очередной бумажкой в руке и изумленно поглядел на меня поверх своих очков. «Как ты до этого дошел, сын мой? — говорил его взгляд. — И еще улыбается, будто мать на старости лет ему братишку родила!»

— Картошки-то хоть принес? — спросил он наконец. — Можно сварить, поедим.

— Нет, не принес.

Отец последнее время часто жалуется на судьбу. По его словам, она обманчивая, непостоянная, скупая на счастье… Если так, то почему же судьба оказалась такой щедрой к тебе, девушка по имена Дильде, почему она позаботилась о тебе, как отец, и была нежна с тобою, как мать, и наградила тебя красотою белого цветка, распустившегося в зеленых киргизских горах?..

9

С каждым днем холодает, солнце скупится на тепло. Перепадают дожди, а вершины гор побелели. Поутру и вечером не выйдешь на улицу без пиджака. Кукурузу уже убрали, поля голые, по ним свободно разгуливает ветер, и скотоводы спустились с джайлоо в долину, стада пасутся на ближних склонах, где еще есть трава.

Наша кукуруза так и не вызрела. Но мы ее убрали, как и все люди, надеясь использовать зелень.

Я сидел во дворе и чистил кукурузный початок, задумавшись о своих делах. Приехал с работы отец. Я принял у него коня, но он даже не взглянул на меня. Волоча по земле камчу, подошел к двери и позвал:

— Эй, Аимгюль!

Мать поспешно вышла и замерла в испуге на пороге. Что с отцом? Заболел он? Вроде нет, только глаза полузакрыты, как у больного. Губы стиснуты, на лбу две глубокие складки. Мать догадалась, что он вне себя, и не стала ни о чем спрашивать. Отец же в этот вечер так больше ни слова и не сказал. Я решил, что его опять сняли с работы.

Наутро отец разбудил меня так:

— Эй, манап, вставай!

Я вскочил, протер глаза, кое-как умылся и предстал, как говорится, пред его светлые очи. Лицо у отца как будто немного «разгладилось» по сравнению со вчерашним, но глаза были злые.

— Возьми бумагу и ручку, — негромко приказал он.

Я вытащил чемодан, достал новую тетрадь, вырвал листок, приготовил чернила. Отец, втянув голову в плечи, сощурив глаза, некоторое время что-то обдумывал. Ноздри у него шевелились. Наконец, приняв решение, он отдал новый приказ:

— Пиши! Первому министру Киргизстана…

Этот адрес мне знаком. Отец и раньше любил обращаться в высокие инстанции. Я, не задумываясь, написал: «Председателю Совета Министров Киргизской ССР…» Отец внимательно следил за тем, как движется перо по бумаге. Написав обращение, я вопросительно посмотрел на отца.

— Так, — сказал он. — Пиши! Значит…

Тут спокойствие изменило ему, и он заговорил быстро и бессвязно:

— Видал? Мы три месяца ждали, а теперь… Все это Кокил, все он, скандалист! Пиши! Очернил честного работника Ормонова Бердике, добился,

что его сняли с работы. Дал взятку в райисполкоме и сам занял место товарища Ормонова Бердике. Карьерист, себялюбец. У самого есть феодальные пережитки. Каждый день бьет жену. Свою любовницу, развратную женщину по имени Шаир, устроил секретарем сельсовета. Пиши все это, слышишь?

Я сообразил теперь, в чем дело, и сидел молча. Я давно понял, что секретарем сельсовета мне не бывать. Да и кто стал бы увольнять Кокила, ведь он знает дело и работает хорошо.

Отец горестно покачал головой:

— Ну что молчишь? Ведь это он подставил тебе ножку. Жалеешь его, что ли?

— А Бурге как?

— Черт с ним, с твоим Бурге! О нем и говорить не стоит. Когда поток уносит верблюда, где уж козу искать! — Отец махнул рукой. — Давай пиши! Карьерист и неисправимый мерзавец. Не терпит деловых, знающих людей. Происхождение у него бай-манапское, его дед эксплуатировал целый аил. Сам он для Советской власти человек вредный, он может совершить антигосударственный переворот. Так и пиши, не бойся. Один экземпляр пошли прямо в Москву!

Мне на всю эту отцову чепуху наплевать, кто

станет на нее обращать внимание? Я только от души радовался, что Бурге прогнали. Мало ему еще!

Я написал все, что говорил отец, только по порядку. Подписал «Мундузов Чангыл» и поставил точку. Отец схватил меня за руку:

— Эй! Ты что, хочешь зарезать своего отца? Вычеркни! Пусть ни одна живая душа не знает, кто написал заявление, а то этот негодяй меня живьем проглотит.

Я вычеркнул. Отец читал-перечитывал заявление, почесал в затылке.

— Напрасно я надеялся, что ты станешь настоящим человеком. Ты даже заявление толком не можешь написать, валяешь как попало. Здесь зачеркнуто, там подчеркнуто. Кто эту грязь станет читать? Перепиши чистенько!

В конце концов заявление было запечатано в конверт, марка наклеена, и отец успокоился. Он держал в руках письмо и улыбался так, будто в ближайшем будущем его ждали невесть какие блага.

10

— Эй, джигиты, здравствуйте! Успеха вам в работе!

Бригадир Орко пришпорил коня и догнал трактор. Увидел меня на прицепе, удивился. Чотур выключил мотор, спрыгнул на землю и подошел к бригадиру.

— Ну, биргат-аке, что скажете?

— Да ничего, здравствуйте, говорю. Как, закончите сегодня участок? А где Сойко?

— Сойко дома, — заулыбался Чотур. — Убраться, постирать надо. Потом поставите ее на другую какую хотите работу. Трактор не простаивает, мы тут с Асылбеком вдвоем. Сегодня обязательно закончим…

— Ладно, ладно, — не дал договорить Орко. — А ты как здесь очутился, Асыл?

— Да так, очень просто, — ответил я.

Орко немного подумал.

— Тебя послали на работу, что ли?

— Нет. Кому меня посылать? Орко-аке, а разве я не имею права работать?

Орко смерил меня взглядом. Слез с коня, бросил повод на головку плуга, будто готовился к долго-

му разговору.

— Так, — сказал он. — А выдержишь ли ты, сынок, вот в чем вопрос…

Чотур задрал голову куда-то в небо и захохотал.

— Ха-ха-ха! Вы, биргат-аке, рассуждаете, как ребенок. Еще как выдержит! Вчера ему, правда, было непривычно, но сегодня обошлось. Ничего, научим.

— Та-ак, — повторил Орко и сдвинул шапку с затылка на лоб. — Расскажу вам, джигиты, одну притчу. Жил когда-то на свете один байбача. Приходит он однажды к мудрецу и говорит: «Учитель, мой отец сходит с ума. Каждый день чуть ли не по три раза поднимает шум, скандал. Кричит, ругается, пугает своих внуков. Что мне делать, учитель?» Тогда мудрец спрашивает: «А кем был раньше твой отец, добрый джигит?» — «Отец был бием, учитель», — отвечает байбача. «Тогда, добрый джигит, — говорит мудрец, — поставь ты мельницу на берегу бурной реки. И пусть твой отец следит за работой этой мельницы. Обязательно исполни мой совет, добрый джигит, и приходи ко мне снова ровно через три месяца». Байбача сделал так, как велел мудрец. Три месяца спустя он пришел к мудрецу и радостно сооб-

щил: «Учитель, мой отец исправился». Мудрец погладил свою длинную белую бороду и сказал: «Так и должно было быть, джигит. Твой отец был бием, он привык распоряжаться судьбами человеческими по своему произволу. Он состарился, сил не стало, дело из рук ушло, а привычка повелевать сохранилась. Вот он и дурачился. Теперь же у него есть занятие. Приезжают на мельницу люди, он распоряжается: «Ты завтра привози зерно! А твое сегодня смелем! А в твоей пшенице полно камней, очисти ее получше!» В домашние дела ему вмешиваться некогда. А ты, джигит, постарайся избежать участи своего отца. Заранее научись чокои шить. Будет тебе занятие к старости».

— Ты, уке, молодец! — помолчав, проговорил Орко. — Не обращай внимания на наши споры с твоим отцом. Нам умирать скоро. А ты уже не ребенок…

— Верно сказали, биргат-аке, — подхватил Чотур и уселся прямо на землю.

Я смотрел на них и старался улыбаться. Но, по правде сказать, мне было обидно за отца.

Орко заспешил уезжать. Я видел, как он выехал на дорогу. Навстречу ему шел кто-то пешком. Конь бригадира, поравнявшись со встречным,

привычно остановился. Но, должно быть, у бригадира не было никакого дела к этому человеку. Он толкнул коня в бока ногами и еще подхлестнул камчой.

…Прошло три дня. Уставал я да полного изнеможения, на руках появились мозоли, я потел, надрывался и думал, что никогда не привыкну. Потом заметил, что по ночам сплю крепко и спокойно, ем много и с аппетитом. Мать уже не вздыхает и не причитает, сидя рядом со мной во время обеда: «Родной, золотой, ты совсем ничего не ешь, только читаешь…» Теперь она радуется: «Кушай на здоровье, сыночек». И сыночек кушает так, что за ушами трещит.

Интересно, что сказал бы отец, узнай он о моих занятиях? «Стыд и срам! Аимгюль, такая-сякая, погляди на этого дурака. Работает вместо жены Чотура, никакой чести нет у парня!» Но отец целиком поглощен своими заботами, ему не до меня. Он уезжает на рассвете и возвращается поздно вечером, а иногда и не ночует дома. После того, как должность секретаря для меня оказалась недостижимой, отец сделался очень мрачен и раздражителен, доброго слова от него не услышишь. Хотя он и раньше не очень-то часто говорил нам с матерью добрые слова.

И вот настал день, когда отец пожаловал к нам в поле. Прискакал на взмыленном коне и, нетерпеливо приподнявшись в седле, позвал:

— Асылбек! Поди сюда!

Чотур не остановил трактора. Разозленный отец направил было коня в нашу сторону, но пегашка боялся шума и пятился назад. Отец слез с седла, привязал коня к дереву и направился к нам. Чотур выключил мотор и кивнул мне с улыбкой: иди, мол.

Пока я слезал с прицепа, отец смотрел на меня так, словно хотел пронзить взглядом насквозь.

— Ты что здесь делаешь? — крикнул он. — Дружка нашел?

— Я работаю, — буркнул я и оглянулся. Чотур внимательно наблюдал за нами.

— Работаешь? Нашел, значит, работу! — у отца даже что-то заклокотало в горле. — А ну, приведи коня!

Я молча привел ему коня. Он легко, как молодой джигит, вскочил в седло и тут же вынул одну ногу из стремени.

— Садись позади меня!

Я замер.

— Куда поедем? — еле нашелся спросить.

Отец наклонился ко мне.

— Асылбек, я сегодня договорился… Поехали быстрей! Договорился с директором школы, он велел, чтобы ты пришел к нему. Там у них секретарь только что ушел. Зарплата небольшая, но пока хватит. Поехали, надо документы собрать. Давай скорей!

Я стоял и не знал, что делать, как вести себя. Ехать? Отказаться? Краем глаза я видел, что Чотур продолжает следить за мной.

— Отец, а что там делать надо?

— А что делать? Уж не жать, не молотить, ясное дело. Выполнять, что прикажут, ездить, куда пошлют. Будешь личным секретарем у директора.

Тут во мне как будто бомба разорвалась. Стало жарко, в ушах зашумело.

— Подхалимом, значит, буду у него?! — выкрикнул я, повернулся и зашагал к трактору. — Не поеду!

Не знаю, кого и что я в эту минуту ненавидел, на что злился. Я шел и повторял одно:

— Не поеду!.. Не поеду!..

Отец был ошеломлен. Он не верил собственным глазам и ушам, он не мог поверить, что его единственный сын вышел из повиновения. Опомнившись, он закричал:

— Постой, слышишь! Постой!

Но я не слушал и не хотел слушать. Быстро взобрался на прицеп. К горлу что-то подступало, и хотелось, как маленькому, зареветь от непонятной обиды. Чотур глянул на меня, улыбнулся и включил мотор. Шум трактора заглушил голос отца. Когда я оглянулся, отец спотыкаясь бежал по борозде. Потом остановился, прижав к груди руку, в которой была крепко стиснута камча.

Разве я когда-нибудь противоречил отцу, разве смел не послушать его? Ох как нехорошо мне было, просто ужасно! Перед глазами мелькала фигура отца. Как он бежал спотыкаясь… Вспоминая об этом, я вздрагивал. Чотур старался развеселить меня, шутил, но я не смеялся. Хотелось остаться одному. Когда кончили работать, я пошел к реке.

Вот она, наша шумная речка. Кто знает, сколько столетий бежит она по проложенному ею же самой пути. Ее воду пьют и люди, и растения, и животные, чистую воду, которая дает жизнь, уносит прочь все грязное и ненужное. Мне казалось, что стоит окунуть лицо в эту воду, выпить глоток, и я вздохну спокойнее, перестану чувствовать себя виноватым.

Берега реки поросли высокой травой и кустами, ветки низко нависли над водой. Я долго сидел на берегу и думал. На тропинке зашуршали камеш-

ки, кто-то еще спускался к реке. Звякнуло ведро, мелькнуло белое платье. Я осторожно выглянул из-за куста и сразу забыл о своих горьких мыслях. Дильде… По воду пришла.

Она сполоснула ведра, набрала воды, немного постояла на берегу, глядя на неяркий закат, и не спеша пошла в гору. Когда белое шелковое платье скрылось из виду, я подошел к тому камню, возле которого только что стояла Дильде…

…Медленно поднялась на небо луна. Посветлели вершины гор, потемнели глубокие ущелья. Пора домой. Я пошел по тропинке. Шум реки стих, вовсю стрекотали кузнечики, потянуло теплым ветерком. В аиле еще не спали: окошки светились почти во всех домах.

Поравнявшись с домом Дильде, я замедлил шаги и, оглянувшись по сторонам, подошел почти к самой калитке. Дверь в доме заскрипела, кто-то вышел во двор.

— Эй, кто там? — раздался резкий голос.

Это мать Дильде. Я отступил на несколько шагов, стараясь топать погромче, — пусть старуха подумает, что это просто прохожий. Она очень подозрительная, даже днем недоверчиво следит за всяким, кто приблизится к ее дому. Увидит кого и тут же сделает вид, что кур гоняет. «Кыш!

Кыш!» — кричит. Знайте, мол, я тут, сторожу свою дочь-невесту.

Я постоял немного у одинокого тополя при дороге. Старуха успокоилась и вошла в дом.

Тогда я — не знаю, откуда смелость взялась, — опять подошел к дому и заглянул в окно. В комнате горел свет, и меня никто не мог увидеть. Дильде сидела на кошме и читала. Из передней вошла в комнату ее мать; губы у старухи шевелились, — должно быть, она что-то бормотала про себя. Потом она окликнула дочь — это мне уже было слышно.

— Дильде… ложилась бы ты спать, дорогая, — старуха наклонилась, разыскивая что-то в углу комнаты. — На работу уходить рано, дитятко мое, ложись поскорее, выспись.

— Сейчас, мама.

— На улицу больше не пойдешь? — старуха закрыла дверь на крючок и еще подперла ее изнутри здоровенной палкой. — Чего это сын законника Чангыла все крутится возле нашего дома?

— Асылбек? Где ты его видела? — спокойно спросила Дильде, не подымая головы от книги.

— Каждый день вижу. Ходит, ходит мимо… Туда-сюда… Вот и сейчас, наверно, он торчал возле

калитки.

Старуха нахмурила брови. Я невольно отшатнулся от окна. Дильде положила книгу на пол и расхохоталась звонко, как мальчишка.

— Ой, ма-ма! Не можешь ты жить без подозрений. Мало ли народу здесь проходит?

— Ладно, пусть так. — Старуха искоса поглядела на дочь. — Но недавно его мать так, будто шутя, спрашивала, не отдам ли я тебя за Асылбека… Еще чего не хватало.

Дильде искренне удивилась.

— Ну что ты, мама, что за чепуха. Не знаю, что там думает его мать, это ее дело. А Асылбек… Я к нему отношусь так же, как к Чотуру.

Дильде встала.

— Ты, мама, моих тапочек не видела? — спросила она. Испугавшись, что сейчас она выйдет и увидит меня, я бросился прочь.

Значит, Дильде относится ко мне, как к Чотуру? Я люблю ее больше всех на свете, а она смотрит на меня, как на всех других людей, как на одного из многих…

Отец был дома. Я украдкой посмотрел на него: не отошел ли. Ничего подобного, прямо белый от злости. Наверное, и матери досталось из-за меня на орехи.

— Вот, полюбуйся, явился твой сыночек, — сказал отец, едва увидев меня. — Полюбуйся, он теперь самостоятельный, отца можно не слушать!..

Я ничего не сказал. Мать смотрела на меня со страхом и осуждением. Уж отец непременно превратил муху в верблюда, когда рассказывал о происшествии. На лице у матери было написано: «Сынок, не спорь с отцом, как это можно. Какой бы ни был, отец — это отец...»

— Растаял небось перед этим дураком Орко, — обратился на этот раз отец ко мне. — Ну, давай рассказывай, какие золотые горы он тебе обещал.

Я молчал. Отец решил, что я осознал свои ошибки, и приказал:

— Бери перо и бумагу! Садись, пиши первому министру Киргизии, пиши про эту собаку, Орко. Я ему покажу!

Ну и человек! И что ему надо, чего он так любит жаловаться на людей? Только я ему больше не помощник, не стану писать всякую чепуху, на которую никто и внимания не обращает.

— Знаешь, отец... по-моему, про бригадира писать незачем. Он ничего плохого не сделал.

— Вон оно что! — вскипел отец. — Не болтай

глупости. Твой Орко чересчур зазнался. Он нас с тобой скоро в арбу впряжет. Ты слыхал, что он вчера обругал и толкнул сноху Кульджи за то, что она немного на работу опоздала? Кто ему дал такое право? Это беззаконие, понял? Пиши!

— А вы сами это видели?

— Я не видел, люди видели.

— Не знаю. Пускай тогда жалуются на него, кто видел. Или сама сноха Кульджи.

— Что ты болтаешь? Тебя не спрашивают, садись и пиши, что тебе говорят.

— Нет, не стану. Хватит!

Я вышел из комнаты и услышал, как отец кинул мне вдогонку свое вечное «думал, ты человеком станешь».

Я стоял во дворе и плакал, честное слово! «Станешь человеком, станешь человеком»... Каким человеком, вот в чем вопрос. Чего он от меня хочет?.. Куда толкает?..

11

Работы нам с Чотуром оставалось дня на три. Чотур торопился, ему хотелось поскорей закончить вспашку и отдохнуть деньков пять. Трактор тарахтел вовсю, дело шло быстро. Вдруг послышался чей-то крик.

— Э-эй!

Оглянувшись, я увидел на бугре Сойко. Она замахала мне рукой, показала на мужа. Должно быть, хочет что-то ему сказать. Чотур за рулем ничего не слышал и не обернулся, когда я его окликнул. Тогда я бросил в него комок земли. Чотур остановил трактор, подошел ко мне.

— Ты что, устал? Или размяться захотелось? Давай поборемся! — он потянул меня за руку. — Давай, давай, я тебя мигом скручу.

— Погоди, вон тебе боец, — я показал на Сойко. — Она тебе задаст.

Только теперь Чотур увидел жену и почему-то встревожился.

— Что-нибудь случилось, — сказал он. — Ты заглуши мотор и посиди, подожди меня. Я сейчас. Вот ей-богу, помеха некстати.

Чотур не возвращался долго. Я устал ждать, да

и солнце припекало. Я даже задремал, но быстро очнулся, зевнул до слез.

— Чего они там любезничают? Вот пойду и приволоку его сюда!

Подошел к Чотурову дому и еще с улицы услышал громкий голос хозяина.

— К чертям этого негодяя! — крикнул Чотур.

В ответ ему что-то непонятное и жалобное говорила Сойко. Потом опять Чотур:

— Пришибу его, душа с него вон!

Я вошел. Чотур, весь красный, вырывался из рук едва удерживавшей его Сойко. В углу сидела мать Дильде в новом платье, в коричневой шерстяной шали и черном бархатном чапане. Не обратив на меня никакого внимания, Чотур продолжал шуметь:

— Сговорились!.. Сама согласилась!.. Вот я сейчас покажу этому жениху! Чтобы Дильде захотела выйти за этого болвана… Разнесу!

Перепуганная Сойко старалась его утихомирить:

— Перестань, прошу тебя… Вон человек пришел, постыдись. Зачем говорить такие страшные слова, пойди и спокойно разберись, в чем дело.

Чотур посмотрел на меня и шумно вздохнул:

— Очень хорошо, что ты пришел, сейчас мы

с тобой отправимся на той. Спеши поздравить своего дорогого друга Мыкты.

Я чуть не упал. Прислонился к стене возле двери, дальше шагу не мог ступить. Чотур, видно, пришел в себя, сел и опустил голову.

Все застыли на своих местах. В комнате было тихо, как в пещере, только огонь в печке негромко потрескивал.

— Ты подумай только! — с новой силой негодования обратился ко мне Чотур. — Дильде… нашу Дильде проклятый Мыкты силой увез к себе в дом.

— Перестань, — робко вмешалась мать Дильде. — Никакого насилия не было… Молодые сговорились по любви…

Чотур зашипел на нее, как змея:

— А ты откуда знаешь? А? Откуда ты знаешь? Ты слышала, как они сговаривались?

— Дитя… — Старухе очень хотелось успокоить Чотура. — Они неплохие люди. Бердике — умный человек, все его уважают. Он обещал калым пятнадцать тысяч. И тебя не обойдут. Обещали для тебя корову…

Чотур завопил так, что у меня в ушах зазвенело.

— Убирайся! Пошла вон! Чтоб тебе помереть

раньше времени, ведьма ты старая… Хочешь отдать дочку свою, нашу звездочку, этому негодяю. Ты думаешь, она там будет счастлива? Позарилась на богатство? «Обещали для тебя корову»… — передразнил он. — Погоди, я тебе покажу корову, эта проклятая корова сниться будет по ночам и тебе и твоему Бердике!

— Не злись, не ругай нашу джене, — еще раз попробовала вмешаться Сойко.

Старуха захлюпала, запричитала:

— Я для него хуже собаки… Уважал бы хоть память покойного брата…

Чотур, не ответив жене, выскочил во двор. Я за ним.

— Асылбек, — сказал Чотур, опустив голову, — поедем… Узнаем, правда ли, что Дильде сама согласилась.

…Был теплый осенний полдень, старухи грелись на солнышке, детвора высыпала на улицу. Донесся откуда-то издалека протяжный крик петуха. Высоко в прозрачном небе звенел жаворонок; воробьи суетились на дороге, а на вершине засохшего дерева важно уселась большая ворона. Я смотрел на все это и удивлялся: все спокойно, все, как всегда, будто ничего не случилось, ничего особенного не произошло.

Я потуже затянул подпругу, подвязал пегашке хвост и выехал на дорогу. Чотур уже ждал меня. Он был тоже верхом, только без седла. Я не успел подъехать к нему, как он тронул коня и еще подхлестнул его. Конь сорвался в галоп; мой пегашка, хоть я и старался удержать его, тоже припустил во весь дух.

Мне все было нипочем. Руки у меня дрожали от волнения, лицо горело, и видел я все, как в тумане или во сне…

…Из трубы дома Бердике валил густой дым. Во дворе было привязано много коней, толпились люди. На поленнице дров сидел, играя на комузе, и пронзительно пел горе-стихоплет, которого в аиле все звали «Наш непутевый». Когда мы с Чотуром ворвались во двор, толпа загудела. Двое вышли нам навстречу, к ним тут же присоединился Непутевый Широко улыбаясь, он приветствовал нас куплетом собственного сочинения:

Прибыли сваты дорогие,
Встретим их честь честью…

И потом еще какая-то чепуха, я не разобрал даже, потому что Чотур гаркнул на Непутевого во весь голос:

— Не вой, подлипала! Еще о чести смеет заикаться!

Ни в чем не повинный Непутевый умолк. Из толпы выступил худой седобородый старик и задребезжал:

— Ребята, что же вы растерялись? Окажите почет гостям, примите у них коней. У кого дочь, у того и гордость, говорят. Нельзя же не уважить нашего Чотура, он девушке все равно что отец. С тех пор, как умер Акбай, наш Чотур стал отцом сироте, опорой вдове. Кланяйтесь ему, хотя бы он ударил вас. Так велит обычай.

Многочисленная родня Бердике загомонила, упрашивая нас сойти с коней.

— Не сойду, говорят вам! — отрезал Чотур. — Зовите Бердике! Эй, Бердике-батыр, поди сюда!

В это время другой старик ухватил под уздцы моего коня.

— Слезай хоть ты, сыночек… — заговорил он, но тут я дернул за повод, пегий шарахнулся и едва не сбил старика с нот.

— Ничего, ничего! — поспешил успокоить второго первый аксакал.

В эту минуту во двор вышел сам Бердике.

Он улыбался всем своим обширным лицом.

— А-а, сват дорогой приехал! Вот я вышел к тебе

на поклон, сват. Мы виноваты перед тобой. Добро пожаловать, добро пожаловать.

— Я к тебе не водку пить приехал, Бердике, — загремел Чотур. — Не говори лишних слов, покажи мне мою сестренку. Другого дела у меня к тебе нет.

— Да брось ты, сват, не упрямься, сойди с коня, — как ни в чем не бывало приглашал Бердике. Его поддержал старик, знаток обычаев.

— Повинную голову меч не сечет. Пожалуй в дом, Чотур-уке, сядем рядком да поговорим ладком. Там и сестренка твоя.

Чотур спрыгнул с коня, грохнув о землю тяжелыми сапогами.

До меня теперь никому не было дела. Старики окружили Чотура и тянули его в дом. Я решил, что нам лучше держаться поближе друг к другу, и, спешившись, подошел к Чотуру. Старики пустили в ход все свое красноречие, но мой дорогой Чотуке не так-то прост, чтобы позволить себя улестить. Он был неумолим, камень — не человек.

— Все это пустая болтовня. Довольно, Бердике, приведи сюда мою сестренку. Вот здесь, при всех, я поговорю с ней. Если она согласна выйти за твоего сына, ее дело, а я уйду восвояси. Мне нужно от нее только одно слово.

Вокруг нас собралась толпа. Чотур говорил все громче. Бердике понял, что уладить дело тихо не удастся, и уже не мог притворяться веселым и радушным. Разъяренным кабаном подступил он к знатоку обычаев:

— Эй, Сатым, что же это такое?

Старик Сатым сразу к Чотуру:

— Чотур-уке, зачем затеваешь ссору? Чего ты кипятишься? На уважение надо отвечать уважением. Так или иначе сестренка твоя все равно выйдет замуж за того, за кого пожелает. Скандалить нечего, на все есть закон. Так можно и в тюрьму попасть. Если двое молодых сговорились, кто может им помешать? Ты, Чотур, разумный парень, так и веди себя разумно. У невесты есть мать. Не воображай, что ты сумеешь нарушить наше согласие. Мы отпразднуем свадьбу и без тебя.

Чотур опустил голову. Сатым взбодрился и продолжал более уверенно:

— Хорошо, допустим, что девушку привели сюда силой. Все равно, теперь уж ничего не поделаешь, надо с этим примириться, таков обычай. У меня вот борода уже седая, а я еще не видел, чтобы невеста вошла в дом жениха с улыбкой. И не слышал даже о таком…

— Неправду вы говорите! — не утерпел я.

— Эй, эй, а ты-то чего лезешь не в свое дело? — кто-то потянул меня за плечо. — Научился у отца законы читать!

Я вырвался и, обернувшись, увидел, что за мной стоит тот старик, которого я толкнул конем.

— Не ваше дело, у кого я чему научился. Вы лучше скажите, кто вам позволил человека запирать, как скотину? Вы еще за это ответите, где полагается!

Старик попятился.

— Ишь ты, Чангылово отродье, весь в отца! — пробормотал он.

Сатым тоже поглядел на меня, но решил, должно быть, что тут не стоит тратить драгоценные слова, и повернулся к Чотуру.

— Обычай, обычай у нас такой. Девушка входит в свою будущую семью со слезами. Ты хочешь повидать Дильде… она там сидит… У нее своя голова, теперь ей нечего тебя слушать.

Чотур вдруг резко отстранил от себя Сатыма.

— Отойди-ка!.. Ну, если вы по-доброму не хотите позвать сестренку, я сам ее найду.

И он зашагал к дверям. Бердике, трясясь от злости, загородил ему дорогу.

— Уберите его отсюда! Уберите эту собаку, ко-

торая хорошего обращения не понимает! — крикнул он. — Сатым, приведи сюда мать девушки.

— Ах ты вот как, Бердике? — с угрозой спросил Чотур.

— Да, так! Иди жалуйся кому хочешь!

Но тут произошло такое, чего Бердике никак не ожидал. Чотур, зло сощурившись, со всего маху пнул его ногой в живот. Бердике обхватил живот обеими руками и сел.

— Убил… — прохрипел он. — Хватай его!

Но никто не решился подойти к Чотуру. Он стоял, весь напружинившись, бледный, с горящими глазами.

— Ты так и знай, буйвол, судить нас будут обоих. Я головы не пожалею, чтобы ты и твой сын получили что надо. По закону или не по закону, так и запомни. Все, я ушел!

И он пошел, забыв про своего коня, и ни разу не оглянулся.

Все пристально следили за ним, какая-то старуха охнула:

— Ох, боже мой, злой-то какой! Не боится никого…

У Сатыма от страха тряслась борода.

— Проклятый парень…

Бердике все сидел на земле и бессмысленно

таращил глаза. Сатым хотел помочь ему встать, Бердике не двинулся с места.

— Мыкты! — вдруг закричал он.

Мыкты вышел на зов. Он ежился, как побитая собака.

— Ты видел, что случилось у порога твоего дома? — спросил Бердике.

— Видел, — заныл Мыкты. — Этот рябой… он…

— А ты-то что? — крикнул Бердике и вскочил. — Пугало огородное! Жениться еще вздумал!

Мыкты сморщился — как-никак его честь была задета. Он посмотрел в ту сторону, куда ушел Чотур.

— Ну, постой! Видали мы таких! Я ему покажу!

Тут он заметил меня и решил показать свою храбрость.

— Уходи, — заявил он. — Мне такой товарищ не нужен. Это ты рябого натравил, я знаю.

Я не ответил. Мыкты разошелся пуще:

— И вообще нечего на меня смотреть! Убирайся, не то всю шкуру спущу!

Он отвязал моего коня и выгнал его на дорогу. Я решил все-таки на прощанье сказать ему кое-что.

— Герой, где ты раньше был? Где ты был, когда Чотур пнул твоего отца в живот? И не ори, не

имеешь права. Ты преступник, понял? Тебя будут судить. Послушаем тогда, что ты запоешь. Приди в себя, несчастный. Кто тебе дал право силой увозить девушку? Ну-ка, скажи!

Но Мыкты не смутился:

— «Преступник, преступник!» А в чем мое преступление, докажи сначала, если ты мужчина! Докажи!

Я махнул рукой. Что с ними говорить, тут они все, как один, заражены пережитками. Я и ушел.

Пегашка щипал жесткую придорожную траву. Я вскочил в седло и поехал в сельсовет. Там была одна Шаир. Она даже вздрогнула, когда я предстал перед ней весь в пыли и с камчой в руке.

— Ну, добро пожаловать, — растерянно сказала она. — А где твое «салям», братишка? Чего это у тебя глаза, как у теленка, который волка увидел?

— А я и видел волка, — начал было я и даже попробовал улыбнуться, но губы у меня задрожали, и я замолчал.

Шаир встревожилась, вскочила со стула.

— Да что с тобой? Заболел?

Я не сразу ответил ей, так меня душили обида и горечь. Потом немного успокоился и рассказал все, как было. Шаир слушала внимательно, но, как мне показалось, немного недоверчиво и на-

стороженно.

— Насильно? — спросила она. — А может, девушка сама согласилась?

Сердце у меня заколотилось. Неужели они все сговорились? Ведь мы с Шаир, можно сказать, друзья-приятели, а сейчас она смотрит на меня так серьезно и строго… Помолчав, Шаир сказала тихо:

— Кто знает… заявления девушки нет.

Ей, наверное, никогда не приходилось решать такие вопросы, и она не знала, что делать. Я вздохнул.

— Ладно, — Шаир взяла меня за локоть. — Мы вот что сделаем. Эльмуратов сейчас в районе. Ты иди к Садыру, он комсорг. Попробуйте выяснить. Если Дильде увезли силой… Завтра Эльмуратов приедет, вызовем милицию. — Глаза у Шаир сердито заблестели. — Покажем тогда этому толстому мерзавцу. И сын такой же, как отец. От него только подлостей и жди. Ладно, иди. Поговорите с девушкой с глазу на глаз.

Я ей объяснил, что даже Чотуру, близкому родственнику, не позволили поговорить с Дильде, а уж нам-то и подавно не дадут.

— Ничего, — успокоила меня Шаир. — Скажете, что по поручению сельсовета, пусть попробуют

не разрешить!

Да, пусть попробуют! Я, уж не знаю отчего, сразу почувствовал себя уверенней. Заехал за Садыром, и через десять минут мы были у дома Бердике.

— Ассалом алейкум, Беке! — весело поздоровался Садыр.

Бердике сидел на айване и смотрел прямо перед собой, в одну точку. На приветствие Садыра он не ответил и, казалось, никакого внимания на нас не обратил. Из-за двери высунула голову жена Бердике.

— Почтение вам, эне, поздравляю! — крикнул Садыр.

Та тоже ничего не ответила.

И толпы уже никакой нет. Куда-то исчезли нарядные, с косами, украшенными связками монет, женщины, разбежались девушки — подружки невесты, попрятались вездесущие мальчишки. Под навесом лежала неразделенная туша теленка, возле нее стоял с глубокомысленным видом старик Сатым. Рукава у него были засучены, руки перемазаны кровью.

Садыр, не дождавшись ответа, пожал плечами и перешел прямо к делу:

— Беке, у нас к вам поручение от сельсовета. Мы должны поговорить с Дильде с глазу на глаз.

Надо выяснить, Беке. Если молодые женятся по взаимному согласию, мы тоже не прочь попировать на свадьбе.

— У жениха спрашивай… — прорычал Бердике, встал и ушел в дом.

Его жена опять высунула голову из-за двери.

— Можете теперь разговаривать, сколько хотите! — прошипела она. — Ушла она, ушла! Шляетесь тут один за другим! Пусть ей счастья не будет, сбежала она… сбежала. Добились вы своего, чтоб вам провалиться!

Садыр разинул рот от изумления. Он ничего не мог понять. Да и я тоже. Опомнившись, мы кинулись к Чотуру.

Вот там во дворе была теперь толпа! И в этой толпе носилась как угорелая мать Дильде. Ох и причитала же она!

— Как мне людям в глаза смотреть! Сама отказалась от своего счастья, сама его растоптала. Сбежала, даже не переночевала.

Дильде, очевидно, была в доме. Старуха все порывалась войти, но сидевший на пороге Чотур не пускал ее и приговаривал:

— Голоси, голоси! Покричи еще! Да не забудь вернуть Бердике новое платье и шаль. Если тебе у них так понравилось, сама там ночуй, а Дильде

оставь в покое.

— Ой! — стонала старуха. — Она твоя дочь? Ты ее рожал?

— Покричи, покричи. Дильде больше не дочь тебе.

Чотур был очень доволен, и спокойствие вернулось к нему.

12

Бугор был крутой, — у пегашки раздувались ноздри, шея блестела от пота. А впереди еще долгий и трудный путь до Таш-Кургана. Зимой пегому приходится худо, он получает в день три пиалки ячменя и охапку сухих кукурузных стеблей. Выбор небольшой, что и говорить! Конь худел день ото дня.

Зима стояла снежная. Даже ретивым аргамакам тяжело было одолевать дорогу, а таким, как мой пегашка, и подавно.

Мне то и дело приходилось его подгонять, хоть он и сам старался изо всех сил. По обеим сторонам дороги тянулись ровные, сверкающие снежными искрами белые поля. Спустился легкий туман, лениво падал редкий снежок.

Вы спросите, какая сила гнала меня зимой по такой тяжелой дороге? Работа гнала, и работа не слишком интересная.

После окончания пахоты я перешел в бригаду, которая вывозила в поле удобрения. Но выпал снег, и работа кончилась. Я получил на трудодни зерно и деньги, и это было очень здорово. Не потому, что я гонюсь за деньгами и тому

подобное, — потому, что мне теперь легко было смотреть людям в глаза, я работал вместе с ними.

Отец после нашей с ним последней ссоры перестал командовать мной. Не кричал, говорил спокойно. Я, так сказать, получил самостоятельность и очень этим гордился. Еще бы. Ведь до сих пор я жил, не задумываясь над своими поступками, шел за другими, как верблюжонок на поводу. Теперь я сам за себя отвечаю, иду своей дорогой.

Как-то вечером отец позвал меня. «Асыл, работы в колхозе до весны не будет. Что же тебе без дела ходить полгода? Можно на это время куда-нибудь устроиться. Вот в «Заготживсырье», говорят, есть место. Не попробуешь ли? Конь у тебя свой, шуба есть. Подумай, сынок. Как хочешь, конечно...»

«Как хочешь»... Я так обрадовался, что отец предоставляет мне самому решать свою судьбу! Захотелось обнять отца, приласкаться к нему, как в детстве. Этого я не сделал, но с предложением сразу согласился.

На другой же день с утра поехал в заготовительную контору. Застал такую картину: прежний заготовитель, одноногий старик, кашляя и задыхаясь, упрашивал руководство уволить его. «Не

могу я ездить зимой на коне целыми днями. Поясница болит, худо мне! Мало ли стариков покрепче меня, найдете замену...» Моему появлению обрадовались до крайности и поспешили оформить меня приказом. На этом месте, оказывается, до меня не работал ни один человек моложе шестидесяти лет. Назначили меня ответственным за заготовки по нашему колхозу. В первый же день работы отец вручил мне свою знаменитую сумку. С тех пор прошло почти три месяца. Много я чего повидал и узнал, разъезжая с куржунами, набитыми голенищами, головками, подметками. Встречали меня чаще всего без всякого энтузиазма. «Не морочь ты мне голову, Чангылов, стану я терять дорогое время ради пары подметок!» — не раз слышал я. Кое-кто из стариков пытался мне помочь: «Кожевник приехал, сдайте вы ему необработанные шкуры. Взамен-то получите кожу, обработанную на заводе. Что артачитесь, дело полезное. Все равно шкуры валяются у вас где попало, гноите их да мышам стравливаете». Народ после этих уговоров начинал шевелиться, дело кое-как шло. Все было бы ничего, но не нравилось мне прозвище «кожевник». Ребята-сверстники меня иначе теперь не называли, дразнились. Отец уговаривал: «Не обращай на них внимания».

Но мне все равно было обидно. Впрочем, дни шли за днями, я работал, и ничего необыкновенного со мной не происходило…

Таш-Курган — хорошая зимовка для скота. На каменистых покатых склонах снег не задерживается; морозов здесь больших не бывает. Скот можно пасти всю зиму.

Пегашка, завидев зимовье, сам прибавил шагу. В нос мне ударил резкий запах горящего кизяка. В кошаре тоненько блеяли новорожденные ягнята, им отвечали матери-овцы. Серый пес с обрезанными ушами кинулся прямо под ноги пегашке и лаял с таким ожесточением, точно собирался втащить меня с коня и съесть.

Мамбет сбрасывал сено с крыши сарая, его помощник с женой делили сено на пучки и задавали овцам. Овцы, лохматые, с обвисшей кожей, теснились поближе одна к другой — грелись.

— Тентер, пошел! — прикрикнул Мамбет на собаку.

Я спешился, захватил куржун, сумку и вошел в дом. Жена Мамбета возилась у печки, его сынишка Токтор столярничал. Делал он это солидно, старательно. Я прилег, облокотился на куржун. «Шыр-шыр»… — вгрызлась в доску пила. Я под эти звуки чуть не заснул, во всяком случае — за-

дремал. Чтобы расшевелить себя, заговорил с Токтором.

— Токтор, ты хорошо учишься?

— Что вы говорите? — спросил он, не расслышав.

— Учишься ты хорошо?

— Ага, — ответил мальчуган и снова наклонился над доской.

— Ты что мастеришь, Токтор?!

— Стол хочу сделать, — негромко и даже как-то таинственно сообщил Токтор. Он собирался еще что-то сказать, но тут вошел Мамбет.

Чабан тяжело топал по полу огромными, набрякшими от воды чокоями. Подметки Мамбет сделал из старых автомобильных покрышек. Как он только ноги таскает — каждая подметка килограмма в два весом! Под стать обуви у чабана и одежда — лохматая черная шапка и неуклюжий чапан. Не раздеваясь и не разуваясь, Мамбет уселся на кошму.

— Токтор, сынок, хватит работать. Обедать пора, — сказала Марджан-эне и расстелила перед нами скатерть. — Старый, подбери-ка ноги, пусть Асыл сядет поближе.

— Ничего, ничего, я и отсюда достану, — успокоил я хозяйку и сел, поджав под себя ноги

крест-накрест.

Марджан-эне подала большую деревянную чашку с похлебкой. Ложка была одна на троих, и мы хлебали по очереди. Мамбет разломил лепешку и покрошил ее в чашку. Ели долго и с удовольствием. Наконец Мамбет-аке откинулся и сдвинул шапку на затылок. Мне показалось, что ото лба у него пар идет — так он разогрелся, раскраснелся за едой.

— Ну, как поживает Чангыл-аке? — спросил Мамбет.

— Спасибо, ничего.

Тут в разговор вмешался Токтор. Очень уж он гордился своим столярным уменьем и своими планами.

— Отец, я хочу сделать низенький стол, вот такой, — показал он рукой, — круглый. Застелем скатертью, будем на нем обедать, потом в угол убирать. Я и табуретку сделаю. Гляди, — он вытащил откуда-то маленькую табуретку. — Ты попробуй, посиди на ней, пап.

Мамбет-аке недоуменно повертел табуретку в руках.

— Знаешь, сынок, ты лучше сам сиди на ней. Я к этому не привык…

Токтор не отставал:

— Да ты попробуй только, не упадешь, честное слово!

Мамбет осторожно сел на табуретку.

— Ого! Сидишь будто верхом! — сказал он. — Непривычно нам.

Он снова опустился на кошму и продолжал разглядывать табуретку.

— Молодец, сынок! Сам, значит, сделал?

Марджан-эне рассмеялась.

— Кто же за него сделает, я, что ли? Да ты что, не видел вчера, как он тут ее мастерил? Вот бестолковый…

Токтор, обрадованный вниманием взрослых, принялся рассказывать о том, чему их учат в школе на уроках труда. Только через час приступил я к своему делу. Мамбет отдал мне несколько шкурок ягнят, но ничего не хотел брать взамен: шкурки у него, мол, все равно зря лежат, а хром и тонкие кожаные подметки ему ни к чему — долго не выдержат по камням да по колючкам. В конце концов Токтор упросил отца взять пару голенищ.

— Сошью маме ичиги, — важно сказал он.

Я поехал дальше. Ехал и думал о том, что вот Токтор еще совсем мальчуган, а сколько всего умеет. Кончит школу и специальность выберет,

наверное, скорее, чем я…

В этот день дела у меня шли хорошо, шкур набралось много. Но настроение оставалось смутным и беспокойным.

13

Возле Чотурова дома часто мелькает тоненькая фигурка в ярко-красном платье с пышными оборками, Дильде. Она все такая же красивая. Уже на другой день после истории в доме Бердике она вышла на улицу и держалась просто, как всегда. Только лицо у нее иногда делалось печальным, как у человека, у которого на сердце тоска и обида. Делиться своими горестями Дильде, наверное, ни с кем не хотела, а это ведь еще тяжелей.

Мне как-то неловко было смотреть ей в лицо. Да и ей, наверное, тоже. Открыть ей свою душу? Нет, ни за что! А вдруг она ответит: «И ты туда же?» И так уж один парень пошутил: «Сестренка Чотура сбежала от мужа через день, а теперь в тот дом, где она живет, зачастил сын Чангыла…» Тоже мне, шуточки! Стыдно и горько слушать такое. А если дойдет это до Дильде? Кому смех, а кому слезы, как говорится. В общем, я перестал ходить к Чотуру.

А произошла вся эта противная история вот как.

На праздник к нам в аил приехали артисты из соседней области. Мы с Чотуром в этот день как

раз уехали в район. Вечером в нашем клубе, про который я уже рассказывал, артисты ставили спектакль. Представление окончилось поздно. Дильде пошла домой вместе с одной своей подругой. Возле дома Бердике они увидели две темные фигуры. Дильде и ее спутница испугались и остановились.

— Это кто? — спросил один из встречных.

— Ох, слава богу… Это наши ребята, — сказала подруга Дильде, узнав голос Мыкты. Но и Мыкты узнал Дильде и окликнул ее.

Ничего не подозревавшая девушка решила, что все это шутка, но Мыкты вдруг схватил ее за руку.

— Все! — сказал он. — Дильде… я без тебя не могу жить… я умру… С этого дня ты жена, я муж, Дильде!

Дильде рассердилась.

— Отпустите! — она попробовала вырвать руку. — Как вам не стыдно!

Дружок Мыкты выступил вперед:

— Сестренка, успокойся. Это судьба. Девушка — что верблюдица на поводу.

— Пустите, говорю! — еще раз крикнула Дильде. — Бессовестные… пустите же… сию минуту! Джене! Джене, что же это делается!..

Подруга Дильде тоже решила, что это озорство, и вступилась:

— Джигиты, оставьте ваши глупые шутки. Пропустите нас!

Ей тут же ответил второй парень:

— Иди, пожалуйста, тебя никто не держит. И никто не думает шутить. Тебя, я слышал, в свое время тоже силой увезли.

— Ты лишнего не болтай! Если меня и увез, то человек, которого я любила всем сердцем…

Но тех двоих не интересовали оправдания молодухи, они делали свое: тащили упиравшуюся и кричавшую Дильде. Справиться с ней им было нелегко, она отбивалась и вырывалась изо всех сил. Тогда ее подняли и понесли.

И вот Дильде в доме Бердике. Тотчас же собрались соседские девушки и молодухи и окружили невесту. Дильде до утра просидела, опустив голову и закрыв лицо руками. Она плакала и не хотела ни на кого и ни на что смотреть. Вокруг нее вертелись и уговаривали ее досужие бабенки: «Что поделаешь, мы тоже плакали, когда нас замуж выдавали. Где камень упадет, там ему и лежать. Раз уж так случилось, что противиться? Перестань, вытри слезы, дорогая. Не надо так. Утром придут люди поглядеть на молодую. Здесь

твоя свекровь, твой свекор, они услышат, как ты плачешь, зачем это? Что ты твердишь «уйду, уйду», куда ты уйдешь? Ты уже переступила порог этого дома, дорогая, не говори таких слов…»

Одна умолкала, на смену ей выступала другая: «Ну хорошо, уйдешь ты. Какой в этом прок? Тебя же и опозорят, никто на тебя смотреть не захочет. Образумься, подумай! Ты не ребенок. К твоей матери послали человека, она дала свое согласие. Скоро к ней пойдет и твой свекор. Если уж мать, которая девять месяцев носила тебя под сердцем, дала свое благословение… Ты будешь счастлива, милая, твой жизненный путь прямой и честный. Что тут плохого?..»

Короче говоря, не скупились ни на ласковое слово, ни на угрозы…

После того, как избавились от Чотура и прогнали меня, Бердике успокоился. Мыкты выпил с друзьями за свое счастье и задремал сидя. Еще бы, человек ночь не спал! Бердике набросил на плечи огромный новый тулуп, потолковал с теми, кто должен был помогать на свадьбе, затем пошел в заднюю половину дома — будто бы отдать какое-то приказание своей байбиче. Из комнаты для гостей доносился теперь только беспорядочный говор женщин, плача не было

слышно. «Слава богу, успокоилась!» — подумал Бердике. Почтенный свекор испытывал, должно быть, чувство удовлетворения при мысли о том, что Дильде все-таки стала его снохой и теперь он покажет Чотуру, почем фунт лиха. Бердике заулыбался, довольный.

— Бердике-аба.

Бердике обернулся, и улыбка исчезла с его лица. Он был поражен, возмущен, — нареченная его единственного сына Мыкты, только вчера вошедшая в дом, стояла перед ним, перед своим свекром, перед которым она должна была трепетать, почтительно склоняться. Стояла, выпрямившись, с непокрытой головой, стояла и смотрела ему прямо в глаза! Бердике задохнулся от гнева, метнул на дерзкую испепеляющий взгляд. Но Дильде не испугалась, не задрожала и не провалилась сквозь землю. Она твердо сказала:

— Бердике-аба! Я не хочу выходить за вашего сына. Отпустите меня по-хорошему. Иначе рано или поздно я доберусь до места, где меня выслушают, где за меня заступятся.

Ясно было, что сломить ее не удастся. Уже одно то, как она смело, вопреки обычаю, произнесла его имя, ножом резало сердце Бердике. Кто мог

ожидать такого от девчонки, которая еще, по сути дела, не стала в доме своей, не провела с мужем ни одной ночи!

Свекровь всплеснула руками:

— Ах, боже мой! Да это чудовище, змея! Она принесет нам одни несчастья…

Кто-то из старух пытался задержать Дильде, но девушка легко отбросила цеплявшуюся за ее платье тощую руку и выбежала из дома. Ее слова и поведение поразили не одного только Бердике, но и всех свидетелей этой сцены.

Да и как не удивляться такой смелости и решительности? Что касается, например, меня, то я после этого стал еще больше восхищаться Дильде. И как смели все эти Бердике и Мыкты и им подобные дотрагиваться до нее своими грязными руками!

Натворил дел — умей за них отвечать. Мыкты посадили на пятнадцать суток. А Бердике я видел два раза в магазине. Он со всеми держался теперь ласково и даже подобострастно — не то, что в прежние времена!

Мне потом рассказывали, как разбирали дело Бердике на бюро райкома партии. Первый секретарь, который был новым человеком и Бердике не знал, вначале будто бы молчал. Бердике начал

изворачиваться:

— Товарищи, я согласен отвечать за свои ошибки. Но почему я должен платиться за поступки моего сына? Сын, известно, за отца не ответчик, но и отца нельзя наказывать за то, что натворил сын. Парень допустил промах и получил за это что полагается. Арестован был, сидел! Если мало, накажите его еще…

— Это ваш родной сын? Вы в одном доме живете? — спросил первый секретарь.

— Да, мой родной сын, аксакал. Живем мы в одном доме, не разделились пока.

— Так. А почему же вы, как отец, не удержали сына от неправильного, незаконного поступка?

— Да как же, аксакал дорогой… Откуда мне это было знать, он ночью привел ее в дом.

— Неправда! — не утерпел начальник милиции. — Не привел ее ваш сын, а насильно притащил. А вы, вместо того чтобы остановить его, поддержали, помогали, отправились к матери девушки и предложили калым. И гостей на свадьбу приглашали.

Бердике нечего было возразить на это, он только глазами хлопал.

Все говорили о том, что надо его привлечь к ответственности, наказать и так далее, а он со

страхом смотрел на блестящие погоны начальника милиции.

— Вот, товарищи, полюбуйтесь на Бердике Ормонова. Коммунист, в кармане партбилет, а сознание дедовское. К нечистоплотным поступкам таких людей нельзя относиться равнодушно, феодальные пережитки живучи и, как видите, уживаются иногда и с партбилетом, — сказал секретарь.

При слове «партбилет» Бердике очнулся.

— А?.. а?.. — заговорил он. — Вы спрашиваете билет?

Он принялся шарить по карманам, партбилета не нашел.

— Аксакал… он… дома остался.

Секретарь покачал головой:

— При себе нету, говорите?

Бердике беспомощно оглядывался.

Из партии его исключили…

Не говоря уже о других, даже моему отцу не по душе пришлось то, что сделали Мыкты и Бердике.

— Подумать, что за человек, с работы сняли, а он надумал свадьбу сына устраивать! — наставительно сказал он за обедом. — Пошел против закона! Мягко, мягко с ним обошлись в райкоме,

таких надо прямо… вверх ногами вешать.

— Ой, — вступила в разговор мать, — зачем ты людям худого желаешь?

— А! — отмахнулся отец. — Когда никого дома нет, свинья себя чувствует хозяином. Бердике пролез в партию в сорок четвертом, когда все были на фронте. Его в армию не взяли, туг на ухо. А на что партии такие, как этот Бердике. Мне много раз приходилось иметь с ним дело, он никогда с советскими законами не считался!

Сказано хорошо, конечно, но я все-таки напомнил отцу:

— Отец, а не вы ли сами, когда Бердике работал в сельсовете, угощали его мясом нашего единственного козленка?

Отец насупился.

— Ты еще молокосос… Недостатки людей раскрываются нелегко, а если и раскрываются, то не всегда о них надо говорить. А начальников критиковать можно тогда, когда их снимают с работы. Ничего не поделаешь…

Не знаю. Наверное, если бы это было так, начальников вообще не снимали бы с работы. А Бердике… Мне его ничуть не жаль, я радуюсь. Нового секретаря райкома я еще ни разу не видел, но мне кажется, что он сильный чело-

век, уверенный, с железной волей и светлым умом. Интересно, как он выглядит? Говорят, что внешность у него самая обыкновенная, ничего особенного.

14

У Базыла я не был с того самого, дня, когда у них с Мыкты произошла ссора. Мне было неловко, думалось, что Базыл сердится и на меня, поэтому и старался даже не показываться возле его дома. Но как-то раз, возвращаясь из своих поездок, до смерти усталый, я случайно свернул в проулок, где жил Базыл.

Он увидел меня и сразу окликнул:

— Асыл, заверни к нам…

Вот так история! Базыл, сдвинув на затылок свой малахай, выжидательно смотрел на меня. Ничего не оставалось другого, — я повернул коня к их двору.

Поздоровался. Базыл, едва ответив, сказал:

— Заходи, уке, поужинаешь с нами.

— Базыке, в другой раз. Поздно уже, я спешу.

— Ладно, ладно, не отговаривайся. Не в Наманган на базар едешь, а домой. Слезай-ка. Посидим, потолкуем.

Жена Базыла расстелила на полу голубое одеяло и ждала нас. Я сел. Ребятишки Базыла забились в угол и поглядывали на меня с нетерпеливым любопытством.

— Эй, негодник! — окликнул Базыл старшего мальчугана. — Ты что же не здороваешься с дядей?

Но первым осмелился младший братишка:

— Салям, дядя!

— Салям, салям, Тынчтык, — ответил я и вдруг почувствовал себя легко и просто. — Ну что, ты уже стал настоящим джигитом?

— Ага, — ответил Тынчтык, улыбаясь с достоинством.

Базыл засмеялся.

— Мой раис показал себя молодцом! Это я его так прозвал — раис. Из него выйдет прок, он бойчее старшего, А тот в мать пошел. Верно, сынок?!

— Аилча-то? — переспросил младший, гордо поглядывая на смутившегося брата. — Он плачет, как девчонка!

Мать прикрикнула на него:

— Замолчи, Тынчтык! Вы с отцом, известно, лучше всех!

Базыл притянул к себе сынишку:

— А как же! Ах ты, радость ты моя! Ну, иди играй, сынок.

Базыл начал расспрашивать меня о делах:

— Ты уж, говорят, кожевником заделался? Ничего, это неплохо, как-никак работаешь.

Я молча кивнул.

— Ну и как, много кожи? Давай сапоги сошью. Скоро у меня будут колодки.

— Брось ты о колодках твердить, — сказала жена Базыла. — До самой старости, что ли, будешь о них толковать?

— Это ты брось! — заспорил с ней Базыл. — Садыр привезет мне из Таш-Кумыра. Некогда ему все…

В это время «раис» вытащил откуда-то балалайку и принялся бренчать на ней. Базыл взял у сына балалайку и, нахмурившись, несколько раз провел рукой по грифу. Попробовал перебирать струны. Вздохнув, отложил не полюбившийся, видно, инструмент.

— Это Садыр мне купил… Но у меня не ладится, непривычно. Только ногти поломал. Это не комуз… Я, понимаешь, начал было сам мастерить комуз, — он показал на кусок дерева, лежавший возле печки. — Скоро сделаю.

— И в три года не сделаешь, — недовольно сказала жена. — Зря срубили абрикос.

Оказывается, Базыл очень тосковал, потеряв свой комуз. Однажды вечером жена его, вернувшись с работы, увидела, что единственное абрикосовое дерево в их садике срублено. Базыл

вырезал несколько подходящих кусков древесины, положил их сушить. Потом принялся делать комуз, но у него ничего не получилось, как он ни старался. Теперь остался только один кусок дерева, и Базыл, видно, боялся приниматься за него.

— Жалко абрикос, — продолжала джене. — Каждый год собирали, сушили курагу.

Базыл отвернулся, взял заготовку, постучал по ней пальцем.

— Ничего… — вздохнул он. — Этот хорошо просох, комуз должен получиться.

Вошел Садыр. Он сегодня почему-то не такой, как всегда, лицо сияет, точно у мальчишки, который ждет подарка за радостную весть. Базыл, не поднимая головы, все еще разглядывал обрубок. Садыр посмотрел на него и вдруг вытащил из-за пазухи комуз — новенький, яркий, веселый.

— Аке, — сказал Садыр. — Аке, гляди-ка…

Базыл поднял голову и замер. Потом улыбнулся во весь рот и потянулся за комузом, потянулся всем телом, забыв о своем увечье. Упал. Брат поднял его и вложил в руки комуз.

— Я взял его у Кара-уста, аке!

Базыл, по-видимому, не мог говорить. Дрожащими пальцами трогал он струны комуза. «Раис» тоже было протянул руку к инструменту, но отец

отстранил его. Речь вернулась к Базылу.

— Вот это комуз! — воскликнул он. — Садыш, родной, где ты его взял?.. Пай-пай-пай… Вот это комуз! Где ты нашел его, брат, милый?..

— У Кара-уста, — повторил Садыр. — Он хотел подарить его кому-то в районе, но я упросил отдать тебе.

Садыр подмигнул мне и продолжал:

— Аке, как быть, Кара-уста хочет взамен бычка!

Базыл ответил, не задумываясь:

— Жена, бычок-то наш в коровнике? Отведи его к Кара-уста! Или… Садыке, дорогой, может быть, ты сам отведешь?

Джене была тоже обрадована, но цена комуза показалась ей слишком высокой.

— За комуз бычка? — спросила она.

Садыр засмеялся.

— Я пошутил. Уста знает нашего Базыла. «Денег не возьму», — сказал. Я предлагал ему триста рублей, так он даже пристыдил меня.

Базыл задумался.

— Если кто-то подарил тебе курицу, приготовь для него гуся. Жена, надо отвести Кара-уста теленка. Неблагородно принимать подарки и не отдаривать. Не такие уж мы бедные. Отдай

теленка!

— Хорошо! — согласилась джене.

…Базыл начал играть. Все притихли, даже Тынчтык сидел смирно и слушал негромкую мелодию. Базыл вдруг оборвал игру, поднес комуз к глазам.

— Ох, какой звук у него!.. — сказал он. Глаза у него блестели. — Какой комуз — звучный, легкий, послушный…

Некоторое время он сидел и думал, потом снова заиграл какую-то песню, незнакомую мне, такую прекрасную и печальную, что хотелось плакать. Базыл играл и тихонько рассказывал песню.

— Это старинная мелодия. Давным-давно это было, в те времена, когда наш народ проводил всю жизнь в непрерывных кочевках. Прекрасную девушку Чинар увезли завоеватели из нашего Аксы на чужбину. Жизнь Чинар вдали от родины полна была горя и страданий. Девушка каждый день ходила в лес за дровами и каждый раз видела одинокую кукушку, перелетавшую с дерева на дерево. Однажды Чинар присела отдохнуть на замшелый камень и запела песню о своей горькой судьбе:

Вокруг меня шумят стройные сосны, кукушка,

Не уйти мне от моей тоски, кукушка.

Слышу я шелест леса, кукушка.

Но нет у меня на душе покоя, кукушка…

Девушка просила птицу отнести привет родным и близким, передать, что Чинар погибла на чужбине от тоски по родине…

Базыл замолчал, но все еще тихо жаловался комуз. Наконец умолк и он. Мы сидели неподвижно, словно опутанные невидимыми волшебными нитями.

Далекие, старые, темные времена… Киргизы жили в горах, таких же диких, как они сами. Только завывания ветра да волчьи голоса тревожили сон моего народа. Грабежи, убийства, кровавые стычки враждующих родов. Участие в набегах считалось честью для джигита…

…Отряд захватчиков налетел ночью на беспечно спавший аил. Жители его почти все перебиты, и юрты горят. Завоеватели уводят добычу, а предводитель их, огромный воин в черной одежде с блестящим шлемом на голове, перекинул через седло прекрасную девушку в горностаевой шапочке — Чинар.

И вот Чинар на чужбине. Бледная, распустив

косы, сидит она на камне у вековой сосны и тихо поет о своей тоске. Льются и льются горючие слезы…

Века прошли с тех пор, но в памяти человеческой остался образ страдающей девушки. Печальная повесть ее жизни сохранилась в песне и переходит от отца к сыну, от матери к дочери.

Я вздрагиваю. Это Тынчтык, незаметно для всех убежавший во двор, врывается в комнату с ошеломительным сообщением:

— Пап! Конь дяди Асыла подох!

— Что он такое говорит? — переполошился Базыл.

Мы с Садыром вскакиваем одновременно и бежим к коновязи. Садыр, опередив меня, наклоняется к лежащему коню. Но тот вовсе и не думал подыхать. Он просто устал и лег, теперь поднимается. Седло и куржун сползли ему на брюхо.

— Эх, сынок, сынок! — журит мальчишку Базыл. — Сказали, что сгорел сеновал, а ему послышалось — Самарканд. Зря переполошил всех.

— Пап, мне правда показалось, что конь дяди Асыла сдох. Правда, правда!

Садыр рассмеялся.

— Конечно, сдох, а потом услышал, что мы идем, и решил воскреснуть. Испугался, как бы его

собственную шкуру не засунули в куржун вместе с теми, что уже лежат там.

Тынчтык недоверчиво смотрит на Садыра, не понимая, шутит тот или говорит серьезно.

Мне помогли оседлать пегашку. Садыр бросил ему сноп клевера, и мы вернулись в дом. Просидел я у Базыла дотемна. По дороге домой все вспоминал песню Чинар. И почему-то чувствовал себя необыкновенно смелым, решительным и уверенным…

…Ночью мне снилась Дильде. Будто мы сидим с нею рядом. На мне не старая фуфайка, а новый костюм, нарядный, красивый. Дильде в светлом платье, глаза ее ласково блестят. Я наклоняюсь к ней, она протягивает ко мне руки… И вдруг огромная темная тень падает на нас обоих. Воин в черной одежде занес кривую саблю над моей головой. Я заслоняю собой Дильде, готовый умереть за нее. Черный воин исчезает, на его месте стоит Мыкты, смотрит на меня и скалит зубы. Но вот и он исчез, а мы с Дильде оказались в горах. Налетает гроза, черные тучи несутся над нами. Руки Дильде превращаются в крылья, она взмахивает ими и летит… высоко… высоко. Я кричу, но она не оборачивается, улетает от меня…

— Дильде! Дильде!..

— Асылбек! — это голос матери. — Что с тобой, сынок?

Я вскакиваю как встрепанный.

— Ничего, ничего, — успокаивает маму отец. — Ему что-то приснилось. Асыл, ты чего во сне кричишь? Кто тебе приснился?

Я молчу. Отец, не дождавшись ответа, громко зевает.

— Молодость, — говорит он. — Ничего, бывает…

В доме снова становится тихо. Мерно похрапывает отец. Окно чуть посветлело — скоро рассвет. Возле меня, свернувшись клубочком, спит наша полосатая кошка.

15

Зиме конец. Солнце крепко пригревает — с самого утра начинается весенняя капель.

— Ну, еще один дождик — и снега как не бывало!

— Да и пора, март на дворе. В Кызыл-Джаре уж пашут…

Слово «пашут» вселяет тревогу в сердце моего отца. Он боится, как бы я опять не пошел прицепщиком к Чотуру.

— Недели через три и у нас начнут пахать, — говорит отец, искоса поглядывая на меня, — опять этот Орко примется за свои штучки. До пахоты нам, сынок, дела нет, а вот как у тебя с твоими заготовками, все ли хорошо?

С заготовками все пока в порядке… Пегашка отдыхал неделю, потом я снова оседлал его — и в дорогу. Встретил по пути Орко, поговорил с Кенебаем, который завязил свой грузовик в грязи и теперь стоял, придумывая, как бы его половчее вытащить на твердую землю.

С делами я в этот день кончил рано. Домой ехал не спеша и даже что-то напевал себе под нос. Меня догнал Иванов верхом на своем гнедке.

Сытый сильный конь порывался вперед, хозяин придержал его. Я поздоровался, с лесничим.

— Здорово, джигит! — откликнулся Иванов. — Ну, как дела?

— Хорошо!

— Вот и хорошо, что так. Отец дома?

— Дома…

Мы поехали рядом. Пегашка пыжился не отстать от гнедого, но с трудом поспевал за ним. Я спросил Иванова — так, чтобы не молчать:

— Иван Иванович, а Коля где? Что-то его с прошлого года не видно…

— Коля? — Иванов все старался придержать коня, поэтому не сразу ответил на мой вопрос. — Коля-то? Он на строительстве ГЭС работает. И учится там.

— Как учится, где? — удивился я.

— Да там и учится.

Иванов принялся объяснять мне, как организована учеба на строительстве в Шамалды-Сае. Специальных технических школ нет, но зато есть разные кружки и тому подобное. Там будто бы можно стать и каменщиком, и слесарем, и столяром, и бетонщиком, и плотником.

— В общем, местечко доброе, — заключил Иванов. — Советовал бы и тебе поехать туда.

Я ничего не успел сказать, потому что мы были уже у самого дома нашего и из-за забора доносились горестные вопли отца. Что там еще случилось?

— Что же нам делать, что делать? Горькая наша жизнь!

Перепачканный в глине отец суетился возле сарая. Вот так история, стенка-то у сарая обвалилась! Заметив Иванова, отец перестал причитать и пошел нам навстречу.

— Добро пожаловать, — стонущим голосом сказал он. — Заходите… Я вот не смог выйти сегодня на работу… Беда.

Иванов расхохотался.

— Я же вам давно говорил. Никуда ваш сарай не годится! Да и дом тоже — пойдут дожди, и дом развалится. Надо строить новый дом. А что это? Нора, лачуга какая-то!

Отец бормотал свое:

— Товарищ Иванов… на работу я не вышел… сами видите…

Иванов махнул рукой.

— Ладно, ничего! Вам надо ремонт делать. Разрешаю.

И он уехал.

Работа в лесхозе была сезонная. Летом и осенью

дел по горло, а зимой, весной работы почти нет. Отец зимой одно время сторожил склад, потом его сделали рассыльным. Он, должно быть, очень старался, чтобы его не уволили, не из-за зарплаты, а потому, что, работая в лесхозе, он мог смотреть свысока на бригадира Орко и «не признавать» его. Чудна́я какая-то гордость была у него.

Только Иванов уехал — отец снова запричитал:

— Ой, несчастный день, недобрый час! Коровато, корова осталась в сарае. Задавит ее теперь!

Я заглянул в сарай через пролом.

— Не подходи близко, рухнет, убьет! — закричал отец. К пролому сунулась было и мать, но ее он просто оттащил за руку.

— С ума ты сошла, сарай еле держится на одной подпорке! Уходи прочь!

— Корова-то хоть жива?

— А бог ее знает, жива ли она.

За сараем стояла огромная лужа талой воды. Глиняные стены сарая не были укреплены ни камнями, ни даже хворостом. Вода размыла глину, стена и обвалилась.

Я попробовал, крепко ли держится подпорка. Она держалась крепко. Тогда я решил влезть в сарай через пролом, — в самом деле, не погибать

же там корове! Влез — ничего. Корова спокойно стояла и жевала как ни в чем не бывало. В полутьме блестели ее глаза. Я открыл дверь и выгнал Рыжуху из сарая.

— Хватит тебе, выходи! — кричал снаружи отец.

Я осмотрелся. Сложенные на время в сарае шкуры завалило землей. Завалило и нашего петуха, только крыло виднелось из кучи глины. Я вытащил бедолагу, который, видно, лакомился перед смертью объедками со «стола» пегашки…

…Вечером мы никак не могли придумать, что нам делать с коровой и конем, куда поставить их на ночь. Отец бодрился:

— Морозов теперь уж нет, не замерзнут!

— Да, холодно по ночам, как же не замерзнуть? — возражала мать.

— Ну, а что делать? Раньше никаких сараев не было, скот зимовал под открытым небом, а теперь разнежились все — и скотина, и люди!

Этим глубоким философским заключением и кончился спор. И конь и корова несколько дней провели под открытым небом. Дрогли, мерзли, особенно доставалось исхудавшему за зиму пегому. Мать не находила себе места.

— Сделайте вы что-нибудь! — упрашивала

она. — Разве можно так обращаться с животными. Погибнут они…

Отец злился:

— А что я сделаю? Тебя, что ли, на улицу вывести, а корову в дом ввести?

— Ну, а ты, безрукий! — обращалась мать ко мне. — Не можешь хотя бы заделать эту дыру?

Правда, почему бы мне не попробовать? Я засучил рукава и принялся разбирать завал. Надо было накопать глины и замесить ее. Отец держался в стороне. Недоверчиво наблюдал он, как я замешиваю глину с водой. Заложив руки за спину, звучно сплевывал.

— Где теперь Икрам? — бормотал он. — Он мастер, он бы в два счета…

Я не обращал внимания на его вздохи и охи и продолжал свое дело. Это почему-то смущало отца. Он присел на корточки, начал выбирать куски глины покрупнее и подбрасывать их мне.

Вода была теплая, но руки и ноги у меня коченели от холода. Я торопился. Дело как будто ладилось, глиняная стена росла на глазах. Отец оживился.

— Ничего… похоже… — одобрил он меня.

На другой день я принялся за дело с утра. Помогали мне теперь и отец, и мать. Обрадованные

моими строительными успехами, они и друг с другом обращались необычайно предупредительно и ласково.

Полдень. Стена, которая была уже мне по грудь, вдруг скособочилась и рухнула с глухим шумом.

— Ну, вот… я говорил! — с непонятным злорадством воскликнул отец. — Я с самого начала говорил, что ничего не выйдет. Два дня возились в глине, измерзли… Да пропади и конь и корова!

У матери был виноватый вид — ведь это она затеяла все. Я слишком устал, чтобы спорить или снова приниматься за дело. Отец упивался своей правотой.

— Говорил же я, что надо Икрама нанять, — твердил он. — Ты никогда отца не слушаешь, все хочешь по-своему повернуть. А я тебе только добра желаю. Надо было позвать Икрама, и все было бы сделано без хлопот. Я понимаю, что к чему, волосы у меня не зря поседели, всю жизнь борюсь с трудностями…

«Что же делать-то?» Весь перемазанный глиной, я нерешительно стоял во дворе.

— Стена обвалилась?

С улицы заглядывал во двор Чотур.

— Кто же так стену ставит, э-эх! Ну и мастер!

Чотур шагнул в калитку.

— Я говорил ему, что ничего не выйдет! — пожаловался отец.

— Конечно, не выйдет, если так делать, — согласился Чотур, осматривая развалины сарая. — Ну и ну! У нас курятник лучше, чем ваш хлев. Вот где надо еще подпорку поставить! — показал он. — А не то весь сарай развалится. С потолка-то каплет, гляди!

Чего он поучает? Я повернулся и пошел прочь, но Чотур удержал меня:

— Погоди, мастер! Глину ты замесил слишком жидко, соломы не прибавил. И смотри, верхняя часть стены толще нижней. Надо, чтобы она была ровной или кверху шла тоньше. А у тебя наоборот, мастер!

Вот в чем дело, оказывается! Досада моя прошла…

— Асылбек, пойдем к конюху, попросим у него несколько связок камыша, — предложил Чотур. — Если даст, мы эту дыру мигом залатаем.

Камыш мы достали. У себя в сарае Чотур нашел бревно для подпорки, и мы принялись за дело.

— Вам здесь делать нечего, сходите лучше притащите веток облепихи, — скомандовал Чотур моим родителям.

Работу мы закончили быстро. Снаружи камы-

шовую заплату закрыли колючей облепихой, чтобы скот не растрепал камыш.

— Та-ак, не зря, выходит, я бродил по Чартаку и Намангану, — сказал Чотур, довольный успешным завершением нашего предприятия. — Дело-то, конечно, пустяковое.

Отца задели слова Чотура. Криво улыбнувшись, он сказал:

— Да… ты, оказывается, способный парень.

Но по лицу его было видно, что ему не хочется верить в это и неприятно это признавать.

Чотур вымыл измазанные глиной руки прямо в луже и принялся за наставления:

— Вы корову всегда теперь привязывайте. А то она камыш сжует. И коню не давайте чесаться о новую подпорку — чего доброго, обрушится весь сарай. Вообще его давно пора сломать и новый поставить.

Мать слушала его, как пророка. Она-то была искренне рада.

— Пусть твой сын вырастет молодцом! — пожелала она Чотуру и пригласила его к чаю.

За чаем Чотур рассказывал о своих приключениях в Намангане, шутил, смеялся. Мне, между прочим, было не до смеха. Я видел, что даже мой заносчивый отец разговаривает с Чотуром, как

с равным, а уж мать только и старается ему угодить. Еще бы — этот нескладный длинноногий парень легко и просто сумел сделать то, над чем я два дня зря промучился. Неужели я никуда не гожусь, неужели я так и не смогу ничему дельному научиться?

16

— Мама, ты не видала две пары голенищ?

— Да здесь где-нибудь.

— Но где же! Я три раза все пересчитал, нету их!

— Может, ты их кому-нибудь отдал, припомни-ка! Пробую припомнить. Нет, на этой неделе я никому ничего не отдавал. Не хватает двух пар голенищ с головками.

— Ты у отца спроси, — посоветовала мать. — Он обещал, если начальство никуда не пошлет, к обеду вернуться.

Меня разбирали зло и досада, не хотелось никого видеть, все валилось из рук. Отец запаздывал — тоже как назло.

Да что, в конце концов, я хуже своих сверстников? Какая польза от меня в жизни, какой след оставлю я на земле? Мечты мои улетают далеко, а на деле я беспомощен — возились-возились вместе с отцом и не могли глиняную стену поправить. Говорят же: от яблони — яблоко, от алчи — алча. Неужели это правда, проверенная опытом столетий? Отец мой — в прошлом пастух, потом он стал активистом, но ничему толком не

научился, остался пустоцветом. Значит, и я буду таким? Или стану настоящим человеком? Ведь вот Чотура направила жизнь по верному пути. Он не только сам многому научился, но и других кое-чему научить может…

Мама сидела и чинила одеяло, поглядывая изредка на меня. Она понимала, что со мной происходит что-то неладное, но не решалась расспрашивать. Наконец, не вытерпев, она подошла ко мне.

— Асыл, что с тобой? Поссорился с кем-нибудь? Может, заболел? — она приложила свою сухонькую теплую ладонь к моему лбу. — Голова у тебя горячая, ляг, полежи. Выпей горячего, вспотеешь. Ты побледнел, глаза совсем больные. Полежи сегодня, а в район завтра поедешь.

— Мама, я совершенно здоров!

— Радость моя… пусть твоя болезнь на меня перейдет.

«Эх, мама, мама! Не тело у меня болит, а душа. Рассказать бы сейчас тебе о моих мучительных сомнениях, может, даже поплакать, прижавшись к тебе, как в детстве… Нет, не стоит. Ты только огорчишься, а помочь мне не сумеешь. Я в тупике, и мне обязательно надо выйти из него на дорогу, пусть трудную, но свою…»

Отец явился наконец. Уселся пить чай.

— Асыл сегодня не поехал на работу, двух пар голенищ у него не хватает. Ты не видел? — спросила мать.

— А… — Отец со смаком прихлебнул чай. — Я их отнес сапожнику. У меня сапоги совсем истрепались, надо новые пошить. Да и тебе ичиги нужны. Там одна пара голенищ очень мягкой кожи, как раз для ичигов.

— Брось, какие там сапоги-ичиги, и так проходим! — мама была перепугана. — Разве можно так? У Асыла все на счету, с него спросят. Хочешь, чтобы он в растратчики попал?

Отец засмеялся.

— Ну, об этих несчастных двух парах голенищ найдет что сказать! Кто держит масло, тот и пальцы облизывает.

— С ума ты сошел, как ты можешь говорить такое? Да ведь мальчика в тюрьму из-за тебя посадят!

Отец невозмутимо жевал хлеб. Я встал, взял куржун. Мать бросилась ко мне.

— Асыл, погоди… — мать выбежала за мной. — Сынок, надо, чтобы отец сходил за голенищами. Подожди, принесет он, ты и поедешь.

— Ничего, мама. Я за них заплачу, вот и все.

Я навьючил на пегашку шкуры, собранные за последнюю неделю, привязал сверху куржун с кожаными заготовками и отправился в путь. На сердце стало спокойно, будто самое важное решение было уже принято.

Передо мной был наш кыштак. Здесь я родился и вырос и думал в детстве, что белые остроконечные вершины гор на горизонте и есть край земли. За ними только бездонные пропасти и черные тучи. Теперь я знаю, как широк мир, но для меня все же нет ничего дороже этого крохотного родного уголка.

По небу тянутся пушистые весенние облака. Солнышко то спрячется за ними, то выглянет ненадолго. Я проезжаю один дом за другим. Во дворах играют ребятишки; дремлющие на солнце собаки лениво поднимают головы, заслышав топот коня. Им не хочется лаять; иной пес брехнет раз-другой и снова опускает голову на лапы.

А кыштак готовится к весне. Всюду шум и движение. В прозрачном весеннем воздухе все очертания так резки и отчетливы, видно далеко-далеко…

Прав был Иванов. В селе у нас всего несколько домов построено как следует, на прочном фундаменте, по плану. Остальные слеплены кое-как

и поставлены без всякого порядка. Многие хозяева покрыли крыши шифером, но выглядит это так, будто старого осла накрыли драгоценным ковром. Ох, сколько же еще нужно сделать здесь, сколько перестроить!

В конторе я сдал шкуры и кожу на склад и пошел к директору. Он неохотно оторвался от чтения какой-то бумаги.

— Ну?

— Освободите меня.

Директор был весьма удивлен:

— Что ты говоришь?

— Освободите меня, говорю.

— Что случилось? Плохой сон увидал?

— Ничего я не увидал, освободите меня от работы.

Директор понял, что я не шучу.

— Погоди, поработай еще, — сказал он. — Ты работал хорошо, братишка… Месяца через два-три получишь повышение, будешь сидеть в конторе. Твой отец просил меня об этом.

Стало быть, меня собирались осчастливить повышением. Но я не поддался на уговоры и стоял на своем.

— Ладно, парень, — сказал в конце концов директор разочарованным тоном. — Хочешь найти

место получше, ясное дело. Не знаю только, найдешь ли. Чем тебе здесь плохо было? Ну ладно, пиши заявление, получай расчет.

Я сказал ему, что двух пар голенищ не хватает. Пусть удержит стоимость из расчетных денег. Директор было начал грозно крутить усы. Растрата! Но в конце концов все уладилось.

— Куда же ты теперь? — спросил директор.

— Мало ли куда! В Шамалды-Сай электростанцию строить поеду. А может, в колхозе останусь…

— Ах, в Шамалды-Сай поедешь… Валяй, там, наверное, должность главного инженера до сих пор не занята! Ну, а в колхозе ежели останешься — не иначе, как раисом.

Вот и пойди докажи такому! Я ничего ему не ответил, вышел и хлопнул дверью.

По правде сказать, я чувствовал себя подавленным. Эх ты, Асыл, конь без поводьев! Все-таки было же у тебя какое-то дело, какие-никакие обязанности. А теперь?

Я сел в седло. Спешить некуда, можно и поразмышлять дорогой.

Смотри, пожалуйста, все надо мной смеются… Но разве обязательно быть сразу самым главным инженером или раисом? Я найду свое место в

интересной работе — вот что главное для человека. Я хочу стать честным человеком, понимаешь ты это, аткаминер, тебе бы только разъезжать верхом да покрикивать на людей, а там хоть трава не расти!

Решимость понемногу возвращалась ко мне, я уже не считал, что сделал глупость.

Весна наступила. Повсюду таял потемневший, весенний снег; тонкие струйки талой воды сливались в ручьи, которые со всех сторон бежали к реке.

Когда показался наш неказистый домишко на окраине поселка, я вспомнил об отце и невольно потянулся к сумке, ремень которой был перекинут у меня через плечо. Теперь эта сумка не нужна. Приеду домой и отдам ее хозяину. Я снял ремень и повесил сумку на луку седла. Принялся перебирать свои бумаги — нужные перекладывал в карман, ненужные рвал и выбрасывал.

На переправе пегашка потянулся к воде и остановился.

На самом дне сумки лежал растрепанный блокнот. Обложки нет, страницы измяты, перепачканы — доставалось, должно быть, бедняге. Мне стало любопытно, я раскрыл блокнот. Почерк отца… Корявые буквы едва цепляются одна

за другую. Стершиеся строчки отец, видно, восстанавливал чернильным карандашом, помусолив его… Я начал читать. Интересно… Родовая рознь в аиле… Имена бывших главарей родов… Происхождение активистов — какая семья, кто отец… их друзья… враги…

Тьфу! Как все это въелось в старика! Я скомкал блокнот, размахнулся… Перед глазами встало перепуганное, злое лицо отца. «Ай, опомнись, не выбрасывай…» Я почувствовал, что какая-то сила удерживает руку. Ну, если так, вот тебе! Я швырнул блокнот обратно в сумку. Сумка казалась мне теперь отвратительной, как будто прятала, защищала то, что стояло, мне поперек дороги, мешало жить. Ишь раскрыла пасть, как крокодил!

Я поднял сумку обеими руками высоко над головой и изо всей силы швырнул в полую весеннюю воду речки…

Тронул пегашку. Миновав переправу, конь поднялся на высокий берег. Я вздохнул, как после дурного сна. На сердце было легко, и мир как будто раздвинул передо мной свои границы.

Долина встречала весну. По высокому ясному небу кусочками хлопка разбросаны были мелкие белые облака.

Синее небо, знакомое, как потолок в родном

доме. Синее радостное небо, и на нем четкие контуры гор. Шершавая поросль кустарника по холмам, ласковый ковер молодой весенней травы, от запаха которой кружится голова. И подснежники у дороги… Вот он, мой дом, мой край, такой до боли любимый, такой приветливый…

От колхозного амбара слышался гул трактора. Чотур пробует мотор. С самого начала весны Чотур возился с трактором; весь, до самого кончика носа, в пятнах мазута, он то и дело нырял под брюхо железному коню. Сегодня же, должно быть, закончил ремонт и хочет попробовать трактор тут же, в загоне. Грохот мотора гулким эхом отдавался вокруг, потом затих. И мне так захотелось увидеть Чотура, поздравить его с весной и… и чтобы он меня поздравил тоже.

Но Чотура я не увидел, только его ноги торчали из-под трактора. Время от времени он перебирал ногами, как будто собирался куда-то идти. Слышно было, как он ругается себе под нос.

Вот высунулась Чотурова рука и потянулась к семнадцатому ключу. Чотур не сразу нашарил ключ, а когда нашарил, я взял да и наступил на ключ ногой.

Чотур потянул ключ к себе, но не тут-то было.

— Кто там балуется?! — рявкнул Чотур.

Он вылез, увидел меня, сердито сверкнул глазами и принялся вытирать руки о перепачканную мазутом тряпку.

— Ну что?

— Ничего…

— А-а… — Он зло скривился и махнул рукой. Но вдруг посмотрел на меня, словно сообразив что-то, и лицо у него смягчилось. — Асыл… сделай доброе дело, а? Сгоняй в РТС. Там есть механики хорошие. Привези кого-нибудь, а?..

— Что, не ладится?.. — пробормотал я и, наклонившись, осторожно заглянул трактору под брюхо.

Тут Чотур опять обозлился.

— Уйди!.. Помощник… — Он с силой взял меня за плечо и оттолкнул назад.

От стыда и обиды я слов не мог найти. Кровь ударила в голову, лицо Чотура запрыгало перед глазами.

Я подошел к коню, прицепил плеть на луку седла, связал поводья и забросил их пегашке на шею. Потом шлепнул его ладонью по крупу. Конек сразу взял направление к дому. А я снова вернулся к трактору.

По правде говоря, вся моя злость и смелость сразу улетучились, когда я увидел вблизи нутро

машины, все эти винты, винтики, трубки… Разобраться по книге — это одно, а что тут делать?.. И почему нет искры?..

Но все-таки было интересно — копаться во всем этом хозяйстве, припоминая схемы из книжки и стараясь добраться до того непонятного «узелка», который надо распутать, чтобы трактор наконец заработал…

И мы все-таки добрались с Чотуром до «узелка»!..

Когда я наконец собственной рукой включил мотор и он затарахтел безо всяких перебоев, от радости чуть не подскочил. Но теперь не хотел показывать Чотуру, как я рад и счастлив.

Я просто поднял вымазанную в мазуте тряпку, которой обтирал руки Чотур, и стал спокойно и медленно вытирать свои ладони…

Авторизованный перевод Л. Лебедевой.

СЛОВАРЬ НЕПОНЯТНЫХ СЛОВ

Аба — почтительное обращение к старшему.

Агай — (буквально: старший брат) почтительное обращение к старшему.

Аил — село.

Айван — навес, веранда.

Ай-балта — (балта — топор) бердыш; старинное холодное оружие — топор с лезвием в виде полумесяца.

Айланайын — мой миленький (я готов стать искупительной жертвой за тебя).

Айран — кислое молоко.

Аке — старший брат.

Акмак — бестолочь.

Аксакал — (буквально: белобородый) уважаемый человек; руководитель рода; почтительное обращение к старшему.

Алабакан — вешалка для продуктов питания.

Аллах — бог.

Альчики — игральные кости (бабки).

Арстанбек — от арстан — лев.

Архар — дикий горный баран.

Ата — отец.

Атаке — батюшка.

Афлатун-скала — высокая скала на юге Киргизии, названная так якобы по имени философа Платона.

Бай — богач.

Байбача — сын бая.

Байбиче — старшая жена; почтительное обращение к женщине.

Байке — вежливое обращение к старшему товарищу.

Бала — мальчик.

Бата — жест, которым мусульмане заканчивают молитву; пожелание счастья, благоденствия.

Батыр — богатырь.

Бешбармак — (буквально: пять пальцев) национальное блюдо.

Бий — судья.

Биргат-аке — искаженное от бригадир-аке.

Болуш — волостной старшина.

Болчайбек — искаженное от большевик.

Боорсоки — жаренные в растопленном жире кусочки теста.

Буза (бозо) — хмельной напиток.

Бысмылла, бысмылда — во имя аллаха!; господи благослови!

Дамбылда (даамолдо) — учитель мусульман-

ской духовной школы.

Дасторкон — скатерть с угощением.

Джайлоо — летнее пастбище.

Джаргалчак — ручная мельница из двух камней.

Джарма — жидкое кушанье, похлебка.

Джезде — муж старшей сестры.

Джене, дженге — жена старшего брата.

Дувал — глинобитная ограда.

Ичиги — мягкие сапоги.

Кабар — новость.

Казы — брюшной и реберный конский жир.

Камча — нагайка, плеть.

Карта — большая ободочная кишка лошади, из которой готовят лакомое блюдо.

Келин — сноха, невестка.

Кементай — верхняя одежда из войлока.

Кокоза — сосуд, в который собирают загустевший млечный сок из надрезов на маковых головках.

Коночок — сосуд из кожи.

Кудай — бог.

Кулун — жеребенок-сосунок.

Кумган — кувшин с ручкой и носиком.

Кумыс — напиток, приготовленный из кобыльего молока.

Кун — штраф, выкуп за убитого.

Кунбез — надгробный памятник.

Куржун — переметная сума.

Курман-айт — мусульманский религиозный праздник.

Куурдак — жареное мясо.

Кызап — название одного из казахских родов, живших в Синьцзяне.

Кыштак — село.

Манап — представитель киргизской феодальной родовой верхушки.

Мата — кустарная ткань, вырабатывавшаяся в Синьцзяне.

Молдо — мулла. Так киргизы называли не только представителей духовенства, но и вообще грамотных людей.

Раис — председатель колхоза.

Садака — обычай у киргизов, согласно которому самому бедному человеку в аиле выдавалась милостыня в честь благополучного исхода какого-нибудь дела (выздоровление члена семьи, возвращение из дальнего пути и т. д.).

Синтир — искаженное от центнер.

Суйунчу — подарок за сообщение радостной вести.

Тандыр — особая земляная печь для выпечки

лепешек.

Таксыр — господин.

Текис — искаженное от текст.

Теше — мера земельной площади, равная десятине.

Той — пиршество, гулянье.

Токол — младшая жена.

Тор — почетное место в доме.

Тумар — амулет, талисман.

Тюндук — отверстие для выхода дыма из юрты.

Цзинь — мера веса, равная 600 граммам.

Чакча — сосуд для особо приготовленного табака — насвая.

Чанджа — (китайское) маленькая сапка для полки мака.

Чокои — обувь из кошмы, иногда обшивается кожей для прочности.

Чолпон — Венера.

Чонкол — чон — большой, кол — рука.

Чотуке — уменьшительное от имени Чотур.

Шаир — веселая.

Шиирдак — орнаментированная кошма.

Эже, едже — (буквально: старшая сестра) почтительное обращение к женщине.

Элечек — головной убор замужней женщины, вроде тюрбана.

Эне — мать, мамаша.
Эркесеры — название рода и местности.